Россия в мемуарах



С.К. Островская

ДНЕВНИК

Новое
Литературное
Обозрение

С.К. Островская ДНЕВНИК

Россия в мемуарах

россия в мемуарах



Новое
Литературное
Обозрение

Россия в мемуарах

С.К.ОСТРОВСКАЯ

ДНЕВНИК

Новое Литературное Обозрение

Москва

2018



УДК 929 Островская С.К.(093.3)
ББК 63.3(2)61ю14
О-77

Вступительная статья *Т.С. Поздняковой*;
послесловие *П.Ю. Барсковой*;
подготовка текста и комментарии *П.Ю. Барсковой* и *Т.С. Поздняковой*

Серия выходит под редакцией *А.И. Рейтблата*

Островская, С.К.

О-77 Дневник / Вступ. статья Т.С. Поздняковой; послесл. П.Ю. Барсковой; подгот. текста и коммент. П.Ю. Барсковой и Т.С. Поздняковой. 2-е изд. — М.: Новое литературное обозрение, 2018. — 760 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-0903-7

Жизнь Софьи Казимировны Островской (1902—1983) вместила многое: детство в состоятельной семье, учебу на историческом факультете Петроградского университета, службу начальником уголовного розыска Мурманской железной дороги, пребывание под арестом, работу переводчиком технических текстов, амбиции непризнанного литератора, дружеские отношения с Анной Ахматовой и др. Все это нашло отражение на страницах ее впервые публикуемого целиком дневника, который она вела с юных лет до середины XX века. Особое место занимает в ее записях блокада Ленинграда, показанная подробно и выразительно. За рамками дневника осталась лишь деятельность Островской в качестве агента спецслужб, в частности по наблюдению за Ахматовой.

УДК 929Островская С.К.(093.3)
ББК 63.3(2)61ю14

«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЧЕЛОВЕКОМ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ»

В конце 1950-х годов, продолжая свои пушкинские штудии, Анна Ахматова размышляла над «тайнописью Пушкина», над тем, как спрятаны в подтекст его произведений его реальные переживания, как переплавлены они в художественные образы.

Жгучая обида на предавших друзей, гнев за клевету[1], гнев на самого себя, не могущего освободиться от их прельщений, от их демонического влияния («мне стыдно идолов моих») — все это у Пушкина «предстало в опосредованной форме, не в той откровенно биографической, прямо лирической». Последняя цитата — из статьи Л.Я. Гинзбург «Пушкин и реалистический метод в лирике». Против этой фразы на полях страницы оттиска названной статьи рукой Ахматовой написано: «Завидую»[2]. Она сама прослеживает под этим углом психологию пушкинского творчества от «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824) до 8-й главы «Евгения Онегина», «Каменного гостя» (1830) и поздней прозы. Ахматова убедительно доказывает: эти тексты во многом спровоцированы мучительными отношениями Пушкина с его «другом-врагом» Александром Раевским и «черной мутной страстью» к Каролине Собаньской. «Это одна из тех женщин, — пишет Ахматова, — которых Пушкин не только не возносит, как Татьяну или дочь мельника, это та, кого он боится и к которой тянется против силы. Милый Демон!»[3]

Ахматовой известно и то, что не могло быть известно Пушкину: Каролина Собаньская с ее «страшной, темной, грешной женской душой» была к тому же тайным агентом III отделения, приложила руку к арестам братьев Раевских, М. Орлова и В. Давыдова, к организации политического сыска за Пушкиным...

Занимаясь исследованием психологии пушкинского творчества, Ахматова пристрастно рассматривает историю его отношений с Каролиной Собаньской. Возможно, что эти ахматовские пушкинские штудии опосредованно связаны с реалиями ее собственной жизни: в 1944 году Ахматова познакомилась с Софьей Казимировной Островской.

---

[1] Об отношениях А.С. Пушкина с Александром Раевским и Каролиной Собаньской см., например: *Эйдельман Н.Я.* Пушкин и декабристы: Из истории взаимоотношений. М., 1979. С. 155—159.

[2] *Гинзбург Л.Я.* Пушкин и реалистический метод в лирике // Русская литература. 1962. № 1. С. 35. (Оттиск из журнала хранится в Книжном фонде Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме по шифру КП 8905/ МБ3903-А).

[3] *Ахматова А.* Две новые повести Пушкина // Анна Ахматова о Пушкине. М., 1989. С. 199.

В середине 1940-х очарованная Островской, Ахматова искала в общении с ней спасение от одиночества. Потом у нее появились подозрения относительно ее тайной профессии, какое-то время она испытывала тягостную от нее зависимость.

Р.Д. Тименчик в своем фундаментальном исследовании на основе сличения «воспоминаний Исайи Берлина о свидетельницах его визита к А.А. в 1945 г. и обнародованных чекистом сведений о дамах, написавших донесения об этом визите» называет имена секретных сотрудниц[4]. Сопоставление данных статьи О. Калугина «Дело КГБ на Анну Ахматову»[5], справки начальника УВД по Ленинградской области, протоколов допроса Л.Н. Гумилева, воспоминаний Исайи Берлина и его отчетов для британского Министерства иностранных дел предлагается в издании Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме[6]. Сегодня можно сказать со всей определенностью: тайными агентами, внедренными в окружение Ахматовой и отличавшимися, по словам Калугина, «особой активностью»[7], были Софья Казимировна Островская и Антонина Михайловна Оранжиреева.

Секретные сотрудники МГБ в окружении писателя — эта тема была поднята в свое время М.О. Чудаковой, опубликовавшей со своими подробными комментариями фрагменты дневника Е.С. Булгаковой[8]. Более того, Чудакова, привлекая дополнительные материалы, а именно протоколы допросов арестованных Э.Л. Жуховицкого и К.М. Добраницкого, смогла определить моменты их непосредственной вербовки и ситуации, в которых эта вербовка происходила. В уже упомянутой книге об Анне Ахматовой и Исайе Берлине приведены достоверные данные о тайной второй профессии директора Ленинградской Книжной лавки писателей Г.М. Рахлина. И опять-таки получить эти данные оказалось возможным в результате анализа его следственного дела[9].

Подобными материалами о С.К. Островской мы не располагаем. Перед нами только ее личный дневник. Скажем сразу — в дневнике секретного сотрудника НКВД об этой ее работе нет ни единого слова. Но сам дневник может стать источником для исследования психологии носителя определенной, необходимой в тоталитарном государстве социальной роли — роли тайного агента, осведомителя, «стукача». Конечно, носители этой роли принадлежали к разным социально-пси-

---

[4] *Тименчик Р.* Анна Ахматова в 1960-е годы. М.; Toronto, 2005. С. 101.

[5] *Калугин О.* Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). М., 1994. С. 72—79.

[6] См.: *Копылов Л., Позднякова Т., Попова Н.* «И это было так»: Анна Ахматова и Исайя Берлин. СПб., 2009. С. 29—30

[7] *Калугин О.* Указ. соч. С. 75.

[8] См.: *Чудакова М.О.* Осведомители в доме Булгакова в середине 1930-х годов // Тыняновский сборник. Рига; М., 1995—1996. Вып. 9. С. 385—463.

[9] См.: *Копылов Л., Позднякова Т., Попова Н.* Указ. соч. С. 44, 93.

хологическим типам с разными мотивациями[10]. Дневник Островской позволяет сделать определенные выводы об одном из этих типов.

Но сначала обратимся к биографии автора дневника.

Она сама рассказывает об истории своей семьи в письме от 4 января 1969 года, адресованном в дирекцию Музея-квартиры А.С. Пушкина, куда продавала хранившиеся в ее доме реликвии[11], и в развернутой характеристике брата, написанной в 1960-е годы по просьбе врача-психиатра[12]. Информацию о том, где и когда начинала С. Островская свое образование, можно почерпнуть из фотоальбома московской католической гимназии св. апостолов Петра и Павла за 1910 год[13]. Отсутствие дневниковых записей за 1918—1920 годы компенсируется сведениями об этом периоде ее жизни, зафиксированными в личном деле студентки Петроградского государственного университета С.К. Островской[14]; за 1924—1925 годы — записями на страницах домовой книги[15]; за 1926—1929 годы — пометами в ее тетрадях[16], подкрепленными материалами из дневников ее приятеля, философа И.А. Боричевского[17]. Основные сведения о ее отце дают материалы следственного дела № 1920—1929 (архив Центра «Возвращенные имена»). Уточнение деталей биографии получено из переписки С.К. Островской, в частности, с А.Ф. Арутюновым[18].

С.К. Островская родилась в 1902 году в семье московского купца 2-й гильдии, поляка Казимира Владиславовича Островского. Мать Софьи Казимировны, Анастасия Францисковна, принадлежала к польскому дворянскому роду Корчак-Михневичей. Бабушка по материнской линии, Стефания, урожденная Жебровская, воспитывалась в доме своего родственника графа Евстафия Тышкевича, историка, создателя Виленского музея древностей. Скорее всего, в его доме она и познакомилась с будущим мужем Франциском Адамовичем Корчак-Михневичем.

Ф.А. Корчак-Михневичу, «запятнавшему» себя участием в Польском восстании 1861—1862 годов, грозили лишение прав и имущества и даже высылка в Сибирь. Однако, благодаря ходатайству перед властями его друга А.О. Россета, все кончилось только конфискацией имения в Царстве Польском. Михневичи поселились в Москве, на Тверской, возле Страстного монастыря. Крестной матерью их младшей дочери Анастасии стала давняя приятельница Пушкина, сестра Аркадия Россета, А.О. Смирнова-Россет.

---

[10] Характеристики некоторых фигур доносителей по материалам пьес М. Булгакова дает М.О. Чудакова. См.: *Чудакова М.О.* Указ. соч. С. 399.

[11] См.: ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 80.

[12] См.: Там же. Ф. 1448. Ед. хр. 116.

[13] См.: Там же. Ед. хр. 122. Л. 12.

[14] См.: ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 3. Ед. хр. 872.

[15] См.: Там же. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 2319. Л. 37.

[16] См.: ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 90; Ед. хр. 73. Л. 89.

[17] См.: Там же. Ф. 93. Ед. хр. 5—12.

[18] См.: Там же. Ф. 1448. Ед. хр. 83. Л. 14, 15.

К.В. Островский и А.Ф. Корчак-Михневич обвенчались в 1897 году. Островские считали себя поляками, однако у Казимира Владиславовича была еще и венгерско-цыганская кровь, у Анастасии Францисковны — испанская и французская. В Москве, на Мясницкой, вместе с семьей Островских жила старшая сестра Анастасии — Софья (в честь нее Островские и назвали дочь), которая развелась с мужем, не простив ему измены. В отличие от нее Анастасия Островская пыталась терпеливо сносить бесконечные и грубые измены мужа. Он открыто появлялся с любовницами, вводил их в семейный дом. Обострились отношения лет через восемь после свадьбы, как раз тогда, когда в 1905-м родился сын Эдуард. Мальчик не ходил и не говорил почти до 4 лет, все время просил есть, отца боялся до обморока. Он всю жизнь был странным, чудаковатым, а в конце жизни страдал тяжелым психическим заболеванием.

Казимир Владиславович сына практически не желал замечать. Другое дело — дочь: идеально умеет вести себя, поет, танцует, декламирует, свободно разговаривает по-французски, играет на фортепиано. И на отца смотрит влюбленными глазами: высокий, красивый, богатый, властный, «все может». Из дневника: «Самая большая, самая сильная и трагическая любовь моей жизни была отдана отцу. Он мне стоил дороже всех и всего — и за него, за мою любовь к нему я платила щедро и всегда высокой ценой. Эта привязанность делала мою личность и ломала ее» (запись от 23 августа 1936 г.). В детстве Соня не сомневалась: она — дочь своего отца — умнее, красивее, лучше всех.

Спустя много лет С.К. Островская написала стихи о себе, десятилетней:

...Я в дьяболо играла лучше всех, гордясь
И ловкостью, и силой. И мое стремленье
Вертушку зацепить за облако владело
Мной долго. Мне не удавалось ни это,
Ни другое. Как я старалась добежать
До самой радуги после дождя! Только
Взглянуть один разок и сразу же вернуться
И маме рассказать, чтоб мама записала
Все «для потомства». (Очень я любила
Большие непонятные слова. Зимой
Я радовалась, что вот, наконец, и мы
Все будем называться «декабристы»!..)
Боже!..[19]

Соня Островская начала свое образование в католической школе для девочек при римско-католической церкви св. апостолов Петра и Павла в Москве на Милютинском переулке. Но через год семья переехала в Петербург. К.В. Островский занимал в это время должность коммерческого директора Русско-американского ак-

[19] ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 22. Л. 84.

ционерного металлического общества. Талантливый инженер и коммерсант, он инициировал создание новых промышленных предприятий — судостроительного и механического завода «Охта», Сегозерского чугуноплавильного завода — и стал их директором-распорядителем.

Доходы семьи настолько возросли, что появилась возможность приобрести имения и дом в Петербурге. Модные курорты, собственный выезд, драгоценности для жены и дочери — все это присутствовало в семейном быту. Так же, как, впрочем, и напряженные отношения между родителями, которые дети, правда, долгое время не замечали. Для Сони выбрана была в Петербурге частная французская гимназия Люси Ревиль (бывший пансион Капронье) на Ново-Исаакиевской улице. Училась Островская блестяще — неизменно получала похвальные листы. При этом успешно занималась с учительницей музыки, много читала, следила по газетам за событиями в мире, посещала театры. Играла с братом, порой донимала его. Подросла и вместе с родителями стала бывать в ресторане «Медведь», в «Паризиане», на островах, в Купеческом клубе. В феврале 1917-го с жадностью ловила известия о событиях на улицах города и заносила хронику этих «беспорядков» в свой дневник. С возрастом осознала эгоизм отца, будучи очень привязана к матери, болезненно переживала обиду за нее и в своем недавнем кумире начала разочаровываться.

Революция сразу же затронула семью Островских: их дом по Преображенской, 8, реквизировали, оставив им лишь квартиру. Заводы, которыми управлял Казимир Владиславович, были национализированы, но благодаря своей энергии он смог в 1920 году перебраться в Москву и занять там должность управляющего механическим заводом «Пулемет», принадлежавшим Акционерному обществу Варшавской арматуры. С конца 1921-го К.В. Островский опять в Петрограде. Здесь он участвовал в создании Проволочно-гвоздевого объединения и принял заведование бюро «Гвоздь». В 1924 году стал заведующим коммерческой частью завода «Русский автомат». При этом оставался совладельцем нескольких мастерских по ремонту металлических изделий (пр. Володарского, 17, 22, 24, 53). В 1921-м, в 1923-м и в 1926 годах подвергался коротким арестам, но пока все кончалось благополучно. Правда, семью переселили в квартиру похуже. Теперь Островские жили на той же Преображенской, с 1923 года переименованной в улицу Радищева, но в доме 17/19.

Осенью 1919-го семнадцатилетняя Софья Островская поступила на факультет общественных наук III Петроградского университета (бывшие Бестужевские курсы). В этом же году по решению Наркомпроса этот университет слился со II-м (существовавшим при Психоневрологическом институте) и с I-м (бывшим Императорским). Образовался единый Петроградский государственный университет. Софья Островская некоторое время исправно посещала лекции на факультете общественных наук (историческое отделение).

А затем произошла странная метаморфоза: еще недавно капризная и избалованная барышня, восемнадцатилетняя Софья Островская, как позже она сама объяс-

няла, «для поддержки семьи в материальном и пайковом отношении»[20], оставила университет и пошла служить в милицию. Служила столь рьяно, что вскоре ее зачислили в списки командного состава Красной армии по Уголовному розыску Республики. И вот она уже вхожа в кабинет к самому Кишкину, начальнику Петроградского губернского уголовного розыска. Признана спецом по следственно-розыскному делу и получила назначение на должность начальника УГРО Мурманской железной дороги и Рыбинстройки. Кишкин, которого перевели в Центророзыск, а оттуда начальником Чрезвычайной комиссии Волжского бассейна и Каспийского моря, звал ее с собой. Островская это предложение не приняла, должно быть потому, что не могла оставить мать и инфантильного брата — отец семьей интересовался все меньше.

А может, дело было в том, что она сама попала под Революционный военный железнодорожный трибунал по подозрению не то в халатности, не то в хищении государственного имущества — 19 банок консервов. Заключение было недолгим, ее оправдали, но службу пришлось оставить.

Островская вернулась к занятиям в университете, но теперь уже не на историческом, а на юридическом отделении. Будучи студенткой, она одновременно в 1922 году состояла лектором-преподавателем в Высшей воздухоплавательной школе, что тоже считалось службой в Красной армии.

В это время С.К. Островская — частый гость Дома литераторов, Дома искусств, книжного магазина издательства «Academia» на Литейном проспекте. Она бывает в Доме Мурузи, в издательстве «Всемирная литература» на Моховой. При этом, судя по ее более поздним дневниковым записям, не прерывает общение с некоторыми из своих бывших товарищей — милиционеров и комиссаров.

В 1925 году К.В. Островский ушел из семьи. Предательства дочка ему никогда не простила. «Ты меня не крестил перед битвой» — с этого упрека начинает она обращенное к нему стихотворение[21]. В дневнике записывает: «Тень отца лежала на мне и на моей жизни — всегда и почти во всем. А теперь я полетела с моих высот и разбилась. Я сижу среди осколков своего глинобитного кумира и думаю о том образе отца, который я создала, который я полюбила и которого в действительности и не существовало. Исчез самый страшный и, вероятно, самый нужный фантом» (запись от 23 августа 1936 г.).

Вскоре Островская встретилась с человеком, который стал для нее в какой-то степени заменой отца. Это был Густав Владимирович Рейтц. В дневнике часто встречается его имя, зашифрованное буквами «др. Р», «R». Во второй половине 1920-х он был главврачом 2-й психиатрической больницы. Пропагандировал гуманные методы психиатрии, занимался исследованием психического здоровья гениев[22],

[20] ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 3. Ед. хр. 872. Л. 3.
[21] ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 20. Л. 73.
[22] См.: *Рейтц Г.В.* Жизнь и творчество Августа Стринберга. Л., 1926.

вместе с психоневрологом Государственного рефлексологического института по изучению мозга Л.Л. Васильевым участвовал в работе Комиссии по внедрению в медицинскую и психологическую практику парапсихоанализа. Островскую с Рейтцем познакомил ее приятель, историк философии и науки И.А. Боричевский. Он тоже был увлечен парапсихоанализом, но, в отличие от Васильева и Рейтца, оставался в этой области дилетантом.

Рейтц играл в жизни Островской роли исповедника, психоаналитика, психотерапевта. По настоянию Рейтца она фиксировала свои грезы и сновидения, придавая им особое значение. По дневнику видно, что ближайшие родственники — и мать, и брат — его влияние на нее воспринимали настороженно. Порой и самой Софье Островской зависимость от Рейтца становилась в тягость. 15 июля 1937 года, после встречи с профессором И.М. Гревсом, она записала в дневнике: «Очень бы хотела освободиться от R. и переключиться на другого "святого мудреца" и, кажется, знаю, что ничего из этого не выйдет». Ничего из этого и не вышло: доктор Рейтц ей был нужен всегда.

Но вернемся к судьбе К.В. Островского. В 1928 году он недолго служил в отделе по снабжению ОГПУ. В 1929-м стал консультантом и техническим руководителем литейного цеха экспериментальных мастерских Бюро изобретений при Русском техническом обществе. В этом же, 1929-м, году его арестовали, и на этот раз надолго. Он проходил по делу сотрудников Русского технического общества. Островского обвинили в экономическом шпионаже и в связях с расстрелянным несколько месяцев назад профессором П.И. Пальчинским. Коллегия ОГПУ предъявила Пальчинскому обвинение в руководстве заговором, вредительстве на железнодорожном транспорте и в золото-платиновой промышленности и приговорила к высшей мере наказания. В фонде С.К. Островской сохранилось письмо к ней А.И. Солженицына от 18 мая 1969 года[23]. Солженицын писал, что из достоверных источников ему известно о ее знакомстве с Пальчинским и его семьей и что он просит сообщить ему все сохранившееся в памяти о них. Ответное письмо С.К. Островской обнаружить не удалось.

В 1929 году Островская сама два месяца провела в доме предварительного заключения. Возможно, ее арестовали в связи с делом отца. Софью Казимировну вскоре освободили, а К.В. Островского приговорили к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. Будут Соловки, Беломоро-Балтийский канал, Ухт-Печера, возвращение в Ленинград, скитания, новый арест, лагерь за Уралом. След Островского затерялся во время войны где-то в Чибью...

Единственным добытчиком средств к существованию для семьи осталась С.К. Островская. Она, как правило, нигде не служила. В домовой книге против ее имени написано: «Живет литературным трудом»[24]. В разные годы она по договору

[23] См.: ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 97.
[24] ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 1. Д. 2319. Л. 37.

оформлялась переводчиком (свободно владела французским, английским, польским) в разные учреждения: на завод «Светлана», в Институт Арктики, в университет, в Институт водного транспорта, в Аэрологический, Физиологический, Зоологический, Онкологический институты. Лишь некоторое время С.К. Островская была на постоянной должности переводчика в Гидрологическом институте.

Она имела репутацию квалифицированной переводчицы технических текстов, а также переводчика-синхрониста. Ее приглашали для работы на Иранский конгресс, на IV Гидрологическую конференцию Балтийских стран. Не стоит забывать: на международные конгрессы и конференции такого уровня допускались только такие переводчицы, которым органы имели основание доверять.

Однако в марте 1935 года опять был недолгий арест. Потом снова — физиология рыб, высшая математика, конвекционные токи. Заказов на литературные переводы не было. Частные уроки французского очень утомляли. В Торгсин ушли кольца, серьги, броши и т.д.

В самом конце войны Островская выполняла функции консультанта по работе с молодыми авторами в «Ленинградской правде». Писала сама стихи, эссе и романы, убеждая себя на страницах своего дневника: «Но все-таки когда-нибудь в советскую литературу я войду. Мне есть, что сказать» (запись от 24 января 1936 г.).

Этого не случилось. Ее поэтические переводы с французского и польского так и не были напечатаны. Если и выходили переведенные ею научные тексты, то без указания фамилии переводчика. Удалось обнаружить одну публикацию перевода Островской на английский — фрагмент поэтического цикла Анны Ахматовой «Cinque»[25]. Единственное, что из ее собственного творчества появилось в печати, это статья в «Ленинградской правде», написанная в лучших традициях советской журналистики: «Гений Великого Маршала товарища Сталина и блистательные победы Красной Армии уводят фронт все дальше и дальше от Ленинграда...» Там же о ленинградской блокаде пустыми трескучими словами: «Высокий и суровый пафос героической эпопеи Ленинграда...»[26] Известно, что готовила Островская по заказу газеты несколько статей, но опубликована была только эта, ничем не хуже и не лучше той, что осталась в машинописном виде в ее архиве: «Пройдя великими путями побед, стоя у ворот Берлина и на выходе к Адриатике, Красная Армия знает, чей гений и чья мысль окрыляли ее»[27].

К середине 1940-х годов С.К. Островская сумела стать своим человеком на вечерах и банкетах в Доме писателя.

Замуж Островская не вышла, хотя всегда пользовалась у мужчин успехом. В ранней юности это были знакомые мальчики и отставной генерал-майор, бывший

[25] См.: *Ostrovskaya S.K.* Memoirs of Anna Akhmatova's years 1944—1950 / Trans. from the Russian by Jessie Davies. Liverpool, 1988. P. 22.

[26] *Островская С.* Тема великого города. Ленинград в творчестве начинающих поэтов // Ленинградская правда. 1945. 26 янв. С. 4.

[27] См.: *Островская С.* Поэзия на фронте // ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 51. Л. 2.

петроградский полицмейстер князь Ф.А. Арутюнов. В 1921-м — комиссар Мурманской железной дороги И. Артемов. В 1922-м — писатель Е. Замятин. В 1930-е — крупный ученый, разработчик ракетных снарядов Б.С. Петропавловский, профессор-востоковед А. Калантар. Из дневника Островской узнаем и о тех, с кем у нее был легкий флирт, и о тех, к кому она сама была особо расположена. Но И.А. Боричевский еще в 1927-м записал в своем дневнике: «У Гинечки [имя, производное от слова «герцогинечка»] органическое отвращение к половой проблеме. Страшное вытеснение. Не отец ли тут причиной?»[28]

В разные годы своей жизни С.К. Островская общалась с выдающимися людьми, упомянутыми выше: Е. Замятиным, Б. Петропавловским, А. Калантаром, И. Гревсом, а также с этнографом А. Миллером, географом Ю. Шокальским, писателем Г. Гором, переводчиком Т. Гнедич, поэтом Анной Ахматовой.

Нет оснований не верить дневнику Островской в том, что люди, и знаменитые и безвестные, знакомством с ней дорожили. В подтверждение тому — фрагменты писем ее молодой приятельницы Евгении Берковской Эдуарду Островскому от 30 сентября и 25 ноября 1941 года: «Очень люблю Вашу сестру, она такая хорошая, что на бумаге высказать не хватит слов <...>. Я Вам говорю как другу, что мне очень и очень недостает Софьи Казимировны <...>. Без нее так скучно, не с кем посоветоваться, не с кем поговорить так, как хочется <...>. Она чудесный, добрый, отзывчивый человек»[29]. И, словно комментарий к письмам Евгении Михайловны, следующая дневниковая запись Островской: «Люди меня любят и идут ко мне. А мне люди нужны только как экспериментальный материал. Улыбаться же им и быть ласковой и доброжелательной мне ничего не стоит» (запись от 15 июля 1943 г.).

В старости Софья Казимировна продолжала окружать себя молодыми, многие из которых общение с ней высоко ценили.

Ниже приводятся фрагменты из записанных нами воспоминаний «молодых друзей» и знакомых С.К. Островской и опубликованных воспоминаний М.М. Кралина.

Жозефина Борисовна Рыбакова, искусствовед, из семьи близких друзей Ахматовой: «Софья Казимировна очень любила молодых. Вокруг нее был такой широкий круг людей, просто диво! <...> мы чувствовали себя ее детьми. Мы — это Саша Драницын, Саша Костомаров и я. Очень тепло относилась она к нам троим. Поездки с ней в Павловск до сих пор у меня в душе. Мне позволительно было прийти к ней в любое время, хоть ночью. Разрешалось рыться в ее книгах. Она могла и деньгами помочь, от продажи антикварных вещей. Религиозности я никогда у нее не

[28] ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 6. Блокнот № 26. Л. 23.
[29] Там же. Ф. 1448. Ед. хр. 110. Л. 2, 4.

ощущала, но она соблюдала польские католические традиции. И вообще могла подчеркнуть свою польскую гордость.

Когда Ахматова поняла ее роль в своей жизни, она общение с ней свела на нет. А мы, если и были, как теперь понимаю, под колпаком у нее, то, может, это нас и оберегало...»

Марина Витальевна Бокариус, филолог, хранитель книжного фонда музея-квартиры А.С. Пушкина на наб. Мойки, 12: «Софья Казимировна произвела на меня колоссальное впечатление. Через всю мою жизнь это пролегло... Человек, много перенесший, но с великим достоинством, с огромным обаянием. Красивая. Седая. В силах. Царственная. Миры ее были высокие. Огромный масштаб личности. Только о высших материях шла речь. О поэзии. А как она говорила о Боге! И молитву произносила особенно: не "Хлеб наш насущный", а "Хлеб **над** насущный". И сколько она терпела! Брат ее тогда еще был жив, он был психически болен и вел себя, как ребенок. Она ему игрушки покупала. Диван стоял в комнате, так весь этот диван был в игрушках...»

Анна Генриховна Каминская, искусствовед, внучка Н.Н. Пунина, воспитанница Ахматовой: «Она очень нуждалась. Приносила вещи продавать. Анна Андреевна помогала ей в этом. А со мной, когда я была еще маленькая, Софья Казимировна играла в фантастическую игру, которую я очень любила. Игра была по телефону: будто звонит мне китайский фокусник Ли-Фун-Чи. Начинала говорить она, а потом передавала ему трубку. Он плохо говорил по-русски, но рассказывал мне сказки. Да, Софья Казимировна была фантазеркой. Это она привела к нам тетю Женю Берковскую, безумно обездоленную. Анна Андреевна стала ее подкармливать — давала ей работу как машинистке. Так вот, Софья Казимировна уверяла меня, что тетя Женя раньше работала циркачкой. Был на Софье Казимировне особый флер. Любила она делать подарки. Дарила мне игрушки. Наверное, свои, старинные. Такие были старинные куклы — жених и невеста. Была она очень образованной. Бывало, Анне Андреевне нужно было что-нибудь выяснить, уточнить, она звонила ей. И всегда получала ответ. Помню, разговаривали они все о возвышенном. Помню, в конце 50-х она приехала в Комарово. Будка, дача — все казалось ей роскошью. Она давно уже никуда не выезжала. И все говорила: "Ах, какая зеленая травка!"

Лева [Л.Н. Гумилев] относился к ней подозрительно. Как-то даже скандал был — он требовал от Анны Андреевны не пускать ее в дом. Это было на Коннице, год 56-й — 57-й. Помню, принесли в тот день из магазина треску в томатном соусе под маринадом. Лева обвинял Софью Казимировну, Анна Андреевна тогда ее яростно защищала. Кончилось тем, что треска полетела в ведро...».

М.М. Кралин, литературовед: «Софья Казимировна любила молодежь <...>. Не знаю, когда она спала. Она была единственным человеком, которому можно было позвонить в любое время, хоть в два, хоть в четыре часа ночи. Она всегда сама брала трубку и бодрым, отнюдь не сонным голосом начинала беседовать. Она не толь-

ко любила рассказывать сама, но — что бывает много реже — любила и умела слушать других. <...>

Софья Казимировна его [Л.Н. Гумилева] очень любила, он ей платил тем же. Когда однажды я оказался со Львом Николаевичем в одном троллейбусе и сказал ему, что навещал С.К., он улыбнулся и спросил с нежностью: "Ну, как там поживает ma tante?" А надо сказать, что Лев Николаевич был недоверчив к людям, особенно к тем, в ком он подозревал стукачей <...>. Но Софью Казимировну он, кажется, не подозревал ни в чем. <...> [Далее речь идет о скрытых антисоветских настроениях.] Не знаю, были ли такие у С.К. Если и были, то она при мне их никогда не высказывала <...>.

Вызывали меня в связи с делом Михаила Мейлаха. <...> Дело в том, что Изабелл Тласти [английская славистка] в последний свой приезд в Ленинград оставила в квартире Софьи Казимировны целый чемодан с так называемой антисоветской литературой. Книги эти хранились в той, нежилой комнате, которая служила чем-то вроде склада. Софья Казимировна чувствовала себя настолько плохо, что уже год как не вставала с постели. М.Б. Мейлах занимался распространением этих книг, за что и был арестован. Софья Казимировна умерла от рака 19 апреля 1983 года. Думаю, что она до конца оставалась верна своей второй профессии, и КГБ не без ее помощи так легко раскрыло это дело»[30].

Р.Д. Тименчик, славист, профессор Иерусалимского университета: «Я был у Островской один раз вместе с Мишей Кралиным. Впечатление? Ничего зловещего. Как бы благородная ленинградская бедность. Память прекрасная. Харизмы не было, приходить еще раз не тянуло».

М.Б. Мейлах, филолог, историк культуры: «Софья Казимировна была человеком своеобразным. Я время от времени ее навещал, в течение последних лет пятнадцати ее жизни. Петербургский серый дом, поблизости от Бассейной... Познакомились мы "на почве Ахматовой", но она, по понятной теперь причине, о ней говорила мало.

Нет, в отношении меня она ни в чем не виновата, наоборот! У меня были запрещенные книги, томов двести, спрятанные у Софьи Казимировны, и никто об этом не знал и не узнал. Хранились они в отдельной комнатке, в двух чемоданах в платяном шкафу, за ее платьями, за пальто. Иногда я какие-то книги оттуда брал, давал близким друзьям, потом привозил обратно, и никаких "проколов" никогда не бывало. Когда она заболела и поняла, что умирает, она попросила их забрать — это и оказалось роковым. Перевезти их домой я не решился, не желая подводить моего отца. Отдал их одному человеку, был такой Гелий Донской, а тот оказался ненадежным, и меня арестовали — это произошло через два месяца после ее смерти. Пока книги хранились у нее, они, как показал опыт, были в полной безопасности, и я

[30] *Кралин М.* Софья Казимировна Островская — друг или оборотень? // Кралин М. Победившее смерть слово. Томск, 2000. С. 232, 235, 236, 240, 241.

вместе с ними, а ведь сама она рисковала. Возможно, поскольку (как мы узнали гораздо позже) ее совесть была отягчена, это ей служило для какой-то самореабилитации. К советской власти она открыто выражала отвращение. А тогда, в старое время — уверен — она просто попала в лапы ГПУ и справиться с этим не смогла. Но об этом никто не знал, ведь в противном случае я бы ей такие книги не доверил. Не знал я и того, что к ней ходит Кралин, которого я видел раз в жизни, но который, будучи впоследствии допрошен по моему делу, дал доносительские показания, что в моих публикациях, напечатанных за границей, я-де превращаю советскую поэтессу Ахматову в антисоветчицу, например, вместо "Какая есть, желаю вам другую, / Получше, больше счастьем не торгую, / Как шарлатаны и оптовики" предлагаю чтение: "...как комиссары и большевики". Такой вариант действительно был известен. Эти показания я читал, они мне были предъявлены. Сами невежественные следователи никогда бы до этих текстологических нюансов не докопались. Это в своих мутных писаниях Кралин скрывает, зато в доносительстве благодарно обвиняет Софью Казимировну <...>. Истории чемоданов с книгами он, по крайней мере, не знал.

Вообще же репутация у Софьи Казимировны была несколько двойственная — с Ахматовой они все-таки друг друга недолюбливали. Сама Ахматова, по крайней мере на моей памяти, о ней никогда не говорила. Софья Казимировна не принадлежала к ее кругу, где ее называли — решусь это привести — "помойная яма Ахматовой". Видимо, Софья Казимировна слишком любила сплетни. Это относится к периоду до постановления. [Речь идет о постановлении Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года «О журналах "Звезда" и "Ленинград"».] Она рассказывала, что, как только о постановлении стало известно, она тотчас же примчалась к Ахматовой, чуть ли не с цветами, а та захлопнула перед ней дверь. Но после постановления Ахматова ждала ареста и вообще никого не принимала.

Софья Казимировна была человеком со своим стилем поведения, достаточно экстравагантным. В этом доме никогда, даже днем, не раздвигались портьеры — тяжелые, не пропускавшие дневного света. Над столом, посреди комнаты, висела лампа под абажуром, освещавшая только этот стол, а в комнате стояла полутьма. За столом возвышалась сидевшая в кресле Софья Казимировна с папиросой в руке, а по другую сторону, по крайней мере по вечерам, сидел Саша Драницын, сын ее приятельницы, который никогда не произносил ни слова — кругленький, похожий на Чичикова, как его рисовал Агин, но с каким-то вечно испуганным лицом... <...>. Лицо у Софьи Казимировны было не просто бледным, а каким-то мертвенно-бледным, заостренный нос... было во всем этом, включая ее слепоту, что-то инфернальное, как в гостях у Бабы-яги, доброй помощницы... Общение с ней — это были полупаузы, полунамеки, недоговорки, в памяти почти ни одного ее рассказа о чем бы то ни было не осталось... Любила французское присловье, оно есть у Беранже, которое ничего не значит, поэтому может означать всё — etpa-ta-ti, etpa-ta-ta, — боюсь, для нее это означало что-то вроде итога ее жизни... Да, кстати, она не скры-

вала, что она старая дева: когда она смертельно заболела — это была гинекологическая онкология, — она говорила: “Господи, за что же мне это?!”...»

И еще один человек, знавший Софью Казимировну раньше многих других. Это В.Н. Рихтер. Мы встречались с ней незадолго до ее смерти. Маленькая Валерка бывала в доме Островских, когда, уже после революции, ее мать выполняла у них роль приходящей прачки, — вместе с ней она носила на Преображенскую выстиранное белье. Дичилась, пряталась за мамину юбку, почти не отвечала на вопросы. Валерия Николаевна помнила Анастасию Францисковну — «прическа блямбой вверх», помнила, что красавица Софья Казимировна тогда поддразнивала ее: «Мадам “Ага”, мадам “Угу”».

Софья Казимировна рассказала в дневнике, как приютила она у себя дома 18-летнюю Валерку, чудом оставшуюся живой в развороченной снарядами блокадной очереди. Взяла над ней своеобразную опеку: не гнала от себя, позволяла присутствовать при гостях, пыталась ее образовывать. Девочка с готовностью выполняла все поручения. Иногда, как пишет в дневнике Софья Казимировна, «восторженно и несмело» называла ее мамой.

По блату Островская устроила Валерку в Герценовский институт на французское отделение. Когда же выяснилось, что учебу ей там не потянуть, попробовала определить ее в Энергетический техникум и, наконец, помогла закончить Дошкольное педагогическое училище.

Разговаривать со старой и совершенно ослепшей Валерией Николаевной было нелегко: она будто ждала какого-то неприятного вопроса. Пыталась увести от него разговор в сторону, со сдержанным достоинством повторяла, что всегда помнила свое место и никаких подробностей из жизни Софьи Казимировны знать не могла. И вообще: «Зачем ворошить старое? Да, действительно, Софья Казимировна — женщина была язвительная, недаром она говорила: “Я манную кашку могу приготовить с перцем”».

Потом Валерия Николаевна вдруг сказала: «Софья Казимировна хотела, чтобы я всегда ей принадлежала. Я поэтому и замуж не вышла. Я не скоро освободилась от этого ига...»

В воспоминаниях об Островской отражаются личности, судьбы, непростые отношения друг с другом самих воспоминателей. В чем-то они единодушны, в чем-то противоречат друг другу, но в результате сопоставления их рассказов вырисовываются некоторые черты личности Софьи Казимировны.

Многие ощущали ее харизму. Она умела очаровывать и мистифицировать. Отвечая на ожидания разных людей и учитывая разную степень их прозорливости, демонстрировала кому — истовую религиозность, кому — антисоветские настроения, а кому — просто благородную ленинградскую бедность. Нелюбящая, но благодетельствующая, Софья Казимировна и в старости оставалась ловцом душ.

С конца 1960-х Островская начала слепнуть. Умерла она в 1983 году.

Дневник С.К. Островской охватывает более полувека. Иногда Островская записывает много и подробно, открывая дневник практически ежедневно, но потом вдруг в нем появляются лакуны в несколько месяцев, а то и в несколько лет. На страницах дневника многие десятки имен, сюжетные зарисовки, эскизные или подробно выписанные выразительные портреты.

Хотя по полноте и содержательности записей о самых разных сторонах общей российской, а позже советской жизни дневник С.К. Островской не идет в сравнение с уникальным дневником Л.В. Шапориной[31], тем не менее фон этой жизни прорисован здесь вполне отчетливо. Но, в отличие от дневника Шапориной, крайне негативно и бескомпромиссно оценивающего многие проявления советской действительности, дневник Островской представляет собой относительно этой действительности причудливое сочетание острых наблюдений и подчеркнуто лояльных оценок. К примеру, Софья Казимировна наряду с нелицеприятной характеристикой Ленинградского отделения Союза писателей или ироническим замечанием о социалистической совести не забывает упомянуть об увлекательном чтении журнала «Под знаменем марксизма», одобрить экспозицию музея Ленина и назвать настоящим семейным праздником день выборов в Верховный Совет. Казалось бы, следует противопоставить предельной искренности Шапориной лицемерие Островской. Но это не лицемерие в привычном смысле этого слова, это скорее игровые правила, которые Островская время от времени принимает («ведь “актерка” же я!» — запись от 4 октября 1916 года из детского дневника Сони Островской).

Современницы, Островская и Шапорина (Шапорина старше на 23 года), обе «из бывших», обе прекрасно образованны, владеют несколькими иностранными языками, не мыслят свою жизнь вне искусства. Обе воспитывались в традициях христианской культуры (Шапорина — православной, Островская — католической), однако Шапорина на всю жизнь осталась искренне верующей и воцерковленной, Островская же прошла через увлечение восточными культами, через эзотерику и спиритуализм[32].

Вообще же, культурный контекст ее жизни широк и не детерминирован никакими идеологиями. Эстетические предпочтения направлены в сторону символизма. Она и сама пытается писать в этом ключе, но тут ей часто изменяет вкус, появляется ложная многозначительность.

Ценителем поэзии Софья Казимировна была истинным. Стихи Ахматовой и Гумилева с детства помнила наизусть. Раньше, чем Ахматова, раньше, чем Лозинский, заметила особый переводческий дар Татьяны Гнедич. 25 августа 1945 года на странице дневника вспомнила день смерти Николая Гумилева. Ахматовская «Поэ-

[31] *Шапорина Л.В.* Дневник / Вступ. статья В.Н. Сажина, подгот. текста, коммент. В.Ф. Петровой и В.Н. Сажина. М., 2011. Т. 1—2.

[32] В одной из тетрадей Островской осталось описание спиритического сеанса в ее доме 26 января 1927 г. (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 60).

ма без героя» принесла ей «почти мучительную радость» (запись от 28 сентября 1944 г.).

И Шапорина и Островская считали себя патриотками, но нужно отдать должное Островской: ее взгляды много свободнее — никаких проявлений антисемитизма и национал-шовинизма в ее дневнике нет и в помине.

В дневнике Шапориной отражено множество событий и частной, и общественной жизни, и о каждом Шапорина пишет с глубокой личностной причастностью. Дневник Островской иного жанра — здесь немало места занимают размышления его автора: Софья Казимировна то казнит себя, то эстетствует, то сокрушается о несовершенстве мира; иногда на страницах ее дневника — яростные взрывы тоски, иногда — мутные потоки скуки, порой — мистические откровения. Причем мистика соседствует с иронией, а иногда и с цинизмом[33]. (Нужно отметить, что тотальная ирония Островской, направленная и на других, и на себя, никогда не касается двух человек, единственных, кого она любит, — мать и брата.)

Дневник — отражение ее эгоцентричности. О чем бы она ни говорила, для нее это всегда повод продемонстрировать свой блестящий интеллект, злую иронию, утонченный вкус. В своем окружении она не видит себе равных. Постоянно подчеркивает собственную особость, презрение к обывателю, «заводящему патефоны и детей» (запись от 13 декабря 1935 г.). Островская переписывает в свой альбом цитату из «Катехизиса революционера» нигилиста Сергея Нечаева: «Революционер не имеет ни личных интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни даже имени. Все в нем подчинено единственным интересам, единой мысли, единой цели — Революции»[34]. Способность к подобному отречению — привилегия исключительности. Островская претендует на исключительность. Причем неважно, с какой идеологией может быть связана эта исключительность. Островской почти безразлично, что надеть на себя — корону Елизаветы Английской, которая предпочла замужеству обручение с нацией, или же шинель Дзержинского, которому позволено очищать мир, «против фамилий ставя крестики “налево”» (запись от 30 декабря 1946 г.).

И Шапорина и Островская — свидетели февральских событий 1917 года и участницы блокадной трагедии, обе близко познакомились с всесильными органами. Причем Островской в ее молодые годы даже прочили карьеру в этих органах, и сама она три раза побывала в их застенках. Шапорина чудом избежала ареста и тюрьмы, но судьбы близких ей людей были исковерканы репрессиями. И об этом она пишет в своем дневнике с болью и гневом.

В дневнике же Островской встречаются лишь короткие, почти протокольные тексты, без всякой эмоциональной окраски говорящие о характерном явлении в

[33] Цинична Островская даже по отношению к тем, с кем вместе служит советскому правосудию (см. запись от 10 октября 1921 г.).

[34] ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 85.

жизни советской страны: «Профессор Миллер арестован уже второй месяц», «Александр Александрович Никифоров, секретарь Гидрологического института. Расстрелян», «Ксения в катастрофе — на днях арестован ее муж». «Говорят, что Пан арестован. И Артемов тоже. И Мессинг тоже. Удивления во мне нет никакого», «О Т.Г. [Татьяна Гнедич] — дурное. Говорят, что арестована. Possible» (записи соответственно от 24 ноября 1933 г., 21 мая 1934 г., 22 апреля 1937 г., 13 декабря 1937 г., 8 января 1945 г.).

Несколько страниц дневника Шапориной посвящены тому, как вербовали ее в осведомители (сейчас мы прекрасно знаем, что вербовали многих и многих). Она пишет об этом, как всегда, откровенно и, как всегда, наивно-отважно. Не скрывает своей брезгливости к следователю, не скрывает страха и опасений за собственную жизнь, рассказывает, что вынуждена была подписать бумагу, ибо «Paris vaut bien une messe»[35]. А дальше — как хитрила с неумным энкавэдэшником, как удалось ей его обыграть.

Выше уже отмечалось, что в тексте дневника Островской нет и намека на то, как и когда она стала агентом. И мы, не располагая документами КГБ, не можем дать по этому поводу определенного ответа. Зато можем сделать некоторые предположения по поводу ее мотивов.

Рефреном через весь дневник проходят в разных формах слова «наблюдать» и «любопытство». Одиннадцатилетняя Соня Островская пишет: «буду жить и наблюдать» (запись от 15 августа 1913 г.). «К людям – холодноватое и сухое любопытство всегда анатомического порядка» (запись от 18 ноября 1949 г.). Объекты наблюдений: собственные родители, учителя, одноклассники, коллеги по службе, случайные знакомые, близкие друзья. Даже так: «С очень жестоким, нехорошим и хищным любопытством наблюдала за кривой оскорбленного, таящегося страдания» (запись от 10 октября 1921 г.). Даже во время блокады: «Несмотря ни на что, вижу, оцениваю, наблюдаю» (запись от 8 мая 1942 г.). У Софьи Казимировны цепкий взгляд, порой жесткое перо, но все люди, равно как и все события, интересны ей постольку, поскольку они являются для нее «экспериментальным полем для наблюдений над человеком и человеческим» (запись от 15 октября 1942 г.).

Как резюме запись от 13 октября 1946-го: «Прав др. Р[ейтц], сказавший на днях: – Любопытство – ваша единственная связь с жизнью».

Доктор Рейтц неправ — С.К. Островской движут и другие мотивы. Она сама пытается их осмыслить, размышляя о личности человека, предпринявшего в 1764 году попытку освободить шлиссельбургского узника, свергнутого императора Ивана Антоновича: «Какая особенная психологическая загадка — офицер Мирович, единственный заговорщик и освободитель! Авантюрист, мечтатель, поэт, тайный

[35] «Париж стоит мессы» *(фр.)*. См.: *Шапорина Л.В.* Указ. соч. Т. 1. С. 340.

агент императрицы или чужеземного государства, сумасшедший или влюбленный во власть? Ненависть к Екатерине, любовь к приключениям, жажда славы или бредовая преданность государю, которого никто не знал и не помнил? А может быть, искаженные дороги к вольнолюбию и народовластию?»[36]

Конечно, как и все в стране, Островская жила в атмосфере тотального страха, конечно, безумно боялась за своих близких, и все-таки представляется, что ее к секретному занятию обратил не только, да и не столько, страх, сколько любовь к самому этому искусству. Манил искус тайной власти, притягивала романтика сыска, увлекала игра, авантюра, не давала покоя страсть к интриге, прельщало амплуа ловца душ. И постоянно тяготила нереализованность, мучили не видящие себе выхода творческие порывы. Перечитывала Евангелие, «нашла о себе: дано было рабу серебро, а он не умножил его» (запись от 8 сентября 1945 г.). Терзала зависть по отношению к тем, кто владел высоким даром и реализовал его.

Островская считала себя «музой» Татьяны Гнедич: подсказала ей тему и образ «жизнеопасного сектора», где страх прогулок связан не с артобстрелами, а с воспоминаниями. Но «блестящие октавы» создает обо всем об этом не она, а Гнедич!

Всеволод Рождественский делился с Островской своими планами о будущей мемуарной книге «Шкатулка памяти». Но она-то знает, какая у нее у самой мощная память и острая наблюдательность!

Островская скромно правила ахматовскую рукопись «Нечета» — ставила пропущенные запятые. А на вечере памяти А. Блока не ее, а Ахматову встречают бурей оваций — «встают, хлопают, неистовствуют, ревут, как когда-то на Шаляпине» (запись от 7 августа 1946 г.).

Дневник Шапориной писался без всякой оглядки на возможного читателя, Островская ведет дневник для того, чтобы заявить о себе, пусть до поры до времени никто об этом и не подозревает. Она придает столь большое значение своим дневниковым записям, что в последние годы жизни поручает доверенным людям сделать с этих рукописей несколько машинописных копий.

Дневник С.К. Островской в составе ее архива после ее смерти был передан на хранение в Рукописный отдел Российской национальной библиотеки дочерью ее знакомого историка С.Н. Драницына[37], О.С. Драницыной. Единый фонд С.К. Островской и С.Н. Драницына имеет номер 1448. Архив Островской — это не только ее дневники, но и эпистолярные материалы, альбомы, тетради, отдельные листы с

[36] Запись сделана в тетради Островской с набросками и рабочими записями (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 22. Л. 10, 11).

[37] Сергей Никанорович Драницын (1879—1956) — историк-марксист, автор книги «Польское восстание 1863 г. и его классовая сущность» (1937). Островской могла быть любопытна сама тема этого исследования, так как ее предки и по материнской, и по отцовской линиям имели непосредственное отношение к этому восстанию.

записями цитат, ее собственных и чужих стихотворений, снов, с отрывочными заметками дневникового характера.

Первая запись в дневниковых тетрадях С.К. Островской датирована 1911 годом, последняя — 1953-м. Писала Островская чернилами и карандашом в тетрадях: сначала в тонкой ученической (1911), а затем в общих, под коленкоровыми обложками или в картонных переплетах (1913, 1915—1917, 1933—1934, 1937—1941, 1942, 1942—1943, 1943—1944, 1944—1947, 1950). Иногда писала на отдельных листах (1921, 1944, 1953), вкладывая затем их в тетради, соблюдая хронологию. Самые подробные записи — в дневниках военного времени. Иногда своим дневникам Островская давала названия («Первая тетрадь войны», «Вторая тетрадь войны»), иногда впоследствии вписывала перед дневниковым текстом поэтические эпиграфы. Кроме того, записи дневникового характера встречаются в тетрадях и альбомах Островской между другими записями. В тетради за 1927—1928 годы в основном содержатся записи снов.

В конце жизни С.К. Островская при помощи друзей сделала машинописные авторизованные копии рукописного дневника. Машинописный текст в основном идентичен рукописному, но есть и некоторые различия. Детские записи за 1911 и 1915 годы не отражены в машинописи, зато включены записи с отдельных листов, не вложенных в тетради для дневника, записи снов и стихотворения Островской из других тетрадей и альбомов. Кроме того, Островская внесла в машинопись описание своих первых встреч и бесед с Ахматовой; записи за 1944 и 1945 годы предварила несколькими эпиграфами, а в конце дневника поместила свои стихотворения, подводящие итоги ее жизни (последнее датировано мартом 1968 г.). Таким образом, машинописный текст дневника Островской является позднейшей (подготовленной для публикации?) композицией.

Весьма значительное место здесь занимает тема Ахматовой. Островская познакомилась с Ахматовой в конце августа 1944 года, встречалась на вечерах в Доме писателя, 21 сентября впервые была у нее в Фонтанном доме. Целому ряду своих записей об Ахматовой придала композиционную законченность.

Островская словно хочет оставить себе прерогативу знать об Ахматовой все, продемонстрировать свои знания тем, кого это сегодня особенно интересует, а может, и передать потомкам. Она записывает за Ахматовой брошенные ею реплики о поэзии, о балете, о Всеволоде Рождественском, Вере Инбер, Алексее Толстом или, например, сказанные ею вскользь слова о праве выбора смерти: «— Нет, конечно, нельзя. И в Евангелии об этом есть. Ну, что вы, разве можно!» (запись от 26 декабря 1944 г.).

Общение с Ахматовой во многом стало определять содержание жизни Софьи Казимировны. Представляется, что Ахматова самим своим существованием мучила ее: «Видеть эту женщину мне всегда тревожно и радостно. Но радость какая-то причудливая, не совсем похожая на настоящую радость» (запись от 28 сентября 1944 г.).

В дневнике Островская не раз говорит о своем сложном, неоднозначном отношении к Ахматовой: и восторженная влюбленность, и одновременно четкая и осторожная наблюдательность мемуариста.

Встречаются записи, которые почти дословно совпадают с текстами агентурных записок, процитированных в статье бывшего генерала КГБ О. Калугина. Например, в дневнике о том, что августовское постановление ЦК только прибавило Ахматовой славы, а если бы власти ее облагодетельствовали, то был бы обратный результат и стали бы все говорить (далее Островская записывает за Ахматовой): «...Зажралась — какой же это поэт! Просто обласканная бабенка» (запись от 26 октября 1946 г.). В донесении практически буквально переданы слова Ахматовой: «Все бы говорили: “Вот видите: зажралась, задрала нос. Куда ей теперь писать? Какой она поэт? Просто обласканная бабенка”»[38].

Ничего компрометирующего в записанных Островской высказываниях Ахматовой нет — Ахматова при разговорах на опасные темы никогда не теряла самоконтроля. Калугин цитирует ее слова из очередной агентурной записки: «Все так у нас выдрессированы, что никому в нашем кругу не придет в голову говорить крамольные речи. Это — безусловный рефлекс. Я ничего такого не скажу ни в бреду, ни на ложе смерти»[39].

Известен рассказ Т.Ю. Хмельницкой о ее встрече с Ахматовой в 1944 году в доме Островской: «Зашел разговор о необычайно смешных проявлениях патриотизма — французскую булку переименовали в городскую, батон западный — в городской. Я об этом отозвалась очень насмешливо. И вдруг, к моему крайнему удивлению, А.А.А., гордо закинув голову, отчитала меня, прямо как непристойную девчонку. Она сказала: “Как вы можете так говорить, когда страна на краю гибели, когда мы окружены врагами, когда естественно национальное чувство!”»[40]

В дневнике Островской: «Ахматова заботится о своей политической чистоте» (запись от 28 сентября 1944 г.). В донесении: «Заботится о чистоте своего политического лица»[41]. В дневнике: «Нетленным и неизменным пронесла Ахматова через все годы и свой русский дух, и свою любовь к России» (запись от 17 апреля 1945 г.). В донесении: «Очень русская. Своим национальным установкам не изменяла никогда»[42].

В отличие от Анны Ахматовой наивная Татьяна Гнедич давала основания для отнюдь не безобидных агентурных сообщений. О том, что долгие годы рядом с ней находился секретный сотрудник всесильных органов, она догадалась только спустя какое-то время после своего ареста.

Трезво оценивая вероятность наличия агентов секретных служб в своем окружении, Ахматова, по свидетельству Иосифа Бродского, предпочитала иметь дело с

[38] *Калугин О.* Указ. соч. С. 77.
[39] Там же. С. 78.
[40] Цит. по: *Любегин А.* Письма Северной Пальмиры // Нева. 1997. № 8. С. 198.
[41] *Калугин О.* Указ. соч. С. 76.
[42] Там же.

доносчиками профессиональными. «Особенно, если тебе нужно сообщить что-либо "наверх", властям. Ибо профессиональный доносчик донесет все ему сообщенное в точности, ничего не исказит — на что нельзя рассчитывать в случае с человеком просто пугливым или неврастеником»[43].

Не обнаруживался компромат, но агентура продолжала работать: органы были заинтересованы в том, чтобы постоянно держать «объект» под прицелом, чтобы знать все про его частную жизнь. Это, как доверительно сообщил Калугин, и есть «маленькие кнопочки, необходимые КГБ для того, чтобы можно было вовремя нажать, в удобное, политически целесообразное время»[44].

Да, Ахматова не теряла бдительности, но это не исключало ее интереса к Софье Казимировне. Оправдался расчет тех, кто старался внедрить в ахматовское окружение активных и талантливых агентов: Ахматовой нужен был близкий человек, который мог бы заполнить пустоту, образовавшуюся после конфликта с Л.К. Чуковской, блокадных потерь и недавней личной драмы — разрыва с В.Г. Гаршиным.

Вероятно, Островская импонировала Ахматовой и образованностью, и ироничностью, и, что, может быть, всего важнее, той внутренней независимостью от внешних моральных установлений, что характерно было для Серебряного века, времени ахматовской молодости. «Здесь цепи многие развязаны...» — как писал когда-то Михаил Кузмин о «Бродячей собаке».

Она стала почти ежедневно бывать у Островской на улице Радищева. Об этом иронично в письме Н.Н. Пунина к дочери в июле 1948 года: «Живет она [Анна Андреевна] нормально: по утрам сердечные припадки, по вечерам исчезает, чаще всего с Софьей Казимировной»[45].

Хотя известно, что Островская была непосредственным свидетелем, по крайней мере, одной из встреч Ахматовой с Исайей Берлиным[46], в ее дневнике об иностранном визитере не упоминается, и вообще там отсутствуют записи за соответствующие даты. Почему — можно только предполагать.

В то же время в архиве Островской сохранился документ, свидетельствующий о том, что в первой половине 1946 года Ахматова именно с Островской, как ни с кем другим, ощущала самую большую духовную близость. Кроме того, этот документ дает материал для творческой биографии Ахматовой.

Речь идет об ахматовском автографе на 10-й странице № 3/4 журнала «Ленинград» за 1946 год[47]. Здесь были опубликованы новые стихи Ахматовой, написанные под впечатлением встреч с Берлиным, — «Пять стихотворений из цикла "Любовь"». В 1960 году, составляя свою «Седьмую книгу» (которая в 1966 году в несколько измененном составе вошла в ее последний сборник «Бег времени»), Ахматова вклю-

[43] Цит. по: *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 251.

[44] *Калугин О.* Указ. соч. С. 76.

[45] *Пунин Н.* Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000. С. 412.

[46] См.: *Копылов Л., Позднякова Т., Попова Н.* Указ. соч. С. 41.

[47] ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 167.

чила туда эти стихи под названием «Cinque» [«Пять». — *ит.*] и предпослала к ним эпиграфом последние две строки из стихотворения Шарля Бодлера «Мученица»: «Autant que toi sans doute il te sera fidèle, /Et constant jusques à la mort» [«Как ты ему верна, тебе он будет верен/ И не изменит до конца» (*фр.*). Пер. А. Ахматовой].

О том, что она уже в 1946 году предполагала назвать этот цикл «Cinque», что соотносила его поэтическую ситуацию с поэтической ситуацией бодлеровской «Мученицы», что делилась этим с Островской, говорит следующий факт: Ахматова своей рукой вычеркнула на странице журнала напечатанное название и вставила слово «Cinque», на полях записала целиком последнюю строфу из Бодлера:

«Ton époux court le monde, et ta forme immortelle
Veille près de lui quand il dort;
Autant que toi sans doute il te sera fidèle,
Et constant jusques à la mort.
C.B.»[48].

И далее: «С.К.О./ 6 мая / 1946 / а».

Более того, в верхний угол журнальной страницы вписано рукой Ахматовой: «And thou art distant in humanity. Keats»[49].

Через десять с лишним лет эту строку из Китса Ахматова поставила эпиграфом к циклу «Шиповник цветет. *Из сожженной тетради*», тоже имеющему отношение ко встрече и «невстрече» ее с Исайей Берлиным.

...15 августа 1946 года датирована составленная по агентурным данным справка начальника Управления МГБ Ленинградской области Л.О. Родионова на Ахматову: «<...> Особого внимания заслуживает тот интерес, который проявил к А. первый секретарь Британского посольства в Москве Берлин, доктор философии и знаток русской литературы»[50].

С осени 1946 года в дневниковых записях Островской об Ахматовой все более начинает прорываться раздражение. Она прямо-таки с торжеством фиксирует ее слабости. Старательно снижает образ.

Может быть, недоброжелательность Островской по отношению к Ахматовой подсознательно была связана для нее со стремлением самооправдания, «самореабилитации» (термин, предложенный по другому поводу М.Б. Мейлахом). Или, напротив, она была уязвлена тем, что сила того магнита, что притягивал к ней Ахматову, начала постепенно ослабевать.

Т.Ю. Хмельницкая вспоминала, как в конце 1950-х Ахматова спросила ее: «А вы знаете, что хозяйка дома, в котором мы познакомились, посадила целый куст лю-

[48] «Твой муж скитается везде, но образ вечный
Твой бдит над ним, когда он спит;
Как ты ему теперь, и он тебе, конечно,
До смерти верность сохранит. C[harles] B[audelaire]» (*фр.*). (Пер. Н. Гумилева.)

[49] «И ты далеко в человечестве. Китс» (*англ.*) — строка из 39-й строфы поэмы Джона Китса «Изабелла, или Горшок с базиликом».

[50] Цит. по: *Копылов Л., Позднякова Т., Попова Н.* Указ. соч. С. 118.

дей?» — и Хмельницкая рассказала о своем последнем разговоре с Островской: «Я встретилась с полькой — подругой Гнедич. И она мне сказала: “Знаете, как мне тяжело! Меня считают снимательницей скальпов”. И заплакала. А я все-таки насторожилась. Думаю: что-то неладно. Ничего не сказала, но перестала с ней встречаться»[51].

Однако Софью Казимировну Островскую продолжали окружать люди. Она им помогала, мистифицировала их и очаровывала. «Людьми забиваю пустоты, но пустоты продолжают быть — великолепные, холодные, замаскированные буднями» (запись от 1 марта 1950 г.).

По свидетельству О. Калугина, последнее агентурное сообщение в КГБ об Ахматовой датировано ноябрем 1958 года[52].

В литературных текстах поздней Ахматовой можно расслышать эхо присутствия в ее жизни С.К. Островской. Это прежде всего незавершенное Лирическое отступление Седьмой элегии (1958), самой трагической из Северных элегий Ахматовой, которую она называла еще «О молчании» или «Последняя речь подсудимой», и стихи «Из заветной тетради», датированные 22 июля 1960 года.

Но стоит обратить внимание и на пародийно-гротескную линию пьесы «Энума Элиш» — фрагменты про буфетчицу Клаву и 113-ю квартиру (начало 1960-х). Бесспорно, эта квартира напоминает «нехорошую квартиру» из «Мастера и Маргариты» и «коммуналки» из булгаковских рассказов, а также черты московского быта Ахматовой[53], но представляется, что здесь еще налицо игра Ахматовой с реалиями жизни Софьи Казимировны. В названии адреса — ул. Радио — будто недоговоренное название улицы Радищева, в фамилии стариков Вэнав — отголосок фамилии Тотвен, близких знакомых Островской, кое-кто из которых, как и один из героев этого фрагмента, уехал в Польшу; в голубе мира с оливковой ветвью в клюве, другими словами, — «миротворце» — спрятанный перевод имени «Казимир», ну а «неграмотная» Клава и генерал-лейтенант МГБ Самоваров — разные грани главного прототипа.

В 1963 году, работая над статьей «Пушкин в 1828 году», Ахматова обращается к образу Каролины Собаньской, женщины, которая водила поэта «по опустошенным кругам своей обугленной души»[54].

Татьяна Позднякова

---

[51] Цит. по: *Любегин А.* Указ. соч. С. 200.

[52] *Калугин О.* Указ. соч. С. 78.

[53] См.: *Пахарева Т.А.* Отголоски булгаковского романа в ташкентской драме Ахматовой // Творчество Михаила Булгакова: к столетию со дня рождения писателя. Киев, 1992. С. 50; *Подберезкина П.Е.* Из комментария к драме «Энума Элиш» // «Я всем прощение дарую...»: Ахматовский сборник. М.; СПб., 2006. С. 470.

[54] Анна Ахматова о Пушкине. М., 1989. С. 231.

ДНЕВНИК

1913 год

Август 11, воскресенье 1913 года

Опять взялась за дневник. Боюсь только, долго ли он протянет. Нет, мне очень хочется, чтобы он жил весь год. Милый дневник! Буду аккуратно записывать, что я делала, что думаю и т.п. Сегодня я встала, кажется, в 9 часов утра (не вечера, конечно). Папа[1] в Одессе, в Балаклаве, в Москве, так поэтому я сплю у мамы[2]. Хорошо. Эту ночь буду спать у себя. Завтра папа приедет. После утренней игры с Эдиком[3] мы начали расставлять кубики, делали из них крепости и хотели играть солдатиками в войну, но вскоре раздумали и переделали из крепостей станции. У Эдика два поезда, и мы их передвигали со станции на станцию, конечно, с соблюдением станционных правил. Моя станция называлась «Домбровичи», Эдика — «Стрелецкая». Но скоро игра мне надоела, и я ушла читать романы Соловьева[4], преспокойно заявив оторопевшему Эдди, что я удивляюсь, как может он почти целые дни проводить за этой глупейшей игрой. Обед состоял из следующих блюд: супа со звездочками, цыплят с рисом и превосходного арбуза. После обеда и чая мама отпустила нашу прислугу «гулять», и мы начали перебирать открытки, вставлять их в альбомы, отбирать для переписки и т.д. Чуть не забыла! До этого мы получили письма. Мама от тети Софочки[5], я от Ани Черкасовой и несколько открыток нашей Михалине из Америки. Когда мы окончили рассматривать открытки, то я принялась писать рассказ «Няня», Эдик строил из кубиков башни, а мамуся смотрела в окно. Вскоре я прервала писание и начала раскрашивать. Но, не сделав и нескольких штрихов, попросила маму докончить открытку, а сама принялась читать. Эдди, соблазнившись, собрал кубики и стал раскрашивать «Новый Сатирикон»[6] № 10. По сю пору занимается им. У мамочки открытка, изображавшая барышню, нюхающую цветы, вышла очень удачно. Несколько открыток подрисовала и я, хотя плохо, и, рассердившись, начала писать дневник. Только что был ужин. После еды я с Эдди играла в домино и в рич-рич[7]. Потом пошли играть в гостиную в концерт. Я пела и разыгрывала трогательные сценки, которые приводили Эдика в восторг и в умиление. Мама весь вечер грустила, и глаза то и дело набегали слезами. Бедная! Опять, видно, что-нибудь вспомнилось?! Легла я

поздно, 11¼ час. Слыхала, как Михалина пришла и как мама с ней разговаривала (Какой ужас, если бы это папа знал, задал бы нам перцу). Хотя погода была весь день хорошая, но мы никуда не ходили, так как в праздничные дни везде масса народу и страшная духота во всех закрытых помещениях.

Августа 12, понедельник

Ура! Погода чудная! Но самое главное, это то, что мой дневник дожил [до] второго дня. В детской окно открыто и желтые сторы спущены. Хорошо! Папа еще не приехал, и мама получила телеграмму следующего содержания: «Приехал Москву, среду предполагаю быть дома. Целую. Казимир». Конечно, без точек и запятых, как я наставила. Но еще неизвестно, приедет ли или нет. Сегодня утром после кофе я взялась учить Эдика музыке, но он (олух) ни капли не понимает и, Бог знает, какие антраша выкидывает при этом ногами. Потом раскрасила несколько открыток с необычайным терпением, и кажется, довольно хорошо. Написала письмо Альме Самойловне. Смешной эпизод рассказала нам наша «умная». Вчера она возвращалась домой из Народного дома[8], села в трамвай, как вдруг какая-то барышня говорит ей: «Мамзель, у вас нос в саже». Она, как приехала домой, увидела в зеркале носину и сама не знает, где вымазалась сажей. Вот «умная».

До обеда мы сыграли в вагоны, в домино и в рич-рич. После я составляла каталог альбома № 1, что заняло немало времени. Мама тете письмо пишет и опять грустная, почти плачет. Это так неприятно! Фу! Ах! Вечером в 7 часов мы поехали в Народный дом, в зрительном зале хорошо сыграли «Царь-плотник»[9]. Царя Петра довольно сносно играл Энгель-Крон. Грим был сделан превосходно. Больше всего нравился мне Кустов, игравший саардамского бургомистра Ван Бетт, регент хора (уморительный), играл Дворищин. Русский посол адмирал Лефорт (Ксавицкий) и французский, маркиз де Шатенеф (Балашев) вели роли хорошо, но несколько принужденно. Зато английский посол, лорд Синдгем, играл с настоящим английским равнодушием и невозмутимостью. Прелестно исполнял роль Петра Иванова (Лавров). Ни одна из женщин мне не понравилась. Ничего себе играла г-жа Харитонова, исполнявшая роль вдовы Бровэ. Но Мария, племянница бургомистра (Феррари), просто противна со своим слащавым голоском и длинным лицом (только манеры непринужденны). Мы сидели в 4-м ряду (2 р. 50 — место), мой номер был 111, мамин — 112. Вернулись мы лишь в 1 час ночи. Ага! Еще танцевали одну картину из балета «Лебединое озеро», но это мне не понравилось, так как почти у всех балерин были кошачьи

ужимки. Мне нравились их прыжки и туры. Ох, хорошо было! Завтра еще напишу.

Августа 13, вторник

Сегодня весь день прошел хорошо. Мама весела, я тоже, хотя и втузила раз Эдика, но это на втором плане. Хотя сегодня погода чудесная, но я никуда не ходила надолго вечером, зато утром мама, я и Эдик пошли к г. Цыбульскому (директору мужской гимназии[10], куда по надежде будет отдан Эдик), но он еще не вернулся с дачи. Мы тогда стояли около лавочки продавщицы образков и рассматривали последние, купив несколько, конечно. Потом пошли к «Софи»[11], и мама взяла заказанный корсет, желтый, красивый, отделанный кружевами и лентами. После этого сели на извозчика и покатили домой. После обеда к нам пришла портниха Мария Яковлевна Демидова, очень милая и симпатичная девушка, живущая с матерью. Она принесла к примерке синее форменное платье и черный передник. Она должна была прийти в прошлый вторник, но отчего-то не приходила. Мы судили, рядили и наконец (не знаю почему) пришли к убеждению, что ее мама больна. Но оказалось, что у них просто-напросто ремонт, хотя мать Марии Яковлевны действительно болела, незначительно только. Сегодня написала письмо Ане Черкасовой, очень доброй и чрезвычайно симпатичной девочке, а Бронце Гоман до сих пор не отвечала. Сегодня большую конфетную коробку из Zakopanego, деревянную, с рисунком, преобразила в ящичек для писем. Вечером играла в театр. Эдик, как всегда, был Гельцер (мальчик-то), я же Кралли[12]. Танцевали, разыгрывали сценки из испанской жизни. Я всегда изображала тореадора или испанку-гитану, а Эдди насмешливую золотоволосую голубоглазую сибирянку «Леночку». Он разорвал мне бусы. Опять придется нанизывать. Дрянь он! Потом упал, ударился и... начал плакать (стыд-срам, а еще мужчина — ни на копейку мужчины нету, лишь одна нюня). Пора спать, скоро 11 час. До свидания, дорогой дневник!

Августа 14 — среда

Браво! Папа приехал — как я рада! Но, милостивая государыня Соня, не спешите. А начните с самого начала. Встала я в 7¼ час. Умылась, оделась в голубое платье. Сделала реверанс маме, а дальше... ох, если бы все перечислить, то надо было бы целую страницу — не хочу мучить руку, которой предстоят большие труды зимою. Итак, после кофе я отправилась менять книгу.

Погода теплая, солнечная, чувствуется необыкновенная свежесть и бодрость. Взяла VII том Всеволода Соловьева[13]. Он так увлекательно, захватывающе пишет. Из писателей мой самый любимый Сенкевич, а второстепенные, хотя тоже уважаемые и любимые: Лермонтов, Пушкин, Соловьев и Немирович-Данченко. Скоро буду читать Достоевского. Мне кажется, что он мне будет нравиться. Но писателей — в сторону, надо продолжать дневник. Вернулась из библиотеки («Вера и знание» — Невский, 119)[14], и через минут 20—25 приехал папочка. Боже, как я его люблю! Сколько времени его не видела. Недельки две, пожалуй. Привез от Эймана и Виноградова[15]. Странно, папа ехал в купе № 13, остановился в «Альпийской розе»[16] номер 13 в тринадцатом году. Из Москвы тоже уехал 13 с.м. 13 — папе счастливая цифра. Ага! — от Эймана 13 коробок конфет и печений. Вот странно-то! И в этом году это второй раз. Еще в марте было. Потом ушел на фабрику. Я уселась читать. Обед прошел крайне оживленно и весело. Папа шутил и описывал чудеса Херсонеса и Севастополя — поездки морем и т.д. Мама рассказывала смешной эпизод с носом Михалинки, и папа от души посмеялся над «петербургской деревенщиной». Когда папа уехал на фабрику, а я играла на ангелюсе[17] (его вчера привезли из починки), играли с Эдиком в фотографа, но нам помешали солдаты с музыкой. В 3 час. погода вдруг стала пасмурная, и... хлынул сильнейший дождь. Из водосточных труб вода сливалась каскадом. У нас в Петербурге почти никогда нет луж на улице. Потому что близ тротуаров устроены такие ямки (1/4 арш[ина] шир[иной]), на них — перекладинки из железа, чтобы нога не попала туда, — и вся дождевая вода сливается в ямку. Но дождь через минут 15—20 прошел. Не знаю, что будет дальше.

В часов 6—7 пришел папа, и мы с ним болтали, шутили и почти спорили вплоть до ужина. После ужина, через 1/3 час., папа ушел спать, а я должна сейчас (это 9½ час.) ложиться. Просто ужас!! Мама хотя тоже негодует, но ей весело будет поговорить с «papa», а я должна лежать все время. Брр... У нас вчера и сегодня прачка. Конечно, моет белье она в прачечной, только гладит в кухне.

Не знаю, поступлю ли я в гимназию св. Екатерины[18], потому что, может быть, мы скоро уедем в Москву, так как «papa», кажется, хочет построить собственный завод (пробочный или гончарный, не знаю). К тому же «nos dames de classe»[19] обидятся. Скажут: «Vous ne donnez pas votre fille chez nous, mais à l'ecole St. Catherine»[20]. Ну вот же и выбирай любое. Сегодня нужно идти спать рано. Стало быть, adieu mon cher[21].

15 августа, четверг

Встала ровно в 9 час. Меня разбудила музыка, это «papa» на ангелюсе играл. После кофе мама написала письмо по-французски одному господину, который должен завтра прийти. Я играла на ангелюсе, как вдруг приходит «maman» и говорит: «Qu'à la cuisine, chez Mihaline est un petit garcon, si poli et habillé pas comme paysan»[22]. Maman позволила нам пригласить его в комнату и поиграть «avec ce propre petit»[23]. Эдди ему показал солдатиков и вполне освоился с ним.

Господа! Слушайте и внимайте. Я, Соня, избалованная капризная девочка, самостоятельно уезжаю в Москву *учиться*, понимаете? В гимназии st. Pierre et Paul я буду как «interne», буду жить и наблюдать[24].

Именно наблюдать! Учительские и ученические типы. И буду записывать дни, чувства и наблюдения. Конечно, у меня горячая, впечатлительная и немного насмешливая натура, и поэтому я буду записывать все у тети (дневник будет у нее), ибо некоторые, не только девочки, но и учительницы, любят порыться в чужих корзинках и потом наябедничать доброй, всему верящей «Madame». Итак, осторожность не вредна. Конечно, я очень довольна, что еду в школу к девочкам-подросткам и не буду скучать, как иногда дома. Боже, как интересно: музыка, танцы, рукоделие, рисование и т.д. и т.д. Это большое разнообразие. И к тому же моя **тетя**. Это примите во внимание. Представляю вам особу тети. Полная (хотя она толстая, но это прилагательное довольно неприлично), румяная, маленькая (почти, как я) и добрая. Глаза красивые, темно-карие, зубы великолепные, твердые, крепкие, здоровые, как слоновая кость. Михалина с «ce petit propre» ушла в гости. В часов 6 пришел к нам г. Гасбах, и мы сели ужинать в 8 все, поджидая «papa», но он таки опоздал на минут 15—20. В 9 ч. ушел г. Гасбах домой, и мне сейчас нужно ложиться спать. Хотя это очень неприятно, но я должна подчиняться теперешнему, строго-нравственному контролю. До завтра, милый дневник. А знаете, мне вечером становится так жутко и неприятно, и так не хочется ехать в Москву, а хочется тихо полежать на диванчике или посидеть возле дорогой незабвенной мамочки.

Августа 16, пятница

Утром опять безумно захотелось в Москву. Мне кажется, что это решено, и я в скором времени уеду. Сегодня утром в 10 часов мы отправились к нашему доброму, любимому кс[ендзу] Василевскому. Он вернулся недавно,

только в прошлую среду, из собственного имения, где он нашел некоторые непорядки и лишения. Мы, конечно, как всегда, шалили и добивались, кому первому поцеловать руку или заговорить. Он очень добрый и терпеливый, хотя крайне равнодушен и апатичен. Остришь иногда, а он бровью не поведет. Потом вернулись и стали обедать. После еды и чаю я играла на ангелюсе, читала и играла. К 5 час. нам прислали фрукты и вина. Это «papa». Вечером пришел француз (как его звать, не знаю), и мы с блеском, роскошью и шиком сервировали стол и дали превосходные телячьи котлетки и чудесного сига. Часов в 7 мы пошли купить масла, так как его позабыла купить Михалина. Живо пробежавшись, мы с Эдди попросили у мамы денег и побежали себе купить колбасу (1/2 ф[унта] первый сорт, вареной, без чесноку) и с большим удовольствием съели ее с хлебом. При этом покормили трех кошек. Вскоре я захотела пить и пошла парадным ходом в детскую. Но папа меня заметил и представил свою «Sophie» этому французу — бельгийцу Штольцу. Я залпом осушила рюмку «Barsac'у»[25] и опять пошла на двор. Там застала Эдуарда в обществе... дворникова сына и прачкиной дочки. Нечего сказать — компания!!.. Там немного поиграла с ними, а потом пошла домой. Кстати, Эдди еще раньше успел сбегать на кухню и там налопался некипяченой петербургской водой. Вот умник. Пожалуй, Михалине под пару. Но мы не сразу пошли спать, а еще долго томились в ожидании Эдиных подушек и одеяла. An revoir mon petit «journal»[26]!!

17 августа, суббота

Ура, уже решено, что буду учиться в Москве. И на платье куплено, и воротнички с манжетами припасены. Но самое главное, это то, что я познакомилась с г. Арутюновым. Это очень симпатичный, добрый и хороший человек. Мы его встретили, идя в Гостиный двор купить материю. С ним на углу Знаменской площади[27] простояли почти ¾ часа. Он принял наше приглашение, и мы завтра ждем его к обеду. Сегодня же придет о. Василевский, очень милый и добрейший.

После обеда мы с мамочкой опять разговаривали на тему об отъезде, и моя дорогая чудная мамуся согласна, что там мне будет хорошо, и к тому же практика французского и немецкого превосходна. Вечером явился о. Василевский, и мы без умолку болтали и наперерыв старались доказать чем-нибудь наше остроумие и *мудрость.* Папа, как всегда, немного зевал. Мы пошли спать довольно поздно. До завтра.

18 августа, воскресенье

Ура! Мой дневник живет неделю, без перерыва пишу в нем важное и стоящее внимания. Мы утром с папочкой отправились на фабрику, а оттуда вернулись на извозчике, предварительно заехав к парикмахеру (papa брился). Приехали домой, а я в 1 час ушла к Черепополкову[28] купить вина и фруктов. Вскоре пришел Арутюнов и просидел у нас почти до 6½ час. вечера. Когда он ушел, то papa отправился по делам, а мы ехали в кинематограф. Вернулись в 9½ час. вечера. Папа пришел в 2 ч. н[очи].

19 августа

Утром мамочка пошла с Эдиком к г. Цыбульскому. Он узнал, что Эдик не учился летом и для этого дал ему самого преподавателя, чтобы его спросить по-русски и арифметике. По-русски он выдержал блестяще, а, представьте, по арифметике срезался. До ноября он будет репетироваться дома с учителем, а там пойдет опять на испытание в гимназию, а оттуда в 1-й класс. После обеда мы никуда не ходили, а вечером уехали в Народный дом, купили билеты, а потом пришел papa, и мы смотрели комедию Островского (не папину) «Свои люди — сочтемся». Варламов играл купца Болотова, Стрельская сваху Устинью Наумовну; Стрельская играла бесподобно. Милая, полная старушка с юношески живой душой!!!! Варламов играл хорошо, представил собою настоящего купца-кулака. Чудно играл Петровский (Лазарь Елизарович Подхалюзин — приказчик), изображая подлизу приказчика, а потом превратившегося в обладателя капиталов. Шаповаленко (Сысой Псоич Расположенский), Шаровьева (жена Большова), Кострова (Липочка, дочь их) и Чижевская (Фоминична — ключница) вели роли прелестно. Вообще сегодня играли чудесно, и я осталась очень довольна. Adieu.

20 августа, вторник

Знаете, господа! В Москву учиться не еду, буду тут у Girard[29], и еще сегодня идем в Народный. Ставят Островского «Правда — хорошо, а счастье — лучше». Опять Варламов и Стрельская — чудо хорошо.

11 сентября

О! Сколько времени я не заносила своих впечатлений в милый дневник. Но это извинительно, так как я работаю очень много. Начну (если только могу) с самого начала. Я поступила в пансион Рэвиль или Жирар, в третий (теперь ставший дорогим, близким) класс. И музыку беру я там же у доброй

учительницы Раисы Михайловны Зеленковой. В нашем классе всего лишь 10 учениц: Жанна Мико, Эльда Фиетта, Сусанна Мазо, Клэр Треспалье, Симона Ру, Евгения Доббельт, Женя Рукавишникова, Женя Видаль, Маргарита Клэм и Лулу Гулевич. Все девочки такие симпатичные, милые и иногда даже красивые. Классная дама в нашем классе — mademoiselle Michel. Толстенькая, розовенькая брюнетка с маленькими карими глазками, которые иногда в упор, сердито смотрят на тебя. От этого взгляда становится совсем не страшно, а как-то весело и смешно. И непременно Виниций (т.е. Симона Ру, самая шаловливая, подчас дерзкая ученица) шалит и наполняет уроки французского и рисования разными веселыми или чересчур смелыми выходками. Но все-таки весь пансион обожает эту блондинку-француженку с черными блестящими глазами, несколько узким ртом и грубоватым, очень громким голосом[30]. Мико, недурненькая брюнетка с очень большими черными глазами, закадычная подруга Эльды Фиетта, итальянки с пепельными волосами и черными глазами. Ее родители — владельцы самого лучшего магазина «Аванцо» на Морской улице[31]. Отец Гулевич (или Сфинкса[32]) служит в казначействе, и они имеют четыре автомобиля. Вообще там девочки интеллигентных и богатых семейств. Пришла я домой в пятницу и узнаю, что моя хорошая, милая, дорогая mademoiselle Jeanne была у нас и меня не застала.

1915 год

30 декабря, среда

Завтра в 12 часов ночи — встреча Нового года! Завтра! Как скоро промелькнул этот год: другие годы кажутся такими долгими, скучными, страшными, а этот — наоборот. Ошеломляюще быстро пролетел и так же быстро кончится завтра! Всегда перед встречей Нового года мною овладевает какое-то неопределенное чувство... не то жалости к минувшему, не то ожидания будущего и легкого заинтересования им. Что-то будет? А через несколько дней так входишь в вечную нить часов и дней, что даже забываешь прошлый год и не отдаешь себе никакого отчета, что из одного года жизнь перешла в другой! Встреча Нового года обычно весела, торжественна, но бесконечно неинтересна, потому что присутствуют всегда те же персонажи: отец, мама, тетя, полковник, «Kwiatek»[33], брат и я! И никогда ничего нового! А если что-нибудь и появляется на горизонте нашей гостиной, то или такая препротивная особа, как А.Е., или ничего не значащая деловая личность, которая приходит и уходит, не оживляя и не оставляя после себя ни малейшего впечатления. Редко бывают интересные случаи многочисленного собрания, но и эти обычно для меня совсем не занимательны! Многим может казаться, что я люблю общество молодежи: учениц, гимназистов, студентов! Наоборот... это общество, правда, оживленное и веселое, меня иногда порядочно-таки злит, и мне гораздо больше нравится... ну, одним словом, я сама знаю, какого рода общество предпочитаю, и это лишне заносить на страницы дневника.

Сегодня довольно изрядный морозец (кажется, 12°), но, несмотря на это, я два раза выходила с мамой прогуляться (по Невскому, разумеется). К 3 часам меня приглашала Вава, но сегодня я ловко отказалась, придумав какой-то удачный предлог, и предпочла, конечно, пройтись в «Паризиану»[34]. Ставили драму. Сюжет о том, что мать любит какого-то адвоката, и он тоже; приезжает дочь и умоляет мать не выходить вторично замуж за адвоката; мать плачет, но соглашается; через год дочь сама влюбляется в адвоката и он тоже; мать узнает и упрекает дочь в самовольных отлучках из дому; дочь дерзит матери и убегает к адвокату; потом все улаживается; в день помолвки дочери мать поздравляет адвоката наедине и вливает ему в рюмку яд; адвокат

умирает; дочь проклинает мать; домашний доктор и друг матери берет вину на себя; дочь исчезает с горизонта, а мать отправляется в монастырь или наоборот, потому что последняя картина была в таком скупом освещении догорающей свечи, что был виден только нос монахини, а по носу трудно судить, кто она! Вот и вся драма! Ну, если бы дочь провела роль более осмысленно и живо и была бы красивее, и мать тоже, а адвокат хоть и ничего, но почему-то выставлял ногу на передний план; да еще порядочное количество всяких «если бы», то драма была бы более чем сносной! А так двадцатидвухлетняя дочь ведет себя, как тринадцатилетняя девочка, мать некрасива, играет с напускной страстью и величием, адвокат недурен, но на его месте я бы никогда не полюбила некрасивую женщину, а домашний доктор, этот ужасный бородач, уморительно смешон в своем трагизме! Глупо, глупо и сто раз еще глупо![35]

Немного вознаградил меня Невский, веселый, шумливый, задорный и вызывающий! Я его люблю, но и немного опасаюсь! Вечером одной не пошла бы ни за что, хотя... впрочем, я сама хорошо не знаю. Утром и днем еще ничего, но едва зажгутся фонари, как Невский кажется иным. Шумит, кишит рой людей, то спешащих, то праздно гуляющих, с нахальным взглядом и какой-то страшной улыбкой! Женщины, конечно, попадаются ничего, но до сих пор я не встретила ни одной, которую, если бы я была мужчиной, могла бы полюбить. И по этому поводу я многих, очень многих не понимаю, не ищущих в женщине если не красоты, то, по крайней мере, образования и bon ton[36].

1916 год

1 час ночи, после встречи 1916 года

Опять встреча Нового года, немного шумливая, как всегда, но с искристым, стрельчатым шампанским, которое папа где-то достал за баснословную цену. У папы (что, однако, вечно бывает у него в этот вечер) клубились подозрительные тучки на горизонте. Но впоследствии он все же старался придать своему лицу благоприятное выражение! Встреча прошла как-то странно: скоро и незаметно. Правда, под звуки «Марсельезы», папа частенько подливал в мой бокал золотое реймское, но я все не пьянела, да и теперь оно совсем не шумит в голове! Kwiatek по какой-то странности не пришел: был только colonel[37]. Телефонировала Лиза В[острикова], поздравила по телефону. Очень мило с ее стороны. Женичка просила меня потелефонировать, но я забыла! Да и не хотелось что-то! Ну, пора раздеваться и идти спать! Уже поздно! Полная луна выпукло рисуется на фоне темно-лилового неба и однообразно льет свой серебристый, мертвый свет на белые стены нашего дома! От тишины неба и страшной луны становится грустно, грустно! Ja Kie... Nieokreslone. Далекие воспоминания niestałe w pamięci... poczucia tęsknoty i niedoceniania![38]

7 февраля 1916, воскресенье

Ой-ой-ой! Как стыдно! Больше месяца дневника не брала в руки! Но есть маленькое оправдание, даже целых два: во-первых, занята по горло, а во-вторых, занимаюсь ролью Марьи Антоновны из «Ревизора» и декламацией «Плача Ярославны». Всю эту прелесть я должна основательно знать на Масленицу, так как в гимназии готовится спектакль. Это второе оправдание не очень основательно. Потому что роль знаю назубок, а с «Плачем Ярославны» дело обстоит вполне благополучно. Елена Павловна Муллова еще не слышала моей читки, но Ольга Павловна спрашивала, одобрила дикцию — значит, tout est bien[39]! Роль Анны Андреевны должна была играть Лиза, но, кажется, неделю назад отказалась от участия, ссылаясь на сильное малокровие и неправильность сердца и т.п., но я ей что-то не верю. Это что-то другое, а не запрещение доктора. Да вообще за последнее время я ей перестала

верить; абсолютно все, что выходит из ее тонких, злых губ, не интересует меня больше, и все это считаю ложью. Я в ней разочаровалась. Раскусила ее, и, увы, она оказалась лишь пустым орехом. Да и не только пустым, но и гнилым вдобавок! И физически перестала нравиться! Вначале я на нее смотрела через розовые очки, и она казалась мне даже очень хорошенькой, но теперь, сбросив волшебные стекла, я увидела ее такой, как[ая] она есть! Лоб широкий, длинный, низкий — peu d'intelligence[40]; губы тонкие, некрасивые, без изгиба, подбородок острый, но слишком маленький и выглядит каким-то бугорком на землистом лице; нос широкий, некрасивый, короткий — pas de race[41]; лицо, т.е., вернее, цвет лица мертвый, землисто-желтый, нездоровый — peu de repas[42] (не через занятия, о, нет, конечно, а больше... soirées, cousins, cousines, promenades à deux etc[43]). Вся фигура слишком худа для шестнадцатилетней девушки, угловатая, медвежья по своей неуклюжести. Грации ни на грош! Ноги длинные, ступни уродливые, как у ящерицы! Только глаза... ах. Какие прекрасные глаза: большие, черные, влажные. Грустные, обаятельные и чарующие. Если смотреть — зачаровывает своим взглядом, как индийская кобра — ба! Хорошее сравнение — кобра! И вся она, неуловимая, ускользающая, молчаливая, напоминает просто-напросто змею! Да, да! Хитрое пресмыкающееся, скользкое и противное! Она! Верно! И как змея колдует своими глазами, так она останавливает своим взглядом, но... магическая сила ее глаз что-то на меня не действует! Однако... это слишком! Написать почти полторы страницы о не интересующей меня личности — это ужасно! Но я хотела только показать ее недостатки! Это доказательство! Вернемся к нашему «Ревизору»! Ставят отрывок: разговоры Анны Андреевны, Марии Антоновны с Петром Ивановичем Добчинским!

8 [февраля], понедельник

Какая гадость! Вчера докончить не дали! Ну да не беда — принимаюсь сегодня! Вместо Лизы Востриковой выбрали Лиду Перепелицыну (она, кажется, играет оживленнее и веселее первой); Добчинский выпал на долю Женюрки Рукавишниковой, а я имею честь олицетворять Марью Антоновну Сквозник-Дмухановскую. И выкопал же Гоголь фамилии — умора!! Глупость — с репетициями у нас дело положительно не клеится: не то чтобы ролей не знали, или читка, или мимика плоховали — нет, но настоящих, полных репетиций во всем ансамбле было две-три. То я сижу дома (все противное горло!), то Женя не является, а перед этим Лиза отказалась — задержались репетировать, думали русской пьесы вообще не будет. Стыдно дол-

жно быть муллошечкам[44]! Ведь о французской пьеске давным-давно подумали. А у нас только тогда вспомнили, когда спектакль оказался, что говорится, на носу! И, боже мой, сколько всякой всячины пересмотрели! Пьесок подходящих для нашего возраста не находили; все больше «bébés»[45], а мы ведь барышни капризные — хотим играть — и ни с места! Старались, старались — наконец старания увенчались успехом! Елена Владимировна или одна из муллошечек нашла «Дорогую гостью»[46]. Мне попалась роль пустой городской кокетки — девочки, щеголихи и вертушки, — все будто бы и ничего, но как пронюхала m-elle Girard, что я в каком-то явлении должна быть barbouillée du chocolat[47], тут она и остановила нашу деятельность. «Veto!» «Что, как, почему??» И ответ оказался таким простым! Разве прилично показаться перед публикой ученице V класса (т.е. мне) со ртом в шоколаде?! Никогда, никогда еще стены гимназии не видели ничего подобного! Остановили пьеску! Если начальство запрещает, подчиненные повинуются — значит, и наша компания согласилась! Опять рылись, рылись в пьесках и теперь (достоверно знаю; если не верите, можете справиться у m-me Ковалевой (рожд. Марковской!)). M-elle Марковская (это еще перед свадьбой, когда о последней еще ничего не знали) торжественно принесла новую пьесу «Сюрпризы»[48], где Лиза должна была танцевать «русскую», а я аккомпанировать ей и играть вальс, гаммы и еще что-нибудь хорошенькое! Ну, обрадовались, конечно!

«Вот она, обетованная земля!» — подумали мы.

Увы! Это оказалось лишь слабым намеком на сказанное! «Сюрпризы» преподнесли нам истинный сюрпризик! И вот почему: я и Лиза взъелись! Что это, в самом деле? Нам, у которых на всю гимназию лучшая русская речь, великолепная дикция и прекрасная читка, нам дают какие-то невыигрышные роли? Черт знает, что такое! Обставили дипломатически — тонкий «complot»[49] по телефону и не менее дипломатически — тонко подсунули его Мулловым! Бедненькие! Они едва своих головок не потеряли от ужаса! Что же наконец будет? Они так были обескуражены случившимся, что *почти* нам с Лизой дали выбор пьесы! Подумали мы недолго (это не по моему методу, который гласит: быстрота и натиск à la Вильгельм) и преподнесли очень торжественно диалог Липочки с Аграфеной Кондратьевной (из «Свои люди — сочтемся»). Роль матери попалась Лизе — она постепеннее да и медлительнее меня, а мне дали Липочку. (Ведь я же сорви-голова, сорванец, шалунья — и т.п. эпитеты.) Прочли мы всего один раз — читку одобрили, а вот насчет этаких забористых выражений поморщились! Нет, все хорошо, да что-то не то! Ну и наш диалог полетел в трубу прекраснейшим образом. Опять отчая-

ние, но кратковременней, ибо быстро нашлось утешение в почтительной и представительной фигуре «Ревизора». Немного дум, немного грез — и решили твердо, окончательно, решительно и бесповоротно. И вот мы, слабые игрушки с поломанными членами в руках всемогущей государыни Судьбы, загипнотизированные магическими словами «классическая пьеса», мы, мы... согласились и играем!

Господи, три страницы накатала?! Нет, довольно, дорогие мои, пора в кроватку!

10 [февраля], среда

Брильянты! Брильянты! Магическое слово, при звуке которого немедленно представляется какой-нибудь очаровательный кулон на шее красавицы и снопы разноцветных искр, быстрых, роскошных, богатых, но непостоянных, изменчивых и changeant[50].

И вот сегодня папа подарил маме прекрасный большой кулон, усыпанный бриллиантами чистейшей воды! Тонкая работа еще больше выделяет блеск камней — крупных и мелких, но одинаково великолепных и достойных восхищения. Милый папа! При покупке драгоценностей для жены он все же не позабыл и о дочери! Небольшой, изящный «coulant»[51] сделан с рубинами, изумрудами, брильянтами и хризопразами — мой первый кулон! Еще вначале я была очарована его изяществом и красотой, но когда узнала, что он предназначается мне, моему восторгу не было границ! О, Боже мой, даже страшно становится, если подумать, какое огромное, убийственное влияние имеют драгоценности! Кажется, все забываешь, взглянув на искрящиеся камешки, такие пленительные и колдующе-прекрасные! Я люблю драгоценности, цветы и красоту! Я хорошо знаю, что многие, глядя на одну из этих сил, завидуют обладавшим ею! До сих пор я этого чувства не испытывала. Если я вижу драгоценность, поистине прекрасную, то я вижу только ее и не забочусь о том, кто ее имеет. Глядя на цветы, я любуюсь только их цветом, формой, лепестками! Que m'importe[52], кому они принадлежат! Если смотрю на какую-нибудь красивую вещь, я испытываю большое удовольствие, что вижу ее, любуюсь ею — все равно, где и когда. Теперь о человеческой красоте! Вот здесь многие из моих барышень, даже из недурненьких, иногда восклицают:

— Ах, Соня, я видела вчера одну блондинку! Какой у нее был цвет лица, какая кожа! Вот завидую ей!

Или:

— Oh, Sophie! Il y a quelque temps, que j'ai remarqué une dame! Qu'elle était belle! Quels yeux, quels cils! Je voudrais bien en avoir de pareils!![53] И это вечно! Какое-то «perpetuum mobile»! Я — напротив! Но, увы, красоту не часто встречаешь!! Очень и очень редко, а то бывает так: глаза очаровательные — остальное не стоит внимания! Губы красивы — что-нибудь другое не отвечает закону красоты! И так очень часто! Мама иногда мне делает замечание:

— Соня, неприлично так долго смотреть! Не надо!

Но, Боже мой, что же я сделаю, если заметила великолепный изгиб рта, прекрасные глаза или красивый нос! Я смотрю долго, внимательно, пристально и упрямо; я не хочу потерять дорогого мгновения наблюдения за красотой. Мне все равно — дама или господин, на которого я смотрю, — я вижу только красоту — остальное меня мало занимает! Например, у miss O'Reilly удивительно красивый нос и великолепного оттенка волосы. И когда она дает урок, я стараюсь чаще смотреть на нее: мне это доставляет удовольствие. А ее смущает. Однажды она даже спросила, почему я на нее смотрю так внимательно? Что ж делать, пришлось объяснить. Смутилась и слегка покраснела! О, Боже мой, что же [я] виновата, что ли? Просила сказать — пожалуйста, это меня не утруждает! Но все же даже после этого я не перестаю наблюдать за нею!

Ага! Вот едва не забыла! Я отказалась от роли Марьи Антоновны. Куда мне с моим горлом! Вероятно, до Масленицы буду дома сидеть! Ничего не поделаешь! Роль на лету подхватила Лиза. Странно, ведь ей же «доктор» запретил волнения? Немного подозрительно! Хотя... такая глупость, ей просто хочется поближе подойти к m-lle Мулловой. А она ей верит! Святая простота!

А все-таки при случае непременно надо уколоть Лизу! Непременно?

19 [февраля], пятница

Масленица! Ну и что ж? Масленица так Масленица, но она мне ничего нового не принесла. Ну, решительно — ничего! Блины? Ничего нового и самое обыкновенное кушанье! Их не люблю! Сегодня была в школе, на спектакле. Я не играю и бешусь! Черт знает, почему эта несчастная болезнь отняла у меня роль и удовольствие. И «Плач Ярославны»?! Aujourd'hui j'ai assisté à cette cérémonie![54]

Приехала — и увидела моего милого Добчинского. Загримирован восхитительно, прямо не узнаешь в этом вертлявом господинчике мою Женюрку. Еще многих увидела: и Лиду Перепелицыну, и Александру Мейштович, став-

шую прямо красавицей в изящном костюме эльзаски, и Изу, седую старушку, и Сесиль Воду, злую цыганку-шпионку! Получила массу легких, как ветер, поцелуев; чтобы не запачкать меня губной помадой, девочки нежно прикасались к моей щеке. Но и это все глупость! Играли... да. Как играли??!... Ни то ни се! Мое стихотворение читала Наташа Забелло (сестра Любы Гейմансон). Читала ни шатко ни валко, ни хорошо ни плохо — я могла бы прочесть лучше, это я знаю! Русская пьеса шла хорошо, даже больше, чем хорошо. Лида и Женя очаровательны, зато Вера Добужинская (она заменяла Лизу, заболевшую краснухой) если не испортила пьесы, то поколебала прекрасное впечатление своим мертвым голосом и бездушной игрой. Гадко, гадко, очень гадко! Но... ничего! Ça me regarde peu! Qu' importe!![55] Французская пьеса («Une nuit d'Alzace»[56]) была испорчена пением, т.е. не то чтобы по-настоящему пели, а вообще говорили певуче, певуче и ненатурально! Оживила крошка Tamara Fietta и Sonia Jafarova, очаровательная татарочка! В общем, сошло ничего! Мило! Что мне понравилось — это гимны Polonaise Militaire Chopin'a, сыгранный Зиной Айсмонт (ведь она ученица Бариновой), и, конечно, русская пьеса! Elda Fietta пела solo Итальянский гимн, а остальные исполнял хор! Французский флаг держала Jeanne Micaud, русский — Лида Перепелицына, исполнявшая еще русскую пляску в изящном костюме боярышни, английский — Nelly Havery, милый английский матросик, бельгийский — не помню, кто, итальянский — Elda Fietta, а японский — Михайловская, удивительно похожая на японку! Так что все удалось! A propos, j'ai reçu un prix pour l'année passée[57].

Среда, 2 марта

Снова хожу в школу: уже неделя. Выдали «bulletins»[58], и я получила кокарду. Очень боялась потерять ее из-за анатомии, но все сошло благополучно. Вернулся из Москвы папа; привез очень много конфет и мне шесть томов книги «Великая реформа 19 февраля 1861 г.»[59]. Красивое и интересное издание! Ф.А.[60] получил отставку и чин генерала. Вчера поздравили. По телефону, конечно, иначе пока невозможно! В гимназии все то же самое. Много манкирующих учениц. Прочла «Войну и мир». Ростовы все — слякоть; Курагины — гадость, а лучше всего семья Болконских. Особенно Андрей. И красив, и мой тип! Наташа порядочная «bête»[61] и слишком влюбчивая, что очень глупо. Вначале и Пьер Безухов нравился очень. Потом перестал и интересовать. Лучше всего описана война. Александр, Кутузов и

Каратаев; таких, как он, в русском народе много, но они где-то спрятаны, заброшены в далекую глушь, за тысячи верст от центров культуры и цивилизации. Подхвачен верный тон всеобщего настроения и особенно штаба при генералах. В общем, больше всего меня занимали война и масонство. Этот орден, таинственный, странный, но, вероятно, хороший, меня живо интересует. Когда окончу школу, буду изучать оккультические науки: это меня захватывает, как и все мистическое, загадочное, далекое. Но масонство не всегда меня привлекает: не всегда и не совсем. Слишком много противоречащего моей натуре!

Видела Елену Владимировну Ковалеву. Изменилась и стала хуже. И чего замуж вышла?! Обстригла волосы, подурнела и стала какой-то желтой! А раньше была похожа на вдохновенную музу истории. Не знаю, как пойдет дальше с этой изящной дамой в модных платьях! M. O'R[eilly] все то же. Осторожная, пикантная, изящная в своей простоте, но с легким оттенком врожденного кокетства и грации, что придает ей beaucoup de charme[62]. О, если бы ее одеть à la moderne[63] с ее роскошным цветом волос, красивым носом, насмешливой улыбкой, холодными голубыми глазами, элегантными манерами и очень стройными ногами (что, à propos[64], у англичанок очень редко!), о, воображаю, что это был бы за petit demon de femme![65] Я ее не люблю самое, но люблю тонкий, острый ум, ее mots[66], брошенные будто вскользь, ее нос, ее лицо, ее очаровательно сложенную фигуру, аристократическое «tenue»[67] — одним словом, люблю ее красивое тело, а душа и elle-même[68] ... that is the question[69]!!

22 [марта], вторник

Było cicho i dobrze[70].

Mon âme est pure et chaste, comme si j'étais une enfant de deux ans et je n'avais aucun pêché, ... notre pêché originel! Après la confession — j'ai commencé à prier. Mais le jour-ci je ne priais pas pour s'en debarasser seulement; non, je priais, parce que je sentais que je dois le faire. Suis-je devenue pieuse? Je ne sais pas; il me semble, que je suis resteé la même, seulement... je n'étais jamais si calme, si calme que maintenant. Oh, oui! J'adore notre Sauveur et sa bienheureuse mère Virgo Virginum![71]

23 [марта], среда

Le soleil, le ciel bleu-clair et la Sainte Communion! Bien, quoi?![72]

Гельсингфорс[73], 30 [марта], среда

Что ни край, то обычай! Город чистый, симпатичный, даже, можно сказать, красивый, но странный, странный ужасно! Может быть, это только с непривычки так кажется, а потом, как привыкнешь, так и по душе придется, но... Вот уже целый день брожу с мамой по чистеньким, хорошо мощенным улицам, наблюдаю, рассматриваю, но никак не привыкаю к некрасивому, куриному языку финнов, ни к аккуратным, розовым, белокурым мужчинам со снежными воротниками и манжетами, ни к стремительно несущимся велосипедам, но, главное, не могу спокойно видеть их финнок... О, Боже! Кто бы мог выдумать когда-либо что-нибудь более ужасное и уродливое?! В Петрограде немного, но все же встречаются изящные ножки, а здесь... Horreur[74], и больше ничего! Огромные, толстые, широкие, плоские, с неимоверно большой пяткой, такие страшные и неэстетичные, что даже глядеть противно! И подростки такие ужасные, особенно девочки, с вытаращенными, рыбьими глазами и короткими вздернутыми носами, некрасивые, бледные, вялые и сонные, или слишком смелые с разбитными, неприятными манерами... ну, прямо гадость, и больше ничего. Гуляли много, ходили по каким-то Александровской, Правительственной улицам, смотрели какие-то красивые здания, вероятно, государственные учреждения, но в финских надписях так и не смогли разобраться, купили красивые ботинки и лакированные туфельки для меня (очень недорого и очень элегантно), прелестнейшие кружевные combinaisons[75] с широкими прошивками и еще многое покупали: духи Roger et Gallet[76] extrait santalia[77] и еще что-то, но что именно как-то ускользает из моей памяти, потому что спать хочется до безумия!!

Петроград, 3 апреля, воскресенье

Мне снился сон... мне снился, спокойный, ясный и красивый... Мне снился чудный, светлый сон! Сон спокойствия, тишины, забвения и красоты! И, как все сны, промелькнул так же быстро и легко, едва коснувшись души и оставив прелестный, немного грустный отклик. Печальное эхо того, что прошлое, может быть, вернется, но не точное, но не точное... Может быть, и лучшее, но никогда не то же самое!

Szczęśliwa młodość! ... dzień szczęścia — długi, żalu — krótki [78]... или что-то в этом роде! Но это неправда, это неправда! Или же это сотворено для нежных, воздушных голубоглазых девушек со льняными волосами, прозрачным, чистым взглядом и нетронутым, наивным ртом, которые беспечно живут в старинных усадьбах с белыми домами, окруженными липами, сиренью и

жасмином, живут тихо и безмятежно под крылышком родных, со своими полудетскими радостью и горем; для них, может быть! для не знающих, не понимающих, не чувствующих нервной, напряженной атмосферы жизни! для детских желаний и сердец, чистых, невинных и прозрачных, как слеза! Но... оставим это! Все хорошее в жизни проходит быстро и незаметно... Как сон, как радужный, светлый сон! Дурных снов не бывает: есть только чудные, мгновенные, прелестные видения счастья, сны лучшей жизни, сны просто прекрасные по своим новизне, красоте и тонкости! Одним из этих чудесных снов было кратковременное и не стирающееся из памяти пребывание в Гельсингфорсе. Вечера, правда, довольно скучные, но, несмотря на это, все же милые, потому что я так люблю тишину и спокойствие. А там было так тихо, так тихо! Хотя не всегда это мне нравится; это зависит от моего настроения. Когда я нервна до последней степени, решительно все раздражает и злит, когда безумно хочется заплакать, застонать от невозможности найти хоть минуту тишины, тогда я жажду полного спокойствия. Чтобы никто не говорил, никто не смеялся, не ходил; чтобы все молчало и застыло в тихой, прелестной грусти... И только чувствовалось бы непривычное движение воздушных атомов и непрерывный, неслышный говор их! Тогда я стараюсь забиться в гостиную или в кабинет, лежать там молча и неподвижно и слушать песнь моей души и моей мысли! Иногда бывает так хорошо... так хорошо и спокойно! А если мне прервут мое уединение, если чей-нибудь смех или голос резко прорежет дорогую мне тишину, мне хочется плакать, что не дали молчанию и спокойствию водвориться в моей душе и отдать ей мир и спокойствие ко всему. Хочется плакать, но... слез нет! Я никогда не плачу; что-то не умею. Забыла! И на весь день испорчено настроение, ибо тот молчаливый экстаз тишины не всегда приходит! Не всегда.

А то иногда хочется смеха, людей, музыки, красоты. Хочется театра, ресторанной залы, улицы. Хочется сознавать и видеть, что... да, но это все равно. Спохватилась вовремя! Grâce à Dieu! Quoi, c'est mieux![79] Однако... вернемся к Гельсингфорсу! Там я узнала человека со странными, с красивыми, стальными, голубыми глазами, удивительно похожими на глаза... я знаю, на чьи глаза!

Спокойные и ласковые, насмешливые и вызывающие, они похожи на холодную сталь, когда глядят чисто, холодно и умно, и на предутреннее голубое небо в минуту ласкового, милого, но в то же время вызывающего взгляда! Красивые глаза, очень ничего!

Я любила прогуливаться по Runebug's Esplanaden[80] и по Александровской улице. Любила пройтись неторопливо и осмотреть публику, встретиться взглядом с военными и морскими офицерами и чувствовать, сознавать...? Ничего особенного!!!

Май, 5, четверг

Долго не писала, очень долго! Больше месяца. Но работы по горло: репетиции, репетиции и репетиции! Почти все сдаю блестяще (отметки мои лучше всех), а сегодня, на экзамене физики, так прямо скандал из-за моего балла вышел. Ольга Константиновна никогда никому пятерок не ставит и очень придирается к слогу, требуя точности, ясности в выражениях, желая приучить нас к так называемому «научному» слогу, каким доказываются теоремы, алгебраические вычисления и объясняются законы и опыты по физике. Но мы, конечно, очень трудно привыкаем к ее речи, и часто она принуждена повторять то же самое по нескольку раз, чтобы мы могли составить более или менее ясное понятие об объясняемом. И вдруг, о, неожиданность! Сегодня я держала по физике форменный переходный экзамен; со мною вместе исправляли свои репетиционные двойки Женя Рукавишникова и Женя Видаль. На первую голову вызывают Ж.В.; «Физика» сидит у пюпитра Ады Моржицкой, высокая, длинная, тощая, в белой воздушной блузке. Сидит и думает, вытаращив свои огромные черные глаза, выпуклые, тусклые, некрасивые! Задает Жене сифон[81]. Эта строит физиономию, поворачивается на каблуках к классу и оглядывает девочек с таким видом, будто первый раз слышит о том, что на свете существует нечто, именуемое сифоном! В это время «Физика» занята обдумыванием какого-то сложного вопроса. Женя быстро наклоняется к Рукавишниковой, которая сидит почти что рядом с доской, и стремительно просматривает чертеж сифона, слушая бессвязные и торопливые слова моего «Baby» о устройстве сифона и, вероятно, еще о чем-то. Неожиданно «Физика» поднимает глаза:

— Госпожа Видаль, прошу без этого... Занимайтесь делом и оставьте госпожу Рукавишникову в покое...

Женя Видаль принимает вид оскорбленного самолюбия:

— Я, mademoiselle, я ничего... Она даже не слышала, что я ей сказала... Я, mademoiselle, я...

Но в это время «Физика» вдруг извергает мою фамилию. Встаю. Страх пропал, и даже стало смешно. Потом тупое равнодушие. Что спросит? Насосы, коэффициент линейного расширения, Бойля-Мариотта?

— Расскажите о барометрах!

Минуту молчу, подбирая первую фразу, в мозгу укладывается быстро красивая, длинная, витиеватая. Начинаю. Выходит резко и обрывисто: слова падают короткими отдельными предложениями, отрывистыми, маленькими, сухими. Я в отчаянии. «Будет злиться!» Но ни слова с ее стороны. Потом быстро осваиваюсь со своей ролью, уже, свободно и улыбнувшись, испрашиваю позволения подойти к доске и начертать около кривого, безалаберного рисунка о сифоне мою схему металлического барометра. Потом говорю еще что-то о циклонах, о погоде, о законе плавания[82], термометры, неудобства водяных термометров и т.д., и т.д....

— Довольно! — падает отрывистый звук.

«Неужели конец?» — думаю. Нет! еще придется дать листочек и решить задачу о теплоте. Граммы, градусы, калории привычным, машинальным движением набрасываю на бумагу, потом приписываю уравнение и подаю листок «Физике». Она только что кончила спрашивать Женю Видаль и отпускает ее на место. Просматривает мою задачу — верно. Еще несколько вопросов, и я готова. Сажусь и сейчас же втягиваюсь в доказательство и объяснение закона Бойля-Мариотта, который попался бледной и дрожащей Ж.Р. От испуга она стоит молча и неподвижно. «Физика» задает ей другие вопросы, но я их не слышу, потому что ни о чем не думаю. Вдруг вижу, что «Физика» быстро берет классный журнал.

«Отметки!» — вихрем проносится у меня в голове, и, едва шепнув Аде, чтоб узнала, сколько мне, снова впадаю в странное, полусонное состояние. Женя кончает письменное объяснение Архимеда, говорит что-то о капиллярности и еще о чем-то, но я все-таки ничего не понимаю. Женя идет на место. Кончила. «Физика» берет журнал и неторопливо и ясно говорит, что Ж.В. ответила лучше — ей тройка, Женя Р[укавишникова] — тоже ничего, но путалась — тройка с минусом; Я — ...

— Пять!

Вихрь радости кружит мне голову. Мне хочется смеяться, разговаривать. Но на меня смотрят; смотрит весь класс, неприятно удивленный и недовольный. Я спокойно поднимаю глаза, без улыбки осматриваю девочек и встречаю их злые, изумленные взгляды.

«“Физика” поставила пять?»

Это читаю в каждом взоре. Меня окружают злые, холодные дети с неприятными глазами. Только моя Женюрочка как-то съежилась на своей скамейке. Перевожу взгляд на Аду. Она оглядывает класс с триумфом.

«Ага? Ага? что я говорила? Одна она получила пять?!» — без слов говорит она остальным. Неожиданно молчание прерывается рокочущими, тихими перешептываниями. Я молчу и в душе смеюсь над ними.

«Préferée!»[83]— это слово всасывается в мои уши.

«Я заслужила!» — отвечаю им глазами.

«Она заслужила!» — молчаливо говорит «Физика».

«Ага! Ага!» — взывает взгляд Ады.

Да, я заслужила, знаю это, а остальное... peu importe[84]. К завистливым глазам я равнодушна; по злому шепоту за спиной читаю презрение, ибо все, что прячется, неправда, ложь и гадкая низость!

Май 21, суббота

Неужели все так глупо на свете? Так пошло и так глупо? Неужели? Тогда зачем же мы живем? Но нет! Так быть не может! Есть много прекрасного, но я всегда боюсь, чтобы и оно не оказалось таким низким и вульгарным, как другие! А этих других так много... так много!! Неведение лучше всего! Обман, может быть, все же не так отвратителен, как действительность! Ах, Боже мой, я начинаю впадать в пессимизм — становлюсь каким-то бездушным скептиком! Но лучше ли это? Может быть, что так! Однако есть люди на свете добрые, милые и красивые, с чистым, ласковым взглядом и умной речью, есть, и я их знаю; это подбадривает и вносит оживление! «Остальное» меня злит, и я ненавижу его.

Неужели так всегда? Я верю в другой мир, который нам бесконечно близок, ибо я верю в его сношение с нами, и страшно далек, ибо превосходит и подавляет тайной и величием! И есть люди, имеющие близкое соприкосновение с ним; я их люблю и поклоняюсь их душе; есть люди, которые смеются над всем и отдаются легкомыслию и пустоте; я их ненавижу и презираю их ослепление! Счастье, кто принадлежит к первому сословию!

Май 24, вторник

День был душный и жаркий. Асфальтовые плиты тротуаров стали мягкими и поддавались под ногами. Пышные, круглые и низкие облака выпукло выделялись на синем небе и плыли медленно и лениво, словно боясь растаять и исчезнуть. Невский пестрел летними платьями и цветными зонтиками. Эдя все время ныл, жалуясь на жару; наконец мама отпустила его домой одного, и он, схватив быстро и проворно свои коробки от «Скорохода»[85], стремительно понесся по тротуару, изредка мелькая красной шапкой. К че-

тырем пришел его товарищ, Виктор Космовский, некрасивый и нескладный мальчик в больших очках. Своим шепелявящим говором он немного напоминает Диму Воскобойникова.

Лишь под вечер стало как будто бы прохладнее, но опять это только так показалось, потому что воздух продолжал быть тяжелым и жарким. Я уговорила маму проехать на острова. Ведь теперь стоят белые, странные ночи, и так поздно мы еще на Стрелке[86] не бывали. Поехали. Было очень светло, и даже не верилось, что скоро полночь. Ясно виднелась яркая зелень, проглядывающая на Дворцовой площади. Небо было окрашено красно-желтым огнем, и облака, как огненные птицы, осторожно скользили по нему. Зимний дворец стоял, как всегда, строгим и прекрасным. Государь был в отсутствии. Нева, казалось, замерла в своем блестящем величии. Вода сверкала и переливалась однообразным матово-золотистым и серебряным блеском, и ни одна волна не бороздила зеркальную поверхность. Петропавловская крепость навеяла минутную печаль о ее безмолвных, страшных жертвах. У ее низкого таинственного входа мерцал желтый огонек. И огромная тишина царила здесь. Неожиданно с Троицкого моста донесся пронзительный и долгий трамвайный звонок; потом загудела пароходная сирена, и беспокойная, бурливая жизнь большого города окружила нас кипящей, непрерывной волной. Роман всегда едет шагом в начале Каменноостровского, около мечети. Ее голубые купол и минареты сверкали тихим и спокойным отблеском зари. Всю красоту вечернего настроения портили беспрерывные гудки моторов, звонки трамваев и окрики кучеров и простой, неизящный народ, рассевшийся на скамейках и спокойно лущащий семечки. Минув оживленный, красивый проспект, мы въехали на Острова. Никогда Стрелка не бывает такой многолюдной, как в дразнящие белые ночи, когда «одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса...»[87]. Моторы, лихачи и собственники так и рыскают по ее аллеям, и влюбленные парочки встречаются на каждом шагу. Последнее явление становится в это время самым обыкновенным, так как редко-редко встретишь двух гуляющих одного пола! Все только и мелькают: офицерская или вообще защитная фуражка и дамская шляпа. Котелки и мягкие шляпы тоже нечасты. На военных теперь нашла странная мания — каждый должен непременно иметь свою «belle»[88]; но, увы, они бывают, и почти всегда, противоположностью этого слова. По густой, яркой траве ползла лиловая роса; вода озер, прудов и рек таинственно золотилась сквозь голубоватую дымку мглы. Очертания деревьев то выделялись рельефно и выпукло на светлом небе, то окончательно терялись, образовывая темную,

сплошную массу, сквозь которую часто мигали электрические прожекторы автомобилей. На самой «pointe»[89] мы вышли немного пройтись: в этот вечер я выглядела очень эффектно и хорошо. Мое элегантное платье, пелеринка и изящная шляпа с сине-лиловыми цветами обращали на себя внимание. Возвращались быстро. Острова исчезли из виду; мистично сверкнул пустыми окнами таинственный особняк Строгановых[90] — и мы мчались по Каменноостровскому. Становилось темнее, потому что густые и плотные облака наполовину заполнили светлое небо, и оно покрылось многоцветными, фантастическими арабесками. Дул легкий жаркий ветер. Улицы были сравнительно пустынны. Сергиевская[91] была еще красивее, чем днем; странное освещение полуугасшей зари и темного и светлого неба делали ее удивительно изящной и тонкой. Особняки стояли мрачными и тоскливыми и блестящими, слепыми окнами пристально вглядывались в проезжающий экипаж.

Ах, странные белые ночи, ночи чего-то недоговоренного, ночи горячих зорь и пылающих губ, как вы бесстыдны и откровенны в своем светлом мраке и мерцающих полусветов неба! До чего дразнит ваше горячее, прерывающееся дыхание, утомленное и голодное! До чего нервирует ваш матовый переливающийся блеск — и никогда не знаешь, что это: день или ночь, занимающееся утро или поздний светлый вечер?!

Май 25, среда

Вернулся папа из Олонецкго края: утомленный и расслабленный. Рассказывал много интересных подробностей о тамошнем быте. Познакомился там с гастролирующими актерами. На обратном пути была мучительная качка; папе было плохо. Привез из Сегозера[92] железную руду и образцы горных пород, как кварц, мрамор и т.п.; все это я прибрала для своей коллекции. Сегодня стояла гадкая погода; никуда не выходили, так как после обеда, на котором, кстати, был «Kwiatek», лил сильный дождь. И небо было черносиним с серыми клочками низких облаков и туч, и ветер собирал и разгонял их группы, и было гадко, тоскливо и неприятно. Получила письмо от N. Ненавижу! Бог мой, как эта комедия надоела!! И подумать только: далеко где-то плывет волна войны, сметая жизни и калеча судьбы, а здесь, в городе, головы заняты пустотой и глупостями. Стыдно господам офицерам! Даже в нашем доме живет некий типик. Мразь какая-то!!! Когда конец войне? Увы, моя любимая Англия потерпела вчера большой урон в лице славного вождя лорда Китченера. Направляясь в Россию на миноносце «Хемпшайр», он погиб в море от мины или торпеды. Весь его штаб потонул, и только слабый,

но отчаянный крик прессы всех стран возвестил нам эту тяжелую потерю, ибо известие о гибели любимца солдат было встречено народом мрачным молчанием! Рах, рах, рах!!![93] Это было 23 мая, в 8 часов утра. В этот же день, утром, скоропостижно скончался Юань Шикай, президент Китайской республики. Теперь его место временно занял вице-президент Лиунь-Хунь. Остальное все в порядке.

Что будет? Что будет??..

Июнь 3, пятница

Что со мною? Разве я знаю? Пустота, пустота и лень. Много хорошего случилось за это время: приезжал Алексей Васильевич Красавин, наш милый московский знакомый, ездили в Павловск, завтракали в «Европейской», были у очаровательной Мосоловой[94]... И еще что-то было, тоже прекрасное, но, несмотря на это, я часто нервничаю и сержусь. Особенно теперь. Почему... не знаю! Становится пусто и как-то неопределенно тяжело, и не знаешь, что делать, за что приняться... Вчера вечером были у Руфины Зиновьевны Баженовой. Она снимет порядочную квартирку на Сергиевской, но сдала несколько комнат богатым беженцам из Польши, которые чувствуют себя как дома[95]. Сама она странная и ускользающая личность... Сразу не поймешь... Странная, тяжелая драма произошла в их семье. Я думаю, что она мне послужит новой темой.

На Волгу ехать не хочется. Тянет в Гельсингфорс. Что-то маняще-милое имеет в себе этот городок. Что именно? Может быть, я и знаю. И к тому же у нас такие платья, что только и есть, как сверкнуть где-нибудь в людном уголке, и... и исчезнуть, оставив хорошее (peut être même plus que ça![96]) впечатление.

Папа купил изящный английский шарабан. Пришла фантазия править самому. Что поделаешь avec cet enfant, avec ce grand bébé?[97] Но он прелесть. Кстати, иногда на ум приходят декабрьские и майские дни, но... это так далеко, так старо, что и вспоминать не стоит.

Июнь 8, среда, ночь

Я не довольствуюсь малым, нет! Все мне кажется еще недостаточным, и я желаю, требую чего-то огромного, большого... чего? Ха-ха... Ответа нет. И не будет. В общем — что я такое? Контраст сама себе: то дикость, то спокойствие; то веселье, то мрачное, гнетущее настроение; иногда хочется толпы и шума, другой раз безумно жаждешь такой великой, огромной тишины,

что даже сама удивляешься. Все, кого я знаю, не отвечают совсем моим требованиям; о, может быть, последние слишком широки? Все возможно! Но до сих пор не встречала ни женщину, ни мужчину, совершенно подходящим ко мне и моего типа, нет, нет...

Июнь 11, суббота (ночь)

Только что приняла ванну и чувствую себя великолепно. Весь день сидела дома, так как лил невозможнейший дождь. Был N. Влюблен, смешон и глуп. Я получила огромную корзину бело-розовых гортензий. Этих цветов я не люблю. Почему-то припоминает усыпальницы богатых людей. Папа уехал в Новгородскую губернию, Боровичский уезд, смотреть имение. С ним уехал к себе Молчанов. Утром написала письмо Ольге Павловне и Филиппу Артемьевичу. Буду ждать ответов! Больше писать нечего, потому что настроения и души нет.

Июнь 19, воскресенье

Были на скачках. Я — в первый раз, конечно; но мне безумно понравилось. Очень, очень хорошо. Встретили г. Волка со своей дамой. Говорят, что она... да мало ли что говорят о накрашенных женщинах! Был также г. Иванов. Он лишь недавно вернулся из Англии; и в Париже побывал. Папа играл, все же остался в проигрыше. Пустяки, конечно! Я угадывала номера лошадей, и они выигрывали. В компанию с Ивановым выиграла что-то такое. Было очень весело, очень хорошо. Погода была не из важных, но в общем... pas mal[98]! Несколько изящно одетых дам, несколько оригинальных туалетов... остальное... остальное интересует только меня. Никого другого. А то, что нужно и великолепно, упомню без помощи дневника.

Июнь 30, четверг

Боже мой! Это был последний день июня! Какой ужас! Однако это время невероятно гадко мчится. По-моему — слишком быстро. Не успеешь оглянуться, а тут уж школа нагрянет со всеми ее атрибутами. Как не хо-чется! Ух, не хочется! Впрочем, что я болтаю? И в гимназии весело. Все же девочки, учительницы, маленькие радости и скандалы, мой Сфинкс, молчаливый, хищный и холодный!!! Ой, ой, ой! вероятно, никогда не соберусь черкнуть «моим». А, право, иногда хочется. Но боюсь. Чего? Может быть, буду слишком откровенной. А пока это нельзя. Потом... кто знает!!! Настроение писать письма приходит поздно вечером, ночью... А тогда я бываю воз-

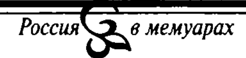
буждена и нервна до крайности и могу Бог знает что накатать! Ночью опасаюсь писать письма; а если и пишу, то крайне осторожно и осмотрительно, чтобы не сказать coś niewłaściwego[99]! Но это невероятно трудно, так как ночь на меня волнующе действует, нервирует, возбуждает и дурманит, а при таком дьявольском настроении, да еще в руки себя взять, наблюдать за собой, контролировать свои действия, — это уж теорема, которую не в состоянии доказать никто!

Сегодня холодно, неопределенно-серо, противно!!! То дождь хлынет, то снова проглянет солнце и на минутку станет потеплее. Но в общем день мне не нравился. Половина шестого уехали на острова; по дороге нас нагнал дождь. И мы минут двадцать простояли на Сергиевской. На Стрелке было очень мало народу, очень мало! Это мне не нравилось. Я люблю изящную толпу. А тут лишь несколько добродетельных мамаш с ребятами, две-три парочки с посиневшими носами, да так еще немножечко порасселось на «point». «Моего» не было. Да ведь «он» позднее приезжает, и немудрено, что в этот час не гулял по Стрелке. A propos, он очень странен, и я не могу понять, старик он или молодой? Удивительная личность. Больше, кажется, писать нечего! Впрочем, есть еще несколько маленьких пустячков: получила письмо от Андрея. Милый мальчик — я ему очень симпатизирую! Потом познакомилась с нашей визави: mademoiselle Nata, тринадцатилетняя смолянка!!! Тоже особа; дома совсем одна: отец убит, а мать в Лозанну за младшими детьми уехала. Кажется, cette petite est plutôt gentille[100]. Но не знаю!

Июль 5, вторник

Дальний благовест, гроза с солнцем, дождь и тоска! Такая ужасная, беспричинная тоска. Может быть, потому, что хотя уже шесть часов вечера, но я и не одета, и не причесана, и ничего не делаю!! Парикмахер придет к восьми завить мои волосы... что дальше? Если будет хорошая погода, попрошу маму пойти на Невский. О кинематографе уж молчу! Верно, мама найдет девятый час слишком поздним и поэтому «неприличным» для посещения публичных мест. Но мне это все равно. Дни или мелькают неестественно весело, или тащатся неестественно тяжело и скучно. Среднего нет — все натянуто, ненатурально, нехорошо. Ничего мне что-то не нравится. Такое низкое, грубое. Вульгарно, неэстетично! Боже. Боже! Один ужас, один страшный кошмар! Я хочу света. Хочу радости и оживления! Я хочу жизни, но настоящей, моей жизни!.. Где моя жизнь?

Завтра в Гельсингфорс. Что меня ждет там?



Гельсингфорс, июля 7, четверг

Нет, положительно это комично до невероятности! Сижу я в номере гостиницы одна и будто бы не одна. Эдуард сладко спит в кресле, утомившись длинной дорогой, и мама тоже задремала на диване. Я вижу лишь закрытые глаза, сонное выраженье лиц и лениво надутые губы. Сон снизошел к нам в комнаты и среди бела дня охватил всех, кроме меня. О, я счастлива, что могу свободно бороться с каким бы то ни было чувством усталости и никогда не поддамся ему. Сижу, пишу, взгляну иногда на уморительные физиономии моих заколдованных принца и принцессы и едва-едва удерживаюсь, чтобы широко, смело не расхохотаться. Но... я принуждена молчать. То есть не то чтобы меня кто-то принуждал, нет, а только мне как-то не хочется нарушать общей тишины. Комнаты нам попались удивительно хорошие: обширная передняя, большая, красивая гостиная, затянутая сукном, с шелковой густо-розовой мебелью, затканной золотыми, фантастическими цветами, с портьерами из той же материи и того же рисунка; зеркало в богатой золотой раме со старинным мраморным подзеркальником на золотых ножках очень скрашивает комнату; у письменного столика лежит шкура какого-то серого зверька, и ноги мягко утопают в его пушистой шерсти. Спальня находится рядом: две пышные кровати, плюшевая кушетка, туалетный столик, зеркальный шкап, умывальник с разрисованным прибором, пара мягких стульев... là voilà, notre chambre à coucher![101] В общем, пока все ничего. Но сейчас перестану писать, так как интересных подробностей нету. К вечеру, вероятно, наклюнутся. Ой, не могу видеть их спящие лица, сейчас улетучиваюсь в читальню. Adieu!!!

Вечер. Одиннадцать пробило. Вернулись давно с прогулки: ходили по Александровской, Эспланаде, гуляли в Обсерваторном парке[102], откуда открывается великолепный вид на задернутый вечерней дымкой город и на спокойное море, служащее стоянкой многочисленным судам, канонеркам, шхунам, лодкам и яхтам. Посреди воды разбросаны небольшие островки; там построены миниатюрно-изящные виллы с красными крышами, какие-то домики. Даже несколько церквей, кажется. Но на это я не обращала внимание. Не хотела... и кончено!! Почему? Было грустно, скучно и гадко. Как-то неопределенно тоскливо и пусто. Я возненавидела в эту минуту всех финнов и финнок, их тупые, равнодушные лица. Здоровенное телосложение, маленькие светлые, светлые или бесцветные глазки, некрасивые носы... Бог мой, как я счастлива, что не живу где-нибудь в провинции; как я горда, что могу назвать себя жительницей столицы, нашего роскошного, огромного Петро-

града. Как я люблю наш Петроград, мой дорогой, горячо любимый Петроград. Милый мой, хороший!!! Хотелось, безумно хотелось Невского, Стрелки, кинематографа... Но нет — места!! А раньше как я рвалась сюда, в этот несчастный Гельсингфорс!! Увы, обман, опять обман!

Хотя... ведь я здесь всего лишь первый день! Значит, надо приложить старания и... играть жизнью!

Петроград, июля 19, вторник

Вчера вернулись в Петроград. Я так хотела поскорее увидеть этот город, но вот уже второй день, как идет неприятный дождь, и я принуждена сидеть дома. Это противно! Но я всегда думаю, что завтра принесет мне утешение. Я всегда жду этого таинственного «завтра». Одно время мы провели на Иматре[103]. Было сначала скучно: ходили с мамой на водопад, бродили по парку, и хотя гостиница была переполнена, мы не знакомились ни с кем. Все ужасно несимпатичные физиономии, так что даже заговорить не хотелось. Однако на второй или третий день, я уже не помню, я познакомилась с барышней моих лет. Elegancka, bardzo, nie brzydka warszawianka, Halina Getdzińska. Jest ucieknięta z Łodzi, i matka jej pozostała teraz w Królestwie[104]. Мне она понравилась, я ей тоже, по всей вероятности. Значит, быстро сошлись и почти что подружились. Гуляли вместе, делились впечатлениями, рассказывали друг другу свои маленькие приключеньица и «aventures»[105]. О, много их было, есть и будет, много пройдет незамеченным, много же оставит след на целую жизнь! Как вспомню сейчас некоторые более мелкие подробности моего пребывания в Гельсингфорсе, так даже смешно становится. Но, однако, вернемся к Иматре. Мелочей было масса, иногда даже испуг вкрадывался в душу, но все это прошло и, вероятно, никогда не вернется в той же форме. Боже, как бы я хотела видеть одну личность, которую я знаю и будто бы не знаю! Dieu de misèrïcorde[106] — она мне поистине нравилась! Даже больше Котика. Еще... да. Еще познакомилась с гр. Шембек-де-Норта. Очень тонкий, изящный и умный молодой человек. Симпатичный, общественный, светский и ненавязчивый. En un mot[107], совершенно «bon ton».

Июль 22, пятница

Погода эти дни стоит неважная: то дождь, то снова прояснится. Вчера, выходя из кинематографа, встретили Ф.А. Обрадовался — до безумия. Прошли с ним до дому, а Эдик так раньше домой уехал; потом неожиданно «рара» встретили. Ну — ничего. А вот у меня было маленькое приключение

в ночь на 21-е. Легла я около двенадцати. Почти что стала засыпать, но почему-то в эту минуту подумала о гусарской парадной форме. И вдруг слышу — военная музыка! Сажусь на постели в полнейшем недоумении. Что? Откуда? Неожиданно марш прерывается, и я слышу моих «Гусар»[108]. О, как я люблю эту песенку! Уму непостижимо! Я вскакиваю, зажигаю сразу две лампы и, едва накинув капот, высовываюсь за окно. На дворе абсолютная тьма. Окон vis-à-vis не различишь, но на дровах лежит отблеск окон первого этажа: оттуда слышатся крики, голоса и... «Гусары»! Конечно, я сразу поняла, у кого это! И, о, Боже мой, как я позавидовала им. Особенно, когда за «Гусарами» раздался вальс, а затем... мазурка! Я сидела на постели злая и грустная и мысленно требовала повторения «Гусар». Бисировали неисчислимое число раз. А я продолжала сидеть печальной, молчаливой и недовольной. Потом играли «Танго»[109], «Сон негра»[110], «Маннарони», «Пупсика»[111] и др. И все по большей части мне знакомое. Едва начинали мазурку или краковяк — я слышала топот танцующих ног, какие-то возгласы, крики. А мне было так грустно, так неимоверно грустно... Чего я хотела? Блеска... музыки, многого хотела! Хотела того, что никогда в жизни не могла бы излить на бумаге. А потом ужасалась своих мыслей, желаний. И прятала голову в подушки, защищая воображение от наплыва чувств. Но ненадолго. Снова разгоряченный мозг начинал действовать, и я поддавалась ему. И опять повторялось то же самое. А к четырем часам я уснула. Уснула тяжелым, гадким сном, который меня еще больше нервировал и дразнил. Дразнил невозможным; и это было тяжело. Если бы я умела плакать, я бы плакала — но слез нету, не умею что-то. Это и хорошо, даже очень хорошо, а иногда и плохо. О, как плохо!

Июль 24, воскресенье

Сегодня были в «Comedia». Pardon, называется это «Сад комедии», но вообще даже намека на сад не было. Обширный двор, густо посыпанный нехорошим песком, несколько чахлых лавров в бочоночках и клумбы по бокам, крытые театр и ресторан — все! «Рара» взял ложу; сидели совсем близко сцены. Актеры замечали, даже улыбались. Ставили два балета: «Крестьянский праздник» и «Карнавал» и еще какой-то отрывок из «Горячего сердца»[112]. Танцы мне не очень понравились; темперамента нет и огня мало. Не мой вкус, увы. Публика была довольно хорошая, даже, можно сказать, весьма приличная. Ничто не шокировало; мама была довольна, так как боялась

за меня. «Рара» тоже ничего. А я? Гм! Было весело, но как-то мимолетно весело. Впечатления не осталось никакого. Теперь вернулась домой, и, ну, положительно никакого чувства.

Июль 31, воскресенье

Сегодня были на Островах; конечно, в том же составе, что и всегда: мама, брат, я... Нового и быть не может. Воззрение «ра» на жизнь очень старо; que faire!![113] А жить так хочется... так безумно, ужасно тянет! Но приходится покоряться. На Островах особенного ничего. Народу очень много, но публика вся какая-то серенькая, одним словом, праздничная, воскресная. Я думала, хоть R приедет, нет, не мог. Очень, очень милая личность, симпатичная и, как мне кажется, вполне естественная. Это почти что главное преимущество человека. Как можно больше простоты. Но не везде и не всегда ее найдешь. Трудно сыскать! «Мой» тоже был на Стрелке. Но, кажется, меня не видел. Противно. И всегда так случается: мы возвращаемся — он только едет! Иной раз так даже досада берет. Почему? Не знаю. А впрочем, не все ли равно. Да, да — пусть будет все равно. Так должно быть почти всегда. Мое слово — ибо я предпочтительно молчу. Не знаю — мой вечный ответ, ибо я боюсь своих мыслей и упорно прячу их! Не знаю...

Август 8, понедельник

Друг мой — я тебя жалею! Как мне жаль тебя! Мой добрый, хороший, правдивый друг. Мелочи способны повлиять на всю жизнь... на всю жизнь... И это пугает... И не знаешь, что делать для избежания этих «ничто». А их так много. Одно промелькнет и забудется — другое оставит глубокий след. Почему мы все живем несамостоятельно? Всегда для кого-нибудь. Жизни всех связаны между собой. Связаны невидимыми, но ощущаемыми и крепкими нитями. И ничто не в состоянии разбить эту связь. Даже смерть не может. Ибо души бессмертны. Души наши соединены между собой — и связь эта бессмертна. А другой раз и к близкому человеку не чувствуешь ничего. Связи нет — души далеко, флюиды спят... И не всегда встретятся мысли, не всегда найдут покой — нет. Да, много странного на свете. Но я помню о тебе, друг мой, и безумно жалею тебя. Мне кажется, твоей вины здесь нет. Хотя... Я ничего не знаю — ничего. Но если мне так думается, то, вероятно, предположенье правдиво. В чем твоя вина? Нет, нет — ты не виноват. Знаешь ли ты это? Нет. И это меня мучает. Как объяснить тебе? Не знаю. Впрочем...

могла бы, да ведь не поймешь меня. И поэтому молчу, не желая сбить тебя. А так хочется примирить, сказать... что? не все ли равно!

Друг мой, я тебя жалею! Жалею и понимаю!

Август 13, суббота (утро)

Вчера вечером Коля[114] уехал в Воронеж. Он очень милый мальчик, добрый и симпатичный. Эдик так повис у него на шее, так и застыл, осыпая поцелуями, смелыми и детскими, его лицо. Ну... и все! Больше пока ничего.

Вечер.

Дождь. Небо серо и противно; мокрые, блестящие крыши так матово, так ужасно блестят. Мне грустно. Почему? Я не знаю. Я зла, я нервна — и потому мне очень гадко; печально и тоскливо!! Я не терплю такую погоду. Я не могу ее видеть. Мне холодно. На плечи я накинула мою пеструю шаль. Но это не помогает. Мои руки так холодны, так холодны! Я люблю мою шаль: с ней связаны только хорошие случаи в жизни. Добрые, хорошие воспоминания. Сегодня я видела странный сон: знакомый сон! Ибо это было и, мне кажется, еще повторится. Я этого не боюсь, я к этому равнодушна. Только что пробили часы в столовой. Сколько — я не считала. Лишь вслушивалась в их властный, серьезный звук. У нас испорчено электричество, но в кабинете, гостиной и спальне действует. Я сижу у папы; тут холодно и пустынно. Я не люблю эту комнату. Зачем тут повешены карты? Я бы их сняла. И многое бы переменила. О, да, очень многое! Я жалею, что Коля уехал. В дождь я люблю сидеть в полуосвещенной комнате и немного, обрывисто говорить. Бывает грустно и неопределенно! Сейчас хочу сильного ощущения... хочу взволноваться чем-нибудь дразнящим и мучительно-сладким. Чем? Не знаю. Меня пугает восемнадцатое. Это число меня злит и нервирует. Я начинаю бояться... да, бояться почти что всего. Здесь мне нравится лампа: она... ааа... зовут! Надо идти.

18 августа, четверг, ночь

Восемнадцатое! Да — пришло наконец! Но утром я совсем этого не заметила; и потом, до ночи. Веселилась, смеялась, но думала совсем о другом. И только теперь вспомнила. Я давно не получаю писем от Коли. Почему? Я не знаю. Я так боюсь, что он исполнит, о чем «та» будет просить. Я начинаю «ту» ненавидеть. Я не знаю, кто она. Но это безразлично. Сейчас я пойду спать, лягу в постель и стану думать и говорить с Неведомым! Я думаю о Коле, и мне грустно и гадко! Ах, это восемнадцатое! Зачем оно существует?!

В календаре нет этого числа. Он его смял. Но я отняла. О, я многое могу! Я боюсь за него!

Август 25, четверг

Настроение ужасное. Прямо не знаю, что с собой делать. Иногда, на мгновенье, забудусь — но потом опять приходит та же мысль, и снова гадко, пусто и неопределенно. От К. нет писем. Свое я выслала 19-го и, по моим расчетам, должна уже получить ответ, если, конечно... Нет, нет, никогда! Боже мой, это было бы ужасно!! Я стараюсь внушить себе мысль, что он это не исполнит, не сделает, нет; о... мгновеньями находит такой жуткий страх и гнетущее беспокойство, что даже описать трудно. Тогда я начинаю бродить по комнатам, в нашей гостиной еще не сняты чехлы — и она такая пустая, мертвая, неуютная. Это ужасно — сознавать свое бессилие. Хотя... я никого никогда не прошу. А если это и бывает, то страшно редко. Но в этом случае я бы забыла свою гордость. Я бы просила, я бы дала так много — лишь бы этого не было! О, Боже... Однако что я говорю? Разве не все равно. Что я? Что со мной? Не знаю. Я всегда ничего не знаю, не потому, что не хочу знать, а потому, что не должна знать! Но... все равно! О, да, да... Все равно. Так должно быть всегда. И я подчиняюсь этому «должно».

Август 27, суббота

Мой дневник живет ровно год. Но теперь я так к нему привыкла, что без него было бы скучно. Все-таки всегда и везде сознаешь, что имеешь такую небольшую клеенчатую тетрадку, в которой записаны некоторые дни моей жизни. А по вечерам иногда находит страшное, сильное желание уйти в свою комнату, взять эту тетрадку и занести какое-нибудь происшествие. И даже я так привыкла к этим листкам, что, право, не знаю, как отнесусь к новой тетради (ведь эту же когда-нибудь кончу?). Помню, будучи последний раз в Гельсингфорсе, я не взяла с собой дневника (мама велела оставить его дома, боясь, что при осмотре вещей таможня может задержать тетрадку). И как было грустно без него. Правда, можно было написать на почтовой бумаге, а потом перенести сюда, но это длинная история, и переписку я не терплю. А было так много интересного! Главное, было ново и, пожалуй, оригинально. Почти все одинаковые характеры, взгляды, вкусы. Это интересовало, заставляло ждать еще что-то. И эти вечера... (ведь не могу же сказать... ночи). Но все равно... Одним словом, было очень хорошо. И промелькнуло быстро и властно. Оставило глубокий отпечаток. Что будет дальше? От К. писем все нет и нет! Право, не знаю, что такое?!..

28 [августа], воскресенье

Погода очень неопределенная, как и мое настроение сегодня. То дождь, то солнце; то улыбка, то грусть. После двенадцати ездили сегодня [к] m-elle Girard. Мама хотела с ней поболтать и в то же время внести плату за первое полугодие. Ожидали меня некоторые новости: сама начальница будет у нас классной дамой, m-elle Неклюдова отказалась от русских уроков. Их будет преподавать ее племянница, в шестом прибавилась еще новая ученица, какая-то Lydie, но самое неприятное впечатление на меня произвело известие, что, может быть, Ж.В. останется у нас продолжать курс. Вся моя надежда в том, что ее задержит математика. Никого из учительниц не видела; мне кажется, они обижены, что я им ничего не писала летом; но, Бог мой, ведь это не входит в круг моих обязанностей! После обеда, к чаю, пришел N. Что поделаешь! Пришлось, конечно, выйти. Но держала себя я крайне серьезно, спокойно и деловито. Он говорил, что записан в авиационную школу и только ждет приказа выехать из Петрограда. Потом спросил: почему я ему ничего не написала с Финляндии? Ясно и коротко ответила, что вообще никому ничего не писала. (На этот раз, увы, солгала! Мои письма с Финляндии получали очень многие.) N смешон и жалок. Мне совсем не нравятся эти черты. Это глупо и некрасиво (que faire!). В семь зашла Евгения Алексеевна. Вот тип, который я не могу никак разгадать. Очень много схожего с мамой, но и много странного. Хотя сама ее жизнь бурная, яркая, одинокая! Дочь турецкого бея и немецкой баронессы, она не знала никогда родного дома. Воспитание получила чисто английское: гимнастика, прогулка, занятия и т.д. Маленькой девочкой перекочевывала с одного дома в другой: и княгиня Ливен, и графиня Шувалова, и тетка Е. Черткова[115]... А в десять лет ее перевели в православие (раньше она была лютеранкой, кажется!). И в это время ее перевезли в Ясную Поляну, к «самому дедушке» Толстому. И первое, что ее привело на мысль, что она совершенно одинока, это слова жены Льва Николаевича[116]: «Она чужая!» Далее мне известно очень мало. Знаю только, что она окончила высшие курсы и получила звание городского техника (после войны, вероятно, Е.А. будет сдавать государственный экзамен на инженера-архитектора-строителя). Потом познакомилась с каким-то старым поручиком и однажды появилась на его квартире, просто и наивно ему заявив, что ей очень нравится у него, она убежала из дому и останется жить здесь. Вскоре вышла за него замуж, а теперь оставила его одного. Не берет от него денег и поступила старшей сестрой в один из лазаретов Союза Городов[117]. Остальное покрыто мраком неизвестности. Она довольно недурна, образованна, умна, горячая последовательница Льва Николаевича и распространительница его

идей, которых сама свято придерживается, помогая и деньгами и советом нуждающимся. А сама вечно неопределенная, порывистая, с добрым, симпатичным лицом и неимоверно грустными глазами. Глубокий философ и пессимист, она сразу определяет характер человека, словно видя его мысли и желания. А на удивленные вопросы, откуда она это знает, Евгения Алексеевна лишь печально, странно улыбнется и быстро нервно проговорит: «Жизнь! жизнь! чему она не научит?..» Мне же сказала, что я взрослый ребенок (да, да!), многое вижу, многое понимаю, может быть, и не совсем, но стараюсь глубже вникнуть в смысл и разобраться в дальнейшем. Сначала опрометчиво, сломя голову, что говорить, бросаюсь в жизнь, ловлю блестки удовольствия и радости, но потом останавливаюсь, глубоко вдумываюсь и разбираюсь во всем, анализирую почти все — и, не найдя того, чего бы хотела, снова прячусь в свою раковину и выжидаю «моей настоящей жизни»!!

29 [августа], понедельник

Такой ясный, светлый, хороший день! Очень, очень тепло, хотя есть сильный ветер. Моя легкая, шелковая юбка все время приподнималась во время утренней прогулки; прямо ужасно. К обеду снова пришла Евгения Алексеевна. К ней очень идет костюм общинной сестры: она кажется старше, серьезнее, строже. С мамой она уехала кататься на острова; я осталась. Не хотелось что-то! И сидела совершенно одна; брат занимался в кабинете с учителем, прислуги вели себя очень тихо, а я думала, читала, грустила... Мне не было скучно, нет, но неимоверная, тяжелая тоска овладела мною. Я читала «Atala» Chateaubriand'a[118], но едва понимала смысл, а сама грустила непонятной и волнующе-гадкой грустью. Хотелось пройтись, но одной нельзя. Запрещают, что поделаешь! Потом начала писать реферат (Елена Владимировна нас забросала работой на лето, но, конечно, никто ее исполнять не думал!), бросила, протелефонировала Жене. Новостей немного, да и не очень интересные. Вечером думала, что в кинематограф пойдем, нет. Снова заехала Е.А. — мы с ней возились, шалили, смеялись, но... в душе было грустно и непонятно. Самое гадкое в моей жизни то, что я не понимаю себя и не отдаю ясного отчета в своих мыслях. Вечный хаос, вечное движение! А писем все нет и нет!

31 августа, среда

Лето улыбнулось, бросило горсть блесток радости и печали, ошеломило новым и... умчалось! Завтра уже начнется моя двойная жизнь. Одна (актерская) в школе и с барышнями, другая (почти что актерская, даже совсем)

дома и в обществе. А летом я живу только второй. Она более легка и не так противоречит моим понятьям, как первая... О, та — полный контраст моей натуре! И притом безумно трудная. Движенье — думай, слово — думай; мнение — хитрость, умноженная на дипломатическую рассудительность. В школе я слыву умной, приличной, миленькой девочкой, с ясными, спокойными взглядами и comme il faut'ными воззрениями. В обществе — холодна, ровна, ласково-нежная, то вызывающе дразнящая, то молчаливая и надменная! А сама собой бываю не очень часто.

Сентябрь 4, воскресенье

Сегодня вечером «ра», мама и я уехали к «Медведю»[119]. Я думала, что будем только в обществе г-на Иванова с женой, но оказалась еще большая компания, так что нас было двенадцать человек. Обедали в отдельном кабинете. Раньше это слово меня шокировало, пожалуй, даже возмущало. «Quoi, quoi? O, Dieu, en voilà vie misère»[120], — говорила я, если мне кто говорил об обеде или ужине «там». Но... на самом деле rien de particulier[121]. Обстановка холодная и неприятная. Мне не очень понравилось. Хотя... может быть, зависело от общества, которое мне абсолютно незнакомо и даже чуждо. M-me Бер слишком резкая, слишком свободная дама; балерина К. натянутая и невероятно противная. Остальные... rien du tout[122]! Только г-жа И. очень мила, симпатична и немного застенчива. Не знает светских правил, проста и естественна. Он... очень ничего!

Сентябрь 5, понедельник

Сегодняшний вечер провели с Ивановыми в Палас-театре. Я в первый раз слышала Плевицкую и Тамара[123]. Обе на меня произвели большое впечатление, но совершенно разное. Плевицкая — настоящая русская женщина с простым лицом, некрасивыми руками и ногами. Но какая глубина и яркость передачи народных и разбойничьих песен! Это чистое отражение русской, непосредственной, удальски-смелой и беззаботной души. Тамара — совсем autre genre[124]! Тонкая, дразнящая, то строгая, то надменная, то волнующе-обещающая, то скорбная и непонятная. Стройная, высокая женщина в роскошных брильянтах и с изысканнейшим, очень гибким голосом. Самое тихое пиано она берет эфирно и легко. И к тому же настроение ее аккомпаниатора, комичного господина с ухарскими, порывистыми движениями рук и покачиваньем петушиной головой, чутко и быстро переходит к певице. Voilà tout![125]

Сентябрь 10, суббота

Сон оправдался. К. вернулся в Петроград. Что, почему — молчанье. Не знаю. Это злит. Эти дни я совсем больна, разбита... Горло, жар, голова трещит... ужасно. Когда это случилось — это короткое видение. А, да... в четверг вечером. После 9-ти я задремала. И так ясно, ясно увидела, что из зеркала идет ко мне навстречу К., в своей шинели с поясом, идет неторопливо и как будто устало. Протягивая мне руку. Потом... не помню... кажется, ничего. Спуталось, исчезло... Кто-то вошел в мою комнату и положил мне на голову холодную, влажную, косматую руку. Я с ужасом проснулась. Никого не было. Тишина и невозможность собрать мысли. Начала звать маму. Мне показалось, что меня забыли, что я одинока, оставлена, брошена... Вошла мама... Спросила, что случилось. «Твой зов был как крик ужаса». Ну да, que faire[126]. За несколько мгновений до моего крика ко мне кто-то приходил. Кто — новая прислуга не знает. А мне сразу показалось, что это непременно К. Я была так уверена. Потом опять уснула. А на другой день явились сомнения, что это ошибка, не он, не разобрали. Сначала даже испугалась. Вдруг это кто-то из его товарищей? Что с ним? Но потом прошло. Лихорадочно выжидала вечера. Никого. А, да, впрочем, был А.Ф. Присутствие его меня злило, но... я была так мила, так очень-очень ласкова. А на самом деле... Да... ничто. Сегодня же, недавно, кто-то телефонировал. Подхожу. Голос надорван и глух. Сразу узнала, кто звонит. Но потом откинула мысль. Невозможно. Однако — так! Дальше... ничего, ничего! Я слишком слаба, мой почерк ужасен, так как рука дрожит. Последние дни я все время кого-то видела... кого — даже сама не знаю. Какой-то бред, видения, мысли... Я никого не понимала... Было так темно, темно и... гадко. Но... пройдет. Не беда. А пока... да, мой александрит увезли к ювелиру. Я должна носить кольцо. Должна... должна.

11 сентября, воскресенье

Я немного поправилась, но все же неважно еще себя чувствую. Сегодня было какое-то адское состояние. Я чего-то боялась, чего-то ждала. При каждом звонке вздрагивала и замирала в тоскливом ожидании... чего? Да разве я знала?! Это было нечто ужасное — этот страх, тоска, ожидание. Мне казалось, что я как бы не живу. Я ясно слышала какую-то музыку, видела улицу, незнакомые и знакомые лица. Думалось, что сижу где-то в ресторане, разговариваю, смеюсь. Потом, полулежа в гостиной, различила комнату, никогда не виданную мною — большую, высокую, прекрасно убранную, и себя в

каком-то кружевном пеньюаре, лежащую в глубине, на кушетке. Потом и это смешалось, исчезло — и снова скользкий, мертвящий страх ожидания. Какой-то бред наяву, видения и сны с открытыми глазами. Или, например, утром подхожу к телефону. Определенно слышу голос Р. Что такое? Полнейшее недоумение... и неожиданно иллюзия обрывается. Чувствую, что говорит Ф. Ну, безразличие, конечно. А все-таки не понимаю своего состояния. Я будто бы не принадлежу всецело себе, как бы еще кто-то владеет мною и распоряжается властно и свободно.

Недавно ушел К. Я за ним очень наблюдаю: он болен душою, нравственная, тяжелая болезнь. Я заранее предугадываю будущее. А теперь... боюсь заглянуть туда!

Сентябрь 18, воскресенье

Недавно вернулись от «Медведя»; там обедали. Рара отдавал реванш Ивановым да Евгению Алексеевну еще пригласил. Было недурно. Я так привыкла вообще к обществу, что меня ничто не может смутить. Это очень хорошо; я не теряюсь — и на каждый вопрос у меня найдется ответ. Сегодня вдруг Иванов обратился ко мне громко и серьезно, очень долго и пристально всматриваясь в меня:

— А вы сегодня славно выглядите!

— Очень приятно, поверьте!

— Ишь какая, нас ничем не проймешь!

Боже мой, неужели они думают, что меня можно gêner[127] комплиментом? Никогда! На это я не обращаю ни малейшего внимания. Мне всегда... все равно! Потому что я им не верю! Этот же комплимент они повторяют многим, по нескольку раз, и иначе бывает очень редко.

Я констатирую, что мой дневник, как бы я его ни забывала, словно слился со мною. Вот не пишу, не пишу долгое время, а потом вдруг открою тетрадку да брошу несколько мыслей. Но иногда удивляюсь — к чему это я делаю? Зачем? Начну понемногу разбираться, вдумываться, философствовать, но вскоре отбрасываю, не дойдя, конечно, до разъяснения. И никогда не дойду до него, c'est clair comme beau jour[128]! Не хочу я этого, потому что тогда мой дневник канет в вечность, и никогда, никогда больше я не возьмусь за него. А это будет тяжело! Очень больно. Будто отнимут от меня частицу моего существования, словно жизнь моя раздвоится, и одна половина останется на точке замерзания, а другая помчится дальше, бессознательная, странно-неопределенная и забывчивая. R. давно не телефонирует. Почему —

не знаю, но догадываюсь. Кажется, в четверг я с ним говорила по телефону. Он уверял, что находится в конторе, но это ясно, что он был в другом месте. Там слышались оживленные речи, возбужденные голоса, смех и крики; кто-то мешал говорить, отрывал R. от разговора... Потом вдруг дружное восклицание, будто пришел некто новый, визгливый женский смех, голос R. удалился от трубки, затих. Что же, неужели я буду... мешать? Я поспешила повесить трубку... не мешать. Я вернулась в свою комнату... ну... и больше ничего!!

Сентябрь, 22, четверг

Сегодня не была в школе. Голова кружится неимоверно, да что-то левый бок покалывает. Не знаю почему. Вчера страшно болела правая рука, в кости, у плеча. Это ужасно противное чувство. Третьего дня, во вторник, в гимназии читала реферат о Меровингском обществе[129]. Елена Владимировна очень хвалила, сказала, что доклад полный, законченный, обстоятельный, достойный ученицы седьмого класса. Вполне серьезный курсовой реферат. Ну, что ж, слава Богу! Странно, что я тогда совсем не волновалась. Ничего абсолютно не чувствовала. И отвечала доклад таким спокойным тоном, будто просто делилась с учительницей каким-нибудь впечатлением. Не то что в прошлом году, когда я впервые читала «Слово о полку Игореве». Это была поистине трудная, а главное, совершенно индивидуальная работа. В Меровингском же обществе я повторяла только исторические факты и взгляды — и ничего своего прибавить нельзя. Этого я не люблю. Но все же изучила подробно ту эпоху. Хорошо написала, ясно, просто выразила все мысли — и прочла реферат не медленно, тягуче, а живо, быстро, даже весело, так как торопилась поскорее окончить. Говорила двадцать две минуты. Это утомляет; и усталость чувствуешь не в этот день, когда нервы приподняты и возбуждены до крайности и умственное напряжение еще не окончилось, а лишь на следующий. Чувствуешь себя усталой, разбитой, бессильной. Хочется тишины, покоя. Но не всегда найдешь желаемое. И бывает гадко, больно... грустно. Да, еще вчера были у Мосоловой. Безумно люблю ее театр, хоть раньше как-то болезненно-возбужденно относилась к ней. Мне она представлялась какой-то сверхъестественной женщиной, одаренной высшей силой и талантом. Правда, играет она бесподобно. Я ее ставлю выше других актрис. А? Очень правдива и... изящна. Хорошо одевается; для сцены это очень много. Но за это лето она почему-то страшно изменилась. Осунулась, словно постарела, и я сознаю, чувствую, что ей грустно. В этом я уверена.

Она играет — а мыслью далеко; улыбнется — но улыбка не та, что прежде. И выступает теперь не так часто. За весь вечер только один раз — и больше не видно. А жаль, право. В зале ничего интересного не было. Какое-то странное, неопределенное общество, какого я не люблю. И ничего... ничего... ничего!

А R. все молчит. Не знаю. Это немного странно. Но... все... равно.

23 сентября, пятница

Снова сижу дома; весь день пролежала в гостиной, в бездействии. Читала «Анну Каренину»; я ожидала большего. Мне не очень нравится. Голова болит ужасно, и так дурно, гадко... От R. получила письмо из Москвы. Не пишет, куда едет. Это злит. Больше ничего. Усталость страшная.

Сентябрь 29, четверг. 1 ночи

Сегодняшний вечер снова провели с Ивановыми. На этот раз были у Сабурова. Ставили бессмысленный фарс, в котором сути ни на грош и все основано на трюках, переодеваниях, гримасах. Глупо, но... смешно. И смешно только, когда видишь это, а вот теперь абсолютно никакого впечатления. Будто ничего и не было! В гимназии очень наблюдаю за всеми девочками. Бог мой, как я не люблю ложь. И зачем? Зачем? В глаза мне льстят, заискивают, уверяют в привязанности, а за глаза... о, что только они не выдумывают! Главная их цель — забросать грязью, очернить, бросить тень на человека. Ведь вначале кажется это невозможным... как? Чтобы дети могли дойти до этого и иметь такие низкие, грубые инстинкты и мысли?! Думается, что это непостижимо! А однако... это так! Что с ними сделаешь? Конечно, не все, но многие! Очень многие. Женюрка, Мариша и отчасти Лена составляют счастливые исключения. Я им за это благодарна! Меня мало кто любит (в гимназии), но и я тоже ни к кому не питаю особой привязанности. Но... поздно. Как-нибудь потом...

Октябрь 4, вторник

Давно хотела заглянуть на страницы дневника, но положительно времени не было. Усиленная, напряженная работа. Расслабляет и действует на нервы. Но... трудно. Il n'y a rien à faire![130] Архитектор, или там не знаю кто, прислал нам планы постройки имения. Дом очень недурен, и расположение комнат великолепно. Papa предлагает мне две или три комнаты сразу. Вероятно, возьму себе две, а в третьей непременно устрою маленькую библиоте-

ку. Вот теперь эти Дубровы меня очень заняли; меня интересует абсолютно все, касающееся имения. Я читаю письма управляющего, переписываю ответы papa, знаю живой и мертвый инвентарь... одним словом, я нахожусь в курсе дела, и даже если не совсем, то по большей части. Но думаю, что это увлечение так же минутно, как и предыдущие. Ведь у меня отчасти характер схож с papa: порывистость, быстрота, некоторая страстность даже, быстро увлекаюсь чем-нибудь, глубоко изучаю и... увы, забрасываю и скоро забываю. Но я немного холоднее и спокойнее «papa». Т.е. это скорее то, что я великолепно сдерживаю себя и подавляю в себе какое угодно чувство. Одно только ужасно: когда часто приходится «актерничать» (ведь «актерка» же я!) и не быть собою, то под конец трудно различить, где кончается игра и начинается мое собственное, индивидуальное «я». Иногда высказываешь собственное мнение... и останавливаешься! Не знаешь, «собственное» ли оно. Идущее необдуманно, сердечно из ума — или же актерская уловка, должная защищать мою interlocuteur[131]? Это самое неприятное чувство, какое когда-либо может испытать человек. Моя душа — это какой-то безумный, страшный лабиринт, где нет ни выхода, ни входа, ни света, ни тьмы, ни счастья, ни горя, ни спокойствия, ни волнения... это такой адский хаос, полный звуков, красок, форм и сочетаний, которые стараются уложиться в какую-нибудь условную форму, но сейчас же разбегаются, упрямые и безвольные, страстные и холодные, великие и низкие... ааа, это один сплошной кроваво-красный туман, испещренный разноцветными жилками и блестящими облаками, которые передвигаются так быстро и стремительно, что с трудом улавливаешь их движение. Под конец это вечное колебание становится нестерпимым. Иногда мне приходит на ум дикая мысль, не безумна ли я в самом деле? Но потом странный смех появляется у меня на губах, и я сознаю, что, думая это, я могу быть поистине сумасшедшей! Я очень люблю думать и, пожалуй, немного помечтать. Но последнее бывает лишь в те минуты, когда я нравлюсь себе, и, стоя перед зёркалом (ça c'est aussi important, que tout!![132]), начинаю понемногу, сначала робко и незаметно, потом все смелее и смелее, развивать какое-нибудь желание, назовем, мечту... Но вскоре с отвращением отходишь и от мечты, упавшей и разбившейся, не желая ни видеть, ни слышать, ни чувствовать своего желания. Подчас эти несчастные желания бывают столь гадки, несимпатичны, что даже ужасаешься, как подобная мерзость могла занять ум хоть на мгновение. И лишь тогда постигаешь всю красоту, все величие и чистоту Неведомого, которого и боишься, и поклоняешься ему, и так страстно, безумно желаешь узнать Великую Тайну,

что снова невозможные мысли набегают в голову. Невозможная? Неисполнимая? О, нет!! Немного больше воли, энергии и... преграда сломана. Т.е., чего боюсь, чего хочу и не желаю, может стать близким и осуществимым, может дать мне или вечное счастье, или великую скорбь и привести или оттолкнуть от Неведомого. Но... что я пишу, что я пишу?? Не безумие ли это? Не знаю... не знаю!.. не знаю!.. Не знаю!.. И даже себя узнать не могу. Зато характеры и души других понимать научилась и разбираюсь в них довольно быстро и с помощью моих излюбленных формул. Об этих формулах поговорю как-нибудь потом, а теперь хочется сказать лишь одно, в чем я твердо и непоколебимо утверждена: для того чтобы понять человека, надо самому подойти к нему!!! Раньше я думала не так. Я ждала... и надменно говорила: подойди, и я тебя постараюсь понять! Теперь я первая подхожу и быстро обрисовываю контуры души, желаний и характера. Когда план готов, постройка облегчена, а украшенья под конец. Есть души, похожие на вечнотемные, грязные [здания], с искривленными стенами (читай, мнениями и понятиями) и обнаженными досками — желаниями. Есть души обыкновенные, спокойные и флегматичные. Есть еще души огромные и высокие, кристально чистые и прозрачные, великие светлые души, которые походят на небесные, прозрачные своды золотистого храма Утренней Зори. Но эти души встречаются слишком редко и никогда не бывают понимаемы. Зато тот, кто обладает такой душою, сча́стливейший человек в мире. Он понимает все, и ничто не закрыто перед глазами его души, нет тайн и загадок для него, ибо сам он Загадка, и душа его величайшая Тайна на земле, и перед Великим все падает ниц и разоблачает свою мысль.

Октября 17, понедельник

Как глупо и как хорошо в то же время бегут дни. Недели, месяцы... Ведь, кажется, не так давно еще я лишь готовилась к гимназии, грустила за чем-то далеком, неведомом, волновалась к 18 авг[уста], весело проводила время с Ивановыми... А теперь прошло, исчезло... почти забыто, как и все в жизни, впрочем. Одно только мне немного непонятно в моей маленькой философии: *ничто не вечно*! а второе — *нет конца*! В отдельности я прекрасно понимаю эти мысли, сознаю их правду, но едва встретятся вместе, как внезапно ставлю себе вопрос: да что же вернее? Ведь ясно кажется, что ничто, абсолютно ничто в мире не вечно. Видится какой-то предел, ну, будто бы граница всему, а тут пожалуйста: конца нет! А вдумываешься поглубже в эти последние слова и поневоле поймешь их смысл. Конечно, конца и быть не

может. Все бесконечно. К человеку слово «бесконечность» отнести, пожалуй, трудновато. Скажем: бессмертен! Так ли это? Ну, да, Бог мой, конечно! Люди все те же, что были и раньше. Изменяется только внешняя оболочка, да и то через некоторое время вернется к первоначальной. И всегда так... всегда... всегда... Душа умершего, дух его, что ли, мгновенно переходит в другое существо, которое рождается уже со смутным понятием о своем будущем «я». И это «я» бессмертно и вечно. Ему-то конца нет. И ум человека все тот же, что был и в доисторические времена. Как это ни странно, но, увы, я понимаю, что таким образом, что человек лишь благодаря своей железной воле и настойчивости довел свой ум до такой высокой ступени. И, может быть, за тысячи лет до Архимедов, Наполеонов, Коперников души их, бывшие в других существах, обладавшие таким же умом, как и его будущие наследники духа, имели то же представление, стратегии или еще о чем-нибудь — и ум тех людей был таким, как, например, Наполеона, но только их воля, их желание развитий у него была меньше и ниже воли будущего обладателя того же духа, той же оболочки. Потому мне кажется, что ум у всех одинаков и нет ни умных, ни дураков, но зато воля и сила воли не у всех одинакова, и сначала надо познать себя и слегка вдуматься, вообразить, что ли, свое прошлое, чтобы успеть воспользоваться этими положительными двигателями человеческого ума, прогресса и цивилизаций. Почему-то мне кажется, что Александр Македонский, Юлий Цезарь (о, мой любимый!) и Наполеон I — те же личности, т.е. обладающие таким же духом, волей и развитым умом, приспособленным, конечно, к духу эпохи. Даже если сравнить черты их лиц, находишь какое-то едва уловимое сходство. Главное, одинаковая линия губ, подбородка и отчасти лба. А это много... Сейчас брошу писать. Уже час ночи. Давно не писала, потому что было очень весело, а когда веселое, хорошее настроение, писать что-то не хочется. Но вскоре придет снова мой «черный туман». Я его и боюсь, и жду, и ненавижу, в то же время странно любя и ожидая. Сумасшедшая я, что ли?

Ноябрь 5, суббота

Сенкевич умер!! ... Кошмар, ужас, скорбь не только для Польши, но и для всего мира, вообще... Гений, великий мыслитель, скончался 2-го с.м. далеко от той земли, которую любил больше всего в мире и в честь которой слагались многие из его произведений... Сначала не верилось... странным и непонятным казалось, что вместо массы совсем ненужных людей умер один великий человек, жизнь которого была лишь обращена на улучшение быта

Польши, дух и мысли которого являлись зеркалом народа польского и исключительно ему посвящались... Но это — правда. Злая, кошмарная правда! Сегодня была у Мулловых. Милые, естественные, простые души, напоминающие что-то гоголевское, старинное, исчезнувшее и типичное. Но мне неприятно одно: они заметили, что в школе я играю, и мгновенно обратились ко мне с требованием объяснить причину... Возмутились... на меня накинулись: как не стыдно! играть, актерничать! Сколько упреков, жалоб, возмущений... Но я все же настояла на своем... Не могу изменить свою вторую жизнь.

Я очень давно не писала. Но, en vérité [133], времени было очень мало. У нас очень много занятий, и я почти до ночи учусь. Только субботы и воскресенья остаются. Но в эти дни я ведь не всегда свободна. Будущая неделя полна труднейшей работой. Вероятно, даже не взгляну на дневник... à propos, m-elle M. заметила, что я странная и даже (chut! [134]) эксцентрична. Oh, à cela, par exemple, je n'ai jamais pensé [135]! Хотя, впрочем, кто-то и когда-то мне то же самое сказал! Кто? Что-то не помню... К. или У., и знак вопроса. Самая неприятная вещь — это то, что мое настоящее, собственное «я» принимают за ловкую актерскую игру. Вообще, по мнению многих, я бываю собой, лишь когда резка в словах и движениях, бесшабашно весела, обидчива до крайности и вызывающе дерзкая... Всем кажется, что я непременно капризна и своевольна. Мнение обо мне: слишком избалована! О, но если бы только они знали... если бы только чуть глубже вникли в мою жизнь и разобрались в некоторых подробностях... о, тогда, конечно, им не казались бы неестественными ни моя грусть, ни неопределенность, ни молчаливое спокойствие... какое бывает перед бурей!!..

Ноябрь 13, воскресенье

Обещала maman, что сейчас лягу. А уже скоро час. Но, право, так не хочется спать... Вспомнила, что дневник давно лежит без ответа. Надо хоть что-нибудь занести. О, это что-нибудь! Что именно? Что я должна записать? Новости? Извольте: умерли император австрийский Франц-Иосиф (8-го, кажется), капельмейстер Мариинки, Направник, американский бард, Джек Лондон [136]... Впечатления? Никаких. Мысли?.. может быть, и есть, но трудно себе дать в том отчет! Начиная со вторника — я все сижу дома. Жар, голова, горло, насморк — одним словом, ноябрь прекрасно повлиял на мое здоровье! Но это глупости. Зато много, очень много играю, пишу отчасти, читаю. Читаю теперь не быстро, глубоко вдумываюсь, ищу идей и типов. Останавливаюсь над удачными, особенно меня поразившими местами. По-

следнее — больше всего философские изречения, мысли... К моему глубокому стыду, Тургенева я очень мало знала, но, получив от мамы все его сочинения, принялась серьезно за его разбор...

Абсолютно нечего писать. Это и злит и даже немножко радует. По крайней мере, не наболтаешь пустяков, которых потом сама стыдишься. Коротко? Не беда! Лучше...

Ноября 17, четверг

Странно... Maman уезжает завтра в 3.40 в имение. Papa едва уговорил. Этот отъезд случается в моей жизни третий раз (или даже четвертый? верно не помню).

Ну, что мы будем делать, mademoiselle Sonia?! Определенно не знаю. А так... право, трудно сказать! Но что-нибудь да будет! Это ясно, как день. Да, à propos... вчера papa себе усы сбрил. Право, славно выглядит! Такой себе изящный English gentleman! Это мне очень нравится. Я люблю бритые лица (но только не женоподобные, oh, jamais de la vie[137]!!). Я все продолжаю кашлять. Брат откуда-то притащил какого-то мопса... Пришелец из неведомой страны!..

Ноябрь 18, пятница

Maman уехала. Я полновластная хозяйка. Вообще день прошел без особенного скандала. Пока все прилично. Лишь у брата сделала ревизию письменного столика. Выкинула массу всяких гадостей при энергичном, но, увы, бесполезном, протесте Эдди. Самым спокойным образом уничтожила его трамвайные расписания, планы Петрограда, рисунки рельс, стрелок, остановок, его старые, истасканные, замаранные тетради, весь хлам, всю дребедень... и не обращала ни малейшего внимания на его суетившуюся, кричащую, волнующуюся фигуру. Этот Эдди... настоящий мусорщик! Противный, смешной и детский мальчишка! Сегодняшний день начался с десяти часов. Maman была очень тронута, что я для нее встала так рано. Maman ужасно чувствительна, и весь день у нее стояли слезы в глазах. Как это она покидает свою charmante petite[138]! Наконец они уехали... Брат тоже едва не распищался. Такой уж... Все это время пролетело так стремительно быстро, что, право, даже не опомнилась до сих пор. Только и думала, что о присланных из имения зайцах, о сонатах Бетховена, о тургеневской «Нови», о мажорных гаммах, о чае, меде, посуде, деньгах, газетах... глупо и несовместимо до невероятности! Да, еще много в шашки играла... скучно это и порядком на-

доело. Но какая-то странная привычка после чая взяться непременно за пеструю шашечницу и обратиться к брату: «Ну...» — и от него слышишь привычный вопрос: «В серьезные или в поддавки?» В нашей игре повторяются те же ходы, удачные и неудачные, те же слова, те же проигрыши. И это тоже... глупо! Вечером брат, конечно, слишком много съел сладкого супу и черносливу и имел легкие coliques[139]. Я же писала письмо в имение. Письмо в шутливом, веселом духе. Потом погасила везде свет, прошла через все комнаты. Пусто... и в комнатах и на душе! Когда maman была здесь, хоть поговоришь до поздней ночи, а теперь и этих тихих, таинственных разговоров шепотом нету... Пусто и гадко... Ничего нет... Ни грусти, ни веселья... Ничего...

20 ноября, воскресенье

Нет, положительно время моего тиранства проходит великолепно: я не открываю кредита для демократов à la Пизистрат, но все же tout va très bien[140]! Правда, судя по моим выходкам, трудно судить, что я верховная власть, а что лишь так... мелкая рыбешка!.. О, что только я не выделывала!.. За обедом хохочу, как сумасшедшая, за ужином, как безумная, за чаем... как... как, ну я прямо не знаю, как что? Облила водой брата и Михалинку, проехалась по голове брата половой щеткой, обернутой тряпкой со скипидаром, валила Эдика на пол, бросала в него туфли, подушки, валики с дивана, все время скидывала ногой его сандалии и откидывала в тридесятое царство, вечером, когда Эд лег, стала его тормошить, кидать подушки, стаскивать одеяла, бегать босиком... Ой-ой! Боже мой, чего, чего только не было! За себя стыдно, что я вскоре стану шестнадцатилетней барышней, перейду в седьмой класс.

Но сегодняшний день прошел сравнительно тихо. Или я умиротворилась, и уж это влияние спокойной, тихой погоды? Право, не знаю. Утром встала в одиннадцать, наскоро прочла газету, потом послала ее в Боровичи à mes beaux[141]! Половина первого отправилась с братом на Стрелку. Этот несчастный так важно сидит в коляске, что просто противно. Такая гадость! На Невском, конечно, масса публики. Сегодня воздух тих и очень тепел. На Неве густой, грязно-беловатый туман. Небо и вода слились в одно целое, вязкое, мокрое, противное. На Островах очень пустынно. Природа совсем замерзла; теперь она кажется более мертвой, чем зимою: обнаженные, голые деревья голубовато-черными силуэтами высятся в тумане, вода как холодная сталь с отблесками меди у берегов. И все так уныло, мертвенно-тихо, печально!.. Дороги топкие и грязные; по бокам разлагающейся лентой лежат гнилые, влажные листья, черные, блестящие с болотными искрами и теряющи-

мися в общей массе контурами... А трава такая низкая, желтая, совершенно желтая, усеянная мелкими кусочками льда и земляными, серенькими бугорками. И глубокая, невозмутимая тишина окружила всю застывшую, бледную, унылую природу... Я люблю Стрелку, люблю Острова... Не потому, что там воздух чист и свеж и отдыхаешь душою. Нет... да, впрочем, я и сама не знаю, что меня тянет туда...

Вечером пришел Ф. Если бы мне не было скучно, я бы его не позвала. Но его присутствие меня не развлекало, лишь заставляло слушать, говорить, улыбаться, шутить, что, конечно, заставляет забыться. Надо было его видеть... надо было изучить его блаженно-счастливую физиономию... Penser seulement[142], он мне принес свои письма[143], которые не хотел посылать (почему? Это для меня загадка. Ничего особенного в них нет), говорил о законах физики и в то же время делал des yeux bêtes[144] и целовал мою руку. Фи... у него противные, неэлегантные, несимпатичные поцелуи...

21 ноября, понедельник

Сегодня встала, конечно, поздно. Иначе и быть не может. К часу вышла гулять. С братом, разумеется. На возвратном пути, на углу Жуковской, встретила éperon[145]. Испугалась; неожиданно стало жарко. Но... c'est déjà fini[146]! Потом пришла m-elle Jeanne. Только с блеском проиграла ей мои любимые гаммы и принялась за сонату, как в передней звонок; мне письмо, требуют ответа. Выхожу. Михалина указывает на мальчика, который ни за что не хотел отдать ей письмо. Беру конверт, сначала решительно ничего не понимаю, потом лишь... Коля в Петрограде; откуда, почему? Да разве я знаю. Молчал Бог знает сколько времени. Ответила, конечно. Я люблю получать письма; сегодня целых три получила: от тети, мамы и К. И вчера два (которые, к моему стыду, еще не прочтены!).

Я жду завтра... я хочу это завтра.

Потому что... ведь maman возвращается.

Суббота. Декабря 10

О, Боже! Когда же это кончится? Когда прекратится это мертвящее, подавляющее волю и мысль влияние той атмосферы, которая окружает меня в данный момент? Когда же? Все чаще и чаще приходится повторять этот вопрос. И все больше, все глубже врезывается он в сознание. Иногда мне кажется, что все это кошмар, такой дурной, гадкий сон... о, Боже... ведь под конец это нестерпимо! Где же выход? В чем он? Когда... когда?

Какой плотный, какой скользко-жуткий туман лжи, натянутости, боли и страданий заволакивает мир для меня. Почему я не способна жить, чувствовать и желать спокойно, счастливо и красиво? Почему я даже ничего не сознаю, ничего не желаю, ничего не чувствую? Ах, это так больно... так очень-очень больно! И за что? Нет, нет, это уже слишком! Это душит, теснит, ослабляет и отнимает у человека все индивидуальное, свободное, честное «я». Маска величия, пышности, спокойствия и счастья... А там? Как это ужасно сознавать свое бессилие... пустоту... бессмыслицу. Как слепая, идешь ощупью и так страстно, так безумно жаждешь найти животворный, счастливый луч... А кругом... мрак... мрак... тишина... молчание! И в этой жуткой тишине сколько таится невысказанных слов, мыслей, желаний... И в этом молчании, холодном и неприступном, сколько невыплаканных слез, непрозвучавших аккордов оскорбления и боли!.. И никто не знает, никто... Кроме тебя, Неведомый! В жизни меня ждут две крайности: две больные, непонятные крайности... Как это ужасно... Но... тише! Молчите все... слова, сердце, воля! Каменная, холодная маска, вечно спокойная улыбка... Я жду вас.

Декабрь 23, пятница

Кажется, что перешло уже всякие границы... Становится нестерпимо тяжелым... О, Боже, как трудно, как ужасно трудно переносить это! Но... ведь надо, надо! Покорно, безропотно, тихо должны мы нести свое бремя. Только в душе вечная буря, вечный протест против низкого, гадкого насилия. А в сердце так пусто... пусто... Ничего светлого, яркого... ничего! Да и нельзя даже. И временами кажется, что вот-вот терпение лопнет, маска спадет, негодование выльется потоком горячих, бурных слов... но нет! Тише, тише, о, ради всего святого, тише! Ни слова, ни жеста, ни взгляда... Вечное согласие, ломание, тишина...

Это не жизнь... жизнью называется вечное движение в природе, как физическое, так и нравственное... Для моральной свободы нужна и физическая. А если нет одной, то и другой быть не может... Гадко... больно... обидно! Одно только успокаивает — может быть, уйду туда. Так хочется... Это и не очень трудно. По крайней мере, там будешь подальше от лжи и вечной суеты. Только спокойствие... А если... и там то же? Нет, нет... Никогда! Близ Правды Лжи быть не может. Чистота, ясность должна побеждать, хотя бы там. Ну, а если... если и «то» тоже ложь, низость, подлость... тогда? Ответа нет! В другую крайность! О, Боже!! До этого, кажется, дойти не смогу! Там забываешь гордость и самолюбие, а у меня этого слишком много, и побороть себя дать не могу.

Гадко, гадко, гадко... На что мы живем? Ничего прекрасного жизнь в себе не представляет... Просто... пошленький кусочек серого сукна, пестрый ситец или же черное «scapulaire»[147]. Только выбирай, пожалуйста... Не все золото, что блестит! А так хочется красоты, так жаждешь великолепного, красивого спокойствия, цветов, солнца, тишины, роскоши. Тише... тише... тише!

Ни слова, ни жеста, ни взгляда!

Я должна молчать... должна, должна.

Горько, больно и темно.

А кругом густой, черный туман.

Куда?

Молчание... мрак... тишина.

Как в могиле!

Декабрь 31, 5 час. ночи

Новый год! Новый год! Право, стыдно, но ничего больше не могу писать. Слишком поздно, и... слишком в голове шумит.

1917 год

Январь 4, 1917 год, среда

Даже не знаю, могу ли считать начало года удачным или неудачным? Буду ль счастливой в этом году или наоборот — решить ужасно трудно, да и вообще ничего нельзя предугадать заранее. Время покажет. Qui vivra — verra! Alors, tâchons de vivre et de voir[148]. С одной стороны, год себя показывает очень недурно и рисует довольно заманчивые картины; с другой — снова беспощадная, злобная, низкая власть Золотого Тельца и полное порабощение[149]. Грустно это... неприятно...

...Мой александрит приносит мне если не счастье, то, по крайней мере, удачу, а главное, дает мне хоть маленькое, маленькое развлечение, новость... Сегодня уехал Коля. Вероятно, надолго, потому что намеривается поступить в Елизаветоградское юнкерское. Правда, это хороший мальчик! Мне так кажется... Теперь я так боюсь ошибиться, что даже не знаю, как думать. Этих ошибок было так много, что под конец прямо-таки сомневаешься, есть ли на свете добрые люди? Говорят, свет не без добрых людей, а где их найдешь, этих добрых, но полумифических людей? Теряешься! И притом ведь у нас так мало интимных друзей! Если поразобраться в этих личностях да поглубже исследовать их характер, то, может быть, не найдешь ни одного искреннего, чистосердечного человека, которому прямо можно было бы сказать: ты, друг... La vie est bien difficile, il n'y a rien à faire. C'est notre devoir de porter le lourd fardeau de l'existence. Les hommes sont corrompus, méchants, faux... c'est la vérité? Où nous devons nous chercher notre bonheur? Dans les plaisirs, dans les passions passagères? Oh, non, non! Il y a donc quelque chose de plus grand, de plus honnête? Il y a donc la clarté, la pureté, la beauté? Où est le bon, le vrai, le grand?[150]

Тишина — молчанье! А уж на это ответа никогда не найдешь!! Всю жизнь будешь метаться в бесполезных поисках счастья... всю жизнь будешь нервничать, кричать, бегать, как в безумии. Я бы нашла счастье лишь в спокойствии и в красоте. Но этого достигнуть невозможно. Pas de moyen![151] Трудно, тяжело, горько!..

Встречали Новый год в Купеческом клубе[152]. Было какое-то минутное, угарное веселье — и никакого впечатления не осталось от этой ночи. Я ве-

селилась, смеялась, шутила лишь потому, чтобы, во-первых, немного забыться, а во-вторых, не производить на всех неприятное впечатление своим мрачным видом. Правда, я выпила шампанского немного больше, чем следовало бы, но три чашки черного кофе и яблоко мгновенно прогнали весь шум и слабость... Противно видеть опьяневшие физиономии, которые окружали меня. Мутные глаза, улыбающиеся лица, какие-то резкие, ненужные движения... Отталкивающе гадко! А Золотому Тельцу пришлось говорить, что было безумно весело, ново, красиво... Пришлось. А ведь взглянуть *со стороны* на меня?! Бог мой, полнейшее счастье! Да и как можно жаловаться, если все данные к нему! Ха-ха... Никто, никто не знает нашей внутренней (как я называю) и интимной (как другие говорят) жизни. А ведь если бы... Но нет, это ведь все равно! Может быть, и придет это время, когда я просто, на бумаге, расскажу все, но боюсь, что этого никогда не будет.

Январь 6, пятница

Узел затягивается. Уж до чего я хладнокровна, а это бесит донельзя! Все хорошо, что хорошо кончается, но ведь это я не могу назвать... хорошим?! А каков будет конец?.. прямо и думать не хочется!..

9-го уже школа. Лучше или хуже? Сама не знаю. Снова найдет головная боль, возобновятся страшные приступы усталости, головокружения... Опять лишь два раза в неделю смогу выйти на настоящую прогулку: в субботу и воскресенье... Начнутся мелкие школьные дрязги, мелкие радости, мелкие тайны и секреты. Пошло... но необходимо! Нет почти ни одной здоровой души, ясного ума, простого понимания самых обыденных явлений... Все должно быть облечено в какую-то скабрезно-грязную маску или в бесцветную откровенность. Так это противно! Этой болезни подвержены все, все... Лишь за исключением моей светлой ясочки, моей хорошей, доброй Женюрки! Душа у нее еще спит, дух и сознание своего личного «я» еще не пробудились, но, как огни маяка в морской мгле, так и в ее понятиях уже поблескивают возвышенные, чистые, хорошие мысли, идеи, желания... Я ее очень люблю, эту маленькую девушку с детской фигурой, простым, ясным личиком, ее наивно-добрым взглядом милых серых глаз... Хорошее, светлое пятно в нашем классе — моя Женюрка; так выпукло, четко вырисовывается ее простодушный, мечтательный, сентиментально-чистый ум на фоне загрязненных, затуманенных, двойственных понятий остальных. Женя — это снежная, скромная, спокойная ромашка, белая, чистая, тонкая, прелестная в своей спокойной чистоте и кротости; это еще чистая страница, где уже робко,

неуверенно вырисовываются контуры светлого будущего, в котором главной основой служит великолепный, возвышенный храм Искусства!! Привет тебе, святая, нежная душа.

[Январь] 15, воскресенье. 7 час. веч.

Боже, Боже... как мне голова болит — озноб такой, что места себе не найдешь, ломит кости, как-то сладко и тревожно на душе. Ооо, я не могу — я не могу! Будто бы что-то вижу, далекое, знакомое и таинственное — а что это? что? Гадко, больно, душно и в то же время холодно. А в довершение всего — половина восьмого подают лошадь... надо ехать... надо... надо... надо.

11 час. Этот же день.

Ничего не слышу, не чувствую... Сплошной противный туман. Голова болит адски.

[Январь.] Понедельник 23

Встала я только в пятницу, но почему-то ничего не сказала об этом моему дневнику. И хотелось — и не хотелось. Сама не знаю. Правда, мне теперь почти что хорошо, но болят губы. Простуда, ничего не поделаешь.

Я выиграла 110 рублей — вчера у нас в железку играли: Кравец, Волк, Красавин, papa — отцу страшно не везет. Проиграл около тысячи. Право, не знаю, о чем больше писать?

В Петрограде сильнейшие морозы. До 32°. Я и сейчас в шубе пишу; такой наброшенный на плечи русский шугай[153] — кажется, так? Я теперь пропитана этим тургеневским духом, этой ясной теплотой, искренностью и задушевностью. Как он Россию любил!.. Только до сих пор ни один женский тип меня не захватил. Разве только Зинаида в «Первой любви»? Да Вера[154]. В первой — холод, бесстрастие, сознание красоты, власть над окружающими, во второй — самолюбие, решительность, твердость, нежелание делать из себя минутную забаву.

Мне нравятся лишь те типы, в которых я нахожу немножечко себя, где есть маленькое отражение моего «я»!

Февраль 10, пятница

Я очень давно не писала. Но оправданья даже не ищу, потому что иногда встречалась свободная минута и можно было писать, сколько вздумается, а я... я, конечно, ленилась, не той сознательной ленью, что вот делать ничего не хочется, а просто выжидала какого-то необыкновенного случая, чтобы можно было занести все в порядке и подробно. Но так как такого случая

не было, то приходится довольствоваться тем, что имеешь. Маленьких и больших новостей было порядочно, но всех сразу не припомнишь. Одна из более главных — это то, что эту зиму невероятно часто простужаюсь. Снова себя плохо чувствую: голова болит, все тело как-то странно и противно ноет. Это фатально, что уже третий год каждую Масленицу я должна непременно болеть. Тут всякое удовольствие пропадает! 29 января papa решил купить дом баронессы Розен на Преображенской[155]. Все его за это хвалят, говорят — хорошее дело. Ну, и слава Богу — больше ничего не скажешь. Была всего один раз в театре. У Мосоловой. Sabre[156] не было. Поделом. Но теперь меня решительно никто и ничто не занимает. Maman это не нравится: преждевременная старость. Мне безразлично. Раньше (ведь не так давно) я страшно любила улицу, Невский, толпу — теперь... едва переношу! Мне они все кажутся такими гадкими, гадкими, донельзя низкими. Вот такие также и все мои «рыцари»... позабыла, не помню, не хочу. С меня довольно. Это, если можно так выразиться, конец начала.

Февраль 14, вторник

Вчера у нас были гости: Копец, Кондорова, Волк, ksiądz, Франкен... Мне было весело, но только потому, что вообще я люблю, когда бывают гости. Немного суетливо, но интересно. Главное, было шампанское. Я никогда ничего не имею против Каедеча или Вдовушки. Сегодня сидела весь день дома, порядком скучала и лишь к вечеру вспомнила, что ведь «Notre Dame»[157] едва-едва начата. Стала читать. За последнее время я часто думала о Р.Г. В глазах все время стояло его оригинальное, умное лицо, решительное и азартное. Сегодня Р. приехал.

Февраль 24, пятница

Panem et circenses[158].

Казалось, навсегда замолк этот безумный клич толпы и уснул навеки дремлющий, хищный народный зверь. Казалось, что 1906 год не может никогда вернуться, а особенно теперь, в наши страшные дни, когда крови уж и так довольно... страданий уж и так много! Нет... только вчера еще проснулся полуголодный, разъяренный зверь толпы и протянул вперед жадные руки. Хлеба... хлеба!

Но откуда его взять, бедный, жалкий народ? Откуда его привезти или, скорее, как, если поезда заняты перевозкой раненых воинов, пищи для передовых позиций? Ведь нашим защитникам, которые стеною своих собственных тел останавливают напор врага, которые потоками своей крови пре-

граждают путь германцам, ведь им же нужно отдать первую дань нашего ежедневного обихода. А притом этим народным бунтом останавливается выдача снарядов, и каждый пропущенный час — это, может быть сотня жизней скорбных тихих теней на передовых позициях. ...Великий страшный грех, российский народ, жаль мне тебя, каждая капля крови, пролитая из-за сегодняшних дней, будет страшным кровавым потоком на твоей совести. Грешно в такое время великого переворота думать о своей личной выгоде и желать личного счастья. Наше дело — продолжать огромную деятельность наших воинов, если и не то же, что они делали для нас, то, по крайней мере, показать им нашу доброжелательность, участие, любовь или поддержку в трудную минуту жизни и не забывать, что только их трупы останавливают покорение страны. Ты один, Великий и Неведомый, можешь вразумить их умы и приостановить ту кровавую [бойню, в] которой сын не различит отца, а брат брата!

[Февраль] 26, воскресенье

Забастовка переходит в открытый бунт. Требуют хлеба, громят пекарни. На Невский без пропуску выйти нельзя. Телефонировал Алексей Васильевич, говорят, что по проспекту стрельба идет. Он в большом беспокойстве: уехать отсюда трудно, дела не окончены... а страшно!

Я с трудом говорю. Голос совсем потеряла. Вероятно, вчера простудилась, возвращаясь от «Медведя». Был страшный ветер и довольно холодно. Сейчас написала письма К. и Н. Едва-едва кончила. Настроения никакого. Звонила miss O'R., сказала, чтобы до четверга в гимназию не являться. Значит — остро. Слухов масса, а правда или нет — не узнаешь. Говорили, что будто бы пулемет у Публичной библиотеки выставили, что казаков хотели сбросить, что говорят революционные речи. Ей-богу, не поймешь. Мне кажется, что все страшно преувеличено. Хотя — трудно сказать. Мне сейчас так страшно, тревожно и беспокойно. Я очень боюсь за Р.Г. С утра ушел и до вечера дома не было. А он такой резкий, стремительный. Ужас.

28 февраля, вторник

Не забастовка, не бунт, а открытое восстание войск и народа. Не простое требование хлеба, а революционное движение против царизма и устаревшего правительства, которое не смогло удержать бразды правления в своей руке. Оживленное стечение народа под сень волнующего, красного знамени и торжественный могучий крик: «Свобода... свобода». Все охвачены безумным огнем революционного движения, все стремятся к осуществлению идеала

народного правления и верят, верят, твердо верят в возможность достижения своей мечты. С 24-го началось это. Странное совпадение — в феврале (роковой месяц) начались революции в Германии, Австрии, Италии, Франции... с этим месяцем, вообще странным, связаны воспоминания о кровавых днях и о желаниях лучшей участи. До чего дойдет Россия в своем теперешнем восстании — неизвестно. Я всегда недоверчиво отношусь к слишком экзальтированным событиям. Они мне припоминают яркие, но быстро угасающие костры. А здесь почему-то является уверенность, что желаемое близко и возможно... Возвращаются идеи 1905 года, но огромная разница существует между тем народным бунтом и теперешней великой революцией. Тогда, в 1906 году, народ был преследуем и бит войсками и полицией, а теперь лишь небольшая горсточка полиции, в числе 5000 чел., сопротивляется народной массе. Войска стоят за народ. Немногочисленные полки еще колеблются. Семеновский, славный своим жестоким зверством в [1]906 году, примкнул к толпе «товарищей-граждан», предварительно потеряв добрую половину своего состава в перестрелках с революционной армией. Волынский, Литовский, Преображенский, Измайловский, Кексгольмский, Гренадерский и многие другие присоединились к народу и действуют во имя общественной свободы и установления нового, более солидарного правительства. «Казаки (как сказано в афишах) сочувствуют народу. Но до открытого восстания еще не дошло». Что скажет эта бурная среда — трудно предугадать. Моряки, саперы, электротехнический батальон — на стороне революционного движения. Даже из Царского Села Четвертый Стрелковый полк предложил свои услуги Государственной думе, которая образовала Временный комитет под председательством Родзянки. Так много странно-неожиданного произошло за вчерашний и сегодняшний день, что, право, хочется рассказать все по порядку.

Вчера проснулась в очень приличном настроении, встала вполне довольная ярким солнечным днем, нежным небом и тающим снегом. Все шло хорошо: мама и брат ушли на улицу поглядеть на бушующую толпу. Возвращаются, приносят известия, что на их глазах отнимают от военных шашки и револьверы, солдаты не повинуются высшему начальству, а рассвирепевшие бабы глумятся над человеческим достоинством, преследуя дикими выходками прохожих — офицеров. До этого портниха наша, Марья Константиновна, передавала по телефону, что в ночь на 27-е (или на 26-е, достоверно не знаю) на одной из Рождественских произошла страшная резня: солдаты стреляли в народ. Жертв масса. Значит, настроение напряжено, волнение достигает своего апогея. И вот так, в часу 3-м дня, неожиданно появляется

Филипп Артемьевич в своем генеральском облачении, встревоженный и бледный. На улицах перестрелка, угроза военным, острое настроение умов. Сидели, обсуждали на злобу дня, а Михалина служила нам ходячей газетой, поминутно сбегая вниз и принося оттуда свежие известия. К вечеру стало известно, что часть полиции перебита и арестована революционерами, участки подожжены и разгромлены, Арсенал взят, оружие в руках народа, тюрьмы сдались, и политические преступники выпущены на свободу. Архивы и бумаги заключенных были преданы огню, чтобы потом не доискаться и следов освобожденных. Днем была взята русская Бастилия — Петропавловская крепость. Монетный двор отдан под покровительство Государственной думы, а казематы открыты... Если правительство не давало амнистии, чаша народного терпения лопнула, и своей кровью он открыл двери тюрем. Студенты, курсистки, интеллигенция — все присоединились к пролетариату, и в гуле всех голосов различишь только одно: да здравствует свобода, жизнь, правда и счастье... ура!

Ф.А. был страшно напуган известием, что полицейских и военных беспощадно истребляют. Мама оставила его ночевать. Поздно вечером я впервые близко услышала стрельбу теперешнего восстания. Все мирно, тихо сидели в спальне, и вдруг... гул, шум, раскатистый треск... Еще... еще... и еще... Было не страшно, нет, а какая-то странная дрожь пробегала по телу, и внутри становилось так холодно... холодно! Спала я с мамой, и она говорит, что я провела ночь крайне беспокойно, волнуясь и садясь на постели сквозь сон.

А сегодня так привыкла к выстрелам, что казалось странным не слышать их вечером. Ф.А. ушел от нас переодетый штатским. Испуган — horriblement[159]! До его ухода зашел Роман Григорьевич, наш милый, славный, добрый друг. Вероятно, сегодня уедет в Москву, к своим. Я так привыкла к его обществу, что так очень-очень хочется, чтобы он поскорее из Москвы вернулся. У него такие красивые, темные, печальные глаза!..

Родзянко, Милюков, Керенский, почти вся Государственная дума стала на сторону восстания, организует, собирает, приказывает... Вчера войска не слушались офицеров, убивали начальство, а сейчас все в порядке, офицеры командуют по-прежнему, согласуясь с приказаниями Государственной думы, солдаты спокойно воодушевлены, пальба по улицам будто бы прекратилась, организуется городская милиция... Кажется, что беспросветный мрак рабства [развеялся] и светлый золотой луч свободы поднимает дух народа и указывает ему широкий путь счастья, жизни и воли. Amen.

1921 год

Москва. Четверг, 11 августа

Горбатые улицы, мостовые вверх остриями, лавки, фрукты, чистильщики сапог и шоколад, вековые стены, стройно-зубчатые и многоречивые, роскошные цветочные газоны на Театральной площади, вылощенные дэнди, одетые по-английски, с иголочки, — и наряду с этим крикливые автомобили с современными людьми в коже, ремнях, ромбах и нашивках, Николаевский вокзал, старый ли, новый — не разберешь, знакомый ли, незнакомый — не уяснишь себе, вагон 401 с салоном и верховное начальство Мурманской дороги[160]: комиссар дороги Артемов, Игнатий Иванович, изысканный, необыкновенно славный и интеллигентный, начальник дороги Иван Яковлевич Манос, добродушный старикашка с очками на лбу, начальник милиции Зайковский, начальник уголовного розыска — я, начальник снабжения милиции Борис Михайлович Розенберг, остроумный еврей, наглый скабрезный рассказчик неприличных анекдотов, представитель Наркомпути и Наркомфина Петроградского узла Яковлев Борис Михайлович, обходительный, мягкий пожилой человек, старый революционер с нереволюционной внешностью маленького обывателя, замечательно покойный, тихий и мирный.

Выехали из Петрограда во вторник с семичасовым скорым, — для меня, пожалуй, отъезд мой был почти неожиданностью. Главмилиция вызвала Зайковского; он очень любезно предложил ехать и мне для доклада в Центророзыске; я подумала мгновенье — и не менее любезно согласилась. Во-первых, Центр повидать захотелось; во-вторых, удобства большие — свой вагон и отдельное купе, и в довершение всего свои люди, своя компания, с которой я и сжилась во время мурманской поездки и к которой, признаться, привыкла. Дома немного поныли и пожали плечами: как это так, jeune demoiselle, demoiselle de monde[161] — и вдруг одна в мужском обществе да еще в путешествии в московские безвестные страны? Разве не столпотворение, разве не конец? В конце концов, однако, должны были согласиться. Хотя, по существу, и разрешение-то я спрашивала только из вежливости, зная, что все равно поеду, и домашняя санкция мне весьма и весьма маловажна. Эдик, конечно, провожал. Тетя, естественно, затянула минорную песню разлуки,

а меня это, к моему ужасу, совсем не растрогало, и я, признаться, даже должного внимания на них не обратила. Отупела ли я или во мне семейный склад заглох — не разберешься.

Розенберг до слез смешил анекдотами, говорили обо всем понемножку. И даже степенный Манос рассказал весьма оживленно какой-то житейский факт о заезжем юном французике, которому показывали деревенские обычаи Новгородской губернии и, между прочим, угостили русской баней со столетними рьяными голыми банщицами.

В Москву приехали около часу дня, падал дождь, небо хныкало, недовольное и хмурое, и, идя в Главмилицию, к Тверскому бульвару, наша милицейская троица глубоко и искренне возмущалась мостовыми и тротуарами. Никакого впечатления Москва на меня не произвела, и то обстоятельство, что я так давно не была в ней, не видела ее кривобоких улиц и опереточных извозчичьих пролеток, совсем не приблизило меня к городу, родному городу, если хотите, и не заставило ни почувствовать, ни воспринять его.

В Главмилиции зарегистрировали у коменданта мандаты и разошлись по специальностям: я — в Центророзыск, Зайковский — к начмилиции Республики Корневу, Розенберг — в Отдел снабжения. Здание, бывший дом банкира Полякова[162], гнетущее и пустое; канцелярия Центророзыска похожа на пивную самого крохотного разряда.

— Где можно видеть начцентророзыска? — спрашиваю у какого-то желтого юнца с желтыми волосиками. Поднял глаза, осмотрел мой портфель, вуалетку и милицейский значок.

— Налево.

На грязной дверце — вывеска-плакат: «Начальник Уголовного розыска Республики. Без доклада не входить. Говорить коротко и ясно».

Прочитала и, улыбнувшись, приоткрыла дверцу:

— Можно?

Сразу глаза упали на знакомое и характерное лицо: острота правильных, словно из камня выпиленных черт, жестокий узкий рот, сжатые виски, черная повязка на одном глазу и зоркий, ястребиный, непонятный взгляд другого, белая матросская фуражка «Балтийский флот» и неизменная вечная папироска в изящных, длинных пальцах. Владимир Александрович Кишкин, легендарная петроградская личность, таинственный тип, никем не разгаданный и никем не понятый. Вокруг него плелось, плетется и плестись будет бесконечное множество самых вздорных, разноречивых, подчас кровавых, а иногда и просто кошмарных басен — от получения воспитания в Училище

правоведения до участия в убийстве Шингарева и Кокошкина[163]. Всмотрелся в меня и мгновенно вскочил:

— Товарищ Островская! Какими судьбами? Как я рад!

И в пожатии сухой, тонкой руки действительно почувствовалась приятельская радость увидеть петроградское знакомое лицо[164]. И мне как-то сразу повеселело на душе: все-таки свой, петроградский и знакомый вдобавок, хотя знакомый очень сдержанно и официально, в рамках служебного доклада рассуждающего совещания о построении Железнодорожного уголовного розыска и сердечно-искренней просьбы за арестованного митрополита Цепляка[165]. А здесь показалось, что это вовсе не бывший начпетрогубследрозмилиции и нынешний заместитель начцентророзыска Республики, а кто-то очень близкий и дружеский.

За американским столом сидел маленький коренастый человечек с упорным бритым лицом, весь в штатском, в галстуке и воротничке, так странно и непонятно непохожий на начальника Уголовного розыска РСФСР — Владимир Алексеевич Кожевников. Кишкин познакомил.

— Присаживайтесь, Софья Казимировна, что слышно нового, хорошего? Что привезли?

Поговорили, посетовали на несчастное положение угрозыска, определенно отказались дать что-либо веское и точное, мгновенно вскрыли предо мною весь ужас центральной борьбы за власть, вносящей смерть и гибель всему делу, вскользь вспомнили Петроград, остановились на общей гражданской скорби всех «уголовников», попавших в лапы милиции.

Об инструкциях и директивах сказали следующее: «У нас ничего нет, и сами мы ничего не знаем. Вот хорошо, что вы с мест приехали, может быть, дадите кое-что положительное — поучимся». Слова меня поразили, как гром, и даже улыбнуться не захотелось. Центр — живое пламя, бесконечное кипение докладов, переговоров и совещаний. Большие люди с большими разговорами, вся Республика в руках, руководящая и измеряющая власть — и вдруг какой-то начугрозыска Мурманской линейки может дать что-то такое, чему надо было бы и должно поучиться.

Кожевников ушел на совещание у Корнева с представителями ВЧК, а мы с Кишкиным разговорились по душам. Он в высшей степени интеллигентен и изыскан, тверд и несколько резок в определениях, всегда верных и математически точных, и говорит таким изящным, небрежным и аристократически выдержанным тоном, что, закрыв глаза, можно представить себе вылощенного правоведа в великосветской гостиной, а взглянув на матросскую форму и барское лицо, невольно удивишься: метаморфоза или истина?

Из Центророзыска ушла в шесть часов; после чисто общих и служебных разговоров с Кожевниковым и обсуждения вновь утвержденного приказа о подчинении угрозыска ВЧК зашла опять, по обещанию, к Кишкину и заговорилась с ним: из Центророзыска уходит на новое крупное назначение — начальника областной Чрезвычайной Комиссии Волжского бассейна и Каспийского моря. Зовет работать с собою:

— Что вы размениваетесь, Софья Казимировна? При ваших способностях — Мурманская вам мала. Масштаб нужен более широкий. Хотите со мною? Хотите на любую крупную дорогу Республики, а то прямо в Москву, в Центр?

Мило отказываюсь, ссылаясь на семью и свою бесхозяйственность.

— Погибну одна! — говорю, а он, смеясь, добавляет:

— И себя съедите скорее, чем карточный паек.

Кожевников, à propos, тоже настаивает на переходе в Москву.

— Нам нужны люди с высшим образованием, — говорит, — на всю Республику у нас только пять человек юристов в Начугрозыске железных дорог, считая вместе с вами.

Теперь сижу и гадаю — может, и впрямь перебраться? Центр, однако, ошеломляюще хаотичен: никто ничего не знает, никто ничего не делает, громадные величины республиканской силы и власти сидят и пережевывают в тиши злословия ядовитую злобу на того или иного заправилу; канцелярия страшнее страшного, а впечатление о целом самое дикое и безалаберное, какое вообще приходилось когда-либо выносить.

Из Главмилиции прошла на Мясницкую, к Фрадкиным, где предполагала еще застать отца, уехавшего в Москву на прошлой неделе. Столкнулась с ним совершенно случайно и неожиданно на дворе и заговорила после восьми месяцев молчания так, словно никаких раздоров и тяжести не было. Посидела у Фрадкиных, познакомилась с Марией Ароновной, большим другом отца, рассудительной сухопарой еврейкой, и с ее «папашей», картинным стариком с библейской головой. Отец уезжал в этот день в Петроград, поехала на вокзал с ним вместе, проводила его и поторопилась в вагон, так как стояли мы на вокзале, благо весь день ничего не ела, да и Кишкин обещался быть вечером, а провожая отца, уже встретила его на вокзале.

Кишкин пришел вскоре за мною, просидел до двух почти, я угощала его и Зайковского чаем, пирожками, печеньем и яблоками и говорила много и оживленно, потому что нравилась новая дружеская нотка, прорвавшаяся в наши отношения с Кишкиным. Сидя рядом с ним на диване, я все время

любовалась безупречной красотой и благородством очертания его головы и изяществом тонкого профиля.

Спать легла поздно: вышла с Зайковским пройтись по платформе, потому что в купе мы с Кишкиным невозможно надымили: без папиросы его себе трудно представить. Ночи московские хороши, свежие и темные, звездные, веселые и полнозвучные. Не то что наши питерские бледнушки!

Сегодня снова с двенадцати в Главмилиции. И я, в ожидании Кожевникова и Кишкина, уехавших в ВЧК к Дзержинскому на совещание, сижу в кабинете Кедрова, заведующего Железнодорожным подотделом Центророзыска, и выписываю от ничего неделания все пустые осколки вчерашнего дня.

Настроение относительно недурное, потому что много нового, а всякую новизну я люблю и жадна до нее, как зверь. Новые люди, новые места, новые планы и горизонты — без затхлой гнилятинки ежедневности. Нигде, кроме Тверского бульвара и Мясницкой да квартиры своей — Николаевского вокзала, не была. Хочется на старые места взглянуть, вспомнить, что было, пожалеть прошлое или порадоваться ему, быть может, потому, что в Москве, видно, опять буду не скоро. А впрочем, Бог знает, Бог ведает... Люблю метаться по дорогам в хороших вагонах, с хорошими людьми: встречи, взгляды, разговоры, впечатления — и все как-то не так, как нужно, а иначе: весело! Что нынче делать буду, понятия не имею. Несчастье случилось с подметкой, да это, по существу, чушь зеленая, а побродить и пошататься где-либо все-таки надо будет: не сидеть же все время со своими попутчиками-«рыцарями». Будет время — еще напишу, не будет — неважно. Так, в голове какой-то туман бродит: и хорошо, и плохо, и весело, и печально — неразбериха.

Петроград. Октябрь, 10-е, понедельник

Глупо, глупо, дико и непростительно, что я не заглядывала в дневник — «зеркало души» так давно, так безбожно давно. Всегда так бывает: есть о чем писать, впечатлений бездна, переживаний много, не счесть, смена настроений, улыбки, смех, слезы, разговоры, взгляды, а на страничках записок — ничего, ничего. Ни одного штриха, ни одного слова. Быть может, лучше, но, наверное, хуже... Разве можно писать обо всем? Разве можно писать о таких минутах, о которых даже с собой стараешься не говорить и вспоминаешь шепотом — будь то минуты страдания или наслаждения, боли или радости, не все ли равно?..

Что было нового, что было хорошего? Как будто бы много и как будто бы ничего. Я лично попала под суд: следствие по моему делу уже закончено.

Обвиняют в халатном отношении к службе, самое модное, сенсационное и гибкое обвинение. Разве я ныне маленький человек? Большая должность, большая ответственность и большая смелость, улыбающаяся, личная смелость, которая удивляет и поражает всех, знающих меня. И наряду с этим — Революционный военный железнодорожный трибунал[166], единица авторитетная, жесткая, неумолимая, глубоко безразличная ко всему, как должно быть, и в то же время мелкая сплетница, злая, сварливая, трусливая и ехидная, обливающая грязью и швыряющая самые больные слова — булыжники — как на самом деле. Любит меня трибунал... ах, как безумно любит! И когда была возможность подвергнуть меня личному задержанию до семи часов вечера в стенах следственной части трибунала, когда можно было поговорить и пораздумать над необходимостью моего ареста и изоляции, когда я, небрежная и ледяная, сидела перед их взорами не то арестованная, не то задержанная, не то еще что-нибудь и ждала решения — куда идти, домой или в тюрьму, — трибунал был горд, трибунал был доволен, полон радости и веселия, что, в конце-то концов, дорвался и держит меня в зависимости, хотя бы минимальной, но все же зависимости, от своего решающего veto или absolue[167]. Смешнее всего, однако, мое настроение, бывшее во время следствия и сейчас: все мне безразлично, ничто не трогает и не волнует, суд кажется опереткой, а следствие буффонадой, и свирепые председатель трибунала и его заместитель, Васильев и Владимиров, — паяцами и шутами, звенящими своими погремушками и непроходимо ограниченными в своей мести. Что трибунал мстит мне, лично мне, Софье Казимировне, отнюдь не начугрозыска — это яснее ясного и объяснению не подлежит. Председатель трибунала Васильев был влюблен; председатель трибунала Васильев вздыхал и млел без передышки; председатель трибунала Васильев получил по носу. Точка. Трилогия как будто, кажется, т.е., вернее сказать, должна бы кончиться, но председатель трибунала Васильев задумал возвести потрясающий эпилог: оскалился и начал против меня дело. Однако ничего не выходит: эпилог никого не потрясает, а кажется смешным, смешным и глупым... таким же, как и председатель трибунала Васильев со своими непрошеными любовью, признаниями, нежностью и тому подобным. Бедные холопы!.. Куда вам до панов тянуться. Сидите со своими Дуньками и Машками и радуйтесь счастью мгновения. А если вам нравятся породистые головы, изысканность речи и взгляда, подвитые волосы и хорошенькие носики тех женщин, на которых раньше и смотреть-то вы не могли, вините только себя, дружочки, и ругайте только себя. И если эти же женщины смеются выученными улыбками в

ответ на вашу мармеладную лавочную любовь, вместо поцелуя дают вам пощечину и надменно, сверху вниз, оглядывают ваши фигуры — вините в этом только себя, дружочки, и ругайте только себя. Куда вам, холопам, до панов тянуться?

Ну, и вот, из этой идиотской мелодрамы осталось одно — мое дело и мой суд. Председатель трибунала Васильев рассыпается по телефону и старается смягчить мою участь, по возможности. Почему и отчего — разве я знаю? Зато изголодавшимся волком, острозубым, жестоким и хищным, вьется около меня заместитель Васильева, некий Владимиров, худощавый, сухой, огнеглазый, похожий не то на еврея, не то на армянина. Его я знаю очень немного: ненавидит же он меня, кажется, больше всех. А за этими двумя заправилами стоит вся следственная часть трибунала, ломающаяся, гибкая и двоедушная, с ликом Фемиды и душой фанфарона. Все по очереди волочатся за мною и все по очереди получают одно: улыбку и... fichez-moi le camp[168]! Никто из следователей не хотел принимать в производство мое дело, благо все меня знают и, естественно, отнестись могут пристрастно. Принял один, из новых, никогда в жизни не видевший меня: Михаил Александрович Нурм, полунемец-полуэстонец, хромой, светлоглазый блондин, еще молодой, бледный, спокойный и грустный. Когда первый раз я увидела его в моем кабинете, после почтительного и встревоженного доклада, что меня хочет видеть следователь трибунала, сразу подумалось сердечно и просто: «Какой славный... и какой тихий!» И сразу же, покойно и без натяжки, так естественно, словно иначе и быть не могло, мы с ним сдружились, легко и тепло, за папиросой, за изящным улыбчивым разговором. А потом потянулась бесконечная лента допросов, срочных вызовов в трибунал, с угрозами ареста за неявку и тоска... тоска... Ежедневно все мучило и надоедало... кабинет стал настолько мерзким и отталкивающим, что в нем почти не сидела, все время меняя комнаты и службы, навещая знакомых по управлению, налаживая контакт с администрацией или просто-напросто сидя в разведке или у Тимофеева. Однако настроение не падало. А как-то странно дергалось и извивалось. Курила страшно много, папироску за папироской, говорила без устали, чтобы не думать, улыбалась... улыбалась, как и всегда, когда на душе неважно.

Вся сущность моего «громадного» дела заключается в том, что 17 августа, будучи официально больна и придя на службу по специальному вызову начальника милиции для приведения в порядок моего отдела, который за время моего пребывания в Москве совсем пошатнулся, я приняла лично от дежурного агента вещественные доказательства к одному делу по обвинению

каких-то артистов в спекуляции и, уходя домой после 4-х, оставила мешок с подохранным имуществом в своем кабинете, отдав дежурному агенту словесное приказание наблюдать за целостью мешка, так как кладовщика Авсюкевича в этот день на службе не было. Выздоровев 23/VIII, пришла к своим служебным пенатам и изумилась — мешок с консервами по-прежнему лежал у меня в кабинете. Кладовщик, оказывается, продолжал гулять и об обязанностях своих, по-видимому, забыл. Принимая консервы от дежурного агента, я их не пересчитала (оплошность, конечно), так как народу у меня толпилась непроходимая тьма и я была чем-то очень и очень занята. 23-го сдала консервы Авсюкевичу для записи в книгу подохранного имущества. Минут через 15 влетает Авсюкевич, бледный и встревоженный, и докладывает:

— Недостача, Софья Казимировна!

Я переспрашиваю:

— Что такое?

— Девятнадцати банок не хватает!

Что же делать? Пишу служебную записку в Разведку: «Срочно принять меры к розыску» — и тому подобное. Обычная фразеология казенщины.

За следствие принялся помощник начальника Разведки Гольст, мой рыцарь, обещая все найти и всех изобличить. Тянул дело, тянул следствие: à la fin des fins[169] заворочался трибунал и предложил переслать весь материал им, и, конечно, затянули обычную песенку. Обрадовались, что меня зацепить можно, — и зацепили. Владимиров беленился и наскакивал:

— Это же преступно, преступно верить агенту и принимать от него вещественные доказательства, не пересчитывая. Это же преступно — сдавать консервы дежурному словесно, не требуя от него расписки в приеме.

А потом, выходя со мной из следчасти, Владимиров берет меня под руку и улыбается:

— Слушайте, нельзя же так... отбросьте вы все человеческие чувства, жалость к людям, в частности... Отдавайте под суд. Иначе сами попадете; сажайте и арестовывайте старательно, иначе сами сядете.

Этическая логика т. Владимирова мне, без сомнения, пришлась по душе; однако на нее ничего не ответила. А потом, конечно, пошла всякая следственная ерунда: аресты, обыски и тому подобное. По подозрению в краже консервов арестовали брата начальника милиции агента Зайковского, тихого, скромного юношу с нежным девичьем лицом, красивыми глазами и заикающейся несвязной речью. Когда мне позвонил по телефону следователь

Нурм и в шутливом тоне пожурил меня и уголовный розыск, что искали, искали преступника и не нашли, а вот он взялся за дело и сразу воришку поймал, я, предчувствуя, переспросила:

— О ком вы говорите?

— Да о вашем же агенте... о Зайковском.

— Откуда такая уверенность?

— Сознался и расписался под признанием в краже.

Ничего не поняла в первую минуту, затем больно стало не за арестованного, а за брата его, начальника милиции, за его большую, щепетильную, чисто панскую гордость и честь, жестоко отхлестанную и раненную и арестом, и сознанием брата в краже.

Мою жалость к нему разделяли многие: Гольст, Коренева, Грирут... Но молчали о ней, и только я одна знала весь ужас переживаемых им минут. Зайковский все это время был в отпуске; я заходила к нему на квартиру, наскоро передавала все новости о трибунале и нашем деле и с очень жестоким, нехорошим и хищным любопытством наблюдала за кривой оскорбленного, таящегося страдания. Было мгновение, которого я никогда не забуду, когда этот человек, твердый, сильный, стальной человек, с нервами и головой, закаленными горнилом революционной активной борьбы, в которой он принимал самое жаркое участие, бывший в разгаре всех войн и стычек, усмирявший восстания, подавляющий бунты, срывавший переговоры с Антантой и взрывавший на Севере мосты перед англичанами, сидел передо мною сломленный и уничтоженный и... плакал.

— Кому же верить? — говорил он. — Родному брату верить нельзя? Родной брат преступник?

Я молчала. Утешать было бы глупо, сочувствовать неуместно. Об этих слезах и об этой минуте мы никогда с ним не говорили. Словно ее и не было. Помним, знаем, не забудем, но облечь ее в слова — пока не надо.

В один из ближайших дней мы сговорились с Гольстом пойти в трибунал и попросить следователя при нас допросить арестованного Зайковского, так как оба не верили в его вину. Гольст спрашивал:

— Софья Казимировна, вы верите, что он взял консервы?

Я отрицательно качаю головой:

— Нет, конечно. А вы верите?

Возмущение:

— Я же знаю его и головой за него ручаюсь, что он не брал.

Успокоенные обоюдной верой в человека, в трибунал пошли в хорошем настроении. Вызвали арестованного. Я всполыхнулась, когда увидела его несчастное детское лицо и заговорила с ним по-польски.

— Зачем ты наврал, мальчик?

Услышав мой голос, разревелся самым чистосердечным образом и, заикаясь немилосердно, начал оправдываться, что он взял всю вину на себя только потому, чтобы его скорее выпустили из тюрьмы.

— Значит, ты не брал? — жадно спросила я.

В ответ он только снял фуражку и набожно, широко перекрестился. И вот этот крест, чистый, скорбный, твердый, в стенах безбожного учреждения, среди чужих вере, смешливых людей, потряс меня до основания еще больше, чем горделивые слезы его брата. Сколько одиночества и величия было в этом простом, глубоком, святом жесте!

1927—1928 года

В Испании я жила несколько раз. В Испании есть три моих гробницы. Я знаю их — две я видела во сне, а третья... мне привиделась в Павловске. Перед закрытыми глазами остановился очень яркий и очень отчетливый образ уголка церкви в Толедо, у правого придела, в нише: на черном цоколе — черный рыцарь в полном вооружении с опущенным забралом. Гробница безымянная, старая, и изваяние — барельефного характера — несколько грубо. Ни надписи, ни герба — все стерлось. Правая рука опирается на громадный меч, левая — в железной перчатке — лежит на груди. Я знаю — это я, я была молодым рыцарем, безбородым юношей, и меня убили в битве с арабами. Очень-очень давно. И никого не осталось на свете, кто бы меня помнил. И никто не знает моего имени...[170]

Сны о покойной княжне Нине Багратион[171]

В начале декабря 1927 года

Я и Эдик — взрослые, как теперь. В нашей старой квартире на Старо-Невском, 139. Стоим в фонаре: я гляжу на Александро-Невскую лавру и волнуюсь — не опоздали ли мы на свидание с Ниной. Эдик успокаивает — время еще не пришло. Здание лавры то странно приближается, то отходит. В какую сторону я бы ни поворачивалась — лавра перед глазами. Наконец мы выходим на улицу. Очень тусклый зимний день. Мы идем по направлению к Знаменской площади — там, на площади, мы должны встретить Нину. Но встречаем мы ее раньше — на углу Харьковской или Полтавской: она идет посередине улицы, вся в белом и без шляпы. Она улыбается нам и просит идти за нею, в Александро-Невскую лавру. «Я должна навестить могилу папы», — говорит она. Мы идем за нею. Лавра приближается.

(3 января 1928 года вышло недоразумение: тетя поняла по телефону, что панихида в 1 час дня, в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры, и мы к этому времени пришли с братом туда. В действительности же в 1 час дня был вынос из клиники Виллие[172]. Мы ждали прибытия тела на кладби-

щах, а потом замерзли, и я решила пойти навстречу кортежу и встретила его у Знаменской площади. Был тусклый зимний день. Мы несколько раз прогулялись по Старо-Невскому, проходили мимо дома 139, говорили о детстве... Траурную процессию, однако, мы встретили раньше площади, на углу Харьковской или Полтавской. Белый гроб. Мы пошли следом.

Нина похоронена рядом с могилой своего отца, князя Дмитрия Петровича.)

В 11 часов утра 1 января 1928 года

В комнату ко мне входит неизвестный господин в черном и в цилиндре и подает мне письмо с траурной каймой. «Я должен передать Вам известие о смерти...» — говорит он и называет имя, которое я забываю, проснувшись.

(В этот день, 1 января, в 8 часов вечера скончалась Нина Багратион.)

В ночь на 10 января 1928 года

Я с Ниной долго и много гуляем по церковным переходам и коридорам Александро-Невской лавры. Нам очень хорошо. Она ласковая, тихая и немного грустная. Во сне я знаю, что со мною покойница. Мне совсем не страшно. Все очень просто. Мы очень много говорим о каких-то важных и больших вещах. Какие-то отрывки из стихотворений Гумилева. Зима. Она в белом, как в гробу.

(9-го я была на панихиде в девятый день смерти Нины. Через коридоры проходила с Эдиком 9 января. Перед кончиной Нина читала мои книги Гумилева.)

В ночь на 14 января 1928 года (на 1 ян[варя] ст. ст.)

В большую (прежнюю, неотделанную) квартиру приходит Нина. Она только что проснулась от летаргического сна. Она — как прежде — в 1925 году: медно-рыжая, в домашних туфельках и в зеленом шарфе. Я обрадована до слез ее жизнью, говорю с ней, целую ее, смеюсь. Но думаю: как же всем сообщить, что она жива? Все будут бояться. И что делать с письмом Борису Корешкову, где я подробно рассказываю о ней и о ее похоронах? Он его получил уже — как смешно и страшно будет звучать мое опровержение! Он, пожалуй, не поверит мне и подумает, что я изобрела смерть Нины, чтобы потрясти его и заставить потом (когда он узнает, что она жива) разойтись со своей женой и жениться на Нине.

Мы много беседуем с Ниной — она сидит у белой печки в голубой комнате (не существующей нынче). Помню, что я все время спрашиваю ее: «Ну, как, как?» Ответов ее я сейчас не знаю — а во сне были. Она остается к обеду. Мама недовольна этим. Она кормит Нину бульоном с лапшой и котлетами и сердится. Потом все обрывается: мы все (мама, Эдик и я) у Тотвенов[173]. Нина сидит в стороне и молчит все время. Изредка только мы улыбаемся друг другу — у меня впечатление, что я только одна вижу ее. Нина Станиславовна[174] угощает нас каким-то странным сладким: в большой суповой вазе плавают маленькие песочные пирожные в малиновом сиропе и в малиновом варенье. Мы все, кроме Эдика, кладем себе на тарелки это блюдо. Нина Станиславовна говорит: «Он сам не должен брать это пирожное. Пусть ему положит этот господин». Неизвестный старик в черном, с железного цвета бородой и волосами, молча наполняет тарелку Эдика. Брат немного смущен. Господин отдаленно напоминает нашего дворника Василия. Снова обрыв: я иду с кем-то, с мужчиной, лица которого не помню, по широкой и красивой дороге — справа дома и дворцы в зелени и цветах, слева камни, утесы и где-то внизу — море. Вдруг в одном из окон второго этажа какого-то белого и красивого дворца появляется Нина. Она в подвенечном платье, в вуали, с букетом — и стоит на подоконнике во весь рост. Я подбегаю к дому по яркой траве и смотрю на нее. Мне страшно, что она упадет, и я даже протягиваю вперед руки, чтобы суметь поддержать ее. Но она говорит мне что-то успокоительное и ласковое и медленно, один за другим, бросает мне сверху белые цветы из своего букета. Я их набираю целую охапку. Нина исчезает. Мы с моим спутником продолжаем свой путь. Потом я где-то теряю его и вхожу через ворота с каменной аркой на какой-то большой, полный зелени и деревьев двор, окруженный прекрасными, белыми и голубоватыми строениями. Это какая-то больница. Цветы Нины со мною. Я очень грустная и расстроенная. Ничего нет схожего с клиникой Виллие, но я знаю, что это именно клиника Виллие. Около ворот мне встречается дама в черном, похожая немного на Nanette и немного на А.Н. Скрыдлову. Она печально кивает мне головой: «Идите скорее навестить Броню». Она умирает также, как и Нина. Я спрашиваю:

— Но где же я ее найду?

— Все там же, по тем же коридорам, что когда-то вели к Нине.

Она уходит. А я стою на месте, стараюсь вспомнить, какой дорогой я шла к больной Нине, где же находится ее палата.

Приписка: (В июне 1936 года я узнала случайно от Веры Яковлевны Вяземской, что Броня Букис умерла от туберкулеза в санатории под Лугой в 1935 или 1936 году.)

На 19 января 1928 года

Вижу покойных прелата Будкевича и военного капеллана Буевича. С ними вместе мой высланный духовник, каноник Василевский. Кто-то из них в штатском — кажется, ксендз Буевич. Все они очень веселые, довольные, радостные. Я прихожу к ним в общежитие священников при храме св. Екатерины. Коридор знакомый, а комнаты неизвестные — в комнатах масса солнца. Дверь мне открывает ксендз Буевич, хватает меня за руку, и мы в веселой мазурке летим по коридору. Прелат и каноник смеются. Прелат розовый и благодушный (как при жизни), и у него сильно блестят стекла очков. А каноник улыбается немного грустно. Мы с капелланом возвращаемся к ним. И я много шучу: мне страшно хорошо. Потом я вспоминаю, что пришла по поручению мамы: мама больна (что-то желудочное), лежит в больнице и просит ее навестить. Снова какая-то сцена со священниками, но я ее уже не помню. Я переношусь в больницу: зеленый сад, солнце (очень похоже на сон от 14.1.28). Недалеко проходит мама: она одета так, как одеваются обыкновенно на ночь. О чем-то говорим, но разговора я тоже не помню.

Потом — срыв. И дальше так: отец купил имение за Царским Селом. Мы все — моя семья — идем осматривать. Я волнуюсь: сколько это верст от Царского и когда последний поезд из Ленинграда? Ведь сегодня я смотрю «Клоуна» в Михайловском[175] — я приеду в Царское поздно — будет страшно идти в темноте, а в городе мне ночевать негде. К имению мы идем по широкой и пустынной дороге: поля, редкие здания, очень далекие фабричные трубы, телеграфные столбы, горы на горизонте. Солнечный день близится к закату. Какой-то красный двухэтажный дом, окруженный низкорослым молодым садом. Мне неприятно, что мало деревьев. Я — девочка, мне лет 10—12. Но в доме чудесно. Я в восторге от уютных и хорошо обставленных комнат. Мы ходим по второму этажу. Мягкая мебель, ковры, картины, бронза. От гостиной я в совершенном восторге: она угловая, крайняя в доме, окна в двух стенах, масса мебели, всюду книжные шкафы и полки с книгами, концертный палисандровый рояль. (Твердо помню всю расстановку мебели.) Но самое прекрасное: огромный письменный стол с великолепным прибором, груды рукописей и писем, всякие безделушки. Это от прежних владельцев. Я очень радуюсь, что смогу прочесть их письма и узнать все о чужой жизни. Рядом

библиотечный стол — на нем дивные книги, альбомы, ценные издания. Ужасно грустно то, что я знаю: через полгода революция, и от нас все отнимут. Отец торопит меня куда-то. Я не успеваю просмотреть большую книгу в коричневого цвета переплете. В это время — в доме — мне уже лет 16—18. Я в сером пальто с котиком, которое у меня было в 1917—1920 годах.

В ночь на 28 января 1928 года

Огромное темное здание — страшно высокое — все в галереях и переходах. Похоже на театр или универсальный магазин, вроде нашего Гвардейского экономического[176]. Множество людей, тепло и темно одетых: унылые, молчаливые вереницы. В их движении — какая-то закономерность.

Это — ад. В здании — двенадцать (кажется) эллипсоидальных кругов густо-голубого хрустального льда. Во льду — воронки. И оттуда — ровные снопы оранжевого пламени, напоминающие формой пламя свечей. Дыма нет. Люди идут по деревянным галерейкам, лесенкам, переходам, закоулкам. Это — обреченные. Они вечно должны так ходить, попадать на ледяные круги, проходить сквозь пламя и начинать все сначала. Я тоже с ними, но я — только случайный гость. Во мне чувство вяжущей и тревожной жалости и недоумения. Я вижу, что к одному из кругов подходит кн. Нина. Она не смотрит на меня. У нее трагическое лицо с поджатыми губами. Она вступает на лед и исчезает в толпе. Потом я вижу моего отца — в нем веселая злоба. На его голове какой-то странный убор — не то чалма со спускающимися полотнищами, не то азиатская тюбетейка, прикрытая какой-то шалью. Он тоже проходит, не взглянув на меня. На маленькой темной площадке, отделанной резным деревом, я сталкиваюсь с красивым тонким юношей в длинной шинели и в фуражке польских войск. Он блондин, с большими овальными голубыми глазами, с розовым твердым лицом, бритым и энергичным. Тип поляка и англичанина. Я бросаюсь к нему, обнимаю его за плечи — мне очень больно, что он в аду.

— Брат мой! Брат мой! — кричу я и плачу.

Он грустно глядит на меня и медленно, понурясь, уходит к ледяному кругу.

Все спутывается.

В ночь на 8 февраля 1928 года

Нам с мамой приснились почти одинаковые сны. Записываю сначала мамин — по ее карандашной записи:

«В большой комнате два возвышения — вроде надгробных памятников. На них положены большие пылающие угли. На одном возвышении, под углями, лежит Сонечка. Видна только головка, черненькая, с полузакрытыми глазами. Я стою рядом с живой Сонечкой и смотрю на головку лежащей — и вижу, что глаза полуоткрыты и вращается зрачок. Я в ужасе говорю Сонечке живой: “Зачем я насыпала горящие угли в 5 часов, а не в 9 часов. Еще четыре часа она была бы со мною”. Страшная тоска в груди. А Сонечка говорит: “Нет — именно и надо было насыпать горящие угли — 5 часов — это лучший час для огня”!»

Мой сон:

На постаменте, похожем на алтарь, на надгробный памятник, лежу я, нагая, на собольем меху. На моей голове сверкающая диадема — вид старинного кокошника, сплошь усеянного драгоценными камнями. Я, вторая, в будничном темной платье, стою рядом, вместе с Лидией Егоровной, и смотрю на себя, первую. Я думаю: «Какая она хорошенькая, розовая, веселая — не похожа на меня». Но лица у нас совершенно одинаковые. Лидия Егоровна протягивает мне тонкий белый вуаль, и я покрываю им медленно тело меня первой. Все ощущения переходят в ту, которая лежит на меху. Я чувствую движение вуали, вижу свои руки, руки второй, натягивающие вуаль, смотрю сквозь тюль на Лидию Егоровну. В душе какое-то огромное сожаление, печаль, тоскливость, боль. Все кончилось. Я опускаю веки и во сне — засыпаю. Я, вторая, ухожу на цыпочках и говорю Лидии Егоровне: «Ну вот и все! Давайте зажжем огни. Плакать не нужно. Она, может быть, и жива. Ведь вся ее жизнь — нарочно».

На 27 июня

Моя комната. Вечер. Пришел Николай Сергеевич и дарит мне большую бархатную шкатулку, наполненную письмами и вещами Нины. Я ставлю ее на диван и, стоя, открываю ее. Он сидит в кресле. В шкатулке — ленточки, искусственные цветы, обрывки тканей и целая груда писем. На конвертах почерк Нины. Письма адресованы Н.С. и, кажется, частично мне. Во мне — огромная благодарность ему, что дарит мне эту ценную память о покойной, и большая нежность и растроганность, что сейчас, кусочками, узнаю ее прежнюю, неизвестную мне, жизнь. Беру один длинный, очень толстый конверт — вынимаю оттуда письмо и прелестную вязаную кофточку — вроде спортивной майки — из чудесного тончайшего шелка сиреневого цвета. Я обрадована и думаю: «Возьму это себе — ведь ей это уже не нужно!» Но по-

том вспоминаю, что именно в этой кофточке она, должно быть, умерла, что на шелку остался ее последний смертный пот, что это зараза, и если я надену, значит, умру так же, как она... Я снова вкладываю кофточку в конверт, закрываю шкатулку. Дальнейшее ускользнуло из памяти. Продолжение такое:

Поезд. Толпа пассажиров. Вся наша семья куда-то едет, будто бы в Москву. Вагон широкий, сумрачный, без купе — вроде салона. Я сижу на низеньком ящичке (а может быть, это скамейка?) под окном, спиною к окну, на мне беленький батистовый платок, на коленях я держу шкатулку, подаренную Николаем Сергеевичем. Мне весело, я много шучу. Через вагон беспрестанно проходят юные и очень развязные девицы, хохочущие, легкомысленные, дурного тона. Я знаю, что это жены каких-то заключенных, которые идут в тюрьму, чтобы кому-то дать взятку. Я пытаюсь отговорить их, убеждая, что они сами сядут, но они все время смеются и отвечают мне грубо и дерзко. В вагоне страшный шум — и смолкает он только тогда, когда кто-то оповещает, что идет старший контролер.

Следующая сцена повторяется подряд несколько раз:

Все в смятении. Некоторые прячутся, некоторые затихают, а другие стараются быть незаметными, словно их на самом деле и нет. Глубокая тишина. И издали — из другого вагона — долетает страшный и пронзительный свист. В жизни такого никогда не слыхала. Это старший кондуктор оповещает, предупреждает о своем приближении. Наконец он входит — широкий, тучный, молчаливый — в форменном пальто с блестящими пуговицами и широкополой шляпе. В руке у него связка громадных ключей, которыми он ежеминутно потрясывает, и они звенят и грохочут. Лицо его отталкивающе: широкое, желтое, с маленькими, дико сверкающими глазами, раздавленным носом, вывороченными и сжатыми губами. Он напоминает страшных китайских божков зла. Он на всех смотрит — пытает глазами. Я знаю, что он ищет тех, кто едет неправильно. Я спокойна, но робею перед ним, хотя билеты у меня в исправности.

(Снова обрыв.) Москва. Двор католической церкви. Мама приказала мне и Эдику найти тетю. Мы ищем и находим ее на скамейках, поставленных почему-то во дворе против церковного входа. Тетя полная, хорошо выглядит, прекрасно одета, как одевалась раньше. Она встает, идет к нам, улыбается. Белые перчатки и молитвенник.

— А за мною madame Ваннэ! — говорит она.

Мы с братом оглядываемся: со следующей скамейки поднимается подруга тети, m-me В[аннэ], мы смущенно с ней раскланиваемся и передаем

ей приглашение мамы пить чай. Она почему-то очень изменилась — страшно выросла — и видом и низким голосом напоминает старуху княгиню Миниладзе. В этой части сна мы с Эдиком — дети, подростки. (Снова обрыв.)

Какая-то незнакомая квартира в Москве, куда мы недавно приехали. Комнаты небольшие — всюду еще не разобранные вещи, узлы, чемоданы, сундуки. В столовой мама угощает чаем тетю и Ваннэ. Мне кажется, что кто-то звонит — я выхожу в крохотную темно-красную переднюю, отделанную орехом, с тусклыми и темными зеркалами. Там стоит Нина и улыбается мне. Мы с ней целуемся — я так рада, что она пришла, я же знаю, что она была мертвой. Мы стоим против зеркала: мимоходом я отмечаю, что мы с ней не отражаемся в нем. Откуда-то берется Николай Сергеевич, и во все время он сидит (или стоит?) где-то в стороне, не мешает нам и молчит.

Я усаживаю Нину на ярко-красную тахту — мы беседуем, говорим очень много. В передней горит красная лампочка. Я открываю бархатную шкатулку.

— Смотрите, — говорю я, — вот все ваши письма и ваши мелочи, мне их нужно вам отдать.

— Нет. Это ваше, солнышко. И я так счастлива, что это именно у вас, и только у вас.

Она целует меня, гладит руками и вдруг протягивает руку за мою спину и что-то берет.

— Это я вам дарю, возьмите, дорогая, — говорит она и протягивает мне смешную маленькую куклу — карикатуру на старика и младенца, чудесно сделанную, и длинный небольшой букет из очень ярких, странных и бесконечно прекрасных цветов.

Затем еще происходят какие-то разговоры — полусобытия, полуоткровения, и Нина вдруг говорит:

— Ну, я больше не могу оставаться с вами. Мне пора.

Я удерживаю ее, прошу остаться.

— Нет, нет, я не могу, — отговаривается она.

— Но почему? — настаиваю я с удивлением и досадой.

— Я не могу больше. Я просто не могу, — ласково и чуть грустно отвечает она, целует меня, а я смотрю в ее великолепные глаза и думаю: «Как они светятся, Боже мой, как они светятся...»

Она медленно, оглядываясь, уходит за дверь, продолжая улыбаться мне, кивать головой.

Во мне большая и вяжущая тоска.

На вторник, 3 июля 1928 года

Такие отрывки:

Светлый служебный кабинет. За письменным столом — Бехтерев[177]. За ним — стена в картах, диаграммах. Стенные часы. Он немного грустный — какая-то résignation[178]. Я сижу около письменного стола, передаю ему какие-то бумаги. Он очень внимательно рассматривает их и меня и о чем-то долго говорит. Я не могу сейчас вспомнить темы нашей беседы: что-то об Институте, кажется, об Osty[179], об опытах. Но это наверное. Как в тумане, мелькает Л.Л. Васильев[180].

Другой кабинет — темный, массивный, красный, не служебный. За письменным столом двое: Г.В.Р. и Л.Л.В[181]. Я — напротив. Передаю им какие-то бумаги. Мне неприятно и странно, что не все бумаги попадают в их руки: часть их каким-то образом летит под стол — большая часть. Я наклоняюсь, стараюсь достать их с пола — мне все кажется, что, может быть, это моя неловкость? Но некоторые бумаги отлетают от моих пальцев, как живые, а некоторые, при вторичной передаче Г.В. и Л.Л., снова падают на пол. Мне неловко — у меня ничего не выходит. Г.В. изредка удивленно и неодобрительно посматривает на меня. У Л.Л. холодное и недружелюбно-безразличное лицо. Наконец я решаю уйти и издали кланяюсь им, возмущенно, но вежливо думаю: «Я надеюсь, вы потом поднимете эти бумаги? Они же имеют огромное значение для вас, а вовсе не для меня».

Большой зал (будто та квартира, где я провела детство, с той разницей, что посередине зала стоит деревянная установка — вроде перегородки, как на выставках картин). Я вхожу в зал с тягостной мыслью, что мне надо занимать разговором Л.Л.В., нашего гостя, который пришел к моему отцу. Отец занят в кабинете и поручил мне побеседовать с Л.Л. Он сидит в кресле у стены и рассматривает картины. Картин — множество, как в музее. Мне приходит счастливая мысль развлекать его осмотром картин. Я смотрю на стены... и прихожу в ужас. Всюду развешаны отвратительные, грубые, совсем новые полотна, слишком яркие и кричащие. Кажется, что их писали не художники, а мастера плакатов и выставок. Мне бесконечно стыдно и больно.

«Неужели все хорошее уже продано?» — думаю я.

Стыдно мне главным образом перед Л.Л. Он, наверное, думал, что в таком доме, как наш, найдет настоящие шедевры, а в действительности на-

ткнулся на сплошную и дешевую безвкусицу. А кроме того, он совсем не должен знать, что мы разорены. Кто угодно другой, но только не он!

Я начинаю с ним говорить о чем-то — он молчит и продолжает смотреть на картины. Я слежу за его взглядом и чувствую, что мучительно краснею, — какая возмутительная мазня! Запоминаются: невозможно голубая вода какого-то темного пейзажа и невозможно розовая спина какого-то ню.

Вдруг в глубине зала я замечаю большое и прекрасное полотно итальянской школы, изображающее Св. Семейство и маленького очаровательного Иоанна Крестителя. Я облегченно вздыхаю — слава Богу, хоть что-нибудь из прежнего уцелело! Я стараюсь направить внимание Л.Л. на то полотно, но он упорно молчит и рассматривает другие объекты, скверные.

Незнакомая комната, заставленная платяными шкафами. Я с мамой и Марылей[182]. Л.Л., очень радостный и улыбающийся, уходит за шкафы и оттуда говорит:

— Ну наконец-то я могу вам показать мои достижения!

(Во сне я убеждена, что он почему-то археолог.)

Он выходит к нам и несет осторожно темно-красное одеяние, вышитое золотом.

Мы рассматриваем и восхищаемся.

Он снова уходит и возвращается с женским платьем без рукавов, с невероятно большим вырезом. Платье из парчи, прелестного голубого цвета с серебром.

— А это наша легкомысленная Польша, — смеется он, — видите, какая разница с целомудренной Русью! И век тот — семнадцатый.

Он куда-то уходит опять — кажется, за новым платьем, а я потихоньку и в шутку наряжаю в голубую парчу Марылю. Она хохочет и прелестно выглядит в этом костюме. Уже растрепаны волосы, и она почему-то меньше своего роста. Я показываю ее маме, любуюсь и называю Антика!

На 7 сентября 1928 года

Кладбище. Подхожу к могиле Нины. Могила совсем измененная, странная, чужая, с кривым крестом, с разбросанными кирпичами. От дорожки ее отделяет дощатый заборчик: объявления наклеены, афиши. Большое объявление — почерк Нины, синим и красным карандашами размашисто написано: «Я очень недовольна. Не то, не то, не то...»

Вижу, что портрет Нины исчез (в действительности на могиле нет никакой фотографии) и на его место повешен другой, совсем не похожий на Нину, — лицо в профиль, унылое, сердитое, растрепанное. Во сне мне очень горько, что на могиле такой беспорядок.

Ночь на 29.IX.28

Длинный и совершенно забытый сон о жизни и смерти татарского хана и о степи.

1. Простор степи, заходящее солнце, темные люди, кони, палатки, высокие травы (все — в темно-коричневых, красноватых тонах). 2. Мужское монгольское лицо, искаженное страданием, в странной островерхой парчовой шапочке. Немолодое лицо. 3. То же лицо, опрокинутое, страшное, посиневшее и напряженное, застывшее в неестественной позе тело, перекинутое через седло. Голова у стремян. Конь живой и черный.

Второй сон

Царская палата. Кремль. Красное сукно на полу. Крошечные решетчатые оконца. Скамьи у стен. Печь из пестрых изразцов. Стол, покрытый не то ковром, не то яркой тканью. У стола — царь Иоанн IV Грозный, с опущенной на грудь головой. Я — мальчик лет 13—15, кудрявый, в белом кафтане, в мягких, с загнутыми носами сапожках. Я — прислужник, стою у двери. Царь подает знак — открываю дверь и с древним поклоном впускаю в палату высокого и толстого боярина с рыжей бородой. Второй знак царя — подаю кубки и вино в тяжелом кованном жбане из серебра. Наливаю. Ощущение безумного страха, что могу пролить или подать не так, как нужно, и царь разгневается... Обхожу стол, наполняю кубки. Чувство неминучей и страшной опасности — близости смерти — растет. Опущенными глазами слежу за своим шагом — лишь бы не споткнуться. Вино налито. С огромным облегчением отхожу к двери. Мне радостно и весело: все сошло хорошо. Третий знак царя — ухожу из палаты.

1933 год

10.VII. — понедельник

Прошедшее всегда длится в настоящем и отражается (пусть призраком) в будущем, прошедшее всегда полноценно и полнозвучно (все-таки и несмотря ни на что...). Неверность же и вопросительность будущего двугранна и узка и напоминает заботы о еще не рожденном младенце: гений или идиот? Святой или преступник? Потом же оказывается, что всего-навсего и только — тошнотворная посредственность с геранью в петличке и с номером профсоюзного билета. Скучно.

Уход в прошедшее продолжается — и мне из него не выбраться, пожалуй, до самой смерти: настоящее весьма нереально, а будущего, конечно, не существует вовсе. У меня слишком хороший вкус, чтобы думать о будущем. Я не думаю и этим утешаюсь.

От К.В. нет ничего, но о нем кое-что есть[183]. Жив — это, может быть, самое главное. Очень крупные неприятности (неизвестные мне), в результате которых не пишет никому. Так как в этом очень много страшного, стараюсь не думать об этом ДО КОНЦА. Ничего на свете так не боюсь, как думать и делать до конца. Страус я. А вокруг — пески и пески.

Жизненный тонус, конечно, упал. В этом и все дело, по-видимому. Несмотря на это, умею быть, когда нужно, заразительно веселой: воспитание определенного класса, за что определенному классу и благодарна. Иногда мне кажется, что эта веселость механической куклы. Балетная улыбка, во всяком случае, появляется все чаще и чаще. Ну и пусть?

Пусть — очень хорошее слово. Мой девиз теперь видоизменен и звучит так: «Все проходит — пусть!»

Продолжаю курить отвратительные папиросы, читать прекрасные книги, давать немногочисленные уроки и (в общем) сидеть без дела. Очень жарко и очень солнечно. На воздухе бываю только в случае крайней необходимости.

Это — кусочки из письма к Л.[184], кот[орая] отдыхает сейчас в санатории для нервных под Лугой. Там озеро и монастырь.

11 июля, вторник

Вчера вечером Гота, с которым — почти после двух лет — рецидивные встречи. Вчера написала, и совершенно правильно: «прошедшее длится настоящим». Для полноты повторности событий теперь должен бы приехать Ник. Из соображений высшего остроумия, непреодолимой тревоги и крайней потерянности послала ему сегодня четыре слова в зеленом конверте без всякой уверенности в том, что он их получит. Ник. молчал полгода и в июне прислал неожиданное и странное письмо, в котором было множество вопросов. Ответила, конечно, не отвечая, кажется. Умолк вновь. Политика человеков прозрачна и смешна. Я вот живу без политики — и это жаль.

27 июля, четверг, вечер

С 12 июля я имею почти все сведения об отце и три письма от отца. Это — после 5½ месяцев молчания. И с 12 июля моя жизнь вошла на новые (или же очень старые) пути и очертилась резким рисунком законченного заколдованного круга. Я живу в мономаническом состоянии одной мысли и чувства сплошной боли. Мне все кажется, что с меня сняли верхушку черепной коробки и на открытый мозг по капелькам — чтобы было больнее — льют кипяток. А с отцом такое: после блестящей и «сверхударной» работы на Беломорстрое, который триумфально закончен и сдан в эксплуатацию правительственной приемной комиссии, вместо того чтобы получить в награду снижение срока, зачет рабочих дней и, может быть, полное досрочное освобождение, он имеет: лишнюю и новую статью обвинения 58. 10, отказ от зачета рабочих дней, лишение всех привилегий, инвалидность I категории и еще один год заключения, прибавленный к его приговорному восьмилетнему сроку. Кроме того, — и это ужасно — его ждет высылка из Соловецких лагерей в дальние Усть-Печерские лагеря, где очень трудное сообщение, отдаленность от жилья человеческого, близость полярного моря и льды на реках с 5 сентября. Он голодает, у него нет денег, его обокрали — и ему 63 года. Он кричит о помощи, он требует от меня каких-то заявлений, хлопот, поездок в Москву и так далее, а я не знаю, что мне делать, а я знаю, что никто меня не послушает, никто мне не поможет, я знаю, у меня совсем нет денег, нет службы, мало хлеба и много, очень много горя и забот, беспомощности и боли.

Я не знаю в точности, за что отца постигло такое наказание: он пишет, что все это «милые счеты» с его начальством и что он ничего за собой не чувствует. Но я знаю также очень хорошо манеру мыслить и поступать мое-

го отца, его невоздержанность, оскорбительную резкость суждений, насмешливое и злое остроумие, неумение уживаться с не понравившимися ему людьми и легкомысленную, почти детскую болтливую доверчивость, пренебрежительное отношение к окружающей его начальствующей среде и возвышение до небес прекраснодушных людей, которые, как правило, не знающее исключений, почти всегда оказываются потом мелкими или крупными подлецами и мошенниками. Так, вероятно, было и здесь: своего начальника он, кажется, назвал «жидом», а тот поклялся его «сгноить»; он, неверующий, демонстративно и ненужно ходил в православную церковь; он, кажется, вслух читал газеты, снабжая их своими комментариями; он чекистов называл seigneur'ами[185], а себя и себе подобных serf'ами[186]. Это мне немного напоминает 1919 год, когда, среди общего голода, нищеты, оборванности и неприглядства, он ходил денди в бобрах и котелке и злобно радовался, когда его называли на улице «буржуем». В отце очень сильна эта черта нелепого, никого не убеждающего и опасного театральничанья и мушкетерской вызывающей дерзости. В 1905 году он, например, носил на московские баррикады патроны и револьверы в карманах шубы и в шапке, давая ночевку и приют у себя каким-то революционерам-евреям, не имевшим права жительства, хранил у себя на квартире оружие, прокламации и неизвестные ему самому бумаги, играл с опасностью, отфыркивался от возможного доноса на него полиции, забывая о семье и крохотных тогда детях, и громко сообщал всем знакомым и полузнакомым о преданности делу революции и о ненависти к русскому царю. Всю жизнь он отчаянно и, как всегда, безрассудно агитировал против монархии самодержца: у нас в доме были кипы «страшных» революционных журналов эпохи 1905 года, с кровавыми пятнами красной краски, и каких-то подпольных брошюр. Изредка он извлекал все это из своего письменного стола и показывал мне, девочке с бантиком. Я ничего не понимала, обморочно боялась «страшных» журналов с кровавыми пятнами и с рисунками виселиц, черепов и смертей, но уже ненавидела, как и он, «русского царя» и презирала «русского солдата», убивавшего и давившего сапогом великую свободу. Журналы эти он возил в имение и тайком показывал мужикам — потом дом наш сгорел, и, по всем вероятиям, подожгли его эти же самые сагитированные отцом мужики. Брошюры он давал всем — например, домашнему парикмахеру во время войны, что я очень хорошо помню, и поносил государя всегда, в особенности же в присутствии высшего офицерства, чиновников и генералитета. Почтения к мундиру и к власти у него не было никакого и никогда. Однако за генералами он признавал ог-

ромное и неоспоримое достоинство из чеховской свадьбы[187] и на торжественных обедах любил зигзаги и золото генеральских эполет. Никакие политические экономии в его голове не умещались, и времени он на это не тратил. Просто он всегда и во всем бунтовал против правительства — и царского, и временного, и советского — и всегда и всем был недоволен, всегда считал всякого чиновника круглым идиотом. В отце жил вечный негодующий мятежник par esprit de contrariété[188]. И пришла эпоха, когда этот esprit de contrariété был квалифицирован как противогосударственное преступление. Отец, однако, не смирился и не сломался: в нем чудовищная волевая сила и огромная витальность. Он негодует, кричит, волнуется, требует, считает всех идиотами и гордится своей божественной моложавостью и тем, что в 63 года и в Соловках у него роман и связь с какой-то ссыльной дамой из Москвы.

28 июля, пятница

Лето стоит прекрасное, очень теплое, с подобающим количеством дождей и коротких, далеких гроз. Уже давно отцвели мои любимые жасмины и липы в Летнем саду. На столе у меня сейчас полевая ромашка и большой «дачный» букет, очень красивый, который на днях привезла мне по возвращении из санатория Лидия. Она поправилась, мила по-старому, а во мне ведь только одна мысль — и я больше ничего не чувствую, и мне трудно и утомительно долго быть с людьми.

Пожалуй, лето уже идет к исходу: мы же никогда не были за городом, если не считать двух-трех поездок на Пороховые, куда, кстати, собираемся и завтра. Отсутствие поездок объясняется капитальным отсутствием денег. У меня сокрушительно с финансами, и, говоря искренне, я совсем не знаю, как и каким чудом мы живем и питаемся. Все съел Торгсин[189] на масле, сахаре, овсянке и пшенке, и, кажется, с апреля месяца наши обеды отличаются изысканным стандартом ежедневности: овсяный суп без мяса и пшенная каша, если дома есть пшено. Если его нет, то овсяный суп заменяет все полагающиеся по кодексу три блюда. Для Торгсина у меня имеется еще только золотой фермуарик с жемчужиной и прелестный французский крестик на паутинной цепочке, подарок знаменитой Смирновой-Россет[190]. Больше нет ничего. Ушли все кольца, серьги, броши и даже великолепный перстень итальянской работы. И были только: масло, сахар, овсянка и пшено, а в июне очень часто простой черный хлеб.

Может быть, мы не голодаем. Зато мы постоянно недоедаем и мучительно страдаем от отсутствия кондитерских изделий. И конфеты и пирожные по

очень высоким ценам в продаже, конечно, есть, но у нас нет на это денег. Я тону в долгах и в неплатежах; у меня очень недостаточные заработки, а с апреля месяца меня кормят трогательными обещаниями хорошей службы. Без службы больше мне не обойтись, это ужасно, но это неизбежно. Переводов у меня нет совершенно, и я пробавляюсь лишь педагогикой, которая меня очень утомляет.

Я мало у кого бываю и мало принимаю у себя — мне очень неловко подавать гостям к чаю хлеб и булку. Я знаю, что этот стыд весьма глуп, но ничего не могу с собой поделать. Не люблю выносить «на людей» свою нищету. Этот год по напряженности финансовой и нравственной атмосферы очень напоминает 1929-й — с продовольствием тогда было, однако, гораздо легче.

Среди знакомых перемен мало: у Кисы[191] все благополучно, муж давно освобожден и даже пытается устроиться в Военно-политическую академию имени Толмачева[192]. У Ксении — высоко-коммунистическое просперити от двух серьезных закрытых распределителей и хороших ставок[193]. Внешнее благополучие подчеркнуто и у Анты[194] — у нее, кстати, какие-то новые романтические затеи с новым неизвестным. Пару недель жил в Ленинграде Бор[195] с женой — противная, злая иголка! Он должен был прислать нам известие о себе из Архангельска, откуда выезжал на год с экспедицией на Северную Землю, но, конечно, ничего не прислал. Он же хам. Кэто была в Торжке, вернулась из Торжка и вновь собирается в Торжок: она милая и простая, котенок и обезьянка. Муж ее чрезмерно — но осторожно — ухаживает за мною, и это глупо. Готу не вижу больше: написала ему, чтобы не приходил, пока не позову. У меня сейчас нет ни сил, ни желания заниматься всякими балаганчиками.

Г.В. вернулся из Сочи, но дурно выглядит. Его тоже, как и меня, преследует какая-то одна мысль. По-моему, за последнее время он делает вид, что жить ему хорошо. Это не так на самом деле.

О Севастьяновых[196] не слышно ничего. Боричевский, кажется, голодает. Марыля молчит. Изредка бывает профессор Магазинер[197]. Пару раз был Котя[198]— с конан-дойлевскими рассказами — неизвестно зачем. Из Парижа Jeanne прислала милые журналы. Петр Карлович перенес две глазные операции: желтая вода и катаракт. Ему больше 80 лет[199]. В Италии скончалась Софья Петровна Молчанова; после ее смерти Жорж покушался на самоубийство и потом долго болел.

Золотая Книга[200] пишется только в сердце, с большими перебоями, отстранениями, непонятностью, непониманием, страхом и молчанием. Facite silentium[201].

4 августа, пятница

День св. Доминика[202], отмеченный мною особо. С этим днем и с этим святым — крепкая и нерушимая связь, странная, полубредовая, часто мучительная. Из мглы веков потянулись нити — обволокли — спутали — затягивают — уже затянули. И в этом особенная ценность, особенное значение, особенная боль (радость-страдание). От этого и Hosanna и De Profundis[203].

Круг, в котором сейчас, словно не мой: втолкнули и вертят. Весь июль в этом кругу, самая страшная точка в нем: отец. Сны от него или нет? А кругом точки — разные — от призрачной и торжественной чистоты Золотой Книги — через сумасшедшую невротику Готы (разговоры о спиритизме) — через редкие вспышки о Ник. (жив? умер?) — до частых, нелепых, немногословных и настороженных встреч с Борисом Сергеевичем[204].

Он — муж Кэто и начальник Эдика. Он — отец Люлюшки и молчаливый друг нашей семьи. Наше шутливо-нежное и милое приятельство ломается — и в треске его что-то грозное и, может быть, неотвратимое. Отношения усложняются с катастрофической быстротой: а дальше что? На Миллионной — в огромной полупустой комнате, тихой без Кэто, без ребенка, без прислуги, — подолгу сидим за «кадровой выпивкой». Большие глаза Эдика с ласковой нежностью смотрят на своего начальника, такой же любовью Эдик любил, пожалуй, только Гермуша[205]. Борис Сергеевич напевает, покашливает, пьет и морщится: у него все время болит горло — ему что-то прижигают. Когда Эдик уходит за чайником, за вином, за водкой, Борис Сергеевич гладит мои руки и молча улыбается. Говорит:

— Как с вами хорошо! Особенная вы женщина. И тревожно и спокойно.

Потом, подумав:

— Вам бы быть женой министра! До каких высот мог бы дойти ваш муж при такой жене...

Смеюсь, шучу. Я с ним всегда шучу и смеюсь.

Однажды встал, резко и нежно пригладил мои завитые волосы, долго держал голову в ладонях и смотрел в лицо.

— Мадонна... — сказал тихо и поцеловал в лоб.

Я опять отделалась шуткой.

А недавно разговор, который записываю дословно:

— Ведь ваши меня любят?

— Очень, милый.

— А если бы я был свободен, вас бы за меня отдали?

Я смеюсь:

— О, конечно!

— Нет, вы не смейтесь, я говорю серьезно. Я же знаю, как вы любите маму и брата, и знаю, что без их внешней санкции вы замуж никогда не пойдете.

Я с ним соглашаюсь, потому что он сказал большую и настоящую правду.

— Вы мне очень нравитесь, Мадонна!

— Вы мне тоже.

— Да нет, не так, я же серьезно, я очень серьезно. Это гораздо больше, чем вы думаете.

Я не думаю ничего — и он сердится.

— А если я обеспечу Кэто, вы будете моей?

Он видит, что я поражена, но склонна все обратить в шутку. Он останавливает меня:

— Не надо. Молчите. Вы мне ответите, когда я окончательно вылечусь и вернусь из санатория. В январе. Вы только не забудьте, что я вам задал этот вопрос И ответ за вами.

Входит Эдик. Мы говорим о службе, о походах, о войне. Я смотрю на него и думаю: какой все-таки бездомный: кадетский корпус, с 1915 года — фронт, с 1915 года — непрерывная военная форма. Милый. Большой. Идеальное телосложение — таких, вероятно, выпускали на римскую арену, нагих и скульптурных, с сетью и трезубцем, для боя с закованными в тяжелую бронь гладиаторами. Певучий, приятный голос. Совершенный слух. Несокрушимое упрямство и упорство. Деликатность. Застенчивость. Небрежение себя. Доброта при минимальном количестве слов. Темно-золотая хорошей формы голова. Чудесная улыбка. За все время знакомства с ним смех слышала только один раз, в нашем доме, когда Борис Корешков рассказывал анекдоты, смех открытый, звучный, музыкальный и какой-то старинный. Теперь так не смеются. Смотрю на него и думаю: что же мне делать? Я к нему прекрасно отношусь — и это все.

Накануне приезда Кэто пришел неожиданно к нам — днем, — никого дома не было. Я уже знала, что у него туберкулез (ох, как бы не горловой!), усадила его удобно, дала подушку. Он гладил колени, плечи, хвалил люби-

мое им земляничное платье (древнее, как мир, и такое же рваное). Было солнечно, в комнате стояло много цветов.

— Как у вас всегда празднично, — сказал, — знаете, мне уже хочется назвать вас своей невестой.

Я сказала о жене, о ребенке. О моем взгляде на Дом. Почувствовала, что не слышит и не слушает. Думал о чем-то, улыбался и вдруг обнял меня. Притянул к себе. Попробовала освободиться — стальные кольца. Обычно в таких случаях женщина говорит трафаретное «не надо». И я поступила так же трафаретно, как и всякая женщина. Не выпуская из рук, спросил:

— Потому что Кох, да?

Во взгляде была оскорбленность прокаженного, а во мне мгновенный расцвет всяких легенд. Пожалела острой и недолговечной жалостью — человека пожалела, больного, раненого. Раскрыл руки, освободил меня, откинулся на подушку.

— Как хотите, — произнес, — а все-таки невеста...

Все это сложно. Нелепо, глупо и не нужно — главное, не нужно. В Борисе Сергеевиче — неприметное обволакивающее упорство и огромная безыскусственная простота, все, что он делает и говорит, кажется таким естественным и само собой разумеющимся, что всякое возражение приводит к неестественности и к напыщенности. Это, по-моему, самая опасная и самая привлекательная черта в нем. И при моем безволии это страшно.

Сегодня проводила его и Кэто в Торжок. Вместо предложенной санатории он решил ехать в деревню. К брату Дмитрию. Глупому, бедному и очень симпатичному (от Чехова и Достоевского). Я с мамой долго занималась составлением для него рецептов питания и всяких вкусностей — он очень верит в маму. Кэто же хозяйка плохая.

На вокзале были: конечно, Эдик, Красовский, представители службы. Жена одного из начальников Толмачевской Академии, Лидия Федоровна Дмитриенко, сладкоголосая, изящная, с профилем кошки. Борис Сергеевич шутил, был весел, вел меня под руку, ворчал на жену, что перед отъездом не напоила его чаем. Глядя на него, на это прекрасное, стройное тело, затянутое в военную форму, на свежее розовое лицо, очень странно и почти смешно думать, что здесь и туберкулез, и Кох. Кэто, бедняжка, глубоко расстроена тем, что ей придется возиться с кухней, со сложными мамиными рецептами, с уходом за больным мужем.

— На будущий год все будет по-другому, — сказал Борис Сергеевич.

— Почему? — спросила Кэто.

— Я поеду не в деревню, а на юг.

— Ты и в этом году поедешь на юг.

— Да, конечно, поеду, — вяло согласился он и, разглаживая цветок на моем костюме, лукаво шепнул:

— Но еще без вас. А на будущий год — с вами.

...Очень приятный и хороший вечер у Анты.

28.8, понедельник

Давно не писала и вряд ли теперь буду часто писать. Много занимаюсь вопросами гидрологии — волны, сток, насосы, ветер, карты, измерительные приборы и т.д. С 6 сентября в Ленинграде начинается IV Гидрологическая конференция Балтийских стран[206], на которой я буду работать в качестве переводчика. Заработаю, увижу интересных людей. Часто бываю в Гидрологическом институте[207]. Ежедневно работаю с моей «парной» переводчицей, Лией Константиновной Буксгевден (по мужу): прекрасно знает языки, горячая адептка Christian Science[208], собирается обратить и меня. Когда-то Буксгевдены основали Ригу[209]. Муж ее плавал на «Штандарте»[210].

Сегодня День св. Августина[211] — уезжаем к Гутену на именины. Он теперь снова часто бывает у нас, привозит цветы, папиросы. Славный и скучный.

Была у Кисы, у Анты, у Ксении. Некогда сказать обо всем. Часто пью у Дмитриенко — он, кубанский казак, чудесно и тщеславно рассказывает. Охотничьи замашки у военных не новость, но слушать его приятно. Ромбы — ордена — квартира в здании Гвардейского штаба: восхитительно из окон смотреть на площадь, на вечереющее небо, на божественное золото Адмиралтейской иглы.

Раньше времени вернулась из Торжка Кэто с мужем. У него горловой туберкулез. Жутко и непонятно. Была у них пару раз — похудел, глотает только жидкое, и то с трудом, скоро едет в санаторию в Детское Село.

— Приедешь, Мадонна?

— Приеду.

Вероятно, сумею выбраться во время конференции. Или потом. Его очень жалко. Не может быть, чтобы ТВС[212] гортани был неизлечим. У Кэто усталый вид. Она все-таки не понимает до конца.

Сентябрь, 9-го, суббота

Работа затягивается далеко за полночь, начинаясь с самого утра. Заседания. Морская секция. Ледовая комиссия. Комиссия по балансу морей. Приемы. Банкеты. Письменные переводы. Протоколы. Устные переводы. Гималаи умных слов и непонятных понятий. Удачное жонглирование терминами. Масса улыбок. Масса знакомых. Толпы на лестнице и в залах Географического общества[213]. Экспортные папиросы. Милая Польша. Очаровательная неподвижность старой Финляндии и прелестное лицо молодой Финляндии. Забавная Литва — проф. Казис Пакштас похож на лесного человека, очень древнего, колдовского, умевшего разговаривать с дождем и птицами: у него ясный и молчаливый взгляд и чудесные зубы зверя. Элегантные шведы. Трогательная Дания. Скульптурная Германия со свастикой в петлице. Если на профессора Зольдина надеть броню и шлем, он будет похож на рыцарское надгробие. Ужасно смешная и домашняя Латвия. Бледно-серая Эстония. Очень европейский вид Данцига — ожившая фотография из иллюстрированного журнала.

И я — парламентская переводчица и секретариат Морской секции. На мне незаметно подштопанное платье, в котором я кончала гимназию в 1918 году, и не совсем приличные туфли. Несмотря на это, меня называют «Наша самая элегантная переводчица».

От этого мне и весело и грустно.

Я ухожу из дому в 9 ч[асов], залетаю в неопределенное время пообедать и уношусь снова. Ложусь спать между 3 и 5 ч[асами] утра, после возвращения со всяких шикарных банкетов, на которых я голодаю, потому что мне некогда есть: я записываю застольные речи.

Вся жизнь куда-то отодвинулась — ее заслонила ненужная громада Конференции. И события жизни, не связанные с событиями конференции, вдруг потеряли свою значительность.

Живу под высоким напряжением всей нервной системы. Поэтому не устаю, мало сплю, почти не ем и чувствую себя крылатой.

В крылатости радостей нет: с иностранцами работать неприятно. Ни в одном советском учреждении на меня не смотрели как на служащую — я всегда была наравне или выше. Несколько дней я перерабатывала мнение иностранцев на этот счет: теперь они смотрят на меня и относятся ко мне как к некоей фантастической советской даме, любезно принявшей на себя труд помочь им разговаривать и ориентироваться. Они знают, что мне за это платят хорошие деньги, но я не служащая в их глазах — я «дама из общества»,

qui fait les honneurs de la maison[214]. Если я опаздываю на заседание и вхожу в зал уже во время докладов, мои иностранные знакомые почтительно встают, молчаливо здороваясь со мною. Остальные переводчики — служащие: с ними здороваются до или после заседаний. Или проходят мимо. И я снова: наравне и выше. Гордость — смертный грех. Я пребываю в оном.

...На днях узнала, что 30-го застрелилась в санатории наша жилица Лидия Арсеньевна Болтина. Ей было 24 года. Туберкулез и неудачный роман. Черная, розовая, беспокойная — обожала и почитала меня. Жалко. Что я буду делать с комнатой? Ко мне могут вселить черт знает кого. О смерти ЖАКТу пока не объявляю.

Сегодня выезжаю с делегатами на Свирьстрой[215] и на Волховгэс[216].

13 сентября, среда, ночь

На Свири очень интересные доклады о строительстве, прекрасный завтрак и обед, множество речей и вина. Во время осмотра замечательные разговоры с профессором Пакштасом об Африке, Ниагаре, оккультизме и религии.

На Волхове — дождь, грязь, печальная равнинность северного пейзажа с безотрадным одиночеством белой церкви на другом берегу.

Сегодня — «Астория». Павловск (в новом для меня разрезе Аэрологического института)[217], Пулково (рукописи Кеплера[218], которые трудно было и выпустить из рук), студенческая веселая прогулка в Михайловский сад с проф. Добровольским (старик, моложе самой молодой молодости), драгоценности Samain'а, Бодлера и Верлена и груда прекрасных — новых для меня — польских стихов — дивная погода — заседание Морской секции до 9 ч. вечера — затянувшиеся переводы до 11 ч. — в полночь мой одинокий ужин в «Астории» под неистовый джаз и удивленные взгляды «пирующих», английский костюм, портфель, между грушей и кофе — бумаги, карандаши, сброшюрованныее доклады. Краткая беседа с проф. Стакле. Потом — переезд с портфелем и бумагами за столик польской делегации. Трогательная разнеженность дружеских разговоров. Очень пустые и немного жуткие улицы. Усталость такая, что даже спать не хочется.

Завтра с «Красной стрелой» выезжаю по маршруту: Москва — Днепрострой — Киев.

От Киева жду очень многого. Это — романтика невиденного, голубой город.

В Москве, вероятно, не будет и свободного часа.

10 октября 1933. Ночь

Монолог в форме диалога

Первый тон

Только б в Киеве жить мне надо,
В его лавре, святой Печерской,
Позабыв за тихой оградой
О мире лукавом и дерзком.

Почитать иконы и мощи
И в пещеры ходить молиться,
Где свечей восковые рощи,
Где туманом ладан слоится.

Отстоять часы на коленях,
Умиленно лицо склоняя.
Святителей строгие тени
Православья дух охраняют.

А потом в Успенском соборе
Деревянный сруб заприметить,
Тот самый, которому вскоре
Будет ровно десять столетий.

И кутью снести на могилы,
Где Искра лежит с Кочубеем.
Сколько русской исконной силы
Со времен царя Берендея!

Сколько было их всех, могучих!
Всех ревнителей правой веры!
От креста над Днепровской кручей
До крутой столыпинской меры.

Мир жестокий, лукаво-дерзкий
Кружит за тихой оградой.

Мне же в старой лавре Печерской
Жить надо.

Второй тон

Для жизни этой монастырской
С собой возьмите непременно
Духи, блокнот, роман английский
И сотню папирос отменных.

А скромно приближаясь к храму,
Вы не забудьте, дорогая,
Бодлера и Омар-Хаяма,
Друзей возлюбленного рая.
Вы не забудьте катехизис
Буддийских жизнеочертаний
И уложите в складке ризы
Орнамент римского влиянья,

Чтобы, попудрив нос умело,
Сказать, цепным любуясь мостом,
Что с древним православным делом
Народ расстался очень просто.

В беседе с набожным иереем
Проговоритесь вы, я знаю,
Что мощи — старая затея,
Необязательно святая,

Что очень любопытны фрески,
Но Пинтурикьо вам милее,
Что Фрейд — ученый крайне резкий
И что вы любите Бердслея.

И жизнью поживя российской,
Такой, которой больше нету,
Вы для культуры византийской
В душе не сыщете ответа.

Тогда на Запад свой любимый
Вы повернетесь беспечально,

Назвав с улыбкой жажду схимы
Экскурсией сентиментальной[219].

Октябрь, 13-го, пятница

После возвращения из Киева болею до сих пор: жесточайшей Lumbago[220]. Не выхожу. Вижу разных людей, не приносящих радости.

Несмотря на наличие всех документов о праве на дополнительную площадь, ЖАКТ отнял у меня комнату Болтиной и сегодня вселяет туда управдома с женой и двумя детьми.

Настроение злобное и замороженное.

Никак не могу выспаться после бессонных ночей поездки. Киев не обманул: голубой город. В Киеве остался какой-то кусочек моего сердца. Москва скользнула. В прищуренных глазах были странные мысли. Москва? Москва.

Днепрострой изумителен.

Борису Сергеевичу хуже. Он ложится в тубдиспансер. Не видела его. Надо бы — что-то страшно.

7 ноября 1933 года, вторник

Вчера в 4 часа утра умер Борис Сергеевич.

10 ноября

Все эти дни у Кэто. В ее горе — чистый Восток: она плачет, причитает, раскачиваясь на диване, падая головой на колени сидящих рядом подруг. На Эдика жутко смотреть: он осунулся и молчит. А в глазах страдание и ужас. Люлюшка бегает по комнате, кричит, хохочет и играет со мной. Ведь ей два с половиной года.

Видела Бориса Сергеевича в покойницкой, в гробу, в день выноса. Торжественное и прекрасное лицо: тени сна, не смерти. Долго стояли с Эдиком в совершенно пустом помещении, смотрели — Александровская эпоха, декабристы, что-то старинное и романтическое. Только не наше.

На дубовой крышке гроба приколочена военная фуражка. Та самая, которая так часто лежала на столе у нас в передней и на окне в лаборатории, где Эдик.

Сегодня хоронили — речи, оркестры, войсковые части, ружейные залпы, море живых цветов, шелковых лент и металлического шелеста венков. Таял

выпавший снег, было пасмурно, на Смоленском кладбище, под унылым небом и мертвыми деревьями, выросла еще одна могила — нарядная и свежая гора хризантем.

Для меня от него есть письмо.

Возьму потом — позднее, — сейчас мне страшно.

24 ноября

Больна все время со дня похорон. Воспаление нерва zygomatica[221] и обострение легочного процесса. Розовая мокрота.

Сегодня была Лидия.

Профессор Миллер арестован уже второй месяц[222]. Анта остроумна и бодра. Тоска. Раздражение. Перечитываю письма Сенеки к Люцилию. Пишу «Лебеду»[223].

Эдик работает на Полигоне. Устает, возвращается поздно и мерзнет.

— Я хожу там все время по тем же дорогам, по которым ходил Борис Сергеевич, — говорит он, — и жду, что вот увижу...

Письма я еще не взяла.

25 декабря

Очень жаль, что нет елки, — в Рождестве нет чего-то рождественского, детства нет, которым оно только и живет и блещет.

Письмо я наконец взяла. Очень долго не решалась вскрыть конверт. Карандашные строки — неровные, трудные и бледные. Вот они:

«Мадонна,

Это, вероятно, конец, который всегда приходит вовремя. Зная теперь все, что вы знаете, все-таки не осуждайте меня. Запутав чужие жизни, я хуже всего запутал свою собственную. Из всех я, однако, любил только Вас — но...

Видеть в Вас мать *для моего* сына — гордо. Забудете меня, Мадонна, или не забудете — вот о чем думаю.

Ни слова, Мадонна.

Плохо умирать, но умереть хорошо.

Ваш Б.П.»

Даты нет.

Кэто на два месяца уехала в санаторию вблизи Ялты. Подозрения на туберкулез. В январе с лабораторией, переименованной и реорганизованной в институт[224], она уезжает навсегда в Москву.

Институт возник и живет так же, как и лаборатория: идеей и мыслью Бориса Сергеевича. Он и Лангемак — единственные у нас, кто творил и раз-

рабатывал газодинамику и реактивное движение. Перед покойным была самая изумительная и блестящая карьера.

О детстве и о Боге[225]:

1

В детстве церкви вообще никогда не любила. Никто не заставлял ходить туда или молиться, а если и случалось бывать, то всегда было скучно: казалось, что все нарочно делают вид, что молятся, и нарочно стараются быть серьезными. Бог — другое: это что-то очень важное, очень большое и очень торжественное. Поэтому — насколько помню — и в раннем детстве о Боге всегда говорила шепотом, как о какой-то необычайной тайне.

— Не плачь, Эдик, Бог рассердится.

— А как одет Бог?

Никогда не было детского — Боженька, Bozia. Всегда по-взрослому — Бог, Господь. Жили в Москве, когда в первый раз пришло убеждение, что в церкви очень красиво и очень хорошо. 1906 или 1907 год, вероятно. Лето. Праздничная октава Corpus Domini[226]. Я — маленькая, очень нарядная, вся в белом, завитая, с огромным бантом — иду в процессии по церкви, в первой паре, отступая перед балдахином, под которым — золотой священник, Святая Чаша, дымки кадильниц, мальчики в красном и кружевах. Из корзиночки, перевешенной через плечо, я вынимаю лепестки роз, ромашку, левкои и еще какие-то цветы и бросаю их под ноги священнику. Я знаю: он держит Чашу, а в Чаше — Бог. Значит, я бросаю цветы под ноги Бога, и он пройдет по ним. Я в восторге. Мне нравится все: пение, толпа, ризы, хоругви, белые девушки в белых вуалях, запах смятых цветов, убранная зеленью церковь. У меня единственная забота — не оскорбила ли я Бога? Дело в том, что я слишком высоко подбросила большую ромашку, и она куда-то исчезла. Ах, не попала ли она на голову священника с Чашей? Бог может рассердиться на меня за мое непочтительное поведение в церкви. Дома я беспрестанно повторяю:

— В церкви так красиво, так красиво... В церкви красивее всего...

2

Не помню, сколько мне было лет — может быть, пять, а может быть, шесть. У кого-то из родных я спросила:

— Где всегда живет Бог?

И мне ответили:

— Везде, всегда, всюду. Нет ни одного уголка на земле, где бы его не было, и нет ни одной вещи и ни одного поступка, о которых бы он не знал и которых бы не видел.

Поразило это меня страшно. Я очень долгое время была под впечатлением сказанного. И помню, много думала: как же это так? Тогда (для проверки, вероятно) я выдумала игру. Я старалась спрятаться от Бога и спрятать от него вещи. Я играла в прятки с собой же. Медленно и нарочито безразлично я ходила по комнатам, играя или занимаясь чем-нибудь, и вдруг неожиданно, сразу, вползала под стол с длинной скатертью и замирала там от страха и ожидания.

«Видел меня Бог или не видел? Знает, где я, или нет?»

И через минуту — неизвестно почему — говорила себе:

«Конечно видел. Конечно знает».

Таким же образом и всегда неожиданно я пряталась под диваны, в шкафы, в кладовые, где всегда было темно, за стоящую вешалку в передней. Результат был постоянно тот же. Память отражала икону Христа в детской, и казалось, что Христос лукаво улыбается мне и укоризненно качает головой.

«Конечно видел. Конечно знает».

Помнится, я рассказывала, что Христос беседует со мной на эти темы, но сейчас я в этом не уверена — был ли это детский вымысел или же я слыхала чей-то (не мой) голос.

Так же я прятала и вещи, выбирая, конечно, самые маленькие, которые можно незаметно, мимоходом спрятать. Очень хорошо помню кукольные подсвечники. Проходя по комнатам с отсутствующим видом («я ничего не делаю и ни о чем не думаю»), я быстро, не останавливаясь, засовывала их куда-нибудь и шла дальше. Потом возвращалась, находила и долго на них смотрела.

«Конечно видел. Конечно знает».

Однажды забыла, куда спрятала, никак не могла найти и испугалась страшно: Бог наказал меня за эту игру и сделал для меня подсвечники невидимыми. Когда же они нашлись, успокоение пришло не скоро. Пока не свыклась, жутко было с вечной мыслью — что всегда и все знает, всегда и все видит.

3

В детстве я не особенно любила иконы и изображения Христа, Богоматери и святых. Всегда казалось, что это не то и совсем не так. Зато очень

любила Распятия и простые кресты. Богоматерь должна была быть непременно очень красивой, очень бледной и темноволосой (во всяком случае, не светлой блондинкой). Влюбленное отношение у меня было к рыжей Мадонне Боденгаузена[227] и к фарфоровой миниатюре, висевшей у мамы в спальне. (Позже на смену Боденгаузену пришла васнецовская Богородица из Киевского собора[228], еще позднее, и до сих пор, пожалуй, Мадонна Литта в Эрмитаже, приписываемая Винчи[229].) Привычные с младенческих лет лики Остробрамской и Ченстоховской Богоматери[230] вызывали только какую-то растроганность и умиленность.

Зато совершенно не представляла себе Спасителя в образе ребенка — и очень не любила это изображение. Оно казалось сладким и небожественным. Вероятно, потому, что я не любила детей вообще, а маленьких тем более. (Пожалуй, атавистическое: отец мой и бабушка по отцовской линии терпеть не могут ребятню.) К Христу-младенцу у меня было пустое и, может быть, даже несколько недоброжелательное чувство. Объясняю я это — предположительно, конечно, — еще и тем, что я очень ревновала моих родителей ко всем детям, и мне казалось, что маленький Христос что-то от меня отнимает.

Ни одна икона и ни одно изображение Христа меня не удовлетворяют. И прежде и теперь. Я знала уже давно, что Он — не такой: всегда не хватало чего-то. Из приблизительно любимых ликов Христа есть один — не помню сейчас художника, немца. И еще, пожалуй, Гвидо Рени в Эрмитаже — Христос в терновом венце. Только лицо должно быть тоньше. Есть и нежно любимые святые: св. Казимир Королевич, например; Николай Мирликийский; Георгий из Кападокии; Франциск из Ассизи; св. Екатерина Дева. К ним трогательная и какая-то бережная нежность — как к цветам.

4

Было лет пять, вероятно, когда услышала где-то, что вся наша жизнь и все поступки заранее известны Господу Богу — то есть что нет ничего такого, что бы я сделала или подумала и что не было бы Им заранее указано мне и предназначено. Очень смутила меня эта новость. Любила все проверять и поэтому проверяла и это. Брала куклу и потом отбрасывала ее.

«Значит, так предназначено: взять и отбросить».

Падал дождь, откладывалась прогулка, начинался насморк.

«Значит, все заранее известно: и то, что пойдет дождь, и то, что отложена прогулка, и то, что у меня насморк».

Помню, как однажды срочно понадобилось зачем-то пойти к маме, побежала к ее комнате, вспомнила о «предназначенности» всего и неожиданно заупрямилась:

«Вот там сказано, что я побегу к маме, — а я возьму и останусь в детской».

Осталась и задумалась — пришла к сокрушительному выводу:

«Все так, как предназначено: сначала нужно было к маме, потом нужно было остаться в детской, потом нужно было подумать это... ах, все равно ничего не сделаешь! Пойду к маме». И пошла, покоренная и раздавленная силой предопределения.

После этого появился образ Книги Жизни и Бога над нею. Кто-то сказал при мне, и я жадно запомнила:

— Это записано в книге судьбы.

И представилось так: огромная палата, библиотека (ну, совсем, как в Румянцевском музее[231]), по стенами полки, а на полках книги. Эти книги — это жизни людей. А Бог — важный, молчаливый и спокойный — ходит по палате, выбирает книги и просматривает их: там уже все написано заранее про каждого, и Бог только проверяет, по его ли велению идет людская жизнь. И моя книга тоже есть: большая, красивая, золотообрезанная, в кожаном переплете, — на правой странице мои дурные поступки, на левой — хорошие. Правая страница черная и на ней красные буквы. Левая белая — и на ней золотые. И там уже все про меня написано. Образ этой книги очень долгое время жил во мне и со мною. Потом, гораздо позже — через несколько лет, меня очень мучил вопрос: ну, а что будет, если в книге написано, что в двадцать лет (верх взрослости) я должна убить человека? Неужели мне никто не помешает и я должна буду это сделать?

Над этим, помню, очень смеялся мой отец:

— Непременно убьешь! Вот увидишь... двадцать лет — и убийство!

Идущий год — трудный. Это я знаю, и знаю твердо и наверное.

1934 год

Январь, 8, lundi[232]

Я не знаю, почему так редко я пишу в дневнике. Может быть, ужасная бумага этой тетради отталкивает. Может быть, что другое.

Вчера и сегодня была в Гидрологическом институте. Заполняла анкету. Нужно доставить кое-какие недостающие бумаги и «вступить в должность». Регулярная и постоянная служба и хорошо (потому что регулярные и постоянные деньги), и ужасно (потому что регулярное и постоянное рабство).

Ничего так не люблю, как Дом и дом. Даже несмотря на то, что в последнем живут управдом, управдомша и управдомята, типичные выходцы из русского XVII века.

От отца — очень тяжелое. Переводят из Соловецких лагерей в какие-то другие, приуральские или печерские. От 19.XII последняя открытка из города Яренска. Искала по карте: Яренск это не Яранск. Яранск в Нижегородской, Яренск — на севере, выше Вятки: дорога в Большеземельную Тундру. Отец идет (буквально) больше 300 километров. Не знает — куда. (Как странно: иметь отца без адреса — Россия — Север — в пространстве.) Ограбили. 35° мороза. Ни копейки денег. Украли даже шапку: сердобольный конвоир дал свой шлем. Кто-то другой сердобольный дал полотенце, которым закутывается лицо, потому что нужно идти и потому что -35°.

Какая жестокая, какая страшная судьба! С сентября 1929 года он не знает Дома и дома — у него нет своей постели. Ему 64 года. Каторжанин. Я — не дочь миллионера и большого барина, нет, нет. Я — дочь каторжанина.

Третьего дня у меня был Михаил Владимирович Барбашев, бывший товарищ отца по соловецкому заключению. Высокий, сухой. Производит удивительно старинное впечатление благородства и доброты. Сдержанный истерик. Рассказывал жуткие вещи о Соловках до 1930 года, до наезда правительственной комиссии, расстрелявшей почти все начальство.

— Сейчас в Соловках хорошо, — сказал, — там деловая обстановка.

В Германскую войну он 28 месяцев провел на передовых позициях. Сказал, что, если бы ему предложили выбирать: 6 лет передовых позиций или 4 года Соловков, он бы выбрал, не колеблясь, первое.

У Анты по-старому. Профессор сидит в ДПЗ и пишет там свой археологический труд. Интересно, как он разговаривает со следователем — он, почитатель Салтыкова-Щедрина и французов? Ведь они же не будут понимать друг друга.

Племянница Анты, маленькая Ирочка, единственное существо, которое она любит по-настоящему, больна дифтеритом. У Анты — несмотря на профессора, несмотря на девочку — продолжение нового романа с каким-то не известным мне и новым научным работником, у которого дочь и ревнивая жена (шведка).

У Ксении тоже продолжение романа — эпистолярное, через меня, Хабаровск — Ленинград — с крупным военспецом, коммунистом, другом ее ранней юности. Собирается бросить мужа, но собирается неуверенно:

— Я Мишу люблю, но Хабаровск... а есть ли там канализация? А есть ли там мягкая постель?

В письмах мучают друг друга.

Пан в Севастополе[233], после почти смертельной болезни (сердце). Переписываемся весьма трогательно. Возрождение дружбы, так сказать. Готу не вижу. Кису тоже — была у нее лишь на шикарных (в смысле стола) именинах, где с Эдиком был первый припадок — ему, бедняге, нельзя пить совсем. Три рюмки — и драма!

Киса говорила, что Бюрже[234] очень болен, не то туберкулез горла, не то рак. Этот человек из жизни моей вынут мною совсем. Узнав о болезни, стало жалко, решила навестить, написать, позвонить — и не делала ничего. Уродец, карлик, всеобщее развлечение, трагический шут, любил меня любовью, которая мне не была нужна, которая мешала, смешила и сердила. Откликнуться — значит приблизить. Не стоит, пожалуй.

9 января, вторник

Сегодня около 4-х узнала, что умер Андрей Белый[235], мой друг, с которым я не была знакома и который обо мне не знал. Потрясло и опечалило так, что замолчала.

Вечером — Лия Буксгевден, культурная, милая, old time[236]. Ее проповеди о Christian Science. Любопытно. На минутку Котя — все более и более таинственный. С женой — Кректышевой — он разошелся. Собирает русскую

икону. У него есть поразительная по красоте и несвятости Варвара-Великомученица (от Нестерова) и жуткий Пантелеймон, принадлежавший Крыжановской-Рочестер. Дьявольщина.

19 января, четверг

Бюрже умер. Сегодня мы хоронили его на Смоленском. Странно было смотреть на зеленые ленты венков, на которых было написано: «Евгению Германовичу Бюргеру...» Его имя я привыкла читать на белых карточках, лежащих у рюмок и прибора на нарядном и веселом столе. Ему было только 37 лет (а голова почти вся седая). Жизнь неудачная и потрясающая по одиночеству, из которого он рвался и бежал непрестанно.

На кладбище гроб открывали, но я не видела, потому что не смотрела.

Был сильный ветер. Навестили с Эдиком могилу Бориса Сергеевича. Ленты все украдены. Эдик очищал могилу от снега. Я курила.

Что это — умирают, умирают люди. Скольких знакомых я потеряла, скольких друзей. Тетя, каноник, Нина, Лидия Егоровна, Филипп Артемьевич, Любовь Васильевна, муж и жена Молчановы, Борис Сергеевич, бедный Бюрже...

Эдик трагически остроумничает о нас:

— Завсегдатаи похорон!

...отец и мать Кисы[237], дядя Мечислав[238], Чаевский, Мухарский — ужасно, ужасно!

Май, 21, понедельник

С начала мая я больна — у меня гриппозное воспаление легких, температура и бюллетень. Первый раз в жизни у меня бюллетень: все мои службы всегда были обставлены по-домашнему, и я могла болеть или гулять в Летнем саду: мне всегда верили, что я больна. С января я служу в Гидрологическом институте, где мне хорошо (тоже первый раз в жизни — на службе, и вдруг хорошо!) и где мне также верят, как в учреждениях с домашней обстановкой. Но Гидрологический институт — это несколько многоэтажных домов и больше тысячи сотрудников. Бюллетень, следовательно, явление естественное. В институте я много перевожу и много разговариваю. У меня так много нежных приятельств, что, если бы я не умела быстро работать, я бы, вероятно, ничего не смогла наработать. Чудеснейшие отношения с учеными старцами — совершенно особые. В институте меня

называют «любительница антиквариата». Кличку эту ношу с гордостью. В ней — символы.

Работает со мной Ольга Николаевна Басова, спутница по Конференции, очень остроумная, очень живая, очень вульгарная. Мы с ней в прекрасных отношениях беспрерывного — до одури — зубоскальства. Бывшая актриса. Жена партийца. Дочь очень видного и очень большого чиновника хорошей дворянской фамилии. Постоянное общение с партийным миром, драматический талант и по-мужски творимая карьера с необходимостью по-мужски зарабатывать и по-мужски содержать дом сделали из нее то, чем она есть в данное время. Она стремительно пробивается «в люди», не щадя ни сил, ни здоровья, ни женской прелести, ни ума, ни хитрости. Она жестка, суха, прямолинейна, эгоистична и недобра. В ней нет разлагающих чувств лени и жалости. Она делает все со смыслом и с умной целью — разговаривает, работает, флиртует, одевается, красит губы, говорит непристойности и грубости, наивничает и мечтает. Цель и смысл — карьера и крупный роман с крупным человеком (желательно член партии, так как это вернее), но роман открытый, гласный, который бы заставил женщин завидовать, а мужчин — заискивать. Такой роман блестяще начался с заместителем директора Нефедовым — я с интересом наблюдала бурное движение романа и ослепительные демонстрации Ольги Николаевны. Но Нефедова перевели на другую работу. Он больше не институтствует. Роман их «изредка» продолжается из вежливости: Басовой он больше не нужен. Ей хочется быть maîtresse en tine[239]. В дни Нефедова я полушутя называла ее La Dubarry. Это ей очень нравилось, и она радовалась и гордилась.

Ей 37 лет. У нее двое детей, к которым она строга и холодна; заботы о детях отцовские — одеть, накормить, просмотреть тетради, отправить на дачу. Мужа я не знаю; он моложе ее, тоже бывший актер и большой донжуан. Она считает его красавцем и, вероятно, обожает его. У нее красивые глаза, чудеснейшие зубы, маленький рот и идеальный парикмахер. И приятен ее голос, тренированный, гибкий и звучный. Она вызывает во мне любопытство и умеет меня смешить. Ко мне она относится хорошо, вероятно, потому, что я никогда не вступаю с ней ни в какое соревнование. У нас и поля для соперничества нет — даже в переводах: я знаю лучше английский и французский, она знает лучше немецкий; я совсем не знаю шведского; она совсем не знает польского. Забавляет она меня очень. Несмотря ни на что, я умею, когда надо, вести ее на поводу.

Я очень постарела — и физически и духовно. Однако зеркало меня не пугает. К старости я иду просто. Может быть, я даже иду к ней с радостью. Я все-таки устала — и молодость свою отжила уже давно. Не только молодость предъявляет свои требования — это пустяки; к молодости предъявляются требования — и это хуже. От этого я и устала. Я не хочу быть больше молодой. С меня, пожалуй, довольно.

Г.В. уехал с женой в Сочи. Я была у них до отъезда, 2 мая, некстати встретила Михаила Михайловича (он до сих пор негодует, что Сливинский бросил его жену!) и некстати, возвращаясь домой, попала в грозу и в дождь. Пневмония, вероятно, оттуда. Провожала на вокзал уже с повышенной температурой — она, вероятно, и сделала то, что я забыла отдать Наталье Исидоровне[240] две плитки шоколада, торжественно пропутешествовавшие со мной на вокзал и обратно. На вокзале — снова Михаил Михайлович, намеревавшийся, должно быть, провести у меня вечер. Не зная, что делать, придумала визит к Анте; он меня и довел до Музейного Дома[241], не подозревая, что я не гуляю с ним, а иду к знакомым. Неожиданно выяснившаяся у ворот Музейного Дома ситуация, кажется, разочаровала и обидела его.

В доме Анты я люблю лестницу: пахнет книгами, тишиной, имением и провинцией. Мне грустно бывать уже здесь: Александр Александрович недавно выслан в Южную Сибирь[242], в квартире разгром, она распродает вещи и книги — книги валяются на полу, в передней, в кухне. Мне больно.

У нее я застала Лелю и спящего на диване Николая Владимировича Полонского, молодого геоморфолога, с которым Анта живет уже довольно давно. Он женат. У него девочка. Положение его в доме Анты его смущает. Она же, напротив, очень весела, бодра и уверенна. С нею все труднее и труднее. Мне жаль Ал[ександра] Ал[ександровича].

Уже месяц, как Кэто переехала в Москву pour toujours[243]. Я рада этому. Мне было сложно поддерживать с ней прежние отношения. Время мое теперь рассчитано по часам. А кроме того, после смерти Бориса Сергеевича бывать у нее стало скучно и неприятно.

Кэто рассказала мне совсем ненужное: как в санатории, через полтора месяца после смерти мужа, влюбился в нее какой-то моряк — и она в него влюбилась — и они сошлись — и он уже приезжал в Ленинград — и она «безумствовала», дни и ночи пропадая у него в гостинице, и однажды, уходя от

него под утро, она была принята за проститутку — ее задержали в гостинице и были с нею грубы — спасла пенсионная книжка, случайно оказавшаяся при ней: «такая-то... вдова военспеца... размер пенсии 525 руб. в месяц...»

Покойного Бориса Сергеевича Петропавловского мне так же жаль, как живого и высланного профессора Александра Александровича Миллера.

Женщина хуже мужчины. Женщина — зверь земли.

А.А.Н.
Усадьба

Белый дом и белые сирени,
Сквозь березы — розовый закат;
За беседкой, в предвечерней тени,
Скоро соловьи заговорят.

Мы откроем окна в кабинете;
Даже пламя свеч не задрожит,
Когда, усыпляя тихий вечер,
Ночь поднимет звездоносный щит.

Мы услышим ароматы сада,
Соловьев, сирень и тишину...
Может быть, и говорить не надо,
Вспоминая с Вами старину?[244]

(А.А.Н. — Александр Александрович Никифоров, секретарь Гидрологического института. Расстрелян. — Примечание 1946 г.)

22 мая, вторник

Много и, как всегда, с любовью читаю о Павле I (исследование Кобеко «Цесаревич Павел Петрович»[245]). Если судьбе будет угодно, когда-нибудь напишу о Павле так, как мне хочется, как чувствую его и как знаю.

Перечитывала «Грибоедовскую Москву» Гершензона[246] и целую уйму дурацких романов и рассказов (русских), начиная с 90-х годов до войны 1914 года. Не знаю, зачем, собственно, сознательно убивала время на эту чепуху. Думаю — усталость, усталость от всего. Я устала от масштабов современности — класс, полмира, мир, будущее, план на 5 лет, перспективы на

5 лет — и от такой же литературы. Мне захотелось беллетристического уюта, семьи, зажженной лампы, медленных путешествий, многочасовых и узеньких описаний. Я с удовольствием перечитала ворох глупостей.

Сейчас холодно, дождь. Дожди падают каждый день. Но весна нынче ранняя и веселая. Все цветет сразу — яблони, черемуха, сирень, даже рябина. Листья уже большие. Очень тянет за город. А больше всего — в деревню, в старую-старую усадьбу, чтобы утром, проснувшись, увидеть солнечные полосы у постели и, высунув из-под одеяла ногу, попасть в эту солнечную полосу и чтобы ветки сада влезали в открытое окно, неся запахи, влажность, зеленый свет...

Желание это — босая нога на солнце и ветки в открытом окне — так сильно и так остро, что от него временами бывает больно.

Удивительно, как мне все больше и больше хочется тишины, покоя, старинности. Диспансер с Фурштадтской теперь перевели в Мариинскую больницу[247] — и входят в диспансер через маленький отдельный садик, через отдельный тишайший ход с тихой и белой лестницей. Бывая там, я останавливаюсь на площадках лестницы, смотрю в окна на больничные здания и пустые дворы. Лестница пахнет чуть-чуть лекарствами, чистотой и нежилым запахом — так, может быть, пахнут лестницы в монастырях, тихие и безлюдные. И я с улыбкой начинаю думать о монастыре, о провинции.

Мне, пожалуй, больно от знания и чувствования людей. Я устаю от этого. Нелепо громоздятся передо мною чужие жизни, перепутанные и очень сложные, и я, видя и перепутанность и сложность, вижу одновременно ясность и закономерную простоту таких нагромождений. Это не элементы психологических талантов; это, скорее, la seconde vue[248] и обостренная чувствительность — я мучительно ощущаю скрытые механизмы человеческого поведения, и я знаю — ЗАЧЕМ, пусть даже бессознательно, он это делает — я чувствую ложь и лесть, похоть и подобострастие, самодовольство и угрозу властью, скупость и подлость, преступление и себялюбие.

За эти годы я сделалась гораздо суше и спокойнее. В спокойствии безотрадность окружающих пейзажей. В сухости — очень внутренней и не ощутимой внешне — единственно возможная реакция на мир и жизнь: я очень много приношу физической помощи — меньше нравственной — добро мне легче, чем зло, — я не знаю ни скупости, ни зависти, но жалость к человеку

затухает с каждым днем. А любви к человеку не дано. Во имя чего его нужно любить?

26 мая, суббота

Вчера вечером — Ксения и Бутек. Ксения — первый раз за время моей болезни; ничего об этом не знала, дружба ее милая, но легкомысленная, я ее избаловала своим вниманием. Сидела у меня смущенная, оправдывалась, ругала себя и так далее. Я ее поддразнивала. В действительности же мне все равно.

Бутек зато приезжал очень часто и вчера был горд необычайно, когда я назвала его «верным другом». Притащил мне целый куст белой и лиловой сирени. Теперь у меня полная квартира сирени — и это чудесно.

С деньгами жутко. Никак не могу дополучить 200 рублей за французские статьи для Физико-технического института и 180 рублей для нашего Оргкомитета Балтийской конференции. Басова мудрит, злая, что заболела, а Шитц дурацки начинает мудрить тоже. Готовлю им приятнейшие слова.

У Ксении все по-старому: полуфлирты, кино, театры, новые платья, дача под Сестрорецком, августовская путевка в Хосту, книги и хороший умственный багаж, который зарастает и глохнет.

Позавчера — днем — Киса: очень люблю в ней и воспитанность, светскость, то, что Гермуш называл «милость» от слова «милый». Переменила комнату, очень довольна; муж ее уехал с какой-то экспедицией на Беломорканал. Рассказывала о смерти Евгения Германовича Бюргера: рак пищевода, гортани, дыхательных путей; задето было основание языка и, вероятно, мозжечок, потому что за несколько недель до смерти начал проявлять признаки душевной болезни — заговаривался; часами болтал вздор; живя на Полозовой улице, был уверен, что живет почему-то на Морской, и пытался убегать на Полозову — в купальном халате и ночных туфлях (одежду от него прятали). Его ловили на лестнице, в подъезде; он жаловался, что его утомляют посетители, хотя никто не приходил, — с такими призраками вел долгие громкие беседы, а приходили к нему ТОЛЬКО покойники, которых он вдруг начинал считать живыми. В больнице пробыл меньше суток и умер во сне, счастливый и уверенный, что завтра в горло вставят «трубку» и он будет совсем здоров.

Очень трудно представить себе, что его нет в живых: толстенький, маленький, кругленький, смешной и остроумный, выговаривающий «в» вместо «р» (пвавда, Бювгев, вадость!), влюбленный в Кису, влюбленный в меня,

весь в личных неудачах, одинокий, эгоистичный, нелепый; страстная любовь к бегам, к литературе, ресторанам, беседы на психологические темы «с душой навыворот», гурманство, близкое к обжорству, водка, клетчатое пальто, палка с головой моржа, бесконечная папироса, падшие женщины, с которыми были самые дружеские, самые товарищеские отношения; странные браки, странные связи; тяга к остаткам «петербургского света», где его принимали как забавника, как шута, над которым можно было безнаказанно издеваться, но одновременно, в случае надобности, и пользоваться его услугами бесплатного юриста и поверенного. Все, что он говорил, было всегда смешно; все, что он делал, было тоже смешно; даже в момент похорон было смешно от глуповатых и неграмотных речей, и совсем трудно было удержаться от смеха, когда взвизгнула и подала оратору немыслимую реплику какая-то чужая, неизвестная особа из серии кладбищенских старух.

Неотрывно читаю Lenotre'а о людях Французской революции[249]. Совершенно изумительный исследователь. Интересно все-таки, когда и как будут написаны такие же портреты наших революционных деятелей?

Декабрь, 13

Где-то в мире — в неведомом мире — решается теперь моя судьба. Может быть, она уже решена. Может быть, приговор уже подписан. И мне остается только ждать, ждать, ждать — в ужасе, в смятении, в тоске, потому что нестерпимая радость, идущая ко мне, принесет и нестерпимую боль. На новом крестном пути, по которому мне суждено пройти еще раз, уже зажигаются огни. Меня кто-то ждет. Должна наступить математическая катастрофа: безмерно далекие друг от друга параллельные линии, не знающие даже о своем существовании, приближаются к точке пересечения. И может быть, в моем теперешнем уравнении, благословляемом мною шестой год, постоянные станут переменными — и кривая даст другой пик.

Много работы. Мало здоровья. В институте — сгущение эротической атмосферы, моя беспомощность, внутренняя злобность, безразличие, усталость, косой взгляд. В снах — Париж, неизвестные улицы, набат, лицо Робеспьера. Неизвестный голос, который зовет. А другой — мучительно знакомый, — который говорит: Tais-toi[250].

1935 год

Январь, 19-го

Очень возможно, что дневник у меня существует только для того, чтобы заносить в него смертные случаи.

Сегодня около 8 часов вечера пришла сестра Анты, Леля Розен. Она у меня бывает иногда, и приход ее всегда связан с чем-то значительным и неприятным. Идя к ней по коридору, на минутку подумала об Анте, о ее вероятной болезни. Но Леля сказала другое.

13-го числа в городе Петропавловске (Казахстан) умер профессор Александр Александрович Миллер[251]. Причины телеграф напутал: удар, что-то мозговое. Поразило это меня и огорчило несказанно. С Александром Александровичем у меня была изысканная дружба (в Ленинграде) и изысканная переписка (после его ссылки). Умственный уровень его был высок и прекрасен; остроумие сложно и тонко; восприятие и знание искусства изящно, вычурно и глубоко. Он был одним из моих лучших собеседников, трудным и капризно-разборчивым собеседником, с которым нужно было быть всегда подтянутой, искристой и безупречной во всех отношениях: от туалета до остроты, от улыбки и жеста до манеры повествования, от поворота головы до поворота мысли. Общение с ним всегда шло под высоким вольтажом: ценя во мне объективно человека, женщину и «светскую даму», он много и привычно требовал от меня — и я много и щедро отдавала ему, тщательно выдерживая полюбившийся ему стиль и каждый раз давая все новые и новые краски тому образу, который он видел во мне. Возможно, это было взаимное творчество, приятное для него (прошлое, воспоминания, Париж, женщина французского beau monde[252], женщина музыки и искусства) и не особенно трудное для меня (тоже воспоминания, тоже прошлое, в котором жил элемент абортированного будущего, книги, старинность, романтика ожившего портрета, французская кровь).

За последние же месяцы — после ссылки и начала переписки — он мне стал очень близким и бесконечно милым.

Мне его мучительно жаль. Мне жаль себя, что я больше никогда его не увижу. Этот человек требовал от меня (бессознательно) всегда прямого и

гордого стержня. Он допускал, что я могу быть печальной, но не представлял меня растерянной или обозленной. Может быть, он был одним из моих экзаменаторов.

Анта — в Хибинах, ученый секретарь Кольской базы Академии наук[253]. В Ленинграде — комната на Большом проспекте[254], куда ее переселили из Музейного Дома после приговора над мужем.

Дом на Инженерной кончился.

Анта уже давно отошла от Александра Александровича. Иногда она даже тяготилась им. Будучи абсолютно здоровым человеком, от физической стороны брака он ушел давно — после аборта Анты от другого. Будучи больным человеком, Анта хотела и искала в жизни физических радостей. В прошлом и в настоящем возникали мужские образы. Один из них — Полонский — стимулировал ее отъезд в Хибины: бегство от страсти. Какая тяжелая карма: первый муж расстрелян[255], второй умер в ссылке.

17 февраля, воскресенье

Больна. Больна. Все время больна. Сначала — невралгия височного нерва. Теперь боли в бедре. Диспансер. Костное отделение. Периостит тазобедренного сустава.

Устала так, что все хочется послать к черту.

Хоть бы умереть талантливо, что ли.

Ведь жить-то талантливо не умею.

Холодно. Синие вечера. Одиночество. Люди. Встречи. Денег нет. Но ничего. Как-нибудь... Ничего.

28.II. — 19.III. 1935

Эти дни — снова тюрьма: ДПЗ, одиночная камера № 130 — без передач, без книг, без прогулок. Мучительная бессонница. Бессмысленные разговоры со следователем. Во мне только возмущение, еще более злое от того, что бессильное. Единственное развлечение — ежедневное посещение амбулатории, где синий свет для бедра, где веронал и валерьянка, где большая никелированная крышка от какого-то ящика для инструментария: крышка — зеркало. Единственная литература — одна крохотная открыточка от мамы и надписи на спичечных и папиросных коробках. Ничего не ела: хлеб и кипяток. Лежала, фантазировала, вспоминала, пела, декламировала стихи, свои и чужие. Днем — до обеда — спала с чудесными обрывистыми снами. Потом

гуляла по камере, глядела в окно, на три четверти закрытое снаружи железной коробкой: полоска неба, крыша, высокая труба, из которой однажды долго шел страшный черный дым. Упоенно развлекалась этим дымом, ставшим для меня внешним событием огромной важности. На край железной коробки прилетали голуби — вопреки запретам, кормила их хлебом. Через каждые 10 минут шуршал глазок: дежурная надзирательница интересовалась моим недоуменным бездельем, в котором не было даже оправдания лени. Несколько дней и ночей где-то в нижних камерах жутко выла, кричала и плакала какая-то женщина. Может быть, сумасшедшая. При особенно раздирающих криках некоторые камеры начинали робко волноваться: кто-то звонил, кто-то стыдливо стучал в деревянное окошечко двери. За стеной налево — истерические, быстрые шаги на французских каблуках. О книгах не могла даже думать. Холодно и спокойно соображала, как это людям удается кончать жизнь самоубийством в таких условиях одиночной камеры. Сложно и трудно. О доме тоже старалась не думать — немыслимо было ощутить полное и драматическое одиночество мамы: дочь в тюрьме, сын в тюрьме, друзей нет. Знала, что Эдик в этом же здании, что, вероятно, условия заключения те же. От отчаяния и ужаса за него переходила к ледяной уверенности: все будет хорошо, не может быть иначе, не смеет быть.

Бывали часы мертвящей скуки; бывали часы умной и недоброй жестокости; бывали часы мучительных воображаемых разговоров. Но ни разу не было часов страха, уныния, слез и безнадежности. Была воля к жизни и победе. Если бы Эдика не было в тюрьме, может быть, этой воли было бы меньше.

В последние дни — ночью — галлюцинации слуха: симфоническая музыка. Слушала восторженно.

Нестерпимо ожидание свободы, которое не приходит по неизвестным заключенному причинам. Следователь сказал однажды, что свобода будет завтра, послезавтра. Сказал очень спокойно, очень деловито и просто, не обманывая и дразня. И я приняла это так же — и деловито и просто (главным образом деловито). А потом прошло десять дней, в течение которых свободы не было. Свободы обещанной и принятой деловито и просто. В эти дни случались тяжелые часы. Для того чтобы не упасть, думала о Петропавловской крепости, о Шлиссельбурге, о декабристах, народовольцах, о всех российских революционерах, никогда не проходивших мимо тюрьмы. Думала и о том, что во всем мире есть тюрьмы — и всюду есть арестованные и отбывающие — и что сейчас между мною и негром в Канзасе, между мною и обитателями парижской Сантэ[256] — нити, паутинки-волоконца, из которых ткутся ковры человеческих жизней.

13 декабря, четверг

Моя Госпожа Жизнь — не царица, не зверь, не святая и не чудовище. Это просто веселая негодяйка и отъявленная мошенница. Ее специальность — мелкие кражи, крупные подлоги и большие преступления. Последние останутся нераскрытыми — и я сделаю вид, что их не замечаю (а если и замечаю, то, во всяком случае, не знаю, что они называются так страшно). Моя Госпожа Жизнь с удовольствием таскает меня по Театрам Ужасов и любого Шекспира окунает в мерзости гротеска и буффонады. Может быть, все это так и нужно.

Мне не хочется даже знать.

Никогда еще не было такого острого желания сделать прощальный реверанс моей Госпоже Жизни и настойчиво постучать в другие двери, за которыми живет Великое Ничего.

А ведь, собственно говоря, ничего не случилось дурного: все так хорошо, как давно не было. Я хорошо зарабатываю. Я одеваюсь. Я слежу за прической, маникюром и духами. Я читаю интересные книги. По радио я слушаю Бандровскую и божественную Нинон Валлен. Управдомы выехали, и вместо них живет милый еврейский юноша с собственным телефоном. Эдик здоров. Мама тоже. Отец тоже (не пишу ему, ничего не посылаю — я боюсь: за него взыскивается с брата, а не с меня. И я — не смею). Все очень хорошо... tout est bien — tout est très bien[257]. Но... Иногда мне хочется выть — безотрадно, долго, жалобно и безнадежно.

Вероятно, потому, что я только солдат — и ничем другим быть не умею. И когда я стараюсь убедить себя, что я — нечто другое, получается забавная нелепость, гиньольный гротеск.

Солдат, который пишет лирические стихи, любит Равеля и Дебюсси и мечтает о зеленом луче на Цейлоне[258]!

Какой смешной солдат!

Какой глупый солдат!

И если его прогонят сквозь строй — так ему и надо: он это заслужил.

Могла бы теперь с совершенным спокойствием и совершенно безжалостно сжечь и уничтожить все то, что казалось ценнейшим и прекраснейшим: все свои тетради, все записи. Все рассказы, все наброски, все стихи, всю материализацию безумного бегства от себя — в вымысел, в искусство, в сон.

Потуги, потуги, стремления, достигания. Во имя чего?

Если бы не мама — радостно учинила бы такое аутодафе. И в радости была бы ненависть к себе.

...Запомнить мудрость одну:
Не идти раньше срока ко дну.
А если срок уже пришел?
Вот тогда это действительно неприятно.

Не любовь управляет миром, а ненависть. А ей ревностно помогает пошлость. Если ненависть свободна от пошлости, она — как любовь.

Не полюбить ли мне ненависть, которая «как любовь»?

Мудреница я. Какая наверченная фантастическая жизнь при всей ее кажущейся статичности! Какая потрясающая разрушительная динамика!

Как жалко, что опаздывает мировая революция! Что веселый огонь Октября медлит пройтись по трупу Европы! Что веселые солдаты Красной гвардии не ночуют в Потсдаме! Что веселые пролетарии Парижа не крошат витрины на Rue de la Paix[259] и не закрывают собора!

Как жалко, что, опаздывая всюду и всегда, я опоздаю и там!

Неужели обыватель бессмертен? Неужели, перерождаясь и мимикрируя, он побеждает даже революции?

О, обыватель, заводящий патефоны и детей! О, обыватель, покупающий новое пальто и новую женщину! О, обыватель, молящийся Христу и оплевывающий его на каждом шагу своей жизни! О, обыватель, умрешь ли ты когда-нибудь?

Обыватель с партийным билетом в кармане — какая страшная издевка над революцией!

Я не понимаю, почему его не расстреливают. Ведь он — опаснее контрреволюции, к которой приложимы все оттенки статьи 58-й У.К. Неужели об этом никогда не заговорит Политбюро?

И все-таки:

Если я хороший солдат — я выдержу.

Если я плохой солдат — я не выдержу.

Вопрос, оказывается, очень прост: или — или. И никаких других выходов нет. Или — или.

16 декабря, понедельник

Имела глупость предыдущую запись прочесть маме. Конечно, ничего не поняла (да и кто же может понять?), конечно, расстроилась и огорчилась. Сказала:

— Ты должна просить прощения у Жизни. Она у нас так хороша, а ты еще называешь ее так ужасно!

Каждый раз, когда били наши большие столовые часы, мама укоризненно взглядывала на меня.

— Видишь, часы бьют! — говорила. — Как хорошо! Мы все вместе, у нас благополучно. А ты еще говоришь — «негодяйка»! Сейчас же проси у нее прощения! Жизнь — прекрасна.

Если бы в маме было больше физической молодости, она бы стала парашютисткой, стахановкой, орденоносцем — еще кем-нибудь! Ее все интересует, она на все откликается. Может быть, в первый раз в жизни она теперь живет — после своего прекрасного детства и чудесной прекрасной юности, когда еще была жива бабушка. Если бы условия столкнули ее раньше с подпольной партийной работой или — после революции, в первые годы — с настоящими людьми женского революционного движения, она бы, вероятно, была членом партии, и очень хорошим. Но ведь проснулась и встала мама только после ухода от нас отца в 1925 году. Испуганная грядущим, оскорбленная, замученная, она все-таки сразу же влюбилась в свою свободу и в свободу семьи — и стала веселой и общительной, как теперь, несмотря на очень тяжелые для нас годы большой материальной нужды. Но только в последние годы начала проявляться в ней все больше и больше эта радостная бодрость, этот неунывающий оптимизм, эта жажда внешних впечатлений (улица, газета, радио; люди, конечно, исключены; людей, окружающих меня, она не терпит). Недаром один мой милый приятель, не понимая ее, но поражаясь ей, называл ее:

— Madame la Komsomol!

Бедная мама! Какие в ней вулканы деятельности, творчества, работы! И как все это было забито, запущено, угнетено ее прежней жизнью, когда она была несчастливой и бессловесной рабыней, жившей в золотой клетке. И золотой клетке, и сопутствующим ей аксессуарам все завидовали. А мама завидовала каждой свободной женщине — конторской служащей, учительни-

це, продавщице в магазине — всем, кто зарабатывал самостоятельно, жил бедно, но весело, потому что **на свое**. Как странно: мама до сих пор считает, что все богатство отца было **его** богатством и ни в какой мере не имело отношения к ней. Она права. Я тоже так думаю.

Вчера вечером — неожиданная Марыля с мужем «проездом из Кисловодска в Полярное». Пополнела, хорошо одета, такая же золотистая и жеманная, идеальная фигура Венеры с круглой твердой грудью и соблазнительными бедрами. Муж — настоящий, «законный», венчанный по-церковному (очень забавно: в прошлом году при моем участии состоялся брак у Св. Екатерины при свидетелях-поляках, ее родственниках и членах партии); сын от первого мужа, тоже настоящего, но не венчанного, а загсовского; падчерица 12 лет; сотни родственных связей; в прошлом — серия любовников, известных и не известных мне; в прошлом — анархическая богемность и грубоватое, но неглупое остроумие; в прошлом ссылка в Узбекистан; в настоящем: работа на оборонном строительстве на Севере, контракт на 2 года, перспективы громадных «выходных» средств — никакой анархии, никакой богемности: величавость советско-буржуазной добродетели, стремление к просперити, нужные люди, нужные связи, новая шуба, новые платья. Фамилия мужа — Ноздрачев: он похож на местечкового еврея, скверно говорит по-русски, не интеллигент с видом интеллигента (очки!), до сих пор потрясен образованием жены (университет! профессор Боричевский! и разбирается в винах! и танцует! и всякие стихи! и знакомства в «бывших» кругах!) и истерически боится Советской власти. Кто он — не знаю, по его словам — самый обыкновенный советский гражданин из категории «служащий», путешествующий по всяческим городам и весям и почему-то не оседающий на месте. Что же — вероятно, бывает и такое. Может быть, у него был марксистски невыдержанный папаша? Может быть. Бытовая неуютность такого папаши могла выражаться, по-моему, только в том, что он мог быть владельцем иллюзиона в какой-нибудь Виннице или содержателем публичного дома в прифронтовой полосе в 1914 году. Это все люди темного города.

С Марылей — около двух часов. Скучно так, что даже побледнела. Мама и Эдик не выходят, шипят, никого не хотят видеть: терпеть не могут Марылю. Марыля рассказывает без умолку — имена, имена, имена (какое мне до них дело, я же никого не знаю!) — служба, служебные сплетни; семья — семейные сплетни; друзья — сплетни о друзьях.

Все — чужое. Сижу с ними и мучаюсь.

Quousque tandem[260].А ведь когда-то она меня забавляла — и с ней было весело — и я печалилась ее печалями и горевала над ее горестями. И удивлялась — как можно так жить? Ведь споткнется, упадет, сгибнет! Ну, что ж — оказывается, все хорошо: спотыкалась и падала часто, но не сгибла — заняла «положение», о котором мечтала всю жизнь («честный муж и честный ребенок»). Впрочем, может быть, и сгибла, родив новую Марылю, которая существует теперь и которую я не знаю.

Как хорошо, что она живет в Ленинграде!

Рылеев восклицал:

Ах, где те острова,
Где растет трын-трава,
Братцы?[261]

А я, по-моему, нашла. Если не острова, то волшебную трын-траву, во всяком случае.

И почему мне так трудно верить? Почему я не могу верить — с простотой, с искренностью, с радостью, хотя бы по одному тому, что верить — приятно? Недаром я больше всего завидую тем людям, которые обладают спасительным элементом веры — во что бы то ни стало.

Как трудно все-таки всю жизнь играть, играть, играть...

Хорошо вечером подойти к пианино, открыть крышку и, заиграв подслушанную где-то песенку, спеть вполголоса, сдвинув папиросу в уголок рта:

Sais que tu me mentiras
Mais j'aime ta voix[262].

Песенка хорошая — песенка настоящей женственности, не той, которая говорит:

Je me sens dans tes bras si petite[263], а той, которая все знает, все понимает, все чувствует, той, которая смертельно устала, которой все равно, которая не видит особой разницы между временным наркозом любовника или кокаина и вечным наркозом Великого Ничего.

Бедные женщины! Как каждой из них хочется любви. И как больше не хочется любви мне.

Я так устала жить.

Usque ad mortem[264].

Все это от разрушающейся нервной системы. Стоит познакомиться с приятным невропатологом и наивно пойти навстречу психоанализу. Какой же будет великолепный материал для забавы!

Maya, Maya. Maya...

Я была бы очень рада, если бы теперь вдруг приехал Николенька. Мне не с кем поговорить.

На днях Михаил Михайлович, которого я не видела очень давно. Выцвел, обесцветился, вылинял. Скучно и с ним. А в свое время умел вызывать и смех, и заинтересованность.

Как жалко, что на свете нет чудес! Хотя бы одно — самое маленькое, самое скромное, самое дешевое.

29 декабря, dimanche[265]

Дома. Одиночество. Депрессия. Воспаление зубного нерва. Чтение Максима Горького, с которым неожиданно хорошо.

Много молчу с моими, это их пугает, а мне трудно, трудно. И с каждым днем все труднее. Не с ними трудно (они — единственные, кого я люблю по-настоящему) — с собой трудно.

С чужими — многословие шутки и легко веселящегося пессимизма, в котором нет ничего пессимистического.

Снега мало. Хорошо синеют окна в 4 часа дня.

Большое одиночество — настоящее.

Елка. Рождество. Именины мамы. Всякие вкусности. Люди, которые не нужны.

Как много пустот в мире.

И как много пустот во мне.

Это — не скука.

Это — собранность, напряжение, как перед прыжком, который, может быть, может оказаться смертельным.

1936 год

Январь, 10

Еще один год. А сколько их еще осталось впереди? А будет ли хоть когда-нибудь такая встреча, которую нельзя назвать даже рубежом, а только золотой нитью от неиссякаемой радости? По-видимому, нет.

Вероятно, это то, что не дано мне.

Дано же мне вообще много.

Очень тяжелое состояние эти дни: и тело и дух в немощи, в отчаянии, в предельной тоске.

Все — не так.

Может быть, все — не то.

(От этого страшно. Слепая царевна.)

Часто думаю о Николеньке — хорошо и печально. Знаю теперь, что любил меня, и неистовой любовью, в которой и взлеты, и падения, и страсть (до ненависти). Самое великое, однако, то, что в любви его была нежность. Как он умел со мною говорить! Вот мог бы приехать. Встретила бы тепло и бесстрастно. О прошлом вспомнила бы так, как о прекрасной книге, прочитанной когда-то, найти которую опять нельзя, потому что название ее не то забыто, не то потеряно. В этом году — в марте — десятилетие со дня нашей первой второй встречи [так!]. Если бы я за него вышла тогда замуж, вся моя жизнь пошла бы по-другому — и в ней не было бы *ни одного* элемента моего сегодняшнего дня.

17 января, пятница

Снег. Чудесные голубые и синие сумерки, короткие, легкие, убегающие в ночь.

Вчера ехала в траме с Васильевского, смотрела на эти удивительные сумерки зимнего петербургского дня — и в душе, вместо тишайшей радости покоя, замирения, сна, вставали жестокие приступы бунта, злобы, проклятия.

Все не так, не так, не так.

Повторяла свои стихи, которые люблю пока еще не превзойденной любовью:

А в какой-то близкий снежный вечер,
В свете уличного фонаря,
Когда зябко вздрагивают плечи
И мертва карминная заря, —
Ты поймешь величие предела,
За которым больше нет пути,
Потому что все переболело,
Потому что некуда идти.

Когда-то писала: «Прийти к Вам не теперь, когда тяжелы душные полдни июля, а позже, зимой — в голубые сумерки — в снежинках, кружащихся в свете фонаря, — в холоде зеленовато-красной зари — и войти в мучительный круг зеленой настольной лампы, где Ваш стол, Ваши бумаги, Ваша медлительная и спокойная рука — и сказать, как всегда: “Это я — привет Вам!” — и знать, что через два часа из круга зеленой лампы надо уйти вновь — в вечер, выросший из голубых сумерек, в ночь, в снег, кружащийся легко и бесшумно в свете уличных фонарей».

Дала бы очень много, чтобы знать: что думают обо мне черные глаза. Portraits et Voyages Imaginaires[266].

Раздражительность и злобность небывалые. Создаю моим — единственным, кого люблю, — гнетущую домашнюю атмосферу, заставляющую их вспомнить с горечью отца.

— Проклятая наследственность! — говорит мама.

Как остро и жутко чувствую в себе временами кровь отца: холодная злоба хищника и беспощадный, разрушительный цинизм. А кроме того, тайная страсть к мучительству: бескровное палачество, более страшное, чем то, за которое платят деньги, как за любую профессию.

Постоянные сердцебиения, страхи, тоска, желчность, культ ледяного гнева. Эндокардит.

Сегодня иду на день рождения к Басовой. Буду пить водку и болтать острый и жестокий вздор, как всегда с нею. Не люблю ее, но мне с ней бывает хорошо и весело. А сейчас мне так нужно веселье, пустяки, балаганчики, кабацкая музыка, кабацкие песенки.

Был бы жив Бюрже — и будь это другие годы, — сидела бы с ним до ночи в «Дарьялах»[267], и за шашлыком, за глинтвейном говорили бы патетические вещи о душе, о человеческой душе, «которая в синяках», которой больно, которой нет места во всем мире.

Вообще же, все хорошо. Земля вертится — и этого достаточно.

19.1. — dimanche

Le sang du Christ est sur nous— il peut être rédempteur, il peut être accusateur.

...accepterons nous le don magnifique de la tendresse divine et de ses exigences? Tout amour est exigeant[268].

Никогда не подавайте милостыни любви.

Я всю жизнь подавала такую милостыню — и я знаю: она оскорбительна, как удар хлыста.

Не подавайте милостыни любви — она как преступление, как убийство сладким ядом.

Январь: холодный, жесткий, светлый месяц.

Январь — время расплат.

Январь.

Ну, что ж! Пусть.

Сегодня внутри тихо. Не раздражает даже мягкий и приятный свитер, который почему-то пахнет чужими духами и чужой жизнью.

Страшная вещь — память.

Такая память, когда вдруг ясно и четко всплывает рисунок давно, казалось бы, забытых лиловых обоев, складки сползшего одеяла, мозаика разбитого хрусталя на паркете, старинный портрет чудеснейшей девушки с обнаженной грудью, девушки, которая спит, которая ничего не знает и — главное — которой нечего помнить.

И также — в памяти — заснеженные улицы, синие рассветы, колокольня на фарфоровом небе.

И ужас — безграничный.

24 января. Пятница

Ростепель. Лужи, скользина, рыжий от песка снег. Зима в этом году легкая — сплошной март. Очень мало выхожу. Почти ничего не делаю путного. Овладеваю собою, убеждая, что все очень хорошо. Эдик болен — дома

третий день — правосторонний плеврит. Когда Т° достигала 39,6°, я чувствовала себя мудрой, холодной, неуязвимой, знающей, что делать. Медленно и деловито двигалась, умно выбирала лекарства, спокойно говорила о том, о чем ему хотелось говорить. А внутри — вызов, обездоленность, беспомощность, одиночество.

— Отврати от меня эту чашу. Избавь меня от нее. Если мое возмездие — в нем, моя кара — в нем, мой грех — на нем, не делай его искупительной жертвой, не делай его сосудом мщения, отврати от меня эту чашу.

В деловом отношении продолжается то же затишье, которое необходимо разбить. Нужен гром, нужна молния, нужен исковерканный и поваленный друидический дуб[269]. Часовой смотрит и ждет. Часовой — это я, даже такая.

Ни театров, ни кино, ни концертов. Почти полное безлюдье. Почти идеальное внешнее (а может, и внутреннее) одиночество, с которым и трудно и хорошо.

Как я жду письма от Jeanne! И как этого письма все нет и нет. Почему, о, Господи? Если бы я знала, что она, моя черноглазая и забытая подружка, просто умерла, мне было бы гораздо легче.

Все это — символические круги.

Каким захватывающе интересным, каким потрясающим мог бы быть мой дневник, если бы я могла и умела писать обнаженно правдивыми словами о правдивых людях и событиях моей жизни.

Но я этого и не могу, и не умею.

Поэтому: осколки, отражения, извращения, кривое зеркало, непроявленные негативы, египетские иероглифы, балаганчики — voyages imaginaires! Но все-таки когда-нибудь в советскую литературу я войду. Мне есть что сказать.

Февраль 2. Dimanche

Эдик еще дома, но уже поправляется. Т° благополучные. Тубдиспансер относится к нам изумительно. Во мне живет большая и растроганная благодарность д-ру Зингер. Она делает много и для брата, и для меня. А у самой третья стадия и кровохарканье. И громадная работа.

Метель. Мотыльки снега. Выходила. На Солдатском — встреча с Егорушкой. Такой же, как 20 лет назад, рыжий и красноносый. Только раньше стоял в ливрее с позументами, а теперь в белом фартуке подметает улицу, сгребая снег в большие кучи. Дом тот же. Улица та же. Его путь — от швейцара до дворника. Зато старшая дочка, которую я видела младенцем, будет чертежником-конструктором. И это — прекрасно. И в этом незначительном кусочке Егорушкиной жизни громадные оправдания. А не будь очищающего пламени революции, Егорушкина дочка была бы маленькой портнихой или горничной. В лучшем случае мой отец бы устроил ее [к] себе в правление конторщицей, если бы у нее оказался хороший почерк и она случайно оказалась бы грамотной.

Радостно, но как-то особо глубоко смотрел Егорушка на меня и на маму. Я болтала веселые вещи и знала — очень у него много вопросов к нам об отце, о жизни, обо всем. Но не спросил ничего.

Конец января — в жестокости неожиданных морозов. В моей комнате белая сирень и белые альпийские фиалки, полученные мною в день 26 января.

Белые цветы — и я. Очень странно.

Несколько дней — прекрасное настроение полетности, света и благодарности за жизнь и встречи жизни. Сегодня уже снова сломалась — снова в напряженной раздражительности, в гневной беспомощности, в тоске.

Исправление и переписка «Месяцев»[270]. Хорошо.

Чтение: «Барсуки» Леонова[271] (есть прекрасные места), Горький, англичане, французы.

По-видимому, скоро заболею. Зябко и чуждо чувствую себя, как всегда перед болезнью.

Урок французского с прекрасной евреечкой, у которой приятное и нежное личико изысканного рисунка — что-то от старинной восточной миниатюры. Красивее ее, но в том же типе моя Шахерезада.

Что же еще? Как будто все.

Затосковала очень. Как птица без воли.

1 марта, воскресенье

В городе оттепель и жестокая эпидемия гриппа. Сегодня хоронили академика Павлова[272]. По радио я слышала, как над могилой на Волковом клад-

бище были сказаны три речи (хорошо говорил Орбели из ВИЭМа[273]), раздались три залпа. И сразу же траурный марш перешел в Интернационал. Это произвело на меня большое впечатление, хотя слышу я это не в первый раз. Смерти нет. Да, может быть, и так: смерти нет.

Эдик после плеврита еще в отпуску. Нынче снова пошел в диспансер. T° нормальная. Возможно, еще посидит дома. К службе ему возвращаться на этот раз не хочется — первый раз в жизни, кажется. Ему 30 лет. А он — просто большой мальчик. В нем вообще так много детского, светлого, высокого и чистого. И легкомыслие, и беспечность в нем детские. Он не понимает цены денег — он при своем маленьком жалованье может делать нелепые и бессмысленные траты — он искренне ужасается, когда случайно узнает, что расходы на стол равны, скажем, 30 рублям в день. Он — фантастический теоретик, никак и ничем не связанный с практикой «жизни дольной»[274]. Вся его практическая энергия и талантливая удачливость ограничены деловым кругом служебных обязанностей. Там он настоящий и ценный практик. В жизни же — «в жизни вообще» — это утопический фантазер с миллионами отвлеченных и каких-то угловатых, неудобных теорий. Неприязнь к людям продолжается. По-старому нигде не бывает, кроме (изредка) дома Дмитриенко. Как и полагается, я в дневнике всегда пишу плохо и не то, что надо. Кажется, я так нигде и не записала, что сам Дмитриенко, ромбист[275] и троекратный (если не больше) орденоносец, уже второй год страшно и безнадежно болен. Вначале было воспаление уха, потом стрептококковая ангина, потом стрептококк изгоняли из тела целым рядом операций, потом никак не могли справиться со странными опухолями желез (все это — в Военно-медицинской, все это — всесоюзные и мировые имена с Воячеком во главе!), а потом (недавно) вдруг оказалось, что это просто рак гортани, уха и, возможно, мозга, что все безнадежно, что, конечно, можно испробовать метод радиевых игол, что напрасно так допустили... Я не видела Дмитриенко с осени 1934 года, когда он последний раз хорошо пил со мной у них дома. Говорили еще о том, что сделаем с ним изумительный сценарий из эпохи Гражданской войны. Был пьян и хорошо и интересно рассказывал. Я вообще люблю военные воспоминания — и люблю военных людей (тяга к дисциплине, к организованности, которых у меня нет, и к романтической и жестокой героике, к которой мне дано прикоснуться лишь краем). Сам он — сын священника с Кубани; жена его тоже, кажется, поповна. Старый член партии. От родных отрекся. Работал в Народной армии Монголии. Крепкий, коренастый, как низкорослый дуб. Никогда ничем не болел, «только раны

и проклятый тиф». Их девочка Лидочка, которой скоро 7 лет, моя нежнейшая приятельница. Воспитанная арелигиозно и охраняемая от всяких возможностей столкновения с вопросами религии или религиозного быта, она пару лет тому назад завела со мной такой разговор:

— У вас скоро будет Рождество?

Я с отчаянием посмотрела на ее родственников и руководителей.

— Как тебе сказать, — вяло ответила я, — я не знаю, право. А почему тебе так кажется?

— Да уж я знаю. И Христос у вас родится, и елка будет.

И, вздохнув, пояснила:

— Елка — это, вероятно, очень интересно. А у нас елки не будет. И Христос у нас не родится. У нас по приказу ему запрещено родиться.

А этой зимой, когда впервые в Союзе официально — почти декретным порядком — елки были не только разрешены, но и предписаны[276], Лидочка радостно об этом сообщила мне по телефону и собиралась писать благодарственное письмо Сталину: «Спасибо за то, что советские дети в советской стране первый раз в жизни получили елку, а то все думали, что мы бедные-бедные и что нам не на что сделать елку, а мы богатые и счастливые». Письмо, конечно, осталось в проекте.

Сейчас от девочки скрывают, что скоропостижно умерла и вчера похоронена ее бабушка, тетка Лидии Федоровны, очень милая и интеллигентная старушка. Девочка думает, что бабушку увезли в больницу. Туда в действительности было перевезено уже мертвое тело. Девочка притихла, смотрит на всех подозрительно и лукаво, прислушивается к шепоту матери, которая должна при ней улыбаться и быть веселой, как и при больном муже, от которого смерть старушки скрывается тоже. А для Лидии Федоровны старушка была самым близким и самым любимым человеком — роднее и ближе мужа.

Не люблю и не умею навещать больных. Мне с ними неловко, как с очень маленькими детьми, когда не знаешь, что им сказать и как их коснуться, чтобы не вызвать боль или слезы.

В тот же день, 11 часов веч[ера]

Сколько больных теперь — у Ксении грипп, ангина, снова нарыв в горле, Т 40°. У Эмилии[277] (Господи, какая с ней неистовая скука) гриппозный артрит. У Ольги Константиновны Блумберг — грипп. Все больны. Мне некуда идти. Мне вообще некуда ходить. Вдруг оказалось, что у меня много

знакомых, но они все скучные и ненужные, вдруг оказалось, что у меня мало знакомых, у кого мне приятно бывать.

Очень я одинока все-таки. Несмотря ни на что.

Выдали новые паспорта. На этот раз тихо — без объяснений, без извинений за то, что отец был именно такой, а не другой.

Чтение разное и главным образом дурацкое или тяжелое. Давно не читала такой книги, от которой пришли бы свет и тихая сила. Есть книги, приносящие силу — и большую! — но силу ненависти, проклятия, борьбы и победы. А мне бы сейчас нужна тихая сила, тихая, тихая, как летний вечер, как ласковая музыка, как бесплотная ласка.

Нервничаю все время. Временами хочу плакать — но не плачу. Нет, нет, еще не время.

Вечерами иногда играю в карты с нашим жильцом и его родственником: проигрываю легко, бездумно и жестко. По-видимому, карты моя единственная подлинная страсть. Умно и холодно регулирую ее течение. Знаю — это можно, а это нельзя. Следовательно, это уже не страсть. Скучно. Всегда с укрощением, всегда рассудочно, всегда мудрено.

По-моему, собою я была только в детстве — и то в очень раннем. А потом потерялась где-то.

Так и пошло.

И скучно, скучно, скучно.

Эдик получил бюллетень до 6.III. Рада за него — отдохнет. У него сейчас «бешенство перемен» — все меняет в моей комнате, перевешивает картины, переставляет мебель. То же собирается сделать и со столовой. Пусть делает, что хочет. Мне совершенно все равно. Часто таких перемен я даже не замечаю, мне на них указывают и огорчаются моим «неприсутственным» видом. А ведь мне верно все равно.

Скучно. И, кажется, умерла даже мечта — о дальнем городе, о кораблях, новых землях, о новых созвездиях. И там — тоже: и скучно, и все равно.

12 марта, четверг

На днях умер Михаил Кузмин. Тонкий и изысканный поэт из малочисленного и строгого клана миниатюристов и ювелиров. Смерть его прошла незамеченной: он пережил сам себя. Его теперь не читают и не чувствуют, кроме нескольких вневременных безумцев, вроде меня. А большинство даже

не знает, что был такой поэт, что он писал необыкновенные и обворожительные вещи и что простое имя — Михаил Алексеевич Кузьмин — в газетном объявлении относится именно к нему. Так и было напечатано «Кузьмин» с мягким знаком[278]. Посмертная ошибка в транскрипции имени говорит, по-моему, сама за себя.

Кузмина я видела и слышала в эпоху Дома литераторов[279] — потом изредка встречала на улице этого маленького человека с трехцветной головой и громадными глазами сомнамбулы и мученика. Не знала его лично, но всегда радовалась, что все еще живет — пусть даже не пишет больше изумительных «Александрийских песен»[280].

А теперь — умер. Огорчилась. Вот еще один незнакомый друг ушел в небытие!

«Ах, покидаю я Александрию...»[281]

10-го, вместо назначенного диспансером визита к невропатологу (упала недавно — врач опасается commotio[282]), была на юбилейном заседании в Географическом обществе: его превосходительство Юлий Михайлович Шокальский праздновал 80-летие со дня рождения и 50-летие научной деятельности. Трогательная встреча с милейшим стариком, который всегда старинно и обаятельно ухаживает за мною:

— Это моя любимая красавица!

Окружающая его молодежь и немолодежь удивляется и улыбается, а он очень доволен. Во время Гидрологической конференции он был председателем моей секции — и с тех пор мы с ним в стадии amitié amoureuse[283]. Длительное заседание, бездна речей, которые, по механической привычке, мысленно перевожу на французский язык, и неожиданно смертельно устаю. ВЦИК и ЦУ Гидрометеорологической службы преподносят Шокальскому по автомобилю. Недоговоренность учреждений вызывает смех в зале. От Ленсовета представителей не было — только телеграммы. Речи умеренно аполитичные. Гигантский президиум. Очень теплая и сердечная атмосфера. В публике множество музейных старушек и каким-то чудом сохранившихся анахронических старичков. Сидела между Кисой и Сергеем Павловичем Плотниковым, пом. ученого секретаря нашего института. Видела Ляхницкого с женой, Маркова (в партии его, к счастью, восстановили), С.В. Воскресенского, А.В. Вознесенского, А.Г. Грума-Гржимайло (ужасно выглядит — гниль!), Д.И. Малышева. С кем-то раскланивалась еще. Напрасно искала моего любимца, злого и умнейшего проф. Тимонова. Настроение было при-

поднятое, нервное, радостное, потому что хотелось быть радостной. Думала: «Как легко, как просто быть среди множества людей! Как легко никого не любить, как просто никого не помнить. Как чудесно забывать, что тебя кто-то любит, что в этой любви — несказанная мука, о которой даже думать не хочется.

О, целительное влияние коллектива!

А на тех, кто обречен настоящей любви, влияние это не действует. Те и в толпе, разделенные с любимым, чувствуют себя вдвоем.

Как хорошо — или как плохо! — что это — не я».

Сердцебиения непрестанные. Предобморочная слабость. Разные боли по всему телу. Тянет только лежать.

А вот хожу, двигаюсь, смеюсь, болтаю, езжу есть мороженое к Тотвенам, изготовленное по способу персидской княжны Люсик-Ханум.

Хочется тишины, звучной и полноценной. Музыки голоса, музыки стихов.

Les Rois ont leur mystère...[284]

Вспомнила: десять лет тому назад ко мне пришел Николенька. Кажется, мы были в театре. Десять лет — Господи!

И другая историческая дата: 19 лет свержения самодержавия. Благословенный день, когда кончилась материальная радость моей жизни и началась другая — настоящая — жизнь.

14 mars, samedi[285]

O, rossignol, apprends du papillon comment il faut aimer: brûler d'amour...
Quelle inscription faut-il graver sur ton tombeau?
N'attache pas ton coeur à ce qui est passager...
Saadi
Funérailles[286].

Март, 26, четверг

У Томаса Манна в его интереснейшем произведении «Der Zauberberg» есть очень простые слова: «...что надорвано — то разрушено, что разменяно — то истрачено...»[287]

Так, должно быть, и со мною: некая бытность в plusquamperfektum[288]. Наисовершеннейшая форма прошедшего, вопреки всей грамматической логике, длящаяся в настоящем, причем настоящее это весьма сомнительно и носит в себе некоторые признаки значительной условности.

Как все-таки сложна жизнь — и как невероятно сложны призраки человеческие. И чем меньше призрака в человеке, чем он человечнее, проще и примитивнее, тем сложнее мне, мне! И в сложности этой много ненужных и болезненных надстроек.

Удивительная обреченность — во всем и всегда чувствовать неизбежный привкус горечи. Даже в сладчайшей сладости, даже в бледном золоте девственных плодов, даже в самом прозрачном жертвенном вине, даже в чистоте ребенка.

В конечном счете очень проста и обыкновенна психология богатого человека, делающего упреки в расточительности бедному человеку. В особенности если богатый бедному помогает — и бедный богатому должен чувствовать себя обязанным.

Давая милостыню, нельзя говорить бедному:

— На половину ты купишь себе хлеба, на половину другой половины — гороху, а вторую половину половины оставишь на черный день.

Ведь бедный необязательно лишен воображения и вкуса. Он может обидеться и возразить:

— Нет, нет, господин мой, черный день длится, не проходя, и бессмысленно было бы заботиться о нем. О хлебе я мало думаю, а горох не люблю. Если тебе все равно, как я поступлю с твоими деньгами, то знай, что половину их я проем и пропью в один час со своими товарищами, такими же нищими, как я, а вторую половину потрачу на розы, к которым у меня с детства нежность, или на подарок черноглазой девушке, имени которой я не знаю и которая, не зная меня, даже не обратит внимания на мой скромный дар и, не задумываясь, отдаст его кому-нибудь из своих подружек или сестре.

И богатый возмутится в свою очередь и скажет бедному:

— Ты сумасшедший, ты болтун, ты лжец. Но помни: ты у меня ничего не получишь до нового месяца.

А бедному будет грустно после ухода богатого: он пожалеет богатого, не понимающего ничего в прелести жизни.

Ибо жизнь коротка и прекрасна в своей нелепой и мудрой тленности.

Ибо жизнь — что бы люди ни говорили — дается только один раз. И умирая, человек умирает навсегда.

27 марта

Голубая бездна.

30 марта. Lundi

Перевод на английский о рыбах Берингова и Чукотского морей. Трудно настолько, что почтительно удивляюсь своему универсализму и начинаю относиться к себе с умилением.

Когда работа — очень хорошо. Сейчас, например, едва ли меня интересует что-либо больше, чем рыбы вышеупомянутых морей и английские наименования затылочных бугров, грудных плавников, усиков и жаберных тычинок.

Кроме этого — чтение глупых французских романов о великосветских прекрасных людях и о их не менее прекрасной и возвышенной любви.

Удивительно много и охотно французы пишут о любви. В жизни, вероятно, в обычной человеческой жизни, они к любви относятся, как к чековой книжке, к аперитиву или газетному фельетону.

3 апреля, пятница

Похороны милейшего «плюшевого» профессора Аркадия Викторовича Вознесенского, с которым — как и со всеми стариками, впрочем, — у меня были особо нежные и почтительно ласковые отношения. Умер скоропостижно: кровоизлияние в мозг. Вынос был из Института: солнечный день, апрельский холодок, синее небо, множество цветов, люди, люди, множество людей. Разговоры, встречи и, как обычно на похоронах, посторонние разговоры, неуместные улыбки, неуместные взгляды. А мне грустно, грустно. Страшно, когда уходят люди его поколения, — острее тогда чувствую свое неизбежно увеличивающееся одиночество.

Мама, конечно, смеется:

— Там, где старцы, там и ты. Toujours avec de vieilles pourritures![289]

Говорит:

— Ненавижу похороны, обряды, слезы, скучные физиономии! Когда умру, не смейте приходить на мои похороны и на мою могилу. Танцуйте и пойте, когда я умру. Ведь уходит только противный, гниющий заживо футляр.

Возвращаясь домой в трамвае, смотрела на молодое небо, на веселые улицы, заполненные веселым народом. Опять весна.

А вас я больше не увижу, черные глаза.

14 мая, четверг

28 апреля похоронили Дмитриенко[290]. Вынос был из Толмачевской Академии — изысканная нарядность командиров всех рядов оружия, бездна цветов, последний почетный караул, в котором командующий ЛВО[291] Шапошников и начальник Академии... Ромбы, звезды, новая форма, золото. А в гробу — ужасное лицо, распухшее и обросшее щетиной. С оскаленными сухими зубами: лицо замученного под пыткой. Маленькая Лидочка стоит у окна, спиной к гробу: ей страшно. Личико у нее нахмуренное, сердитое, с мучительно сжатыми бровями. Первая встреча со смертью. В девочке протест и отвращение.

На углу Университетской линии и набережной — из черной тучи за Исаакием — первая в этом году молния и первый гром. На дубовой крышке гроба — синяя кавалерийская фуражка и обнаженная шашка — крест-накрест, принадлежавшая когда-то кн. Туманову[292]. В свое время рассматривала этот великолепный клинок, чуть ржавый, чуть пятнистый.

Под страшным ливнем бросаю кортеж и уезжаю домой. У меня Т 38,4° и очень легкие туфли. Эдик провожает до самой могилы и, мокрый, как мышь, возвращается только в 9 ч. вечера. На кладбище были очень хорошие речи. Маленькая Лидочка плакала от гнева.

Разные встречи с разными людьми. Неутешительные и большей частью пустые. Несколько раз на торжественных скучных приемах у Тотвенов, где все очень обильно, очень богато, очень вкусно и невыносимо допотопно. Доктору 80 лет, у него дама сердца, его третья жена волнуется и «переживает» и ездит изливаться к маме. Старик — примитивный сластолюбец с лицом святого праведника и рождественского дедушки. Он очень любит меня, а я не люблю его жесты. Уговаривает часть лета провести с ним на Сиверской[293]. А мне что-то не хочется.

Также уговаривает часть лета провести в Армении Ашхарбек Калантар, профессор Эриванского университета, археолог и этнограф, ученик Марра и заядлый марровец, с которым я познакомилась в прошлом году на Иранском конгрессе[294] и который сразу же стал моим верным почитателем. С ним мне и трудно и скучно: плохо говорит по-русски, много и нервно смеется,

безнадежно провинциален и церемонен и говорит мне, умирая от смущения, высокие и красивые слова. А мне с этими словами — и с ним — делать нечего. Романтик, лирик, идеалист. Когда с предельным юмором рассказываю ему кусочки из своей жизни, плачет. У него жена и двое детей: Горик и Марикэ. В его портфеле масса интересных снимков. В его голове масса интересных данных о историческом и культурном прошлом Армении. Рассматриваю снимки и слушаю тягучую и сбивчивую речь о волнующих и прекрасных вещах. Передо мной проходят вишаны и менхиры, долмены[295] и скалопись, языческие храмы и христианские церкви. А в Армении — озеро Севан и Гокчи, Эчмиадзин и Алагез[296], виноградники и развалины древних крепостей и храмов. Закрываю глаза. Думаю, вспоминаю годы НЭПа и Летний сад, когда слепнущий и голодающий Филипп Артемьевич восторженно и молодо говорил мне об Армении, когда мы с ним разрабатывали подробные планы нашего фантастического путешествия в Haystan[297].

Нет. Я не поеду в Армению. К влюбленному профессору Калантару, к его детям, к его жене, которые, по его мнению, должны сразу и безнадежно полюбить меня. Армения, по-видимому, останется для меня фантастическим путешествием на остров Цейлон.

Подобралась. Настроение стало ровнее. Спокойнее. Тише. Много иронии и бессильного равнодушия. Может быть, и правда, что все это — инфантильные затеи.

15 мая, пятница

В день моих именин на столе стоят бледно-розовые розы. Если смотреть на них против света, крайние лепестки их прозрачны и почти лучисты.

В день моих именин, вечером, я смотрю с братом ибсеновскую «Нору»[298], и мне скверно и хорошо — минутками. В театре готовность веселого хохота, когда Нора танцует свою тарантеллу, и недоумение моей соседки, когда Нора уходит:

— Вот дура! С чего? Ведь все же кончилось!

18 мая, понедельник

Вне жизни все-таки. Вне той жизни, которой живет моя страна. И вне той жизни, которой живет остальной мир. Очень сильные и очень своеобразные связи с жизнью моей страны. И ежечасное констатирование разрыва и ослаб-

ления связей с жизнью остального мира. Вся психология, литература, искусство, общественные и политические установки остального мира кажутся фантастическим и нелепым театром, если не смотреть на них в бинокль марксизма. Опираясь на диалектику материализма, очень весело, чуть злобно и чуть брезгливо путешествовать по страницам модных журналов и «Revue des Deux Monds»[299], французских повестей и английских романов.

С таким биноклем и с такой палкой я теперь и путешествую и предлагаемые мне пейзажи рассматриваю с другой точки зрения и в другом освещении, нежели их владельцы или творцы.

Не пишу ничего. У меня слишком много времени, поэтому мне некогда и не хочется. И — не нужно.

24 мая, воскресенье

Визиты к зубному врачу. Бесконечные разговоры с его женой о ревности, об изменах, о выслеживании, о супружеских сценах. Ему за 80, ей около 50. Провинившийся супруг робко преподносит оскорбленной супруге букет белых роз. Пятидесятилетняя madame нервно, со слезами говорит о том ужасе, который сопровождает крушение идеала. Восьмидесятилетний идеал нервничает и жалуется мне, что она все выдумывает, что ничего такого нет, что он просто ходит играть в винт, что женщины его вообще больше не интересуют. В это время я осторожно снимаю с его лица золотистый волос и, подержав его на свету, не менее осторожно стряхиваю на пол.

— Хорошо, что это нашла я, — спокойно говорю я.

Он обалдело молчит.

Я внимательно инспектирую его белый халат и снимаю еще два золотистых волоса.

— Хорошо, что это я, — опять громко говорю я и сбрасываю волосы на пол.

Сначала он молчит, а потом разражается хохотом.

— Ах ты, разбойница! — говорит он. — Почему ты не моя жена? Подумай, как бы мы счастливо жили!

— Несомненно, — соглашаюсь я, — как в оперетке!

— А может быть, ты еще выйдешь за меня замуж?

— Может быть.

Он очень доволен и приступает к осмотру моих зубов. Я думаю о разных вещах и, между прочим, о том, что, войдя только что в его кабинет, я встретилась у двери с хорошенькой женщиной с пышными золотистыми волосами и в очень вызывающем декольте.

Доктор Тотвен — редкий экземпляр мужской витальности. Он очень похож на моего отца; он не обладает только его жестокостью и цинизмом. Он — настоящий буржуа, не больше.

Вчера — довольно приятный вечер у Ольги Константиновны Блумберг. Умна, очень своеобразна, неожиданна в своих суждениях и взглядах. В квартире на Васильевском кроме ее матери и младшей сестры живут еще три кошки — и вся квартира свирепо воняет кошками. Все очень старое, и все — и люди и звери — стары тоже, во всех отношениях. Любопытно, что О.К. при всей ее культурности и философском мировоззрении (с оккультными оттенками) не чувствует, не понимает и не любит истории. Не скверный вечер. Со всеми — и с женщинами, и с кошками — я кокетничаю, как и всегда в самом начале всякого знакомства, когда я знаю, что мною интересуются, особо и скрытно. Ночью, во сне, веду интереснейшие диспуты с седобородым неизвестным старцем в белой одежде. Он говорит мне много замечательных вещей. Проснувшись среди ночи, вспоминаю только одно его изречение, которое мне кажется и мудрым, и горьким, и глубоким:

— Недостаточно только найти счастье, нужно еще уметь обращаться с ним.

Впечатление от этой фразы сильное и неприятное.

На днях — Ксения, которой читаю выборки из этой тетради. И потом — сразу же — жалею об этом.

Не нужно отдавать себя — никогда. И главным образом не нужно отдавать себя отдельной личности, какой бы скупой и ограниченной эта отдача ни была и в чем бы она ни выражалась.

Предстоит большой перевод на английский по морской зоологии. И, вероятно, какая-то работа на заводе «Светлана»[300]. Бывший зам. директора Г.Г. Левинсон, толстый и высокий еврей с красивым и жестоким лицом, работает теперь на «Светлане». Вчера звонил. В дни моей службы в Институте мы почти никогда не разговаривали друг с другом.

8 июня, понедельник

Солнечные теплые дни. Выхожу мало: работа — cirripedia thoracica[301] и определитель усопших для Зоологического института Академии наук[302]. Когда ночью, бывает, возвращаюсь от Ксении, от Кисы, от кого-нибудь еще, долго стою на Озерном переулке[303] и смотрю на бледный фарфор золотящихся белоночных небес и вдыхаю откуда-то появляющиеся к ночи запахи трав, деревьев, земли. В эти минуты тянет за город, в поле, к открытому в ночной сад окну. Становится чуть грустно, чуть раздраженно. Потом — проходит; желание абстрагироваться.

Вчера прекрасное письмо от Ник. Не ожидая, ждала долго. Пишет о дематериализации своей любви, пишет, как и всегда, большие и нежные слова, которые так умели волновать меня когда-то. Следы этого волнения остались, пожалуй, до сих пор.

Pour moi, ces choses ne sont pas encore tout à fait mortes[304]. Очень хочу, чтобы приехал. Может быть, так, как никогда раньше — и мозгом и духом. Мне нужно с кем-то поговорить о себе, с кем-то, кто бы хорошо, по-настоящему знал меня, кому я была бы дорога и далека в то же время.

...На встрепанную голову надела сегодня большой зеленый платок, крестилась православным крестом и с нехорошей улыбкой говорила:

— Подайте милостыньку, Христа ради, подайте нищему копеечку.

Смеялись. Мама качала головой.

Со смеющимися и восхищенными глазами, поверив в мою игру, мне подали монетку.

И тогда, бросив игру и платок, в торжествующей издевке над собой и над всем прекрасным и высоким я весело крикнула:

— Ну, вот — мне и заплатили! Je suis payée![305]

В великолепных глазах смех сменился испугом, печалью и порицанием.

— Отдайте монету.

— Нет! О, нет. Я получила то, что просила. Я нищая, я бродяга. Мне подали грош — я просила другого, но мне подали грош. И я счастлива.

Катюша Маслова, сколько вы стоите?

...Большая, большая грусть. Беззлобная и почти нежная. Смотрю на книги, пришедшие ко мне сегодня. Курю тонкий и ароматный табак. За окном — светлая и теплая ночь. Кто-то проходит по двору: на плитах стучат каблучки. Эдик занимается ПВХО[306], мама перемывает чайную посуду, Киргиз спит на столе, жильца, как и всегда, нет дома. Далекие паровозные гудки: Москва —

Ростов, Москва, Севастополь, Сочи. Грусть домашняя — никуда не тянет. Может быть, только в тот тихий дом, где обитают тени и где места мне нет.

25 июня, четверг

Изнурительно хорошая сверкающая погода. В газете пишут, что такая жара — без перерыва, без единого облака, без единого дождя — наблюдалась в Петербурге только в 1743 году. Если эта историчность пика температурной кривой может служить утешением, я считаю себя утешенной.

Сверкающая жара. Другого слова мне не подобрать. Небо, солнце, зелень, улицы. Люди — все нарядное, все южное, все сияющее. Иногда — поздно вечером — выезжаю с братом в Ботанический сад, где безлюдно, тихо и неурбанистично, где постройки Ботанического института[307] кажутся картинками из «Столицы и усадьбы»[308] или иллюстрациями к «Онегину». Давно отцвела сирень. Отцвела и моя Daphne Altaica, в аромат которой я влюбленно поверила в чудесное для меня лето прошлого года (чудесное потому, что в него и в причины, породившие его чудесность, верила тоже влюбленно и безгранично, вообразив, что я переживаю в действительности свои собственные сны и собственные и чужие поэмы).

В этом году, попав в Ботанический сад лишь в июне, я застала лишь последние крохотные звездочки скромной и волнующей Daphne Altaica. И аромат их, сильный и нежный, отдаленно напоминающий запах туберозы, уже нес в себе элементы тления, умирания, обреченности на завтрашнюю гибель. К туберозе примешались запахи церкви в день отпевания: ладан, затхлость камня и легкая сладость разложения.

В Ботаническом сидим с братом и смотрим на небо, на ветки, на ковры зелени и линии дорожек. Прыгают лягушки, и летают жуки. В 11 часов старичок сторож обходит дорожки и равнодушно и устало звонит в колокольчик. Эдик называет это «изгнанием из рая». Входим в голубые и нарядные улицы почти жаркой ночи. В витринах — шелка и консервы, меховые пальто, вина и трикотаж. Пролетаем в такси над призрачной от своей неестественной красоты Невою: все голубое, мглистое, недвижное. Мой город — мой стеклянный город, — который я любила прежде не только духом: привязанность моя к нему жила и в теле, в крови. Помимо всего прочего, к Петербургу у меня была и чувственная любовь. Теперь все это абстрагировано, дематериализовано, этеризовано[309], если можно так сказать. Город перерождается к лучшему и молодеет. Я перерождаюсь к худшему и старею... У нас с

ним физический разрыв, как с любимым некогда человеком, к которому больше не тянет. Остаются воспоминания собственного и неразделенного творчества, ненужные сожаления, напрасные упреки себе и ясное сознание законченности, непреложной завершенности какого-то цикла. По-видимому, все-таки жизнь циклична. Эллипсоидная спираль — из ничего в ничто.

Многого жаль, жаль.

Je vis une vie; peut-être cette vie est grande et belle.

Le sang du Christ est sur nous[310].

Работы много. После cirripedia thoracica и температур японских течений приходят ко мне реки мира. Вчера занималась подготовительной работой и блуждала по географическим картам: в Малой Азии меня интересует река Кизыл-Ирмак, а в Иране — Сефид-руд. В поле зрения попал город Мосул[311]: я долго думала об этом городе и о том, что было бы, если бы параллели всегда оставались далекими, не сближаясь никогда. Потом, отмечая в тетради другие реки, задумалась над Тибром: Нева и Ленинград, Тибр и Рим. Вот еще две параллели: что было бы, если бы параллели сближались, не расходились больше никогда. Блуждая по рекам мира, невесело и недовольно думала о себе.

Сплю с открытыми настежь окнами. Сегодня забыла на окне вазу с моими прекрасными розами, чайными, красными и белыми. И утреннее солнце сожгло все мои прекрасные розы. Доживают свою жизнь только две красные — они наиболее выносливы и наименее любимы мною.

На днях умер Максим Горький[312], и день его похорон был объявлен днем всесоюзного траура. Сколько людей прошло через жизнь этого гениального бродяги и умного и нежного наблюдателя! И как он творчески молчал последние годы, уходя в последних рассказах к дальним, к своим эпохам, которые он чувствовал и понимал и с которыми был дружен. Между ним и действительной жизнью сегодняшнего дня был тоже разрыв. А он был честный. Творчески отображать он мог только пережитое и понятое до конца. Тоже plusquamperfectum, длившийся в настоящем, но перешедший в бессмертное будущее славы и величия.

А во Франции умер Анри де Ренье[313], элегантный старичок с моноклем. Какие разные люди и славы!

Что же еще? От отца — милые письма с заботами о грядущей свободе: куда поехать, где жить. Мечтает о Ленинграде, уверен, что я сделаю все необходимые шаги и возьму его на иждивение. Не могу и не смею. В круг моего Дома впустить его больше нельзя, иначе катастрофа неминуема. А нутром думаю другое: да, да, впустить, смириться, уступить, прощая ему, простить себе и проститься с собою, служа ему, идти только по умным деловым и легким развлекательным колеям.

Не могу, не смею. На мне и со мною — жизни мамы и брата. А я их купила — и искупила. И беречь и сберегать их дано мне, мне, вот такой.

Получаю письма от Анты, от Кэто, от Ашхарбека. Не отвечаю. Любовь к эпистолярному искусству прошла тоже. Как мне нужно все-таки, чтобы любили не только меня, но и мои собственные надстройки (как говорил Боричевский), брачное оперение (как говорил Николь) и декорации (как говорю я сама).

Людей встречаю мало — и все неинтересных.

Настроение ровное и преимущественно молчаливое. Иногда веселое и звонкое, как у молоденькой девочки, которой очень хорошо жить на свете. Тогда умиляюсь себе и хвалю:

— Qualis artifex pereo![314]

Со здоровьем неважно. Боли в левом боку подозрительно плевритного характера. С сердцем чуть легче. Нервная восприимчивость и раздражительность нашли свою точку концентрации: до физической боли страдаю от внешнего шума — крики детей во дворе, автомобили, трамваи, пилка дров, громкие голоса, радио, стуки ремонтов, пение.

От каждого стука, от каждого шума — рана.

А последующий стук срывает с этой раны повязки.

А дальнейший посыпает ее солью.

И так — целыми днями.

Как бы мне хотелось пожить в тишине! Как мне нужна тишина! И опять: с нею — страшно[315].

23 августа, воскресенье

Это время, пожалуй, можно назвать периодом самых больших катастроф в моей жизни.

Крушение жизненных установок — и каких!..

Самая большая, самая сильная и трагическая любовь моей жизни была отдана отцу. Он мне стоил дороже всех и всего — и за него, за мою любовь к нему я платила щедро и всегда высокой ценой. Эта привязанность делала мою личность и ломала ее. Она была невидимым присутствием. Тень отца лежала на мне и на моей жизни — всегда и почти во всем.

А теперь я полетела с моих высот и разбилась.

Я сижу среди осколков своего глинобитного кумира и думаю о том образе отца, который я создала, который я полюбила и которого в действительности и не существовало.

Исчез самый страшный и, вероятно, самый нужный фантом.

Еще раз: я любила человека, которого нет. Еще хуже: которого никогда не было. Еще лучше: который даже понять не сможет своей великой роли перевоплощений.

Осталось: пожилой и неприглядный господин, которого называешь «отец», потому что по какой-то странной случайности он является моим физическим отцом. Совершенно чужой господин, неизвестно зачем живущий в одной квартире со мною. Совершенно посторонний господин, сумбурный, беспокойный, легкомысленный и неинтересный, раздражающий своим присутствием и мешающий жить. Никакой разницы между этим господином и моим отцом нет: они говорят одинаково, одинаково ходят и шутят, у них те же жесты и те же слова. Они оба — одно лицо. Я пытаюсь думать, что их — двое, но это неправда: он один, такой, как всегда, и не изменившийся внутренне ни на йоту. Изменились только мое зрение и мои божественные способности раскраски и творчества. Теперь я не раскрашиваю и не творю: я просто смотрю и вижу — и мне очень больно.

Любовь была отдана напрасно и впустую.

Но любовь отдана была — и она уже стоит в несомненном прошедшем.

Значит: ее больше нет.

Ее нет — и место ее пусто.

А это пустота огромная.

Вроде той, о которой говорит какой-то поэт:

> Et tout de même l'amour y doit faire silence,
> Car la plus faible voix, troublant ce vide immense,
> L'emplirait pour toujours de lamentables cris[316].

Расплату, как всегда, несу я.

Сухость. Злобность. Бессердечие. Раздражительность. Неласковость. Отчужденность. Равнодушный холодок. Разговор сквозь зубы. Тонкие жала и уколы, не вызывающие желательного эффекта. Скука. Зевки. Отсутствие даже любопытства. Повышенная температура и жестокие сердцебиения. Камфара и хинин. Очень много работы. Много денег. Вежливая готовность помощи. И полное молчание в сердце. Такое совершенное, что вызывает даже недоумение.

Ну, неужели ничего? Ни кусочка жалости?

Ни кусочка жалости. Ни-че-го.

17 октября, суббота

А может быть, стоило бы писать в дневнике каждый день? Несколько строчек о фактах сегодняшнего дня, которые через годы приобретают или необычайную ценность воспоминаний, или же вызывающе недоуменную усмешку полного забвения.

Впрочем, это, кажется, неважно.

Дома. Халат. Печка. Спящий кот. Солнечное небо за окнами. Резюме для Института водного транспорта[317], которое делать не хочется. Ночное чтение «Семьи Поланецких»[318]; буржуазная, католическая и патриотическая Польша не могла не сделать из Сенкевича бога. Какими-то днями Мориак, Дюамель, французские поэты. Лучше и ближе, но все-таки чуждо. Картинки в кино; картинки в музеях.

Самое большое значение в моей жизни имеют часовые стрелки: за их движением иду я и моя мысль. Очень редко они приносят мне радость. Мне кажется временами, что радость мне нужна, как вода. Ощущение непреходящей радости для меня сложно, потому что обстоятельства мира и жизни не позволяют ей быть пребывающей. И другое: радость я хочу и могу воспринимать теперь только физически, осязаемо и зримо. На освещение бытия внутренней радостью, корни которой лежат в духе или в разуме, у меня больше нет ни сил, ни желания. Я ведь выключила и разрушила очень многое, и на моей распределительной доске осталось очень мало рубильников. Возможно, это временное или кажущееся, потому что уверенностью в положительном смысле я не обладаю. Возможно, что все это переменится, что это — только следствие моего переутомления, болезни, гипертрофированной нервозности. Но самое главное: я ничего другого не хочу, я заслоняюсь от возможностей той полетности, которая владела мною всю жизнь, я отворачиваюсь от алтарей, я издеваюсь над всем, что было

для меня земной осью, и все, с чем я дружила, становится для меня враждебным и полным злого смысла.

Позавчера Люсик принесла персики, которые она получила из Тифлиса. Падал первый снег, кружила бешеная метель, над мокрым городом и под грязным небом белые крыши казались святотатством. Персики были пушистые, громадные и недозрелые. С холодной ласковостью я смотрела на чудесные глаза Люсик и ее смуглое лицо: она любит меня, и у нее прелестный голос, над которым старательно, с нежностью ювелира, работает Бихтер. Она не виновата, что она глупа и что мне с ней скучно до тошноты. Также скучно и с Тотвенами, у которых я бываю часто и которые меня действительно любят. В этом доме до сих пор можно безнаказанно эпатировать буржуа. Madame подробно и грамотно рассказывает о Гаграх и о Теберде; на будущее лето мы строим планы о совместной поездке в Теберду, и чета Тотвенов искренне радуется, что я буду с ними. А я заранее знаю, что этого не будет, но мне смешно прожектировать и еще смешнее видеть попытки Тотвенов сблизить меня как-нибудь с его сыном[319] и женить его на мне.

Оскорбительно для женщины или нет, если любящий ее и любимый ею человек (причем любовь — настоящая и романтическая, полная красот, драм и света) приходит к ней на полчаса, на двадцать минут — лишь для того, чтобы видеть и чувствовать ее тело, еще полузнакомое ему, еще в тайне своей чужое для него, лишь для того, чтобы промолчать эти полчаса или двадцать минут — с закрытыми глазами, с губами на губах, с мыслями о неизвестном. А потом торопится, шутит, помогает женщине найти ее лифчик и рубашку, наскоро взглядывает в зеркало, не остались ли следы губной помады, наскоро целует ее руки и в дверях говорит: я люблю тебя.

Об этом надо подумать — и об этом надо кое с кем поговорить. Это хорошая страница для моего ненаписанного романа, который, может, будет написать труднее всего и страшнее всего.

При таких абстрактных рассуждениях часто вспоминаю о Николеньке. Сегодня написала ему маленькое письмо и поблагодарила: за то, что в годы его любви любил во мне разное — и мои стихи, и мои сны, и божественную нелепость моих трансцендентных разговоров.

Знаю теперь, что за то надо благодарить особо.

Может быть, больше всего надо благодарить не его любовь, а его ум.

Но об этом не написала.

Пусть уж лучше любовь.

18 октября, воскресенье

С утра снег — как на Рождество. Перед каждой зимой во мне ужас, как перед апокалиптическим чудовищем, а перед этой в особенности. Хочется на недели остаться дома, безвыходно сидеть в своей комнате с занавешенными окнами, лежать в постели, быть тяжело больной, умирать, не видеть, не знать.

Днем думала пойти куда-нибудь с братом — в Ботанический, например, где десять дней тому назад (только!) в совершенном одиночестве я провела несколько восхитительных часов: какие краски! какая буйная осенняя листва! какой кровавый огонь на кустах барбариса! Из-за снега и моего ужаса перед зимой никуда не пошли. Брат уехал по делам службы и привез мне позже приобретения у букинистов: стихи Радловой, Городецкого, монографию о Берлиозе[320]. Вечером должны были ехать к Люсик — и я уже пугалась возможности улицы, а когда узнала по телефону, что поход этот расстраивается, обрадовалась, как самой лучшей новости.

Все время, но не глубоко, думаю об отце; получаю от него частые письма, в которых он постоянно жалуется, недоумевает, злится и фантазирует. В нем прежний беспокойный и сумбурный дух, не знакомый ни с логикой, ни с законами жизни. Упорно добивается Ленинграда, ставит всю ставку на Ленинград и Дом — и это меня раздражает и леденит: кроме мамы, полной милосердия и прощения, в Доме его никто не хочет и никто не ждет. Посылаю ему деньги, радуюсь, что заработки позволяют делать это просто, пишу короткие деловые записки. Больше ничего, потому что ничего другого во мне нет. Жил у нас, потом в Москве у Корешковых, потом в Ростове Ярославском, потом в Борисо-Глебовских слободах, потом в Ярославле, теперь опять в Москве. НКВД в Москве и Ленинграде не отвечает — можно ли ему жить в Ленинграде или нет. А с его северным паспортом ни здесь, ни в Москве его не прописывают. И службу получить пока не удается, потому что каждая служба требует определенного местожительства и определенной прописки. И здесь, и в Москве, и в Ярославле ему предлагали хорошие должности; в первых двух случаях отсутствие прописки, а в третьем отсутствие жилплощади мешают его трудоустройству. Я не знаю, что он будет делать дальше. Я не знаю, как люди поступают в таких случаях. В одном из своих писем он пожалел о том, что освобожден из концлагерей. Семь лет государство обеспечивало ему кров, пищу и работу. Теперь государство его освободило, и он бродит по городам и селам, как бродяга, как потерянный. Он свободен, но на каждом шагу сталкивается с ограничениями, с неписаными законами, с

местной властью и со страхом администраторов перед бывшим заключенным по страшной статье 58 УК. У него нет ни денег, ни имущества. У него только его годы — 66 лет — и «бывшая» семья, которая его больше не хочет. За двенадцать лет раздельной жизни семья отвыкла он него совершенно; а он не хочет думать, что двенадцать лет были и продолжаются до сих пор. О том, что я больше его не люблю, он, вероятно, пока не догадывается. Иначе, пожалуй, ему стало бы страшно. Хотя нет: страшно ему не станет. Он только начнет говорить о себе как о короле Лире и в обществе своих многочисленных друзей будет изливать свою скорбь, заливая меня при этом невозможной грязью. К последнему я так привыкла, что, пожалуй, больше страдать от этого не буду.

22 октября, четверг

Вчера была у Тотвенов, где все больны; потом ездила в порт, долго работала в ЛИИВТе, думала о том, что за стенами — где-то близко — море, корабли, дороги в мир. Трамвайными дорогами возвращалась домой — обыкновенными дорогами моего города: улицы были чужие, незнакомые, люди тоже чужие. У Калинкина моста долго смотрела в окно, как течет Фонтанка, как дымятся в осеннем предзакатном небе ее берега, как на углу набережной и Садовой высится узкий гребень смешного дома-утюга. Там, дальше, за этим домом есть другой дом, куда всегда было так легко и радостно идти, куда я больше не хожу[321]. Когда думаю об этом, под сердцем болит тупо и неизбывно... потому что тянет, потому что в воображении продолжаю легко и радостно бывать на набережной Фонтанки, потому что под сердцем живет тоска. Подумала: «А вы все помните обо мне, вы все, и люди, и растения, и книги, и стол красного дерева, и японские божки, и чашки сиреневого цвета?»

Фонтанка улетела. Облака были золотистого цвета. У трамвайных дорог земные пути.

А дома встретила мама с искусственно-спокойным лицом и сказала, что приехал отец. И сразу начала успокаивать, усмирять меня, хотя я не сказала ни слова (кажется) и не сделала ни одного лишнего движения, кроме тех, которые требуются для того, чтобы снять шляпу, перчатки, пальто, боты. Сразу начала курить и читать второй том великолепной «Chronique des Pasquier» Дюамеля[322]. В мучительной жизни вымышленных людей находила не покой, не отдохновение, а отвлечение. Пришел жилец, начал рассказывать мне о своих новых романах, о новых женщинах, о новых переживани-

ях. С вежливой скукой слушала его и говорила ни к чему не обязывающие пустые слова. Показывал какую-то игру — советский petit jeu[323] на «интеллигентность»: кто из участников игры скорее напишет имена и названия разного рода людей, животных и географических точек, начинающихся на определенную букву. С той же вежливой скукой согласилась на букву «Б» и начала писать. В это время вернулся домой отец и вошел в мою комнату. Встала, поздоровалась, сказала буквально следующее — без единой улыбки:

— А, папа? Как поживаете? Ну, покажитесь — поправились? Садитесь, пожалуйста.

И сейчас же заговорила с жильцом и вернулась к прерванной игре, которую и проиграла, потому что не могла найти на «Б» реку и птицу.

Жилец вскоре ушел; отец начал рассказывать о своих перипетиях, сбивчиво и со злобой, но укрощенной тревогой. Обедали. Каждым словом, каждым жестом я оскорбляю отца при максимуме внешней вежливости. Кажется, никогда и никого так не оскорбляла. У мамы лицо мученицы. Вернувшийся позже Эдик искоса смотрит на меня. Уверена, что думает так: «Сердится, злится, а виновата сама. Всю жизнь носилась с отцом, со своей любовью, ахала, охала, писала, страдала. Ну, и получай теперь — так тебе и надо».

Все темы наших разговоров с отцом касаются только плана материальных явлений и событий. Ни о чем другом мы говорить не можем и не умеем. С накипающим раздражением жду, когда уйдет к Зайковским. Уходит наконец. Каждодневное течение моей жизни нарушено, но я стараюсь вернуться к обычному: книги, телефоны, работа, дела Дома и темы, принятые в Доме. Все идет вверх дном. Отца нет, но он есть: элемент смятения и беспокойства растет с каждой минутой и захватывает до физического удушья.

Мама возмущается:

— Ты не любишь его больше, потому что он упал, потому что у него нет прежних блестящих рамок, к которым ты привыкла. Он теперь как нищий, как бездомный пес, а ты так ведешь себя...

Она умоляет меня:

— Нельзя бить упавшего человека.

Я молчу. Как же ей объяснить, что все это не то, что все это гораздо глубже и страшнее.

В 11 часов приходит отец, садится в моей комнате, начинает рассказывать. А мне хочется кричать.

Около 12 появляется Киса, которую я, вопреки своим привычкам, вызвала так поздно: мне нужно, чтобы насыщенность домашней атмосферы разбивалась посторонней струей. И с Кисой я ухожу к ее портнихе в полночь: так мне нужна портниха, так мне нужно чужое платье винного цвета, так меня интересует georgette[324] из искусственного шелка! Уходя, я не прощаюсь с отцом, который остается в передней. Он делает какой-то странный жест рукою — пустой и беспомощный жест. Мне больно — и все равно.

А сегодня я его не видела. Сегодня он ушел с самого утра и до сих пор не возвращался. Уже вечер — глубокий вечер. Я одна. Я ничего не делаю. За обедом повздорила с мамой и братом — тема отца разрастается, все косвенно и касательно к ней, она заполняет все минуты, все извилины мозга, все закоулки духа.

Одиночество, одиночество — всегда и во всем — даже в самых прекрасных снах моей жизни, даже в самой нежной дружбе, даже в самой жуткой близости.

Одиночество — и неразделенность.

25 октября, воскресенье

Нехороший день — в раздражении, в злобности, в бессоннице и в болезни. Опять легочное. Может быть, грипп, может быть, что другое. Курю и занимаюсь переводами для ЛИИВТа; обдумываю, по какой расценке проведут резюме, как хорошо было бы устроиться в ЛИИВТ по договору. Ночами дочитывала последние тома Duhamel'a. Великолепно. Редко книги доставляли такую большую трагическую радость.

Отец, имея полуфиктивное командировочное удостоверение из Москвы, сумел прописаться где-то на Васильевском, у какой-то дамы, которая согласилась сдать ему комнату за 100 рублей в месяц. Сегодня узнал о том, что его милиция прописала до 15 ноября, и, отойдя от телефона, был так счастлив и безмятежно радостен, что едва не танцевал. Что из этого выйдет — не знаю. После обеда ушел на новую квартиру — и только после его ухода я сообразила, что никто [у] него не спросил ни его нового адреса, ни телефона, ни даже имени квартирной хозяйки. Человек ушел в ночь. Будет приходить каждый день обедать, это будет напоминать о том, что он вообще существует.

Вчера профессор Магазинер. От сластолюбивого и умного сатира не осталось ничего. Болен какой-то непонятной болезнью — не то грудная жаба,

не то междуреберная невралгия — и приходит ко мне жаловаться и советоваться, как и у кого лечиться. Приходит, почти как к врачу, и это хорошо. Постарел, осунулся; в глазах испуг, усталость и безнадежность[325]. Больше не напевает, не подтанцовывает, не читает стихов и не удивляется моей «асексуальной» жизни. И не пытается совратить меня на другую жизнь. Мне с ним хорошо и тихо: умен. Вчера разговор о том, что у меня оригинальная (по его мнению) жизнь, потому что у меня множество обязательств по отношению к окружающей меня среде, а в окружающей среде нет никого (ни-ко-го!), кто бы имел хоть какие-либо обязательства в отношении меня.

— Даже ваша мама выполняет все свои обязательства по доброй воле, потому что юридически она от них уже свободна.

С мамой и братом последние дни у меня отношения натянутые, холодные и недобрые. Впрочем, почти со всеми, кто меня любит, такие. Заморозилась.

Сегодня — уроки. Французские беседы. В пожилой даме, пришедшей ко мне, большая леность и мир.

На столе коралловая калина и густо-зеленый брусничник. Осень, осень... А какова осень в Альпах? Так же ли опадает золотой кленовый лист, как в Павловске? Так же ли стеклянно-мглисты погожие дни, как над Невой? И так же ли медленно и горько бьется жизнь?

31 октября, суббота

Жесткость спасает от жестокости.

Жесткость — это воля. Жестокость — это страсть.

Глазами Ольги Константиновны Блумберг открыла в себе жесткость и сначала даже удивилась этому. Часто слышала:

— Vous êtes dure! Tu es dure![326]

Но не знала, что это может быть правдой.

Настроение сглаживается, от гнева устают тоже.

Кругом говорят, что нужно жалеть, что нужно быть человечной, что нужно иметь сердце. Для того чтобы никого не огорчать, с большим трудом, с большой болью преодолеваю себя. Мне трудно, мне очень трудно. Все время больна — грипп, температура, почечные боли. Никуда не выхожу. На дворе, кажется, хорошо.

10 ноября, вторник

Продолжаю болеть — плеврит, боли при вдохе, вечерами 38,2—38,6° С. Не лежу. Работаю мало. Читаю. Приходят разные женщины, у которых разные и схожие жизни: моя красивая ученица, Киса, Ксения, Таночка. Везде любовь или пародия любви. Везде драмы или пародия драм.

С удивленной обидой слушала исповедь Кисы — самая чистая, самая добродетельная, «la plus droite, la plus femme mariée»[327], по выражению мамы.

Ваграм Папазян, четыре дня, в четырех дачах около пяти часов совместного пребывания. В итоге — неожиданная измена мужу, связь, адюльтер. Одиннадцать лет брака — пусть не особенно счастливого, безупречного со стороны Кисы — летят к черту. Во имя чего?

— Он говорит о любви по-французски, Сонечка, разве можно устоять перед этим?

Не знаю.

Во сне мне тоже говорят о любви по-французски.

— Со мной что-то случилось. Он может сделать со мной все, что хочет. Это вроде гипноза.

— Со мной никто так не говорил, как он.

— Все это так просто и так естественно, что я не представляю себе, чтобы могло быть иначе. И поэтому во мне нет ни раскаяния, ни сожаления, и я совсем не чувствую себя виноватой.

— Я знаю, что он меня бросит. Но мне все равно. Я рада, что было то, что было.

— Я не знаю, люблю ли я его. Я увлечена. И я не могу без него.

— Скоро он уезжает на гастроли в Киев и зовет меня с собою. Может быть, я и поеду. Нет, конечно, жену он не бросит. Но мне совсем не страшно и не стыдно быть его любовницей. Содержанкой я не буду, потому что хорошо зарабатывать могу всюду.

— В Ленинград должен скоро приехать муж, и мне первый раз не хочется, чтобы он приезжал. Кажется, он бросит службу на Свири и будет устраиваться здесь.

— Во всем этом виноват муж. Если бы он не уезжал постоянно из Ленинграда, этого бы не случилось. Зачем он оставлял меня одну?

Обо все этом Киса говорит просто и чисто, с обычным для нее юмором и талантом детального «внешнего» рассказа. Вероятно, так же просто и недраматично изменяли своим мужьям ее бабушки и рассказывали об этом по-французски своим подругам. В этом ее кардинальное отличие от Ксении, где

все книжно, сложно, углубленно, где анализируется каждый жест и каждая фраза, где между ее любовником и ею постоянное присутствие Фрейда, Достоевского и французских психологов-романистов. Ксения отдает себя вся, до конца — жизнь, служба, дом, муж, знакомые — все ушло на десятый, на двадцатый план. Она может говорить и думать только о себе и о своих переживаниях. У Кисы все на прежних планах — если сдвиги и есть, то они мало чувствительны. У нее просто возник еще один план, который прекрасно уживается с работой, с друзьями, с мужем, портнихами и так далее. Киса — женщина фактов. Ксения — женщина фантоматического творчества. А результат один и тот же: половая близость с новым мужчиной.

Все это мне очень понятно и ясно — так, как бывает понятно и ясно действие в книге.

Книга все-таки любопытнее — она дает больше.

По-старому ежедневные встречи с отцом за завтраком, за обедом. Устаю от своей вежливой и предупредительной готовности к разговору. Отец говорит только о себе и о своих делах и планах. В нем детское легкомыслие и детский эгоизм: ничего больше его не интересует. Когда же он хочет доставить удовольствие мне и брату и коснуться тех областей, которые мы любим и которые ему и чужды и безразличны, потому что в этих областях не существует ни его, ни его дел, ни его планов, он говорит мне:

— Пушкин очень хороший писатель.

А брату задает вопрос из политической и экономической географии и истории:

— Расскажи, что такое Саудия[328]? Кому принадлежит Исландия? Что слышно с Афганистаном?

О том, что эти области интересуют Эдика, он узнал только несколько дней тому назад от меня. Узнав, удивился, пожал плечами, помолчал — и через час начал шармировать своего сына, которого он совершенно не знает.

Был ли у меня такой разговор с отцом в его первый приезд?

После обеда, когда мы много говорили с братом (то есть я с братом) и когда Эдик что-то рассказывал со своим обычным английским юмором, отец прошел ко мне в комнату и сказал:

— А знаешь, Эдик у тебя очень симпатичный.

Рассказала потом об этом маме и брату. Много смеялись. Не скажу, чтобы очень весело. Это — как первая встреча Эдика с отцом после его воз-

вращения в мир. Эдик вошел ко мне, закрыл за собою дверь, сел и произнес очень серьезно:

— Действительно у меня необыкновенная жизнь, и я начинаю думать, что я сам — необыкновенный человек. Подумай: мне нужно было дожить до тридцати лет, чтобы первый раз поцеловаться с отцом.

Настроение тихое — внешне. Но внутренне чувствую себя так, словно куда-то надо ехать, торопиться, не опоздать. Внутри так, как на большом вокзале. И сердцебиения притом.

13 ноября, пятница

Вчерашний день — плотный, трудный, насыщенный людьми и эмоциями. Ильинчик, которого не видела несколько лет (все пишет, все обличает, все ищет!)[329], Майданский, Таночка, Киса. Утром и ночью — простые слова, а в них сложность всей жизни, а от них неукротимая тревога — будь то в печали, будь то в радости.

Вчера же — вызов в ЖАКТ[330], где милиция официально объявляет мне о постановлении по ходатайству отца о проживании в Ленинграде: отказано — на четырех бумажках. Глаза ЖАКТов, милиции и посторонних посетителей жадно и осторожно следят за моим лицом. Бумаг на руки не выдают. Просто расписываюсь: тогда-то мне объявлено о том-то. Все.

15 [ноября], воскресенье

Первая полноценная ночь — после люминала. Заснула после 2-х, проснулась в 10, очень радостная и благодарная, со свежей головой, с внутренней улыбкой: был сон, ночь была во сне. Температура еще держится, но выше 37,5—[37,]7° С не поднимается. Урок с моей красивой ученицей: Chanson de Roland[331]. Срочный перевод трудного почерка. Как в почерках проявляется человек, не тот, внешний, известный всем, а другой, спрятанный, глубинный и мало знакомый. Два лица — три лица, а может быть, и больше. И редко, редко знаешь любимых и близких, но пришедших извне, из мира, из жизни, из чужой крови, из чужого дома.

Запомнить:

Людей выдумывать не надо.

Не требовать от них больше того, что они должны дать.

Из того, что они дают, уметь извлечь ценность — единственно нужную.

И на многое, на многое смотреть сквозь пальцы.

И то, что есть, никогда не сравнивать с тем, что могло бы быть.

Тогда жизнь будет и легка и прекрасна.

Все дни — и почти все часы — заполнены людьми. Сегодня вечером должны были прийти Тотвены — и не пришли: старик был днем — жаловался на жену, на ее ревность — скучно.

За окнами — ноябрь, мокрый, с ранними сумерками, с поздними рассветами. Унылый месяц. Каждый год встречаю и провожаю его болезнью. За окнами — пути людей, театры и концерты, кабаки и больницы, тюрьмы и вокзалы. За окнами — мир. И мир этот — и весь мир, больше этого мира — во мне, со мной, близкий и чужой. И я тоже — и близкая ему, и чужая.

Хорошее чтение: Моруа — «Cercle de Famille»[332]. И целая грудка непрочитанных книг, тем более интересных, что они еще не прочтены.

Завтра Анта. Вернулась из Хибин[333]. По-видимому, остается в Ленинграде. Хорошо это. С ней всегда любопытно — несмотря на тьму и ложь. Или, может быть, именно поэтому.

И завтра же Киса: со своим романом и с портнихой, у которой вместе заказываем эпатирующие платья.

Но о чем же я тоскую? О чем думаю? Ведь мне же больше ничего не нужно. У меня же есть... как будто все — как будто все.

Воют ветры, ветры буйные,

Ходят тучи, тучи черные...[334]

По радио передают концерт Веры Духовской — какой чудесный голос и какой странный смешанный репертуар: классический романс и партизанская песня, народная песня и звуковое кино. Жаль.

Мысль — замедленное действие (Моруа)[335].

27 ноября, пятница

Кажется, из всех русских писателей больше всего я люблю Салтыкова-Щедрина.

На улице — легкий сахар снежка. После плеврита начала выходить с внимательной и издевательской осторожностью к себе. 24-го обедала с отцом у Тотвенов: вместе мы не выезжали с ним больше 12 лет. Неприязни и раздражения больше нет: глубокое и спокойное равнодушие. Возможно, что выравнивание моего настроения происходит главным образом от Luminal'а, к которому я начинаю питать пристрастие.

Чтение разное и неплохое.

По временам яростные взрывы тоски, переходящие в тупое и нудное ощущение скуки. Постоянно нужен высокий вольтаж.

Удивительная творческая опустошенность: не пишу и не могу писать. Отношусь к себе с глубочайшим равнодушием и опять-таки с издевательством: зачем и о чем?

После уничтожения призраков наступает полоса мертвой трезвости — очень разумной трезвости, очень логичной и удобожизненной. В такой разумной и логичной трезвости живу теперь я. Живу в единственно возможном для меня плане — в плане полной и ясной реальности. Сопротивление мое на все высшее выражено очень серьезным коэффициентом жестокости.

Я не хочу полетов — никаких.

28 ноября, суббота

Падает снег. Под кружевной метелью выходила по делу. Около почты грузовик наехал на панель и искалечил человеков. Толпа, любопытная к смерти и страданию, стояла густо и гудела почти радостно. Потом дома: внимательное и холодное чтение статей в журнале «Под знаменем марксизма»[336] — карандаш, выборки, отметки.

Полностью принимаю марксистскую оценку творчества Толстого[337]. Иначе я о нем и не думала — может быть, только другими словами и с менее заостренной точностью.

5 декабря, суббота

Каждый вечер — высокая температура: до 38 °С и больше. Главным образом дома.

Каждое утро, когда сижу перед зеркалом, вижу в своем отражении не себя, а бабушку — ту, особо любимую, которую никогда не знала, потому что умерла она в 1895 году.

Каждый день — разные дела жизни (и маленькие и большие). Острые вестники злобы и раздражения перемешаны с утешительными минутками растроганности и мгновениями нежности.

Позавчера отец выехал в Москву — устраиваться через каких-то главков на юг. Жил все это время не у нас, а где-то на Васильевском, где по знакомству ему устроили комнату за 100 рублей в месяц. Приходил завтракать, обедать. Рассказывал о том, кого видел, где был, и, как и раньше, рассказывал туманно, неправдиво, с непродуманной до конца ложью, с мелкой и неумной фальшью. По-моему, искренне отец умеет только злиться и ненавидеть. Всегда вслепую, но всегда искренне. И с ним и от него устали очень.

Все-таки странно, что он — мой отец.

И с люминалом и без люминала — сны, сны, замечательные сны. Никогда не хочется просыпаться...

Вечером — вместо радости раздражение и отчужденность. Нераспечатанная пачка душистых папирос. Сброшенный свитер. Жар.

Полчаса. Сорок минут. Может быть, час.

Головная боль. Аспирин. Усталость.

6 декабря

Молчаливый день.

8 декабря, вторник

Вчера: больной Эдик, тихое и очень позднее утро, неожиданное возвращение из Москвы отца, внесшее смятение в нашу праздничную тишину. Удивительная легкодумность в этом человеке, связанная с оптимистичным фатализмом игрока. Полная отчужденность.

Падал снег. Было скользко и мокро. Поздние дни петербургского ноября. Улица. Маникюрша. Фонари. Рекламы. Духи к именинам Кисы. Отрывистое чтение «Безобразной герцогини» Фейхтвангера[338]. Телефонная консультация по вопросам английского перевода. Телефонные разговоры с издательством. К вечеру — пустая болтовня с жильцом, который собирается на Шпицберген: честно желаю ему удачи, потому что соблазнительно в течение года жить без жильца, каким бы милым и удобным он ни был.

Не переодеваясь, в сером джемпере, в пестром шарфе, в каждодневных туфлях, иду с братом к Кисе. У нее — до 4-х. Пью только водку — и пью

много и умно, не хмелея, в большом и в жестком холодке. Все дамы — в шелках, все одеты лучше меня, но я знаю цену себе, я знаю, что, несмотря на тряпки, я лучше их, я вижу это, я чувствую по глазам мужчин, по взглядам женщин — и мне делается и смешно и мерзко. Гордость моя отвлеченная и сложная: просто очень уверена в себе, всегда уверена, я знаю, что я умна, что мужчины боятся этого. И так как я знаю все это — и еще многое другое (культ Елизаветы Английской[339], например), — я ласкова, дерзка, равнодушна, вызывающа и весела. Боровский, которого я не видела года два, косит на меня свои глупые глаза. Братья Кукорановы лепечут какой-то пьяный вздор. Все это очень смешно. Все это очень грустно. Женственность. Пол. Проблематические возможности. Брачное оперение. Только потому, что женщина, что женщина красива и остра.

А если бы я была безобразной? Гораздо умнее, но безобразной?

Я знаю все это. И мне смешно и мерзко.

10 декабря, четверг

Написала несколько придуманных страниц из дневника придуманного старого человека. Когда, после чая, прочла их вслух моим, отреклась от страха и тоски. И сейчас, несмотря на интересное чтение («Enfantines» Valery Larbaud, «Les Loups» Guy Mazeline[340]), на музыку, на безразличные телефонные переговоры, — тоска, близкая к отчаянию.

Вчера: жар, бесцельные и нелепые попытки поссориться, уколоть, сделать больно — очень — до задыхания. Густой папиросный дым. Пустые разговоры о литературе. Пустые слова.

И очень поздно: пытка Фрейей[341], ее бессильной силой, ее безумием безвластия. Всеми тайными силами тьмы и ночи. Пустая и бесполезная пытка, потому что не нужная ей самой.

Нелепые дни, нелепое настроение. Нелепые люди. И скучно — очень.

19 декабря, суббота

Как и весь мир, должно быть, я часто думаю о том, что король Великобритании Эдуард VIII недавно отрекся от престола, так как хотел жениться на своей любовнице Симпсон, а парламент, Болдуин, конституция и вся Англия вместе с доминионами этого не хотели[342].

Обыкновенная женщина, которой уже лет 40 и которая дважды была разведена, оказалась сильнее корон и империй. Весы истории — впервые в мире — показали не то, что показывали все время на протяжении долгих

столетий. Эдуард VIII сделал необыкновенный романтический жест, нелепый, безрассудный и опасный. Пусть это даже жест пустой, лишенный романтического содержания и основанный на гораздо более глубоких политических корнях, которых мы не знаем. Романтическую внешность, однако, от него отнять нельзя.

Первый королевский поступок, который был для меня утешительным.

Вчера отец уехал в Кировск[343]. Позавчера он уезжал в Свердловск, где его ждут его друзья, телеграфировал туда и сокрушался, что на этот день не достал билета. Затем мгновенно перерешил и выехал за полярный круг. Все его поведение за последнее время вызывает во мне чуть раздраженное и юмористическое недоумение — вроде трагедии Шекспира в постановке Радлова.

Отчужденность абсолютная. С августа по вчерашний день в разговорах с ним не улыбнулась ЕМУ ни разу. Нечем и незачем.

Эдик похож на такого человека, которого обычно принято называть святым. Он, всегда не любимый отцом, загнанный, осмеянный, порабощенный, перенесший все возможные унижения и издевательства, забыл и простил все. Ему жаль отца. Он бережен к нему и предупредителен. Он готов отдать все немногое, что имеет. Он смотрит на отца своими большими, чистыми и невинными глазами и не знает, о чем нужно говорить с отцом. Бездны непонимания и чуждости лежат между ними, но жалость (caritas[344]) не знает бездн — у нее сверкающие крылья.

— Надо всегда делать так, чтобы совесть была всегда, всегда спокойна, — говорит брат, — чтобы никогда, никогда потом ни в чем нельзя было упрекнуть себя и ни о чем пожалеть.

А все-таки жить в обществе святых трудно?

Чтение «Пушкинского Петербурга» Яцевича[345]. Книгу принесла Ксения: личина добродетельной светской дамы — муж, книги, лекции, Пушкин, театр. Флер полупечальной улыбки об ушедшем любовнике. Невинные флирты. Воспоминания. Модные платья с буфами. Крохотная муфточка. Духи. Анна Каренина до падения.

Дождь. +7 °С. Свет с утра. Плохое самочувствие. Диспансер. Новые очаги в легком. Ничтожное сердце. И совершенно разрушенная нервная система. Советы отдыхов, развлечений, легкомыслия, бездумия, общения с веселыми людьми.

Как будто мне это доступно!
Как будто я могу это сделать!

Сегодня Николин день. Любопытно, что случилось у Николеньки? Последние его письма — всегда прекрасные — так туманны. Думаю, что Серафима Сергеевна забеременела. И он не знает, как сообщить об этом мне.

Весь город готовится к елкам — деды-морозы, марципановые фрукты, игрушки, блестки, вата, радостная детвора. Бешеные цены.

Елки в этом году делать не буду.

Ни за что.

Сегодня Эдик отвез все книги на квартиру Г.В. Сделал это, радостно торжествуя и почти злорадствуя. Вернувшись, сказал:

— C'est la fin. J'ai suivi une croix[346].

Я промолчала, потому что на меня смотрели.

31 декабря, четверг

До Нового года осталось три часа. У меня на столе работы по шпунтовым сваям, по тигельным щитам, по железобетонным конструкциям.

До Нового года осталось уже меньше трех часов. Секундные стрелки звенят где-то рядом, во мне. С секундными стрелками иду я.

Старая цыганка, гадавшая о черной дороге, о розовой дороге, где ты?

Старая цыганка, погадай мне на счастье: будут ли в новом году ослепительные полдни лета и осени 1935 года? Будут ли в новом году запахи жасмина, ванили и чистой воды?

Мне нужно очень много воли.

Очень много силы.

И очень много здоровья.

Идущий год — трудный. Это я знаю — я знаю твердо и наверняка.

1937 год

Апрель, 22, четверг

Перед пустыми и чистыми страницами — всегда: нежность, легкий трепет, грусть, недоумение. К этим страницам — особая нежность: эту тетрадь я бы хотела кончить так же, как я ее начинаю, — в том же настроении, в той же обстановке, с теми же глазами и с тем же богатством Синей Птицы[347].

Первый раз в жизни — совершенно сознательно — я чувствую острое желание остановить время.

Первый раз в жизни я до конца понимаю доктора Фауста. Мне — хорошо. Просто.

Весна. Сумерки. Дождь. Пурпуровые цинерарии в зелени туи. Любопытное французское чтение. Совершенствование в английском языке. Продолжение визитов к д-ру Тотвену, спешно залечивающему цинготные явления на моих деснах. Все начало года — в тяжелом физическом состоянии. Теперь — с весною — как будто лучше. Хочется отдыха в тишине, в зеленых ветвях, где-нибудь у моря. По-видимому, однако, ничего не выйдет.

Письмо от отца из Кировска: технический директор завода. Доволен. Устраивает уют: послала ему занавеску, книги. Вышлю еще и некоторые картины.

У меня в доме предстоит ремонт. Обновление.

— Наша комната должна быть очень красива.

Очень странно и трогательно вести разговоры о ремонте — о том, какие обои, как поставить полку с книгами (а может быть, лучше шкаф?), что будет в простенке, когда будет готов письменный стол, заказанный в Кировске, на заводе отца.

Странно и чуть жутко раздваивать жизнь — переживать ненастоящее как настоящее, не желая, однако, никаких изменений в настоящем.

В этом, возможно, высота творчества.

Не пишу ничего — кроме переводов, довольно обильных за все это время. И не играю совсем: с музыкой — сложные связи воображения, но не действительности.

Людей вижу мало; Анта работает в Гидрологическом; Киса — в стенографии, спорте и романах; Ксения в катастрофе — на днях арестован ее муж.

27 апреля, вторник

Вчера — чтение старых французских пьес. Удивительная музыка языка, воспринимаемая мною за последнее время пластично, почти зримо. Некоторые слова умеют звучать особо — отделяясь от массы и живя собственной жизнью, очень глубокой и насыщенной:

— Mal... clarté... il fait bon... je t'aime... net... splendeur... viens... attendre... appui... beauté[348].

Гипнотическое значение слов очень высоко.

Очень плохое физическое самочувствие. Неожиданный взлет тоски, рвущей, звериной, когда хочется стонать от неназванной боли. В молчании, идущем за такой тоской, много слов. Произносить их, вероятно, не стоит никогда, или очень тихо: только для себя.

Брат устает, работает очень много; у него экзематозные пятна на лице и шее, а к врачу не идет. Не хожу больше к врачам и я — милое, но бесполезное занятие. Возможные диагнозы мне всегда более или менее известны, но зато никогда не известна степень фантастичности назначаемых режимов. Если следовать любому режиму любого врача, мне нельзя жить так, как я живу, а иначе жить у меня нет ни возможности, ни желания.

Большая педагогическая работа.

И невероятная усталость. И невероятная слабость.

Сегодня — очень плохая ночь, бессонная и печальная.

Очень возможно, что я и счастлива.

Ушедшей молодости не жаль.

1 мая, суббота, ночь

Праздник Труда. По радио — площади, парады, демонстрации, лозунги, веселье. Мой праздник, потому что в жизни моей, в которой по рождению я могла и не быть знакомой с трудом, труд стал максимальной единицей и пребудет ею до конца этой жизни. И это очень хорошо. У меня медленно и незаметно для самой себя выковывалась психология рабочего человека — и вместе с понятием и принятием труда пришло понятие и принятие ненависти. Это тоже хорошо.

Чем меньше любви к человеку, тем легче ему жить.

Первый май — у себя. Внешне совершенно так же, как и в прошлом году. Может быть, так же, может быть, иначе — не знаю. Но внутренних сил все меньше и меньше, и в личном — все у́же, все теснее, все отчаяннее. С этим тоже пора покончить — и уже давно, — как давно потушены все свечи, и церковные, и бальные.

Тбилисское «Игристое» можно пить как настоящее французское шампанское. Все дело в воображении и в степени изысканности небной полости. В маленьких комнатах с обветшалой мебелью «старого времени» можно обедать так же, как в ресторане-люкс на «Нормандии»[349], и принимать крабовые консервы за омаров и скромное жареное мясо — за седло дикой козы. А почему мой халат, грязный и больничного типа, некрасивый халат, не может сойти за какой-нибудь умопомрачительный туалет бездельной дуры с чековой книжкой?

Все может быть.

Во мне много иронии, усталости и теоретического счастья.

Случайно среди каких-то бумаг брат нашел крохотный кусочек кинопленки. Женское личико. Кавказское обрамление. Узнала и вспомнила: черненькая, хорошенькая актриса, с которой жил Николь. Сказала:

— Это Зейнаб, это Николенька мне подарил.

— Она была его любовницей?

— Да.

Думаю о том, что 3 мая — день рождения д-ра Р[ейца]. Очень тянет. Знаю: ждут меня люди, ждет меня мое кресло. Ждут книги и фарфоровые божки. Вероятно, однако, не поеду. Трудно будет потом — без вечеров в будущем. И трудно будет лгать дома, когда лгать не хочется, — и почему-то противно. Вернее всего, пошлю телеграмму.

— Ты — мое будущее воспоминание.

— Ты — мое завтрашнее прошлое.

Какие хорошие и интересные слова! Я думаю, люди с такой концепцией должны легко и красиво любить, переживая настоящее только как завтрашнее прошлое и как материал для будущих воспоминаний. Может быть, такая любовь чего-нибудь стоит. Должно быть, такая любовь стоит больше всего.

Ночь. По радио передают песенки и фокстроты. Было бы с кем, поехала бы на площадь Урицкого[350] — посмотреть, как танцует молодежь, как поют,

как рвется фейерверк над Невою. Издали и чуть изумленно взглянула бы на православные церкви, открытые в пасхальную ночь: вы еще живете? вы еще молитесь? вы еще умеете верить в Бога и в истину церковных учений? Как странно. Как интересно. Как непонятно. Это вам что-нибудь дает? Или же вы только соблюдаете какую-то старую традицию, значение которой вам самим уже неясно? Кто вы такие? Откуда и куда вы идете? Что вы делаете в этом мире, в этом прекрасном и страшном мире со всеми его простыми и непростыми сложностями?

Но поехать мне не с кем. Брат усталый и больной. Ночную прогулку маме я предложить не решаюсь. А одна я не могу.

Ну что ж — послушаем еще радио. Будем пить чай и остатки тбилисского «Игристого», поговорим о каких-нибудь книгах, посплетничаем о знакомых, подумаем, как мне завтра попасть в один вечер и к Кисе, и к Борику. А потом, тщательно вымывшись на ночь, как всегда, сегодня еще тщательнее, чем обычно, я лягу в свою нелюбимую постель, буду читать, курить, есть апельсины и знать, что без люминала мне не заснуть до рассвета.

А люминал я нынче решила не принимать.

Надо, в конце концов, привыкать: и жить и спать без кнутов.

Худею катастрофически. Тело бледное, костистое, вялое — больное тело.

Королева Елизавета Английская сидит в халате Анатоля Франса и понимающе смотрит на себя в зеркало. Она настроена умно и юмористически и лишь по традиции впадает в лирическую трагедийность. В действительности это холодная, властная и очень трезвая и испорченная женщина-девственница. У нее прекрасная память и хорошее воображение. В конце концов граф Эссекс может жить с очаровательной и молоденькой Мэри Говард, но любить только ее. Может быть, это и не так уж страшно. Может быть.

3 мая, понедельник

Вчера вечером — только у Кисы. Я сижу между Кукурановыми и Дмитрием Григорьевичем; налево — муж Кисы, направо — ее новый флерт и, может быть, новый любовник; налево — бывший гардемарин, бывший морской офицер, бывший белый, бывший колчаковец; направо — бывший рядовой царской армии, бывший комиссар, бывший краском, два или три раза стоявший под расстрелом у белых, член партии, инженер и пропагандист. Оба пьют одинаково много, и оба почти одновременно сильно хмелеют. Я в

испанских кружевах и очень веселая. Я показываю себя, я на выставке, в обществе я всегда чувствую себя призовой лошадью на беговой дорожке, сознательно и гордо идущей к победе. Такое ощущение дает уверенность и простоту. Как всегда за вином, Кукуран остро и почти дерзко ухаживает за мной, и, как всегда в этих случаях, наш разговор с ним, не выходя из рамок светской и литературной формы, драматически скользит по граням непристойности и темного вызова. Муся Новлянская прищуренно, изучающе смотрит на меня — обо мне она много слышала, ей хочется узнать меня ближе, ее тянет ко мне, — я кажусь ей таинственной, скрытой, особенной, умеющей прятать настоящее лицо и ловко носить разные маски. А женщин с прошлым и с особым складом ума это всегда волнует. Таким женщинам я нравлюсь. В их влечении ко мне — загадки Эроса.

— Вы грустная, почему? — спрашиваю я Мусю через стол, хотя это меня нисколько не трогает, и я задаю этот вопрос по своей привычке говорить за столом со всеми.

— Я всегда грустная, — отвечает она и протягивает мне бокал, — как и вы.

— Ну, что вы? — смеюсь я. — Я человек веселый.

— Вы это умеете делать лучше, чем я, вот и все. Но ведь и у вас — тоже ранка, такая, которая не заживает...

— Ранка? — я смотрю в сторону. — Ранка? Может быть...

Брат Муси, интересный моряк при неинтересной жене, смотрит на меня нехорошими мужскими глазами. Я ему нравлюсь. Я это знаю. Мне становится и зло, и весело. Я сижу с ним на тахте. Муся смотрит на нас понимающим и обрадованным за брата взглядом (она не любит его жену) и вдруг приглашает нас к себе:

— Только приходи без жены, Вася.

Он ее благодарит. Я смеюсь. Хмельной Кукуран ложится на тахту и кладет голову мне на колени. На сплаве он загорел, обветрился; брови его седеют. У него лицо старого развратного паяца с печальными мыслями. Я знакома с ним девять лет. Думаю, что никогда он не был так близок [к] самоубийству, как теперь.

Киса ходит взвинченная, злая, неприятная. Связь с Папазяном продолжается все с большими и большими перерывами. Уязвленная его охлаждением, знанием, что эта связь — случайное звено в его цепи, что она ему каждодневно не нужна, что из всего этого ничего не выйдет (ни новой жизни, ни нового брака, ни отдыха от измучившей ее работы с хорошо зарабатывающим мужем), она рискованно и весело флиртует со своим пропагандистом

и уже ревнует его к его молоденькой жене. А молоденькую жену церемонно и ласково развлекает Эдик: она маленькая, худенькая, совсем девочка — она плохо одета, и ей неуютно в этом обществе чужих и неприязненных дам. Мне ее жаль — она самая чистая и хорошая из всех нас. Я ей часто улыбаюсь, заговариваю с нею, и она тянется ко мне навстречу. Мужа она боготворит. А он снисходительно «формирует» ее.

Господи, почему это каждый мужчина хочет «формировать», «воспитывать» и «пересоздавать» избранную им женщину? Я знаю мало исключений из этого правила.

Эдик тревожит. Пессимизм и неприятие людей углубляются с каждым днем. Хорошо чувствует себя только дома — и дома ведет себя как ребенок. Резко выступают черты инфантильного старчества. Чужих переносит с трудом, с еле скрываемым раздражением. Даже к жильцу — недовольная враждебность, хотя жилец мало бывает дома и нам не надоедает. Недоверчивость и недоброжелательность ко всем. Все — враги, все — желают нам зла. Он и мама на эту тему могут вести бесконечные разговоры. Три недели тюрьмы и два допроса подействовали на Эдика разрушающе. Человека, решившего арестовать брата, я бы привлекла к уголовной ответственности — за убийство. Мой брат медленно погибает на моих глазах.

И я ни в чем не могу помочь ему.

15 мая, суббота

Мой день. Прекрасные розы. Проливной дождь. Холодно — серо. В квартире — ремонт — маляр, обои, грязь, краска, скученность, сбитая с толку привычная размеренность дней, когда не за что приняться и неизвестно, что полагается делать. После плеврита Эдик уже на службе. Раздражительный и слабый. Мама, несмотря на годы, на усталость, на хозяйство (ведь прислуги нет никакой!), чудесна: бодрость, живость, юмор, ласка ко всем, молодой голос, молодая душа, молодой задор.

Как и в прошлом году — в мой день прекрасные розы. Сегодня утреннее кофе в моей комнате: первый раз. Сказала об этом и смутно вспомнила все бывшие когда-то утренние завтраки; в разных местах и с разными людьми, начиная с поджаренной картошки и консервов в купе Пана за полярным кругом[351] и кончая кофе над зеленым морем в Сочи, горячим молоком в пустынном ресторанчике и утренним вином в вагоне поезда Сочи—Москва.

Утреннее кофе в моей комнате — первый раз. (А когда-то — в Москве — утренний завтрак состоял из консервированных черешен и персиков и Шато-Икэма.)

Прекрасные розы в мой день.

23 мая, воскресенье

Ремонт кончен, и комнаты выглядят очень красиво и нарядно. Моя комната — в символических вихрях: листья, зелень, заросли, чаща. У меня впечатление, что все движется, летит, волнуется, и я пребываю на постоянном сквозняке. Эти символы, собственно говоря, можно перенести и в реальную плоскость. И, перенеся, не ошибиться.

Удачно у Эдика, в столовой: все синее и строгое.

Маляр оказался хороший, с чувством вкуса и юмора. Подружился с нами так, что умышленно начал затягивать ремонт последней комнаты, то впадая в недовольство от собственной работы с потолком, то капризничая с бордюром, который мне срочно пришлось заменить новым, избегав десяток магазинов, ибо синие бордюры, как и синие обои, почти не выделываются. Много значит и то, что маляру приятно было работать у нас, попивая настоящее кофе, получая только похвалы (вполне заслуженные, правда) и пачки «Беломора»[352] и имея возможность бесконечно рассказывать о своей жизни, об участии в Германской и Гражданской войнах, об охоте, о детстве, о жене и так далее. В кухне он «пустил панель физюлевого цвета», сообщил, что «убсолютно привык» к нам, и сказал, что квартиры без клопов — это квартиры ненормальные, добавив интересное наблюдение из области энтомологии и паразитологии: «Вот, к примеру, такая животная, как клоп: одна голова и две лапы — а ходит и человечиной питается».

Квартира теперь сияет и пахнет масляной краской.

Лето наступило как-то неожиданно. Тепло, солнечно, открыты окна. Женщины и дети ходят в летнем. А я продолжаю мерзнуть. Сегодня первый день, что я сняла шерсть. Чувствую себя весьма неважно.

В процессе ремонта смотрела «Онегина» в Мариинском[353] (очень хороша силуэтная сцена дуэли и декорация последнего акта). Были с Ксенией. Потом возвращались на такси и с привычной влюбленностью отмечали приметы идущих белых ночей. Редко ее теперь вижу: может быть, и нужно отвыкать. Она не уверена в том, что останется в Ленинграде, если муж пойдет в ссылку; а дали ему 58.10 УК[354]. Ксения первый раз в жизни сталкивается с

такими явлениями и понятиями, как обыск, арест, тюрьма, передача, камера, статья возможности приговоров, возможности конфискаций. Бодрится; бывает в театрах, в кино, в гостях; флиртует. Но готова плакать каждую минуту и, может быть, биться в истерике каждые два часа. Арест мужа ударяет главным образом по ее самолюбию: она всегда наивно и высокомерно радовалась, что муж ее — член партии, подпольщик, ответработник, что он у нее такой хороший и честный, без всяких уклонов и загибов, что в политическом смысле это сверкающий кристалл, что к ней, как к жене члена партии, особое отношение и особое доверие по службе, и так далее. А теперь муж ее оказывается «врагом народа». Сооружение ее рушится — и ей больно и страшно. Муж ее сейчас в тюремной больнице.

О том, что где-то настоящая зелень, просторы, небо, вода, запахи земли и трав, думать не могу. Как зверя, тянет к земле, к воздуху, к тишине. И это лето, по-видимому, проведу в городе и без лета.

Внутреннее состояние — нехорошее: сильно не хватает элемента веры. И знаю, знаю, что этот элемент ко мне не вернется никогда.

Чтение французских книг и Марселя Пруста.

Размышления о том, как поставить полку, как разместить книги, как сшить новые занавески.

Большая тяга к молчанию.

Очень постарела. Раздражительность и динамическая злобность. Или мертвый покой равнодушия и презрения.

Развлекают пока, утомляя, занятия французским языком с милой и, должно быть, интересной женщиной, женой знаменитого детского врача Гржибовского, которая переходит с IV на V курс, боится экзаменов и материально живет так, как дамы нашего круга в старые времена. Занимаюсь и с ее приятельницей Райской, хорошенькой и манерной, кончившей консерваторию по классу органа. Но эта ученица нравится гораздо меньше. Заработки по педагогической части не скверные.

24 мая, понедельник

Вчера за вечерним чаем Эдик читал свои новые рассказы. Потом расфилософствовался. Волнуется, доказывает, кричит. Чудесный мечтатель. Утопист. На белых-белых крыльях парит высоко-высоко в небе.

Стало глубоко жаль его. Такой жалостью жалеют цветы и птиц. Жизнь — штука жестокая.

Слушая его, думала о себе.

Никогда так крепко и так твердо не стояла на земле. На обыкновенной, реальной, настоящей земле. Никаких полетов. Никаких крыльев. Никаких экстазов. Логические закономерности. Математические расчеты. Законы. Все причинные цепи ясны и понятны. Мир — огромная лаборатория, прекрасный и интересный завод со сложными агрегатами и многочисленными цехами.

12 июня, суббота

Вне времени — а время рядом и неумолимо, тяжко и слепо влечет за собою: по камням, по розам, по пескам.

Вне пространства — а пространство ограничено зеленым квадратом стен и безумия: вихри, вихри, вихри.

Тревога и радость такие, что жить с ними трудно. Сердцебиения. Дрожь рук и ног. Влажные ладони. Влажные виски. Газеты, книги, ученицы, Вольтер, Ромен Роллан, Арктический институт[355], деньги, телефон, который не отвечает.

Все не то. Все не то.

Дописывается страница. Нужно, чтобы последняя. Дописывается с такой болью и с такой нежностью, которые бывают в жизни один раз — только один раз — и не забываются никогда.

Все время — сны, сны, сны. Закрытые глаза. Действительность как сон. Сон как действительность.

А дальше что? Ни-че-го...

15 июня, вторник

Обедала у Тотвенов — очень рано, в необычный для меня час, в необычности обычного окружения. Белое платье с резкостью сине-белых треугольников. Браслет. Символы. Сердцебиения. У будочника неожиданно решаю купить дорогие папиросы.

— Герцоговина-Флор?

— Hercegovina-Flor.

Курю их до обеда. После обеда. Курю их вечером.

Hercegovina-Flor. Как странно! Я ничего не помню. Они совсем другие. Они совсем не похожи на те. Они совсем не сладкие — они горькие, горькие, как и весь мой день сегодня — печальный и радостный день.

18 июня, пятница

Вчера с Эдиком у моря, на Островах. Обедаем на пристани, смотрим на северные летние краски: все тона серебристо-серого и жемчужного — и на небе, и на воде. Тихо. Очень тепло. Легкий ветер. Настроение тоже тихое. Легкое и теплое. Вспоминаем детство: Стрелку, Романа, Гельсингфорс, Иматру. Кругом ходят новые люди, молодые поколения, которым вспоминать не о чем и нечего. На пляжах загорелые тела, сильные, но некрасивые. Думаю о том, что влюбленная женщина с сильно развитым эстетическим чувством может молиться на красоту мужского прекрасного тела.

Вечером — поздно — Тотвены. Удушливая скука, одно сознание которой приводит к почти истерическому веселью. Мадам дарит мне очаровательное заграничное шелковое белье. Злая мысль: еще не поздно.

Мои ученицы сдали блестяще литературу, и я радуюсь за них так же, как если бы сдала сама я. По-видимому, все-таки нужно будет пройти и мне через государственные экзамены[356]. Я до сих пор не встречала никого, кто бы знал французский язык лучше меня.

Сегодня — дома. Жарко, солнечно. В комнате чудесные ароматы отцветающих лилий. Какое несоответствие запаха цветка и его символической формы! Монахиня, надушенная «Ориганом Коти».

Ничего не делаю. Только внимательное, как всегда, чтение газет. Сегодня много о Горьком. Жаль, что никогда не встречалась с ним. А сделать это было просто: «Всемирная литература»[357] мне не была чужда. Удивительной улиткой я жила в те годы. И как поздно, как трагически и прекрасно раскрылся передо мной мир и восприятие его. В те годы — несмотря ни на что — я была девочкой из волшебной сказки, наивно и слепо верующей в свой сказочный мирок, такой неинтересный, если отбросить от него вымыслы и иллюзии, такой ограниченный и скучный.

Нынче вечером придет Миша Фиш — тот самый Миша, который был в компании моих «мальчиков» и любовь которого ко мне служила темой бесконечных пересудов и издевок в окружении того времени. Женат. Сыну уже

4 или 5 лет. Не виделись давно. Жил в Москве; бывая здесь, умышленно не бывал у меня. Недавно пришел — вместе с Виктором Поповым (для храбрости!), но не застал дома ни меня, ни брата. Мы смотрели в тот день хороший фильм «Гроза»[358]. Мама рассказывала: сидели в моей комнате, говорили о разном, перебивая друг друга, Миша нервничал, накрошил спичек столько, что после его ухода пришлось подметать комнату, смотрел на вещи и все время утверждал: «Это по-старому... все по-старому... и пианино так же стоит, и письменный стол, и диван... вот лампа — новая, полка — новая...»

Да, это — очень новое. Очень.

Жизнь циклична. У людей, по-видимому, свои орбиты. Вот и опять встречаемся. Интересно было бы это проследить по-настоящему, какие законы управляют пересечением людских жизней?

И вечером же — ночью — буду на вокзале: с Мишей пойдем провожать Виктора Попова, уезжающего на Дальний Восток. Во Владивостоке он хорошо зарабатывает и хорошо одевает себя и жену.

Вокзалы. Семафоры. Огни. Сколько воспоминаний.

28 июня, понедельник

Вчера — день в Пушкине. Солнечно. Вечером — свежесть и грустное небо с огромной сказочной луной (из русских сказок, где Иван-царевич и Серый волк). 2 июля уезжаю «на дачу» (это вот очень смешно — я и дача!). Буду жить два месяца в Пушкине, на Песочной улице, в комнате, за которую я плачу 150 рублей в месяц. Что из этого получится, мне неизвестно. Окружающие предполагают, что я потолстею, поправлюсь и верну свои «краски». Я тоже так предполагаю. Все ведь может быть.

22-го из Кировска прибыл отец. Он бросил службу в Кировске по собственному желанию и по непонятным мне причинам: климат, снег в июне, маленькие масштабы работы, возможное сокращение производственного плана в будущем и его административное волнение за свою судьбу. Сейчас живет в Ленинграде на Васильевском и целыми днями сидит у нас. Поправился, хорошо выглядит, врачи на комиссии, через которую он хотел получить инвалидность, сказали, что таких инвалидами и нетрудоспособными признать не могут. Читает газеты, перелистывает книги, разговаривая о прежнем и о новом, понимая все по-своему и раздражая меня (и нас всех!) своими концепциями. Пока никаких служебных перспектив. Выжидание у моря погоды. Расчет на восстановление прежнего status quo. Выкинутый из жиз-

ни человек, которого никто не подбирает. В Доме — холодноватая любезность. Вежливость, твердые и непрозрачные стенки, которых он замечать не хочет. Пошел тринадцатый год его разрыва с матерью. Тринадцать лет — срок долгий. Человек для меня перестал существовать. Говорить нам не о чем. Очень бы хотела, чтобы устроился на службу куда-нибудь подальше. Отвыкли — и тяжело.

Человек сам себе переломал и испортил жизнь, а теперь, по-видимому, удивляется и обижается, почему люди, которым он сделал много зла, не в восторге от встречи с ним, не обожают его и не умоляют восстановить торжественно разрушенный им когда-то дом. Примитив.

Настроение у меня замороженное. Дома больше не улыбаюсь. Это все сильно стимулирует мое согласие на отъезд в Пушкин. Может быть, там будет даже хорошо. Ежедневные встречи с Т. Гнедич[359], интересным и утомительно-культурным человеком. Мысли о собственном хозяйстве, потому что там я, привыкшая к чужой заботе о себе, буду заботиться о себе сама. Все это забавно — очень.

Я гораздо больше говорю о радости жить вне города и именно в Пушкине, нежели чувствую это на самом деле. Там мне будет скучно — раз; там я буду себя чувствовать на постоянном эталаже[360] — два; там я буду жить не собою, а каким-то публичным достоянием — три. По-моему, этого уже достаточно.

Гнедич приемлет мир умом и разумом, расцвечивая его лирикой чувства (осторожно!), как слегка подкрашивают карандашный рисунок. Пишет чудесные стихи. Дни наши в Пушкине будут английские, французские и русские. Новая игра. Собирается поучить меня францисканской благостности[361] в принятии мира. Смеюсь: меня испортила доминиканская инквизиция[362]. Странно, что у Гнедич — русской — католическая концепция религии. И все ереси ее — тоже католические. Предки, должно быть.

Перед дворцом Екатерины, со стороны плаца, в тихий предвечерний час, когда над дворцом и пустынным плацем так нежно голубеет бирюзовое небо, говорим о том, что Екатерина должна была увидеть однажды дворец таким, каким мы его сейчас видим, — пустынный плац, молчаливые этажи и яркоалый флаг, прорезавший небесную лазурь. Это было во сне, и она страшно испугалась Робеспьерова знамени над благословенным дворцом императрицы Российской. Может быть, потом Протасова[363] ее спрыскивала с уголька от дурных снов?

На днях: «Астория» и Артемов. Реминисценции прошлого. Какая память, как мучительно помнит все, как еще боится меня, как еще болен мною.

А годы прошли — и годы долгие.

«Да, память сердца вовсе не легка!»[364]

Во мне — обычная игра и кусочки неожиданной правды, принимаемые за игру.

Возвращение под утро в белую ночь с таким удивительным небом, холодным от света и далеким от света.

Писать можно бы о многом — и не хочется. Все меньше и меньше тянет к бумаге, все скупее и скупее становится душа.

Грустно сегодня — оттого, должно быть.

А ведь все есть. Я так беспредельно богата. Мне столько дано. Я стольким владею. Я — как царица.

Смешная я. Чего же мне еще надо? Чего?

Ордена.

5 июля, понедельник

На даче я, по-видимому, жить не умею. 1-го Эдик проводил меня в Пушкин, была хорошая погода, мы с ним прекрасно провели день и вечер, пили чай на Камероновой галерее[365], обедали в Александровском дворце, смеялись, шутили, болтали. В начале двенадцатого он уехал в город, вернулась к себе, говорила с хозяйкой, улеглась, плохо спала, боялась клопов, но клопов, к счастью, не оказалось, а наутро начался дождь, под дождем и под зонтиком я пересекла пустынные и душистые парки, не застала дома Гнедич, которая работает с американцем в городе, и в 7 часов уже была в Ленинграде, вымокшая до нитки и недовольная судьбой. И сижу в Ленинграде до сих пор, хотя на свете солнце и синее небо. Я не знаю, что нужно делать на даче. Я не знаю, как это люди отдыхают. Мне очень жаль, что сейчас у меня нет работы, что я закончила все педагогические занятия и отказалась во имя отдыха от серии переводов. Один большой перевод на лето я все-таки приняла, хотя все окружающие недовольны моим поступком (ведь деньги у меня пока есть), и лихорадочно жду дня, когда автор закончит свой русский текст. С работой мне всегда хорошо: думаешь только о работе и отдаешься всецело узкой области науки и языкознания. И самым важным кажется элегантно построен-

ная фраза и правильно подобранная терминология. Все же остальное сразу теряет свое первостепенное значение. И это — очень хорошо.

Дома: каждодневные визиты отца. Приходит к завтраку, уходит после обеда. Пустые разговоры, поддерживаемые с большим трудом. За обедом, например, популярно-научные беседы о рыбах, о Тихом океане, о птицах, о крокодилах. Все устали смертно: мама, Эдик, я. Отец пишет письма, читает газеты, спит, рассматривает картинки в книгах, вспоминает о своих миллионах и жестоко и тупо злится, что их у него отобрали. А мы с ужасом и с болью вспоминаем то время, когда у него были миллионы и когда нам всем было так страшно и тяжело жить.

— Что вы ни говорите, а все-таки в старое время нам всем жить было лучше, — говорит отец.

— А вот мне гораздо лучше жить теперь, — говорит мама. И говорит это она вполне искренне.

Вчера вечером — Киса, вернувшаяся на днях из санатория в Геленджике. Загорела, похожа на явайскую танцовщицу. Оставила у меня свои любовные письма от Папазяна и пропагандиста, чтобы не нашел случайно муж, который окружает ее нынче большим вниманием и, боясь потерять, заявляет, что жить без нее не может и жизни без нее не мыслит.

— А ты без него можешь, Киса?

Подумав, ответила очень серьезно:

— Могу.

И добавила:

— Мне его очень жаль, вот и все.

На дачу выеду, вероятно, завтра или послезавтра. Ехать не хочется. Что я там буду делать?

Чтение Верлена и Дневников Блока[366]. Вспомнила, что в тюрьме (1935) томила жажда книги (вообще) и почему-то (в особенности) дневника Блока.

7 июля, среда

Пока еще в городе. Ехать в Пушкин не хочется. То дождь, то солнце. Уеду сегодня или завтра и пробуду числа до 15—16-го. С природой стыков нет: объективное признание красот и внутренняя искусственная враждебность.

Не надо ничего любить.

Не надо ни к чему привыкать.

Человек должен освобождаться от всяких привязанностей.

5-го вечером ужинала с Мишей на Островах. Относится по-старому — влюбленно, гордо и обидчиво. Не виделись давно, а помнит все, обо многом напоминает, обо всем вспоминает. Хорошо, томительно и скучно. Знаю: достаточно одного движения руки — легчайшего, — чтобы полетела к черту вся его брачная жизнь: и жена, которую не любит и стыдится, и ребенок, которого отдаст мне.

— Почему вы не вышли за меня замуж?

Об этом же спросил и Артемов. Странно мне слышать это. Неужели никто из них никогда не думал, что из меня трудно сделать «жену», что во мне нет элементов «жены»? Иногда мне кажется, что, может быть, мне было бы хорошо с Николенькой. Он знал какие-то дороги ко мне, которые не знал никто другой. Может быть... Мне очень жаль, что с прошлого лета он исчез с моего пути и я о нем ничего не знаю.

Вчера: нудный день с отцом, который накануне до 6 часов утра играл в карты у Зайковских. Уединились с братом в моей комнате — читали английские и французские тексты, шутили, что в своей квартире нам нет места. Вечером прогулка с ним по Университетской набережной, через Александровский сад и Конногвардейский бульвар к троллейбусу. Сад и бульвар полны здоровой и веселой молодежи. Глупые, довольные, радостные. У мужчин розовые затылки, женщины маленькие, коротконогие, крепко сбитые. Было очень интересно. Новые поколения, новые лица. А молодость везде и всегда та же самая.

Город чудесен — великолепно-холодный и одинокий. Между людьми и городом — стенки.

15 июля, четверг

На даче я себя чувствую старым холостяком, который никому не нужен и не знает, что с собой делать. Он в одиночестве ходит подолгу по паркам, засиживается нарочно в ресторане, растягивая обед до предела возможности, неизвестно зачем (или для того, чтобы «убить» одинокое время?), на усталых ногах выстаивает долгую всенощную в лицейской церкви, вечерами вяло и поучающее беседует с молоденькой квартирной хозяйкой и цепляет-

ся за скудный ассортимент деревенских развлечений: кормит из окна стаи белых кур, принадлежащих разным хозяевам и для отличия помеченных по крылу разными красками, разговаривает с огромной и глупой рыжей собакой, смотрит, как на дворе женщина моет бледно-розового поросенка (женщина ругается, а поросенок визжит — и оба делают это очень громко и неистово), интересуется, как нижние жильцы колют лед для мороженого, как старичок полет грядки, какой стремительной стрелой пробегает под яблонями хорошенькая дымчатая кошка. Потом он читает, забравшись с ногами на диван, но читает плохо: мешают мысли о том, что он один, что нужно бы приготовить чай, да испортилось электричество, что где-то — страшно далеко — есть дом и семья, где он и нужен и любим, что все это похоже на ссылку и на книгу Гюисманса «A rebours»[367], что трудно, трудно быть человеку одному и не иметь радостного завтрашнего и заполнять чем-то часы, лишь бы они прошли скорее, и ждать чуда здоровья, которое не приходит, и не делать ничего, чтобы ускорить и обусловить пришествие этого чуда.

Выгляжу очень плохо — бледность восковая, мертвая. На воздухе синеют ногти. Сердечные явления не прекращаются. Нервные вспышки тоски и страха. Боли в пояснице, в лопатках. Ходить трудно, но хожу много. Все эти дни погода хмурая, холодная и дождливая. Осеннее небо. Осенние блески воды. Парки пустынны. Среди прохожих — главным образом молодежь и дети. Стариков немного. Людей средних лет удивительно мало. Лица такие, как на портретах в газете.

За все время Гнедич видела только один раз и — неожиданно для себя самой — без удовольствия. Разговоры о Шекспире и о взаимовлиянии английской и французской литературы в XVIII веке.

11-го обедаю в семье Сидоровых, где знаю только славных и молоденьких дочерей, и знакомлюсь с Иваном Михайловичем Гревсом, который был моим чудесным утешением в университетские годы[368] и о котором до настоящего времени сохранилось самое нежное и чуть печальное воспоминание. Постарел. Побелел. Выходец из другого мира. При встрече с ним — радостный шок и перестановка времени: не я и не он сегодняшние, а те, вчерашние, эпохи 1919—1921 годов. Он растроган встречей со мною, жена его, маленькая старушка, похожая на испанскую даму, с жаром просит меня бывать у них в Ленинграде. Обещаю. Буду бывать. Очень бы хотела освободиться от R[369] и переключиться на другого «святого мудреца» и, кажется, знаю, что ничего из этого не выйдет. Мне ведь нужно быть спокойной, мне нужны мир

и тишина, я устала, я, по-видимому, больна серьезнее, чем думаю, у меня очень-очень мало сил — всяческих. Мне нужен мир, его я не имею.

Вчера вечером — в городе — Анта: сплетни о Г.Г.И. (неприятные) и ее чтение Маяковского за чаем. Какой великолепный трибун! Мама слушает с умным восторгом. Среди старых людей старого мира я не знаю почитателей Маяковского. И мне очень радостно и гордо, что мама его любит и понимает. Какая она у меня чудесная, и как в ней много бурной и веселой молодости!

Отец, к счастью, уезжает 19-го в Москву. От этого известия сразу стало легко, просто и радостно.

19 июля, понедельник

Несмотря на плохое состояние здоровья (много крови и большая усталость), чувствую себя прекрасно. Что будет завтра, не знаю. Болеть не хочу. На днях уеду в Пушкин. Завтра в университете получаю какую-то работу (хотела ведь не работать летом, но... без работы, оказывается, не могу), через пару недель — из Морского отдела[370].

С отцом — хладнокровно сухое прощание после обеда. После его ухода — облегчение (ни завтра, ни послезавтра!). Чужой. Очень чужой и очень далекий.

Погода лучше: солнце, тепло. Мерзнуть, однако, продолжаю. Мне редко бывает тепло.

А у Экклезиаста: «Суета сует и всяческая суета»[371].

Август, 2, понедельник

Все время дожди, дальние грозы, холодно. В Царскосельских парках удивительные ароматы и первые желтые листья. В этом году с природой не сживаюсь и не говорю ей «ты»: трезвые объективные оценки. «На даче» скучаю, нервничаю и плохо себя чувствую. Приезжая в город, сразу зацветаю счастьем и радостью и становлюсь легкой и красивой. Каждый день здесь великолепен и неповторим. Каждый час здесь высок и прекрасен.

Мне очень хорошо.

Мне никогда так хорошо не было.

Встречи с какими-то людьми, которые проходят в сознании очень далеко: Киса со своей работой, поклонниками, истерическим ужасом перед воз-

можной беременностью, которая оказывается только простудой; Ксения, пославшая мужу в тюрьму извещение о разводе, афиширующая свою близость с еврейским юношей, культурность которого должна делать фурор в среде его провинциальных родственников, думающих о завтрашнем дне — вышлют или нет? конфискация будет или нет? Анта с упреками и недовольством редкими встречами; Эмилия, классическая дура с красивым лицом, от которого не знаешь, как отделаться; обиженный Миша; милый Борис, который получил назначение в Севастополь; Николай Михайлович[372], приносящий грибы и чернику, полуграмотный человек, в котором интеллигентности больше, чем во многих интеллигентах.

О ком писать? О чем писать?

Люди — тени от Тени.

Пусть падает дождь, пусть... пока я в городе, мне все равно. Даже если дни и часы не надушены самыми любимыми духами — «Impatience» и «Taamouz».

Вечером: Борик, его мать, его беременная молоденькая жена, один вид которой неистово пугает Эдика.

— Такие должны были бы лежать в больнице, а не ходить в гости!

За чаем мучительные разговорные дороги — дальше плоскости рецептов еды, советов от чрезмерной полноты и сердца, воспоминаний о Кэто и Димитриенко дело не идет. Скучно так, что даже смешно. Гиперболическая скука, перерастающая в нечто грандиозное. Какая обывательщина!

3 августа. Вторник

Парикмахер. Незнакомая маникюрша, режущая безжалостно руки. Пустой день. Чтение речей Кирова: интересный человек. Элемент огня. Вечером жду Анту, которая обещала приехать и не приехала. Настроение портится: не оттого, что она не приехала, а оттого, что трудны пути Синей Птицы и что бывают дни, когда, прямо глядя в будущее, я ясно чувствую временность ее пребывания в моей жизни и дальнейшие годы одиночества, холода, безнадежности, годы «последней человеческой зимы», по выражению Пильняка[373]. От этого делается страшно и грозно. Куда же я пойду тогда?

4 августа, среда

Традиционный день. Традиционная прогулка под легким дождем. Мысли. Воспоминания. В сердце и в руках — дрожь, которую не остановить.

Пусть мертвые спят! Пусть мертвые спят!

Позже: прилив нежности, тоски, отчаяния, радости.

Еще позже: неожиданный приход Ксении. У меня дрожат руки, и губы непокорны и горьки.

— Почему у тебя такие синяки под глазами? Ты больна? Ты мерила температуру?

Ксения смотрит на меня с тревогой и непониманием. Ах, разве я знаю, что со мною? Мне все равно. Во мне растерянность и горечь. Я смотрю на ее жакет, распяленный на стуле, и вдруг воображаю неизвестно что, беру жакет, уношу его в переднюю, вешаю в шкаф, думаю — почему брат оставил у меня свой пиджак, как же он вышел на работу? Почти механически ищу его ключи в кармане — и натыкаюсь на душистый дамский платочек — и холодею от удивления — и соображаю, что это жакет Ксении, а вовсе не пиджак брата. И сейчас же ловлю то удивленное молчание, которое царит в моей комнате.

— Я хочу твой жакет повесить на плечики, — говорю я из передней, — а то жалко...

— Да не надо! — восклицает она. — Иди сюда! Ей-богу, смерь температуру...

Может быть, мне и нужно было смерить температуру. Было мне очень нехорошо.

Вечером: у Борика — отвальная, его рождение, именины матери. Множество гостей — главным образом кавказские люди, которые меня знают и которых я никогда вовремя не узнаю. Шумно, бестолково, мещански, скучно. Тосты, тамада, грузинские застольные песни, шутки о будущем ребенка Борика и Геты, плач новорожденного младенца, которого мать принесла с собою в гости с ночевкой, захмелевшие старые дамы, подвыпившие почтенные люди.

5 августа, четверг

Солнце. Тепло. Уезжаю на дачу.

По-видимому, надо будет обратиться к врачу: с сердцем делается что-то сумасшедшее. От этого — трудно жить.

15 августа, воскресенье

9-го вернулась в город: до этого были парки, солнце, зелень, Гнедич, заумные разговоры, стихи и «Лебеда». После этого — были дни радости, по-

лета и закрытых глаз. Очень трудно говорить о времени, когда оно исчезает. Очень трудно говорить о жизни, когда в нее вступают элементы сказки и превращают «Une Vie» в «La Vie»[374]. Все так радуются, когда я приезжаю домой, — и я тоже, я тоже! — словно Пушкин — это Арктика, словно пятидневное отсутствие — это годы.

Все это делает любовь.

Новостей (из жизни) мало: отец еще в Москве, еще не устроился, пишет маме глупые письма. У Ксении все по-старому: встречаюсь с ней только по телефону. Заходила Киса, которой я доверила маленький перевод на английский. Перевод забракован. Пришлось переделывать мне. Иногда я удивляюсь себе — своему техническому чутью и «ощущению» языка, если можно так выразиться.

Чтение разное. Малолюбопытное вообще, если не считать французских пьес. О, Пиранделло!

— Я та, за которую вы меня принимаете![375]

Сегодня под проливным дождем ездила на Миллионную — отвозила текст исправленного перевода. Улицы были пустынны. Небо висело серое и ровное. Проходила мимо дома Кэто — улыбнулась прошлому, как милой картинке, и мгновенно забыла. Не люблю идти по мокрому асфальту Дворцовой площади: отражения, колебания. Кажется: идешь над водной бездной. Промокла насквозь — до белья, до тела. Не заболею.

Закурила душистую папироску. Посмотрела на красную гвоздику в стакане. Посмотрела на часы. Скоро пять.

Завтра, вероятно, уеду на дачу — в одиночество.

Сентябрь, 17, пятница

Дачи больше нет — уже давно, — и это очень хорошо. Дачные деньки были выброшены впустую. Прибавление веса — 1 кило — стимулировано, конечно, не дачей, а кулинарным искусством мамы и ее специальными заботами о моем здоровье и тем, может быть, что мои городские дни в дачный период были безоблачны и прозрачны.

Мое неумение обращаться со счастьем и с его расходованием приводит к тяжелым часам молчания (когда мне сказать действительно нечего) и к слезам на любимых глазах. Как только в мир и жизнь возвращаюсь я — вот эта, — в мире становится холодно и неуютно, а жизнь испуганно теряет все

свои краски и облачается в привычную для меня неряшливую прозодежду. И дни начинают идти четко и однообразно, по жестко вычерченной и опять-таки привычной линии. Часы размечаются только по признакам утилитарности и материальной необходимости (ученики + работа + деловые телефоны + нужные книги = жизненной арифметике). И если в эту размеренную арифметику вклинивается неожиданный час Синей Птицы, он встречается холодно и сурово-надменно.

«Не нарушайте моих кругов, — мысленно говорю я, — мне ведь очень трудно их строить, очень».

Удивительно легко и просто я теряю связь с человеком. Мне достаточно переключить какие-то внутренние эмоциональные планы, чтобы вчерашняя насущная необходимость в человеке превратилась в чуть враждебную отчужденность. И тогда я вижу и встречаю **чужого**, к которому нужно (и еще неизвестно: нужно ли?) привыкать заново. Несмотря на мою внешнюю любезность, веселье, внимательность и общительность с действительно чужими, то есть посторонними, людьми, я на самом деле очень неручная. И отвыкаю быстро. Это, по-видимому, спасительная черта: я в жизни мало знала трагедий разлук и переживала их тихо. Больнее всего — и дольше всего — дались люди чисто отвлеченного плана: их было двое, и одному из них я еще не изменяла до сих пор и, вероятно, не изменю никогда. Возможно, это будет моя единственная верность.

Свежо. Солнце. Дожди. Виноград и гниющие дыни. Легкий листопад в пушкинских парках, где несколько дней тому назад были с братом. На городских улицах бываю только по неотложной необходимости. У букинистов много хороших и ценных книг: сейчас много высылок в Ленинграде — должно быть, поэтому. Но книги довольно дороги. Переводы для университета и для Института водного транспорта. Педагогический сезон открылся только для Гржибовской и для Райской. Обе кокетничают со мной и делают в диктовках по 10 ошибок (а это V курс иностранного вуза!). И разговаривают не блестяще. Завтра именины Гржибовской — пойду в своих знаменитых кружевах очаровывать ее родственников и знакомых. Дом у нее совсем на старинную ногу: обильный, богатый и очень vieux temps[376]. В этом сезоне симпатии к ней гораздо меньше, чем в прошлом: в ней мало простоты, и это жаль. Минутками она бывает совершенно очаровательной, когда почему-то забывает, что нужно играть ту роль, которая, по-моему, ей даже не подходит.

Ксения в Гаграх, муж ее пока еще в тюрьме. Киса в Москве на теннисных соревнованиях. Просила ее позвонить Ник. С трудом разыскала его телефоны. Разыскивая, наткнулась на старые письма. Просмотрела. Хорошо писал — и знал (о, знал!) дороги ко мне. Из всех людей, любивших меня, он был самым умным и самым интересным противником. И в любви его — теперь я знаю — было много ума и расчета. Любовь его была так же хороша, как стихи. Читая стихи, редко думаешь о законах стихосложения и о числе, господствующем над ритмом.

Читаю много, неразборчиво, соединяя старые английские романы (вдобавок читанные когда-то!) с Франсом, Селином, экономической географией и климатологией. Найдя на моем столике детскую книжку Mead, Гнедич справедливо возмутилась: неполноценное использование времени. Она права. Когда вижусь и беседую с нею, ясно ощущаю свою непродуктивную трату энергии и времени. Из каждого дня она извлекает какую-нибудь драгоценность. Я же главным образом извлекаю рубли и копейки. Мой интеллектуальный багаж пополняется извне и скупо и скудно.

Отец только недавно изволил выехать в Свердловск, обиженный на меня, по-видимому, за то, что я не предоставляю ему финансовых возможностей жить под Москвой, не работая. Но что же я могу сделать, если именно этого я сделать не в состоянии? Обменялись с ним резковатыми письмами — не по этому поводу, конечно, а по поводу его потрясающей, головокружительной, ошарашивающей болтливости. Как и следовало ожидать, не понял меня и немедленно обиделся. Господи, это продолжается всю жизнь — и обиды и непонимания!

19 сентября

Вечер: телефонный разговор с профессором Ляхницким о переводах. Потом парикмахер, маникюрша. В хорошем (беспричинно) настроении ухожу к букинистам. В лавке Северморпути покупаю интересные книги и веду интересный разговор по-французски с неизвестным молодым человеком. Как странно, что ко мне так легко идут люди. Разные люди. Неожиданные. Мысли о том, что параллели — непараллельны.

Именинный вечер у Гржибовской[377]. Нарядно, шумно; прекрасный, немного тяжелый ужин. Дарю ей два изысканных томика Мюссе. Она и Райская попеременно устраивают мне сцены ревности. Появляется «кузнечик»

Чепрыгин, которого не видела долгие-долгие годы. За ужином сижу между хозяйкой и любопытным человечком из литературно-театрального мира, который о больших людях говорит без фамилий:

— Антон Палыч называл меня «индивидуум»... Лев Николаевич прямо покатывался, когда мы с Сулержицким (здесь имя и отчество не так обязательны) отплясывали кэк-уок... Письмо ко мне от Владимира Ильича... я был ближайшим помощником покойного Анатолия Васильевича: смею утверждать, что Художественный театр мы с ним спасли вдвоем...

Зовут его Владимир Александрович Брендер. Имени его я никогда не слыхала. Ему 54 года, и от него сбежала жена с дочкой; девочку он, по-моему, мучительно любит.

И это именно он в фейерверке рассказов, анекдотов и имен сказал мне следующее: в начале года, в Париже, получив уже в полпредстве советский паспорт, от разрыва сердца умер Замятин. Я переспросила. Мне очень не хотелось, чтобы это была правда. Мне до сих пор не хочется этого. А ведь я твердо рассчитывала, что с этим человеком — таким важным в моей жизни — у меня будет еще не одна встреча[378].

Странно все-таки — и нехорошо.

У Гржибовских я пробыла очень долго — почти до рассвета, много смеялась, танцевала, разговаривала. И все время слушала свое сердце как нечто большое, холодное и совсем потерянное. Ему было очень больно — очень.

А сегодня — Летний сад. Накрашенные губы и накрашенная душа, и солнечный Петербург, похожий на старинную раскрашенную гравюру.

Вечером: Анта. Чувствую себя разломанной и чужой.

25 сентября, суббота

На всех столах в моей комнате — цветы, и все они увядают. Как обожженные огнем, погибают очень темные — почти черные — розы. Морщатся хризантемы, и желтеет алый и розовый шпажник. Как много цветов умерли в моей комнате за эти годы! И как много цветов в ней расцвело и цветет по сей день!

Осень. Вихри. Дожди. Солнце. Отец на Урале — на Богословском заводе. Это уже, по-моему, сибирские отроги.

О.К. Блумберг помещена в психиатрическую больницу им. Балинского: черная меланхолия — и, по-видимому, не мирного характера. За несколько

дней до больницы звонила ко мне, говорила странные и непонятные вещи, просила помощи. Я не могла понять, чего она от меня хочет.

— Я ничего не могу объяснить. Мне казалось, что вы можете мне помочь, вот и все. Оказывается, нет...

Оказалось, нет. А может быть, я и могла бы ей помочь? Но чем: человеком или книгой? Не знаю, не знаю.

Недавно у Гнедич, где все очень бедно, очень мизерно, очень неприглядно, кроме жизни духа, встретила юного второкурсника Эткинда Ефима[379], как он сам представляется. Красивый девятнадцатилетний юноша. Романское отделение. Знает три языка. Любит и чувствует книгу. Переводил для себя Гейне, Верлена и Агриппу д'Обинье. Читал стихотворные переводы Киплинга, написанные каким-то приятелем, таким же девятнадцатилетним юношей. И стихи и перевод весьма нескверные. Смотрела на него, радовалась радостью зрелой, немолодой и чистой: как хорошо — есть, значит, такая молодежь, которая с флиртом и физкультурой соединяет латынь, языкознание, стихи Малларме и трагедии Эсхила. Как хорошо, что такая молодежь существует! Как хорошо, что я встретилась с ее представителем и узнала, что он — только один из многих. От этого стало легко и горько. Горько потому, что я остановилась, что за последние годы я ничего не приобретаю, что в свободные часы я могу либо вообще ничего не делать, либо читать неразборчиво и бессистемно, как всегда. А годы идут. И я оскудеваю.

Гнедич уверена, что через два года я буду защищать кандидатскую диссертацию.

А я в этом совсем не уверена.

Гнедич твердо знает, что жизнь я должна кончить доктором es letri[380], написав нечто блестящее и умное о французской литературе Средневековья и о Вольтере. А я этого не знаю.

Литература! Равель! Леонардо да Винчи!

Да, да, это я, это, конечно, я, но та, которой мне быть не положено, та, которой я могла бы быть, та, о которой я иногда грустно и гордо мечтаю, как о нерожденном сыне, как о ненаписанной поэме, как о неповторимых мигах прошлого.

Мечтающий солдат — плохой солдат.

И я запрещаю себе даже мечтать.

Вот ворошиловским стрелком[381] я стать могу.

Октябрь, 10, воскресенье

Конец сентября и начало этого месяца в большой работе: порт, университет, ученицы. К педагогике теряю вкус — становлюсь вялой, уроки провожу средне. Мне надоело. И все некогда, некогда. Работа, портниха, неудачные попытки купить черные замшевые туфли, замазка окон, дрова, скучные люди, редкие встречи с Синей Птицей.

На днях: Гнедич и Павловск. Гейне («Deutschland») и Пастернак («1905»)[382]. Великолепные краски, буйная листва, всегда новые аспекты пейзажей.

Очень легко, очень далеко проплывают воспоминания: черненькая книжечка — Николь — что-то еще...

Как хорошо: в осенний день
Сквозь непроглядное ненастье
Знать, что оно пришло ко мне,
Мое мучительное счастье...[383]

Мысли ласковые, тихие. Очень хороший день.

Событий много. Всяческие события. А писать не о чем.

16 октября, суббота

После ослепительных часов дня, когда и тело и душа говорят только стихами, — сумерки, дождь, улица. В лавке на Жуковской покупаю Маяковского и Чуковского (о детях)[384]. Думаю о книгах, о лавке, о том, что дождь, что хочется поехать дальше, что в трамах много народу, что где-то зовет меня голос — мой голос, самый любимый голос неизвестного и любимого, что голос будет звать меня напрасно, что я не приду, что я скована.

Как необычны круги моей жизни! И сколько в жизни моей тьмы, настоящей тьмы. Озаренная небывалым светом, окрыленная небывалой страстью (огонь — чистота), я все-таки стою во тьме, и пути мои ночные.

Мне очень хорошо, и мне очень тяжело.

De profundis clamavi ad Te[385]. Но пусть, пусть будет все, что будет, лишь бы осталось то, что есть.

На днях — два чудесных вечера в филармонии. После долгого перерыва — Сигети[386]. Моя душа вновь легла рабою под его смычок. Пришли мыс-

ли о безымянной девушке из «Замшевых башмачков»[387]. Может быть, теперь она не думает о своих замшевых башмачках, лоснящихся и потертых, как подол судомойки? Может быть, идя на концерт, она долго выбирала духи, белье, платье, красила губы, улыбалась в зеркало воспоминанию дня, а не десятилетия — знала, что жизнь у нее обеспечена и прекрасна, — знала, что в жизни ее цветет настоящее и большое чудо, — и шла на концерт, как идут на кладбище: навестить могилу очень близкого и очень далекого человека, жизнь и смерть которого в жизни еще живущего человека больше не звучит.

Сигети был великолепен. У него печальная полуулыбка и невеселое лицо. Мне показалось, что он болен какой-то долгой и нудной болезнью. К музыке он относится, как верующий монах к своему Богу. Его хорошо бы слушать не в концертном зале, а в церкви.

Холодно. В Москве, говорят, выпал первый снег.

22 октября, пятница

Напряженные и трудные дни. Нервничаю — знаю, что глупо, что делать этого нельзя, но...

Какой я нервный солдат!

Дела, определившие мою жизнь (единственные). Дивные сумерки в Летнем — голубые, с дымной оранжевостью над далекой Невой. Зябнувшие статуи прячутся в домики. Листопад. Безлюдье. Сижу, курю, думаю: город пуст, город совсем пуст. Если пройдут годы — долгие годы — и я буду жива, я снова приду в сумерки в Летний сад и вспомню о сегодняшнем дне. Я вспомню эти голубые предвечерние тени, этот тихий пепел, падающий с тускнеющего неба, — и улыбнусь.

Ноябрь, 4-го, четверг

Через смятение Vierge Eternelle[388] темные и ласковые пути Фрейи.

XX годовщина, 6, 7, 8 ноября

Великолепные озарения почти счастливых дней. Цветущие руки, цветущее сердце. О будущем — не надо.

10 ноября, среда

Фрейя зла, грустна, сбита с толку и больна. Она ничего не понимает, ничего не прощает и ничего не хочет, кроме собственной жизни, теплой жизни собольего звереныша.

На сцену вновь выплывает старый халат Анатоля Франса[389]. В таком одеянии, конечно, можно жить (и даже следует, пожалуй), но умирать в нем нехорошо.

Самой прекрасной смертью умер Феликс Дзержинский[390]. Вот человек, никогда не знавший халата Анатоля Франса! Жил в огне, огнем выжигая гнойники преступлений и заразы, не заботясь о том, что попутно огонь сжигал и прекрасные ценности человечества, и, чувствуя смрады и зная о боли, знал только сады **своих** белых лилий. У него тоже была Синяя Птица, и служил он ей, как рыцари служили даме.

14 ноября, воскресенье

12-го — пустой день. Работа над гидротехническим словарем.

13-го вечером — Кэто. Милый котенок.

Сегодня трудный день (по настроениям). Вечером в театре: смотрела, как играет жена нашего жильца, молоденькая актриса, дочь знаменитого балетчика Леонтьева. Переехала она к нему на днях, бросив мужа, талантливого и хорошо зарабатывающего инженера Левина. Нарядная, вся в заграничных вещах. А у нашего юноши Котлярова, кроме домов, туманных афер и клопиного царства, ничего за душой нет. Это, может быть, тоже называется любовью.

В театре в партере сижу одна, недвижно, ни разу не сойдя с места. Аудитория рабочая: принимает все искренне и примитивно. Реплики с мест — в помощь герою, который нравится («не верь ему, не верь! — слабо, не обманешь!» и т.д.). Потом, в уборных, смотрю, как разгримировывается Леонтьева. Скучаю. Трамвай 37 напоминает остро о Покровской площади[391].

15 ноября, понедельник

Ничего. Работа по геологии.

16 ноября, вторник

Легкий снег. Геология. Английский. Бессонница — ночами читаю. Днем не позволяю себе заниматься чем-либо другим, кроме работы. Если и читаю, то только технические и научные книги. Замораживаюсь все больше и больше. Работа. Деньги. Платежи. Технические совершенствования. Ночью — Франс, Фейхтвангер, Голсуорси, редко — поэты. Все — мимо, все — не для меня.

Единственный человек, который не предает меня **сознательно**, это моя мать. Единственный человек, к которому у меня жива вера. И больше — ни-ко-го. Весело? Очень.

17 ноября, среда

Деловые неудачи, вызывающие глухое — и почти злобное — настроение. Бессонница. Одиночество. Тоска. Во время утреннего завтрака — неожиданное письмо от Р. Трудный разговор с мамой на эту тему. Нет, нити еще не порваны. Нити еще несут. Если Николенька знал какие-то дороги ко мне, то Р. знал настоящие дороги.

Что же мне делать? Будем молчать — вот и все.

В тот же день; 7 ч. 30 мин. вечера.

Состояние такое, как после очень тяжелой и долгой болезни. Жить трудно и слабо. Тянет лежать, молчать, ничего не делать — может быть, плакать — не то от слабости, не то от каких-то обид.

Каждый день, ложась спать, думаю: как хорошо, что день **уже** прошел, как жалко, что день **еще** будет.

В таком состоянии, как сейчас, очень легко и просто уйти из жизни.

30 ноября

Сегодня Ксения уехала в Вятку. Не помогло ничто: ни развод, ни пустое отношение к аресту мужа, ни отсутствие передач. Она не знает, где он. Бодрится. Держит себя хорошо. Но страх перед одиночеством огромен, и тоска от неизвестности будущего велика. Уезжает с крупными деньгами — и это уже хорошо. Уезжает все-таки в большой город — и это тоже хорошо.

Легковесны и временны жизнь и дела человеческие.

С городом прощалась, как с живым человеком, любимейшим и единственным. И образ города — в ней и с нею.

Жаль ее. Вообще. И жаль, что с нею ушел от меня один из редких хороших собеседников — «с надрывом».

9 декабря, четверг

На столе — орхидеи и белые анемоны. Орхидеи пятнистые, змеиные, страшные. Анемоны хрупки и беспомощно доверчивы. Думаю о цветах. Сравниваю. И от сравнений — в широком смысле — не выигрываю никогда.

Снега. Ранняя зима. Скованность Невы. Красный глаз солнца за дымными мглами.

Переводы для университета, для порта. Финансовое благополучие. Нежные ароматы вин (а почему не «Lacrima Christi»[392]? А почему не золото Рейнского?).

13 декабря, Lundi

Сложны пути человеческие. И страшен человеческий ветер: Ксения, например, вместо Вятки оказалась в Уржуме. А почему 120 км., отделяющие Вятку от Уржума, преодолены ею (как?) в 5 суток?

Говорят, что Пан арестован. И Артемов тоже. И Мессинг тоже[393]. Удивления во мне нет никакого.

Теория «коммуниста-обывателя» во мне живет давно. Может быть, вместо обывателя нужно поставить другое слово. И кто-то его поставил за меня.

Ночь. Водка. Вино. Очень веселый обед. Пью очень много — и делаюсь опасной, злой и влекущей.

Вчера — в день выборов — выпили втроем пол-литра водки. Эдик пьяный без водки после 24-часового дежурства. Я — пьяная от ожидания.

День выборов был настоящим праздником в нашей семье. 20 лет не могли пройти даром: в особенности для моего мальчика, для мамы, самой молодой из нас всех.

Управдомша о выборах:

— Пихнула их обоих в конверт. Не знаю, милая, кого. А потом зализала и пустила в бадейку...

Управдома на днях выслали. За какое-то восстание как будто. Не знаю. Видно, вышлют и семью. Девочки трогают и тревожат. Что с ними будет?

А почему я никогда не думаю, что будет со мною?

Верить, верить... для веры нужны стимулы? Нужны. А если их нет?

16 декабря, четверг

Ночью долго не могу заснуть.

О, Жизнь, какую расплату ты требуешь от меня?

Занимаюсь концентрацией воли. Думаю, успокаивая:

«Так лучше, так гораздо лучше... И так надо, надо, надо».

Действует плохо. Но все-таки действует. И то хорошо.

Живу как в бреду, сознавая свои бреды: иногда кажется, что линия безумия приближается вплотную. Но безумия от разума, от логики, от дифференциального исчисления.

Никогда еще не было мне так трудно, как теперь.

26 декабря, воскресенье

Давно не было такой снежной, такой метельной зимы. Снег падает каждый день. Холодно. В газетах пишут, что за эти месяцы выпало больше снега, чем за всю прошлогоднюю зиму.

У меня тоже никогда не было такой зимы, как эта. Метели, метели... выдержу ли их до конца?

Елка. Белые анемоны в большой нарядной корзине.

Серии марок и граммофонных пластинок. Вино. Много важных деловых разговоров, в которых настоящее и будущее (и оттого, что в этих деловых разговорах, определяющих мою линию жизни, есть элемент будущего, — очень хорошо и очень страшно). Взрывы тоски и злобности. Точка приложения творческой силы и воображения совершенно другая, нежели в те давние (а может, и недавние?) годы, когда она называлась: литература. Фантастические планы стали планами реальными, не потеряв ничего из своего фантастического авантюризма. Мысли стали делами; искусство становится жизнью; книги пишутся в жизни и на жизнях.

От привычного окружения ушла очень далеко: где-то живет безработная Анта, где-то стенографирует и развлекается Киса, где-то встает на новые пути Ксения.

31 декабря, пятница

Сумасшедший день, день святых безумий.

Последний день 1938 года, вероятно, будет другим.

Я влюблена в мое безумие.

1938 год

Ночь на 1 января, 3 часа утра

Нет слова «никогда». Нет рубежей. Нет времени.

Встреча Нового года — как всегда. Шампанское. Старка. Слушаю музыку. Стихов не читаю, вопреки обыкновению прежних лет. Очень плохое самочувствие: Т° 38 гр., боли в боку, задыхания. Руки дрожат. Бреды, бреды...

А дальше что?

Если бы и дальше были те же бреды... о, если бы...

5 февраля, суббота

В дневнике Ван Гога есть слова:

«Garde aux lendemains de fêtes! Garde aux mistrals d'hiver»[394]. Читаю это как предостережение.

Такая радость — и такая тоска, тоска...

«Gard aux lendemains de fêtes!»

Почти весь январь дома: больна. Редкие встречи с теми людьми, которые называются «друзья» и «знакомые». Работа: диссертация для Андрияшева[395], физиология рыб для Петергофского института[396], высшая математика — для Киреевского (новый клиент, пришедший не из делового мира, а «через знакомых» — странный: недурен собой, старомоден, целует руку, почтительно-разговорчив, вызывает яростную неприязнь мамы, интуитивную, неизвестно за что). С работой — очень хорошо. С особой нежностью делаю переводы для Андрияшева: талантливый, тихий юноша, у которого должно быть большое будущее.

16 февраля, среда

Сегодня — очень странный день. Ничего не случилось, ничего не произошло. Все было так же, как и вчера.

Странность заключается в том, что в моей комнате, около пианино, в поздние сумерки я услышала неожиданное и странное — да, да, очень странное: о неполноценности. Двойная реакция — мгновенная: биологическая (-)

и ментальная (+). То, что, несмотря на удивление, успеваю отметить эти реакции, удивляет меня также. Ощущение шока, не давшего внешнего эффекта. Моего голоса нет. Я не говорю ни слова. Скажу я, вероятно, позже — что-нибудь скажу, много позже.

В прошлом году (1937), в день шестого ноября (воскресенье) мною было написано на листке откидного календаря следующее:

«Мысли о физической немощи, о том, что **комплексная** радость не может восприниматься физически, что шлагбаум к этому — недуг и боль, **физическое** состояние и **комплекс** прошедшего, приведший к неполноценности».

21 февраля, понедельник

Много думаю о словах, услышанных 16-го. Много думаю — неожиданно для себя. Но не говорю ничего.

Мне нужно очень многое увязать и объяснить, исходя из правильности этих слов, объяснить не в сегодняшнем дне, а во вчерашнем. И понять. Потому что все, понятое вчера, эти слова делают непонятным сегодня. Но пока я буду молчать.

Чудесный вечер. Много смеха во время послеобеденного кофе. Шампанское. Ликер моей собственной выдумки. Из японского зонтика сооружается лампа.

«А где-то далеко, на острове Готланд...»

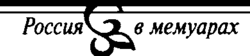
26 февраля, суббота

В прошлом году в этот день я лежала на диване больная и слушала пьесу Клоделя: «Annonce faite à Marie»[397]. Голос, однако, звучал все время — где-то очень глубоко, во мне. В прошлом году — в этот день — я написала на календарном листке «Не убий».

И через минуту: «...но с перерывом...»

Нет. Нет. Нет. Смерти с перерывом не бывает. Все умирают один раз — и навсегда. Если же бывает возрождение — или даже Воскресение, то умершее возрождается — или даже воскресает — уже другим. Это то же самое и не то же самое.

Воскресший Лазарь[398] был тот же и не тот.



Март, 1-е, вторник

После очень тяжелого дня в большом одиночестве, когда были пройдены все ступеньки.

19 марта, суббота

Восточные ветры опустошительны. Очень трудное настроение и состояние.

Думаю о том, что из меня бы вышла незаурядная актриса.

Чтение: о Дизраэли, английские уголовные романы, «Лже-Нерон» Фейхтвангера[399]. Читаю много и, читая, отмечаю, что я читаю, что это книга, что чтением занята именно я.

Март, 31-е, четверг

Улицы. Нева. Я живу в моем городе. Это мой город. Я здорова. Я больна. Круги моей жизни сошли с ума. Окружности их лопнули. Резко изменились скорости и пространства. Произошли механические и геометрические катастрофы. Я очень спокойна. Я очень много улыбаюсь. Я подхватываю обломки крушений и быстро (с закрытыми глазами) строю новые круги. Ведь жить надо. *Мне* жить надо, а не кому-то другому. Вот — строю, строю...

Май, 28, суббота

Дождь. Холодно. Весна в этом году поздняя и не теплая. На днях в Павловском парке смотрела на еще голые ветви дубов и лип. Трава молодая, легкая; в ней — ветреница. Цветет черемуха. Если долго лежать на спине и смотреть в небо, то за голубым ясно видится черное. И это черное очень близко. Но замечают его близость немногие. Лучше верить в вечность лазури: проще.

Если бы писать каждый день — и обо всем... Какая интересная получилась бы книга. И сколько проклятий рухнуло бы на ее автора... А какой-нибудь умный Фрейд приступил бы к изучению его личности «по данным собственноручных записей и свидетельских показаний».

Получился бы забавный винегрет!

Радуюсь новой любви в моей жизни — к Маяковскому. Портрет его на письменном столе. Смотрю на него, улыбаюсь — понимаем друг друга. Ненависть, товарищ? Ненависть. Ну, что ж... Таланту любви цвести не время.

Май, 29-го.

Утром — прекрасные большие слова. Слушая, думаю:

«Мое, мое... мой.. моя...»

Потом диспансер. Рентгены, требования анализов, растерянность врачей. Мне весело и все равно.

Врач: «Каждому человеку дается материала на одну жизнь. Некоторые получают больше, но это исключения. Вам же вообще дано меньше, чем на одну жизнь. Почему же вы живете так, словно у вас запаса хватит на пять жизней? Вы растрачиваетесь и сгораете».

Растрачиваю? Сгораю? Пусть. Мне все равно.

Июнь, 6-го, понедельник

Прекрасная погода. Букинисты. Выставка грузинского искусства[400].

Июль, 5-го, вторник

Город Пушкин. Дождь. Аллеи Александровского парка. Гнедич. Розовое варьете. Разговоры о Гумилеве, о Мартине Лютере, об итальянском Возрождении и о мистификации. Совсем как в прошлом году. Но это не прошлый год. Это — сегодня.

В теле — глухая боль и глухая радость.

Распятая птица.

Ночью — красный месяц, исчезающий в туманах страшных гнилых испарений.

Вся моя жизнь — как марево.

11 июля, понедельник

День, в котором было очень много роз и очень много солнца. Все-таки раздвоенность — «а» переживает, «в» наблюдает, «с» оценивает, причем и «а», и «в», и «с» — одно и то же лицо.

И переживания, и наблюдения, и оценки очень интересны, но в разных планах.

Чтение книги Шадурна «Vasco»[401]. Много любопытного и наводящего, но и только. Глубинную личность нужно искать не здесь. Это за семью замками.

Иногда страшно: а вдруг глубинной личности вовсе и нет? Только блестки на поверхности, кривые отражения, романтика, поза, рыцарский шлем — и мое собственное воображение?

Ну, что ж. Трезвость — дело хорошее.

Юмор, шутки, зубоскальство, изысканность остроумия. Светящийся экран (не надо говорить, не надо спрашивать, не надо анализировать).

А — если — я — иначе — не — могу!

Вечером: Марсово поле, розовый закат, чудесная луна, кафе «Норд»[402], исковерканный Невский.

Веселей, веселей, веселей!

12 июля

Жара. Блуждания по городу. Музей Ленина в Мраморном[403]. Несмотря на почти подчеркнутую неполноту, очень интересно. Хороша экспозиция и замечательны некоторые документы. Жаль, глубоко жаль, что до сих пор нигде не дан Ленин-человек. Вся жизнь этой необыкновенной личности была политическим боем, согласна. Но были минутки, когда он любил Бетховена, Пушкина, детей. И у его родителей и у его дедов были такие черты, которые, быть может, косвенно определяли возможность возникновения и таких минуток и политических боев.

По-моему, подходит время, когда Ленина можно показать во весь его рост.

Кто это сделает?

Вечером — усталость, жар, телефоны.

13 июля, среда

Очень уж я люблю смотреть в корень вещей. Не говорю ничего, подаю пустые реплики и смотрю, как выворачиваются наизнанку актеры. Очень смешно видеть, как люди тебя обманывают и пребывают в творческой уверенности, что ты веришь им полностью и об обмане даже не догадываешься.

Как все боятся правды.

Опять Пушкин. Киснущая туманность Гнедич. В парке говорим о Фаусте, Mallarme и Гете. Говорим о Гейне и о Луначарском. Бернард Клервосский был противником Абеляра[404]. А что сделал Бернард Клервосский?

В Пушкин, вероятно, поеду не скоро. Мне надоедают и мистификации, и тройные средства путей сообщения.

14 июля

Дома. Перевод о сурках, который не пишется. Уборка квартиры с мамой — почти генеральная. Жарко. Просмотр старых папок: интересны мои

характеристики, данные в свое время паранормальным приятельницам Боричевского (где Вы, Эрмит[405]?). Читала и улыбалась. Как все это далеко. Возможно, однако, что через это надо было пройти. Сколько во мне теперь сухости, трезвости, юмористического скепсиса. А сколько тогда было горения и веры. Все ждалось каких-то откровений. Откровения и пришли — да не такие.

А что бы было, если бы я все-таки поехала на Фонтанку? Дома были бы неприятности, дома был бы скандал. В любимых глазах было бы огорчение, боль, страдание — пусть даже немного преувеличенное (для эффекта). Я бы томилась и беспокоилась — и, вероятно, потом просила бы прощения.

Но на Фонтанку мне поехать хочется. Во мне всегда живет это желание, и часто, бывая в городе, на улицах, я с усмешкой наблюдаю за собой: вот трамвай 37, вот троллейбус — ну, что же, что же? Рискни.

Но проходят дни, месяцы, годы. Я не делаю ни одного движения. А мне ведь нужно немного: прийти — посидеть в кресле — погладить руками и взглядом книги и разойтись — может быть, даже и не сказать ни о чем?

Как странно: некоторые трагедии моей жизни формально напоминают любовные драмы героев сентиментальных романов. Разлуки — невозможность встреч — бессердечные родители и так далее. Возможно, что настоящие женщины переживают с такой же остротой свои эмоциональные перипетии (разговор с любимым мужем, память о любовнике и так далее). У меня же все это имеет отношение (во внешней форме) к старому Дому на Фонтанке, где живут весьма пожилые люди, муж и жена, причем муж немногим моложе моего отца, которому 68 лет.

17 июля, dimanche

К вечеру — теннис и Киса. Новые знакомства. Болтовня ни о чем. Рубиновое солнце. Много печальных и легких мыслей, не обязывающих к трагедиям.

Помню, в свое время много думала о неразделенности любви (при разделенности жизни и событий жизни, допустим). Теперь думаю о другом — о неразделенности жизни и ее событий, когда два человека, идущие совершенно различными и неизвестными друг другу путями, находят полное и прекрасное единение разделенности только в одном плане: в плане любви. Я думаю, тяжело и одно и другое. А что тяжелее?

20 июля, среда

Обедаю у Басовой, возникшей на моем горизонте после почти двухлетнего перерыва. Понимаю, что я нужна этой интересной женщине, к которой

я очень хорошо отношусь, но пока не понимаю, в чем и для чего. В бескорыстие ее памяти и симпатии я, конечно, не верю — все это имеет другие корни.

Пьем водку. Смотрим парижские туалеты и замки и музеи Франции. Она полгода провела в Париже, где в нашем павильоне работала на Всемирной выставке[406]. Отравлена Парижем тряпок и какой-то личной любовной историей. Держится хорошо, хотя не так умна, как я вначале думала. Не люблю грубости в рисунке.

Возвращаюсь ночью в такси. Душно. Желтая луна. Физически чувствую себя очень плохо и неуверенно.

21 июля, четверг

Спутанный день: дрова, Николай Михайлович, доктор Тотвен перед отъездом на дачу, вечером кислая и злая Анта, с которой неожиданно скучно (за последние годы отмечаю это все чаще и чаще: с нею, с такой любопытной и умной женщиной, начинает бывать скучно. Кто-то из нас переменился. Я — может быть. Она — наверное).

25 июля, Lundi, nuit

Человеческой слабостью очень легко оправдывать себя и чувствовать, что все-таки ты очень милый и замечательный человек. Но наш марксистский суд человеческой слабости во внимание принимать не может и не должен. Так, исходя из понятий слабости человеческой, можно оправдать и проигрыш Республики!

Август, 13-го, суббота

В записной книжке за 1936 год сказано:

«Aimer un être de fiction! Quelle folie outrageante pour celui qui aime!»[407]. Думаю об этом на Островах, где хорошо и скучно.

А разве бывает так, чтобы люди любили подлинное, а не воображаемое? По-моему, нет. Все зависит от степеней творчества и от талантливости партнеров. Ведь за подлинную сущность можно любить лишь очень немногих людей. Все это знают — ну, а стараются подавать себя понаряднее, попышнее, подороже. А если заглянуть за кулисы... сколько все-таки мерзости в человеке!

Игра в невинные мистификации продолжается. Веря моей искренней улыбке и нежным глазам, меня обманывают и продают на каждом шагу. Мне

весело, но я молчу. Подумать только — кто, кто обманывает меня, кто продает меня?

Я — прекрасный строитель карточных домиков.

Но все-таки я знаю это.

Август, 25, четверг

Очень тихий, очень ласковый и очень печальный день. Мысленно называю себя зрячей слепой. Усталость. Много молчания. Страх перед возможными словами: не мой страх.

Ну, посмотрим, что будет дальше.

Сентябрь, 10, суббота

Голубая комната. Gêne qui ressemble au trouble[408]. Знакомые вещи, которые вдруг кажутся чужими. Слова не те, которых ждали. Руки не те, которые должны были бы быть. Как говорят вещи! Как я умею их слышать. Amertume. Etonnement. Et — dégoût (pour la première fois)[409].

30 сентября, пятница

Летний сад с моей красивой ученицей. Желтые листья. Свежесть. Голубые дали.

День больших неназванных печалей.

Усталость, депрессия. Ах, все равно...

Господи, дай мне быть глупой! Дай мне дар безмятежной глупости и безмятежного счастья!

Мысли: всегда говорят — человек предал человека, человек предал бога. А что бывает, когда бог предаст человека?

Когда я в театре, я знаю, что я в театре, а не в жизни. А когда я в жизни, мне необходимо знать, что я не в театре.

Со вчерашнего дня (символический день пустоты!) начала писать по-французски заметки «О театре в жизни», об эллинских богах, о губной помаде и о всяких пустяках. Лилии, конечно, могут цвести и в Геркулануме — это поэтично. Но место ли им в борделе?

7 октября, пятница

Мистификация достигает пределов гениального абсурда. Молчу и смотрю.

Индийская мудрость: «Смертные могут смеяться при мысли о том, что можно переплыть через великий океан — и это мой разум понимает. Но сердце не хочет вместить — и оно все же стремится прикоснуться к луне».

Я тоже все понимаю.

14 октября 1938 года, среда

S.O.S.

Октябрь, 28-е, пятница

Очень трудные дни. Больна. Неладное с легкими. Эндокардит. Шампанское и кровохарканье.

Ноябрь, 1-е, вторник

Читаю Энциклопедию. Книга очень большая. Интересно: как люди начинают сходить с ума?

Ноябрь, 6-е, воскресенье

В прошлом году в этот день мне показалось, что я ростовщик, что жизнь, ограбив меня дочиста в свое время, возвращает мне нынче долг с громадными процентами.

В этом году я думаю другое.

Всему свое время: наивности — тоже.

А есть ли пределы человеческой подлости?

Как много разрушено башен!

Сегодня в 6 часов 20 минут телефонный разговор с Р. (после долгого-долгого молчания). В сердце боль, руки дрожат. Голос ломается, и в голосе, и в глазах слезы. Это чувствуют. Знаю теперь: это был единственный человек, который меня ни разу не обманул и не предал.

Страшно жить.

Ноябрь, 15-е, вторник

Можно мне у Вас посидеть — поговорить о книгах, о персидских мистиках, о том, что было при мне, о том, что было без меня? Можно мне Вас поблагодарить — просто за то, что Вы существуете, за то, что с Вами и у Вас я всегда была светлой, высокой и чистой?

Ночью: ветер, вздутые холодные воды Фонтанки, тучи, пустые площади, пустые дома.

21 ноября, Lundi

Какие страшные теперь понедельники! Очень ясное ощущение: ni rédemption, mais châtiment[410]. За все нужно платить.

Оказывается, мне есть чем платить.

5 декабря, понедельник, ночь

День такой злобы и такой ненависти, которые могут быть названы олимпийскими. Пафос гнева дает неожиданные эмоции удесятеренных сил.

Только ненависть ведет к победам.

10 декабря, суббота

Почти животный, почти биологический ужас перед грядущим и признание своего собственного бессилия перед этим ужасом. Все силы сконцентрированы в одной точке: сохранение относительного равновесия.

Чувствую себя канатным плясуном, идущим над бездной. Причем с одного края канат подрезан.

Вечером был темный город, темные здания, предзимний холодок. На остановке ждала долго трамвая, мерзла, щурилась, слушала в себе почти осязаемый, почти ощутимый физический рост гнева, издевки, ненависти.

Часы у рынка показали: 9.15. Решила: поздно. Никуда не поехала, прошлась по темным улицам, снова слушая в себе рокоты бунта и радуясь им.

Потом работала, читала чужие письма и была в веселом настроении. Чужие письма говорят о чужой жизни. А какое мне, собственно говоря, до нее дело? В особенности, если эта жизнь ниже моей. Как люди боятся правды! Какие только маски они не надевают, чтобы скрыть эту правду (даже от самих себя!). И как смешно смотреть на все это — и видеть, видеть...

Я никогда не вела таких интересных психоаналитических разговоров, как за эти два последних месяца. И никогда еще — в столь короткий промежуток — мне не приходилось делать таких потрясающих открытий.

Все — как дым.

11 декабря, dimanche

Холодно. Вечером недолго была на улице. Потом слушала пение. Смотрела на толпу. Стало еще холоднее, еще беспризорнее.

Потом — работа. Астрономия ведь тоже какое-то дело.

12 декабря, понедельник

Поздно встали. День тусклый. Накануне — очень веселый вечер до 2 часов ночи, когда я даю в лицах (в жутком и смехотворном гротеске) серию моих поклонников.

Весь день — работа. Прекрасно работается, четко и удачно. Вечером Киса.

13 декабря

Работа. Неудачная поездка к портному. Опять работа. Чудесные петербургские гравюры: сумеречные часы после полудня, черная вода, снег на крышах, туман, слякоть, редкие огни в домах. Декабрь.

Холод. Жесткость. Злоба. Усмешка. Презрение.

Острые боли в лопатках — до задыхания, до крика. Но силы и уверенности во мне столько, что излишки я готова продавать!

Вечером — новая поездка к портному. Город летит за стеклами такси. Беличья шубка пахнет Манон[411]. Думаю о литературном сравнении («Les yeux de fourrure!»[412]), о разных сравнениях, о чужих жизнях, о том, что в Москве — тоже вечер, что в Москве я давно не была, что хотела бы туда поехать, что хотела бы видеть Николая, о чем-то спросить, о чем-то узнать... И еще думаю о многом и о разном, смотрю на тусклые и мертвые здания церквей, в которых больше никто и никогда молиться не будет, — и вдруг отождествляю себя с таким же тусклым и мертвым зданием: я — тоже церковь, оскверненная и пустая. В ней может быть кино, музей, театр, дансинг. Но в ней никогда больше не будет богослужения.

Как все-таки счастливы верующие люди! Они же твердо верят в реальность всех миров и призрака называют богом.

14 декабря, среда

Работа. Английский роман. Настроение подтянутое и злобно-веселое. Зубной врач — новый, очень приятный старичок. Вечером — Леонтьевы (все трое!). Обывательская болтовня. Еще раз: скучно так, что даже весело.

15 декабря, четверг, 6 1/2 час.

Спала прекрасно без люминала — первый раз. Должно быть, вчерашняя скука нагнала сон. Бесконечные телефоны. Маникюрша. Потом один из

астрономов (милый, с лицом печального сатира и детским смехом), работа с ним, болтовня, много смеха. Внутри: отстранения и отчужденность (не нарушайте моих кругов. Вы все — остальные!) и наряду с этим: цветение большой и светлой радости. Очень холодно, резкий мороз. Вот сейчас пообедаю, надену беличью шубку и бежевые боты, надушу руки и волосы — и уеду. Уеду в ночь, в вечер, в холод — прикоснуться к неведомому астрономическому знаку и выпить чай из лиловой чашки.

Влюбленная женщина не ждет своего любовника так, как я жду сегодняшний вечер.

16 декабря, пятница

Неожиданно сильные морозы. После +1 °С вдруг -20, -22 °С. Снега нет. Фонтанка подернулась небывалым стеклом естественного ледка. Сегодня — от страха перед холодом — до часу дня не могла встать с постели. От страха перед холодом не пошла к зубному врачу. И страх перед холодом превращает предстоящую «Раймонду» в Мариинском[413] в настоящее мучение.

Днем — Николай Михайлович, дрова, разговоры о фильмах «Александр Невский», «Человек с ружьем»[414]; потом — Гнедич. Разговариваем умно, интеллигентно.

Спрашивает:

— Вы меня еще не простили?

— Нет.

— Ведь я вам солгала только один раз!

— Да.

— И я даже не знаю почему...

Я смеюсь. Мне действительно весело.

— А когда вы меня простите?

— Никогда — но это ведь неважно.

Меняю разговор. Мне все равно, а ей чуть неприятно — а может быть, и не чуть. Трещинки, трещинки...

Мысли о том, что такое благородное хулиганство.

Вчера вечером мне было очень хорошо. Я уже давно не знала такой тишины доверия, какая была во мне вчера. Завтрашнего дня жду с любопытством, очень спокойно, невесело и слегка раздосадованно: очень уж быстро пролетело время.

Сон: я — Тора, завернутая в жемчужную пелену[415]. Спасаюсь от фашистов, которые хотят меня разорвать.

17 декабря, суббота

Совершенно пустой день. Английский роман. Отвратительное самочувствие. Недоумение переходит в тревогу, в страх, в тоску и приводит к эффектному разряду веселой издевки.

Телефоны, которые не отвечают. Как странно: у меня — именно у меня — нет никаких путей, и, ничего не зная, я могу либо не знать долгие дни, либо ждать известия, как милостыни... или как ежедневной газеты.

Печальная все-таки ваша жизнь, моя дорогая!

18 декабря, воскресенье

Мороз. Снега нет.

Когда-то — очень давно — был такой же холодный и бесснежный декабрь, запутавший мои пути между двоими: Сокол[416] и Замятин.

Сегодняшний день: много внешней радости, вино, легкие сигареты, душистая пудра, мягкая шерсть. А улыбаться все труднее и труднее. Боли все больше и больше.

Возможно, что я себя чувствую хорошо только в сфере эфемерид. Возможно, что я сама — эфемерида[417].

Строить! Строить! Строить заново! А что? И чем?

21 декабря

Путаница с часами — дела, работа, астроном, машинистка. Вечером — поздно — у Кисы: прошу у нее извинения. Первый раз за 19 лет забыла, что 7-го были ее именины. Не люблю забывать таких дней — и чувствую себя глупо.

23 декабря

Лучшим доказательством всегда является статистика.

24 декабря, суббота

Впервые весь праздник кувырком — весело, смешно, никакого праздника. Вино, ром, бенгальские огни, зажженные канделябры, вместо елки —

комнатные кипарисы, убранные рождественской мишурой, люди, смех — ну, просто хороший выходной день! Даже обед был не традиционный — куда там, к черту, традиции! Мороз. Мама плохо себя чувствует. Лечу ее алкоголем и хинином.

31. XII. Суббота. 11 ч. 45 м.

Omnium... defunctorum[418].

1939 год

Январь, 1-е, воскресенье

Встреча дома, как всегда (несмотря на острое, мучительное желание быть не дома — все равно где, все равно как, лишь бы не дома, не с теми же вещами, не в тех же комнатах, не при тех же свечах). Встреча, однако, дома — почти такая же, как и в прошлые годы, и совсем не так, как в прошлом году. Было много вина — и совсем не было ни музыки, ни стихов. И та музыка, которую слышала одна я, звучала для меня темными и страшными тактами «Божественной поэмы» Скрябина: Désir — Luttes — Possession[419].

Слова, слова... как страшна сила слов — в их повторяемости, в их отнесении к разным людям и разным событиям. Меняются лица, меняются окружающие предметы. Но при возникновении определенных обстоятельств возникают определенные слова, и оказывается, что человек беден, у него маленькие запасы: носитель радости (ибо слово бывает иногда и даром и радостью) единовременно может стать и преступлением — расточителем или убийцей.

Слово, святая тайна — Vertum[420] — проституировано.

«Как пчелы в улье омертвелом,
Дурно пахнут мертвые слова»[421].

Убил же слово человек — в небрежении к святости.

Январь, 2-е, понедельник, ночь

Все не так, как надо. Впрочем, может быть, именно и нужно, чтобы было так, а не иначе.

Как трудно быть старой и жить в окружении взрослых, считающих себя взрослыми, но остающихся детьми.

Всегда вести. Всегда протягивать руку помощи. Всегда помогать либо подняться, либо стоять на ногах. И всегда чувствовать в себе педагога и аналитика, поучающего или распутывающего. Но редко бывает, чтобы ученики по-настоящему (большой человеческой любовью) любили своих педагогов, а больные своих врачей. В трудные часы к ним — и только к ним — бегут

за спасением, за поддержкой, за благодатью будущих часов. А когда приходит легкий час будущего, можно (а пожалуй, и должно) забыть об унижении своего незнания или своей болезни. И — не помнить. Подсознательно человек никогда не прощает оказанного ему одолжения или принесенной помощи. И людей, называемых так искусственно «благодетелями», обычно не любят, если не ненавидят, причем эта нелюбовь или эта ненависть тайны, скрыты и так глубоко запрятаны в человеке, что он и сам об этом не всегда догадывается. Разве может обыкновенный земной человек простить другому человеку (такому же обыкновенному, такому же земному), что тот — в какой-то момент — был или лучше, или выше, или богаче его — и видел, и знал, что он беднее, хуже или ниже.

Январь, 3, вторник

Мысли о добре, о добром действии. Если линия доброго действия (La bonne action)[422] на своем пути от «а» к «х» не нарушает других линий, не уничтожает других точек, добро выполнено и дало положительный эффект добра. Если же линия доброго поведения на своем пути от «а» к «х» нарушает другие линии (потому что опасны не только пересечения, но и касательные), или уничтожает, или сдвигает другие точки — добро, по существу, не выполнено и не дало положительного эффекта добра: добро, полученное «х» и данное «а» либо же пережитое как нечто безумное, получено и пережито за счет нарушения или уничтожения других линий и других точек. Тогда это не добро, ибо последнее идет в мире и чистоте.

Но:

Что такое добро?

Что такое мир (Pax)?

И что такое чистота?

Кстати: очень просто пользоваться священными предметами, если они утратили свое символическое значение или же были осквернены. Это в том случае, если они остались в руках того же человека. Но их ведь может взять другой, которому все равно, и тогда их прежнее значение не играет абсолютно никакой роли.

Январь, 17, вторник

Персонаж возник, персонаж создан и брошен в жизнь. Автор спохватывается. Его же никто не слушает: в зале пустоты и умершие призраки. Зал

молчит. И он слышит только невнятные голоса улицы, доносившиеся сквозь стены. Болтают статисты:

— Приятно принимать ванну в июльские дни.

— Не было ничего особенного. Целовались...

— Японский халат (ах, кстати, и японский зонтик!).

— Девочки, которым еще нет семнадцати!

— Серый берет и ожерелье из красных бус...

— В последнее время, на лестнице...

— Разве можно жить без бога и без религии? Это нехорошо.

— Он ее спасал от греха. Спасал, спасал... а дальше не знаю!

— Ковер очень красивый, старинный...

— Модные журналы, патефон, голубые рубашки.

— Ах, вот почему у тебя сегодня не накрашены губы!

Автору делается страшно. Ему начинает казаться, что так люди сходят с ума. Кто это болтает? Статисты? Публика? Неужели же он творил и творит напрасно? Неужели его никто не понимает и не понимал? Неужели он писал поэмы для этого гнусного сброда?

— Кто вы такие? Кто вы такие? — кричит он в ужасе.

Никто ему не отвечает. На улице продолжают болтать те же неизвестные голоса. А зал молчит: в нем пустота и умершие призраки. Тогда автор смущенно извиняется:

— Простите меня, я сказал, кажется, грубое слово... что-то такое об аморальных типах. Я больше не буду. Простите меня, я, знаете ли, старый солдат, усталый солдат — вдобавок еще ограбленный. Но это все неважно! Я малосовременный, по-видимому. Я, вероятно, старомодный автор.

...Сегодня днем убирала комнату, мыла спиртом зеркала, перетирала книги. Плеврит. Температуры средние. Боли. Брат первый день на службе после одиннадцати дней холецистита. Боялась, что рентген пищевода даст неблагополучное. Оказалось, хорошо. Нервные контракции[423]. Вечная болезнь мамы и брата вызывает предельный ужас, скрываемый тщательно под личиной грубоватой бодрости и холодного внимания. А всегда кажется: ну, вот — и конец. И мысли: а что я буду делать? Моя болезнь этого страха смерти во мне не вызывает. Никогда.

Раздраженная скука с людьми — тоже скрываемая. Все не то и все не то. А чего мне нужно?

Вот были дни — с сильными морозами. Теперь оттепель, скользко, лужи. 11-го и 13-го — любопытнейшие чтения: первое о Франции, второе о России. Как необыкновенны человеческие архивы. Но как трудно до них добраться! Чтения еще не кончены: пока еще материал упорно избегает моих рук и моего слуха. Подождем... ждать я умею!

Анта больна: припадки, нарушенная артикуляция речи — врачи определили эпилепсию. Киса работает, играет в теннис, плавает: муж ее осужден на 10 лет и выслан куда-то далеко. После девяти месяцев молчания от отца письмо: опять тюрьма. Прибавилось только больше забот. С этим человеком у меня кончено все: остались лишь маленькие ниточки жалости и удивленного непонимания. Хорошо, что свободен.

В моей комнате появилась новая подушка — парчовая, очень красивая и символическая. Это для того, чтобы я никогда не забывала. И чтобы мне не пришло в голову поверить и простить.

Топятся печи. Бродит кот. Гудит примус. За окнами, в городе, в мире — жизнь, строительство жизни.

А в моей комнате — разрушение жизни.

Habet![424]

29 января, воскресенье

Больна. Давно уже больна, но сегодня хуже, чем во все эти дни. Острые боли в боку и в позвоночнике. А кому до этого дело? Кому какое дело до того, что меня пугает страхом боли каждое движение, что тело просит только покоя, только неподвижности, что каждый жест приносит мне мучительное страдание, от которого хочется кричать?

Всей любви, окружающей меня, до этого нет никакого дела. Любовь требовательна — всякая любовь! «Брат любит сестру богатую, а муж жену здоровую».

Любая пословица может быть истолкована и прямо и косвенно. Я так их и толкую — по обстоятельствам.

30 января, понедельник

Дома. Плохое самочувствие. Мысли о Москве. Бессонная ночь, полная гордого и горького гнева. Гнев идет со мною рядом как тень.

Вечером — лежу в постели, приходит красивая ученица, болтает вздор, курим, едим шоколад, слушаем радио.

31 января, вторник

Чтение Пушкина и Маяковского. Не спала до 9 утра, в половине шестого завтракала с братом, пила вино, шутила. Днем спала.

Жить очень трудно и невесело.

1 февраля, среда

Разговоры с портным. Пустой день. После обеда — до ночи — бесконечные пасьянсы и чтение Марселя Пруста.

Читая, вдруг почти отождествила себя со Сваном[425]. Забавно.

2 февраля, четверг

«Пепел Клааса стучит в мое сердце...»[426]

Знаю теперь это. И знаю твердо.

За таким стуком идут бури возмездия.

Жаль все-таки... так жаль!

5 февраля, воскресенье

Очень тяжелый день — хотя делаю все возможное, чтобы быть легкой, тихой, женственной и мирной. Но теперь ко мне можно отнести термин из эпохи покорения Кавказа: немирные горцы, немирное племя. В их душе тоже жила обида — за оскорбленную землю, за оскверненные знамена, за бесчестие, за попранные легенды о славе, за будущее без песен.

Это одно. Об этом я могу сказать твердо:

— Мое.

Так меняются понятия о собственности: mon bien inaliénable peut devenir mon mal inaliénable[427].

И другое: нужно думать о весне, которая, вероятно, придет и в этом году, о портнихе, о длинном черном платье, которое мне, может быть, и не придется надеть, о каких-то тряпках, о духах — о жизни.

Трудно.

Трудны, кроме того, ночи: без сна с перенесением мозговых образов вовне.

Как я любила когда-то поезда, семафоры, платформы прибытия! Зеленые огни открывали пути встреч и любви — за зелеными огнями были дом и мир, тишина, покой, обретение.

На моих путях зеленых огней больше нет. Горят красные — вечные часовые, кричащие об осторожности, об опасности, о возможной гибели.

Красные огни требуют шлагбаумов.

И шлагбаумы закрыты.

Я — на посту.

— Все в порядке, товарищ, все — в порядке.

9 февраля, четверг — ночь

Опять: поезда, поезда — а у меня бессонные ночи, перед которыми ужас, как перед идущим безумием. Чтение Пруста — и чтение Андрея Белого, вновь и непонятно протягивающего мне руку помощи.

Поезда, а в поездах люди, разговоры, события, черная ночь за окнами, черная ночь в купе. Духота, томление, шепот, сны.

Вот скоро напишу мистический гротеск и сразу приду в себя.

Ангел-хранитель № 1 — высокий красавец с плечами атлета, в футбольных бутсах, с папироской и в купальном халате. Славный парень. На груди — свисток. Умеет вовремя закрывать глаза. Толковый. Разговаривает главным образом жестами.

Ангел-хранитель № 2 — тощий, задрипанный, в старомодной разлетайке. Громадные очки, не помогающие видеть. Спотыкается, путает, не он ведет, а его ведут. Разговаривает цитатами из книг, которые таскает с собой. Завидует ангелу № 1, что тот такой ловкий; № 1 его добродушно презирает.

Из Гете:

От бескрайней романтики до публичного дома один шаг[428].

Из Андрея Белого:

> Я сел на могильный камень...
> Куда мне теперь идти?
> Куда свой потухший пламень —
> Потухший пламень нести[429].

Ночь на 11 февраля, на субботу, когда где-то в мире люди празднуют Лурдскую Деву[430].

— Je ne peux rien expliquer[431].

А мне нужна та удивительная и безжалостно-ласковая рука, о которой так хорошо говорит мой старинный друг А. Белый:

«Мощь огромной руки, рвавшей к ране прилипшие и пересохшие марли, — прекрасна!»[432]

И дальше:

«...видел с экрана, как пес человека спасал.

Человека, пожалуй, спасут на экране и люди:

— Меня бы спасли?

Но для этого надо попасть на экран...»[433]

У него великолепные определения Парижа, как многих Парижей, и в особенности французского импрессионизма (от Парижа)[434].

Вот это из книги «Между двух революций».

И еще:

«Молчать — прилично; высказывать — честно; молчишь, когда еще вызревают слова, произносимые вслух; иначе и само молчание загнивает»[435].

Февраль. 14 и 15, вторник и среда

Дни драматических молчаний и драматических ситуаций, не ведущих все-таки ни к чему.

Люди с больным сердцем и с больными нервами пьют шампанское и курят турецкие папиросы.

Чтение о Дульцинее — о нищей трактирной потаскушке, поверившей в то, что она избранная, что она — Прекрасная Дама великого рыцаря.

Театр — большое дело. Евреиновский театр для себя[436] — в особенности.

Оттепель. Никуда не выхожу. Только две последние ночи сплю — с перерывами, но сплю. Внутреннее состояние очень сложное.

Вечером — Гнедич. Читаем Шоу («Цезарь и Клеопатра»), говорим о новых академиках и о новой лаборатории физиологии речи в Академии наук (профессор Доброгаев — мимико-жестикулярно-речевой комплекс; речь вне факторов мимики и жеста не существует и изучаться в отдельности не может: речь — триединство). Вскользь говорит о своем романе — намеком.

Понимаю: мужчину, в котором есть элемент Манон, любить трудно.

Женщине свойственно в любви «быть».

Мужчине — «бывать».

16 февраля, четверг

Александринский: «Таланты и поклонники»[437]. Я в сером жакете и в сером кашне. Рядом со мною мадам Тотвен в облезлых мехах. На сцене — «новые» и «старые» актеры (среди «старых» по-настоящему старые Студенцов и

Тимэ, которых помню еще в годы их блеска и в мои дореволюционные гимназические годы. Оттого, что они стали по-настоящему старыми — больно, вдруг). На улице ростепель, слякоть, скользина, дождь и снег. И со мною: одиночество и тоска... И — гнев.

23 февраля, четверг

В моей комнате новый диван, который почему-то идентифицирован с «Бахчисарайским фонтаном».

Ассоциации — дело весьма интересное и темное. Мне очень весело.

Спутанный день, звонки, движение.

В 1937 году в этот день была большая и крылатая тишина голубизны.

27 февраля, понедельник, ночь

Странные дни. Марево. Фантомы. Странная жизнь. Если говорить фигурально, je tiens mes mains derrière le dos[438]. Протягивать руки страшно: никогда неизвестно, что может встретить протянутая рука.

День тяжелый.

Вечером — краткий час у Р. Очень хорошо. Ухожу затихшая и сразу безразличная не только ко всему, но даже к себе самой.

Анта второй месяц в психиатрическом стационаре. Припадки. Нарушения речи и движения. Психоанализ. По-видимому, мстит пол.

Ночь на 7 марта, на вторник — 5 часов утра

Только что кончила перевод на английский: о конвекционных токах в звезде. Переводить о звездах очень скучно: издалека они совсем не то.

Сна нет — как почти каждую ночь. Изредка выпадают ночи с полноценным и длительным сном. О таких ночах я помню как о величайшей радости. Больше: я вспоминаю о них.

Все время оттепели: снег, дождь, мокро и скользко. Сегодня было и солнце. Ходила с братом по букинистам. Дом лавки Северморпути приобрел неожиданно символические значения. Это — почти объективно. Покупаю ерунду. Жду, когда позвонит портной. Жду, когда кончится ремонт у портнихи и она начнет мне шить платья. Жду, когда близкая весна перестанет казаться мне пугающей и превратится в благословенную смену времени года.

А больше не жду ничего.

Июль, 23-е, воскресенье

Долгие месяцы молчания. Говорить, по-видимому, вообще трудно.

Жить — тоже трудно.

Нет для меня страшнее книги, чем вот эта.

Livre de Refaites[439].

Собирается дождь. Собственно говоря, сегодня я уже должна быть на даче в Пушкине. Но мучительно радуюсь идущему дождю: лишь бы остаться...

Остаться здесь, где мне трудно, где живут бреды и призраки, где для чужого счастья нужно быть не собой и уметь молчать и улыбаться.

Август, 13-е, воскресенье

Два случайных дня дома, в городе. Дни, которые скрываю от всех и в которых, однако, не нахожу радости.

На даче — множество чужих жизней, пересекающих мою дорогу[440]. В каждую жизнь словно вживаюсь, а своей как будто нигде нет. Еще раз: многоплановость, множественность фасеток, а подлинности не установить. Подлинное лицо видят немногие: краем — Дом; и подлинное лицо, по-видимому, неприятно и злобно, ибо вызывает разлады и непонимания.

Кто меня любит по-настоящему, кроме матери? Кому нужна моя подлинность с часами угрюмого и тяжелого молчания — и в особенности со всем тем, что кроется за этими часами молчания?

В Пушкине — приятные пейзажи. С природой — как и в 1937 году — не схожусь на «ты». Оцениваю, любуюсь — и остаюсь той самой, комнатной, городской и близорукой.

11 августа — день пейзажной постановки, принимавшейся мною вначале как подлинность. Потом оказалось — не то. Просто вообразилось, что я в гостях у Сезанна, на живописных берегах Луары, что мне дано болтать и слушать милый вздор, пить шампанское и черный кофе, есть сэндвичи, греть голую спину и думать, что все это — настоящее, что во всем этом — нечто, очень близкое к счастью.

Прелестный пейзаж Сезанна не может остаться для меня историческим воспоминанием.

Сколько названий можно дать этому пейзажу:

Quartier des Fauves[441].

Nimphe et Faune[442].

И даже: Angleterre[443]!

Нет во мне эллинства, нет во мне солнечной плоти! И зверь мой живет в подземелье византийских церквей.

Результат самого приятного для меня дня:

1) Вышеуказанные рассуждения, которые абсолютно никому не нужны.

2) Сожженная спина, отчего очень больно.

3) Температурный скачок.

и 4) Вдруг порозовевшая мокрота.

А кроме того, издевательский разговор с зеркалом:

— Ну, где же ваши полеты? Где ваши крылья? Где ваши стихи о непорочных лилиях и о принцах, носящих доспехи Белого Рыцаря?

Сегодня опять уеду на дачу. Не хочется. А впрочем, там хорошо только с детьми и с животными. И в тех и в других — отсутствие умной лжи.

Как мне все-таки трудно жить!

Да и живу я, как в каком-то сне: и я, и не я.

Сентябрь, 10, воскресенье

Кончилось дачное лето. Кончилась моя жизнь в нем. И вообще, что-то кончилось. Может быть, — а пожалуй, и наверное — закончила свое существование целая эпоха. Наступает новая. Я — на рубеже. И от этого и странно и неуверенно.

О будущем думать не только нельзя, но и невозможно.

Каждый день ночное радио приносит известия о мире, в котором больше нет мира.

1 сентября началась война между Польшей и Германией.

8 сентября немецкие войска вступили в Варшаву.

3 сентября в 11 ч. утра Англия объявила войну Германии.

3 сентября в 5 часов дня Франция объявила войну Германии.

На днях прорвана линия Зигфрида[444].

А 23 августа мы подписали пакт о ненападении с Германией. Пока мы — вне.

Сижу дома. Не работаю. Слушаю радио. Читаю газеты. Читаю книгу Мориса Тореза[445] и роман Хитченса «Bella Donna»[446]. Читаю воспоминания о Тургеневе. И все время слушаю: рушатся миры, рушатся стены эпох.

Передо мною, в узком, в моем, — тоже новая эпоха.

Russie — un lit.

France — boudoir.

Angleterre — salon Financier.

Allemagne — comptoir commercial.

Italie — guet à peu.

Pologne — ruines heroiques[447].

И дальше:

Polone — une hysterique.

Italie — belle fille sans tempérament, et qui devant le lit ouvert se dérobe préférant laisser un regret qu'une déception.

France — idealiste passionnée.

Russie — une fille sait qu'elle fatiguera toujours les hommes à qui elle se donnera. Elle a toujours un amant de réserve.

Allemagne — un soudard qui cherche moins une femme qu'un sexe qui rapporte.

Angleterre — vieille fille asexuée (spinster!) riche de traditions et de Souvenirs de famille[448].

Октябрь, 17, вторник

В мире очень много шума. На Западе приближается странная война без сражений, без явных наступлений, с медленной и страшной концентрацией войск с обеих сторон, с пустыми сообщениями по радио, с потоплением кораблей и подводных лодок. На Востоке война закончилась (но закончилась ли?) перекраской географической карты: исчезла Польша (совсем исчезла — даже без надгробного памятника), к СССР прирезались Западные Украина и Белоруссия, к Литве — Вильно и какие-то виленские поветы[449], к Германии все то, что называется теперь «польскими областями» и что раньше называлось Царством Польским. Наши войска во Львове, в Перемышле: оттуда радио передает митинги на всех языках с русскими резолюциями.

Чемберлен и Деладье тоже разговаривают — и по радио и [в] своих палатах.

А мы говорим очень мало. Прямо мы не говорим вообще. Древний сфинкс России опять выступил на европейскую сцену — и лег молча.

А кругом все говорят, говорят.

Мне тоже хочется говорить. Но как — и что — и о чем?

Я и говорю и думаю не до конца.

Холодная погода установилась давно — по-моему, с 30 августа: помню, что 28 августа мы сидели с Гнедич в Екатерининском парке, была душная жара и пахло далекими лесными пожарами. А 30-го был уже очень свежий

день — и от этого острого температурного скачка кривая холода пошла ровно и неустанно к еще большим похолоданиям.

Теплой и золотой осени не было.

В Пушкине я тоже больше не была: последняя прогулка в парке относится к 6 сентября: я, брат и Юра[450].

Думаю о многом — и редко думаю хорошо. Ничего не пишу. Последние стихи написаны в 1937 году. Дневник редко даже пересматриваю: страшно.

Никого особенно не тянет видеть: последняя встреча с Антой была в апреле, кажется; она побывала на Кавказе, выздоровела, вернулась, была у меня (не приняли), написала мне письмо (а я будто его не получила!). Молчу. Не хочется. Ксению видела в разгар моей болезни — в начале июля. У нее ленинградский паспорт, она была где-то на отдыхе, теперь она в больнице — после «дамской», как говорит Эдик, операции. И тоже молчу — и тоже не хочется.

Кису, которую вижу часто, познакомила с Готой, возникшим весной на моем горизонте с прежним темным влечением ко мне: странно, что с ним — и только с ним — мгновенно и густо темнеет моя атмосфера. Отдала его Кисе: передача эта была логически продуманной и подготовленной с моей стороны. Его присутствие в моей жизни теперь привело бы к усложненностям.

Пару раз была на Фонтанке. Хорошо — очень.

Очень часто вспоминаю ту женщину, которую знали Сокол — и другие.

По-видимому, все-таки никто не знал по-настоящему. Очень много было ненужных слов: и ей говорили ненужное, и она говорила ненужное.

Теперь она знает, что говорить — совсем необязательно.

А сколько ненужных слов было и сказано, и выслушано ею в последние годы! Какие поэмы, какие трагические монологи, какие поэтические выступления!

И как все это действительно не нужно.

Хорошо целые дни проводить в комнате с задернутыми портьерами, с мягким светом: курить, пить вино, вкусно обедать (comme dans une cabine privée[451])!

Сокол как-то говорил:

— Соболий звереныш.

Если бы он даже мог меня видеть теперь, он бы ровным счетом ничего не понял.

Но любопытно было бы видеть — и говорить — с Николенькой.

Чтение английское. Интересен Киплинг.

Музыки очень много: только радио и только пластинки. Сама играла лишь несколько дней подряд: разучилась — недовольна собой. То же, конечно, и в литературе.

5 ноября, воскресенье

Установила: говорю много и о многом с чужими мне людьми. И — хочется говорить.

А с тем, что для меня и самое близкое, и самое любимое, — молчу. Всегда молчу, даже разговаривая о книгах, о политике, об истории. И — хочется молчать. Словно сказать нечего.

13 ноября, понедельник

Вчера было воскресенье. Было 12-е число. Был выходной день. Был 1939 год.

Вообще, все, что было, — было.

Днем были ночные часы и прекрасные, большие слова. Я очень любила когда-то такие слова. Я люблю их и теперь — но иначе: вместе с Гамлетом.

— Words, words, words...[452]

А поздно вечером был вечер. Была ночь. Падал дождь. Огни казались мокрыми, и огни отражались в мокром асфальте, и асфальт сверкал темными и кривыми зеркалами. По таким блестящим зеркалам шла жизнь, как по кривому зеркалу.

Вчера вечером, когда была почти ночь — когда была настоящая ночь, потому что за полуночью идет уже утренняя ночь, называемая утром, — вчера ночью на мокрых асфальтовых зеркалах, под мокрыми электрическими огнями, происходили небывалые вещи, совсем простые и совсем незаметные.

На углу Знаменской и Невского, перед лицом вокзальных часов, расходились безмолвно жизни — и расходились, может быть, навсегда.

В памяти останется надолго: ноябрь, 12-е число, 1939 год, ночной дождь, мокрые огни и блестящий от влаги асфальт — и чей-то беспомощный поворот головы, и чья-то рука, в предельном напряжении коснувшаяся, словно случайно, пальто, под которым было живое тело, и замерший в каменной

неподвижности женский силуэт на углу, следивший за исчезновением в толпе белого пакета.

На вокзальных часах было начало утра.

Пришло 13-е число. Над городом шел дождь.

Все то, что было, — было.

Из этого можно сделать грустные, но легкие стихи.

18 ноября, суббота

Дожди. Никуда не выхожу: простуда, кашель, градусник. Астрономические переводы. Ночи без сна с папиросами и с Бальзаком. Внутри очень спокойно и очень безразлично. Так? Пусть будет так. Иначе? Пусть будет иначе.

Хочется поехать на Фонтанку. Но — простуда, но светомаскировка. Но страх перед движением. Как я научилась молчать. Настолько, что даже перестала уметь писать письма, стихи, не говоря уже о своей прозе, которую когда-то любила.

А что я теперь люблю?

Может быть, и хорошо, что почти ничего.

К людям — холодноватое и сухое любопытство всегда анатомического порядка. Игра в разговоры — интересно обнажать чужие приемы, чужую ложь, чужие жизни. Все лгут, путают, хотят казаться лучше, наряжаются в тоги совершенств. По-видимому, кому-то это нужно. А может быть, и действительно стало бы немыслимо жить, если бы все люди вдруг заговорили о себе правдиво и сами лишились бы спасательных иллюзий насчет собственного достоинства? Возможно.

14 декабря, четверг

Тетрадь открывается, вероятно, по привычке, во всяком случае, не по желанию. Писать нельзя. О чем писать, если самое главное остается всегда незаписанным? И основной стержень мысли и действия нераскрытым?

А так — все хорошо. Хорошо читать газеты. Хорошо слушать радио. Хорошо топить печь и пить черное кофе, глядя на оранжевые угли. А еще лучше спать в дневные часы и видеть какие-то странные, волнующие, очень милые и очень печальные сны. И не знать: это уже было или нет? Сегодня это или еще тот раз?

16 декабря, суббота

Две первые ночи люминал делает настоящими ночами полноценного сна. Вчерашний же прием люминала привел к короткому сну от 2-х до 3-х ночи и к нескольким часам интересного чтения до 7 утра. Читаю разное: историю ВКП(б), статью о католических миссиях в Китае, об обретении христианского Бога французским писателем Riviere; еще какие-то статьи.

Думаю очень много, отстраняясь от главного.

Небольшие работы по астрономии.

Вчера — мрачный от светомаскировки ночной город за стеклами автомобиля. Синие огни — редки. На душе очень спокойно и очень вдохновенно. Может быть, так бывает перед боем?

Отец прислал мне в подарок великолепную рыжую лису — розовую, пышную, большую. Черные ушки. Умница — ходила, душила кур, умерщвляла зайцев, на снегу была прекрасной... А люди убили. Лежит теперь у меня на диване — шкурка. Жалко.

Город во мраке семнадцатый день. Семнадцатый день идет война, которая официально не называется войною[453]. Семнадцатый день гибнут на финской земле люди — и те и эти. И каждый из них — человек.

Читаю, кроме того, Andre Gide («Nourritures terrestres, Nourritures nouvelles»[454]). Много любопытного и немыслимого о счастье. И умное о желании, стоящем выше обладания (по эмоциональной силе). Désir — recherche d'une possession immobile et intégrale[455].

Хорошее выражение в записках Rivière: «...cette sensation, à toute autre incomparable, de repos que nous donne la confiance en Dieu. Le seul être avec qui l'on soit sûr de ne pas avoir de "surprise"!»[456] 27 sept. 1914.

О чем же еще писать? О том, что Николай Михайлович носит дрова, топит печи, покупает для мамы продукты на рынке и что я считаю его изумительным человеком, без которого мне действительно было бы трудно жить на свете. О том, что брат бывает дома только изредка — иногда по разу в пятидневку: дежурства. О том, что мало кого вижу, что скучно живу, что неинтересно видеть людей — ибо желание всегда выше обладания. О том, что Густав Янович умер еще в сентябре прошлого года, а Ксения узнала об этом только недавно. О том, что давно, давно не была на Фонтанке, — и не знаю теперь, когда там буду. О том, что хочется писать — и что не пишу.

Интересно: есть ли в Ленинграде женщина, которая сейчас курила бы английские сигареты «Chesterfield» и читала бы французские пьесы 1939 года? Думаю — нет. А если и есть, то это не настоящая, это вымышленная женщина.

Ну вот. Еще день, и еще, и еще. В каком узком, замкнутом кругу я живу. И как в действительности сложен и широк этот узкий круг. Весы.

Почему во мне больше не живут стихи? Почему музыку и природу я принимаю с приятной и холодноватой благосклонностью? И почему, зная о возможности полета, я в своей жизни не допускаю даже мысли о нем?

Нет, будем лучше жить так: в канавках. Безопаснее.

31 декабря, воскресенье. 23 ч. 30.

В эту ночь — ничего.

Nihil[457].

Жить собольим звереньшем — как вчера.

1940 год

1 января, понедельник

Нынешний календарный рубеж перейден без вечного торжества: втроем в полночь выпили бутылку шампанского. Потом я — в одиночестве — пила остатки водки. Потом хорошо спала — без люминала.

А сегодня поздно вечером подумала: как глупо, что с сегодняшней «Красной стрелой» не могу выехать в Москву я. Формальности. Нежелание удивления. И — только.

Все прошлые годы — к черту, моя дорогая!

Врага бьют. С ним не носятся, как с принцем из сказки.

Значит: врага надо бить. И будем.

4 января. Jeudi[458]

Дурацкий день. Ходили с Кисой по магазинам: покупаем мне дурацкую шляпу за 51 рубль 90 копеек (это — подарок мне). Холодно. Чудесные петербургские сумерки над Казанским. Обедаем в вегетарианском ресторане. Проходя мимо костела, спрашиваю, близорукая:

— Крест уже снят?[459]

Киса смотрит на фронтонных ангелов и отвечает:

— Нет.

А я думаю — жаль! Очень жаль. Я бы здесь устроила веселый ресторанчик — приятный американский бар с приятными девицами. Нельзя? А почему?

У ювелира, где ремонтируется моя скарабеевая брошка, устраиваю Кисе неожиданный бенефис: выдаю ее за богатую даму, уговариваю купить за 2700 рублей брошь (аквамарины и бериллы) — ту самую, что была на парижской выставке. («Дура! Ничего не понимает, а еще капризничает...»)

В Мехторге мерим горностаевые шапочки (ужасные) и беседуем с продавщицей по-французски. За кого она нас принимает — никому не известно. Потом наивно удивляемся, что в продаже нет чернобурых лисиц, которых нет уже полгода.

Я давно так искренне не веселилась.

Февраль

По-видимому, во мне душа прокурора. Обожаю допросы.

Часы летят вперед. Может быть, и времени осталось мало? Должно быть, совсем мало.

А в мире морозы, война, затемненный город. А в мире ложь и скорбь. Но лгу я во имя правды. А скорбь моя от лжи во имя лжи. Ах, если бы можно было сказать:

— Карты на стол, товарищ!

Февраль. Последние дни.

Elle règne en mon coeur: son nom est Ta — amour,
Sa chair est un jardin où fleurit ma tendresse,
Et je brûle mes nuits et j' effeuille mes jours
Aux souffles parfumés de sa chaude caresse...[460]

Как жаль все-таки, что многое в жизни человеческой приходит слишком поздно! Хорошо, что пришло, хорошо, что есть (ведь могло бы и не быть!) — но час близится к вечеру, солнце идет к закату, в руках усталость, в теле горькие ропоты памяти, сердцу хочется плакать: от легкой боли, от легких обид, от всего, что было когда-то, чего больше нет, что никогда не вернется.

Пусть сегодня я богаче, чем вчера.

Но сегодня это не вчера.

И мне жаль: потому что неизмеримое богатство, окружающее меня сегодня, это не то богатство, которым я была богата вчера.

Сегодня я гораздо богаче — но и гораздо беднее.

Москва. Март 1940 г. Ночь на 4-е число

«Красная стрела» не летит, а ползет — и ползет долго, с многочасовым опозданием. Сплю я плохо и жалею, что не взяла с собой люминал. В вагоне смотрю на синий ночник и думаю о том, что иногда огонек бывает не синим, а аметистовым. Потом думаю о другом — тоже о ночной поездке, но о совсем, совсем другом: а какой там был свет ночью, синий или аметистовый?

А в Москве снег, улицы, люди. Лиза Гилельс везет меня с вокзала в своей машине и завидует мне: она, орденоносная знаменитость, перед которой лежит еще вся молодость, завидует мне, молодость которой лежит уже позади. Ей бы хотелось говорить по-французски так, как говорю я. Я улыбаюсь — Вам, ma France.

А потом идут деловые дела, путаница с броней в гостинице, телефоны, «Метрополь» вместо «Москвы». Потом я устраиваюсь в своем номере и смотрю на телефонную книжку.

Но я не открываю ее. Мне страшно. А если человека в Москве нет? Я подожду.

Обедаю одна — смотрю на всех, кто входит в ресторан, кто проходит мимо. Раздвоение. Нервничаю, много курю, пью дурацкий кофе. Упорно и мучительно вспоминаю другие рестораны: в Стеклянном городе, в Москве 1927-го, на юге, над зеленым морем, в вагоне.

Наверху [в номере] очень спокойно пересматриваю свои записанные телефоны. Потом открываю телефонную книжку 1937-го.

Нет.

Пугаюсь. Пугаюсь так, что холодеют руки. Но по телефону, записанному в Ленинграде, не звоню. Боюсь испугаться еще больше.

Звоню бесконечно по другим телефонам — там, где та же фамилия и где инициалы те же. Все чужие. Никто на меня не сердится. Наконец звоню и женщине-врачу с той же фамилией. Может быть, это сестра? Нет. Даже врач такой здесь не живет. Но по телефону, записанному в Ленинграде, не звоню. Боюсь испугаться.

После 10-ти ухожу — просто так, никуда. Опустить письмо, быть одной в чужом городе, одиночествовать.

И вдруг начинаю входить во все магазины, смотреть на всех прохожих — искать. На мне театральные очки. Я вижу все лица, я вижу неправильно положенный кармин на женских губах, я вижу мужские улыбки в мою сторону.

И снова французский язык:

— Tu viens? Ais, tu viens?[461]

Высокий, горбоносый, в очках, спрашивает настойчиво у молоденькой блондинки:

«...Son nom est Ta — amour?..»[462]

Думаю о персидских строфах, о том, что 1 марта было позавчера, о том, что это было очень давно, что это было четверть часа тому назад, что сегодня Москва и что 1927 год это тоже, может быть, только позавчера.

Я одна, одна, одна. Никто из моих друзей не знает, что я в Москве. Если я кого-нибудь неожиданно встречу, я спрячу лицо в меха. Мне ведь нужна только одна встреча — и только потом, когда я удостоверюсь, что этой встречи быть не может, я пойду навстречу другим.

Я теряюсь где-то между Тверской и Кузнецким. Я всю жизнь умею теряться там, где не теряется никто. Я устала. Мне грустно. Я жалею, что при-

ехала в Москву. Я с удивлением смотрю на Дом «Известий»[463] и припоминаю: что это и где я?

Потом меня везет троллейбус, потом я попадаю в гостиницу, заказываю чай и вызываю по телефону справочную. Барышня подтверждает тот номер, который я записала в Ленинграде. И тот же адрес.

Тогда я звоню.

Я звоню больше получаса: занято — не отвечают — занято — не отвечают.

Я снимаю платье. Я надеваю халат. Я пью чай и читаю газеты.

И в половину двенадцатого ночи решаюсь позвонить еще раз.

Отвечает женский голос. Я тогда перестаю говорить и начинаю допрашивать:

— № такой-то? Квартира такого-то? Имя и отчество такое?

Женский голос хмурится:

— Кто спрашивает?

Я выдумываю четкий ответ и резко прошу пригласить к телефону.

И потом я говорю с человеком, который не смеет отвечать.

— Спасибо, — говорит мне знакомый голос.

Если человек не побоится, он придет ко мне завтра.

Николь, мне часто не хватает вас, моего любимого собеседника.

Ленинград. Март

Все хорошо. От Москвы осталась память о французских живописцах на Пречистенке, о статуэтках Родена, о частых и мучительно-напряженных встречах с Николь, о чем-то несказанном, о чем-то несделанном.

Здесь живу прежней жизнью раздвоений, не похожей на реальную жизнь.

Здесь бывают часы, когда я себя чувствую счастливой.

И другие часы, когда от боли мне становится страшно.

Март. Морозы. Светомаскировка снята. Заключен мир[464]. В магазинах застенчиво появляются конфеты и вино. Март...

А дальше что?

Март. Апрель

Время персидских строф, поэзии, музыки. Усталость — от всего, от всего.

Мне бы немного покоя, немного тихой жизни, немного тихих радостей. Чуть-чуть.

Те, кто живут под таким страшным вольтажом, как я, долго жить не могут. Ни так, ни иначе. Они погибают.

Может быть, и я уже погибаю?

Sagesse
O, mon amant, pourquoi tes yeux sont-ils si lourds;
Pourquoi ton front si triste et ta bouche si lasse?
Regarde je suis belle et si riche d'amour! —
— Pardonne moi. C'est qu'un sage m'a dit «tout passe»[465].

Июль, 11, четверг

Дневники ведут одинокие люди — Гонкуры, Стендаль, Блок. Я очень одинока, но дневник не веду. Мне — трудно. Одиночество мое тяжело не тем, что оно неразделенное, а тем, что разделенным не может быть никогда и ни при каких условиях.

Жара. Завтра еду в Пушкин, на прошлогоднюю дачу, оттуда вчера — после месяца отдыха — вернулся брат.

Июль, 21, воскресенье

Почти беспрерывно думаю о словах Ленина, сказанных им в годы разрухи, голода и всероссийского тифа: «Или социализм уничтожит вошь, или вошь пожрет социализм»[466]. Если только aut-aut[467]. И вот теперь кстати выдвинуть снова на первое место эти жестокие, умные и видящие слова.

Вошь жрет социализм — обывательская вошь в образе многомиллионного советского мещанина. Жрет с наслаждением и с остервенением.

И еще — о диалектике, о качестве и количестве. Если сейчас «количественная подготовка» дает основание думать о переходе в новое качественное состояние чистых занавесок с геранями, маникюра, перманента и фокстрота, с самодовольным и микроскопическим кругозором семейной зажиточности и газетных прописных истин, мне делается страшно.

Может быть, мне так трудно теперь потому, что я чувствую свою гибель: меня пожирает вошь, возможно, что она меня уже пожрала.

Руки мои совершенно пусты.

У Мережковского есть мудрое: «Бессмертна лишь Глупость людская»[468].

Одна эта фраза может сделать бессмертным его самого.

А недавно, в Пушкине, мною открыто предельно точное определение страшной Вши Ленина. Нашла его у Mallarme, в его стихотворении «Les Fenêtres».

Mais, hélàs! Ici-bàs est maître; sa hantise
Vient m'écœurer parfois, jusqu'en cet abri sûr
Et le vomissement impur de la Bêtise
Me force à me boucher le nez devant l'azur[469].

Да: так вошь может пожрать величайшее, что дают миру величайшие люди. Так от ужаса и омерзения перед этой вошью можно закрыть глаза и пройти **мимо**.

В смраде блевотины человеческой глупости нельзя любоваться лазурью завтрашнего дня.

23 июля, вторник

По-видимому, у меня больная печень. Либо же я больна сладострастием злобы: мучить беззащитных и отданных мне людей. Способность моя портить жизнь и настроение таким людям — лучшим из всех, кого я знаю, — достигает гениальной виртуозности. Все возможности безоблачного рая мною используются с необыкновенной легкостью для создания условий настоящего ада. И чем больше страдания и покорной, бессловесной муки в истязуемом мною человеке, тем мне злее, проще и скучнее.

Ожидают королеву, усыпая ей путь розами и устилая коврами (буквально), а приходит Торквемада и устраивает медленное и ненужное аутодафе.

Впрочем, Торквемады — люди тоже очень бедные.

Им ведь нужно делать свое дело.

Более ненужного по своей бессмысленной злобе дня, чем вчерашний, кажется, не было. И никогда я не чувствовала себя так отвратительно-оскорбленно от наносимых мною ударов и оскорблений.

Может быть, это и есть начало конца.

Август, 10-е, суббота

Fear not. Fate hath written the deed in the lines of someone's forehead. And when she [the hour] comes, he will be ready («Kismet»)[470].

Болею. В постели. Смещение почки. Возможное воспаление почечных лоханок. Температура. Хорошее настроение. Сильные боли. Чтение новых советских поэтов. Хороши: Чивилихин, Шефнер, Елена Рывина. Симонов оценивается объективно: чужой мне. Советская проза: убегает в прошлое, в историю — есть очень неплохое, очень.

Множество цветов вокруг меня: розы и гладиолусы.

С дачей покончено. Дача стоила дорого и ничего не дала.

В Пушкине осталось одно сердце, о котором думаю часто, нежно и грустно: мой маленький друг, Мичи. Ему, по-видимому, трудно без праздничного общения со мной[471].

Как странно: я совсем не чувствую, что меня любят, что без меня тоскуют, что обо мне беспокойно волнуются, что обо мне много-много думают.

Словно все это было в моей прошлой жизни. Ненужное.

22 августа, среда

Не почки, нет, — профессор Сидоренко, чудесный demi-vieux vieux Requin[472], объясняет, что все мои «животные» органы в завидном порядке (даже: «печень маленькая и нежная!»). Просто: плеврит. Слава богам, сухой.

Сегодня — первый день на ногах, не в халате, а в платье: синенькое, финское, старое — с советским скарабеем из советских уральских камней.

17 сентября 1940

Дому

Отмечают: это было прежде,
Это раньше, это вот потом.
Годы помнят, словно по одежде:
Этот в черном, этот в голубом.

Входят в книжный мир очарований
Поступью владетельных князей.
Персонаж придуманных дерзаний
Служит мерою для дел и для людей.

Где-то корабли и паровозы.
Где-то время ходит по часам.
Здесь любуются персидской розой
И, как брату, улыбаются стихам.

Время, Время, часовой бессменный,
Ты здесь только милый камертон,
Под руку с которым по вселенной
Бродят в географии времен.

БЛОКАДНЫЕ ДНЕВНИКИ

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ ВОЙНЫ

1941

ЛЕНИНГРАД

Июль, 7, понедельник, 16.30

Только что закончилась воздушная тревога: сегодня по счету это уже четвертая. Выстрелы у нас слышны не были. Вчера зато бахали очень близко: было красиво на слух.

Россия в войне шестнадцатый день (**только** или **уже** — кто же назовет пределы времени?). По старым, старым дорогам прусского орла теперь идет всегерманская свастика, натыкаясь вместо прежней двуглавой Византии на всесоюзные знаки серпа и молота.

Гибнут люди. Повсюду гибнут люди. Кажется, весь мир вскоре будет отдавать своих людей на гибель.

Меня тяготит и удручает моя внешняя бездеятельность. Я не знаю, что бы я хотела делать. Всегда хочется делать что-то большое. А я только сегодня ночью дежурила в домовой конторе и в четвертом часу утра безуспешно пыталась разбудить по телефону следующего дежурного, испуганную еврейскую домохозяйку, пришедшую вниз только после оглушительных вызовов дворника.

Не знаю — живут ли в домохозяйствах Марфы и Иоанны[473].

Я сама себя мобилизовала и сама себя еще раз назвала солдатом. Забавный солдат, считающий своим достоинством сделанную безмятежность духа и неделанное философское отношение к возможным опасностям.

Когда жужжат аэропланы и начинается стрельба, солдат этот искренно восхищается искусством и читает вполголоса Гумилева и Р.-М. Рильке, Блока и свои собственные стихи.

И, думая иногда о том, что и ему, может быть, как и другим, суждена гибель, жалеет о немногом: о стихах, которые он мог бы написать; о повестях, которые он мог бы создать; о новых созвездиях, которые он мог бы увидеть; о далеких землях и о чужих морях, на которые он мог бы взглянуть; и о Синей Птице, к которой — может быть — ему было бы дано прикоснуться еще раз.

Я этого солдата очень жалею: у него такая хорошая голова, в нем так много нелепой, безумной и большой красоты, он бы мог так много дать и сделать.

Очень жаль, что с ним никто не умеет говорить. Солдат-полиглот: он говорит на многих и на разных языках, но никто не говорит с ним на его языке.

В ночь на 23 [июня] была первая в городе воздушная тревога, с ревом самолетов и далекой орудийной пальбой. Мы все бродили по комнатам, успокаивали друг друга — всех нас била лихорадка, все пили валерьянку.

При последующих тревогах все пошло спокойнее: привычки приходят быстро.

Наибольшая любовь к жизни — у мамы.

Наибольший страх смерти — у брата.

Я, кажется, постепенно подхожу к равновесию равнодушия: у меня нет желания смерти, но нет и желания жизни. У меня лишь презрительное отвращение к бессмысленной смерти от бомб и к позорной смерти от газов. Бытность моя в мире стимулируется любопытством к миру (pax![474]): какой, и как, и где?

Слишком много в голове знания истории и дипломатии, мемуаров и записок, психологии и литератур.

Любопытство, вероятно, от этого.

Хочется писать и играть на пианино.

Не делаю ни того ни другого: всегда наперекор себе.

Когда-нибудь напишу поэму о тюрьме.

Андрей Белый говорит: «Мощь огромной руки, рвавшей к ране прилипшие и пересохшие марли, — прекрасна».

А я говорю дальше: «Срывая, однако, марли с гноящейся раны, помнить всечасно, что рядом — тело живое, что рядом покровы и ткани живого, что называется — человек. От этого — боль, страшнее, чем боль от гноящейся раны».

А, собственно говоря, кому это нужно?

Ох, долго в мире не будет мира.

Октябрь, 9, четверг

По-видимому, Марфы и Иоанны, живущие во мне, персонажи сугубо литературные, а любые военные действия согласны принимать лишь в аспектах театра и книги.

К настоящей войне я не приспособлена, и теперь, когда наш город уже второй месяц считается фронтом (как странно это писать), я чувствую себя человеком штатским по природе, оказавшимся по воле обстоятельств на фронтовой линии и не ощутившим от этого ни торжества, ни подъема, ни энтузиазма.

Недавно мама мило сказала мобилизованному актеру Васе, приехавшему в город с Карельского фронта:

— Да деритесь, если вам так хочется, только не стреляйте!

Но стреляют, увы, много! Второй месяц город живет жестокими воздушными налетами, разрушены дома, заводы. После отбоя горят где-то пышные зарева. На днях и на наш дом упали две зажигательные бомбы. Потушили быстро. Кругом — почти во всех домах — тушили также. Брат говорит, что было очень светло.

Позавчера сидели в бомбоубежище шесть с половиной часов. До этого была тревога с маленькими перерывами, от половины восьмого вечера до 6 ч. утра.

Атмосфера убежища особенно способствует лечению моего плеврита. Температуры 38—39° С. Интересно.

Немцы были очень близко — в Детском, в Стрельне, в Лигове. В те дни город был под артиллерийским обстрелом — и это было очень страшно. Где

они сейчас — никто толком не знает; и что будет дальше — никто не знает также.

Несмотря ни на что, любопытно наблюдать: люди обнажаются в такие дни ужаса. Но на такую наготу молиться не хочется! Часто тошнит.

Интересны также и флюктуации настроений.

Записывать надо было бы каждый день, но... Думаю, что выживу — вот тогда и расскажу. Перемены в правительственной системе, видимо, неизбежны.

Страшнее всего для меня не так воющий свист бомбы и взрыв, как звук обрушения. Это потрясающе. Так я слышала конец двух домов на углу Жуковского и Надеждинской[475] — домов на Фурштадтской — здания Академии легкой промышленности[476] на Суворовском.

У нас пока еще целы стекла. Но из-за маскировки, дающей мало света даже днем, и сейчас, при солнце, комнаты совсем мрачны и приходится писать у окна, держа тетрадь на коленях. От этого и такой почерк.

Из знакомых пока все живы — кажется. Телефоны почти повсюду выключены, и всяческое общение затруднено.

Голодно. 200 гр. хлеба[477]. У нас запасов никаких. Думаем восстановить «буржуйку». Пшенная каша и чечевица кажутся очень вкусными. А картофель — лакомство!

Странно думать, что в прошлом году в эти дни я ела изысканные обеды с шампанским и говорила о любви и литературе. Где теперь мой собеседник, о котором никогда больше не думаю хорошо? Мой выдуманный, нереальный собеседник, у которого было столько прекрасных слов и за которым и теперь неотступно идет моя мысль, злая и издевательская, в белом и чистом пламени ненависти и мести...

Как ломаются оценки ценностей! Каким ничтожным кажется вчерашнее богатство!

Если город выйдет из окружения и снова начнется эвакуация, не знаю, уеду ли я.

Мать и брата хочется спасти морально, спасти их нервы и здоровье. Но сама, вероятно, останусь. Страха во мне нет. И нервы мои спокойнее (пусть внешне), чем раньше. Я только раздражена и недоумеваю. Когда же?

Холодно. Ночи лунные — испанские! Обыватели начали ненавидеть солнце и луну и обожать дождь.

Бомбы. Снаряды. Пулеметные очереди. Осколки зениток.

Кстати: когда говорят зенитки, у меня всегда вспыхивает стихотворное сравнение: «Зенитки машут кулаками... »

Никаких разрушений в городе я не видела: не хочу видеть. Я берегу себя. Система опущенных глаз.

Брат видел — и при каждом сигнале ВТ[478] в глазах его встают отражения виденного. Состояние его кошмарно. Его надо либо лечить, либо вывезти в тишину. Но где же линия тишины, если сдан Киев, сдан Орел, бои идут под Вязьмой и Мелитополем!

Говорят, что от Павловского парка остались лишь сучья и срезанные снарядами стволы.

Говорят, что Александровский парк в Пушкине разрушен и пострадал дворец.

Как много бессмысленных смертей в городе — от осколков, от снарядов, от бомбометаний! И как замерла интеллектуальная жизнь у многих и многих: недавно, в убежище, одна женщина-врач, психиатр, сильно удивилась, увидев в моих руках книгу:

— Вы еще можете читать?

Могу. И читаю много. Было бы тепло, могла бы и писать. Очень тоскую без музыки. Радио у нас возмутительно. Боже мой, ведь врага не побеждают руганью.

25 сентября на самолете из города увезли д-ра Рейтца, в числе других эвакуированных ученых. Получила от него письмо — ехать не хотел. Мне — больно, как от большого и нежданного удара.

«До встречи в этой или в будущей инкарнации».

Надежд на реальную встречу как будто мало.

Солнце. Свежо. Пять часов. Нужно торопиться с обедом и ждать воздушного налета. И бежать в бомбоубежище, где сидит тупая еврейская публика и тупая русская обывательщина. И ждать... отбоя!

Октябрь, 13, понедельник

10-го, в пятницу, около полуночи умер наш божественный Киргиз, который очеловеченным зверем прожил с нами более 12 лет. Была воздушная тревога. Я ушла в убежище. Мои остались наверху — кот агонизировал, и

брат это видел и чувствовал идущий конец и весь день никуда не выходил из дому. Киргиз был для него не просто котиком: это был его младший братик, его ребенок: неизвестное существо, воплощенный таинственный дух, ближайший товарищ, единственный друг.

Все последние ночи брат не спал: он сидел, подремывая и страдая, на диванной подушке у шкафа, из которого кот больше месяца не выходил, гладил его, целовал, держал его головку на руке, разговаривал с ним. Иногда долетало трагическое:

— Радость моя, радость моя, не уходи...

А кот драматически смотрел на него своими необыкновенными глазами и понимал и пел свои предсмертные мурлыкающие песни все более и более трудными хрипами умирающего горла.

После отбоя вновь началась тревога, и я, не успевшая даже выйти из бомбоубежища, увидела, что туда входят мама и брат. И я поняла еще до того, как мама сказала и заплакала:

— Ну, все кончено! Он ушел.

На брата было страшно смотреть. В убежище у нас темный угол, и поэтому никто ничего не заметил. А потом, когда отгремели зенитки и бомбы, мы поднялись наверх и сразу побежали в комнату брата. На розовой шелковой подушке, под голубой майкой Эдика, лежал мертвый Киргиз и казался спящим в своей обычной позе с чуть капризно подвернутой головой и изысканно скрещенными лапками. Хорош он был необычайно.

Мы все плакали — в этих слезах, горьких и неудержимых, возможно, отразилось и все напряжение и отчаяние всей жизни, усталость, голод, ужас войны и бомбежек, темная пасть будущего.

Комнату закрыли, сидели в столовой, пили нарзан с джином. Слезы возвращались еще раз и еще раз. Брату я два раза дала люминал. Он был очень близок к истерике.

Практически думала и о том, как его хоронить. Надо было беречь брата, которому могло предстоять страшное: самому вырыть могилу, самому забросать землей свою «пушистую радость». А кроме того, где хоронить? Путешествие с большим пакетом в лесновские и удельнинские парки в военное время, да еще при осаде города, чревато происшествиями. Приходилось бы разворачивать пакет перед патрулями, объяснять, говорить. А с нашим туполовием могли и не поверить в реальность мертвого кота: «А может, в ем бомба!»

На следующий день повезло: милая дама взялась похоронить Киргиза «с почестями», на тихом, тихом дворе — экстерриториально!

Брат ушел, чтобы не видеть, не знать.

А когда вернулся, все уже было сделано — и дом опустел: в доме теперь очень пусто, хотя в коридоре и в кухне живет глупая и красивая бронзовая ангора Мустафейка.

Киргиз Чапчачи из Великой Ханской Орды[479] ушел к своим неведомым предкам.

А жизнь — наша жизнь — идет своим путем: начинаем голодать, хлеба мало, масла на декаду дают 100 гр. только на рабочую карточку, сахар на декаду иждивенцам по 50 гр. Налеты. Бомбы. Третьего дня горели декорации Александринки. На других фронтах советские войска терпят неудачи. Сегодня отдан Брянск. Бои под Мелитополем.

Население тупеет. Делается все равно. Во время тревог в убежище сходит все меньше народу: усталость и голод пересиливают страх и сознание опасности. Хочется спать, спать... Женщина-врач, психиатр, днем измученная буйным отделением, а ночью — бомбоубежищем, говорила, что, если бы было средство, временно лишающее человека слуха, она бы не сходила с 4-го этажа.

Где линия Ленинградского фронта? Никто не знает. Может быть, в Павловске, может быть, ближе, может быть, совсем близко.

Я начинаю тупеть тоже.

Но видеть и наблюдать не перестаю. Какие любопытные картины разворачиваются перед объективным глазом! И как мало общего между сегодняшним днем и днями Юденича![480]

Нет, только бы выжить! Сколько необыкновенного и печального можно будет рассказать миру.

Ноябрь, 3, понед[ельник]

В городе разговаривают главным образом об еде. Повсюду: в магазинах и в трамваях, в гостях и у врачей, в институтах и в кино говорят о хлебе и о продуктах питания, с чем, вообще, очень плохо.

Вспоминаю Столыпина: «Мы не будем кормить их досыта, и они не умрут с голода».

С мучительным восхищением, нежностью и печалью перечитываю «Былое»[481]: о людях, о которых теперь все забыли и которые больше никому не нужны.

О Каляеве можно было бы писать стихами. Я не знала, что он успел полюбить раннего Блока.

Теперь «приступаю» к перечитыванию моего любимца Салтыкова-Щедрина.

Бывают и тревоги и бомбы, но в убежище почему-то больше не ходим: сидим дома, читаем или рассматриваем картинки в поучительных книгах о вселенной, о человеке, о технике. Привычка, вероятно, и все равно. И все равно.

Обедаем и вечера проводим в кухне, где топится плита, где тепло.

Экономия электроэнергии притом. Нам дан лимит: 5 гект[оватт]/час в сутки! Жестоко? Очень. В Финскую войну у нас было 13 и мы рыдали[482].

Несмотря на все пережитые опыты и житейские поучения 24 лет, новую голодовку наша семья встречает в легкомысленнейшей разоруженности: запасов никаких и ни в какой области. Бывают оригинальные дни, когда мы искренно и честно голодаем, сидя на фантастическом soupe à la Reine[483] без хлеба. Хлеба вообще мало, возьмешь в лавке вперед, скушаешь — а потом дня 3—4 занимаешься экспериментальным исследованием: может ли жить человек без хлеба, без сахара, без масла, без мяса, без овощей, и как он себя при этом чувствует? Оказывается, жить-то может — но чувствует себя неважно: я, например, в такие дни чувствую себя оскорбленной природой человеческой, потому что ощущаю голод. А это похоже на пощечину, которую мое немощное и бренное тело наносит моему высокому, сильному и бессмертному (несмотря ни на что!) духу. А духом я сильна, очень сильна — и убеждаюсь в этом все более и более.

Брат переносит недоедание тяжело: злится, раздражается, стервенеет. У него, кроме всего прочего, обнаружилась хроническая желудочная болезнь. Своевременность ее полна патетического юмора.

Врач говорит: «Диета. Протертый рис. Белое мясо. Белый хлеб — и не свежий, а сухариками».

Я хохочу. Врач тоже смеется. Больной, увы, не смеется. Le peuple rit![484] Тем лучше: значит, еще живем!

В этом году — впервые — годовщина Октября пройдет без демонстрации и без парада[485]. Город все-таки осажден. Радуюсь за людей, что кто-то додумался до отмены демонстрации. Ведь у нас столько непростительного головотяпства и перегибных головокружений!

К Октябрю выдали по плитке шоколада на персону — я в сумасшедших очередях добилась этих шоколадов в первый день выдачи, позавчера. Съели все сразу и были духовно и животно счастливы весь вечер. А сегодня народ мечется по магазинам и ищет: где дают шоколад? Одна очередная дама ездила нынче к Нарвским воротам и там получила. В этой местности, кроме того, падают и снаряды.

Немецкая артиллерия бьет по городу с глубоким безразличием цели: дом Перцова[486] — завод «Вулкан»[487] — троллейбус у Астории — мостовая на Мойке. Никакой радости от этого философского безразличия германских артиллеристов не испытываю. Во имя чего?

Бомбы тоже падают, но где — не знаю. За последнее время даже не особенно интересуешься — где и что произошло. В первый же месяц только об этом и говорили — и врали, и преувеличивали, то в одну, то в другую сторону.

Бывает Анта: голодна и остроумна. Говорю иногда с Гнедич, голодая, наслаждается Плавтом и Теренцием под высоким руководством Эрмита. Его сын, Мичи, живет у Гнедич. Пушкин до сих пор занят немецкими войсками.

Вчера заходил Вася — с фронта. Его часть на днях передвигается к передовым. Принес нам солдатский подарок: несколько черных сухарей, 4 куска сахару, кусочек шпика. Говорит, что кормят их хорошо (400 гр. хлеба + 200 гр. сухарей в день), что на Карельском тихо, что финны не так злы, как немцы, что недавно захваченный в плен немецкий солдат отказался давать показания и вообще говорить с политруком только потому, что тот еврей.

Вася почему-то грустный и кисленький.

Днепрогэс взорван. Николаевские верфи взорваны. Мариуполь сдан. Юзовка сдана. Харьков сдан. А сколько там заводов...

Думая о Днепрогэсе, вижу его перед собою — и титаническую красоту плотины, и гигантские турбины, и бесконечную автостраду, и промышленные корпуса — и Хортицу, где шелестели под вечерним ветром высокие травы, каркали вороны, алело небо, как и во времена Сечи. Днепрогэс — это

займы, это наши недоедания, это Торгсин, это урезки во всем, во всем... Это годы тусклых и голодноватых будней во имя будущего праздника, который для миллионов так и остался невидимым и неощутимым, кроме как на газетной картинке. И вот все годы стремлений и достиганий, падений и побед, тюрем и орденов, недоеданий и недосыпаний взлетели в воздух и превратились в ничто в какие-то доли минуты. Обнажился Ненасытец[488] и ревет по-прежнему. А вокруг — развалины.

Разрушила рука, которая строила.

Похудела. Кольца не держатся: сняла, положила в сумку, улыбнулась. И зачем было дарить кольца — лучше бы мешок сахару, да бочонок масла, да муки, да чечевицы, да ящик папирос!

Докуриваю последнюю коробку дамских папирос «Кармен», противных, как солома. Потом будет крученый табачок. Потом, может, и этого не будет. Ведь дают же на месяц ½ литра керосина и 3 коробка спичек. Хоть бы распределяли поштучно и папиросы!

В общем, ничего: юмор не утрачен и вера в то, что будем есть шоколадные трюфели и вестфальскую ветчину, тоже.

Ноябрь, 20, четверг

С сегодняшнего дня граждане моего города получают по карточкам 125 гр. хлеба в день. До праздников нам давали 200, после праздников — 150. На улицах очень много желтых и серых лиц. Все злы, обывательские междоусобицы вспыхивают с потрясающей быстротой и беспочвенностью.

Кроме того, «город в кольце», «город окружен», как признано даже в наших прессе и радио, вообще склонных к оптимистической и бравурной декламации.

Кроме того, «над городом грозные тучи и смертельная опасность» и еще: «Все на защиту Ленинграда!»

Кроме того, бомбардировки с воздуха систематичны и ужасающи. Было очень шумно под праздники 13, 14, 16, было чрезвычайно шумно.

Невдалеке от нас рвались фугасные — дом шатало, как на качелях.

По неизвестным причинам стекла у нас пока целы.

Снова ходим в бомбоубежище: разрыв на углу Солдатского и Преображенской[489] и бомба по соседству свели своим грохотом вниз даже маму, которой ходить физически трудно, и брата, которого хоть завтра можно определить в психиатрическую (я не шучу!!!).

Мне очень странно, что я спокойна. Я зла — но спокойна. Ложась в постель после 2-х ночи (до этого часа я почему-то жду повторения налета), я моюсь, раздеваюсь, натягиваю голубую пижаму и ухожу в книги. Читаю я много. Я даже могу с большим интересом читать такие книги, которые в настоящее время потеряли своего читателя[490]. Я говорю о книгах о войне. Я перечитала с неудовольствием «Железный поток» Серафимовича и с удовольствием «Тяжелый дивизион» Лебеденко[491]. Причина разницы в оценках зависит от способов литературной подачи и пропагандистской маскировки.

Обнаженную пропаганду не люблю, равно как и пропаганду, одетую в чересчур дешевое тряпье.

Штатская публика ходит обалделая — и с каждым днем обалдение приближается к гомерическому пику. Трудно штатскому человеку жить в осажденном городе, который к тому же назван фронтом. Для штатского человека в войне слишком много непонятного. Например: кто стреляет — чьи снаряды летают над домом — надо бояться или не надо бояться?

Недавно, где-то поблизости от нас, началась такая неистовая пальба, что я решила выйти из квартиры и узнать: может быть, это уже обстрел нашего района, может, нужно идти в убежище?

Был очень темный вечер. Падал снег. Было морозно. В мрачной подворотне стоял дежурный по дому, какой-то неизвестный мне инженер. Он тоже ничего не понимал, как и я. Выстрелы бухали адски где-то недалеко (нам так казалось) — слышен был ясно фыркающий, какой-то чуфыкающнй полет тяжелых снарядов. Мне кажется, слышны были и разрывы, которые инженер принимал за выстрелы. Потом началось пение снарядов помельче. Потом комариками затянули излетные пули.

Стоя у ворот и глядя на темное, иногда вспыхивающее небо, глядя на город без единого огонька, мы с дежурным недоумевали:

— Кто стреляет?

Останавливали иногда прохожих — таких редких! (за 40 минут — 6 человек, а было около 21 часа!) — преимущественно мужчин.

Те отвечали неизменно:

— А черт их знает!..

Вот и сейчас: 17 часов, метель, сумерки, артиллерийские грохоты.

Кто? Откуда? Бояться или не бояться?

Все голодны. В бомбоубежище много сладострастных инквизиторских разговоров: о гусях, о жареной свинине, о варениках с вишнями, о стерляд-

ках... да, Господи, и о простом каравае хлеба, которого можно было бы поесть досыта! А воспоминание о теплой белой булке с густым слоем свежего сливочного масла несет в себе элементы заразной истерии.

Сны люди видят продовольственные. Брат неизменно видит детство, тетю и фургоны пирожных или хлеба, предназначенные для нашего дома. Я — даже я, не знающая кухни, — недавно во сне варила вкусный обед, резала зелень, мясо, устраивала рагу и бульоны. Показательно.

Обмены: только продукты на продукты. Пропорции произвольны. Редки вещевые требования: на днях мне сказали, что картошку я смогу получить за очень хорошую швейную машину, а хлеб — за дамские часики[492].

Машины у меня нет. Часики — стальные — единственные и пока еще нужны мне. Ergo: ни хлеба, ни картошки.

Кому-то (какому-то комику!) нужны деньги, и он продает мешок картошки. Давали 1000 руб. Не отдал. Я сказала, чтобы дать больше, лишь бы отдал! Не все ли равно, что дальше...

Ночь на 27 ноября

Пишу в постели. Бьет артиллерия. Налеты теперь дневные — по 3—4 часа: по-видимому, ночная метеорология неудобна. Люди мечутся по городу в поисках продуктов, так как то, что полагается по карточке, еще нужно уметь получить — и найти, где получить! После сигнала ВТ продолжается хождение по городу — отупение и голод. И надежда: другие спрятались, боятся, а я найду! Найду, где дают хлопковое масло или крупу, и тихонько займу очередь, и тихонько получу!.. Надежды обычно обманывают. А милиция либо вяло загоняет в убежище, либо бурно берет штрафы — от 15 до 100 руб. Но люди — голодные люди — ходить продолжают. Палят зенитки, сыпятся осколки, где-то рвутся бомбы. Но голодные люди продолжают ходить.

Неплохо снабжаются продуктами почему-то те магазины, которые находятся в районе артобстрела. Зачем делается этот жест трагического благодеяния, мне неизвестно.

Дочь Михалины, Валерка, на днях с 5 утра поехала к Обводному, где, говорили, будут выдавать и сливочное масло, и мясо, и вермишель. (У Михалины рабочая карточка.) Все это и выдавали в действительности — и очередь была многотысячная. Но Валерка ничего не получила. Около 2-х, во время тревоги, она влетела к нам, полумертвая от ужаса: на ее глазах артиллерийские снаряды разнесли и человеческую очередь, и переполненную

людьми столовую. Она бросила чеки и убежала. Взгляд у нее был страшный: в нем были и исковерканные тела, и вопли, и стоны, и кровь.

Голод? Голод. Настоящий? Настоящий. Я знала голод времени Гражданской войны (для нашего Дома — конец 1918-го по весну 1922-го) и голод эпохи коллективизации и эпохи Торгсина. Но это был не голод — ни в одну из этих эпох. Настоящий голый голод пришел теперь. Оскал его ужасен. Перед усталыми глазами гримасничает развинченный скелет. Если ничего вскоре не переменится, я не знаю, что будет с жителями моего прекрасного города: ведь голод выступает теперь в оркестровом сопровождении артиллерии и бомбардировок с воздуха. Ведь нам нельзя больше романтически голодать, как в 1919 году это делала Анна Ахматова, лежа в кровати и любуясь розой, купленной на последние деньги. От нас отнята даже романтика декоративного умирания (для потомства, для критики или для самоуслаждения): голодные люди, громадное большинство которых **не раздевается** с начала сентября, ошалело ищут спасения в убежищах или щелях, или же мечутся по улицам, или же сидят на разных (даже опасных) этажах, потому что именно в момент ВТ готовится какой-то суп, или пьется чай, или смакуется мокрый и тяжелый хлеб. Какие уж тут розы! Какая уж тут декорация!

Обмена продуктов нет ни на золото, ни на брильянты.

За мужской костюм в Парголове дали 2 кило пшена и 4 кило картофеля. Костюм был очень хороший.

В зоне заграждения (Токсово), куда въезд сильно затруднен, жена одного беспартийного командира, бывшего офицера, получила за 30 пачек «Беломора» (по 2 р. пачка) 4 литра молока. Весь остальной обменный материал — платья, обувь, шерсть — вернулся с нею вместе. В пути она была больше суток.

За модельные туфли я получила месяц тому назад 2 кило рисовой сечки, ½ кило сахару, 1 кг шпику. Был обещан еще хлеб и масло, но я не получила ни того, ни другого: норма выдачи оказалась неожиданно сниженной, а туфли брала работница одной из столовых. Работницу эту я не знаю.

За продукты я готова отдать любую вещь и за любую цену, потому что я не могу больше видеть, как голодает мой брат и как начинает заболевать от недоедания моя мама. Сегодня вечером у нее был такой приступ желудочных и кишечных болей, который привел ее в состояние, никогда еще не видан-

ное мною. Ей 71 год, но она почти никогда не болела — я говорю о серьезных болезнях. Здесь же так жутко переменилось ее лицо, так похолодели конечности, что я могла подумать о наихудшем. Она стонала, ее корчило — она умирала от страдания и слабой рукой вдруг перекрестила меня. Это было самое страшное — ее крестящая рука.

Брат был близок к обмороку.

Я готовила маме грелки из нарзанных бутылок.

Я была очень спокойна — неожиданно для себя самой. Я очень ясно ощутила, что вся ответственность за жизнь матери и брата лежит на мне одной, что мне никто не может помочь, что никакой помощи я ниоткуда не получу — хоть головой об стену бейся, хоть кричи истошным голосом!

Мне никто не поможет.

Я совсем одна.

И только я одна могу помочь им. Я — бессильная и голая перед лицом жизни и событий жизни.

Когда боли несколько утихли, я дала маме валерианку, потом предложила желудочное лекарство, таблетку которого от слабости и врожденного отвращения к лекарствам она принять не могла.

Тогда я превратилась в аптекаря и ножом превратила таблетку в порошок и смешала ее с наскобленным шоколадом, ножом же стертым мною с миндаля.

Проделывая все это, я благословляла женщину, принесшую мне сегодня за 23 руб. полкило миндаля в шоколаде.

Мама недоедает систематически из нелогического, но божественного принципа материнской любви: она всегда утверждает, что есть ей не хочется, и обманывает нас. Так называемый суп (H_2O + скотская хряпа из капустной зелени), который по спасительному блату мы изредка получаем из столовой, она ест из чайного блюдечка. А кусок хлеба капризно кладет себе в карман, чтобы незаметно потом подложить на тарелку, отщипнув от него только корочку. Конфеты — когда они есть! — она тоже кладет в карман, но делает при этом вид, что жует и проглатывает. Потом конфета ловко возвращается из кармана в банку. Мама при этом сохраняет либо невинное, либо брезгливое выражение лица.

А я все это вижу — и начинаю ее уличать — и говорю — и вступаю в споры... и попадает обычно мне: за сухость логических доказательств и за педагогический тон. Это — моя видимость: я боюсь быть ласковой, я не смею

быть нежной. Ведь черствая сухость и умный холодок — моя единственная защита, мое единственное сопротивление на страшную и непосильную нагрузку. Если я сойду с этой рассчитанной линии — я погибну (а погибать **пока** я не смею — я не хочу!), я изойду слезами жалости и обиды, я окажусь раздавленной тяжестью моей любви и моей преданности к близким, я с ума сойду от отчаяния перед безнадежностью и мраком идущих дней.

Лучше уж пусть меня ругают, пусть считают злобным педагогом и холодным циником! Пусть обижаются на меня! Пусть страдают из-за меня, так — поверхностной болью — как от укола, от укуса, от ожога.

Может быть, сохранив свой расчет сопротивления, я сохраню им жизнь, сохранив себя.

Ни падать, ни распускаться мне нельзя. Я одна. И у меня двое детей: мать и брат.

Эта тетрадь не должна погибнуть. Если со мной что-нибудь случится, тот, кто найдет ее, должен отдать ее от моего имени в Отдел рукописей Публичной библиотеки — для работ будущего исследователя нашей эпохи. Желательно было бы, чтобы Публичка переслала тетрадь в Париж, в Archive[493] или в Bibliotheque Nationale[494] с той же целью: помочь будущему исследователю, которого я приветствую и которому я улыбаюсь, как другу. Трудно ему будет — бумажки никогда не были нашим сильным местом! Пустыня в области частного архива! Но сделать это необходимо — таким образом, быть может, это звено встретится с недостающими.

Несмотря на голод, на всевозможные лишения, на отсутствие нормального общения с людьми, на всякие страхи, неизбежно связанные с войной в особенности, когда город — **такой город**! — объявляется фронтом... Люди будущего, завоеватели и воины будущих битв, имейте же больше уважения и нежности к городам! Помните, что, погибая, города кричат, ибо гибель их безвозвратна и не может быть оправдана никем и никогда! — несмотря на все это, мозг мой работает великолепно, с предельной четкостью и на хорошем по масштабности размахе.

Если бы можно было писать каждый день...

Дочь моей корсетницы из Пушкина, живущая третий месяц в вагоне в ожидании эвакуации (а кольцо не прорывается, а из города никого не эвакуируют, кроме gros bonnets[495], законспирированно увозимых на самолетах!), говорила, что от этого прелестного городка и его дивных парков остались

одни развалины. Встретить дом «на ногах» — почти чудо. Дворцы якобы разрушены. Мне жаль моих царскосельских аллей, мне жаль, если действительно погиб этот город русских поэтов!

Дом Бориса Николаевича Кректышева (Надеждинская, 4) наполовину разрушен бомбой: обвал (на все этажи) произошел по стенке его квартиры, оставшейся целой. Его приютила у себя Лидия[496]. С наслаждением зашла бы к ней, но боюсь: Загородный часто бывает под обстрелом, а я теперь сократила свои выходы в мир до абсолютного минимума.

Социальное лицо сохраняю только благодаря всеобщему уважению к моему имени и доверию всего дома — домохозяйства и актива, в частности. Верят моим скупым словам о работе и по редким появлениям на дворе и на лестнице судят, что я служу. Документов, к счастью, давно никто не спрашивает. И никто не знает, что я фактически не служу, что фактически я безработная, «подлежащая использованию на трудповинности по месту жительства». Меня никто не трогает. Делаю все, чтобы это всеобщее мнение жило и дальше. Но это и сложно и дорого дается. Думаю — выдержу.

Заработков нет. Какому идиоту нужны сейчас переводы?! Легкомысленно трачу все свои сбережения и жалею, что нельзя вынуть вклад из сберкассы: в месяц выдают только 200 руб.! Хорошо, что тратить почти не на что. Покупать-то нечего... а на выкуп по карточке много денег не нужно, равно как на оплату редких «блатных» обедов из столовки!

Любопытное наблюдение: в середине месяца бомба упала почти рядом с нами, на углу Солдатского пер. и Преображенской. Я, впрочем, об этом уже, кажется, писала. Мы все (т.е. моя семья) восприняли ее главным образом физически: грохот, шатание дома, страх, нервный шок у мамы и у брата. Поговорили. Порадовались, что никого не убило. Выходя на улицу, ни я, ни брат даже не посмотрели в ту сторону: дело кончено, взрыв отгремел, что же еще?

И только через несколько дней, ночью, во время такой же бессонницы, как сегодня, я вдруг вспомнила: да ведь там, рядом с упавшей бомбой, наш дом, собственный дом моего отца, купленный им у баронессы Розен! Где же чувство собственности, то, которое, как говорят, неотделимо от человеческой психики? Ведь никто из нас троих не подумал об этом проклятом «собственном доме» и не позаботился, не поинтересовался его судьбой ни на секунду! Я очень обрадовалась этому открытию и почувствовала себя метафизически счастливой.

За 24 года мы отвыкли от чувства собственности настолько, что потеряли к ней даже вкус воспоминаний. Тем более что 24 года с неизменной возможностью неприятностей (выражаясь мягко!) шло рядом позорное прозвище «дочь бывшего домовладельца», звучавшее хуже, чем «дочь проститутки и вора». Я же помню мои разговоры со следователем ГПУ на эту тему — и со всякими другими типами, менее культурными, заседавшими в разных паспортных комиссиях и в тройках по чистке.

Да: **настоящая** российская интеллигенция с болью, с гневом на непонимание, с отчаянием жертвенности во имя прекрасного прошла через сокрушающее самосожжение. Сожжено и разрушено многое — для оправдания бытности в настоящем. Удалось ли — не мне судить, а Вам, милый друг, будущий исследователь! Одно могу сказать: было очень больно и очень — очень! — трудно. Чувство материальной собственности, оказывается, сжигается легче всего — об этом скажет все мое поколение, не вкусившее и не знающее власти владения. Чувство собственности и накопления осталось лишь в материализованном наслаждении интеллекта: книги — и иногда художественные коллекции. Впрочем, обобщать я боюсь: между чувством собственности и скупостью мне трудно проводить различимую грань.

Когда о «собственном доме» на Преображенской и о бомбе я рассказала за утренним кофе моим (по утрам мы пьем черное кофе с сахарином, случайно обнаруженным с эпохи 1919—1920 годов, и со стыдливыми кусочками драгоценного черного хлеба), они очень удивились и вспомнили — ведь действительно бомба разорвалась невдалеке от дома № 8, а этот дом действительно был когда-то наш. Поговорили. Повспоминали. И забыли вновь, холодно и чуждо улыбнувшись этому призраку собственности, в которой никто из нас больше не нуждается.

От недоедания начинают умирать люди.

И от недоедания у некоторых резко меняются лица: появляются отеки. Я сама страдаю от отеков лица и век. Глядя на себя в зеркало, вспоминаю о своей красоте. Осталось, конечно, но при вечернем освещении, так сказать!

Приходит усталость — от бомб, от голода, от радио, от газет, от таинственных возникновений новых направлений на фронте, от всеобщего отупения, от незнания завтрашнего дня.

Слухи! Слухи! Слухи! Разные и любые...

Германия стоит под Москвой: Клинское направление, Можайское, Мало-Ярославецкое, Волоколамское. Нужно догадываться, что сданы Тула и Тверь. Осталось ли что-нибудь от этих городов? И какое положение в современной тактике и стратегии занимают уличные бои, воссоздаваемые нами, по-видимому, по примеру Испании?

Интересно будет прочесть историю этой войны так лет через 7—10. Прочту ли? Да. Хочу.

Германия стоит и у порога моего города. Собственно говоря, на самом пороге, на конечных остановках трамвая: Лигово, Стрельна. Все пригороды отданы. По финляндской линии как будто стоим на старом пограничье Белоострова. Сегодня кто-то говорил, однако, что в Сестрорецке уже немцы.

Какое жуткое и любопытнейшее время!

И как не переставая бьет артиллерия! Уже 4 часа утра.

Ночь на 29 ноября, в постели, 1.40

Иногда — когда подумаешь — меня начинает объективно удивлять мое собственное личное отношение ко всему окружающему.

События кровавой драмы разворачиваются вполне реально, с полной закономерностью реальной войны, реальной осады города, реального голода. Я же, видя и зная все это, наблюдая и оценивая, переживаю все это так, словно мое участие в этой реальности само по себе не вполне реально. Я не до конца верю в возникшую неожиданно вокруг меня реальность опасности, ужаса, смерти и страдания. Мне очень часто кажется, что настоящее — это часы затишья, или сна, или нашего скромного обеда, или моих литературных упражнений. А бомбежка, тревоги, грохоты орудийной пальбы, смерчи взрывов, слухи о катастрофах — это не настоящее, не совсем, не до конца настоящее, что это **не может быть** настоящим — просто потому, что для меня во всем этом ясно видны признаки неестественности, невозможности бытности **такого** в реале, непостижимости. Les fantômes deviennent pour moi beaucoup plus réels que la réalité même. Et la réalité, se transformant en fantômes et devenant quelque chose d'irréel, me laisse parfaitement froide et sûre de son impossibilité dans l'existence réelle[497].

Может быть, это дороги спасения — такое бегство в признание реальности нереальностью и наоборот. Или начало тех ступеней, к которым может подойти освобождающийся дух? Не знаю.

Я очень спокойна — несмотря ни на что. В моем спокойствии много высоты и гордости. И очень много любопытства: я смотрю на себя, на дру-

гих, запоминаю, приглядываюсь и все-таки не совсем верю, что все это — правда. Возможно, что я играю в прятки сама с собою: действительность так страшна, что j'ai peur d'avoir peur[498]. Поэтому и прибегаю к спасительным маскировкам: сохраняя свое равновесие.

Я очень многого боюсь, я почти никуда не выхожу, не езжу далеко от дома, ни за что не пойду (если к тому нет особой надобности) в опасный район. Но страх мой, даже в его материальном проявлении заботы о себе, о сбережении физического естества, по существу является каким-то отвлеченным, словно речь идет не обо мне, словно просто мне же поручено оберегать меня, причем оберегающее и оберегаемое не совсем тождественны. Это два лица — похожие, но безусловно разные. Оба должны выжить, потому что одно из них — очень ценное. Которое? Этого я не знаю.

Видя и сознавая многое и логически оценивая общее положение вещей лучше, чем многие, я плотно закрыла двери перед страхом, отчаянием, безнадежностью и ужасом. Не надеясь ни на что определенное, я почти фаталистически, спокойно смотрю на течение времени. Словно это не совсем я. Так, пожалуй, читают о ком-то близком и дорогом, но отошедшем уже в далекое прошлое, которое не вызывает боли при воспоминании.

Запомните, милый читатель, что это не мудрость христианского смирения перед волей Бога и не вера в чьи-то молитвы, которые — если человек существует— пышными фейерверками летят к престолу Всевышнего и, должно быть, только раздражают его своей театральностью.

С Богом у меня отношения особые — очень сложные, и вмешательства третьих лиц в них я не допускаю.

Повторяю сказанное когда-то: Христа мне очень жаль. Ведь Бог в нем оскорблен гораздо больше, чем Человек. И люди, поклоняющиеся ему в церквах, сострадают его человеческим страданиям, превращая плотское в нечто божественное — и этим оскорбляют его также.

Человеческие страдания Христа не божественны. Божественность человеческого страдания у его Матери.

Я бы с наслаждением поговорила на эту тему (еретическую, по-видимому!) с каким-нибудь умным католическим патером, лишенным священнического страха перед словом и мыслью и живущим сознательной (а не благоприобретенной, не декоративной!) жизнью большой человеческой чистоты

(pureté et chasteté)[499], когда этой чистотой руководит не закон, не обеты и не воля к воздержанию, а глубинное знание, что иначе он не может.

Не **«нельзя»**, а **«не могу иначе»**.

Но «je ne peux pas parce que c'est défendu». Mais «je ne peux pas autrement même si c'était permis»[500].

Странные строки. Зачем? Во имя чего мне неожиданно пришлось коснуться христианского богословия и католического канонического права? Интересны тайные пути мысли.

Пройдите мимо, читатель! Если я сохраню себя, в будущем я Вам подарю большой роман. Мысленно этот роман я уже читаю, он во мне уже создан и созрел, я только не совсем уверена в конце. Но каков бы конец ни был, роман этот очень печальный — очень спокойный, очень злой — и очень печальный.

Теперь о жизни дольней: тревоги дневные — часов по пять подряд (сегодня: от 12 до 17), с эффектными бомбардировками. Неизвестно, почему сидим дома и не сходим в убежище, хотя разницы между дневной опасностью и ночной опасностью нет никакой.

При свете дня, однако, большая опасность никогда не кажется большой и страх всегда уменьшается. Таковы древние законы человеческой психики.

Голод как голод. Появляются заменители (мы — тоже Европа!). Вместо хлопкового масла сегодня давали повидло (мы не получили). Вместо мяса дают рыбные консервы (мы не получали и не получим — в очередь нужно становиться с 5 утра, и то уже будешь восьмисотым или тысячным! Если так будет дальше, мне придется либо заниматься такими очередями и потом умереть от легочного заболевания, либо не заниматься такими очередями и потом прозаически умереть от голода!).

Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь.
Но молчи: несравненное право
Самому выбирать свою смерть!
(*Н. Гумилев*)

Для осуществления возможности этого несравненного права я берегу очень сильные снотворные. Дозы у меня серьезные, и я не нарушаю их во имя будущего даже при моей теперешней бессоннице, физически изнуряю-

щей меня гораздо больше, чем когда бы то ни было. Мой добровольный уход из жизни может быть вызван только двумя причинами:

1) если я решу добровольно ускорить медленное умирание от голода,

2) если я окажусь в заваленном убежище и пойму, что раскопками заниматься больше не будут.

Увы, увы, дорогой читатель, от несчастной любви я жизнь самоубийством не покончу.

О голоде дальше: за три большие (компотные) серебряные ложки я получила три кило картофеля при обещании, что добавят еще. Когда и сколько — неизвестно.

В городе едят кошек. Это не фраза и не слух. В доме № 21 по Преображенской незнакомая мне лично дама Людмила Эдуардовна Зоргенфрей ест уже вторую кошку. Цена — 40—60 руб. штука. Дама эта сыта, довольна и высокие качества кошачьего мяса хвалит.

Бродячие голодающие кошки, которых за последнее время было такое множество и которые вызывали искреннее страдание у мамы, исчезли за последние дни совсем.

Так вот исчез и наш ежедневный гость, типичный петербургский кот Митрофан, жулик, громила и нахал. Сидел у нас часами и днями, ругался с мамой, когда не было еды, открывал все кастрюли и буфеты, спал на плите и боялся Мустафейки: это тихое и загадочное существо продолжает жить у нас беззвучно.

Мама очень скорбит об исчезновении Митрофана, думая, что и его съели. Мне его тоже жаль — и думать о нем грустно. Но двух котов при нашем пайке держать было бы немыслимо. И так большую часть своего «карманного» хлеба мама тайком отдавала Митрофану!

Вчера мне сообщили, что моя красивая ученица имеет возможность улететь из города. Пусть бы это и сделала. На Октябрьские торжества в ее дом на Виленском пер. упала фугасная бомба, благополучно разорвавшись на крыше и повредив лишь одну квартиру на 5-м этаже (рядом с этой квартирой живет моя ученица, не ночующая дома с начала сентября). После этого, почти в истерике, она с семьей перебралась к замужней сестре в 1-й этаж пятиэтажного дома на Жуковской. С неделю тому назад над нею от бомбы

рухнуло четыре этажа. Пусть уж лучше летит куда-нибудь подальше! Это то, что называется еврейское счастье!

Кису не вижу давно. Работает в госпитале. Анта где-то потерялась[501]. Ксения бодрится пока очень хорошо. Юра второй раз на передовых после легкого ранения, муж продолжает сидеть в тюрьме, от Виктора из Владивостока сведений нет. Любимый человек почти тайком уехал из Ленинграда в начале войны. Ксению жаль — издевается над собой, посмеивается, а самой больно...

О любви как о мужской защите, мужской преданности, о мужской охранительной силе во время нашей войны говорить не приходится... Мужчина (я не говорю о солдатах, потому что среди них никого, кроме Юрия и Васи, не знаю) боится больше женщины и от голода страдает и больше и безобразнее. И думает о себе больше, чем женщина, и под любым предлогом спасает себя охотнее и эгоистичнее, чем женщина. Рыцарей не существует.

И по-королевски люди не умеют любить тоже.

Все прекрасные позы и прекрасные слова оказались приспособленными лишь к мирному времени, если даже смотреть на эти позы и слова только как на театр. Мужчина не выдержал даже постановки! Я не говорю уж о настоящем!

«Vous servir, ma Reine! Etre votre serviteur aimant!»[502]

Как смешно и дико вспоминать теперь — вот сегодня! — такие торжественные и красивые слова! Так смешно, что даже не больно. Посмотришь, улыбнешься, покачаешь головой — ну, и комики! А впрочем, это вполне естественно, так, видимо, поступают средние люди, это общая мерка. Ведь нельзя же подходить с рыцарскими кодексами, расценивать по рыцарским кодексам рядового обывателя. Обывателю-то от этого ничего не сделается — он только надуется от спеси, как индюк, — вот, мол, какой я замечательный, вот с каким аршином ко мне подходят, я, может быть, Баярд я, черт меня возьми, и Тристаном быть могу, мне этот дурень Ромео и в подметки не годится! Но каково тому, кто в ослеплении безумия принял Обывателя за Рыцаря...

Трагедия Дон Кихота страшна, но прекрасна. А если эту трагедию вывернуть наизнанку?

Если сделать так, что Дон Кихота — Рыцаря не было, а его выдумала влюбленная Дульцинея. Не написать ли мне когда-нибудь об этом? Эта мысль мне пришла впервые.

Как великолепна будет картина необыкновенных страданий прозревающей Дульцинеи! Как непоправимо будет падение духа прозревшей Дульцинеи! И в каком бессмертном самолюбовании останется жить и блаженствовать Дон Кихот. Обыватель, уверенный в своей непогрешимости и в значении для истории! Да — надо, надо обдумать эту тему.

Не Альдонса, трактирная девка, ставшая принцессой Дульцинеей **через** Дон Кихота — Рыцаря и поверившая через его веру в то, что она — Прекрасная Дама, а наоборот: Принцесса Дульцинея, через свое безумие творчества и любви создавшая Рыцаря из обывателя и через свое прозрение ставшая Альдонсой, трактирной девкой...

Каким языком писать то, что мною мыслится по-французски? В какие формы облечь мое чудовище, достойное Достоевского? Можно дать в виде символической сказки, изысканной и умеренно остроумной. Можно дать в виде поэмы, полной пафоса и печали. Можно дать и в форме реалистического романа со смещением времен и персонажей.

Я почти полюбила мою Дульцинею-Титанию.

Как хорошо, что в войну и голод я смогла полюбить еще что-нибудь и кого-нибудь!

Вы не находите, любезный читатель, что я очень смешная и нелепая женщина!

Ночь на 1 декабря, начало 3-го

Общая продолжительность сегодняшних тревог равна 10 часам. Развлечение, я бы сказала, изнурительное.

Сегодня жили только на 125 гр. хлеба все втроем плюс Мустафейка. Вывезла Эдикина безработная карточка, полученная вчера, на которую дали хлеб на 1-е число.

Почти весь день пролежала — в мыслях и полудремоте. В теле огромная усталость, медлительность, оцепенение. Часты головокружения и ощущения предобморочного состояния. В ушах постоянно звенит и непрестанно слышится сирена тревоги.

Что же с вами будет, моя дорогая?

Чтение Драйзера («Гений»[503]) и Щедрина («Головлевы»), Сельмы Лагерлеф и Клары Фибих, воспоминаний Кропоткина[504] и Шекспира. Газет не

вижу давно, радио у нас почти все время выключено — из-за брата: не может слышать равномерного тиканья, пульсация которого прерывается либо перед тревогой, либо перед передачей. Кто же угадает? А ожидания нервы уже не выдерживают. Я предпочитаю ориентироваться на нашу дворовую сирену, она такая дура — кажется просто шумной и вопящей бабой и никогда не пугает.

Усталость от всего так велика, что в бомбоубежище сходит все меньше и меньше народу. В дневные тревоги никто из нас не двинулся с места (мама и брат вообще давно отказались от убежища — главным образом из-за публики, которая им не нравится). В 8 вечера я решила немного пройтись — болела голова и подташнивало. На улице вместо тьмы меня встретила светлая, какая-то веселая ночь. С угла Озерного я ясно видела Кирочную, с угла Ковенского — колокольню Нотр-Дам[505] и Надеждинскую. Гуляя вокруг дома, думала, что сейчас будет тревога, что такая необыкновенная ночь не может пройти тихо. И вскоре действительно загудели сирены — и весь город закричал. Этот крик города всегда сильно волнует меня. Кажется, кричит о помощи живое, мыслящее существо, обнаженное, беззащитное и неподвижное.

Не трогайте меня, плачет мой город, не калечьте меня! Я так прекрасен, я неповторим! Спасите! Спасите! Спасите!

Так же кричат другие города мира — древний Лондон, уютная Рига, прелестный Гельсингфорс, Берлин, Мюнхен, Нюренберг.

Так же кричит Москва.

Говорят, что из города многие не только улетают, но и уходят per pedes apostolorum[506]— организованно, конечно. Так, одна медичка сказала мне сегодня, что пешком ушла на днях Военно-медицинская академия в полном составе. Пешим образом собираются вывести и 1-й Мед[ицинский] институт. Она не знает, как сможет физически выдержать долгий путь (от 5 до 10 дней по опасной зоне): голодает она нещадно. Сегодня вечером в бомбоубежище, где было нас всего 6 человек (а раньше в ночные тревоги было до 180—200!), она плакала от голода, говоря о питательности пирожных. Она переселилась в наш дом. Кто она, я не знаю.

Близятся какие-то большие перемены. Хоть скорее бы! А то, может, не хватить сил у меня...

Декабрь, 22, понед[ельник]. 16.45

Пишу в кухне при крохотной керосиновой лампочке, питающейся сплесками керосина, случайно оставшегося.

С 4 декабря наш дом без света — как и многие другие.

С 18 декабря наш дом без воды — как и многие другие.

За водой брат ходит с бидончиками в соседний дом, где вода пока еще «функционирует». Как будет дальше с освещением — не знаю: горючего нет во всем городе, без тока стоят заводы и беспрерывно простаивают трамваи, без света стоят больницы и учреждения.

Голодают все — и голодают жестоко. Голодаем и мы. Мама и я слабеем, но голод приемлем до известной степени философски. Брат же страдает очень и готов есть все, что попадется под руку.

В такие периоды стихийных бедствий страшно обнажаются люди. Произошло и обнажение сущности характера Эдика, в котором вдруг ярко выпятились все потенциальные элементы наследственности — худшей стороны психики от отца: раздражительность, придирчивость, пустое злобствование, склонность к пустословию, черты страуса, свирепый (детский?) эгоизм и обезоруживающее по своей нелепости и глупости легкомыслие. То, что в мирное время можно было квалифицировать как «витание в эмпиреях», «не от мира сего», «поэтическая натура» и т.д., в наши дни называется иначе. И это открытие и такая переквалификация неприятны. Замечают это, однако, немногие, ибо и царем, и богом, и высшим идеалом сделался кишечник. По-видимому, это слово надо писать с большой почтительной буквы.

Эмблемой Ленинграда за последние два месяца является человеческий **кишечник**. Картинно!

18 декабря, к концу дня, в наш дом попал артиллерийский снаряд. Мы сидели с Антой в моей комнате. Звенели, не переставая, стекла, вздрагивал дом, а мы топили печку, говорили о психологии японцев и никак не могли понять, кто же стреляет: «мы» или «они». О, несчастная штатская публика, ведь в серьезные моменты положение ее бывает трагикомическим!

В комнате было почти темно от маскировки окон и ранних зимних сумерек. Через отогнутую портьеру синел край дневного света. И вдруг в этот синий просвет я увидела своими слепыми глазами, как с крыши южного флигеля сорвался во двор целый вихрь снега и чего-то красного. Я ничего не поняла, но — на всякий случай — увела Анту в переднюю, где мы и простояли на вздрагивающем полу до конца обстрела.

А потом оказалось, что снаряд попал в крышу южного флигеля, пробил чердак и разорвался в передней квартиры на 5-м этаже, повредив при этом три квартиры. Потолки обрушились до 3-го этажа включительно. Один пожилой мужчина ранен. Рояли, зеркальные шкафы и мебель мелкими щепками вместе с битым кирпичом выбрасываются теперь из окон на двор аварийной командой.

Каким-то чудом почти все стекла в доме уцелели — вероятно, потому, что вставлены вообще очень плохо и с удовольствием дрожат и звенят всегда — даже при въезде во двор грузовика или мотоциклетки.

Комнату, где живет мой 12-летний приятель Саша Гефельфингер, засыпало обвалом с коридора, так что они не могли выйти. Для их освобождения из соседней квартиры было прорублено в стене метровое отверстие. А в их комнате остался труп отца Саши — преподавателя консерватории по классу органа и композиции, умершего с неделю тому назад от голода.

В нашем доме умерло от голода 6 человек. Никто еще не похоронен. Гробы — остродефицитный товар, и на них громадные очереди. Хоронят обычно без гробов, без колесниц: покойников зашивают в простыни, в мешки, в одеяла и везут на кладбище на саночках. В 1919 году тоже возили на саночках, но гробы были. В 1919 году могилы все-таки кто-то рыл — теперь же могильщики за рытье могилы требуют 2 кило хлеба. Кто же может платить такой бесценной валютой? Ну, и сваливают покойников за оградой в общую кучу — или складывают штабелями — в расчете на братскую могилу от государства. А наиболее рачительные и любящие родственники, с мещанским презрением относящиеся к братским могилам, укладывают своих покойников рядышком с родной или знакомой могилой, ожидая, что «потеплеет и мы сами тогда могилку сделаем!».

Эмилия мне рассказывает о своем 96-летнем дедушке: «Мы его так хорошо положили рядом с могилкой тети, и снежком присыпали и елками убрали — ну, прямо красота! Ведь все-таки родственник, нельзя же бросить, как собаку, как это другие делают — братская могила, подумайте, какая гадость! А весной мы его сами зароем, когда земля станет мягче...» Рассказывала она это в дни больших морозов. Сегодня же оттепель, льет, лужи, мокреть. Интересно, как выглядят штабеля из мороженых покойников?..

От голода недавно умерла молодая обещающая поэтесса Варвара Наумова, а после ее смерти появился Союз писателей с обидой — почему не сказали раньше, может, и спасти удалось бы! Так как всем известно, что такое

выступление является не больше как декорацией, как плачевным украшением, никто и не обиделся и не посетовал. Ведь люди скоты — и еще какие!

На фронтах— успехи советских войск после полугодовых неудач. Ленинград в связи с этим истерически ждет подвоза продовольствия.

Для памяти: по сие число нами получено по карточкам на декабрь:

мясные консервы — 450 гр.

макароны 1400 гр. (несъедобные и черные)

мясо 500 гр.

джем 600 гр.

масло 200 гр.

Это — очень шикарно и очень удачно, потому что другие ничего из-за очередей получить не могут, а для меня простаивает в очередях милая дама с внучкой, и я ограничиваюсь лишь 2—3 часами стояния.

Если рассчитать, то на нас — на троих — из полученного количества падает:

на одного человека на 22 дня .... 1050 гр.
в день .... 47 гр.
плюс .... 125 гр. хлеба
Итого .... 172 гр.

Причем в этом месяце у меня выменянная лишняя продкарточка, так что продуктовая норма выдачи у меня выше, чем у всех остальных. Что может быть прекраснее и сногсшибательнее беспощаднейшей из наук — статистики!

Керосину у меня хватит дней на 10 (лампочка коптит от 5 до 10—10.30). Дров, пожалуй, на месяц. Белой муки на несколько дней. Кофе — на неделю.

Ложимся спать после 10-ти (или чуть раньше), плохо спим от пустобрюшия, а когда засыпаем, то по утрам не размыкаем глаз до 11—12: чтобы не устать, чтобы не есть.

Мозг продолжает работать прекрасно: при резком ослаблении бытовой памяти забываю, кто был, когда, что говорил, о чем рассказывал. Все, что касается абстракций и умственной спекулятивной игры, не оставляет желать лучшего.

Страдаю от отсутствия света. Много бы писала.

Война, что называется, становится действительно мировой. На днях Япония объявила войну Америке и уже бомбит всякие острова — в том числе

«мои», Гавайские. Боже мой — голубые острова мечты, прекраснейшая человеческая порода, что-то божественно-спокойное и божественно-бездумное! И вот: воздушный налет на Гонолулу. Бомбы. Жертвы.

Очень страшно и очень трудно жить в этом мире.

А как трудно будет в мире после мира! Каким титаническим трудом, какими лишениями будет наполнен период реконструкции. Многолетний период.

Если я выживу — а выжить я намерена твердо, — то меня интересует: каково будет мое положение в этом долгом восстановительном периоде?

На маленькие роли — или на незаметно большие роли — я больше не пойду.

Баста!

Сильнейшая черта во мне — честолюбие.

Но честолюбие мужское — умное, брезгливое и разборчивое в путях и средствах.

К сожалению, во мне очень много чистоты.

25 декабря, четверг

На именины мамы по невероятному ученому блату достала по карточке кило шоколада. Сочельник встречали нищенски, забелив мукой воду и вообразив, что это — питательный суп.

Никому не нужная елка, украшенная дурацкими бомбочками, стоит на столе в столовой.

За водой приходится ходить в соседний дом.

Отекают и очень болят ноги.

Морозы жестокие.

Год 1942-й

Январь, 5, понед[ельник]

Оказывается, живем еще и в новом году! Воды нет, света нет (освещения у нас вообще нет, кроме церковных свечек, подаренных Ксенией и Николаем и сгорающих в один момент!), трамваев нет очень давно, автомобили крайне редки, с продуктами чрезвычайно плохо.

С 25.XII все получили хлебную прибавку — не 125, а 200 в день. Рабочие имеют 350. Ликование истериозное — ждут уже новых прибавок, гастрономов, Торгсинов, говорят о новых победах, о продуктах, «лежащих горами» за блокадным кольцом под городом, о «курортном снабжении», приказанном Сталиным для ленинградцев, — о всем хорошем, сытом и приятном. Говорят и умирают от голода тысячами в сутки. В магазинах до сих пор не объявлена норма на 1-ю декаду. Голод настоящий.

11 января, воскрес[енье], 16 час.

Мороз: -24°. Едим суп-болтанку из странной и невкусной муки (овес, соя, дуранда). Суп воняет — прибавляем туда уксус и горчицу. Мама слабеет. Эдик тоже. У меня зверски болят ноги: могу ходить только в валенках брата.

Как я продержу моих детей хотя бы до первой нормальной выдачи по карточкам? За 1-ю декаду не получено **ни-че-го**! Даже спичек не дали. (На рынке коробок уже 8 руб. Я платила еще по 5.)

Пишу в кухне, где сидим днем до густых сумерек. Потом затапливаем печь у мамы и при отблесках огня пытаемся «ужинать» и пить чай.

Света нет. Воды нет. Со вчерашнего дня перестала действовать уборная. Мой осветительный материал заключается в парочке церковных свечных огарков. В городе очень много смертей (от 20 до 25 тысяч в неделю — так говорят врачи). Позавчера, идя около полудня к Тотвенам, сосчитала: на

отрезке от угла Знаменской[507] и Бассейной до Литейного по Некрасова[508] я встретила 6 покойников без гробов[509], обернутых в какие-то мешочные саваны, 1 покойника в гробу и 1 полуприкрытый обнаженный детский труп (вероятно, жертва артобстрела): итого — 8. Все, конечно, на салазках. Детский труп был ужасен: я обратила внимание, что из саночек, везомых навстречу мне, торчат к небу две восковые голые ноги. Саночки проехали — а я имела глупость обернуться: под голыми ногами лежали большие куски кровавого замороженного мяса. Человеческого мяса. Это было и страшно, и тошнотворно. Я еще никогда не видела кровавых груд человеческого мяса с обломками костей. Это — очень страшно.

Больше покойников я не считала.

А над городом такой великолепный морозный день с дымно-золотыми облаками, с чудесным январским солнцем! Гóрод же печален и полон ужаса гибели: под снегом трамвайные пути и не видны, пешеходы бредут злые, обездоленные, лица их ужасающи, как у беспокойных трупов, окна в домах либо перебиты, либо заколочены фанерой и досками, за такими окнами доживает свои часы человеческое страдание. Этнографический музей зияет жуткой пустотой разбитых зеркальных стекол и провалами потолков, видных сквозь оконные проемы (фугасная бомба, давшая девиацию на музей).

Мой город, мой прекрасный город, что с тобой сделали люди!

Люди, люди... умирают в очередях, падают и не встают на улице, умирают в квартирах, в бомбоубежищах, в столовках, умирают всюду. На днях на нашей улице целый день лежали три неизвестных трупа.

Недавно на Дворцовой наб. упал и не встал больше высокий мужчина в валенках и меховой шапке. Была метель. Его чуть занесло. Мимо проходили живые люди, оглядывались и проходили дальше. На следующий день человек продолжал лежать, запорошенный нежным снегом, но уже без валенок. Еще через день он был уже без шапки. Потом его куда-то убрала милиция.

Трупы лежат штабелями на кладбищах, в пустующих гаражах, в покойницких больниц, на стадионах. В гараже Эрмитажа их жадно объедают крысы.

К нашему дому кто-то подвез и подбросил двух покойников. Ночной сторож, угрюмый и голодный старик, ворча, стащил их в Евангелическую[510].

Наш управхоз, 52-летний Карл Юрьевич Ксотс, эстонец, так и не дождался «Адольфа Карловича» и на днях умер на улице от истощения.

А в магазинах не выдают **ничего**!

Январь, 23, пятница, 14.30

Мороз -23°. В моей комнате -2°. В столовой, где теперь живу и ночую и я, -5—6° при ежедневной топке. Бытовые условия продолжают быть такими же тяжелыми. У меня, ко всему прочему, воспаление надкостницы.

Быт начинает заедать своей упорной и страшной тупостью каждого дня. Быт и бытовые злосчастья начинают постепенно захлестывать и меня.

Стервенея от злобы, думаю: о человеке думаю, о великолепной выносливости и приспособляемости этого прекрасного животного! Какая замечательная скотина — человек! Какой бы другой скот выдержал такую жизнь, превышающую силы и скотские и человеческие? А вот наша скотина все переживает и переживет — а потом даже сумеет забыть, если пережитое шваркнет по голове и не очень тяжелым обухом.

Нет воды, нет света, нет канализации. Газет я не вижу очень давно (не удается достать). Радио молчит. С едой очень, очень трудно. Ждут 25-го надбавки к хлебной норме — сегодня же брат стоял за хлебом 2,5 часа (у него от слабости и болезни ватные ноги) — пока повысили только цену (1.70 вместо 1.25), но хлеб хороший, вкусный и больше не воняет дурандой. Только мало его, хлеба! А ведь кушать хочется очень и все время. Едим только жидкое — супцы, болтанки. Слава богу, достала необыкновенными путями 1 кило мяса и 1 кило манной: вот живем уже неделю на супце, хвалим, радуемся вкусу и думаем прожить так еще неделю.

Мама, мучительно страдающая кишечником, сильно изменилась: это больше не пожилая дама с молодой душой, с молодым смехом, с молодым, чуть агрессивным задором. Нет. Это — слабенькая и беспомощная старушка, обидчивая, капризная, своенравная, абсолютно непрактичная и нехозяйственная, с психологией юной барышни 70-х годов и с воспоминаниями далеких, далеких лет. Милая бедная старушка! Какая тяжелая старость у мамы, какая тяжелая жизнь! И как страшно мне видеть и знать, что физически гаснет и затухает самое близкое и любимое, а я не могу ничем помочь... Мне нужно масло, мне нужен сахар, мне нужен белый хлеб, нежные крупы, питательные консервы. А у меня нет ничего, кроме вещей, золота и брильянтов, с которыми мне нечего делать, ибо нет у меня такого обменного продуктового спекулянта!

За брильянтовое кольцо Тихонова недавно получила две банки консервов по 500 гр.: мясо и рыба.

Белый хлеб, краденный из госпиталя, стоит 660 руб. кило.

Масло стоит 1000 руб. кило. Сахар примерно в той же цене.

Но достать мне этого не удается.

Что будет с городом весною, с городом, покрытым человеческими экскрементами, но нарядным от снега, от пышной богатой зимы? Ведра с испражнениями выливают и на дворы, и на улицы. Весь город превращен в открытое отхожее место. Пока спасают снег и морозы.

Умирают много. По слухам, от 7 до 8 тысяч в день. Рекордным днем смертной статистики было 12 января: умерло 13 тысяч человек. Так говорила Тотвенам их пациентка, важная военная дама, муж которой работает в Штабе. Она же рассказывала, что немцев прогнали из Лигова оригинальным и жестоким способом: водой. Подробностей не знаю — но потоки воды в такие морозы, пожалуй, более страшны, чем лобовые атаки!

24 января, пятница

На улице -32°. Настроение, однако, у публики праздничное: всем категориям прибавили по 50 гр. хлеба. Кроме того, всем выдают по 50 гр. масла, рабочим и служащим чуточку сахару, а иждивенцам (т.е. тысячам тысяч безработных) — повидло. Я еще ничего не получила, а масло мне нужно как лекарство для мамы — с кишечником ее очень плохо.

Все берегут остатки сил, все, кто может, почти все время лежат. Вот наш режим: встаем, затапливаем плиту около 12 ч., завтракаем в 1 ч., обедаем при дневном свете (из соображений экономии панихидных свеч) около 5, от 5 до 8—9 лежим в полной тьме в столовой, потом топим печку, при ее отсветах ужинаем и пьем чай и в 10 ч. уже снова лежим, чтобы подняться только утром. Таким образом установленный мною порядок поддерживает физические силы моих, так как еда, как бы она ни называлась — обедом или ужином, состоит из жиденьких и постных супов.

С октября месяца — с начала — я не ела ничего твердого, ничего компактного, если не считать, что под Новый год мы сварили размазню погуще из остатков гречневой крупы и имели каждый по кусочку шпика.

Без людей, радио и газет чувствуешь себя отрезанной от мира — и не только кольцом блокады, но и кольцом голода, лишений и слабости. О знакомых узнаю изредка и мало.

Первого января забегала «с визитом» Ксения — служит по-прежнему, мерзнет, голодает, муж в тюрьме, брат на фронте, но она держится хорошо, с достоинством советского человека, приемлющего все основы философии диалектического материализма.

Киса работает в военном госпитале, секретарем начальника. Она, пожалуй, устроилась лучше всех — казарменное положение, свет, чистота, ванны, питание военторговского типа.

Гнедич с половины декабря исчезла совершенно. Голодали они с матерью очень. У них жил и маленький Мичи Боричевский, этот странный, странный мальчик с красивыми, женственными глазами, такой старенький, такой невеселый, такой обреченный. Не совсем человеческий ребенок. Сатаненочек... монашка могла родить такого от мудреца-козлонога.

Анта работает кипятильщицей в бомбоубежище при своем жакте: рабочая карточка, и ходить не надо. В половине декабря она уже еле держалась на ногах от голода.

Лидия истощена совсем и отекла — дом Бориса Николаевича Кректышева на Надеждинской, 4, разрушен фугасной бомбой, он переехал к ней, и «для сохранения приличий» она вышла за него замуж, достигнув в 52 года своей старинной мечты. Он обворожительный и умный старик, поклонник эллинов, Франса и блондинок. Эта же старая дева будет ухаживать за ним остервенело и до самозабвения: Господи, сколько психов дает интересная и страшная толстовская кровь[511]!

По-видимому, где-то и как-то живут и остальные. Живут или умерли. Когда-нибудь узнается.

Да и не все ли равно! Так мало ценности представляет рядовая человеческая жизнь. Лишние 250 гр. хлеба — вот и все!

Мечтаю, как о музыке, как о тихом летнем вечере в Пушкине, — о воде, о горячей воде, о ванне.

И собственная жизнь и окружающая продолжают казаться нереальными.

Разве это реально, что я мою лицо один раз в 3—4 дня и перестала мыть тело уже с месяц.

Разве это реально, что я сплю около трех месяцев не раздеваясь, в старой юбке и двух свитерах.

Разве это реально, что мы сморкаемся в какие-то чистые тряпочки, которые сжигаются, потому что носовые платки берегутся, потому что стирать некому и нечем.

Разве это реально, что я — именно я — живу без книг, без чтения, урывая лишь 15—20 минут на пару страничек моего любимого Салтыкова-Щедрина, самого настоящего и русского из всех настоящих русских писателей, гораздо более страшного, чем Достоевский, так как Достоевский вьется около дьявола, и заигрывает с ним, и боится его, и пугает им, а Салтыков на Дьявола плюет, без заигрывания и без страха: он знает нечто похуже и пожутче Дьявола — русскую жизнь и русского человека.

Разве реально теперь мое существование, в грязи, в голоде, в холоде, с чернотой под ногтями, в валенках, принадлежащих жене Николая и данных мне им по доброте, ибо валенки брата продраны, и я ходила со снегом под носками... Разве реален быт моего дома.

Каждый вечер принимаю две таблетки веронала по 0,25 или одну люминала по 0,1. Чтобы спать, спать... Но сплю плохо.

Милый мой собеседник и спутник последних мирных лет, где Вы с Вашей красотой, с Вашей элегантностью, с требованием женских изысканностей от меня? Как Вы поживаете теперь? Так же ли Вы любите розы и шампанское и те же ли пишете персидские катрены и говорите пышные и душераздирающие фразы?

Милый мой собеседник, если бы Вы только знали, с какой мягкой и страшной ненавистью я люблю Вас, с какой бархатной жестокостью я жду Вашего возвращения.

Живите — о, только живите! Мне так важна Ваша жизнь, отданная в мои руки, мне так важно из Вашей жизни сделать камень жертвоприношения для Великой мести, живущей во мне, как еще не рожденный младенец.

Мне не дано быть матерью. Мне не дано иметь сына, черноглазого, злого и гордого, о котором я больше не буду и думать. Но у меня вскоре родятся две дочери, вынашиваемые мною с мукой, торжеством и проклятием. С ними и во имя их я буду и должна жить.

Имена их: Haine et Vengeance[512].

Будущее будет принадлежать только нам троим.

Еще вот о чем:

Разница между голодом и ужасом 1919—1920 годов и голодом и ужасом 1941—1942 годов все-таки есть.

(Я не говорю ни о бомбежках, ни о снарядах, ни о том, что в продуктовом отношении тогда было лучше: не было осады, не было блокады, но были прекраснодушные спекулянты.)

Разница вот в чем:

В 19-м году на улицах валялись трупы сдохших лошадей. Люди проходили, останавливались и удивлялись.

В 41—42-м годах на улицах валяются трупы умерших людей. Люди проходят мимо, не останавливаются и не удивляются.

Последняя настоящая бомбежка с воздуха была 5 декабря. 21 декабря и 1 января были две короткие воздушные тревоги, на которые никто внимания не обратил. Артобстрела уже нет больше недели. Говорят, что больше и не будет. Вечерами иногда слышна далекая канонада.

О, если бы больше не знать ни бомб, ни снарядов — и, главное, не ждать их.

Живу на предельном напряжении нервной системы. Стрелка, вероятно, стоит на последнем делении.

У меня нет ни сил, ни здоровья, ни физической выносливости.

Но я даже не предполагала, что у меня **такая** воля. Это вот воля — и только воля — и держит мою жизнь на уровне живой жизни. И продержит до конца...

26 января, понед[ельник], 14.45

На улице -21°. В моей комнате -2°. (Вода в кувшине замерзла, дно откололось, получилась чудесная ледяная глыба, похожая на сахарную голову.) В нашей жилой комнате +3°. Сижу в перчатках, в платке, в пальто, в валенках и мерзну нещадно.

Сегодня в городе скандально с хлебом. Первый транспорт в булочные подвезли после полудня (горвод из-за морозов закрыл воду, и не на чем было замешивать). Очереди сумасшедшие. Истерические припадки у женщин — кричат, плачут, срывают с головы платки: отчаяние ужасающих условий быта. Брат получил хлеб случайно: в 11 утра занял очередь, хлеба не было, пришел домой советоваться, что делать. Я отнеслась к известию спокойно и сказала, что хлеб возьмем попозже, а пока — через час — съедим болтанку из ржаной муки. В начале первого брат вышел посмотреть, каково положение в булочных: оказалось, что хлеб подвезли, две женщины признали, что он действительно стоял уже в очереди, и, несмотря на протесты сотен, ему удалось проникнуть в магазин, где его чуть не задавила беспощадная и беснующаяся толпа, напором сдвигающая прилавки. Он прилетел домой усталый, испуганный, но счастливый: в руках его был хлеб, драгоценный хлеб, вкусный, но еще мокрый от свежести выпечки.

Болтанку ели с хлебом.

Вчера, кажется, во всем городе не было воды. Замерзли даже уличные «проруби», откуда люди таскали воду ведрами.

Если нам вскоре дадут воду в этажи, и уборные начнут действовать, и (о, счастье!) пойдет трамвай и вспыхнет электричество, мы поймем сказание о бедном еврее, погибавшем от несчастий в одной каморке с многочисленной семьей: цадик тогда советовал ему для улучшения быта постепенно — одно за другим — поселять в комнату домашних животных: сначала блошивую собаку, потом вшивых кур, потом свинью, потом козу. Когда еврей взвыл от этого, цадик глубокомысленно велел ему постепенно — одно за другим — животных выводить из каморки. Уведя всех животных и вернувшись в состояние первобытного злосчастья, еврей почувствовал себя блаженным от радости и счастья: он понял, что может быть и бывает хуже, а теперь вот ему совсем хорошо!

Таковы человеческие критерии благополучия и неблагополучия.

Сегодня вода пошла в нашем бомбоубежище — и мы очень, очень радуемся. Николай, например, за водой ходит на Неву (живя на углу Литейного и Сергиевской[513]), мать моей красивой еврейки возит воду на саночках из Мариинской больницы на угол Жуковской и Знаменской.

Жаль, что в городе никто не может заниматься любительской фотографией![514] Какие потрясающие картины можно было бы запечатлеть!

Сегодня у церкви Пантелеймона[515] лежит трупик 15-летнего паренька. А на нашей улице — два женских трупа.

В православное Рождество Спасо-Преображенский собор был так переполнен молящимися[516], что громадные толпы стояли на площади. Говорят, в этой церкви хорошо поют — настоящие крупные артисты. Люди молятся, умиляются и плачут. Верующих вдруг стало необыкновенно много. Какая забавная вера — от страха! Может быть, так боги и родились, сотворенные обезумевшими от ужаса и печали людьми.

Дешевая вера. Бог — как зонтик и как аспирин.

Бедный, бедный Христос!

На днях у нашей булочной был такой случай: одна баба вырвала у другой 1/2 кило хлеба и тут же начала его пожирать. И пострадавшей, и публике хлеба у воровки отобрать не удалось — такими клещами она в него вцепилась. Тогда пострадавшая начала беспощадно бить похитительницу по

лицу — а та стояла, лишь головой покачивая, и продолжала есть хлеб. Та била и рыдала, а эта ела и молчала. Так и доела до последней крошки.

Какая-то дама в соседнем доме купила большую вязанку дров на рынке. Продававший мужчина сказал, что эвакуируется, что саночки ему не нужны и за небольшую прибавку он уступит и саночки. Дама обрадовалась, ибо саночек у нее не было. Привезя дрова домой, она обнаружила, что в мешке на саночках, обложенный дровишками, лежал труп девочки. Рассказывала Тихонова.

Интересную жизнь приходится мне переживать, любезный читатель. Выдержать бы только физически... Повторяю: быт и страшное однообразие будней, вечных будней, начинает меня заедать, как вошь. Каждый день так похож на вчерашний, на завтрашний, на позавчерашний.

Мама слабеет — ребячества, капризы и обиды, обида без конца. Ее знаменитая обидчивость и подозрительность растут с каждым днем. Мне ее жаль, я стараюсь быть с нею бережной и оптимистичной, как с ребенком, но иногда срываюсь — срываюсь не в гнев или раздражение, а в логическое возражение или «поправки по существу». Мама мгновенно обижается на меня почти до слез.

Эдик неутешителен — хотя по хозяйству делает много: топит печи и плиту, колет доски, таскает воду, стоит за хлебом, выливает на двор параши. Похудел еще больше, выглядит жутко, непрерывно кашляет, страдает желудком и ослаблением мочевого пузыря — и все время хочет есть.

Ссор у нас нет, но недоразумения по пустякам вспыхивают часто и ненужно.

В других семьях, культурных и интеллигентных, люди ссорятся, дерутся и ненавидят друг друга до бешенства.

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь...»[517] В этом вся причина.

27 января, вторник, 16 ч.

До сих пор сегодня в городе нигде хлеба еще нет. Очереди. Обещают, что к 17 ч. хлебозаводы выдадут продукцию. Мороз. Ни крошки. Ели жидкую мучную болтанку. Все.

28 января, среда, 15.30

Хлеба вчера не получили. Нет хлеба и сегодня. Мороз -23°. Очереди перед закрытыми булочными. Вчера хлеб достали те, кто выдержал 5—6 часов

очереди на улице. Тем, кто не получал хлеба за 25 и 26, давали муку: 160 гр. за 250. Говорят, по личному распоряжению Жданова, к которому (опять-таки говорят) ходили в Смольный тысячные делегации голодающих.

У нас очень холодно. Лежим почти все время. Мама слабеет все больше и больше. Эдик выглядит ужасно — желто-зеленый, худой, с провалами на небритом лице: зол, раздражителен, настроен трагически, близок к отчаянию, к моральной гибели. Охает, стонет и жалуется все время. Двухдневное отсутствие хлеба переносит страшно.

Господи, что же я буду делать дальше?

29 января, четверг, 15.40

Вчера брат принес хлеб в полночь, выстояв в очереди часа 4 с перерывами — если бы перерывов не было, стояние следовало бы исчислить 8 часами. Булочные — дежурные — торговали до 3-х ночи. Всюду была милиция. За Эдиком стояло еще около 200 человек.

Говорят, что вся заминка с выпечкой хлеба лежит на ответственности 1) горвода, закрывшего из-за морозов подачу воды, и 2) хлебозаводов, не обеспечивших запаса воды.

Сегодня метель, -13°. Брат пошел искать воду: хорошо, если по блату дадут на кухне больницы Раухфуса[518].

Вчера удалось достать для дома мясо, манную и муку. Стоит все это очень дорого, но я спокойна на неделю. Вчера в печке сварила им маленькую кастрюльку **густой** манной каши: без сахара, молока и масла она показалась вкуснее самого изысканного блюда.

В очереди за хлебом чуть не плачущий от мороза брат стоял с моей муфтой. Рядом с ним был военный, недавно вернувшийся с фронта, тоже с муфтой и в дамской шали. Подобно вельможам екатерининских времен, несчастные голодающие мужчины зимы 1941—1942 года в городе Ленинграде ходят с муфтами.

Зрелище (по меньшей мере) странное.

В городе большие пожары, такие же разрушительные по эффекту, как и бомбежки. Сгорел дотла дом № 32 по Радищева (неумелая разрядка засевшей в доме неразорвавшейся бомбы), Физиотерапевтический институт, дом на углу Моховой и Пестеля. Тушить сложно, ибо воды подчас нет на целые

кварталы. «Правда»[519] выходит на одном листе. «Смена», на которую мы подписались, не выходит вообще: типографии стоят[520]. Почтовые пути в городе бредовые: письмо от Лидии с Загородного шло ко мне... 12 дней! Иногородняя почта безмолвствует. Возможно, это наша собственная блокада морального состояния всех живущих «на воле», «за границей», «на большой земле», то есть в СССР за линией фронта и ленинградского окружения: вероятно, не надо никому знать, как живет и как умирает прекраснейший в мире город[521].

Смертей все-таки очень много: на улице, в очередях, в учреждениях, всюду. Идет человек — и вдруг падает. И все. Коса смерти подрезает теперь людей мгновенно, как траву. Долгие болезни редки. Да и болеть трудно: врач из поликлиники, вызванный к брату 20-го числа, не был до сих пор — и это явление обычное. Лекарств нет почти никаких: аптеки не принимают рецептов даже на валериану, на капли мятные и датского короля[522]. А прописанные брату танальбин, опий и бактериофаг так и остались рецептурными бумажками. Нет и соды. Плохо с солью. Дрова мне на днях предложили по 400 руб. куб. метр: транспорт мой — а везти от храма Будды[523]! В топку скоро пойдут у меня шкафы и письменные столы.

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ ВОЙНЫ

Февраль, 1-е, воскр[есенье]

На улице -13°. Вчера была красивая метель и розовое к вечеру небо. У нас холодно. Обращение с панихидными свечами, как с драгоценностью. Слабость.

Очень много лежим. Хозяйство почти все веду я — с расчетами, с экономией, с рационализацией (и все это вызывает гнев, возмущение и нарекания моих — «ты куски считаешь, ты делишь, это не еда, а отрава» — делаю скидку на военную нервозность, на голод, на усталость, на общую истерику, но продолжаю поступать так, как считаю нужным я. Иначе не выдержать — и не сохранить моих).

Сегодня несколько кусочков сбереженного мною таким образом хлеба, жаренного на плите. Дело в том, что в лавках хлеба много, но карточек у меня на руках еще нет, карточек ни у кого еще нет — так и получается: у населения пустые желудки, а в магазинах пусто у переполненных прилавков.

Плохо со зрением. Живу почти все время в глубокой полутьме — и пишу и работаю так. Ночью же непрерывно слезятся глаза. Это — очень неприятное для меня и тревожное.

Любопытно и жутко, когда думаю о будущем. Каковы перспективы моего города? Когда окончательно прорвут и снимут блокаду? Когда город перестанет быть фронтом? Когда люди перестанут умирать от истощения? Когда к людям вернутся элементарные условия так называемой городской культурной жизни?

Наш губернатор Попков два раза выступал по радио — сначала обещал улучшение продовольственного положения (пока что-то не видно!), недавно призывал к срочной очистке города от нечистот и грязи и к возвращению к культуре. Пока — тоже не видно. Подождем!

Сводки интересны. Советские войска, не переставая, наступают с 5.12 и берут много городов. Когда читаешь, что отбит Можайск, Осташков, Лозовая, Селижарово, ужасаешься: оказывается, как глубоко и далеко были немцы, как много было потеряно!..

4 февраля, вторник

1-го пришла Галя и принесла сахар, полученный по карточкам, которого мы не видели очень давно... Дома была юбиляция, сладкий чай вечером с поджаренным хлебом, микроскопические порции подслащенной манной кашки! К сахару выдали еще маленькую прибавку ржаной муки — следовательно, на несколько дней обеспечены болтанки!

Вчера была у Тотвенов. Все ослабели, хотя питание гораздо лучше нашего. С наслаждением ела у них свой собственный хлеб, помазанный густо их медом, и пила кофе. У них — страхи перед будущим: эвакуационные настроения в полном цвету. Лишь бы избежать дальнейшего недоедания, очередей и — в особенности — возможного повторения воздушных налетов.

Страх перед вероятной активизацией германской авиации к весне принимает общегородской характер. Ведь сил больше нет ни у кого бегать в промерзлые и мокрые бомбоубежища и высиживать там в холоде и мраке часы и часы! Знаю: из моих не пойдет вниз никто. А бомбовые разрушения в городе, которые мне приходится видеть, ужасны! Прямые попадания раскалывают пятиэтажные дома до основания. Как страшны такие провалы на Сергиевской, на Невском, на Литейном! А ведь я, собственно, вижу еще немного!

Брат истерически требует отъезда — все равно куда, все равно как, лишь бы уйти от бомб и голода. Перспективы у нас вообще туманны. Одно, думаю, ясно: весна принесет жуткую грязь и вероятные на 95% эпидемии. Весь город залит нечистотами, водопроводы бездействуют. Брат за водой ходит в далекие дома и простаивает там в долгих очередях.

А у Симеоновской церкви, у уличных букинистов, столько хороших книг![524] Прохожу мимо, сжав зубы: хочется купить, и бережешь деньги. А с деньгами у меня скоро будет неладно!

Пышная, нарядная, жестокая зима. Пейзажи великолепны. Люди мрут легко и быстро. Говорят, что в городе умерло 1 миллион 700 тысяч человек. Говорят, что на днях начнется массовая планомерная эвакуация. Говорят, что после эвакуации в Москве осталось не больше 2 миллионов жителей и что встретить на московских улицах ребенка — редкость. Говорят, что ни в Союзе, ни за границей, ни в армии понятия не имеют о том, что приходится переживать Ленинграду. Говорят, что в Архангельске — бездна вкусных и изысканных продуктов: бананы, например, сгущенное молоко, апельсины, консервы — и что там англичан больше, чем русских. Это все рассказывала пациентка Тотвена, Лимаровская, или что-то похожее, жена какого-то важного работника из обкома, которая 7-го выезжает из Ленинграда очень шикарно: машиной-люкс до самой Вологды, а оттуда — в Сибирь. Брат ее — начальник госпиталя в Архангельске, и, не будь мужа в Сибири, она бы поехала к брату, но, оказывается, эвакуация самотеком страшна: одна дама с детьми, эвакуировавшаяся из Ленинграда в августе и жившая где-то под Вологдой, решила перебраться к сестре в Челябинск: путь от Вологды до Челябинска взял у нее 43 дня!

Боже мой, как основательно и нерушимо держатся неустройства российского транспорта! Все последние годы было трудно на железных дорогах — вот почему я не ездила на юг или куда-нибудь подальше от моего города. Все финансовые возможности были — и в очень широких масштабах! — но возможности просиживать на каких-то станциях по несколько суток были тоже — и это пугало.

Вчера по радио (у Тотвенов этот аппарат культурной информации действует) передавали, что советские войска оставили Феодосию. Что делается под Ленинградом — туманно: слухи, слухи, слухи!

Усталость и замученность людей, кажется, достигает последних пределов. По улицам народ ходит медленно, и его шатает (буквально). В городе тиши-

на. Пролетают только машины. Близ филармонии стоит занесенный снегом трамвайный вагон. На Невском замерли на неожиданных остановках троллейбусы. Злая фея Карабос[525] коснулась волшебной палочкой моего города — фея носит имя Гибели и Смерти. Какой же Прекрасный Принц придет на освобождение умирающей красавицы, жемчужины Севера?

Вчера же знакомство с вдовой знаменитого Павла Орленева[526]. Милая бойкая старушка. Живет в уборных Александринки. Там же ютится Горин-Горяинов[527] с женой и бэль-мэр. И у них нет света и тепла. Изредка заслуженные и народные получают индивидуальное подкрепление. Так, на днях 78-летняя Грибунина получила 1 кило мяса, 1/2 кило риса, 300 гр. масла — и от голодовки съела все почти в один вечер. И на следующий день умерла.

Композитор Асафьев пишет и сочиняет в немыслимых условиях: коптилка, холодная комнатушка, где стоят три кровати, на композиторе капор тещи и дамские теплые кофты. Но — пишет! И это чудесно. И я горжусь и за себя, и за Асафьева. А в консерватории проф. Друскин защищает на днях докторскую диссертацию на тему «Клавесинное творчество и исполнительство в Европе XVI—XVIII вв.». Приветствую вас, незнакомый мне профессор Друскин! И горжусь — и за вас, и за себя!

Лишь бы пережить, лишь бы выжить! А там, может быть, и Торгсины будут: Орленева утверждает, что Торгсины уже шествуют в Сибири и на Урале. Если государство даст мне возможность получить овсянку, масло и сахар за мои брильянты и золотые безделушки, я буду глубоко благодарна государству.

На наши деньги масло стоит от 1500—1700 р. кг, мясо — 700, крупа 350—450, хлеб, как крупа. Но достать — даже за такие суммы — невероятно трудно, невероятно сложно. Почти лампа Аладдина.

Сегодня два месяца, как у нас нет электричества, и почти месяц, как не действует уборная.

У меня отек левой стороны лица и ватная тяжесть в ногах. Путь к Тотвенам мучителен: перед глазами — мухи, мухи — и весь город, улицы, дома, снег, деревья, все дрожит. Так, в дрожащем мареве, в сдвигающихся и расплывчатых перспективах и плоскостях, на слабых ногах я совершаю теперь каждое путешествие по городу. Шатает и меня — и это бывает почти смешно: вдруг невидимая сила упорно сносит с прямого пути и почти припеча-

тывает к стене дома. Постоишь, держась руками за стену, оправишься, улыбнешься, покачаешь головой, удивляясь и радуясь, что еще можешь удивляться, — и идешь дальше, до новой забавной девиации.

Начало пятого. Скоро пообедаем своей болтанкой и пойдем лежать до 8–9 часов, когда затопится у мамы печка, чуть нагреется комната, и я на корточках перед огнем буду жарить на углях мокрый хлеб, подогревать воду и ужин и вспоминать, что ведь когда-то у Крафта[528] был изумительный chocolat des Princes[529] с зеленой начинкой, что у Кестнера[530] была вкуснейшая сливочная соломка и божественное мороженое, что у Елисеева в декабре появлялась земляника и огурцы, а мяса, масла, булок и рыбы было в Петербурге столько, что об этих продуктах никто никогда серьезно и не думал! Да... гастрономические воспоминания и разговоры (и мечты, мечты!!) начинают заполнять досуги и нашего дома, вообще довольно равнодушного к еде за исключением сладкого. Боюсь, что при переходе жизни в состояние богатой русской нормы я сделаюсь большой чревоугодницей и быстро растолстею! Теперь же похудела я сильно — хотя и худеть-то мне было не с чего!

Юмор пока не покидает. Но злоба растет с каждым днем.

Улыбаться по-хорошему я перестала давно, но заметила это недавно.

10 февраля

Дров уже нет совсем. Расколоты и сожжены письменный стол брата, кресла красного дерева. Сегодня впервые купили дрова на рынке — мешок 120 рублей (дешево!). Хватит на несколько дней. Есть, кроме того, другие дровяные перспективы, которые, быть может, завершу удачно.

За первую декаду февраля в магазинах не выдано **ничего**.

У нас пока есть масло, сахар, мука, немного крупы — январские выдачи, полученные на днях. Мама главным образом лежит, слабенькая и девичьи легкомысленная. Брат тоже слаб, его пошатывает — раздражается, злится ежеминутно: голод, голод!

Со вчерашнего дня обеды и ужины, кипяток и завтраки, все изысканности голодного стола произвожу в столовой, в печке. Трудно, но зато температура в комнате поднялась до +7°. А для мамы и это радость!

Вчера — Ксения: дистрофия, отеки лица. На днях с фронта приезжал Юра. Настроение этого командира пессимистическое: немец силен, снарядов у него множество, солдаты сыты и тепло одеты. А у нас даже кашу перестали выдавать, кормят супчиками, много больных, вместо масла подкиды-

вают лишние им граммы мяса. Из других источников я слышала обратное: увеличение фронтового пайка, рост надежд на спасение города, уверенность в конце блокады ко дню Красной Армии.

Обстрелы города возобновились. Артиллерия бессмысленно, вслепую лупит по Невскому, по Екатерининскому каналу, по Марсову полю. В дом Ксении (Иезуитская коллегия)[531] попал снаряд, в дом, где раньше была аптека Шаскольского[532], в дом петровского стиля за Храмом на крови. Спрашивается: что выигрывает германская армия от таких обстрелов и что проигрывает советская армия? Подчеркиваю — речь идет об армиях, только.

На дворе метели, нежные снега, иногда восхитительное солнце. 5 февраля, идучи к проф. Драницыну, смотрела на голубые отсветы снега, на голубое небо, на золотистые солнечные полосы — и вдруг поняла: запахло далекой весной, где-то весна уже родилась и откуда-то медленно пошла нам навстречу. Лишь бы до весны наступила какая-нибудь перемена: нехорошо жить в вымирающем голодном городе, люди которого подобны живым трупам, нехорошо и страшно дожидаться весны в городе, где нет ни воды, ни канализации, где на кладбищах и прилегающих к ним улицах лежат штабелями незахороненные многонедельные покойники, где в неурочные часы рвутся в непоказанных местах снаряды, где атмосфера обреченности и смерти сгущается с каждым днем. Уезжать из этого города мне, однако, не хочется. Живу глупой надеждой, порождением волевых и рассудочных спекуляций — надеждой на то, что выдержу, что выживу, что выйду на какой-то жизненный путь, где снова будут цветы и книги, чистое тело и музыка, человеческие условия быта, человеческая забота о человеческом завтрашнем дне (теперь заботишься лишь о кормушках и относительном тепле хлева и стойла!).

Выживу. Выдержу. Надо так. У меня еще не все расчеты закончены.

Февраль, 14, суббота, днем

После 1 ч. дня над Бассейной так свистели снаряды, что очереди разбежались. Пальба была сильная, но недолгая.

На дворе теплеет — -7°. Мороз нежный, предвесенний. Каждый раз, бывая на улице, чувствую идущую весну. Но ходить все труднее и труднее, отекают ноги — сегодня отекли уже так, что от боли не могла надеть валенки, сижу в летних огромных спортсменках и поэтому мерзну — очень! Пару

дней решила не двигаться из дому. А ходить мне надо, надо: волка ноги кормят.

Плачу на рынке так: свеча домашнего литья — 20 р., белая мука — 600, мясо 250—300 р. (солонина), комбинированный американский жир — 1200—1300 руб.

По карточкам впервые за несколько месяцев получена крупа — давали даже на выбор (как шикарно!): пшено, горох, чечевица, ячневая, перловая. Взяла пшено, как наиболее экономное. Дали, кроме того, сахар. На днях дадут еще масло и мясо. С 11-го прибавили еще хлеба (иждивенцы получают теперь 300 гр., служащие 400, рабочие 500). По сравнению с декабрьским хлебным пайком в 125 [гр.] это очень пышно. Народ, однако, истощен здорово: отекают, лежат, умирают. Долгие месяцы голода не компенсируются единовременной выдачей питательных ингредиентов: количественно еще очень мало.

Быт заедает нещадно.

Очень трудно ходить, очень. Пешие пути к Тотвенам, к Ксении, к Драницыным, к тете Маше, за продуктами, в аптеки (где лекарств не бывает, как правило!) физически подобны путям голгофским. Вчера, идя по синей от сумерек Сергиевской, готова была стонать от боли в ногах. Ну, ничего... как-нибудь, как-нибудь!

Зато радует прирост дневного света: в столовой можно читать почти до вечера. Потом лежишь (экономии света ради), думаешь и лбом бьешься о таинственную стену перспектив. Что дальше? Деньги уходят, как вода меж пальцев, продуктов все-таки мало, жить очень сложно, работать надо, сил все меньше — а будущее кажется все темнее и темнее.

Что буду делать дальше я — я, вот эта — вот такая?

Хозяйство все в моих руках — сплошь. Все варится в печке. Мама больше не «пожилая дама» — мама настоящая старушка, теряющая вдобавок остроту нормального слуха. Обижается каждые четверть часа, лепечет, вспоминает старое-старое, путает — и ничего не понимает в жизни жестоких практических схваток.

Брат пугает: болезненностью, инфантилизмом, растущим с каждым днем, трупным цветом лица, злостью, дерзостью, хамством. Есть хочет все время, готов есть не переставая, готов съесть все, не думая ни обо мне, ни о матери. Когда садимся за стол и я ему подаю либо суп, либо кашу, либо сладкий чай с сухариками, на лице его появляется блаженная улыбка предельного

сладострастия — глядя на тарелку, он улыбается пище, он замирает от восторга, он влюбленно переживает наступающий момент обладания пищей.

Старик Карамазов, вероятно, улыбался так, ожидая Грушеньку.

От этой улыбки брата мне страшно.

На днях у Ксении. Обедаю: ржаная мучная кашка и слабенький кофе. А потом слушаю, слушаю патефон и песенки Вертинского (недавно подарил ей Юра — по-видимому, «трофеи»!). Внутри странно: и больно, и хорошо, и издевательски злобно, и наблюдательно, ибо наблюдаю за собою же.

Ксения слушает и плачет.

Я не плачу, но, оценивая, признаю: несмотря ни на что, несмотря на то что Вертинский — это Вертинский, какая чудесная дикция, какой прекрасный русский язык (**такого** языка мы здесь почти не слышим, а скоро его не будет и совсем), какая мучительная тоска о России, какая эмигрантская пустота изысканных и чуждых Парижей, какие красивые, странные и совсем, совсем ненужные слова!

Одно примечательно: Вертинский так передает Есенина, и Есенин, по-видимому, так воспринят и понят нашей эмиграцией, нутром и сердцем, что Яхонтов и все другие лауреаты советской земли кажутся грубыми ярмарочными шутами и фальшивомонетчиками. Чистое золото Есенина Вертинский тоже льет чистым золотом.

Может быть, эти часы у Ксении и были настоящей реальностью в страшной нереальности наших дней и нашего быта.

До сих пор — несмотря ни на что и вопреки всему — считаю, что все реальное вокруг меня нереально, что так быть в действительности не может, что это — дурные сны, которые кто-то (а **кто?**) видит о нашей земле.

Эвакуация идет усиленными темпами. Обстрелы города тоже. Говорят, что сегодня в ночь в районе Загородного, Мариинского, Садовой творилось что-то жуткое. Будто бы по городу было выпущено около 1500 снарядов. Но это — говорят.

16 февраля, понед[ельник]

Обстрелы города часты и жестоки. Вчера снаряды повредили Литейный мост, дом на Литейном близ Сергиевской. Свист снарядов и разрывы делаются явлением почти обычным: привыкнуть к этой обычности, однако, трудно.

Расходы безумны: дрова — 200, свеча — 30, три свечки — 60, конина — 200, мясо — 300—350. И — так далее... любопытно: на какие средства я буду жить дальше. Заработков нет, мои богатые переводные заработки и не предвидятся. Брат не работает уже второй год. Правда, он сейчас и работать бы нигде не мог: слаб, болен, психует...

Всякими путями удалось заполучить в дом некоторое количество продуктов. Поэтому в виде исторической справки на будущее, любезный читатель, привожу расписание нашего дня. Между прочим, все дни на подбор, как близнецы, — колебания различий незначительны и почти никогда не таят в себе ничего интересного.

Ложась спать между 10 и 11 веч[ера], долго не сплю, до 2-х, опасаясь принимать снотворное из-за сердца. А заснув, сплю плохо: брат часто кашляет пушечным кашлем, встает на горшок, сама заливаюсь кашлем, Мустафа, спящая у меня под одеялом на правом плече, частыми потягиваньями бархатных лапок-помпонов уводит меня от дремы. Брат просыпается рано — около 7, — отгибает портьеры и начинает ждать света, полусидя на своей прокрустовой походной раскладушке, кашляя, охая, бормоча что-то и скручивая цыгарки. Слышу все это, еще находясь в полусне. Около 9 просыпаюсь окончательно, выкуриваю первую самокрутку (а табаку осталось только 100 гр. у меня и ничего у брата!): начинается общий разговор, и начинается неизменным вопросом: сколько градусов?

Сегодня: на дворе — -13°, в комнате +8°.

Вчера: на дворе -2°, в комнате +8° и +11°.

Потом рассказываются сны (главным образом продовольственные: посылки АРА[533], пакеты, подарки — с ума сойти!). Потом говорится о том, когда брату приносить воду из бомбоубежища: сейчас или около 5 дня — и когда идти за хлебом. Часто, по дурацким пустякам, возникают быстрые ссоры, недоразумения, стычки, обиды мамы, дерзости брата, пионы счастливой семейной жизни в эпоху голода и дистрофии. Около 10.30 растапливается печка, я встаю, мою руки в ледяной воде на кухне и приступаю к хозяйству: грею воду для чая, жарю хлеб, отделяю порции масла и американского жира — готовлю завтрак, одним словом! Сегодня завтракали пышно: мы с братом ели студень из столярного клея с горчицей и уксусом, а потом с мамой пили настоящий кофе, с сахаром, с хлебом, поджаренным и намасленным, с крохотными кусочками корейки.

Одновременно в печку поставили суп на корейкиной корочке (около 4-х я буду для него делать клецки из белой муки), а в ковшике у меня уже разбухла гречневая крупа, залитая кипятком. Около 4-х вторично растопится печь и будет довариваться и восприниматься вышеупомянутый обед, прекрасный и вкусный обед из 2-х блюд, какого мы уже месяцы не видели! Эти дни подкармливаю моих больше обычного — силы падают катастрофически! — в надежде на новые обмены и новые выдачи. С продуктами в городе вообще стало чуть лучше: сегодня по карточке получено мясо, завтра будет пшено и сахар и — даже! — масло, как обещают. Заметно, что государственное продовольствие имеется в Ленинграде в хорошем количестве, потому что сразу же посыпались спекулянтские предложения: и масло, и крупа, и мясо! Ведь наша торговая сеть сначала ворует, а потом уже начинает снабжать население. Эту вот торговую сеть и стоило бы просеять и захватить в сети: гробовщики!

После обеда я и брат истерически торопимся дочитать до густых сумерек (до 6—6.15): он — «Пушкинский Петербург» Яцевича, я — своего любимца Салтыкова-Щедрина. А потом, в растущей темноте, лежим и беседуем (а иногда молчим) до 8—8.30, когда вновь подбрасываем щепу в печку, вновь кипятим воду, жарим хлеб и пьем чай. Около 10 брат выносит во двор парашу. Горит и плюется салом пакостная свечка. О книге можно только мечтать. Ложимся снова. Только в последние дни потепления я стала снимать на ночь юбку, три пары шерстяных чулок и носков, вязаный жакет и вязаный головной шарф. До белья я не раздеваюсь уже давно — месяца три, вероятно. Тело грязное, с конца декабря общие омовения невозможны: холодно — и вода, вода, которую надо таскать снизу и которую некуда выливать, так как и уборная и раковина бездействуют. О воде, о ванне мечтаю со сладкой тоской — как о Пятой симфонии Чайковского в нарядном и светлом зале Филармонии. Давно не пудрюсь, давно не мыла волосы, очень, очень редко делаю ресницы, еще реже касаюсь кармином губ. А если и делаю это, то неизвестно почему — может быть, вследствие долголетней механической привычки.

Ах, любезный читатель, как трудна и неинтересна своей заедающей, каждодневной тупостью такая жизнь! Хорошо говорить о героических защитниках города, о героическом и стойком настроении его несчастных жителей, когда **не** живешь в таком городе и сам **не** переживаешь его героических и стойких настроений иначе, как с точки зрения иностранного обсерватора, многодумного наркома или любителя исторической литературы. Тогда все

это и героично, и стойко, и необыкновенно. Но так... нет, нет, любезный читатель, не завидуйте мне и нам, кому выпало на долю жить в голодном и осажденном городе, среди великолепной зимы, чудесных петербургских пейзажей, трупов и нечистот!

18 февраля, Пепельная Среда, 13.30

Ночь на 17-е — неприятная ночь: сильная пальба от 10 веч. до 3-х ночи. Дрожал дом. Звенели стекла. Бахало неистово — казалось, что разрывы где-то очень, очень близко. Чьи орудия говорили — неизвестно. Выстрелы ли сотрясали дома или разрывы снарядов — неизвестно тоже. Ах, несчастная, глупая, невежественная штатская публика! Мечется, боится, ахает, вопрошает и трепещет. А затем, стоя в очередях, расспрашивает соседей об авторах ночной стрельбы, слушает вздор, добавляет своего вздора, перевирает, путает, забывает и разносит дальше. И успокаивается, так ничего и не узнав, так ничего и не поняв, до нового нарушения привычных внешних условий существования, когда вновь можно начать ахать и трепетать.

Мороз: утром -19°, сейчас -13°, в комнате +8,5°. Ноги болят очень. Вчера хотела пойти на Сергиевскую, с трудом надела валенки, но на улице, ослепленная солнцем, пораженная первой каплей из водосточных труб, поняла с горечью: не дойду!

Зашла к соседке, милой и глупой старой француженке, поговорить о муке, о конине, о мелких церковных дрязгах, о возможности обмена, о здоровье. Старуха лежит — у нее больное сердце, ее измучили неожиданные рвоты, она готова плакать и также готова смеяться: неувядаемый галльский esprit léger![534] Внучка ее, 15-летняя девочка, стала сумрачной, резкой, горькой, полной иронического недоверия к будущему, в ней французская кровь не проявляется пока никак, пессимизм ее русский и замедленное развитие тоже русское. Старая дама болтает без умолку, хохочет, шутит, плачет, жалуется, снова улыбается, снова смеется, снова всхлипывает. И ждет возвращения своего любимца, друга и «пюпиля»[535].

— Я каждый день гадаю на него...

Сморщенные руки мгновенно раскидывают карты.

— Смотрите, как он думает о нас! Это вот я, это Галечка, это...

Мне даже улыбнуться не хочется — милая смешная дама, какое дело чужестранным джентльменам до нашей российской, до нашей ленинградской

жизни! Издеваюсь немного над нею, труню, подсмеиваюсь, поддразниваю. Не верит, машет руками, ждет чудес от своей веры в человека.

Хорошо, должно быть, верить в человека! Жить легче. И безответственнее.

Мои руки, красотой которых я всегда гордилась, стали обыкновенными руками занятой и неопрятной хозяйки. Ногти чистить надо ежеминутно, заусеницы, следы от ожогов, желтизна от самокруток. Моя маникюрша Таиса — если когда-нибудь увижу вновь эту попечительницу моих рук в течение многих лет — не воскликнет больше, поглаживая мои пальцы:

— Ах, какие бархатные руки! Вот приятно работать!.. Сразу видно, что никогда ни кастрюльки не возьмете, ни даже чайной ложки не вымоете...

Теперь — все делаю и за все берусь. Ничего! Как-нибудь переживу, как-нибудь вывернусь...

Мама еще слаба, но ей, кажется, лучше: подкормилась чуть-чуть, и желудочное лекарство, изафенин, оказало свое благотворное действие. Встает на пару часов, хлопочет и с детским упрямством каждый раз принимается за уборку — подметает, поднимает соринки, ворчит «на пыль и щепочки», вытирает, а потом устает и ложится снова. Как будто в наших условиях можно думать о соблюдении элементарной чистоты в квартире! Хорошо еще, что ничем не воняет, как в других домах! Хорошо, что паразитов нет, что вши не завелись, как в других семьях! А «щепочки» на коврах — подумаешь какая ерунда!..

Живем все-таки Робинзонами: ни людей, ни газет, ни радио. Связь с внешним миром — я. Но если боли в отекших ногах будут продолжаться, порвется и эта связь. Ну, что ж... Пусть!

20 февраля, пятница, 1 ч. дня

На улице -7°. Туман. Кружевной густой иней. Говорят, вчера вечером был воздушный налет на город, о котором мы ничего не знали, так как у нас нет ни радио, ни дежурств, ни сирены. Правда ли это — не знаю. Если правда — жаль: знать заранее об обреченности, о тоске повторения ужасов — нехорошо.

Уезжают многие. Эвакуация — тоже прибежище спекулянтов. За вывоз на машине — 3000 руб. «с головы», на самолете — 6000 руб. Устроиться без блата, оказывается, крайне трудно. Зарабатывают гробовщики, зарабатывают шакалы. Спекулянты и блатмейстеры представляются мне не иначе как трупными мухами. Какая мерзость!

Ноги продолжают болеть.

В моей комнате, нежилой и ставшей совершенно чужой, +2°. У мамы до +10°. Вода в кухне больше не замерзает. Приближаются дни благоденствия из еврейского сказания: приходил водопроводчик и обещал, что через пару дней будут действовать и водопроводные и фановые трубы! Какое блаженство! Какой восторг! В доме больше не будет параши — подумайте, леди и джентльмены, какое это достижение, какое это сногсшибательное счастье! Вы, всякие там европы, разве вы можете понять это до конца, вы, не знавшие голода и разрухи 1919—1920 годов, вы, не воспринимающие вашими мелкобуржуазными пятью чувствами переживания российского гражданина, вторично вступившего в 1919 год в 1942 году!

Да, да, милейшие европы, вы не знаете, что у нас рождается — а может быть, и родилось — шестое чувство. Мы очень бедны, очень грязны, очень невежественны. Мы косолапы. Мы грубы и жестоки. Но мы — скифы, мы — скифы, носители нового шестого чувства. Вот об этом подумайте, дорогие европы! Вам с нами не страшно? Мы же все можем, нам же абсолютно все доступно, ибо и ненависть мы любим, как любовь.

> Ты на нас, Христос, не обижайся...
> Мы тебя и ненавистью любим,
> Мы тебе и ненавистью служим[536].

Ну, как, европы, не боитесь? Вы старше нас, вы гораздо — о, гораздо! — умнее.

В нас зато еще жив древний человек, мудрый инстинктом и ЖИВШИМ ТОГДА шестым чувством.

Мы этого еще сами не понимаем до конца. Мы часто путаемся и плутаем. Вы старше нас — а мы, мы древнее...

21 февраля, суббота, 12.30

На улице -8°. У нас +9°. Дома лазаретно, характеры у всех перепортились (или проявились?). Брат раздражает с утра до вечера — дерзостями, ворчанием, грубостью, детской непрактичностью и тем, что все у него получается не вовремя и некстати. Опустился он очень. Стержня никакого. И жаль — и мерзко.

Мама очень слаба, детски-наивна, легкомысленна, нерассудительна, с поразительными флюктуациями настроения и отношений. Она — понятнее

брата: и годы (ведь 72-й), и болезнь, и все прочее. В особенности же все прочее. Брат же временами кажется страшной загадкой, которую и разгадать неохота: а вдруг страшнее будет!..

Знакомая дама, психиатр, продала шкаф русских классиков за **полтора кило хлеба**. И шкаф специальной медицинской литературы за **одно кило**.

На улице я сама читала объявление:

«Продается кровать красного дерева с пружинной сеткой и волосяным тюфяком — **один килограмм хлеба**».

«Продается туалет красного дерева, екатерининский, в полном порядке — **два кило хлеба**».

У меня табаку хватит на пару дней. Брат курит уже ромашку. 100 гр. табаку на рынке можно достать за **полтора—два** кило хлеба. Папиросы стоят от 60 до 100 р. пачка. На деньги, впрочем, никто не продает. Табачные изделия — самая ходкая и высокая обменная валюта.

16 февраля пал Сингапур. Вся Малакка в руках японцев. Англия открыто признает свое страшное поражение в витиеватой и поэтической речи Черчилля.

Как великолепно Англия умеет вести долгие войны на чужой крови!

23.2. понед[ельник], полдень

На дворе -14°. У нас +9°. Солнце — и при морозе на солнце тает. Ночная далекая стрельба. Подумала, что данными о температуре и погоде мой дневник уподобляется дневнику Николая Второго![537] Тоже ведь события шли рядом (и какие события!), а он мирно и благостно отмечал перемены погоды. К счастью, однако (или к сожалению!), место мое в жизни и истории ничем не похоже на место государя. А жаль, жаль... честолюбие ведь у меня не женское, а воображение славянское, с типичной для польского духа романтикой невероятного и невозможного...

Достали по карточкам пшено и масло — и радуемся. Обещаны еще мясо, сахар и сушеные овощи. Значит, еще будем радоваться. Водопровод еще не починен, но будет починен. Сколько радостей в перспективе, дорогая!

Мама все-таки плоха. Кишечник вялый и капризный, то запоры, то поносы, безвкусица, горечь во рту, отсутствие аппетита, слабость, недостаток слюны. Кормлю мясными бульонами (бульон — это только название: 3-литровая кастрюля и мяса кусочек... не больше 50—70 граммов) и пшенными кашами с сочиненным мною соусом а-ля беф-Строганов. Купила полкило

конины за 100 руб. и из фарша делаю котлеты. Мясо мама не переваривает. Мы с братом едим спокойно — тем более что никто, кроме меня, не знает, что это конина. Приходится уважать предрассудки, хотя конское мясо мы прекрасно ели «в открытую» в эпоху НЭПа, когда всем ловким людям в СССР было хорошо, а людям, подобным нам, очень плохо.

За маму очень боюсь — боюсь, как бы не угасла, не дождавшись ни мира, ни пирожных. Нужны овощи, нужны фрукты — а откуда я это возьму?..

Брат тоже плох, но это скорее психическое: истерик, ипохондрик, сконцентрировавший все помыслы на еде и вечно голодный (в настоящее время он не может быть голодным, питание у меня не такое уж скверное, но он боится быть голодным — il n'a pas faim, il peur d'avoir faim[538], — от этого все и происходит). Опустился он очень. Воли — никакой. И будущее его полно мрачных туманов.

В тот же день, 21.30

Днем достала керосин, которого мы не видели очень-очень давно. Мои сегодняшние расходы:

1 литр керосина .... 91 руб.
1 коробок спичек 15
водопроводчику за ремонт и отогревание труб 200
Итого 306 руб.

Следовательно: пишу при пышном свете керосиновой лампы и живу надеждами на скорое изгнание из нашего дома параши и на не менее скорые возможности более тщательных и частых омовений. То, что водопроводчик и управхоз зарабатывают на мне — и, должно быть, на многих жильцах дома, — мне сугубо безразлично. Сказал же где-то Попков в одной из своих нудных и колесообразных речей, что жители Ленинграда должны отвыкнуть от мысли госиждивенства и проявить самодеятельность по восстановлению города. Вот и выходит: и управхоз, и водопроводчик, и я проявляем своего рода самодеятельность, от которой выиграет гос. недвижимость и город. Тем лучше...

(Кстати, любезный читатель! Нотабене! Просматривая мои записки, не восклицайте с умилением: «Какое у нее было ровное настроение! как она мило шутит! как стойко она все переносит!» и т.д. Позвольте вас разочаровать: настроение у меня тяжелое (лед — тяжелый; и сталь — тоже тяжелая), злобы много, переживаний, не внесенных в эту тетрадь и носящих сугубо

интимный семейный характер, еще больше, сил мало, надежды невелики, а чувство грядущих бед очень высоко. Но деться мне некуда, помочь мне не может никто, потому что помощи мне ждать неоткуда и помощь ниоткуда не придет — я совсем, абсолютно и явственно одна, нет в мире человека, который бы имел по отношению ко мне хоть какие-то обязанности, нет в мире человека, который **должен** позаботиться обо мне из соображений долга и родственности — я все это знаю, я все это учитываю — знаю я также, что при затяжке нашей ленинградской осады и ленинградского голода у меня действительно не хватит **физических** сил — и поэтому расчетливо и скупо я продолжаю жить (если это называется жизнь), следя за стрелкой напряжения, дрожащей на последнем делении шкалы уже давно, и **никогда** реально (то есть без юмора) не вспоминая о прошлом.

Все мое прошлое — за исключением моих тюрем, которые, по аналогам, вспоминаются мне все чаще и чаще, — я отношу к чему-то невесомо странному, вроде анцестрального[539] бытия. Словно все, что было, случилось со мною в моей прежней инкарнации — а теперь вот, вступив в новую инкарнацию, я почему-то сохранила обрывистую память о прежней — и иногда оглядываюсь на нее с издевкой, с удивлением и со злобой.

От этого, любезный читатель, и вырабатывался легкий и приятный, безобидный и непугающий язык этих записок. И если я много и часто шучу — принимайте, прошу, это за чистую монету: я всегда шучу, я и умру, должно быть, шутя.

Шутки ведь только не всегда называются шутками.)

25.2, среда, полдень

Вчера — телефон с Кисой: настроена хорошо, питание в госпитале благополучное, среди знакомых — множество смертей (все мужчины), Верочка Кукуранова эвакуировалась, сама Киса записана на отъезд в эшелон Ленсовета, приезжал из Вологды и Череповца Борис и уговаривал ее выехать также. Она не хочет. Вернее всего, не поедет никуда.

На днях была Ксения и также рассказывала о Борисе, приехавшем в город на машине за родителями (старики, однако, выехать не смогли — у отца воспаление легких). Ксения настроена панически: боится голода, предстоящих бомбежек — об отъезде думает положительно, лишь бы представился случай с машиной. В поездных эшелонах грязь, ужас, смертность, болезни — выезд общим порядком грозит гибелью вернее, чем проживание в любых условиях в нашем городе. Советовалась с Борисом, как быть, ведь трудно ломать жизнь в третий раз...

— Пошлите все к черту! — ответил. — Спасайтесь!

Примерно так же говорит и ее брат Юрий, когда приезжает с фронта. Пессимизм вопиющий: будет плохо, будет хуже, чем было, мы не успеем вовремя отодвинуть немцев, мы не сумеем вовремя снять блокаду, мы чешем ухо не той рукой, какой легче и проще.

Слыша все это, задумываюсь: а что делать мне? И Кисе и Ксении есть куда деться после эвакуации: Киса, абсолютно одинокий человек, может опереться (хоть временно) на своего аманта, благо Борис, в отличие от других, проявляет какие-то заботы о ней — у нее будет машина, она сможет увезти побольше вещей, где-то в пространствах России у нее обеспеченный угол: приют, служба, работа. Ксения может уехать в Галич, к матери и братьям мужа, сидящего здесь в тюрьме, или на Дальний Восток к брату Виктору, занимающему большой пост во Владивостоке, или к подруге Ольге, прекрасно устроившейся в совхозе на Волге, или — в крайнем случае — в Свердловск, служебное направление куда у нее уже в кармане за подписью наркома.

А мне ехать некуда: меня никто и нигде не ждет — и за кордоном блокады ничья дружеская рука не тянется мне навстречу... для поддержки, для спасения. Об отце не знаю ничего с конца октября — да и к этому убежищу не хотела бы обратиться никогда! Что с ним? Почему молчит? Возможно, что умер. О смерти говорить и думать теперь так просто: события совлекли со смерти весь ее убор торжественности и величия.

Трагедии, которые смерть вносит теперь в семьи, имеют характер главным образом материальный: что делать с трупом, как везти на кладбище, сколько хлеба возьмут за рытье могилы, ждать очереди на гроб или мумиеобразно зашивать в мешок, в скатерть, в портьеру? И сколько дней пролежит покойник в квартире. И удастся ли словчить, чтобы управхоз не сразу узнал о смерти, чтобы не сразу отдавать карточки умершего, а поскорее получить и хлеб и продукты на действительно «мертвую душу»...

Вечер — 20.45

Роскошествую при керосиновой лампочке. Мама лежит, брат полулежит, читая «Войну и мир»[540]. Днем он бродил по комиссионным магазинам по моей просьбе (надо будет скоро продавать вещи, так как тысячи мои на исходе!) и попал под жестокий артобстрел на Симеоновской. Стекла и рамы летели, как бумажки по ветру. Люди метались в панике. Люди падали, обливаясь кровью.

Он спасался в каком-то подъезде. Вернулся домой в жутком состоянии. В его отсутствие у меня была с визитом и приветами от Тотвенов жена профессора Драницына, истерически болтливая, авторитетная дама. Через нее, быть может, удастся провести хорошие обмены: носильные вещи, серебро и золото на продукты. На днях выясню. Галя принесла сушеный картофель. Дадут еще и по 25 гр. какао или шоколада. Количественные нормы умилительны.

Кроме того, для управхоза и его жены, тоже управхоза в другом доме, печатала на машинке всякие формы требований и заявлений. Управхозы — власть, а всякой власти угождать надобно, так и Салтыков учит! Пусть же управхозы хорошо ко мне относятся — а за это я им с удовольствием буду печатать всякую дребедень, так как час на такую работу от своего хозяйства всегда урву, а другой работы нет — или мало, очень мало...

27.2. пятница, 21 ч.

Холодно. Утром -15°. Вчера было -20°. Нового ничего. Далекие выстрелы. Говорят, что город с 1 марта объявят в карантине: эпидемия цинги. Так ли — не знаю. Без газет и радио ничего не знаю. Брат ноет с утра до вечера, раздражаясь, злясь, теряя рассудок от приступов слепого, инфантильного бешенства:

— Погибнем здесь все, ничего хорошего не будет, умрем, погибнем, спасения в городе нет, нет, нет...

Это — цвет его эвакуационных настроений и детской беспечности, детского легкомыслия, которые в его годы уже трудно — и нехорошо! — называть детскими. Только бы уехать — в хлебные города, в тихие места, в покой и природу. А куда — и с чем — и как — и как добираться — и как существовать, его почти не касается.

— Как-нибудь... лишь бы уехать!

Разговор на эту тему с ним, в виде моего логического и холодного вопросника, неизбежно приводит к всеобщей стычке, так как мама, нервная до крайности, готовая каждую минуту расплакаться или обидеться, не может слышать (как и он) моей очень спокойной и «разумной» речи, моих доводов, сбивающих вопросов и моих выводов, выбивающих оружие. И маме и брату постоянно кажется, что я сержусь, дразню, извожу, насмешничаю, что я полна злобы — и задыхаюсь от этой злобы. Это, конечно, не так. Я никогда не была так уравновешенна, как в эти грозные месяцы. Нервы мне жить от-

нюдь не мешают. Сплю я теперь прекрасно без каких бы то ни было снотворных. Единственной моей погрешностью — по сравнению с издерганным и истеричничающим окружением — является четкая и ледяная, великолепная работа мозга, жесткая воля и наблюдательность стороннего человека, наблюдательность, лишенная розовых очков родственности или дружбы. Я очень берегу себя, сокращая диапазон моих реакций и прибегая к спасительной валериане безразличия. Отзываться на все я не могу: меня тогда надолго не хватит. Во мне множество захлопнутых, запертых на замок и даже запечатанных дверей. Я их до времени не открываю больше. Зачем? Я даже не уверена, что я когда-нибудь их вновь открою. Разве только с целью музейного посещения! А что бы со мною было, если бы все эти двери я оставила незапертыми! Нет, на психологических сквозняках жить в наше время нельзя! Да и не стоит...

Ноги продолжают болеть. Надевать и снимать валенки — физическая пытка.

Впрочем, и это пройдет, как проходит все... как проходит все...

Март, 2, понед[ельник], 21.35

Маме было почти хорошо, к вечеру стало хуже: ворчит, раздражается, охает без конца и, конечно, скрывает от меня нахлынувший приступ болей, чем все эти раздражения, придирки и охи вызваны. Расстройство деятельности кишечника у мамы, по-видимому, связано с геморроидальными явлениями: это ее мучает, стесняет, сердит и изматывает. С сердцем тоже скверно. Может, ей нельзя пить какао? Может, ей нельзя принимать те лекарства, которыми я ее кормлю? Откуда же мне знать, если врача она не хочет и грозит, что ничего ему не скажет и даже разговаривать не будет (а она на это способна!), буде врача я все-таки вызову. И врача я все-таки вызову — и к маме, и к брату, — бесплатного врача из поликлиники, который придет через пару недель, выпишет пару рецептов, предупредив, что лекарств в аптеках нет, и уйдет, сказав, что нужно питание и диета, диета и питание.

Врача я вызову — мне надо знать, что у мамы. Мне надо знать, что у брата. Я, к счастью, совершенно здорова. Мешают только отекшие ноги.

Мама сейчас повернулась ко мне со своего дивана и гневным, почти плачущим голосом говорит мне неприятные и злые слова — зачем, неизвестно. Вероятно, из детского расчета сделать мне больно, вывести меня из равновесия, уколоть, измучить. Нервы, нервы, конечно... Я же все понимаю.

Понимаю и то, что во всех неверных и тяжелых упреках мамы сквозит ее собственная обида на ее собственную жизнь и судьбу, которые теперь — именно теперь — вдруг предстали перед нею во всей их ужасающей и страшной нелепости, тупости и однообразии.

— Ах, ты пишешь!.. — говорит мама, моя мама. — Критика меня, вероятно! Ну, критикуй, сколько хочешь, мне все равно! Какой же ты циник, какой ты холодный, холодный человек!.. И как я тебе в тягость... и как ты мечтаешь избавиться от меня... чтобы уехать за границу... и т.д.

Все больные старушки, видно, говорят то же самое. Не скажу, чтобы это было очень интересно или очень приятно.

Почти оттепель: -2, -3°. В комнате до +11° и +12°. Даже в моей комнате +3°! Вскоре смогу принимать там знакомых, как принимала вчера (из института, с карточками, за работой) и сегодня (отекший дядя Коля, голодающая Степанова, продолжающая пребывать в состоянии дистрофии Ксения). Люди все скучные, с людьми говоришь о скучном — о жратве и о всех способах ее добычи. Ничего не поделаешь — голод встал на горло человеку и душит, душит. А человек борется, человек — упорная же скотина! — умирать не хочет, человек мечтает о жизни и о сепаратном мире (о, сколько таких — огромное большинство), человек хочет много и вкусно наесться и безмятежно прогуляться под голубым небом. Но: чтобы по небу ничего не летало и с неба ничего бы не падало. Летать могут только птички, а падать — только дождик.

Милый, бедный человек, мне тоже хотелось бы всего этого. Я только не люблю ни говорить, ни думать об этом. И мира бы мне хотелось — но большого благородного мира для всего мира. О мире я даже и не мечтаю, это что-то очень, очень далекое. В мире долго не будет мира.

Второй день не курю. Табаку больше нет. Чувствую себя сквернейше: слабость, позывы к дремоте, затруднения в артикуляции речи. Двадцать два года я беспрерывно живу под табачным наркозом. А физический и психический мир за столь долгое время настроились под этот грешный и невинный наркотик.

И сейчас мне очень трудно. Наблюдаю, анализирую — удивляюсь, что не рычу от злобы, так как курить хочется смертно, но:

На рынке одна папироса от 3 до 5 руб.

100 гр. табаку от 1 до 2 кило хлеба.

100 гр. полкило рису.

100 [гр.] полтора кило картофеля.

Что же делать мне, у которой нет ни рису, ни картофеля?

За две маленькие вязки дров заплатила сегодня 300 руб. Диванный геридончик[541] уже сожжен, книжные полки в комнате брата — тоже. Скоро, по-видимому, пойдет в печку дубовый шкаф, что стоит на кухне.

Водопроводчик работает у нас каждый день. «Открытие» уборной намечено на ближайшие дни.

Март 5, четверг, 13 ч.

Заговорило после нескольких месяцев молчания радио. В ледяной кухне раздаются звучные голоса дикторов, оповещающие ленинградцев о разных разностях: о том, что с 5 марта производится выдача мяса (рабочие 300 гр., иждивенцы — 100 гр.), о том, что японские десанты продвигаются вглубь Явы и Борнео, о том, что бомбардируется с воздуха австралийский город, о том, что около Изборска (оказывается, мы уже дошли до эстонской границы) орудуют латвийские партизаны, о том, что «мы отбиваем ряды населенных пунктов», а в «осажденном городе» плохо работает почта.

Сегодня неожиданно жестокий мороз: -23°. На солнце, однако, тает и впечатление весны.

Чтение: Салтыков, Франс («Les Dieux ont soif»[542]), энциклопедия Ларусс[543], прелестная работа Гершензона о Госсеке[544]. Много думаю о Французской революции — о революциях вообще.

Табаку нет. Очень трудно. Впрочем, привыкну, должно быть, и к этому. Резкое повышение раздражаемости.

Все это время, замкнутое в стены одной комнаты и в неписаные таблицы строгого режима часов, напоминает до ясного физического ощущения мое время в тюрьмах. Все почти то же: точная и нудная размеренность дней, отсутствие развлечений, страстная жажда развлечения, умеющая претворить в оное любое, самое крохотное, событие (густой дым из трубы, паук между стеклами, голубь, смена надзора, вызов врача, уборка камеры), разделение дня на часы по признакам еды и сна — если «вставать пора!», значит, 7 часов утра, если «обед», значит, 1 час дня... и интерес к еде, не как к пище, а как к внешнему событию, развлечению, к занятию.

Странно, что о моих тюрьмах вспоминаю и думаю благостно, без проклятий, почти с благодарностью. Было — может быть, и хорошо, что было. Закаляет, ломает, скручивает, проводит сквозь ордалии, сквозь пытку молчания, одиночества и неизвестности, швыряет на каменные плиты, давит неумолимостью, безысходностью, неизбежностью. Некоторых это уничто-

жает и приводит к медленной гибели. Другие выдерживают — меняются, но выдерживают и возвращаются к жизни. Перемены, произошедшие в них, очень велики, но чудо чужому глазу не всегда заметно. Выдержавшие и вернувшиеся немного походят на воскрешенного Лазаря в трактовке Л. Андреева[545]. Внешних признаков бытия в смерти как будто нет — или мало, — так что мирных жителей такие Лазари пугают. В душе же у них много любопытного: и скепсис, и юмор, и усталость, и цинизм, и нежность к прелести мира и к красоте вещей, и знание, что эта прелесть и красота сметаются жизнью легче одуванчикового пуха, и огромные, незаполнимые пустоты равнодушия, безразличия, резиньяции. Так? Пусть будет так. Иначе? Пусть будет иначе...

7 марта, суббота, 20 час.

Вчера — здоровый обстрел нашего района! Сегодня пальба все утро и весь день: по-моему, зенитная артиллерия, которую мы не слышали с конца ноября, кажется. Возобновление такой музыки малоприятно: сегодня также весь день жужжат и гудят самолеты. Слушаешь и думаешь: «Будут бомбы или не будет бомб?»

Ни страха, ни тревоги пока нет. Нудно только — вот и все (неужели опять бомбоубежища, неужели опять ВТ и беготня вверх и вниз, неужели опять все тяготы и ужасы осенних бомбежек!! На-до-е-ло!). Ноги продолжают болеть. Болит, кроме того, зуб. Болят, кроме того, плечи и бок. Все болит.

Варю обеды, жарю хлеб, читаю, пишу, работаю. Каменея все больше и больше, одобряю свое все растущее «окамененное нечувствие», холодок, внутреннюю тишину, зрелую зоркость, настороженность, брезгливое неверие.

О, одиночество! Мое прекрасное и страшное одиночество, такое полное, такое несомненное, такое непререкаемое! О, мое одиночество, не покидавшее меня никогда и сконфуженно уходившее за ширмы в очень, очень редкие часы моей жизни (часы с Николенькой в Москве и в пути на юг, часы с д-ром Р[ейтцем] за грудой книг и рукописей, среди которых скромно теряется чашечка чаю, ломтик хлеба и яблоко на тарелочке).

Да. Фонтанка, балкон, старый дом, чудесные книги. Часто вижу во сне д-ра Рейтца: всегда сух и всегда чем-то недоволен, словно я сделала что-то не так. В последний раз снилось, что взял у меня из комнаты складной летний стульчик и пригласил поскорее приехать к нему на дачу. Ушел — а адреса не оставил. И я во сне затосковала... знаю, что живет где-то у моря, где тихо, где горы, куда мне хочется поехать отдохнуть, пожить с ним вместе,

поговорить о своих вещах на своем языке — знаю все это, знаю, что ждет меня, что любит меня, что мне будет там хорошо, очень хорошо, что и он, и жена его выходят на какую-то белую красивую дорогу и долго смотрят в голубую даль — не иду ли я. Зная все это, я не знаю адреса. Ждут — но где? Хочется поехать — но куда? Примечательнейший сон — совсем простой.

Д-р Р[ейтц], Вы мне очень нужны. Подождите еще немного — может быть, мы все увидимся, и даже «еще в этой инкарнации».

Мне нужен, но душевнее, Николь. Где он? Не разметала ли война и его сплоченную, хорошую, добропорядочную семью? Верно, жена с младшим эвакуировалась из Москвы. Он, видимо, тоже — видимо, Кавказ. А Львишка, вероятно, в армии, тот самый Львишка, который в 1931 году был маленьким розовым мальчиком, называл меня тетей Кисой, залезал в вагоне ко мне под одеяло, а в Севастополе, в шторм, играл со мною в солдатиков, в индейцев и в куклу Тепку.

О чем же еще? Сплю прекрасно, ем сносно. Скука томительная, тюремная. Острожская скука. Податься некуда. Деваться некуда. И ничего, ничего нельзя переменить. Где-то что-то может меняться от случайностей или неслучайностей военной игры. От таких перемен могут возникнуть и перемены в моем быту. Осажденный город и тюрьма. Жизнь там и тут. Никакой разницы нет, любезный читатель! Психологически картина та же: зависишь от некоторых закономерностей и случайностей, неизвестных тебе. Ждешь, боишься, надеешься, чертыхаешься, проклинаешь, фантазируешь — приглядываясь к следователю, то ненавидишь, то понимаешь его, цепляешься за жизнь, перемигиваешься со смертью, ходишь по краешку всяких бездн, тоскуешь о музыке, о стихах — свыкаешься постепенно, тупо свыкаешься с режимом тюрьмы, с режимом камеры, с «Правилами», вывешенными на стене, со щами селедочного типа, с кашами, с вонючим кипятком и злодейской койкой.

(Часто думаю о тюрьме, о Шпалерной: как там теперь кормят, как проходили сигналы ВТ, неужели камеры оставались все время закрытыми, как непроницаемые гробы, как сейфы, дают ли свет, воду и тепло. Водят ли в баню. Ах, как много и часто я думаю о тюрьме...)

И о Вас думаю, милый мой собеседник последних мирных лет. С Вами мне было очень хорошо — иногда лишь чуть труднее, чем в тюрьме. Жду Вас.

Надеюсь опять видеть Ваш прекрасный профиль, ослепительную улыбку и женственные неверные глаза. Надеюсь опять охватить Вашу жизнь мягкими и невидимыми руками. Вот Вы мне очень нужны. Не для души, не для сердца, не для разума. Для моих подземелий Вы мне нужны — для всех моих подземелий в самом широком смысле.

Я ведь уже сказала где-то, что у меня не все расчеты закончены.

А Вы — мой крупнейший должник.

И разве я Вам прощу хоть грош?

14 марта, суббота, 17.35

Самолеты гудят и режут небо каждый день, с самого утра — и это так паршиво действует на нервы (смешно: в наши дни — и нервы! Дура!). Слушаешь, хмуришься и вспоминаешь: всю осень, все начало зимы, все кошмары пережитого, все виденные разгромы. И, вспоминая, знаешь твердо: вот где-то идет весна — а с весной идут бомбежки, налеты и всевозможные вариации военных игр.

А город по-прежнему: осада, вымирание, трупы, страшные лица, груды голубых от солнца снегов, чудесное небо — и горы, лавины, альпы нечистот.

В женский день 8 марта я уже работала у себя на дворе — скалывала, резала ком лопатой и сгребала снег, смешанный с помоями и экскрементами.

В 1919 году я работала на трудовой повинности элегантнее, просто чистила скребком тротуары и большой деревянной лопатой подкидывала в кучи нежный, бисерный и чистый снег. В 1919 году мне еще не было 17 лет, передо мною была вся жизнь, я ничего не понимала в политике, я думала об университете, о магистерской диссертации, о Сорбонне, о мировой тоске, о своей красоте, о своем литературном таланте, о славе, о славе!.. А теперь мне скоро исполнится 40 лет — и жизнь моя позади. Передо мною последние ступени жизни: может быть, достигну их, а может быть, и нет. Я двигаюсь, работаю, даже думаю о чем-то — но не о Сорбонне, не о диссертациях, не о славе. Я же умная — я знаю, что все уже позади, что жизнь прошла и что (самое главное) жизнь не удалась. Ну что ж! Больно? Больно. Но ведь ничего не поделаешь. Судьба-с, сударыня!

Если выживу, если уцелею (а с каждым днем шансов на это все меньше), то все, что еще может дать мне жизнь, будет только крохами того, что она мне могла дать и чего я от нее ожидала — когда-то (хотя бы в 1919 году на Солдатском переулке, со скребком в руках на нечищеном тротуаре!).

Как скучно думать, что большинство людей в 40 лет рассуждают и покачивают головой, как делаю сейчас я. Да... Скучно. Скучно.

Морозы: сегодня утром -25°, сейчас -18°. Вчера и утром и днем -21° (при остром ветре, при голубом небе: идя на Литейный, сильно страдала от холода и боли в ногах — но: получила по блату баночку клюквенного экстракта... чем не витамин С, чем не спасение от цинги!!).

А дома у нас цинга — самая сильная у брата, менее сильная у мамы и слабая у меня. У брата, кроме того, обострение легочного процесса (это к весне как приятный подарок Отца Небесного!), у мамы, кроме того, миокардит, стоматит и геморрой. Определил милый врач поликлиники, суровый и безразличный госврач, Людмила Павловна Наумова, удивившаяся даже чуть истерической эйфории, царствующей в нашем доме. Le peuple rit, le peuple rit... вот этого она, по-видимому, не понимает. Впрочем, это тонкость — понимают ее немногие.

Нужно: витамины, усиленное питание, тепло, покой. А откуда, к черту, я все это возьму? В комнате у нас +9, +11°, а мама и Эдик либо лежат под одеялами и мерзнут, либо сидят в шубах, платках и шапках и тоже мерзнут — от истощения, от слабости, от того, что жизнь, по-видимому, уходит от них, а у меня нет, нет возможности преградить ей пути и заставить вернуться. Какой покой я им дам, когда летают самолеты, слышны выстрелы артиллерии и нужно ходить во двор убирать нечистоты. Брат еле на ногах держится, но ходит, но убирает — потому что боится попасть под суд за уклонение от трудовой повинности, а бюллетени врачи выдают теперь только работающим — **только**. Безработные, видно, могут поступать так, как им угодно (а безработных сейчас огромное множество — учреждения эвакуировались, сил нет для службы, механически выбыли из служебных списков... причин много).

Витамины, покой, питание, тепло!

Стервенея от злобы, продолжая стервенеть, все яснее и яснее чувствую нависшую обреченность.

А по радио сообщают, что в Москву приехали представители France Libre[546].

Какого мне черта до этих представителей, когда у меня погибают от истощения мои близкие, и я — имея брильянты, золото и шикарные платья — не могу иметь для них ни апельсинов, ни луку, ни масла.

Неужели мне не дано удержать в жизни единственных людей, которые мне близки по-настоящему и без которых настоящего, подлинного в моей жизни не будет совсем и никогда.

Много смертей. Много отъездов.

Эвакуируется и плюшевый проф. Драницын. Ему ехать не хочется. Мы с ним собирались сидеть над архивами по польским восстаниям. Мы с ним собирались читать, читать стихи и писать сценарий. Ничего этого не будет.

— Мы вернемся скоро, — говорит Драницын, — секретарь райкома обещал мне содействие для скорейшего возвращения: через год, через полтора...

Это значит скоро. Для исторического хода это сотые доли секунды, конечно.

— Грузинка! — говорит Драницын. — Варшавянка!

Я нравлюсь платонически этому милому старцу, который находит, что я держусь молодцом и прекрасно выгляжу. Это я знаю, что пока еще я держусь лучше многих и многих. Недаром старая француженка, знакомая с моей прежней бесхозяйственностью, непрактичностью, витанием в сферах, поражается:

— Je vous admire![547] Je vous admire! — лепечет она.

Она права: когда я не думаю до конца и смотрю на себя со стороны, я сама себя адмирирую[548]. Подумав же до конца, мне делается тошно: а ведь когда-то я думала о славе, о славе!..

Много смертей.

В феврале умер Эрмит — профессор университета Боричевский, светлая голова, интересный ум, анархист, чудак, прекрасный оратор, своеобразный знаток литературы, своеобразный философ.

Когда думаю об этой смерти, делается очень, очень нехорошо: не любила я этого человека, вечно ссорилась с ним, но объективно любовалась его мозгом и эрудицией, блестящими экспозициями и язвительной злобой парадоксального остроумия. Умер от истощения, умер от голода. Значит, не будем больше гулять в детскосельских парках, не будем говорить об Эпикуре, барбизонцах[549], Пушкине, не будем останавливаться на полушаге, заметив какой-нибудь необычный рисунок листвы на вечереющем небе, какой-нибудь странный выгиб ствола или ветки, какой-нибудь новый аспект сотни раз виденного пейзажа. Всего этого больше не будет. Очень жаль, когда умирают люди с хорошей головой, с хорошим и интересным багажом знаний, люди, которые еще не успели всего сказать.

Боричевский, вероятно, предчувствовал свою гибель, потому что в самом начале войны все свои рукописи и дневники сдал в Публичную библиотеку[550]. Через сто лет какой-нибудь ученый наткнется на эти листы — и (я уверена) не увидит ничего. Боричевского мало читать и изучать им написанное. О нем нужно знать и со стороны.

Умерла балерина Мариинского театра Жозефина Шиманская, которая фигурирует еще в «Столице и усадьбе»[551], которая с трудом отвертелась от эвакуации с театром в августе месяце, потому что была уверена: скоро в Ленинград придут немцы, в городе будет прекрасно, и она сможет наконец уехать за границу к своему мужу (вероятно, эмиграция). И там будут борзые и автомобили, голубые тихие вечера, туалеты и воспоминания о тяжелых снах советской жизни.

Умерла она от голодного поноса.

Умер также и брат д-ра Р[ейтца], Владимир Владимирович Рейтц, хранитель библиотеки в Зубовском институте и владелец чудеснейшего собрания книг.

Гнедич и ее мать еще живы, но лежат уже не первый месяц. Гнедич ухитряется писать стихи, статьи, научные исследования и заканчивает главы своей кандидатской диссертации.

Март, 18, среда — 13 ч.

Морозы все время. Нынче утром -22°, сейчас -16°. Над городом шквал принудительной эвакуации: люди получают повестку, бегут по повестке в райсовет и там узнают, что послезавтра им предстоит отбыть — в Омскую, в Иркутскую и в другие сибирские области. По каким признакам происходит эвакуационный отбор, сказать трудно: признаки, конечно, не зоологические, а социологические. Эвакуация похожа на срочную высылку — как было в марте 1935 года! Раз, раз, ваш паспорт, вы больще не житель Ленинграда, выбирайте город — или вот вам город, уже выбранный для вас! И теперь, ошалевшие от голода, холода и неожиданности, люди с какими-то неясными намеками во внешности и речи на сидевакантизм[552] мечутся по учреждениям (оформляясь) и по рынкам (распродаваясь!). Вещи идут по смехотворно низким ценам.

Я сама была в райсовете на Сергиевской и долго и дружески болтала с номерами длиннейшей очереди в комнатах Комиссии по эвакуации[553]. Я пришла туда по делу тети Маши, милой, педантичной и одинокой старушки, академической пенсионерки, 40 лет проработавшей с глухонемыми и по-

чему-то назначенной к эвакуации. Она вызвала меня советоваться. Несмотря на страх, волнение и смятение, несмотря на мученическое от недоедания лицо, держится спокойно и с достоинством. Из-за нее я и ходила в райсовет и болталась там — и слушала — и узнала много любопытного: о том, что пишется эвакуация, но читается высылка, о том, что отбор идет по социальным признакам, о том, что отказ от отъезда влечет за собой арест и вывоз по этапу... и так далее. Так, по крайней мере, говорят.

Большинство ехать никуда не хотят — я говорю о тех, кто не хлопотал об эвакуации, кто оказался в попечительном поле зрения государства помимо своей воли и желания. Какой-то старый неинтеллигентный еврей, похожий на недорезанного нэпмана или валютчика, удивлялся в очереди:

— А за что меня? Я же еврей. Может быть, они думают, что я немец, у меня фамилия Берлин.

Почти сплошь уезжают люди с немецкими именами и немецким происхождением. Если у Ивановых мать урожденная Шмидт, то Ивановы поедут тоже: старенькая мама, урожденная Шмидт, получит назначение в Сибирь, а дети Ивановы, вероятно, как-то посовестятся отпускать голодную старушку одну и поедут вместе с нею в ту же Сибирь.

Эвакуация тети Маши отложена на неопределенное время по неизвестным причинам. Комиссия предложила ей, однако, упаковываться и ждать новой повестки.

Драницыны должны уехать сегодня — сначала в Пятигорск, потом в Горький. Так болит нога, что, пожалуй, не попаду к ним нынче.

Вчера: письмо от отца от 23.XII.41. Обрадовалась, что жив. Эдик устраивает истерические сцены: тема — срочная эвакуация всей нашей семьи. А я — не могу и не хочу. Может быть, отправлю брата одного: в Билимбай, к отцу, которого он всю жизнь терпеть не мог и боялся и к которому поедет теперь, потому что все-таки «свой» — да и угол есть, есть куда приткнуться. Не знаю. Решение пока не вынесено. Может, и захочет ехать. Страх смерти — сильный двигатель.

Умер недавно композитор Кельберг, Юрий Рафаилович, многолетний поклонник, мучитель и мученик, сожитель моей красивой ученицы, — умер, обезумев от голода, где-то на лестнице, на чужом пороге: все ходил по знакомым, просил впустить его полежать и покушать, в квартире его было пусто и стояло множество прекрасных антикварных вещей, он, кажется, забыл свой адрес, знакомые видели, что с ним рядом стоит смерть, не впускали его, гнали, сердились, а он все ходил, все ходил... Умерли в «Астории» (в ста-

ционаре)[554] профессора Пушкаревич (славист) и Любимов (математик). Умер Маратов, б[ывший] худ[ожественный] руководитель Радиоцентра. В нашем доме смертей множество: смерть рассыпала свой горох по всем этажам. Семья преподавателя консерватории Гефельфингера вымерла вся — отец, мать, бабушка. Умный мальчик Саша, мой приятель, уцелел и лежит сейчас в больнице.

Ожидание освобождения, обещанного так давно, принимает болезненные формы, близкие к отчаянию. Так чувствуют себя заключенные, которым следователь обещал свободу завтра, но вот уже идет вторая неделя, а свободы почему-то нет. Я это хорошо понимаю. Со мною тоже было так в тюрьме — какие это страшные часы, часы такого ожидания! В них отражения Гефсиманской ночи — и тоска, тоска... usque ad mortem![555]

Здоровье моих — неважное. И — боюсь. Боюсь. Иногда мне даже трудно себе представить: какими путями, какими способами вернуть силы матери, если с нею что-нибудь случится, ответит мне кто-нибудь за это?

Да. Ответит.

21 марта

Первый день петербургской весны. Солнце, -12°. Трудовая повинность на дворах: жильцы свозят на указанные места домашние нечистоты. Изредка на улицах мелькнет действующая снеготаялка и немедленно приведет меня в умиление: Господи, как в доброе старое время!

(Доброе старое время было, оказывается, до 22 июня 1941 года. А мы и не знали... мы думали, оно кончилось 25 лет тому назад. Глупые мы, глупые.)

Сдала телеграмму отцу: барышня в промерзшей комнате почтового отделения на мой вопрос об ориентировочных сроках прибытия телеграммы ответила:

— Скоро, скоро! Недели через две, три...

Отвечала она серьезно и даже радостно: по-видимому, некоторое время тому назад она не могла дать и такого ответа — утешительного, по ее мнению. Вчера в солнечный и морозный день достала для моих флакон витамина С. Летали самолеты и на синем небе оставляли какие-то красивые льдистые вензеля и знаки. Потом заахали орудия и быстро кончили. Страшными призраками катастроф стоят разрушенные дома. Люди привыкли и равнодушно проходят мимо. На улицах появились детишки, которых не было видно очень, очень давно. Женские лица посвежели, и не все мужчины походят на живые трупы, как было в декабре и январе. Неужели город идет к возрождению, неужели остановится поток смертей?

Мама чувствует себя плохо. С трудом достала ей несложную микстуру (валериана с бромом!) — с трудом по той причине, что aqua distillata[556] в ленинградских аптеках отсутствует. Интересно? Очень.

Благодарно думаю о чужом человеке, доставшем для меня и лекарства и витамин. Совсем чужой человек, которому никакого дела нет и не было ни до меня, ни до моей семьи. Такой момент человеческого внимания не входит как будто в чисто деловые служебные круги наших взаимоотношений. Расценка и оценка человека по степени его вероятной и несомненной полезности тоже очень важна в дни такого голода и болезней.

Только бы выдержать в жизни маму!

Истеричничающему Эдику предложила эвакуацию, если хочет. Осекся, замолчал, озлился — и об эвакуации перестал говорить. Один он не поедет никуда, что же он будет делать один, он, привыкший ко всему готовому и не ушедший далеко от детства? А есть ли у меня право оставлять его здесь, в жутком и неверном городе, окруженном стенами любых возможностей?

И не ляжет ли на мою совесть то, что в августе или сентябре я не отправила моих куда-нибудь подальше, в глубину России. Будь они там, у них не было бы ни цинги, ни замирающего от усталости сердца, ни расшатанной до последнего нервной системы, ни явлений новой болезни, которая называется «дистрофия». Ответ за все несу я.

Теперь же они оба — в особенности мама — очень близко подошли к той черте, которая разделяет бытие от небытия, и остановились как бы в нерешительности.

Витамин С я достала, но продукты у меня совсем на исходе. Спрашивается: чем я удержу их у этой черты, чем отвлеку назад, как смогу воспрепятствовать шагу вперед? А шаг через черту сделать так легко — и он может быть сделан даже незаметно... даже незаметно...

Видела во сне, что мой милый собеседник всех последних лет мирной жизни приехал из каких-то романтических Африк в Москву и не менее романтически думает там обо мне... ах, если бы в мире таких деликатных людей, как он, было меньше романов и поэзии, а больше реального восприятия материальных сторон жизни, такой большой, такой многогранной, такой сложной... Уверяю вас, mon beau monsieur[557], мне сейчас не нужны ни персидские катрены, ни брильянты, ни розы, ни парижские шелка. Мне нужна жратва. Мне нужен хлеб... И масло.

И сахар. И крупы. И дрова.

А для души мне нужен табачок. Все.

Хорошо, что во мне умирает чувство жалости. Хорошо, что я люблю ненависть, как любовь. Хорошо, что во мне много одиночества.

Если бы мои были эвакуированы еще в августе, я бы легче и проще перенесла все, что пришлось пережить. А так — трещина. Семья, как всегда, — оковы.

22 марта — воскресенье, 20.35

Мама и брат лежат. Маме только что дала камфару: она кипятится, раздражается, сердится, ворчит, потому что была моя красивая ученица и болтала свой обычный пустой вздор, потому что из соседней квартиры выселили чью-то домработницу, ныне госпитальную прачку Полю, и маме жалко ее, хотя этой женщины она совершенно не знает (мама и брат всегда стоят за малых сих), потому что в соседнюю квартиру вселяется новая управхозиха, неинтеллигентная, миловидная, нахальная еврейка, которую мама невзлюбила с первого взгляда. Мало ли всяких «потому» для волнений бедного больного человека!..

Сегодня для меня был хороший день, потому что **впервые** за 4 месяца мама захотела кушать. Но эта моя радость омрачилась сразу же знанием истинного положения вещей в моей кладовой: продуктов у меня хватает только на завтра. Если ничего не выдадут и я ничего не достану со стороны, то послезавтра перспектива сводится к чаю с призрачным сахаром и эфемерным хлебом. Все. При такой ситуации интересно думать, что врач тубдиспансера, подтвердивший вчера цингу и истощение брата (и физическое и нервное), подчеркнув «очень сильное истощение», и предписал необходимость незамедлительного усиленного питания. Выглядит брат ужасающе: он синеватого цвета, сине-восковый. И ему все время холодно, холодно. Мама мерзнет тоже, страшно мерзнет, хотя и целый день лежит в постели под одеялами, под моей меховой шубкой.

В комнате сегодня +10°. На дворе от -12° до -6°.

На солнце, говорят, сильно таяло. Не выходила.

Эвакуация идет бурными темпами. Красивая ученица рассказала, что «высылают» не только неблагонадежных и подозрительных (судимости, высланные и осужденные родственники), но даже бывших лишенцев, которые сами забыли о том, что когда-то существовала и такая категория российских граждан. Говорят, что очень волнуются из-за этих слухов Тотвены (у него

осужден за К-Р[558] сын, тифлисская врачебная знаменитость, за которого старик все хотел выдать меня замуж!..). Нужно было бы зайти к ним, но... так далеко, и так болят ноги, так необходимо мое ежечасное присутствие дома, в моем лазарете. Сложно.

Вот. Скоро спать. Вчера не слышала даже, как пробило 10 вечера. Сплю теперь чудесно, утомленная дневной беготней и хлопотами и топтаньем у печки. Сон ровный, прекрасный, здоровый и глубокий. Сновидения великолепны и такие красочные, как в тюрьме. Во сне люди, движение, музыка, новые города, новые созвездия, много людей, много красок. Во сне все то, чего больше нет в жизни. Хорошо, что сюжетная сторона снов почти всегда забывается при пробуждении — остается только текстура, фон. Иначе было бы трудно. Впрочем — и это неважно.

Чтение Чехова, радостное и благодарное, как всегда.

В сумерки, проводив красивую ученицу, зашла в кухню, где в тазах и лоханях стоит замерзшая вода, где на полу посуда, так как сожжен кухонный стол, где около мертвой раковины стоит горшок, снятый в уборной, где много пыли, холода, где не было минуты, чтобы сошли морозные узоры с оконных стекол. И вот в такой жуткой арктической кухне из радиорепродуктора вдруг донеслись до меня знакомые и любимые такты Чайковского[559]. Давали концерт. Передача была еле слышная — словно все это было очень далеко: и по времени, и по расстоянию. Словно мертвецы вдруг решили поиграть для мертвецов. «Лебединое озеро» — вступление. Слушая, я постояла, кажется, одно мгновение и сразу же ушла. Я не могу слушать музыку, я не имею права, я должна беречь свои нервы и свою броню. Музыка была в прежней жизни — может быть, в прежнем моем воплощении. О прежней жизни я не должна ни думать, ни жалеть. А если пожалею — сломаюсь, сгибну, полечу к черту! Поэтому из моего нынешнего существования музыку я исключаю тоже, как стихи, как искусство, как красивые вещи, как нежные ткани и волнующие духи. Не надо. Не надо ничего такого, что расслабляет и напоминает, что может заставить меланхолически вздохнуть и пожалеть.

На Бассейной открылась парикмахерская со свободным доступом для всех граждан, где за 2 руб. можно сделать маникюр. Не иду. Все по тем же причинам. Начался артиллерийский обстрел.

23 марта, понед[ельник], 21 ч.

Сегодня тепло, таяло, на дворе уже лужи, на улице капель, ростепель, весна. Из бомбоубежища тащили с братом наверх чужой диван, который

дают на время для Эдика (он спит на невыносимой по неудобствам походной кровати). Падал мокрый мартовский снег, текло, за водою в подвал бежали жильцы дома (вода в определенные часы). Диван мне помогали тащить два моих приятеля: Гриша Стеркин и Володя Белов, красивые по-разному мальчики, не достигшие еще 7 лет. У Гриши рыжие глупые веснушки и чудесные черные глаза, ясные и чистые, с громадными ресницами. Такими вот ясными библейскими глазами, мудрыми и младенческими, смотрел, быть может, на мир маленький Иоанн[560]. Володя тоже красивый ребенок с холодным взглядом, с жестокой и презрительной складкой узких губ. Думая о Грише-Иоанне, я превращаю Володю в сына Понтия Пилата. И, стоя под снегом на дворовых лужах и глядя на моих ребят, соображаю — а может быть, Володю сделать братом Саломеи... ее маленьким братом, о котором нигде не сказано.

Дети меня очень любят. Мы с ними друзья. И я очень люблю говорить с детьми: делается очень грустно, очень чисто, очень хорошо, как в поезде, когда из окна увидишь дивную полянку, весенний березняк, золотистое небо над просекой и почувствуешь всем сердцем, всем нутром: здесь цветут ландыши. Остановиться бы, сойти — постоять в этом потоке золота и зелени, — вдохнуть аромат невидимых, но существующих ландышей... А поезд летит дальше, полянка исчезла, пошли какие-то кирпичи, склады, болота, грязь — и запахло не ландышами, а дымом, гарью, машинным маслом.

Только что выпили вечерний чай, жиденький, несчастный и невкусный. Опять подумала о тюрьме, о своих камерах, улыбнулась. Там тоже чай был жиденький и невкусный.

Недавно один юрист рассказал мне, что за последние месяцы в прокуратуру и в НКВД являются граждане и доносят на самих себя: я вор, я шпион, я диверсант, я спекулянт. Цель одна: попасть в тюрьму, где свет, тепло, где бесплатно кормят, лечат, моют и стригут. О знаменитом рецидивисте, ушедшем «на покой» еще до революции, я слышала уже давно — пожалуй, еще в октябре или ноябре. Потрясенный бомбежками и замученный беготней в укрытия, голодом и страхами, знаменитый рецидивист явился в прокуратуру и долго убеждал прокурора немедленно арестовать его и выслать из Ленинграда.

Прокурор любезно беседовал с этим нервным интересным старичком, который рассказывал ему необычайно любопытные вещи о замечательных кражах, о великолепных подлогах и шантажах, о потрясающих по смелости ограблениях, совершенных до войны 1914 года (четырнадцатого!) и так и

оставшихся нераскрытыми. Теперь старичок раскрывал все — имена, механику, подготовку, сеть, сбыт, все. Прокурор слушал, для него это была неожиданная экскурсия в область истории петербургского криминального мира, — если бы не было войны 1941 года, он, вероятно, слушал бы еще внимательнее уголовный роман издания до войны 1914 года, автор романа сидел перед ним, болезненно вслушиваясь в зловещее тиканье радио. Выслушав, прокурор отказался арестовывать интересного старичка, ссылаясь на сроки давности. Старичок, говорят, волновался, спорил, чуть не плакал, торгуясь и набивая себе цену.

— А это знаете, кто сделал? Я. Вот, позвольте...

— А когда это было? — вяло спрашивал прокурор, тоже замученный бомбежками, голодом, бешеной работой.

— Позвольте... в августе 1912 года...

— Нет, нет... давность...

Так, говорят, знаменитый рецидивист и ушел ни с чем: его не арестовали и не выслали. Слава его оказалась мертвой. Имя его не пугало и не заставляло настораживаться. Он оказался тихим и безвредным — вроде парикмахера, бывшего учителя словесности или массажиста.

Говорят, знаменитый рецидивист был не столько оскорблен невниманием к себе тех лиц, внимание которых стесняло его всю жизнь, сколько глубоко опечален и разочарован: ему так хотелось во что бы то ни стало уехать из Ленинграда, где каждый день бывает до десяти тревог, где, как орехи, раскалываются дома, где нехорошо проводить последние годы старости.

Если знаменитый рецидивист выжил и уцелел, он, вероятно, уехал теперь, в эту эвакуацию.

Этот рассказ не выдуман мною. Очевидцем такого собеседования в областной прокуратуре был адвокат Александров Леонид Иванович, рассказавший мне это в одну из бомбовых ночей в нашем подвале. Но тогда еще было электричество, мы курили папиросы — я угощала моим вечным «Казбеком», меня — «Беломором». Но тогда еще у меня были прежние выхоленные руки, я носила кольца и ежедневно умывалась. Боже мой, пожалуй, в это мне так же трудно поверить до конца, как в блестящую славу знаменитого рецидивиста до войны 1914 года!

Сегодня я засиделась. Уже 22.05. Просыпаюсь же я обычно в 6 утра, когда брат идет за хлебом, и больше уже не сплю.

Скучно мне. Как Меншикову в ссылке. Странно, что очень часто думаю об этой суриковской картине[561]. Окна там тяжелые и подсвечник. Тюрьма — и эта вот картина. Да... жизнь...



24 марта, вечер

Небо хмурое, грязное, теплое. Весь день +2°. Вечером выходила ненадолго, промочила валенки, машина на Бассейной залила грязью. Падал мартовский снег большими тающими хлопьями. Без трамваев на улицах так тихо! Идет весна. Не хватает в городе лишь великопостного звона. Я очень любила эти нечастые мерные звуки колокола — грустные, напоминающие.

Завтра католическое Благовещение. Красивый праздник — легкий, голубой.

Благая весть... Это много. Это чудесно. Для некоторых в одной вести — смысл жизни...

Разбирая бумаги в своем письменном столе, который идет на дрова, нашла буддийский катехизис[562] и обрадовалась. Показалось, что это д-р Р[ейтц] шлет мне привет, какое-то неслышимое слово, какой-то невидимый взгляд.

Хорошо, что и для меня сансара[563] — пустота и заблуждение. И дальше: что мешает совершенствоваться? «Привычка (или любовь, кажется) к вещам **этой** судьбы». За эти жесточайшие месяцы жесточайшего года моей жизни (физически жесточайшего — так как нравственно, внутренне, я очень окрепла, просветлела, выросла и успокоилась) от вещей **этой** судьбы отвыкаю все больше и больше. Ничто не ценно. Ничто не привязывает и не тянет. Очень легкое и простое освобождение. Могла бы жить в комнате, убранной с монастырской скудостью. Могла бы одеваться всегда одинаково и не замечать своей одежды.

Кажется, могла бы жить даже без **собственных** книг. Но это еще только «кажется» — в этом я еще далеко не уверена...

Мама выглядит очень скверно, слаба, каждый день по утрам раздражается, доводит себя до истерических слез, до пароксизмов обид, причитаний, оскорбленности и т.д. Это очень тяжело и несправедливо, но я знаю: болезнь обостряет и делает особо рельефными некоторые элементы человеческой психики. В данном случае обидчивость и неумение и нежелание признать право на другую точку зрения, не на свою.

Лишь бы выдержать эту жизнь в Жизни и не дать ей угаснуть!..

Сегодня кормила моих пустым бульоном. Больше у меня ничего нет. К счастью, сегодня же мне предложили постное масло — литр 600 [р.], сушеные овощи — кило 700 р., кажется. И возможность обмена: хлеб на дамское белье. Пока дала 600 руб., завтра снесу белье. Если завтра что-нибудь достану — будет обед. Если не достану, обеда не будет. Похоже и не похоже на очаровательную песенку Кузмина:

Если завтра будет солнце,
Мы во Фьезоле поедем...[564]

Усталость. Нынче много двигалась, работала, убирала, таскала, передвигала тяжелые вещи. Еще только четверть десятого, а уже очень хочется спать.

Мать Гнедич при смерти. Сама же Гнедич опустилась, психует, ходит нечесаная, немытая, в саже (но в пудре!). Живут в чужой комнате, где их приютили: от холода (у них бомбы высадили рамы). Развели у чужих грязь, беспорядок, паразитов. Обо всем этом меня информирует по телефону неизвестная мне дама, у которой Гнедичи живут и которая ухаживает за ними и опекает их.

Неужели в этом году я не увижу Царского Села?

Март, 27, пятница

После двух дней парной, теплой весны с потоками воды и луж снова мороз, снова разузоренные окна.

День моего рождения. Мама со вчерашнего дня настроена празднично и хорошо, ей хочется, чтобы все было спокойно и празднично, чтобы во всем чувствовался праздник. Она была уверена, что сегодня я получу какие-то вести, какие-то посылки из Москвы. Ни вестей, ни посылок я не получила — и мама разочарована и даже чуть обижена. Ей почему-то кажется, что милый собеседник последних лет приехал из каких-то Африк в Москву и там только и делает, что думает о нас и рвется вперед, вперед с помощью, с подарками, со сгущенным молоком, с шоколадом, маслом и сахаром! Я очень рада, что мама верит в приятные сказки для маленьких детей, я очень рада, что она верит и ждет чудес, которые в мире не бывают. Пусть: гораздо лучше верить, чем не верить. С верою легче жить.

Может быть, мой милый собеседник и приедет в Москву (если это ему будет выгодно) и снова начнет играть в Прекрасного Принца и Chevalier Blanc[565]. Поле для эффектов большое. Посмотрим.

Но верить я могу только в себя. И спасения для моих ждать только от себя и через себя.

Начинаю все-таки уставать. Почему это мне ни разу за всю мою жизнь не пришлось пожить беспечно и легко — по-женски: чтобы кто-то заботился обо мне, о моих удобствах, о моем отдыхе и забавах, чтобы кто-то думал о деньгах, о квартире, о дровах, о ремонте, о билетах. Так — полностью — я

жила несколько дней, когда с Николенькой и его сыном ехала в Севастополь, а оттуда морем в Гагры. Да и то бездумности и покоя во мне не было: семья оставалась в Ленинграде, были мои заботы, мой долг, мои обязанности.

Вероятно, легкой и беспечной женской жизнью мне жить не суждено.

Третьего дня умерла от истощения Анна Михайловна Гнедич, старушка умная, едкая, говорливая и искренно презирающая «чумазых». Несмотря на бедность и внешнюю потрепанность — 25 лет нужды и бездомности! — хороший тип остроумной и волевой барыни, помещицы.

Сегодня же известие о смерти Бориса Николаевича Кректышева (умер 16.2). Ушел человек очень большой и очень тонкой культуры.

Очень много смертей в городе, удивительно много. Мор на интеллигентную старость в особенности. Обреченный вымирающий город часть своих людей выбрасывает в смерть, другую часть в просторы российские по эвакуации — остальных же ставит на трудовую повинность — всех, всех, всех, цинготных, дистрофиков, желудочников, всех несчастных, измученных, полусумасшедших и голодных, голодных... У нашей власти хватка жесткая и малочеловечная. Впрочем, видимо, только так успешно править и должно... Но если на местах будут бурно администрировать самовлюбленные тупицы, извечные щедринские герои, которыми так богат наш Союз, то и слово «человечность» станет оскорбительно-юмористическим.

Март, 30 — понед[ельник], 11.45

Морозы. Сейчас метель, пушистая, огромными хлопьями. Вчера — в Вербное воскресенье — всю ночь и до 7 утра наш район был под жестоким обстрелом. В начале седьмого снаряды — по-видимому, очень крупного калибра — рвались где-то так близко, что в кухне у нас распахнулось окно, все двери в квартире раскрылись сами по себе, и гулко задрожали и долго не могли успокоиться стены и оконные стекла. Мне даже показалось, что снаряды попадали в наш дом, потому что слышно было, как что-то рушилось и в верхних этажах трескалось и летело стекло. Мама и брат очень перепугались — у мамы начались сердечные явления и сильная лихорадка. Брата тоже бил озноб, и ему все время хотелось смеяться. Позывы на истерику у мужчин очень тяжелы — это очень странно и глупо — не встречают сочувствия.

Я не могу сказать о себе, чтобы я чувствовала себя «обстрелянной», но ни страха, ни тревоги у меня больше не бывает: в такие моменты, в часы обстрелов или налетов (кстати, вчера была и воздушная тревога, с воем по радио и так далее — мы сидели в столовой, готовились к обеду, читали, брат исте-

ричничал, мама ахала, но никому и в голову не пришло, что после сигнала ВТ людям полагается сходить в бомбоубежище) я начинаю ощущать лишь неудобство, досаду и глухую злобу. Все это мне **мешает** — да, мешает, я рада, что удалось найти очень правильное слово. Мне надоело жить на фронте, и фронтовые события мне мешают — вот и все.

О снах. Сплю много, хорошо и вижу чудесные сны. Отсутствие внешних впечатлений и скудость сегодняшней жизни компенсируются богатством и великолепием снов. Продовольственных снов больше у меня нет (хороший признак!); еда, изредка фигурирующая в снах, обычно изысканна и представляет собой не самоцель, а художественное (именно так!) дополнение. Я постоянно окружена людьми, нарядна, душиста, я все время куда-то езжу и хожу (а погода всегда чудесная, города прекрасны, автомобили и экипажи удобны!) и почти каждую ночь бываю в театре (недавно я слушала «Снегурочку» в Большом, а сегодня была на двух актах «Пиковой дамы»). Бываю я также в ресторанах (и здесь — элемент еды), в поездах, на стадионах, на каких-то гуляньях. Брожу по аллеям Пушкинского парка и **живу** в романовских комнатах Александровского дворца. И всюду — со мною и вокруг меня — люди, люди, какие-то мои знакомые, друзья, приятельницы, которых в действительной жизни я не знаю. Реальные люди играют незначительную роль в моих снах.

Как-то вечером зашла в свою комнату — мертвую, холодную, с пыльными зеркалами. Были густые сумерки. На диване — горы книг, папок, бумаг: письменный стол уже сгорел в печке. На пианино, сером от пыли, фотографии, книги, ноты — и тоже все в пыли (удивительно быстро накопляется пыль — я же убираю свою комнату через два-три дня!). Подойдя к туалету, почему-то открыла флакон французских духов (Ambre Molinard Paris), понюхала — и вдруг так остро и страшно затосковала, вспомнила, поняла, ощутила как сущее всю страшную и смертную тупость и узость теперешней своей жизни, ее безысходность, окольцованность, обреченность и ужас. От нежного и чужого уже запаха дорогих духов заметалась, как зверь в клетке, как раненая птица. Хотелось закричать: «Спасите, хоть кто-нибудь... я же погибаю...!»

Потом овладела собой и улыбнулась. Ольфакторные миражи и галлюцинации рассеялись. Настроение вошло в обычную солдатскую рамку.

Вспоминать не надо. Думать не надо. Читать стихи не надо.

Слушать музыку не надо. И ни в коем случае не касаться флаконов с заграничными духами, которых у меня несколько.

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить,
А не то...[566]

Где она теперь, моя новогодняя гостья, почти свидетель, почти друг, знакомая незнакомка? Опять обстрел.

Апрель 4, Страстная суббота

Светлое небо и мороз -7°. Февральские пейзажи улиц. Таянья на солнечной стороне напоминают не Пасху, а Масленицу. Вчера и позавчера были метели. В этом году зима в Ленинграде стоит уже ровно полгода.

В городе трудовая повинность: люди чистят, скребут, скалывают лед, возят снег и нечистоты в ящиках на маленьких саночках. Милиция, проверяя, неистовствует: вчера на Знаменской я была свидетелем, как милиционеры толкали работающих женщин в спину, понукая — и подбодряя, вероятно. Также неистовствует административная комиссия райсоветов, направо и налево накладывая штрафы и тюремные заключения за невыход на работу без оправдательного документа — врачебного, конечно. Остроумие же современных Макиавелли заключается в том, что гос. врачи не имеют больше права выдавать безработным, т.е. иждивенцам, бюллетени или справки о болезни. А эта категория сейчас преобладает среди нашего населения. Следовательно? Порочный круг. Брат, несмотря на зарегистрированные в поликлинике и тубдиспансере цингу и сильнейшее истощение, справки не мог представить жакту — и административная комиссия влепила ему штраф: 150 руб. Хотя все в доме знают состояние брата, хотя все видели и видят его жуткое лицо и младенческую слабость, это не помешало составить на него акт и привлечь его к ответственности. Волнений у нас по этому поводу была масса. Первого апреля была получена повестка о вызове его в административную комиссию, а второго апреля — от страха и неуверенности, придет ли вызванный врач (врачей можно вызывать сколько угодно, только они приходили на 10—12-й день после вызова, если приходят вообще...), поплелся сам в поликлинику у Смольного, где, видимо испугавшись его мученического вида, зав. поликлиникой отправил его немедленно домой, обещав, что врач придет сегодня же, обязательно придет. На обратном пути у Института усовершенствования врачей брат все-таки свалился: работавшие на снеговой повинности врачи (достойное занятие для врачей — и своевременное!) подняли его, втащили в холл и там отпоили валерьянкой.

Вечером действительно пришла врачиха, юная, только что окончившая институт, пишущая «капли **дацкого** короля» и забывшая латинскую формулу белладоновых свечек. Дала брату направление на мед. комиссию для освобождения от трудовой повинности. Вчера он туда не попал: не хватило номерков. Врачиха Сегаль, выписывая направление, посоветовалась со мною — каким словом заменить «дистрофия», «истощение». И на мой недоуменный вопрос ответила: слова «дистрофия» и «истощение» категорически запрещены к употреблению. Оказывается, по постановлению властей, в Ленинграде нет ни дистрофиков, ни истощенных. Следовательно, все могут работать. Это меня умилило и напомнило картину Верещагина «На Шипке все спокойно». В связи с таким неожиданным открытием 100%[-го] здоровья ленинградцев начинают закрываться стационары для дистрофиков, где давали в течение 10—14 дней усиленное питание, правда, удивительно скромное. Раз все здоровы, кому нужно усиленное питание?

Разрешения на белый хлеб выдаются только язвенникам и раковым с открытым процессом. И — по знакомству. У меня знакомств нет. Очень жаль.

Недавно купила: постное масло — литр 650 р. и сливочное масло — 800 руб. за 400 грамм. Если бы сегодня в магазинах не дали крупы, наш обед состоял бы из чая и хлеба с маслом. Но крупу выдали — и я торжествую.

Сегодня у меня Т 38°. Ангинозно-гриппозное состояние. Знаю, что не смею болеть. Поэтому глотаю всякую лекарственную снедь. Если заболею и я, то что же будет с моими? Маме (как будто!) чуть лучше.

Помимо редких добыч витамина С и клюквенного экстракта добываю витамины из настоя сосновой хвои. Очень долго и трудно стричь иглы. Получается вкусно. Говорят, что полезно.

В очереди бабы говорят, что в городе проповедовал и пророчил какой-то старичок: весны не будет, сразу придет хорошее лето, в июне погибнет завоеватель, Ленинград как был без крестов, так и останется без крестов, Христос проходил через город и все видел — и голодных, и страдающих, и падающих без сил. Видел — и прошел, печальный. Красивый, почти блоковский образ. Кстати, о Блоке: все-таки не утерпела, купила разные книги, даже не нужные мне, и в том числе полного Блока[567]. Читала, радовалась, приветствовала его как друга, как солнце, как весну.

Людей вижу мало. Те, кого вижу, начинают тосковать, терять надежду, агонийно метаться: что будет и долго ли ждать? Сил у народа все меньше и меньше.

Заел быт, грязь, беспомощность и растущее отупение.

Но есть и утешительные признаки возрождения города: действуют несколько кино (уже пару недель), в Александринке работает оперетка[568], там же с 5-го начинается цикл симфонических концертов. Работают бани — попасть туда, правда, трудно, а кроме того, и страшно: вши. Работает несколько парикмахерских: маникюр по-старому, а завивка на керосине клиентки. И забегал грузовой трамвай — очень редко, очень редко. Платформы свозят снег.

Эвакуация идет полным ходом. Из нашего дома уехало множество людей. Вчера у таких отъезжающих купила дрова за 150 р. Дубовые столы и стулья хорошего качества. Там, в СССР, не везде хорошо: в Моршанске Тамбовской обл. пуд ржи 350, в Галиче Ярославской, в колхозе, такой же пуд ржи 800 р. В Казани тоже скверно. Говорят, благополучно в Сибири, в Средней Азии. Никому из уезжающих не завидую и ехать никуда не хочу: дорога страшная, вдоль путей лежат штабеля трупов, в дороге люди мрут еще легче, чем здесь, багаж разрешается по 40 кг на человека, на деньги будто бы ничего не достать, все на обмен. Но недавно вот почувствовала нежную грусть и позавидовала отъезду — позавидовала мягко, не от зависти, а от крыла Музы Дальних Странствий: директор Эрмитажа И.А. Орбели уехал в Армению, в Ереван. Туда поехала бы и я — в песок, в скалы, к горным озерам, на берегах которых стоят задумчивые менгиры. На Кавказ поехала бы и я, в какую-нибудь чудесную и немыслимую глушь, где благородна поступь и душа мужчины, где женщины целомудренны и чисты, как наивные звери, где созревает виноград и мандарины и где можно, не хмелея, с утра пить кислое и терпкое вино. И работать в каком-нибудь музее или местном институте, подальше от городов, от войн, от снарядов и от нашего упорного зимнего холода.

Никогда — за все годы жизни, войны, революции, голода и разрухи — не было такой нищей и голодной Пасхи, как эта. У меня в доме: пшено, хлеб, масло и обещанная на завтра выдача сахара. Мама, как и в день моего рождения, чувствует себя разочарованной: где же вкусная посылка, так ожидаемая ею, где милый и заботливый друг, непрестанно твердивший, что нигде и никогда не забудет ее дома, гостеприимства, дружбы и ласки.

Увы! Увы! Бедная мама — ни посылки, ни друга!..

Стреляют все время. Гудят самолеты. Чуть позванивают стекла окон. Очень, очень скучно.

В тот же день 21 ч. 25 м.

Около 6 ч. вернулся с медкомиссии Эдик. Пробыл там с 2 ч. дня, его шатало, в очереди ему уступили место посидеть, он от слабости заснул и, кажется, этим испугал жилицу нашего дома, тоже дожидавшуюся приема. Брата впустили без очереди и без номера, и врачи, даже не осматривая, сейчас же освободили его от работ на 1 месяц, сказав, чтобы по истечении этого срока он пришел бы опять. Вид у него настолько жуткий, что дистрофия и болезнь видны даже невооруженным глазом. Тем не менее люди из домохозяйства составили на него акт, а адм[инистративная] комиссия, размахиваясь, как всегда, наложила штраф. Удивительно бесчеловечное отношение к человекам.

А после обеда, когда мы мирно приступили к чаепитию, над городом пронеслось что-то страшное. Не то был налет, не то что-то дикое, без названия творилось в небе и на земле. Около получаса длилась оглушительная шквальная пальба зениток, трещали стены, звенели окна и посуда, от каких-то неведомых взрывов содрогался дом, тревоги по радио не давали, говорила артиллерия — и шум и грохот были такие (на непрерывном звуке), что я даже не успела сообразить: что это? Я просто обалдела. Казалось, что вокруг рушится дом за домом и сейчас, сейчас придет и наша очередь. Еле двигающуюся маму все-таки вывели в переднюю, где холодно, но где нет стекол, где есть капитальная стена. Около 8 ч. все вдруг прекратилось сразу, словно отрезало. Вернулись в теплую комнату, мама и брат пили валерьянку. Обсуждали. Решили: если и летом будет все так же, если и летом мы увидим, что грядущая зима предстоит такая же страшная — т.е. голодная, бездровная, без воды, без света, без минимальных удобств, — бросим все, подправимся, чтобы выдержать путь, уедем куда-нибудь — к теплу и к тишине. Мама и брат за зиму отвыкли даже от мысли о возможных повторениях осенних драм с долгими часами в бомбоубежище, со смертными разрывами фугасных бомб, со свистом их, который трудно забыть, с симфонией обрушений, которую нельзя забыть. Сегодняшний вечер их не только испугал, но и удивил. А ведь я же знаю, что так еще будет, будет, что так может продолжаться еще долго, что город продолжает быть фронтом, что Германия продолжает стоять под самым городом.

Что будет дальше, я не знаю.

«И никто не знает — скоро ль час настанет пробужденья...»[569] Какого, где и когда?

5 апреля, Пасха

Ночью скончалась Марья Егоровна Покровская, моя милая, милая тетя Маша, чудесная и умная старушка, переносившая и голод и лишения с редким человеческим достоинством[570]. С нею в могилу уходят большие ненаписанные мемуары, осколки которых сохраню в памяти, пожалуй, одна я. Жаль мне ее очень, глубоко, по-настоящему. Она — дочь известного московского врача и графини Толстой, которой семья не прощала брака с революционером-разночинцем[571]. Если бы тетю Машу не испугала предстоявшая ей принудительная эвакуация, придуманная какими-то головотяпами (ей за 70) и отмененная затем кем-то более сообразительным, с ней бы удара не случилось — и мы бы встретили с нею истинное светлое утро, которое ведь когда-нибудь засветит и над нашим несчастным городом.

6 апр[еля] понед[ельник] 21.35

Скоро спать: 38—38,2°. Голос, пропавший вчера, возвращается. Утром -7°, днем +1 — -2°. Город тонет в нечистотах. Когда все уберут, никому не известно.

В пасхальную ночь была свирепая бомбежка — знаю пока, что бомбы дали разрушения на Сергиевской и на Шпалерной. В моей тюрьме полетели все стекла. О других районах сведений нет, кроме очередных преувеличений и россказней, о которых говорить не стоит.

Днем уже бывают тревоги, палят зенитки. Надо снова привыкать. Надо запасаться терпением и выдержкой. А силы откуда взять, спрашивается?

Маме то хуже, то лучше: задыхается от страшного мучительно сухого кашля, а в аптеках ни кодеина, ни [капель] датского короля. Боюсь за нее. Выглядит плохо.

С продуктами тоже плохо. Пока выдали только крупу и сахар. Кормлю раз в день жиденькой кашкой. Обещали за 800 р. достать 600 гр. масла, а за 7 рубашек (две шелковые ручного шитья, две трикотажные заграничные, остальные обыкновенные хорошего батиста) дают 1600 гр. хлеба. И это — хорошо, и это — приветствую.

Не хочу сдавать. Несмотря на Т°, на отвратительное самочувствие, бодрюсь, двигаюсь, работаю, не лежу. Пока лишь остерегаюсь выходить на улицу.

10 апреля, пятница

Тает, тепло, хмурые парные дни. Город полон идущей весны и непроходящей вони. Город воняет так, как никогда: помойками и отхожим местом.

В квартире тоже воняет, особой нищенской вонью хамских жилищ: два дня варю пустую уху из селедочных голов и хвостов, заботливо вкладывая туда и содранную шкурку, и вырванные кости. Таким изысканным супом и питаемся. Селедочку же с восторгом поедаем до утреннего чая и как первое блюдо за обедом и ужасно радуемся: как вкусно, как замечательно, как это мы раньше не уважали селедку!

За старые русские сапоги Эдика сегодня дали 500 гр. черного и 200 гр. белого хлеба. Белого мы не видали с ранней осени. Попробовали с набожной внимательностью: безвкусно, пресно, хуже черного.

Начинаю разбазаривать вещи и намечать то, что продам. Деньги на катастрофическом исходе. Часть буду менять на хлеб как на валюту (хлеб опять поднялся — кило 400 руб.), часть продавать на деньги. Готова ликвидировать все что угодно. Ничего не жаль. Вещи кажутся ненужным и обременительным грузом, не имеющим никакого значения. На все **свои** вещи смотрю как на **чужое** — бесспорно чужое. Опрощенная годная жизнь, ведущая меня теперь по своим путям, с мудрым и бесстыдным цинизмом подчеркивает бренность и чудовищную, оскорбительную нелепость домашних уютов, абажуров, баккара[572], тонких фарфоров, элегантных салфеточек, ковров, коллекций редких книг, бронзы и антикварных пустяков. Во имя чего все это нужно, Господи?

Радуюсь полному освобождению от рабства вещей. Завтра отберу красивые платья и ткани и отнесу в комиссионный: пусть покупают и на здоровье носят здоровые и милые женщины, которым еще хочется нравиться, быть красивыми и соблазнять широкомордых, розовых и плечистых танкистов и летчиков.

Моя инвалидная команда не поправляется (правда, и поправить мне их нечем!). Пролетел какой-то шквал молниеносного гриппа, давший у меня высокие температуры и два дня державший брата под 38,7—38,2°. У Эдика до сих пор безумные боли в боку. Лечу очень хорошо: своевременно и методично даю лекарства и комбинирую, выбирая из своих скудных запасов то аспирин с кодеином, то салол с белладонной, то терпингидрат, то валерьяну, то хинин. Обнаруженная случайно коробка фитина привела меня в восторг: кормлю брата фитином и уверяю и его и себя, что это — спасение. Из меня вышел бы очень хороший врач, это я знаю и давно, и очень твердо; вот — не пришлось... в будущей инкарнации, может, буду счастливее и умнее.

(Кстати: недавно, во сне, сердечная и трогательная встреча с д-р[ом] Р[ейтцем] и его женой, разговариваем, пьем чай, радуемся несказанно обще-

нию. «Мы никуда и не уезжали», — говорит доктор. Но квартира другая, не его. «Наша квартира, кажется, погибла, — продолжает он, — и книги погибли, и мои cahiers[573]...» Я начинаю жалеть, он смеется: «Нет, это же очень хорошо, что все исчезло. Не нужно оставлять следов. Не нужно оставлять ни учеников, ни привязанностей. Человек должен быть совершенно свободным и parfaitement seul[574]». И во сне я думаю: пусть так, пусть все исчезло — но ведь осталась я, ученик и привязанность, остались тени погибших книг, рукописей и тихих, умных вечеров — и всего этого жаль, жаль — и человек не совсем свободен и не совсем одинок.)

Почему же д-р Р[ейтц] не пишет мне, если он жив? Почему нас, живых, разделяет такое молчание? Или, даже продолжая жить, мы уже вступили в новые круги, в которых ничего не должно напоминать о старых? Nescio. Очень много думаю об этом большом и необыкновенном человеке — не как о будущем, а как о прошлом. Если когда-нибудь — но навряд ли! — жизнь нас снова сведет в будущем, то для нас и настоящего тогда не будет: только прошлое, только тени только что отошедшей, но такой милой, книжной и словесной жизни, в которой мы двигались, действовали, накопляли и подводили итоги. Итоги так и не были подведены, а милая жизнь (уютная, домашняя, книжная, словесная) неожиданно кончилась. Пришлось вступить в другую. И, встретившись в другой, захочется поговорить о тенях первой — поговорить шепотом, как в церкви, как на кладбище.

Сидя здесь, в безвыходном осажденном городе, в грязи, в вони, в нечистотах, в голоде и неверности завтрашних дней, думаю о многом: о дальних городах, о чужих созвездиях, об изумрудных морях, о пустыне, о тишине просторов — о, особенно о тишине! — и о какой-то волнующей, огромной и созидательной работе. Во мне физических сил мало. Но сколько силы во мне вообще! И какой скучной, узкой и неприютной жизнью приходится жить мне, именно мне, которой дано больше, чем другим.

А судьба меня все выдерживает, выдерживает... и дает лишь мелкие поручения в среде мелких людей, очень редко и очень неохотно сталкивая с настоящими, моими людьми и поспешно и нелепо разводя меня с ними. Судьба знает: я очень терпелива. Очень.

Апрель, 11, суббота, около 9 веч[ера]

В лампочке трещит и плохо горит какая-то непонятная, дикая смесь, за которую плачено 100 р. литр. Соседка принесла сушеный картофель и 300 гр. баранины, полученные по карточкам. Хорошо. Кроме того, достала мясо,

горох и ржаную муку (скверную). Тоже хорошо. Милая дама с завода «Светлана», бодрая черноглазая, смуглая, похожая на мулатку, принесла сосновые ветки (из них весь город страстно добывает антицинготные витамины). Еще раз хорошо.

Тает. На улице +5°. В моей комнате +8°. У мамы +13°. Мама слаба, раздражительна, придирчива и обижается... У Эдика температура сбита. У меня тоже — почти: 37,4—37,5.

Скучно. Скучно. Скучно.

Когда заканчиваю обеденную эпопею и сажусь отдохнуть в старое, старое зеленое кресло у окна, становится не по себе: идут сумерки, вечер, тускнеет в окнах скудный свет. Значит: день кончается, день кончился. Сегодня как вчера. Вчера как завтра. Разница в том, что вчера был селедочный суп, а сегодня мясной гороховый. До сумерек читается какая-нибудь утешительная книга — Чехов или французы.

Все почему-то кажется, что скоро куда-то придется поехать, что, может быть, петербургский цикл жизни заканчивается. Ни о каких эвакуациях, однако, не думаю. Так: ждешь чего-то, вяло и неуверенно. Авось хоть приснится...

13 апреля, понед[ельник]

Пребываем в восторженной радости: вчера к ночи вдруг начал действовать водопровод и из кухонного крана полилась вода — настоящая собственная вода в собственной квартире. Сегодня мы с братом ошалело моемся чуть ли не каждый час и удивляемся, что становимся все белее и белее.

После обеда устроила у себя в комнате генеральное омовение и сменила зимний наряд: все свитеры пошли долой. Смотрела в зеркало на голый торс и невесело улыбалась: очень похудела, чеховский студент мог бы и на мне готовиться к экзамену по анатомии[575], сквозят все ребра, и каждую кость легко определить на глаз звучным латинским названием.

С 15-го в городе возобновляется трамвайное движение, пока по пяти маршрутам. И это хорошо. Трамвайные звоны прекратились у нас, кажется, в начале ноября.

Думая обо всем этом, с умилением вспоминаю умное еврейское сказание. Мало человеку нужно, чтобы сказать хорошо: сначала надобно отнять постылый status quo, а потом вернуться к оному же — a status quo возникнет вновь, возникнет уже с новым и положительным эпитетом. И ликующие люди будут рукоплескать.

Вчера — Евг[ения] Мих[айловна], полная рассказов о мелких семейных дрязгах, о необыкновенно скверной семейной жизни (еврейские семьи обычно благополучны, эта семья представляется мне какой-то аномалией), о считанных кусках хлеба, об обменах. Потом — Ксения: уже по-весеннему подтянутая и почти нарядная, спокойная, умный наблюдатель, умный критик. Рассказы о знакомых — умер, уехал, устроился, исчез с горизонта, болен. Выглядит неплохо. Юра с позиций не приходил давно.

Мое здоровье лучше, Т° идут к норме. Эдик, по-моему, сильнее. Мама еще плоха. Если бы восстановить у нее нормальную деятельность кишечника и мочевого пузыря, результаты были бы вполне благополучные. Кормежка у меня теперь не скверная, а она слаба, слаба. Боится есть из-за желудка и дряблости кишок. Ест немного. Завтра, видимо, достану для нее масло.

Апрель, 18, суббота, 20.45

На дворе еще светло, вечер даже не голубеет, темнота придет позже, та весенняя недолгая темнота, которая вскоре незаметно исчезнет, растворившись в жемчугах белой ночи.

Весна настоящая, с теплом, с солнцем, с сухими тротуарами на больших улицах, с горами тающей грязи на боковых, с вдруг зазвучавшими немногочисленными детскими голосами, с сериями страшных людей, вылезших из квартирных логовищ, чтобы погреться на солнце, посидеть на солнце, может быть, купить жизнь у солнца.

Мои высокие Т° миновали. Выхожу. Вместо меховой шубки надеваю зимнее пальто с каракулевым воротником, вместо платка (когда-то, на фронтах 1914 года, под Верденом, незнакомый мне французский офицер по имени Raymond, носил черный шарф, связанный руками его матери. Офицера убили. Мать его умерла. Шарф же в войну 1941—1942 года ношу в виде платка я, чужая им и незнакомая) беру старую черную шляпку. Вдруг стало заметно, что я похудела. И еще более заметно, что у меня больные ноги. Хожу я с большим трудом, волоча бескаблучные боты: пока еще не могу носить другой обуви, кроме моих рваных ночных туфелек. Контраст разителен: лицо, голова — и ноги, шаг, манера идти, палка, хромота, тяжелая, тяжелая старческая поступь. За последнее время мне вообще все труднее и труднее: и физически (ноги, руки, и десны, и зубы, и сердце!) и нравственно (надоело все, скучно, скучно, надоело!). Холодно подсчитываю остающиеся финансы. Холодно соображаю, что буду продавать. Холодно думаю о том, что ни в

завтрашнем, ни в сегодняшнем дне нет и не будет ничего настоящего. Да — скучно.

Завела блатной альянс в лавке писателей: буду продавать и книги. Если даже книги — мои книги — свободны теперь от табу, то как же любопытно и горько смотреть на меня со стороны, ни привычек, ни любви, ни привязанности, ни стремлений к уюту, к beauté de lendemains[576], к самоутверждению в жизни — ничего, ничего, кроме почти пассивного (ибо чересчур логически обоснованного и оправданного), идеально вышколенного механизма каждодневных слов и каждодневного места.

Каждодневная неизменность жизни становится все более и более мучительной. Раздражаюсь все чаще и чаще и стараюсь сдержать себя и сдерживаю и выхожу из себя, только дозволив себе открыть этот клапан. Мне — трудно. Я знаю, о чем каждый день — и почти каждый час! — мы будем говорить. Я знаю, на чем каждый раз разговор споткнется и либо перейдет в легко вспыхивающую и мгновенно гаснущую ссору, либо даст глубокую обиду мамы, переживаемую ею со вкусом и драматически в течение нескольких дней. Я знаю, что вся моя жизнь и все интересы жизни сводятся к следующим вопросам: как действовал желудок у мамы? сильно ли утомила ее клизма? нужна ли сегодня камфара? каково выделение мочи? почему она непрерывно кашляет — а простуды как будто нет? почему урина выделяется в таком мизерном количестве и так густа и так кровава по цвету? почему мама не хочет хорошего, настоящего врача, а не милую поликлиническую готтентотку, которой она симпатизирует неизвестно почему? какова Т° у брата? как его кровавые раны на ногах? что мне делать с его хамством, дерзостью и инфантильной злостью и инфантильным упрямством? И как — как и чем? — я удержу в жизни и мать и брата?

Не голодаем, но питаемся, конечно, плохо: гороховый суп с мясом один раз в день, около 6 ч. Утром ржаная болтушка и чай с поджаренным хлебом. Вечером просто кусочек хлеба. Масла не достала. Муки не достала. Хлеба не достала. Крупы не достала.

Спрашивается: как и чем я удержу в жизни мать и брата? И кто мне ответит за них?

Если бы не ноги, не вечное утомление, не слабость, ходила бы много и почти радостно. Так хорошо небо, так чудесны весенние перспективы, так счастливо чувствовать, что тепло, что будет еще теплее, что — позже — будет даже жарко.

(Даже подумать о возможности повторения **такой** зимы я не могу без содрогания. Уж лучше мой стрихнин!)

Но ходить много не могу: больно, устаю, слабею. А с весной и кушать хочется больше: есть я хочу все время.

Сплю неплохо — ночи подобны быстрым черным стрелам. Сегодня достали керосин, и поэтому горит лампочка. А все дни до этого, уложив моих в начале 8-го, я сама ложилась без света в половине десятого. И все выдерживаю. Все. Как хорошая лошадь... Ничего, оказывается.

Наша водяная радость была эфемерной и прожила лишь сутки. Где-то полопались трубы, залило бомбоубежище — и воду поспешили закрыть по всему дому. Теперь брат носит воду с угла Знаменской и Бассейной.

За 200 р. купила дубовый обеденный стол, из которого делаются дрова.

Табак, найденный у меня на полу в Страстную среду (о, какое счастье было обнаружить в забытой вазе 200 гр. на-сто-я-ще-го табаку!), кончился. Этой вот духовной пищи мне очень не хватает, но и выдержу, и перенесу и это. Как хорошая лошадь...

Апрель, 22

Вчера в обед первая гроза с грозными раскатами и слепящими молниями. До грозы было почти жарко, на Невском, когда возвращалась от Тотвенов, подножия домов увешаны гроздьями живых мертвецов, вышедших или вынесенных на солнце. Зрелище кошмарное.

Обстрелы. Самолеты. Слухи о мире, о каких-то таинственных переговорах в Москве. Слухи о прибавке хлеба, о чрезвычайных выдачах к 1 мая, об индивидуальных пакетах для каждого гражданина с маслом, сахаром, конфетами: сталинский подарок. Слухи о первомайском вине, водке, пиве. Слухи об англичанах и американцах.

А у меня дома смерть на пороге: все заглядывает, все смотрит на маму, которой все хуже и хуже. Вступила с этой гостьей в единоборство, пугаю ее лекарствами, едой, маслом. Не уходит: стоит у порога. Заглядывает. Смотрит на маму. Смотрит на маму. Смотрит на маму.

Вчера очень дешево купила литр молока: 180 р. Сегодня предложили дешево табак: 100 гр. — 250 р. Заказала сгущенное американское молоко: 100 гр. — 170 р.

Разбираю книги, откладываю. Буду продавать. Не жаль ничего. Ни к чему нет привязанности.

Если доживем до середины лета и я увижу, что перспективы туманны и печальны и что грядущая зима будет похожа на эту зиму, — уеду, брошу все, увезу моих. Все равно куда. Лучше буду сторожем в алтайском колхозе или уборщицей где-нибудь на Кавказе. Ведь все равно, все равно. Какая-то жизнь — с домом, с уютом, с красивыми вещами — кончена. Остатки же дней можно и прокочевать. Еще раз: не все ли равно?

25 апреля, суббота

Очень тяжелые дни. Маме очень плохо, все хуже и хуже. Сильнейшие отеки ног, а сегодня оказалась задетой даже правая рука. Задыхается. После камфары — чуть легче.

Сегодня наконец был врач из поликлиники, которого жду уже 10 дней. Определенно: общее и резкое ухудшение, пульс еле прощупывается. Надежд мало.

Дайте питание, дайте лекарства, дайте покой. Тогда ваша мать выживет. Врач говорит и слушает: над городом самолеты, пальба, зенитки, воздушный бой.

Врач говорит и знает: в городе лекарств нет, нет даже простейшей валерьяны, выписанные примитивные (но отсутствующие) средства — например! — будут получены мною по блату, врач подкидывает к моим рецептам еще один, для своей матери, у которой уже пролежни: авось мой блат доставит государственному врачу, работнику районной поликлиники, то лекарство, в котором нуждается его родная мать.

Врач говорит и грустно улыбается: питание!

— А я вторую неделю кормлю своих гороховой похлебкой, — говорю я, — у меня ничего другого нет. Если бы в нормальное время я моих больных кормила бы горохом, что бы вы сказали?

— Что вы сознательно или умышленно идете на преступление и делаете преступление.

Да. Надежд, оказывается, мало.

Смерть стоит очень близко.

А я еще борюсь, я еще кричу, я еще не сдаюсь — нет.

От цинги сильно ослабели руки и жутко болят и мучают десны — распухли, надулись, все в крови, один зуб уже полетел, второй вертится, как на ниточке.

Черное шелковое платье — Париж — обменяла: 800 гр. хлеба (из расчета 400 р. кило). Шерстяной костюм — Париж! — отдала на комиссию: 900 р.

Доктор говорит:

— Масло. Сахар. Витамины.

А где достать? Кто достанет? Откуда?

Боже мой, как — страшно — жить — в — этом — городе!

Ежедневные тревоги, налеты, бомбежки, пальба. Бомбоубежища не оборудованы, залиты водой, запакощены. Жители города покорно сидят на своих этажах, ибо деваться некуда.

На майские праздники обещают водку, вино, пиво, табак. Из продуктов дополнительно к норме только соленая рыба, чай, сыр и сушеные фрукты. Не густо. В голод 1918 и 19-го годов выдавали хоть белые булки!

Апрель, 26, воскр[есенье]. 21.30

Маме плохо: отеки увеличиваются, задет уже низ живота. Она боится, мучается, слабая, беспомощная, старенькая, с глазами Долорозы.

— Мне бы только пожить, с тобой еще пожить, посмотреть, дождаться твоей славы...[577]

Первая попытка достать лекарства по блату. Если не удастся, завтра сделаю вторую попытку.

С утра снег, холодно, метель. Говорят, двинулась Ладога. Говорят, что у советских войск на Ленинградском фронте большие успехи, о которых официально объявят только к майским праздникам. Много говорят.

Вечером принесли 100 гр. табаку. Плачу 200 руб.

Купила табак лишь потому, что в эти страшные для меня дни табак мне нужнее хлеба. Ежеминутно слежу за резко изменившимся лицом мамы — и «делаю лицо».

— Все хорошо, скоро поправишься, тогда уедем...

Мама мечтает о Кавказе, о фруктах, о солнышке, вспоминает свое детство, юность.

Мне больно — и страшно. У меня нет сил. Никто мне помочь не может (или не хочет). Я — одна. Одна, как всегда.

От брата не скрыла ничего. Испугался. Сразу обругал врача — «не может быть!». От страха теряет голову, прячет голову под крыло, хамит еще больше, сам больной, зеленый, с кровавыми ранами на ногах.

У меня есть деньги, золото, брильянты, меха и шелка. А мне нужно масло, сахар, мясо, нежные крупы: этого всего у меня нет. И достать я не могу.

Неужели так кончается жизнь — жизнь моей матери и моя жизнь?

Кто мне ответит за нее, за эту драгоценнейшую жизнь, стимулирующую и мою бытность в жизни?

Вы ответите, вы, мой милый собеседник мирных лет. Лишь бы мне встретиться с вами, лишь бы не пройти мимо ваших путей.

Ваш долг растет с каждым часом. А я и была и буду самым неумолимым из неумолимых кредиторов.

Мама.

Очень страшные дни.

Мама умирает от голода.

27. IV. понед[ельник]. 21.45

Мама чувствует себя бодрее: левая нога вдруг освободилась от отека. Ежедневная камфара укрепила сердце. Сегодняшняя выдача по карточкам масла и сахара дала какие-то силы. Правая нога и правая рука вздуты невероятно. Лежит, мечтает о фруктах, о вкусных консервах, о Вас, мой милый собеседник мирных лет[578], — удивляется, почему Вы не мчитесь к ней, не спасаете, не приносите помощь. Мне зло и грустно, грустно за нее, за маму.

Холодно. Солнце. Две тревоги. Пальба самая эффектная. Эдик был в поликлинике, врач направила его на комиссию для получения диетического питания. В поликлинике свалился в обморок.

Эдик прекрасно определил людей моего города и сам город в теперешние дни:

— Для Ленинграда нужны только Гойя и Эдгар По.

Великолепно! Не люди, не город — призраки, фантомы, гиньоль, паноптикум, морг под открытым небом.

29 апреля, вечер

Маме, конечно, все хуже и хуже. С 5 утра до 2 дня самые тяжелые часы слабости, задыхания, муки. Потом начинают действовать искусственные возбудители: камфара, валериана, кофе. Спит (очень мало) в сидячем положении. Отеки ужасны. По утрам уже не встает. Вчера днем пыталась определить ее болезнь по Grand Larousse: похоже, что плохо с почками, похоже на нефрит, на хлор-уремию. Люблю лечить, хорошо лечу, жалею, очень жалею, что я не врач, но определить болезнь ближайшего человека по Grand Larousse (ибо других способов определения нет), но лечить без лекарств, это все-таки... Сегодня по блату достала: валерьянку с ландышем, камфару и бром с валерьяной. Адонис верналис один блат мне не несет третьи сутки.

Нынче попыталась в другом месте: что будет — не знаю. А нужен дигиталис, дигален, диуретин, строфант. Этого же, кажется, ни один блат — кроме высокопоставленных, не входящих, увы, в мой круг! — не достанет.

Состояние мое трудное. Голову не теряю, готова (как говорится) к худшему, не обманываю себя ни надеждами, ни ожиданиями. Но ведь трезвому человеку всегда труднее, чем пьяному. А я трезвая, внешне спокойная, я холодная, с ясным сознанием, с ясным течением мысли, со способностью к анализу и к самопроверке.

Смерть уже открыла двери, вошла в комнату. Мама пошла ей навстречу. Между ними стою я — и размахиваю картонным мечом, и отпугиваю ненужную гостью, и заслоняю маму от ее взгляда. Как кончится этот мой поединок, определяющий мои пути в будущем и — даже — мою бытность в будущем, даже в географическом будущем?

С братом у меня ведь тоже скверно. Но у него хоть живет и кричит желудок, он хочет есть все время, он готов есть с утра до вечера. Витальность в нем орет благим матом о своем затухании и не хочет, не хочет затухать: будь нужная пища, он бы поправился, потому что функции пищеварения у него почти благополучны. Мама же есть боится и ест очень мало — и за прохождением каждого куска следит: не больно? нет отрыжки? легка ли проходимость пищевода? не устанет ли сердце? и что будет с клизмой, с уриной, с горшком?

Вчера растрогала Ксения: прибежала вечером, принесла маме заварку кофе, немножко брусничного сока, одну конфету — вот эта конфета и тронула очень! Конфета нарядная, московская, «Красный Октябрь», под названием «Весенняя», шоколадная, кремовая. От своего директора Ксения получила в подарок три штуки — и одну сохранила для мамы. Это вот надо будет запомнить: надолго.

Понемногу возникают призраки: на днях звонила Анта (цинга, дистрофия, ходить не может, но живет!), на днях звонила Гнедич (дистрофия, сбрила волосы, еле ходит, институт ее эвакуирован, пытается устроиться переводчицей в каком-то штабе), на днях звонила Эмилия (цинга, работает сестрой в госпитале, настроена неважно). Говорю с ними, радуюсь их возрождению в моей жизни: не потому, что люблю их, а потому, что страшно думать о людских пустотах, о людской опустошенности, о кавернах в людском составе, немногочисленном, правда (и тем более!), окружавшем меня. Столько смертей! Хорошо, что хоть кто-то жив, что хоть кто-то победил (надолго ли?) смерть.

Вчера поздно вечером, после 10-часовой очереди, моя милая соседка получила для меня баранину, пиво, чечевицу, сухие фрукты. Сегодня был питательный и вкусный суп, сегодня был компот из дыни и изюма.

Ночью была неистовая пальба, но мне и брату было все равно: на ночь мы выпили пива. А завтра достанут водку и сыр. Водку я буду менять на масло, хоть брат и протестует. Если мена удастся, конечно.

Нынче чувствую себя лучше вооруженной для борьбы с Гостьей: достала особыми путями 1 кило сахара, 1/2 кило масла, 1/2 кило шпика. Может быть...

Скоро 11 вечера. Брат спит. Мама засыпает. Сейчас лягу и буду читать старый, старый уголовный роман.

Моя десна на левой стороне верхней полости ужасна: фиолетовая кровоточащая опухоль. Больно. Болит вообще весь рот: небо, десна, зубы, язык. А силы мне нужны, нужны. Откуда бы их взять?

Май, 2, суббота, 21.30

Сегодня маме легче, не было жутких задыханий, мочи отходит немного больше (а вообще, грамм 150 в день, пожалуй, — ужасно!), отек начал спадать. По блату достала адонис, кормлю уротропином с салолом. Питание вполне хорошее: бульоны, масло, сахар, витамины, компот, сыр. Нужна бы молочная диета, но молока не достать: один раз удалось купить литр за 180 р., обещали принести по 250 р., но не принесли. Слабость у мамы ужасающая: в комнату Эдика, где она ставит себе ежедневную детскую клизму, веду ее я, крепко держа под мышки, а она шатается. Т 36,8—36,9°. Следовательно: жар. Нормальной для нее была бы Т 37,5—37,6° в таком ее состоянии, если бы не слабость. Анализ не дал ни сахара, ни белка. Зато много мочевой кислоты и аммиачных и фосфорных отложений. Вызван врач, милая и невежественная юница. Определяю болезнь мамы и лечу я: по энциклопедии Grand Larousse. Это, конечно, оригинально, но малоутешительно.

Очень теплая погода, сухо, солнечно. Почти не выхожу: нельзя маму оставить одну, а истерический Эдик только раздражает и ее и себя. Отсюда вечные недоразумения — любя друг друга, все время огрызаются, ежатся, ссорятся, обижаются и т.д.

Эгоизм Эдика детский, жестокий, лживый, материальный. Его болезнь, болезнь мамы, общая ситуация, ужасы войны и голода разложили его психику: опустился, разленился, озлобился, одичал еще больше. С ним и раньше было трудно, а теперь будет еще труднее. Страстно хочет уехать из горо-

да — все равно куда: где тепло, где светло, где тихо. Иногда думаю: может быть, даже подсознательно ждет смерти мамы как освобождения от прикованности к нашему городу. Не отдавая себе отчета, злится на маму, что так долго болеет и не выздоравливает и этим связывает меня, не давая возможности поскорее уехать отсюда. Уверен, что рано или поздно уедем. Один не поедет, конечно, никуда и ни за что; один он жить не может, ему нужны и щит и плечо. И тем и другим являюсь я. К Ленинграду, столь любимому им когда-то, появляется глухая и ожесточенная ненависть.

А я город продолжаю и любить и жалеть. И ехать мне никуда не хочется. Разве заставят обстоятельства, зависящие не от моей воли.

Бороться за город, за мою жизнь в нем, однако, не буду. Очень многое стало мне абсолютно безразличным за это время, ко многому я привыкла и от многого отвыкла. В конечном счете все равно.

По радио передают хорошие концерты. Понемногу привыкаю слушать музыку: уже не страшно. Сегодня, например, работала и улыбалась Шахерезаде. А вечером, около 9, когда брат уже заснул, стояла в грязной и неприютной кухне и слушала трансляцию концерта Ансамбля краснознаменной песни нашего фронта. Аплодировали. Вспоминала, как слушала когда-то, в мирное время, аплодисменты по радио: Бандровская, Тилль, Валлен, наши лауреаты. Не представляю себе теперешнего зрительного зала.

Город несомненно оживает. На днях открылось еще одно кино: «Паризиана»[579]. Организовано О[бщест]во камерных концертов (там же, в зале Шредера)[580]. Действует лекторий[581]. Нигде не была: некогда и — боюсь вшей! В армии и в городе сыпной тиф.

С сегодняшнего дня у нас пошла вода — кажется, уже окончательно, как утверждает новый водопроводчик. За это угостила его рюмкой водки, чем остался премного доволен и обещал мне действие уборной через несколько дней.

Вчера вечером: Ксения. Пили с ней водку, закусывая селедочкой, которая казалась балыком. Я, кстати, и селедку научилась чистить артистически (вообще начинаю замечать за собою кулинарные способности en herbe[582]!). Принесла маме витамин, а мне с братом 1/2 литра технического масла, чтобы поджаривать хлеб. Попробовала нынче: очень плохо, отвратительная вонь, есть не могла. Эдик поджаренный хлеб съел, хвалил, говорил, что похоже на чуреки, а потом страдал животом. Нет: техническое масло мне не по нутру. Гораздо вкуснее были студни из столярного клея, который, между прочим, на рынке уже давно исчез. Вероятно, все съели.

Жизнь очень тусклая и невероятно скучная. Хозяйственные дела и чтение: все. У меня еще функции доктора, аптекаря и медсестры.

Руки огрубели и потеряли всю свою красоту, нежность, выхоленность. Кольца теперь надевать было бы смешно — и стыдно. Не была еще ни у парикмахера, ни у маникюрши. Волосы, давно не мытые, отросли, торчат хохолками на затылке, зачесываю их по-мужски назад.

Когда же, когда же кончится наше Великое Ленинградское Сидение?

По сравнению с нами осада Мадрида[583] кажется театральным пустяком.

Вчера — вопреки всеобщему ожиданию — не было ни одного налета. Немец бил по Марсову полю. Потом долго отвечали мы. Сегодня же — день прекрасной, почти мирной тишины. На деревьях набухли огромные почки, Нева прошла, верезжит какая-то весенняя птица, на Ладожском озере кромка льда лопнула, отошла от берегов.

Если выживу, странно и волнующе (вероятно) будет читать эти строки через несколько лет.

В этих записках театра нет: ни для себя, ни для других.

Май, 3, воскр[есенье]. 22.15

Кошмарный день. Кошмарная ночь. С 2-х часов утра мама не спит, мучается, задыхается, просит помощи, не может лежать, не может сидеть. У брата температура (38,4°) и острые боли в животе. Припадок удушья у мамы длится долго. Вновь возникают отеки. Мечусь: то открываю окно, то даю камфару, то ставлю грелку. Самостоятельно поставить клизму у мамы уже нет сил: помогаю я. После кофе, после клизмы — днем припадок повторяется. Мама просит:

— Дай яду, у тебя есть, дай что-нибудь, морфий, веронал... Я не могу больше... Так будет легче!

Спокойствия не теряю. Головы не теряю. Каким-то образом удается восстановить нормальное дыхание мамы. Что помогло, не знаю. У Эдика понос и боли. Идет за хлебом, за водой, которую, как назло, закрыли на пару часов, а мы не знаем — дадут ли снова. Идет за дровами. Слаб, шатается, выглядит ужасно.

Обедаем поздно. Мама просит селедку — даю селедку (диета!). Пустой бульон на блатной колбасе салями. Остатки первомайского белого хлеба для мамы. Крепкий чай. Лекарства. У брата схватки и рези. Пью водку, даю ему водку с каплями Иноземцева[584], укладываю около 8 ч. спать в моей комнате.

Маме легче. В 9 ч. задергиваю портьеры, зажигаю лампочку, пою маму адонисом и валерьяной и уговариваю заснуть. Сейчас спит. Слышу ее дыхание: иногда во сне стонет. Испугавшей меня утренней и дневной отрыжки, похожей на позывы к рвоте, больше нет.

Как пройдет эта ночь?

Маме плохо — маме очень плохо. И помощи нет никакой: завтра жду врача из поликлиники (но придет ли?), а частные врачи ходят лишь за продукты. Нужна бы сиделка. Где бы достать опытную медсестру хоть на час?

Мама поговаривает о больнице, где надеется на уход, и боится больницы.

А в больницу попасть почти невозможно. Кроме того, там холод, грязь и голодный паек. Люди лежат на полу в коридорах, в сырых бомбоубежищах, в проходах: врачей мало, лекарств нет. Что мне делать?

Утром, в 6 ч. и в 9 ч., были тревоги с пальбой, с самолетами, со всеми аксессуарами.

День тусклый. Падал дождь. Перечитывала эти свои записки: невеселое чтение. Никого не было. Звонили Николай Мих[айлович] и Эмилия. Все.

4 мая, понед[ельник]. 21.30

Ночь очень хорошая, мама спала часов десять. День средний, с большой слабостью и раздражительностью. Доктор считает, что у мамы ослабление сердечной деятельности III степени, что случай серьезный. Повторяет: адонис и диуретин (которого, кстати, нет в госпиталях), питание легкое — каши с маслом (а у меня нет крупы — никакой), полный покой.

Больше ничего. Выходила на минутку — использовать аптечный блат для адониса. Холодно. Падал снег. На улицах пустынно, хотя 8 час. вечера. Около булочных толпы: обмены на хлеб. Моя цинга начинает утомлять все больше и больше. Говорят, на рынке уже появился щавель: на хлеб, конечно. Если бы мне достать десяток апельсинов, я была бы радикально и быстро спасена от разрушения зубов. Но где мне достать апельсины?

Читаю скучный английский роман.

Отрезанность от мира: ничего и ни о чем не знаю.

Май, 6. Около 10 веч[ера]

Очень трудные дни и ночи. Мама совсем слаба: —35,4. Отек правой руки ужасающий. Малейшее движение вызывает боли и задыхания. Почти ничего не ест. Говорит тихо, невнятно, часто путает слова. Холодно. Снег.

У Эдика боли в животе продолжаются. Понос остановлен. Видимо, очень страдает из-за мамы, боится ее тяжелого настоящего, боится будущего без нее, цепляется за прошлое, все время вспоминает, все время говорит о детстве: о Москве, о Карлсбаде, о Дуброве, о том, какой стол бывал на Пасху, как пахло сено на Иматре, какое в Гельсингфорсе было вкусное мороженое, как, в сущности, он мало видел, мало где был при всей его страстной тоске по новым путям, при всем его остром поэтическом желании путешествий, поездов, станций, семафоров.

— Южнее Москвы я, оказывается, никогда и не был! — с разочарованной и горькой грустью говорит он, — а ведь какие возможности были в прошлом! Ты счастливее, ты видела и Ледовитый океан, и Черное море. А я...

Эдик — бедный. У него неуклюжая психика «действия и слова не вовремя». Он — пассивный неудачник.

Спит теперь в моей комнате, где холодно́ и неуютно, чтобы не мешать умирающей маме. И еще: чтобы самому быть дальше от зрелища умирания: боится. И не везет ему в эти — может быть, последние живые — дни (как страшно это писать!), мама все время недовольна им, все время раздражается, ворчит и сердится на него. Любое его слово и любой жест оказываются и не вовремя, и некстати.

Бедный Эдик. Бедный брат мой.

Май, 8-е. 22 часа

Мама безнадежна. Так определяю не только я — так определили три врача: Фейгина из Мечниковской, милая Сегаль из поликлиники, важный врач, барский и сухой, приезжавший ко мне час тому назад.

Мама безнадежна.

Декомпенсация сердечной деятельности. Так стоит в записке важного врача. Записка направляет маму в больницу. Если завтра достану транспорт, завтра же будем ее госпитализировать. Это ничему не поможет и не вернет ей ни здоровья, ни жизни: просто за нею будет лучший уход — клизмы, катетеры, уколы камфары и кофеина.

Ночи у меня теперь тяжелые.

Сегодня мама уже в полузабытьи, все время стонет, сохраняя еще женственную манеру своего обычного выражения страха, боли и досады:

— Ай-ай-ай!.. Ой-ой-ой!..

Боюсь встретиться с нею глазами. Открывает их теперь редко — смотрит испуганно, чисто, замученно, глаза ребенка, красивые, карие глаза, в которых вдруг появился стеклянный оттенок.

По-видимому, у меня все-таки железные нервы и страшная воля. Несмотря ни на что, вижу, оцениваю, наблюдаю. Нервы. Воля. А сердце где?

Замуштровала себя. Замеханизировала. Идеальный оловянный солдатик.

— Рад стараться, ваше благородие.

Ешь глазами начальство! Смотри веселей! Смотри веселей! Молодцом стой на часах! И хорони с песней и помирай с песней!

У Эдика состояние кошмарное. Только сегодня понял до конца. Увидел, почувствовал: конец.

Важный врач говорил при нем просто, считая его взрослым. Я не могла и не успела предупредить врача, что с братом нельзя говорить, как со взрослым. Ему не 36 лет, как написано в паспорте. И это ничего не значит, что у него седеют виски.

С ним надо говорить, как с больным ребенком, нервная чувствительность которого гипертрофирована.

Вот — сидит теперь в маминой комнате, отказывается лечь спать, читает «Степь» Чехова (я выбрала — чтобы хоть чем-нибудь занять!), нахмуренный, развинченный, готовый ежесекундно зарыдать или закричать.

А мама продолжает стонать: все стонет, стонет...

Второй день не выделяется моча. Я боюсь уремии. Важный врач разделяет мои опасения.

Смерть развалилась у меня уже не гостьей, а хозяйкой. Картонный меч легко переломан ее косой.

Май, 9-е, суббота, 7 ч. утра

Мама скончалась сегодня в 2 ч. 30 минут.

Без сознания.

Агония началась в 23 часа.

Все.

Июль 2, четверг, 13 ч.

Жизнь продолжается. Происходят какие-то события. Читаются газеты, встречаются люди, варятся обеды, мысли не смеют подниматься выше уровня дел, денег, пищи, хозяйства.

Солнце, тепло. Открытые окна. Зенитки.

Одиночество полное.

Брат с 15 июня в больнице — далеко, на Большой Щемиловке[585], рядом с простором Невы и великолепным размахом нового моста. Дистрофия, цинга, сердце, туберкулез. Езжу к нему часто, вижу только через окно, ношу вкусные передачи, вступаю в обвораживающую игру с сестрами и врачом: чтобы добиться личной встречи с братом (еще нет), чтобы добиться права привозить передачи и письма не в определенные расписанием дни и часы (уже да). Через окно брат выглядит скверно (больничная бледность), волнуется, раздражается, хочет домой, хочет скорее, скорее уехать из города, где больше ничто и никто не держит. Не знаю, как будет дальше. Пока ехать никуда не собираюсь, хотя теперь географическая точка моего местожительства не имеет для меня никакого значения — пусть Ленинград, пусть Игарка, пусть Сибирь, пусть Москва, пусть Иран.

Ведь **дома** больше нет. Есть квартира, где я живу и о которой говорю:

— Пойду домой.

Но говорится так только по старой-старой привычке: называть свою квартиру домом.

Настоящего Дома — с большой буквы — у меня больше нет. Возвращаясь в гостиницу, тоже говоришь:

— Пойду домой.

А дом и **дом** — это разное. Теперь я поняла это до конца.

Эдик как будто спасен. Заканчивает спасение больница, где кормят так, как я кормить дома не в состоянии (видимо, здоровье к нему возвращается: несмотря на такое питание, он жалуется — «вкусно, но мало», ему не хватает в день 500 гр. хлеба, и он настойчиво просит блинчиков или пирожков). Начато спасение внутривенным вливанием аскорбиновой кислоты, которое важный доктор проделал 5 или 6 раз у нас на дому: Эдику и мне. У брата еще в мае начали заживать раны на руках, пропал вкус горечи во рту — а в конце мая он даже побрился, постригся и снял зимнюю шкуру, из которой не вылезал месяцы. Я боялась, что заведутся вши. Но вши не завелись.

Физически я чувствую себя хорошо, много хожу, мало бываю в квартире, делаю всякие дела и питаюсь нерегулярно, но нескверно. Произведены обмены:

Золотой браслет — 49 граммов — оказался равным: 1 кило масла, 1 кило сахара, 4 кило пшена, 2 кило пшеничной муки.

12 серебряных ложек, десертных — 2 кило крупы.

2 серебряных портсигара — 1 кило топленого масла и 300 гр. шоколада.

Если удастся, золотые обмены буду производить и в дальнейшем: к моменту возвращения брата у меня должен быть серьезный запас. Иначе он опять заболеет.

Варю вкусный суп из лебеды, заправляю мукой и постным маслом. Оказывается, и сорные травы могут быть и нужными и полезными. На днях у меня завтракала Гнедич, привезшая ворох мокрицы («mourrons pour les petits oiseaux!»[586]) и убедившая меня сделать из этой канарейной травы салат. Сделала. Не понравилось. Гнедич съела массу этого салата и была довольна. Ест она некрасиво, чавкая, прихлебывая, ест громко, голодно, по-хамски. А стихи пишет чудесные, сказки пишет оригинальные, изрекает иногда умное и весомое. Выглядит еще плохо, но не так страшно, как в половине мая, когда пришла ко мне впервые после 6—7 месяцев. В мае ей можно было дать за 60 лет. Теперь — около 50. В действительности же она моложе меня: ей нет и 35.

Все дистрофики — без различия пола, возраста и расы — очень похожи друг на друга. По-видимому, по той причине, что вдруг ясно проступает череп, рисунок черепа под кожей цвета дерева, грязного дерева, а все черепа на первый взгляд одинаковы.

Город еще в блокаде. Частые и жуткие обстрелы. Воздушных налетов давно не было, хотя зенитки болтают нередко. Из города множество уехало и продолжает уезжать. Население уменьшилось настолько, что, как вчера мне стало известно, закрылись 7 хлебозаводов: 1, 2, 7, 8, 16-й и еще какие-то. Нет заказов. Нет спроса. Каждый хлебозавод имел еще ряд подсобных пекарен по району с выработкой от 1 до 3 тонн в сутки. Пекарни эти — за ненадобностью — закрылись тоже.

Улицы очень опустели. В послеслужебные пиковые часы на Невском совсем просторно — в полдень малолюдно, — а около 11 вечера на Литейном так пустынно, как бывало только около 3 часов ночи в летнее время. И то машин тогда было больше.

Что будет с моим городом, моим прекрасным раненым городом?

Действуют кино, бани, прачечные, парикмахерские, Сад отдыха в Аничковом. По улицам ходят толстые девки в локонах, в модных прическах, в хороших платьях с чужого плеча, в камнях. Молодежь смеется. Детей мало, и дети выглядят, как больные котята. Военные блистают чистотой и здоровым видом. Жутких дистрофиков встречается все меньше: вымерли — или поправляются и вместо обнажающегося черепа вновь начинают носить лицо.

О маме, о ее смерти, о том, что ее больше нет, что я никогда не услышу ее молодой голос и не встречу ее внимательных и чистых глаз, не могу думать до к о н ц а. И не думаю. Закрыла еще какие-то двери. И, зная, что они есть и всегда будут рядом со мною, не могу на них даже смотреть.

Без мамы я не только тоскую, мне не только грустно без нее. Я без нее скучаю, как без друга, без собеседника, без привычного и дорогого товарища.

Говорить мне больше не с кем. Я вдруг очутилась в абсолютном одиночестве: светло, холодно, пусто — можно идти, идти, никого не встречая и зная, что никто тебя не ждет. А вокруг все будет одинаково: очень светлая, очень холодная, очень большая пустыня. И ты — один, один...

Появилась большая величавая гордость: у меня была **такая** мать! Чувствую себя подлинной царицей, носящей свою корону с набожным уважением и беспредельным знанием своего мистического превосходства — у меня была **такая мать**! Я коронована. Я — не как все.

Смерть мамы брат перенес легче, чем я думала, и иначе. Этому способствовала и его болезнь, и ужасы нашего города. Мы уже привыкли к каждочасной трагедии, которая — именно вследствие этой каждочасности — перестала быть трагедией, а стала бытом, нормой сегодняшнего дня.

15 ч. 10 мин.

Налетел дождь, похолодало. Выходила только что за хлебом. Вода в квартире идет уже третий день: хозяйственная радость! Забегала милая Евг[ения] Мих[айловна] с обещанием прийти вечером: навещает меня ежедневно, пустая, легкомысленная, лживая, но милая. Вскоре с заводом брата эвакуируется в Москву и не хочет ехать, одновременно боясь оставаться здесь. Вообще все заводы, кажется, уезжают из Ленинграда. В начале июня уехал и «Русский дизель»[587]. К чему же готовится город? По всем признакам, не к жизни. А если и к жизни, то к какой-то особенной, пока еще не вышедшей из стадии зачаточного фантома.

Была и соседка — Жанна Ф., — голодает, продает книги и готовится к принудительной эвакуации. Я, кстати, тоже начала продавать книги — не потому, что я готовлюсь к эвакуации. Но ведь за зиму сожжены все полки. Книги лежат на столах, на стульях, на полу. Книгам неуютно теперь у меня — они же не чувствуют больше моей любви к ним. Я ведь нынче ничего не люблю — даже книгу. Огромное и светлое безразличие живет во мне, такое же светлое и такое огромное, как пустыня, в которой живу я.

Сейчас жду Гнедич. Вечером придет Ксения.

У меня теперь все время народ, народ...

Часто и мучительно думаю о Пушкине, о парках, о любимых дорожках, о тенях прошедших лет. Когда еду к брату в переполненном и смердящем трамвае, смотрю на голубую Неву, на зелень застав, на тюлевые занавески и цветы в окнах деревянных домиков, удивляюсь и зелени, и тому, что есть еще и тюлевые занавески, и комнатные растения. И думаю: а может быть, войны и нет, может быть, я сейчас, перешагнув какую-то уэллсовскую черту времени[588], окажусь в лицейском садике на возвратном пути из парка на дачу. Голосистый Юра встретит меня на дворе, заговорит о всенощной хлопотливая бабушка, седая Макашева с лучистыми девичьими глазами, скажет, что скоро будет чай. А потом придут Гнедич и Боричевский, я буду угощать их чаем, конфетами, пирожными, ягодами, вспыхнет блестящий и всегда интересный разговор о книгах, о науке, о людях науки и книги — а за окном будет зелено от деревьев и розово от поздней зари, и когда я выйду провожать гостей, жемчужная луна будет смотреть на очаровательный засыпающий городок, такой светлый и прозрачный от белой ночи, что присутствие луны кажется театральным. Если я не устала за день, я провожу Гнедич до ее дачи на той же улице, и мать ее подойдет к окну, позубоскалит со мною, остроумно и тонко, и пригласит на завтра — попробовать ее варенья. А потом, вернувшись к себе, я еще долго буду читать, лежа в постели и куря мой обычный «Казбек», и знать, что пижама моя пахнет французскими духами, что деньги у меня есть, что завтра придет к чаю маленький Мичи, что послезавтра у меня будет лесной завтрак с моим милым спутником последних лет мирной жизни, что шампанское мы будем охлаждать в болотной речонке и весело отдавать должное кулинарным изыскам его хозяйки, что где-то — совсем близко! — поезд или такси — есть Дом, мой **дом**, где меня ждут, где обо мне думают и где надеются, что я приеду не в пятницу, как обещала, а раньше, много раньше — может быть, сейчас...

Но Дома больше нет. И никто меня не ждет. Нигде.

Боричевский умер от голода. Умерла и Анна Михайловна Гнедич. Мичи исчез где-то со своей бабушкой в вихре прошлогодней эвакуации, Макашева с мужем и детьми бежала осенью в Ленинград; в октябре все они еще были живы, старший Кока был на фронте, известий от него не было.

От очаровательного городка со странным наименованием Пушкин, кажется, осталось очень мало. Он еще немецкий.

Писать могла бы еще, и еще, и еще. Так писать «ни о чем», как я могла часами «ни о чем» чудесно беседовать с мамой.

Но: надо для сбережения сложить масло в соленый раствор.

Но: надо наколоть дрова и щепу для моего обеда.

И заняться нудными, несложными, но бесконечными делами «по хозяйству». Я встаю теперь в 7 и ложусь около 12 ночи, но у меня все плохо убрано, я не знаю, что где лежит, всюду накопляется пыль, ничего не стирается, не штопается, не укладывается на зиму, растет запустение, небрежение — ах, все равно, все равно...

В половине июня я получила из Билимбая свое собственное письмо, адресованное отцу в марте. На конверте пометка «выбыл». Последнее письмо его было датировано декабрем 1941 года. В мае я послала ему телеграмму, извещающую о смерти мамы. Оплаченный ответ остался без отклика.

Выбыл. Куда? Должно быть, в смерть.

Видимо, уж такая у меня судьба, что мне не суждено иметь родных могил ни мамы, ни тети, ни отца.

Словно вышли люди из тени и снова ушли в тень.

4 июля, суббота, 18.45

С одиночеством можно сдружиться, можно научиться громко разговаривать с собою, можно жить одиноким. Вчера и сегодня — утренние и дневные часы — только в обществе Мустафы — да и та главным образом сидит в моей комнате. Много каких-то дел по уборке, по хозяйству. Перебираю вещи, соображаю, что продать: денег у меня в дому рублей тридцать, да люди должны мне несколько тысяч, да я должна людям несколько сотен. Сегодня снесла в комиссионный свой гобеленчик с Петраркой, полку с никоновской акварелью[589] зимой и масло Шванешбаха[590]. Оценили все в 575. И то дело... Вот скоро за квартиру надо платить и вносить за брата военный налог. Значит, деньги нужны. Опять подхожу к периоду зверского безденежья — так, впрочем, бывало часто — если не всегда — до 1934-го, а особенно до 1935 года.

Только что пообедала — очень плотно, очень сытно: гороховый суп с макаронами и пшенка с обильной ложкой русского масла. К супу поджарила на шпике гренки, а после обеда вдруг захотелось еще хлеба с маслом. Заметила, что, сидя дома, все время тянет к еде. На людях, на работе голода почти нет.

Солнечный прекрасный день. В городе пустынно. На нашем дворе — таком шумном в летнее время — тишина деревенской околицы. Детей не

слышно. Изредка переругиваются женщины, берущие воду или выносящие мусор.

Тянет к зелени, к полю, к просторам мирных пейзажей. Но: на улицах, по углам, возводят укрепления с бойницами для винтовок и пулеметов. Сегодня в газетах сообщение, что после 250 дней осады, после трех штурмов и рукопашных уличных боев пал Севастополь.

На днях англичане сдали Тобрук[591]. Видимо, решили еще раз сберечь британскую кровь и не посылать подкреплений: в Тобруке были интернациональные войска — поляки, французы, голландцы, бельгийцы. Англия всегда верна себе.

Сегодня в городе настроение тяжелое. Падение Севастополя еще больше снизило дух голодных людей в осажденном городе. Разговоры всюду одинаковые: и Ленинград ждет участь Севастополя, и у нас скоро будет то же, и мы — обреченные!..

Не знаю, что будет. Никто не знает. Жду новой штурмовой волны — с бомбами, со свирепыми обстрелами, с агонийными часами ожидания гибели. Надо бы выдержать и это...

Ленинград эвакуируется так, словно здесь больше никогда ничего не будет, кроме жизни заштатных провинций: уезжают уже и предприятия легкой промышленности, как знаменитые обувные фабрики, например — «Скороход» и «Пролетарская победа».

Людской поток из города исчисляется десятками тысяч.

7 июля, вторник

Вчера встала в 6.30, убиралась, писала большое подробное письмо брату, приготовила ему передачу — масло, сахар (уже весь!), табак, вкусные котлеты из пшенки, приготовленные моей соседкой. Падал дождь, била далекая артиллерия. Завтракала, читая старые рассказы Пильняка. Потом пришел Ник[олай] Мих[айлович], худой, слабый, страшный, цепляющийся за уходящую жизнь всеми своими сбережениями: золотые часы обменял на три кило шпику, еще золотые часы на молоко и будущую зелень с парголовских огородов. Продаю через него парголовской молочнице на деньги и я: мамины туфли — 500, старое платье — 100, старинные золотые сережки (антикварные осенние листья, которые вряд ли поймет богатеющая на чужом голоде баба, ибо сделаны так, что золото умышленно не блестит!). А еще потом еду к брату: уже солнце, уже тепло, ветер рвет траурную вуаль, в руке два пакета, и от этих нетяжелых пакетов руки болят, как от пудовой тяжести. Вооб-

ще безумно болят и чувствуют себя всегда усталыми и слабыми и руки и ноги. Видимо, остатки цинги — и такие, что дают о себе знать все больше и больше. А может, и лебеда вредит, которая служит мне основной пищей за последнее время: говорят, что от лебеды слабеют конечности и зрение. Возможно. (В 1919—1921 годах самые нищие, голодные деревни замешивали хлеб на лебеде — мы, голодавший в то время Петроград, лебеды не знали.)

Поездки в больницу мучительны: трамваи, переполненные так, что даже стоять трудно. Публика простая, злая и ругательная. Все говорят о еде и об эвакуации: больше никаких тем нет. Много дистрофичных лиц, обезьяньих, черепообразных. Странное: основная масса населения вышла уже из видимой стадии дистрофии и жестоко — по-звериному — перестала сочувствовать и жалеть тех, кто еще эту стадию не перешагнул. На дистрофиков смотрят холодно, даже без любопытства, с отвращением и злобой (звери ведь не любят больных зверей!). Им не прощают: того, что вовремя не поправились, или того, что вовремя не умерли. И лица у дистрофиков поэтому — виноватые.

В больнице (здание бывшей школы среди недостроенного великолепия Щемиловского жилмассива — один чудесный флигель бомба уже зафугасила!) с трудом удается сдать передачу: день неприемный, главный врач, говорят, в дурном настроении, милая пожилая сестра (мой блат!) берет у меня передачу тайком. Уже уходя, оглядываюсь на окна брата — 3-е отделение, палата 10, 3-й этаж: пусто, потому что разговоры через окно запрещены, а к больным никого и ни за что не пускают. И в окне вдруг мелькает милая пожилая сестра, делает мне знак, я возвращаюсь, из окна на мгновение высовывается брат, бледный, очень бледный.

— Когда ты придешь? — кричит он — В среду?

— Нет, попозже... — отвечаю я, зная, что в среду мне нечего ему везти, и заранее пугаясь тяжелых трамвайных путей.

— Обязательно в среду, обязательно! — снова кричит он и прячется. Видимо, придется — хотя бы для того, чтобы свезти письмо и взять его письмо. Пишет мне мало, спутанно, по-детски, умоляет меня не тратиться и ничего ему не привозить и тут же просит: сахар, табак, блинчики, соленое. Этим напомнил письма отца. Удивительно, что в нем, так не любящем, почти ненавидящем отца, отец больше всего и прокидывается — дурными сторонами, к сожалению!..

Не еду сразу в город. Долго сижу на скамье у подступов к Володарскому мосту и любуюсь его контурами. Очень хорошо. Нелеп памятник Володарскому, среди деревянных дачек, зелени, грядок, песчаных откосов. Война

помешала росту района. Когда теперь восстановится строительство — и как — и кем?

Вокруг меня голубое, голубое: небо и Нева. Сильный теплый ветер тоже кажется почему-то голубым. Уезжаю, мучаюсь в трамвае, на Невском покупаю хлеб, захожу к соседке: она уже сварила мне лебеду, пропускает ее через мясорубку, достала соль, отвратительную колбасу, соевое молоко. Сижу, усталая, беседую раздраженно с Варгиной: советуется — ехать к бофреру[592] в Фергану или нет, он — работник ВЦИКа, член партии, профессор, в Москве у него была и отдельная квартира, и собственная машина, а в Фергане, может, он ютится в землянке! Долго — и, пожалуй, бесполезно — доказываю этой глупой женщине, что ехать надо, что, будь у меня **такой** родственник в Фергане, я бы немедленно собралась, оставив в Ленинграде на разграбление непроданное имущество, так как там, при **таком** родственнике, мне жить будет очень хорошо.

— Да, это вы бы сумели! — жалко улыбается Варгина. — Вы сильная, вы энергичная, вам бы повезло... а я несчастная, я не знаю никогда, что делать и на что решиться...

Не люблю таких женщин. Не люблю таких разговоров. Все считают: сильная, умная, энергичная, все может, все достанет. А эта сильная и умная устала, ей невмоготу, она хочет, чтобы за нее подумали, чтобы о ней позаботились. Желание это, правда, чистейшая абстракция. Так, фантазия, мечта, как повидать зеленый луч именно на Цейлоне.

Дома одиночество, долго варю обед (пшенку на соевом молоке и суп из лебеды), приходит хромая прачка Поля, просит в будущем взять ее в домработницы, Мустафа с ума сходит, зная, что в буфете лежит колбаса. Читаю, молчу, обедаю, пью чай, курю, просматриваю принесенное Полей белье (кстати: за 100 предметов 1 кило хлеба или 400 руб. Поля мне должна, я выручала ее продуктами в марте, когда у нее украли хлебную карточку, отстирывает за долг). Очень много думаю о маме, понимая теперь, как ей всегда было некогда и сколько времени и хлопот отнимало у нее хозяйство. Так теперь хозяйство пожирает (буквально!) и мое время: мне некогда читать, заниматься, творить, жить своей, привычной и богатой, внутренней жизнью. Все дни убираешь, перекладываешь, моешь, чистишь, колешь дрова, варишь что-то, опять моешь, опять чистишь... И, главное, знакомишься со многим: например, с бельем. Я не знаю, сколько у нас белья и где оно все лежит (ведь с осени в страхе перед бомбами все было перевернуто вверх дном, запаковано в какие-то узлы и чемоданы, а за зиму сто раз перекладывалось, перепа-

ковывалось... в результате я знаю, что белья у нас очень много, но каждый раз, находя его грудки, открываю Америки!). Кроме того, у меня совершенно нет хозяйственной и хозяйской памяти. И это мне очень мешает, усложняя мои дни.

Лучше всего я себя чувствую — даже очень голодная! — вне дома, на улице, у чужих. Там я не думаю о хозяйстве и знаю, что вот сейчас, сию минуту, мне ничего делать не надо. Уходить, однако, надолго опасаюсь: замка на двери нет, ручка сломана, запираю все мои несомненные богатства на простой поворот еще более простого ключа. Хорошо бы найти слесаря, хорошо бы поставить более сложный замок, но... Война, война!

Недавно — в Доме писателя. Гнедич читает свои переводы (Байрон), сказку в прозе и стихи. В маленькой комнатке около 20 человек: все женщины, кроме писателя Хмельницкого (он — парторг!), поэтессы, писательницы, критики. Почти все дистрофичны. Читает Гнедич плохо, у нее вообще прескверная дикция — а кроме того, во время чтения жует по листику выданный писателям салат. Аудитория слушает... и тоже жует: все тот же писательский салат, грязный, немытый, изумрудно-зеленый и чудесный. Не жуют только трое: Хмельницкий, поэтесса Шишова и я. На меня смотрят много и внимательно. До чтения — не будучи ни с кем знакомой — я со многими говорила со свойственной мне манерой небрежной вежливости, вежливого остроумия, остроумной серьезности. Распуская все перья, я знала, что делаю: мне нужны эти люди — для какого-то будущего (пусть такого же абстрактного, как зеленый луч на Цейлоне!).

После чтения критик Тамара Хмельницкая приглашает меня бывать у писателей почаще — и вдруг благодарит:

— Спасибо вам за то эстетическое наслаждение, которое вы нам доставили. На вас так приятно было смотреть! Теперь ведь редко можно встретить красивое и недистрофичное лицо...

Она мила и естественна. От неожиданности я даже краснею — я, привыкшая ко всяким комплиментам! Но услышать такое женщине от женщины, в голод, в осаду, в войну — хорошо.

Перевод Гнедич (действительно блестящий!) производит прекрасное впечатление, бесспорное притом. Сказка вызывает тучу встревоженных вопросов — для чего она написана, и для кого, и какие дети ее поймут, и что автор хочет ею сказать (сказка двусмысленная — с улыбкой политической Джоконды — пойди разбери! Писатели взволновались недаром). Собственные стихи Гнедич — необычного для нее, прежнего лирического тона — не

понравились. Странно то, что все выступавшие почти обвиняли ее в чрезмерной культуре, в чрезмерной эрудиции, в чрезмерной книжности. Когда ставят упрек в книжности, я еще могу понять, хотя и с трудом. Упрек же в чрезмерности культуры и эрудиции был бы мне абсолютно непонятен, если бы не относился именно к Гнедич: культурность ее утомительна, она склонна к недержанию цитатного материала, она очень любит кокетничать (грубовато иногда, как обухом!) своей памятью, знаниями, датами и т.д. Я-то ее знаю хорошо и давно. Писатели же знают ее плохо и недавно. Симптоматично, что и они это почувствовали. И, почувствовав, почему-то почти рассердились. А сердиться на чужую культурность не следует, даже если она и утомительна.

8 июля, среда, 15.25

Чудесная погода, солнце, в городе удивительная тишина (малолюдность), удивительно чистый воздух (заводы стоят). Тоска. Тоска. О маме. Завтра два месяца, как мамы со мною нет.

Проснулась нынче рано, еще и 6 не было, не спалось, читала Хемингуэя («To Have and Have not»[593]), дремала. В полудреме странный сон: я в какой-то больнице, будто у Эдика, будто жду встречи с ним (или с кем-то другим, не помню), солнечно, светло, милые люди в белых халатах. Я тоже в халате, запахнутом, не застегнутом — это важно — на груди. За столом женщина — не то врач, не то маникюрша. Вводят прелестную девушку — словно знаю ее, но не помню кто, черненькая, большеглазая, обворожительная. Она ранена, ей нужно сделать перевязку и поправить руки, она подходит к столу, протягивает к сидящей за ним женщине очаровательные маленькие ручки: на них кровь, не сгустками, не каплями, а нарисованными пятнами, как на картине. Я тоже наклоняюсь над столом и смотрю на ее руки. И вдруг одна ее рука, левая, легко, как отрезанная, отделяется от кисти и перелетает ко мне, прячась и задерживаясь в левой поле запахнутого — незастегнутого халата. Даже во сне я пугаюсь, стряхиваю залетевшую чужую руку на пол или на какой-то другой столик и долго, долго смотрю на нее: маленькая, изящная, кровавых пятен больше нет, похожа на идеальный восковой слепок идеальной формы, очень ало, без кровавой влаги, краснеет ровный отрез у запястья. Эту руку я беру и куда-то ухожу с нею.

Очнувшись, запоминаю сон, встаю, долго разбираю белье, раскладываю по полкам, соображаю, мучаюсь тем, что никаких организационных способностей хозяйки у меня нет. На это уходит уйма времени. Потом готовлю завтрак, ем вчерашнюю пшенную кашу, пью чай с поджаренным хлебом, Галя

приносит 300 гр. карамели, допиваю чай с карамелью. Около 11 приходит Николай, приносит 1/2 литра молока за 100 руб., которое мне, собственно, совсем не нужно. Но я тоскую, мне сегодня вяло и грустно, молоко я беру и угощаю его чаем с молоком и карамелью. Позже приходит нудная старая девушка, чистая, честная, добродетельная, светлая, говорящая только о Боге и о голоде, и я занимаюсь с нею, и тоска моя переходит в скуку, в боль такого одиночества, которое знает: встречи больше не будет, никогда не будет. Томясь, я повторяю: маму я больше не увижу никогда, никогда...

Перебирая ее вещи, я все натыкаюсь на ее запах: некоторые предметы пахнут ее болезнью, другие — ее живым, таким особенным, маминым запахом. Нюхаю эти вещи, целую их, прикладываю к лицу, улыбаюсь им, никогда не плачу. Всегда говорю громко:

— Мама.

Сегодня меня ждет в больнице Эдик, но ехать туда я не в состоянии: очень болят ноги, очень болит душа (и мозг, и солнечное сплетение). Напишу ему письмо, пожалуй. Не могу ездить так часто, трудно мне — может быть, поймет.

А в таком вот моем одиночестве — физическом, квартирном — много особой, не изведанной мною раньше прелести. Свыклась с ним очень быстро и полюбила его тайной, словно запрещенной, любовью.

Не думала раньше, что в одиночестве так хорошо...

Какая тишина в городе! Только женщины полощут белье и берут воду из уличных и дворовых кранов и иногда переговариваются — как бабы в деревне, у колодца.

Какая же судьба уготована моему городу и нам всем, остающимся здесь? Выдержав так много, выдержим ли то неизвестное, что надвигается на нас? Ибо всякая неизвестность страшна — даже такая, о которой — обещаниями — говорят благоприятно.

11 июля, суббота, полдень

Только что позавтракала пшенкой с русским маслом[594]: с 7 утра мой первый завтрак. Солнце. Тепло. Пролетел немецкий самолет. Побарабанили зенитки. Потом снова все замолкло. Не устаю слушать потрясающую тишину моего города и удивляться этой тишине. Народ уезжает, уезжает — какое-то бегство. Добровольный и принудительный исход, словно город обречен на гибель. «Из осажденного города не беги». Так говорит Талмуд[595]. Скоро

уедет красивая ученица, моя ежевечерняя гостья. Скоро и Ксения: по командировке без возврата, сопровождая ценные грузы. Обе едут в Москву. Из Москвы перед ними расстилаются разные дороги в необъятность России: Ксения думает об Акмолинске или Омске, Евг[ения] Мих[айловна] думает об азиатском юге, о Фергане, если Москва встретит негостеприимно. Говорят, в Москве хлеб «с рук» 110 р. кило (а у нас от 400 до 480!); говорят, в Москве можно пообедать без карточек за 50 руб. В Андижане (Фергана)[596] кило абрикосов 6 руб. В Челябинске, в частности, голод форменный, хуже, чем у нас, потому что по карточкам, кроме хлеба, ничего не выдают, и люди, даже крупные работники крупных эвакуированных предприятий, живут в подвалах и в землянках и проклинают день своего отъезда из несчастного Ленинграда.

Немцы сильно и успешно наступают на юге: подходят к Воронежу, стремятся перерезать магистраль Москва—Ростов. Оттуда пути на Царицын[597]. А это жизнь русских армий и всей русской промышленности: кратчайшая дорога бакинской нефти. Бомбежки Казани, Рязани, Вологды (по слухам). Обещанный англичанами Второй фронт пока еще не открыт. Америка зато уже назначила главнокомандующего «европейскими операциями». Европейских операций, правда, еще нет. Есть главнокомандующий. И то хорошо...

Мои верующие старухи в ажиотации: представитель генерала де Голля прислал телеграмму из Куйбышева — письма старух получены, старухам высланы деньги (на душу придется рублей по 200, о чем думает этот представитель генерала де Голля, старухи на эту грандиозную сумму не купят и 1/2 кило хлеба!). В телеграмме фраза, которая сводит их с ума от радости: nouveau desservant arrive[598] или что-то похожее. Небесная пища обеспечена как будто. Соседка в ужасе и тоске: почему nouveau?[599] А я почем знаю? Может, прежний подох или поступил танцором в фешенебельный ресторан или предпочитает греть свою спину у более теплой и менее опасной печки, чем Ленинград?

Много работаю по хозяйству. Сегодня чистила чаем свой красивый перепыленный ковер: цвет и рисунок вернулся, и я почти обрадовалась. Потом пилила чужую мебель, раскалывала ее, делала дрова, щепку... За ворох этой мебели дала с месяц назад старое драповое пальто, белую шелковую блузку, старую юбку и ворох детских платьев. Переплатила, конечно. Ну, все равно. С любопытством и наслаждением экспериментатора берусь за все дела и все работы. Наблюдаю: не жалуетесь, графиня? не тяжело? нравится? так-то... Мыла и чистила грязные ведра, парашу, ночные горшки. В промежутках

между этими возвышенными занятиями читала Экклезиаста и Анатоля Франса. И улыбалась. Мне было очень хорошо, очень спокойно, очень обыкновенно.

Все человек может. Все выдержит. Все — и еще немножко.

На днях наш губернатор тов. Попков делал доклад на заводе «Светлана». Любопытно (если передавалось мне верно): за год войны немец сбросил на Ленинград 30 000 авиабомб, из них 25 000 фугасных (Попков утверждает, что это немного: англичане на Кельн недавно сбрасывали по 10 000 бомб в один налет); разрушено в городе 4 тысячи с сотнями зданий, около 500 невосстановимы, остальные обитаемы и восстанавливаются. От бомб и артобстрелов погибло **только** 5000 человек. Мало? Очень мало. В настоящее время в Ленинграде меньше миллиона жителей. В эту эвакуацию предполагается вывезти еще больше 300 000: женщины с детьми, инвалиды, профессиональные дистрофики. Эвакуация проходит с блестящей организованностью, отъезжающих прекрасно кормят за счет государства до места назначения. В городе пустынно, тихо, воздух чист и нежен, и улицы Рождественские[600], например, порастают густо травой (это уже не из доклада тов. Попкова, это просто я!).

Уезжают почти все заводы — вплоть до паршивеньких мелочишек, недавно ставших госзаводами из артельных мастерских.

Спрашивается: что будет с городом?

Тов. Попков говорил, что город сдать ни в коем случае нельзя, что на город, возможно, обрушатся новые штурмы и новые бомбы, что этого надо ждать, но что зима уже не предстоит такая страшная, как та, что, кажется, кончилась только вчера: дрова будут, и продукты будут. В городе остаются здоровые и работоспособные. Нужно срочно увезти детей, больных и стариков («нам некогда хоронить и некогда лечить» — я не знаю, сказал ли эти слова тов. Попков, но я бы на его месте сказала: это слова эффектные, сильные, яркие, слова трибуна, их мог сказать Дантон).

Еще раз: что же будет с моим городом?

И еще (хотя это никого не интересует — даже меня!): что будет со мною? где буду я — и как?

Могу остаться здесь. Могу ехать. Мне — все равно.

Все время перебираю вещи мамы, ее записи, белье, платья, рабочие корзиночки. Из ее старого-старого платья сделала себе передник и сделаю еще другой. Ее запах. Ее руки, ее кожа.

Мама.

Нашла необыкновенное: крохотную крестильную рубашечку, в ней крестили маму. Я подошла к самым истокам.

Часто перебираю и ее фотографии — детские, семейные, юношеские. Я очень похожа на одну, где маме 13—14 лет. Потом сходство исчезает. Нашла фотографии друзей ее и тети — друзей бабушкиного дома — и вдруг сообразила: я не всех помню, а больше нет никого на свете, кто бы мне назвал нужное имя.

С каждым днем без мамы мне труднее и мучительнее.

Все последние годы я очень редко целовала ее, редко прикасалась к ней. Все эти годы я ведь была неласковая... Впрочем, так, вероятно, было нужно.

Когда мама скончалась, я не заплакала. Во время недолгой агонии мы ей не мешали — мы с братом знали: задерживать уходящих нельзя. И все-таки думалось: а может быть, еще и не конец? Может быть, все пройдет и мама вернется к здоровью?

Мама бредила, много говорила — все по-русски, немного по-французски. По-польски сказала только несколько слов, восклицательный обиходный призыв Божьей помощи. Странно, что мама не молилась, не обращалась к Богу, как это, говорят, обычно бывает. Вначале она на кого-то сердилась («подлые люди! подлые, подлые...»), потом стала говорить, что ей «хорошо, ах, как хорошо!», потом нетерпеливо сказала кому-то «сейчас, сейчас поедем, я сейчас...», потом вспомнила почему-то кислые щи и долго повторяла: «вкусно... ах, как вкусно!». Затем говор стал нечленораздельным, начал затихать, начались хрипы. Мы с братом лежали молча. Каждый слушал, думал и молчал. Хрипы были трудные, а потом вдруг прекратились, и дыхание стало почти ровным. Казалось, мама засыпает или уже заснула. Горела лампочка. Мы молчали.

В половине третьего ночи вдруг раздался страшный хрип, полный клекота, задыхания, икоты, длился секунды — и все умолкло.

Мы с братом сорвались и подошли к маме. Она была неподвижна, лежала на спине с закрытыми глазами. Дыхания не было.

— Что это? — шепотом спросил Эдик.

— Конец, — сказала я.

— Не может быть! — сказал Эдик, взял зеркало, приложил к губам мамы, я поднесла поближе лампочку.

Брат долго смотрел на сверкающую зеркальную поверхность.

— Пусто, — сказал он, отложил зеркало и обнял меня.

Так мы постояли, обнявшись, некоторое время. Я не плакала.

Мы подняли портьеры и потушили лампочку. Был рассвет.

Было утро 9 мая 1942 года.

Заплакала я дважды несколько позже: в тот же день, днем зашивая тело мамы в самодельный саван (лежала она на полу в комнате Эдика, я гладила легко ее волосы, отрезала несколько прядей, на лицо, закрытое платком не посмотрела — мне не нужно было запоминать последним мертвое лицо, я хотела сберечь последним живое лицо, глаза, голос, улыбку — и сберегла). Я сшивала на ней чехол с ее дивана и плакала. Так я шила ей собственноручно первое платье.

И в тот же день заплакала я еще раз — около 5 дня, — когда маму уже увезли неизвестные люди неизвестно куда, когда Дом уже опустел, перестал быть ДОМОМ, став квартирой.

Я разогревала обед, Эдик сказал что-то некстати, я вспылила и, замолчав, отошла к окну, стала на колени на старое зеленое кресло и заплакала. Я почувствовала себя девочкой, ребенком: меня обидели, а заступиться и защитить меня некому, некому. Плакала я долго, беззвучно и горько. Подошел брат, обнял, попросил прощения, я его поцеловала. Обедали. Я глотала слезы и гороховый суп. С тех пор гороховый суп имеет для меня привкус слез.

Первый обед без мамы.

Первый день без мамы.

Могилы у мамы нет. Получилось так, как она хотела.

— Не хороните меня! — говорила она всегда, веселая, бодрая, сверкая глазами и улыбкой. — Терпеть не могу похорон! Увезите меня куда-нибудь на салазках и бросьте под сосну, не хочу ни могил, ни кладбищ!

Могилы у мамы нет.

На ее столике стоят ее фотографии, портреты бабушки, лежат ее любимые книги: Блок, Апухтин, Прентис Малфорд. Так я устроила свой алтарь, свою церковь. И над фотографиями мамы, над изголовьем ее опустевшей постели поставила единственную зелень, бывшую у меня тогда в доме: ветки сосны из Лесного.

Эти ветки стоят до сегодняшнего дня.

1 августа, суббота, 15.10

Скоро, по-видимому, я останусь совсем одна.

29 июля привезла из больницы брата. Поправился наполовину, выписан досрочно, бледен больничной бледностью, слаб, лиричен и раздражителен, как всегда. На днях — если все будет благополучно — уедет в Башкирию, в глухую деревню.

Его надо спасти. Здесь он не выдержит.

Здесь может быть голод. Может быть смерть.

Я остаюсь хранителем опустевшего храма.

Я не боюсь ни голода, ни смерти, ни одиночества.

Я остаюсь совсем, совсем одна.

Мне очень больно, но иначе я не могу и не смею: брата спасти нужно, моего единственного последнего родственника, мою кровь, мою надежду, мое будущее...

Ничего, ничего... как-нибудь...

13 августа, четверг, 16 час.

Началась еще одна новая фаза моей жизни — фаза безусловного одиночества. Я одна. Заботиться мне больше не о ком. Рядом со мною больше нет никого, о ком я должна была бы думать и кто думал бы обо мне.

Вчера в 7.45 вечера брат уехал по эвакуации в Башкирию, в деревню Урманаево, близ Туймазы. Был теплый вечер с легкими сплошными облаками, похожими на небесный туман: за этим туманом стояло прекрасное розоватое солнце, на Николаевском вокзале, странно пустом и свободном от обычного — и такого знакомого, такого привычного! — вокзального грохота и сутолоки, стоял один состав, нагруженный больше вещами, чем людьми. В вагоне № 20 на дачных скамейках расположились тюки моего брата и его спутниц: милой старой француженки с внучкой, моей соседки и хозяйки, которая и увозит Эдика в Башкирию, к своей племяннице, эвакуировавшейся из города еще в прошлом году. В этом вагоне я и нахожу брата и мадам Жанн, придя на вокзал за час до отхода поезда. Нервы Эдика напряжены до крайности: он все время улыбается деланой улыбкой, у него лихорадочно блестят огромные глаза, такие красивые, детские, растерянные и чуть безумные. Он впервые уезжает из дому в неизвестное на неизвестный срок. Он вылетает в мир, в большой и страшный мир, он выходит из кольца блокады на Большую землю, где будет совсем — абсолютно — один. В кольце блокады, в осажденном и голодном городе со страшными перспективами повторения прошлогодней зимы, остаюсь я — тоже одна, совсем и абсолютно одна.

Если говорить отвлеченно, то в мой **Дом** попала фугасная бомба. **Дом** уничтожен. **Дома** больше нет.

За столом пью чай и обедаю одна. Все, что осталось от **Дома**, от Семьи. Умерла мама. Уехал брат. И накануне отъезда, после полуночи, умерла даже моя персидка Мустафа, с которой все-таки можно было поговорить вслух, позвать и быть уверенной, что в пустой квартире кроме тебя есть еще какое-то живое бессловесное существо с хризолитовыми глазами.

Все проходит. Дом тоже прошел.

И когда, когда придет то время, время возвращения брата ко мне, к дому воспоминаний, к очагу прошлого?

И придет ли вообще?

Страшны такие расставания: на неопределенность времени и пространства. Провожая людей в ссылку, на каторгу, все-таки знаешь: такой-то срок, а здесь нет срока, нет определителя времени. Если мир — увидимся, видно, скоро, но не раньше будущей весны. Если война — увидимся не скоро.

А кроме того, неизвестно, что будет с моим городом. Может быть, и его ждет судьба Севастополя, Харькова, Ростова и сотен и тысяч русских городов? Ведь Германия продолжает стоять у порога города. А на юге германские войска уже вступили на Кавказ и идут, идут — бешеным, непонятным, великолепным и жутким маршем — на Майкоп, на нефть, на кровь русской армии и Советской страны. От России Кавказ уже отрезан: если оттуда и бегут, то бегут только Каспием в Среднюю Азию или сушей по его литорали[601], к Волге. От Сталинграда германцы тоже не так далеко: в сводках Совинформбюро[602] возникают все новые и новые направления и города — всегда неожиданные и от неожиданности пугающие. Во всяком случае, никогда еще за все историческое прошлое России враг не был так глубоко и так далеко. И за все историческое прошлое мира еще не было таких масштабов завоеванной империи, какими сейчас оперирует Германия: от Нордкапа до Ливии, от Бискайского залива до Кавказских гор, до Волги, до Ленинграда, до Руссы, до Брянска, до Воронежа.

Необыкновенное время выпало на мою долю.

И в этой необыкновенности всемирного смерча разлетелся и погиб мой **дом** — храм, убежище, пристань, единственное свое.

На страже развалин осталась я. Сохраню. Сберегу. Если не откажет в этом судьба... Хотя бы для того, чтобы через какие-то годы мой брат, последний представитель рода, густо поседевший уже теперь, больной и замученный теперь, мог бы, вернувшись, увидеть вещи, знакомые с детства, вещи, которых касались руки мамы, на которые сотни раз смотрели ее глаза, и, сев за

обеденный стол вместе со мною, выпить чай из старой чашки маминого фарфора с тяжеловесной красотой серебряной ложечки ручной чеканки. Чтобы, вернувшись, мой брат почувствовал, что пройденное время, отсчитанное где-то в башкирских степях и тяжестью башенного маятника бившее меня по сердцу в дни ленинградского одиночества, что это время, безусловно прошедшее, вдруг превратится в длящееся настоящее, так как вещи, свидетели детства, жизни и отъезда в 1942 году, будут теми же и в году его возвращения и возрождения Дома.

В такую мистическую лирику я позволяю себе впадать только на этих страницах. В жизни — и днем и ночью — и на людях, и при встрече с собственным отражением в зеркале — я закована в броню, на мне холодный и жесткий панцирь: от прикосновения ко мне людям может сделаться больно. Зато мне больно от людских прикосновений больше не бывает.

Во мне ясность, покой, бесстрашие и молчание.

Когда поезд отходил, я, идя вместе с вагонным окном, не отрываясь смотрела на трагическое лицо брата.

«Запомнить! Запомнить!» — думала я, провожая так в мир мою кровь, самое близкое.

— Bénissez![603] Bénissez! — кричал настойчиво Эдик, и я подняла руку в перчатке и в воздухе начертила крест.

Это — дань векам, традиция всех моих дедов и прадедов, жест всех моих бабушек и прабабушек.

Повторился он, этот жест католического креста, прощающего и благословляющего, на эвакуационном дебаркадере пустого вокзала в осажденном городе в день 12 августа 1942 года, в советской безбожной стране, в двух шагах от прелестной церкви Знамения, взорванной властями за месяц до начала войны, в двух шагах от газеты, в которой корреспондент возмущается преступлениями германцев, взорвавших старинную церковь в Истре.

Необыкновенное время выпало на мою долю.

Тот же день, 22.30

«Все одинокие люди ведут дневник...» Весь день дома, в пижаме, за уборкой, за физической работой. Утомляя мускулы, забываешь, что у тебя есть душа. Экспериментально подтверждается, что рабочему человеку свойственно именно материалистическое, а не какое-нибудь другое миросозерцание.

В промежутках варю кашу из остатков риса и пшенки, добавляю в нее мясные консервы, бесконечно пью чай и читаю пустую белиберду Бенуа

«Дорога гигантов»[604] (читаю потому, что это — последняя книга, прочитанная братом в моем городе и оставленная им на столе. Вот вам и материализм усталых мускулов!). Очень долго привожу в относительный порядок свою комнату, в которой не живу с января. Пыль, пыль, мусор, скопившиеся по углам за всю зиму. Перетаскала и перепрятала по разным местам гору книг, долгие месяцы лежавших на полу после сожжения полок. Перетерла подоконники, растерянно глядя на выбитое в оконной раме стекло: осенью над домом пролетела фугасная и волной полета сломала стекло. Кто исправит? Кто вставит новое? Откуда к зиме взять стекольщика и трубочиста? Откуда достать дрова? В какой комнате зимовать, какую буржуйку приладить? Боже мой, как страшно думать о зиме...

К вечеру приходит девочка Валерка с подругой Алей. Помогают мне втащить в комнату диван, переставить столы. Облик комнаты сразу меняется, она делается живой, почти, почти уютной. Потом Валерка выносит мусор. Потом угощаю девочек патефоном — Вертинский, Лещенко, английские и немецкие пластинки. В доме у меня теперь склад чужих вещей (что значит репутация честности плюс репутация материальной обеспеченности!). В доме у меня четыре патефона, какие-то сундуки, узлы, меха, серебро, золото, мясорубки, мебель, тазы, книги, испанские веера и коверкотовые пальто. Все это нанесено и свалено. А разобрать все и разместить так, чтобы занимало как можно меньше места, чтобы меньше всего уродовало и без того изуродованное помещение, нужно мне.

Видимо, день был очень теплый. Сейчас у меня открыты все окна, и я сижу в одной рубашке. Первый раз за все лето мне тепло. А лето было скверное, дождливое и холодное. Да — лето было. Можно сказать, что уже было.

Телеграмма из-под Москвы от моей красивой ученицы: «Здорова... отдыхаю... адрес... скучаю...» Здорова: значит, благополучно миновали Ладогу. Отдыхаю: значит, от Ленинграда, от голода, от обстрелов. Скучаю: значит, скучно жить ленинградскому человеку на подмосковной станции, без своей кровати, без своих вещей, привычных и красивых, без угла. Рада, что получила от нее известие. Все-таки жив человек, будем переписываться, может быть, и встретимся еще... когда-нибудь, когда-нибудь...

Ксения никуда не уезжает: в последний момент, когда все вещи уже были упакованы, когда на руках была командировка всесоюзного наркомата о назначении ее в Барнаул, начальник ее неожиданно отказался дать ей расчет и перевести в другой наркомат. Она ему здесь была нужна для ликвидации всего дела. Он нарушил свое обещание и не сдержал слова и чувствует себя хорошо и просто. Ксения возмущается, с ней был и припадок. Стала

зловещей антисемиткой. Начальство ее, как и вся ответственная публика в учреждении, конечно, еврейское: на то и учреждение именуется Главснаб!

Мельком видела Кису — выглядит прекрасно, потолстела, шьет костюм на Невском, 12, купила у меня сумку за 2 кило пшенки, меняет мне на табак духи, изредка привозит хлеб, который продают госпитальные работники (цена в городе на хлеб такая: не выше 400 и не ниже 250 — колебание носит характер географический!). Цены вообще снизились: масло — 1600, сах[арный] песок — 700, белая мука 1-го сорта — 550, рис — 700, пшенка — 550—500, гречневая — 650.

Деньги зато очень дороги, и денег катастрофически нет.

Зарабатываю — очень мало — тем, что пишу на машинке. Продаю вещи. Эдику могла дать только 1400. Зато снабдила его драгоценным обменным материалом: обувь, мануфактура, белье, платья, шерсть, шелка, дамские мелочи, недорогая bijouterie, мыло, нитки, иголки — все то, чего нет в России. Дала бы и еще, да боялась, что тюк не пропустят по весу (провоз на человека ограничен 50 кг, а у брата было 4 огромных тюка — и претяжелых! Да у мадам Жанн с Галей 11 тюков ужасающего веса... впрочем, за взятку на вокзале посадка была произведена даже без обязательного визита к весовщику!).

С эвакуацией брата была масса хлопот, недоразумений, задержек, мучений, бестолковщины. Ему удивительно не везет — всякое начинание с ним тяжкими чревато неожиданностями всегда неприятного свойства. Карма.

В день отъезда им выдали по **полтора кило** хлеба на человека. Наблюдала неистовство животной радости по этому поводу у спутниц брата, сильно изголодавшихся на карточках «И»[605]. Эдик принял эти полтора кило тоже радостно, но гораздо спокойнее: все-таки он провел 50 дней в госпитале на неплохом пищевом режиме, а вернувшись домой, застал полную чашу: я его кормила три раза в день, у меня были хорошие продукты, порции получались основательные, и все было вкусно, и всего было много: и масло, и сахар, и корейка, и рис, и пшено, и зелень.

Теперь же моим запасам пришел конец — и деньгам и продуктам.

Так хочется пить, что, пожалуй, снова поставлю согреть воду для чая, хотя уже и начало 12-го и жечь керосин — безумие!

15 августа, суббота, 23.40

Опять роскошествую: жгу остатки керосина, пью пустой чай, вслух — сама себе! — читаю стихи. Тоска, тоска... от этого и стихи, и керосин.

Только что ушла Ксения: ужинали с нею, пили водку, полученную мною сегодня по купону № 4, жарили хлеб на подсолнечном масле, безумствовали, словом! Она, оставшись в Ленинграде, боится того, что осталась. А я, кажется, больше ничего не боюсь. Да и чего мне бояться? Боятся те, кому нужно сберечь себя для кого-то. А я сберегаю себя только для себя и для истории: мемуары-то напишу, товарищи, обязательно напишу — и без мармеладной начинки!

Кому я нужна? Брату. Кто обо мне сейчас думает? Брат. А может, потом и ему не буду нужной.

Где плечо, на которое я могу опереться? Где рука, всегда протянутая мне навстречу с любовью и преданностью?

Нет такого плеча. Нет такой руки.

И в этом — большой смысл. И это (должно быть) очень хорошо. Во мне тоска, но я не страдаю.

Жаль только, что денег нет, что в комиссионном вещи не проданы и нужно брать их обратно, что отсутствие денег скоро отразится — и уже отражается — на моем скромном столе. Впрочем, это неважно.

20 августа, четверг, 21.45

Устала. Теплый день. Много беготни: делаю какие-то деньги, чтобы жить. Таскаю тяжести — книги. Продаю книги: чтобы жить. Продаю открытки: чтобы жить. Настроение ровное, хорошее, юмористически спокойное. Спокойствие во мне удивительное — почти ненормальное, почти нежизненное.

Ощущение нереальности реального продолжается.

Иногда — взлеты грызущей тоски, которую прогоняю беспощадным бичом. О маме, конечно. Всегда о маме — в любой связи с чем бы то ни было, прямо или косвенно. Ее незримое присутствие непрестанно, и мысли о ней непрестанны, часто неоформленного глубинного свойства, не дошедшие до мозгового отражения.

Мне больше некому читать вслух, не для кого подбирать литературные очарования. Не надо больше репетировать акцентировку и модуляцию, экспрессию и паузы. Нет больше ее взыскательного и строгого слуха, музыкально совершенного и чуткого к каждой ноте и ее стилю. Нет больше и всегда прямых суждений, не знающих ни компромиссов, ни экивоков. Нет ее смеха. Нет ее голоса. Нет ее.

Мамы нет в жизни.

Но для меня мамы нет и в смерти.

Она где-то рядом со мною, в какой-то неведомой мне промежуточной стадии, очень близко — вероятно, во мне.

Мама.

От брата известий пока нет. Скоро и не жду. Надеюсь, что все у него проходит благополучно. В исполнение его блистательных надежд на мирное житие и старосветское питание, конечно, не верю. Хоть бы картошки было вдоволь — и то хорошо...

Люди, люди, дела, хождения по городу. Стараюсь как можно чаще приходить домой к 11 часам вечера. Встречает черная пустая квартира. Спать. Сны чудесные, детские, радостные, счастливые, веселые сны, очень яркие: мама, Эдик, тетя, милые люди, всегда хорошо, всегда полетно и, главное, весело, весело...

Сентябрь, 21-е, понед[ельник]. 17.30

Холодно. Утром +4. Из разбитого окна в моей комнате веет предзимьем. На улицах солнечно, пустынно, тихо. Вся война на юге: на окраинах города Сталинграда и на подступах к Моздоку. У нас тишина и ожидание бурь. На рынках бешеные цены: кило картофеля — 250, капусты — 90. Сегодня впервые купила картошку: 4 маленькие штучки 41 р. Заказала у спекулянтов: мука белая — 625, пшено — 600, рис — 700. На масло — 1800 и на сахар (песок) — 1300 — финансов нет. С деньгами вообще катастрофа. Живу какими-то необычайными комбинациями случайных продаж и обменов. За открытки получила, например, 400 гр. табаку. Радуюсь, ибо это бесплатное приложение, так сказать!

От брата 13 сентября телеграмма с какой-то станции в Башкирии: еще не доехал, уже просит денег. Послала. Путешествие их кошмарно: в Башкирию не пускали, завезли в Омск, там жили несколько дней на вокзале, валялись в ногах у начальства («Пустите, милостивцы, в Башкирию!»). Наконец получили разрешение на Челябинск—Уфу и снова застряли в Челябинске. Соседка пишет, что часто проклинает тот день, когда выехала из Ленинграда. От брата — первое письмо от 5.9 из Челябинска. Измучен, видимо, до последнего, но пытается держать тон. Разочарованно и меланхолически удивляется: «К нам, ленинградцам, такое отношение... мы же ленинградцы, мы же особенные, забота о людях, кроме того, Сталин говорит о заботе о людях... где же это?!»

Бедный, наивный Эдик! Кому какое дело в России до ленинградцев, голодных, обездоленных, бегущих в просторы российские от зимы, от гряду-

щего ужаса. Где это сказано, что к ленинградцам должно быть особое отношение! Фимиамы нам поют только в газетах. Но на деле бедных родственников никто не любит: кому нужны бедные родственники! какая польза от этих «героев поневоле», расползающихся по всей стране, рассказывающих, вспоминающих и ищущих сочувствия, помощи и удивления! По-моему, вскоре их и слушать никто не станет: неинтересно, и у каждого свое. А бедные родственники все вспоминают, все вспоминают: о былом величии, о геройских днях, о патетических ночах. И продолжают удивляться, что им не дают орденов, что их не качают и что перед ними не открываются волшебно все пути.

Бедные «бедные родственники!» Глупые.

Зима на пороге. Дров у меня ни полена. Валерка привозит щепу от своей расколотой мебели: этим и живу и на этом готовлю пищу. Обычно ем один раз в день, но плотно. Это, конечно, нехорошо. Иначе — не могу. Нечем и нечего. Начинаю жестоко страдать от холода.

Отдыхаю, растворяюсь в физическом благополучии у Тотвенов: чисто, организованно, почти, почти как раньше. Ночуя у них, по утрам завтракаю и пью чай, чего дома ради дровяной экономии не делаю. Уборная действует. Блохи не кусают. Кастрюли ослепительны. В комнатах очень тепло. В передней высится громадный запас бревен.

У меня же недели две как вообще не действует водопровод, уборная воняет, блох развелось количество жуткое, стирать некому, громоздятся штопка и грязное белье, накапливается пыль и мусор, на кастрюлях, черных как самое черное, фантастические наросты.

Когда я свободна, я слушаю музыку или читаю.

Хозяйство, выходит, само по себе, а я сама по себе!

Одиночество мое нарушается вечно торчащими у меня и ночующими людьми: Валерка, Гнедич, Эмилия. Я уже начинаю тосковать об одиночестве. Я хочу быть одна.

Холодно. Темнеет рано: в 7 час. уже нельзя читать. Вечерами горит коптилка. Со двора ночью кричат:

— Второй этаж, гасите свет!

Дежурства жильцов. Ожидания воздушных налетов. Светомаскировка. Выбывшие из строя бомбоубежища. Спасаться, собственно говоря, будет негде.

Настроение ровное и жесткое. Веселюсь, зубоскалю, не расстаюсь с юмором. Ношу броню — спасаю себя.

Недавно одна старая дама — редкий экземпляр бабской глупости! — удивилась моему настроению и заключила:

— Вероятно, она мало любила свою мать.

В морду не хотите, старая дама? Впрочем, разве вы понимаете хоть что-нибудь, хоть капельку!!

23.9 среда, 21 ч.

Одиночество. Тишина. Коптилка. Съедено несколько ложек свекольного винегрета с селедкой и выпито бессчетное количество чашек чаю. Промочены ноги. Знобит. Много книг. Настроение хорошее.

(Собственно говоря, может, ни настроения, ни меня и нет? В фантоматическом городе живет некий веселый фантом, откликающийся на мое имя. Но является ли этот фантом действительно мною? Я ли это на самом деле? Ах, до сих пор реальнейшие реальности воспринимаются мною как нереальное — и обратно. В этом, видимо, моя сила.)

Докурена самокрутка. Налита еще одна чашка чаю. Очень хочется сладкого, но сладкого нет. Очередные выдачи — по 300 гр. — отвратительнейших конфет разделяю на три раза, три дня подряд покупая в бывшем нарядном гастрономе по 100 гр. Иначе говоря, взяв все сразу, механически все сразу и уничтожу в течение одного часа. Не умею сберегать две вещи: сладости и сливочное масло. С остальными действую расчетливо и умно. Надоело, однако. Очень.

Всем в городе тоже все надоело. Люди безразличны, злы, и глаза их в безумном ужасе безысходности смотрят навстречу грядущей зиме. Боятся только зимы, мороза, бездровья, голода, озверения, трупов, смерти.

По улицам еще бродят дистрофики — те, что не поправились за лето, те, что не выздоровели в июле, что умрут — обязательно! — еще в этом году. Смотришь на таких людей, бывших человеков, темнолицых, обезьяноподобных, еле передвигающих ноги, опирающихся на палку, чудом выживших и, пройдя через это бесполезное чудо, все-таки идущих к смерти. Смотришь и думаешь, думаешь... Год осады Ленинграда. Очень блестяще и очень героично. А сколько смертей гражданского населения стоил этот год? Кто и кому позволил подписать приговор казни голодом миллионам запертых людей, лишенных возможности бегства и апелляции? Город стоит. Город выжил — прекрасный трагический люциферианский город, еще раз поглотивший и уничтоживший сотни и сотни тысяч жизней. Петр возводил город на костях. Теперь прибавились новые кости — и в несоизмеримо большем количестве!

Но Петр город построил. Человеческие смерти были созидательными: скелеты подняли над болотами к жемчужному небу совершенство бредовой красоты и математического расчета. А что поднимают к жемчужному небу **наши** скелеты — эти вот миллионы осадных смертей? Может быть, это жертва Утренней Звезде: частокол из людских костей, делающий город невидимкой, призраком, печальным сном? И кто — Петр?[606]

На улицах пустынно. На рынках толпы: покупают, продают, остервенело ненавидя друг друга. Продают открытки, кастрюли, фитили, банки, шубы, кусочки сахара, папиросы, карточные выдачи, искусственные цветы, датский фарфор. Валютным эталоном является хлеб: 350 р. кило. Колебания цен на вещи неуловимы и произвольны:

Мужские шелковые носки, новые — 250 гр. = 105 р.

Дамские штопаные и ношеные чулки самого низкого качества — 400 гр. = 140 р.

Мужское драповое пальто — от 70 р. до 400 р.

Живой котенок — 4 **кило** хлеба!

Дамское зимнее пальто — от 80 р. и выше.

Продукты же у спекулянтов идут по таким ценам:

Рис — 700 р.

Гречневая — 650

Пшено — 550—600

Масло —1700

Сахар — 1700

Песок — 1300

Варенье — 950 р. кг

Шоколад — 2200

Какао — 2200

Изюм — 650

Консервы мясные за 1 кор. 338 гр. — 325

Горох — 500 р. кг

Сгущенное молоко — 450

Масло подсолн[ечное] — 950 р. литр

Мука белая — 650

Спички — 30—40 р. коробок

Конфеты — 900—1200

Но спекулянтов мало, продукты через них достаются с трудом, продуктов нет и у них. Я, например, жду пшена уже две недели. Столько же ждут Тотвены заказанный рис.

Ленинградцам были пышно обещаны овощи. В государственных магазинах, однако, овощей нет. На рынке же огородники всех мастей — честные советские люди, героические ленинградцы! — дерут сто шкур с таких же честных советских людей, героических ленинградцев. В государственных магазинах — в начале лета — изредка продавали лебеду по 1.50 р. за кг. На рынке она стоила 5—6 р. кило.

В городе денег нет. Покупательная способность упала на нижайший уровень. В учреждениях регулярно задерживают зарплату. Говорят, что это очень мудро и что так надо. Возможно. В финансовой политике государств и частных лиц я ничего не понимаю и никогда не понимала.

Смертей мало: район в день регистрирует 5—6 случаев. Зато прекратилась регистрация рождений. В Красногвардейском районе за сентябрь не было зарегистрировано ни одного. В августе было несколько. Думаю, что немного будет в будущем людей, год и место рождения которых в паспортах и анкетах будут писать так: 1942 — декабрь — Ленинград. Да и будут ли такие немногие, неизвестно! Кривая рождений должна в ближайшие месяцы упасть до 0.

Браки зато участились — веселые, глупые и молодые.

В общем, Ленинград, вопреки петербургскому обычаю и стилю, в половом отношении стал вдруг необычайно нравственным. На физическую работу любви люди не способны. Такая затрата калорийной энергии со счетов скинута: ее просто нет. Это, говоря вообще, конечно, как основное правило, подтверждаемое исключениями: любовная игра процветает в «сытых» учреждениях (госпитали, военные этаблисманы[607], магазины, столовые и всякого рода «высокие ведомства») и среди сытых людей.

(Умиравшая от голода и дистрофии Татьяна Гнедич устроилась блестяще в каком-то Энском штабе[608], носит форму, получает прекрасный сухой паек, получает прекрасное питание три раза в день, отъелась, разгладилась и **уже** (на второй месяц!) завивается, пудрится, по-старому любуется ежеминутно в зеркале своим лицом (ужасно, когда это делает некрасивая и неинтересная женщина), и **уже** (на второй месяц сытой жизни!) находится в стадии физической влюбленности и разглагольствует об эмоциях предстоящей физической близости с недавно мобилизованным мальчишкой. Ослепленная собственной переоценкой своей женственности, она не понимает, что

этот ее уклончик — эмоциональный — сильно снижает ее незаурядный и интересный человеческий облик.)

Скоро 23 часа. Только что был телефонный звонок. Милая беседа с милой седой дамой, общение с которой я очень ценю и личность которой мне ценна, а для меня такое чувство — редкость. Я ведь, по существу, теперь никого не люблю, и у меня нет никаких привязанностей. С каждым днем становишься все жестче, все холоднее, все циничнее. И с каждым днем как-то по-особому начинаешь все больше и больше любить свое одиночество, внутреннюю замкнутость и внутреннюю отчужденность. С людьми же — чудеснейшие отношения, полные юмора, симпатии, сочувствия, готовности протянуть руку. Одна из привычных масок, с которой мне — удобно.

Повесив трубку, зашла в темную и холодную кухню и удивилась светлому окну. Подошла. Светлая ночь. Видимо, луна. Недавно над дивным контуром Казанского собора, в графическом сумраке неосвещенного осеннего города, стояла такая замечательная желтая луна, что даже с трамвайным кондуктором захотелось говорить стихами!

Пейзажи города в ранних сумерках теперь так великолепны, что я не могу ими досыта налюбоваться. Никогда так не ощущалась — а в будущем никогда ощущаться не будет — конструктивная, контурная прелесть петербургской архитектуры. Город воспринимается как совершенная графика.

Вчера в кино смотрела хронику: приезд Черчилля и Гарримана в Москву[609]. Родовитый Черчилль весьма любопытен: добродушное ласковое лицо милого английского дедушки из шкиперов, полное юмора и рождественского благодушия. Но глаза остры и настороженны, в складке губ, тонких и капризных, большая воля, презрение к человеку, большое умение молчать и много при этом говорить. Гарриман молод, интересен. Связан и не в своей тарелке, словно что-то болит. Черчилль хорошо играет роль респектабельного друга, богатого дяди. Гарриман — оттого, что будто что-то болит, — даже не играет: он настроен полувраждебно, полунедоверчиво. Он — не союзник. Он — раздраженный инспектор, неуверенный в необходимости требуемой сделки делец, который завтра может превратиться в прокурора. Сталин постарел, много улыбается (восточная улыбка!). Любопытно, что все трое не смотрят друг другу в глаза.

27 сентября, воскр[есенье]. 17 ч.

Дома все время. Внутренне наслаждаюсь одиночеством. Внешне все часы заняты нуднейшим: уборкой. Выметала пыль, мусор, мыла горшки, чистила ковры, вытирала. Потом завтракала: пшенная каша с остатками мясных

консервов и суррогатное кофе, в которое впервые прибавила сен-сен (порошок для полоскания рта с сахарином и ванилью, пропавший в продаже еще в прошлом году и существующий ныне только в сугубо закрытых военторгах!). Ночевали: Гнедич (сен-сен!) и Валерка (дрова!). При коптилке сделала им капустный салат на уксусном пару и переуксусила. Было все-таки вкусно. Гнедич декламировала свои прекрасные стихи[610]. Валерка слушала, растворялась в блаженстве, но, видимо, ничего не понимала.

Пятницу провела сплошь и очень скучно у Тотвенов, где мадам больна (температура 36,8... и постельный режим! Счастливица! Я и при 38° должна быть на ногах: хлеб, жратва — хозяйство, словом!) и где вечером, в кабинете, наивная, глупая старуха Катцер бесконечно и нудно рассказывает мне о своем детстве и о жизни с мужем в Павловске при дворе К.Р.[611]. Она помнит фасоны своих платьев и ушибы маленького сына, но ничего не может сказать такого, что интересует меня.

Вчерашний день сломан. Деньги НКСС[612] не платит. Обедаю у Тотвенов микроскопическими долями докторской диетической порции. В теплый серый вечер возвращаюсь домой и снова любуюсь темнеющим городом.

Никто не ждет. Торопиться некуда. Все равно.

Как-то на днях, спасаясь от дождя, зашла в кино, смотрела старый неестественный фильм «Веселые ребята»[613], в котором советскому кино очень хочется походить на заграничное (и поэтому этот напыщенный и надутый фильм до сих пор пользуется огромным успехом у нашей обывательщины!). В фильме Утесов, позирующий в профиль, поет:

Сердце, тебе не хочется покоя...

Мучительно и нежно вспоминается мама, мурлыкавшая эту песенку все последние годы до войны. Она была такая молодая, ей так хотелось долго и интересно жить, жизнь она считала замечательнейшим и драгоценнейшим даром.

Вот. И умерла. И дом распался.

А Утесов в фильме все продолжает петь песенку о сердце, которому не хочется покоя. И я думаю о молодом и чудесном сердце мамы, о том сердце, в котором жила я и с которым — с единственным — жить мне было хорошо.

В городе прошло резкое сокращение младшего и среднего медперсонала в военных госпиталях. Около 2000 человек вдруг очутились на улице с карточкой «И», которую получали после увольнения и демобилизации иногда

на 3—4 дня. Квартиры у многих затоплены или разрушены. Вещи у многих — одиночек — растащены. Люди эти носили военную форму, жили на казарменном положении и хорошо питались. Теперь они оказались штатскими и пребывают в растерянном отчаянии — от неожиданности острой трансфигурации. Как увязать это многолюдное сокращение с тем, что город строит бойницы и укрепления и готовится к уличным боям? Об этом каждый день говорят газеты и радио. А по доверительным признаниям Гнедич, немцы концентрируют большие силы под Ленинградом для наступления. Впрочем, несколько дней тому назад те же доверительные признания утверждали, что по неизвестным причинам немцы отводят свои войска из-под Ленинграда и количественно оголяют свою линию. В качественном отношении их оборона, кажется, может считаться непревзойденной. Организованный народ, что и говорить...

Октябрь, 3, суб[бота]. 16.15

Дождливый сумрак. Дождь с утра. Вчера легла рано, около 10, и неожиданно для себя проспала до 11 утра. Каждый день просыпаюсь в 7 и засыпаю около 12. Видимо, сна для меня мало, для меня, привыкшей в прежней невозвратной жизни спать долго, вкусно и с уютным комфортом.

Сегодня ночью проснулась от гулкого стука в дверь. Было темно. Встала и, не выходя еще в переднюю, приоткрыла портьеру: на дворе тоже было темно, но тьма была не черная, а серая. Решила, что часов 5 утра, что стучат какие-то официальные лица, и пошла в переднюю.

— Это я, — послышался голос управдомши, еврейки «сладкого» чувственного типа, считающей себя интеллигентной.

— У меня света нет... — сказала я, думая, что ей срочно понадобился телефон, и вспоминая, куда я вечером положила спички.

— У нас есть свет, — ответила она, и я поняла, что она не одна и что с нею какие-то притаившиеся за дверью мужчины, что дело тут не в телефоне.

— Я сейчас надену халат, — сказала я и пошла обратно в столовую, а по пути мельком подумала: «Может, это НКВД? Может, за мною?.. Ну, что ж! Там хоть готовить не надо...»

Безмятежность полного и спокойного равнодушия не покинула меня ни на минуту. Удивительное безразличие царит теперь во мне: мне свободно, легко, чуть-чуть любопытно и абсолютно все равно.

Вошла управдомша и два человека из милиции с пищащими электрическими фонариками. Они молча и тщательно осмотрели все комнаты. Я поняла, что это ночной обход, проверка документов, поиски ночующих без

прописки или без паспорта. Подумала — хорошо, что в эту ночь у меня никто не ночует, налетела бы, пожалуй, на штраф! Потребовали мой паспорт. Предъявила. Один из них спросил, верные ли у меня часы. Потом ушли.

Кажется, сегодня такая проверка была по всему городу.

Дождь. Дождь. Такую погоду я очень любила раньше — когда была прежняя невозвратимая жизнь: долго топилась печка в столовой, долго мы с мамой пили кофе. А потом я сидела в зеленом кресле у окна, курила нескончаемые папиросы, говорила с мамой, чудесно говорила — ни о чем и обо всем, — изредка прерывая беседу чтением какого-либо заранее отмеченного отрывка, стихов, статьи или безотносительным восклицанием:

— Как мне хорошо, мама!

Теперь так не скажешь. Да и вообще, пожалуй, не скажешь больше никогда. Жизнь может повернуть колесо как угодно, даже в сторону каких-то удач и радостей. Все приемлю и все допускаю. Но знаю: так хорошо, как мне было с нею, больше не может быть, потому что только с нею мне было хорошо. Все остальное — дым, случайности, оценки момента.

В тот же день, 21 ч. 50 м.

Коптилка. Прекрасный американский роман «A stone came rolling», a novel by Fielding Burke[614] (прекрасный поначалу — конца ведь никогда не знаешь!). Остывший самовар — тот самый, маленький, с которым дед Михневич путешествовал по России, когда еще не было железных дорог и когда доступ в родную Польшу был для него закрыт. Хлеб съеден уже по завтрашнему талону. Ужинала гниловатой селедкой и тарелкой пшенной каши с мясными консервами. Заходила Эмилия, глупая, бестолковая: она и управхоз — единственные люди, с кем я сегодня разговаривала, кого, разговаривая, видела. Телефоны: Гнедич и критик Хмельницкая. Обе придут ко мне с ночевкой в среду. Будет очень интересный, очень культурный, очень литературный вечер...

Не знаешь, как поставить крохотный огонек коптилки, чтобы легче и виднее было писать. Керосин у меня на катастрофическом исходе, а предложения только на хлеб (1 литр — 300 гр.). Видимо, пойду и на это. В эти долгие и темные вечера идущей зимы керосин становится для меня дороже хлеба.

В городе тихо — в самом городе. Несколько дней подряд жили под непрерывным грохотом канонады. Стреляли наши дальнобойные морские. Люди были мрачно-равнодушные.

— Пусть стреляют! — сказала какая-то женщина. — Может, до чего-нибудь и достреляются!

Упорные слухи двоякого порядка: о том, что блокаду скоро прорвут, что осталось каких-то 4 километра (об этом, между прочим, с перерывами говорят с января!), и о том, что скоро мы заключим мир.

Сепаратный мир. Второй Брест. Кому какое дело? Публика (подчеркиваю: публика) устала. Всем хочется мира. Всех тяготит война. Всем хочется жить. Все равно — как.

Да. Скифы. Скифы мы[615]. О, Блок, инфернальный провидец!

Надо замазать окна. Надо отеплить на зиму всю квартиру. Выбрать комнату для зимовки. Установить времянку. Достать и доставить дрова. Наново приспособить все светомаскировочные средства, легкомысленно содранные весной братом (весной же казалось, что свет, лето и тепло будут бесконечными! Весною всегда так кажется. А лето прошло так быстро и незаметно, холодное, дождливое лето, в котором не было ни одного жаркого дня. Летнее полотняное платье я надевала только два раза).

Все это надо проделать мне, не умеющей всего этого. Поэтому оттягиваю, оттягиваю: авось... как-нибудь...

То, что брат уехал, пожалуй, хорошо: здесь бы он стервенел от злобы и раздражения и мучил бы меня. Ведь никаких перемен нет. Ничто не улучшилось. Хлеба не прибавили. Регулярно и скупо выдаются положенные по норме продукты. Спекулянтские цены безумствуют. Овощной рынок требует сотен.

Телеграмма от брата извещает, что в середине сентября благополучно прибыли в свое башкирское Урманаево. Снова просьба о помощи: «денежно издержались».

А у меня с деньгами очень плохо. Очень. Как-то ничего не продается. Да и не знаешь, что и кому продать. Начну, пожалуй, с хрусталя баккара и с русских и итальянских пластинок. Это, говорят, товар ходкий. На сберкнижке у меня только 211 рублей. Весь остаток от моих тысяч. Ну что ж! как-нибудь...

Совсем спокойно. Совсем не страшно. Совсем все равно.

4 октября, воск[ресенье]. 20.20

Только что вернулась домой. Одинокое кино «Моя любовь»[616]. Очень глупо, но от одиночества можно смотреть с интересом что угодно. Холодный ясный день. Выдача килек и пшена. Хлеб. Тушенка из капусты, которую

пересаливаю так, что потом никак не могу напиться. На минутку Гнедич. На полчаса — Киса: очень растолстела, новый хорошенький костюм с Невского, 12[617], совсем чужая. Чтение. Телефоны. Пустой день. Должны были прийти Полянские и опять не пришли. Жаль — и злобно. У них есть какие-то новости.

Тихо. Одна. Керосиновая лампа — назло природе и жалким остаткам керосина! Все равно. Устала от коптилки.

Очень дурно спала. Думаю лечь раньше. Все.

15 октября, четв[ерг]. 14 ч.

Пишу у Тотвенов, где «живу» второй день: мне хорошо, тепло, ясно и тихо. Я вступаю, приходя к ним, в старинность, в уют прошлого века, где живым и сущим кажется не мама, а тетя, ее друзья, привычки, ее атмосфера. В спальне-столовой сижу одна: пани Нина пошла по делам (налог и хлопоты в горздраве на второй месяц диетического питания для доктора), доктор, ослабевший, наивный и светлый, как ребенок, ушел в аптеку за витаминами (он сердится, когда замечают его слабость и когда **физически** хотят помочь ему). Тикают часы. Радио сообщает, что на фронте существенных перемен не произошло, что бои идут под Сталинградом и Моздоком, где немцы беспрерывно бросают на нас атакующие части. Как будто германское наступление на юге приостановлено. По другим слухам — «шепотным», — дело обстоит наоборот: будто и Воронеж, и Сталинград, и Туапсе нами уже отданы. Положение, конечно, катастрофическое. Как будет идти нефть? Когда откроется Второй фронт? Будут ли союзники действительно помогать России с ее государственной советской системой? Чем вызваны упорно циркулирующие слухи о скором заключении нами сепаратного мира с Германией? Правда ли, что Япония выставила на нашей маньчжурской границе миллионную армию? Правда ли, что Турция концентрирует войска под нашей Арменией и вдоль Ирана? Господи, сколько огромных и пустых вопросов у думающего штатского человека!

На днях — до 3-х ночи — сижу у себя при тусклом огоньке коптилки и беседую с Юрой. С начала войны он, изысканный и себялюбивый blasé[618], ушел на фронт добровольцем. С начала войны вижу его впервые. Тот же — только густо поседел. Пессимистичен, скептичен, безрадостно-равнодушен. В добровольчестве его не энтузиазм патриотизма, не любовь к России и Союзу, не удаль молодого увлечения войной. Юра — циник, кроме всего прочего. Он очень одинок. Участие его в войне — спортивный авантюризм.

Много видел. Много пережил. Умеет наблюдать. Из пережитого делает выводы, чудовищные по спокойствию, скепсису, безнадежности и какой-то изящной и печальной легкости, — таким, возможно, был путь мышления французских аристократов перед верными вероятностями гильотины.

— Что же вам пожелать? — говорю я ему, которого знаю больше 20 лет.

— Удачной смерти, дорогая! — галантно отвечает он, целуя мои руки. — Другого выхода у ленинградского гарнизона нет.

Пьем чай — с фронтовым хлебом, очень вкусным. Ставим пластинки Вертинского и Лещенко. Юра улыбается своему прошлому: «Астория», ковры, шампанское, вышколенные лакеи, интересные женщины, его приятельницы, его любовницы, знаменитые своими громкими похождениями и хорошими фамилиями.

— Было ли все это, Юрик? — спрашиваю я.

— Кажется, было. Но, кажется, никогда больше не будет.

Слушая, он вспоминает, он не со мной, он с другими, с теми, кто уехал, бежал, убит.

Ксения уезжает на днях в Москву и отдает мне своего брата. Приезжая с фронта, Юрий будет жить братом у меня. Я рада этому. Хорошо о ком-нибудь заботиться... Мой дом вообще будет служить зимним пристанищем для бездомных, для осиротевших, для тех, кто видит во мне уют, огонек, твердую руку, спасение от одиночества: Валерка, Гнедич, Юрий, Хмельницкая.

Я кому-то нужна. Мне не нужен никто.

От брата и милой соседки — драматические письма. Прибыли на место, истратились, багаж застрял в дороге, тесно, нехорошо, местные люди полувраждебны и настроены рвачески (вполне естественная реакция обывательщины на приезд бедных родственников!). Выслала два раза деньги. Если багаж их пропадет — в особенности богатейший багаж Эдика, — не знаю, как вывернусь из такого юмористического положения. Отложила для продажи бриллианты, золото. Покупателя пока нет. Эдик — по письмам соседки — продает и меняет направо и налево, бестолково, жадно, втихомолку и глупо. Знаю беспечность брата, его детское легкомыслие, эгоизм, непрактичность и страсть к еде, к тратам, к разбазариванию — знала все это раньше. Слава богу, финансовых скандалов за последние годы у меня было с ним достаточно — я только никогда не писала об этом в дневнике. У меня регулярно два-три раза в год летели тысячи рублей для покрытия его служебных растрат, в которых элемента растраты, как использования государственных средств на свои, личные нужды, никогда не было. Он просто не умеет юридически обращаться с казенными деньгами: он их раздает без расписок, он их доверяет

посторонним людям, а потом удивляется, что выданные ими частные расписки не имеют ценности оправдательного документа, он покупает служебное оборудование без счетов, он радуется удачному приобретению для государства, не зная заранее, проведет ли финансовый отдел такую покупку по акту, и все в таком духе. А потом возникают комиссии, протоколы и угрозы предания суду. Он страдает, мечется, ничего не понимает, его путают и обманывают, он верит и ждет от кого-то какой-то помощи и ни слова не говорит мне. А когда дело принимает грозный оборот, обращается ко мне, лжет, фальшивит, виляет, я его допрашиваю, жестко и по-прокурорски, мама мучается и плачет, дома создается гнетущая атмосфера, мешающая дышать, я молча думаю о будущем (неужели так будет всегда? Неужели мне всю жизнь придется спасать брата, неужели я никогда не увижу в нем помощника и друга?) — и в результате всякое дело с финансовой стороны улаживается, потому что я плачу, плачу, плачу все деньги.

Да. Лирика брата материально мне дорого стоит. Выходит так, что я оплачиваю его право быть бескорыстным и увлеченным своей работой служакой, глупо.

Холодно. По утрам +3° — +5°. Бывает солнце. Бывают дожди. В пустых и закрытых садах божественно сверкает последними красками удивительно богатая и пышная осень. Недавно, проходя в закате по набережной, я долго улыбалась сквозь решетку Летнему саду: все дорожки были засыпаны золотыми листьями, все дорожки были пустынны, сад казался волшебным, от прелести его было хорошо до боли. А над Невой кровавились дымные облака, был ветер, вдоль гранитных парапетов стояли безмолвствующие военные корабли Балтийского флота, которым, собственно, деваться некуда.

Первые радости из моей жизни ушли — наверно и вероятно, навсегда: семья, дом, любовь, дружба.

Остались вторые радости, которыми жить могу и буду: книги и музыка, любование природой и архитектурой города, и стихотворения, наслаждение от работы, собственного интеллекта и экспериментальное поле для наблюдений над человеком и человеческим.

Лишь бы выжить...

Юра вот утверждает, что для того, чтобы выжить, необходимо срочно уехать из Ленинграда.

А я в этом не уверена. Я остаюсь — пока не погнали!

В Башкирии кило меда в деревне стоит 100 р., а в Уфе — 350. На 1 катушку ниток дают 2 кило пшенки (у моих украли все катушки, которых я дала

много, около сотни). Мясо — 150, масло — 350—400. Картошки много, хлеба тоже, овощей и сахара нет.

Октябрь 21, среда, 19.30

Коптилка. Холодно — +8° дома, +2° на улице. Мыла волосы (сложное предприятие с печками, самоварами, термосами!), стирала, день прошел пусто и бессмысленно в делах хозяйства. Сейчас жду Гнедич: она приносит мне овощи, спички, иногда папиросы, ночует у меня, вечерами, когда вдвоем, говорим с нею на большие и высокие темы, читаем по-английски «Святую Иоанну» Шоу[619], философствуем, стихоплетничаем — летаем, словом! Она мне не друг, не приятельница. Я даже не люблю ее, кажется. Но с нею мне бывает очень хорошо: равенство интеллектуальных уровней.

От брата — невеселое: живет уже отдельно от своих спутниц, которым — почему-то — было сложно жить с ним. Деревня Урманаево покинута. Спутницы его обитают в селе Бакалы, где есть аптека, радио и даже кино. Он поступил на службу в лесхоз в 8 км от Бакалы, где ему обеспечена комната с отоплением. Как же он будет питаться, кто же будет думать о нем, безалаберном и непрактичном, как ребенок? Пока встал на учет как ленинградский эмигрант: следовательно, будет хлеб. Пишет, бодрясь, безрадостные вещи: видимо, ему очень тяжело.

«...жизнь меня все еще толкает. С 29.9 я приехал в Бакалы, районный центр, так как в Урманаеве для меня не было возможности получить работу. Жанна Федоровна с Марьей Михайловной и детьми тоже приехала вчера в Бакалы. Я создаю себе базу жизни в лесном хозяйстве. Условия подходящие. Жилье и топливо обеспечены. По-тургеневски буду жить среди природы. Я решил этот вопрос после длительного анализа...

...Вспоминаешь прошлое, точно сон — хороший и тяжелый. Человек оценивает жизнь и понимает глубоко безвозвратность. Моя родная Сонечка, когда ты говоришь о Ленинграде, об его архитектурной непревзойденности, мне становится больно, что город, где столько прожито, далек — и мне одновременно тяжело, что ты там, что мы далеки друг от друга. Но я верю, что мы встретимся...

...Между прочим, я все силы приложил, чтобы Ж.Ф. и Галю довезти до Туймазы, до Урманаева. Я это сделал, сдерживая свои нервы и заставив себя не болеть. Что дальше — трудно говорить, моя работа будет в нескольких километрах от Бакалы. Судьба, если такая существует, безжалостна к слабым и нервным...

...Теперь я обеспечил себя с 29.9 хлебом, согласно эвакуационных норм, и имею обеспеченный день в хлебном отношении. Встал на учет, дабы быть здесь ленинградцем, временным жителем. Все думаю о тебе, о твоем здоровье. Твои письма — радость, свет, родная, единая в веках...

...могу еще добавить, что Мар[ья] Мих[айловна] — человек жесткий, она-то все и старалась разделить меня с Ж.Ф. Не осуждай людей — это мудро, но это может быть ошибкой, и я не знаю, в чем корень эгоистичности Мар[ьи] Мих[айловны]. Тяжело думать, что я в жизни их лишний человек. А иногда кажется по Достоевскому... вернее, вспоминаешь слова тети о том, что среди чужих людей я узнаю всю горечь и обиду. И мама еще за несколько дней до кончины подтверждала эту мысль и жалела меня.

...ничего, все пройдет, и солнце согреет меня, мое усталое больное тело и сердце. И по-чеховски мы с тобой, родная Сонечка, отдохнем — сядем на скамеечку и отдохнем. А так хочется скорее, скорее отдохнуть! Помни меня, твоего осиротелого брата, люби меня и пиши чаще... и, быть может, мы встретимся, этот час я благословляю... я жду слова "мир" для всего мира и всех народов...

...когда я буду среди леса, я напишу более спокойное письмо. Я люблю природу. Мне будет тихо — и в теле, и в нервах. Береги себя, береги силы для нашей радостной жизни в близком будущем. Твой Эдуард».

Письмо от 29 сентября.

Бедный Эдик! Ему всегда и во всем не везет. Над этим письмом я чуть не заплакала, такое оно одинокое, такое бездомное, испуганное и замученное.

У брата нет друзей, и он не умеет их создавать. Он не умеет вызывать к себе даже симпатию и простое человеческое участие. Он угловат, неуклюж, резок, нелюдим. Он вычурен и неестественен с людьми: он с ними не может быть собою и считает, что нужно играть. А актер он никудышный...

Бедный, бедный Эдик!

Тоскует без меня и обо мне! А я уже отвыкла — почти. Я ведь счастливее его: люди меня любят и ищут, я умею ладить с людьми, с ними мне — иногда — бывает хорошо.

23.10, пятница

Солнце. Синее небо. Все время стреляют. В доме Тотвенов, где чувствуется **дом**. У меня в квартире холодно (+8°) и неуютно. Зимовать буду, видно, в синей комнате.

Ноябрь, 11-е, среда, 20 ч. 15 м.

За стеной чьи-то неизвестные руки тренькают на гитаре. Валерка в кухне ставит самовар и колет для меня на завтра щепу. Холодно. Нева стала. Небо целыми днями ясное, голубое, морозное. Каждый день — с вечера 2 ноября — налеты, тревоги, бомбы, пальба зениток. Как и в прошлом году — с той лишь разницей, что от привычки и безразличия к человеку пришло предельное бесстрашие. Может быть, это и есть храбрость героизма, того героизма, которым кичится наш город и о котором так много говорят в газетах и по радио? Если в пассивном стоицизме можно найти что-то героическое — жития некоторых святых, — то, возможно, мы и герои. Я говорю о себе, о себе. Хвастаться мне нечем. Я не солдат и не командир. Я — наблюдатель, настроенный спокойно, юмористически и чуть брезгливо. Я — наблюдатель, которому хочется выжить... неизвестно для чего!

(А может быть, известно, дорогая?

Может быть, для большой ненависти и большой мести, когда ненависть драгоценна, как любовь, а месть сладка и упоительна, как ласка? Да. Для этого жить стоит.)

Болею — некстати и трудно. Видимо, грипп: на праздники могла отлежаться и отсидеться дома, так как бессменным гостем у меня живет Валерка, глупая, преданная, красивая и пустая. Неумело ухаживает за мной, медленно, медленно работает по хозяйству, тихо спит и с восторгом занимается французским языком, забывая, путая и перевирая.

Странны пути человеческие: у истоков моей жизни еще в Москве появилась нянька Михалина, которая потом четверть века прожила в нашем доме первой прислугой. Потом вышла замуж несчастливо за кондитера Рихтера, нечистого на руку алкоголика. Родила троих ребят, похоронила мужа; старший сын, начавший рано беспризорничать и воровать, уже несколько лет сидит в тюрьме; младший, рыжий и черноглазый, как мать, остался у немцев в деревне Столбцы, куда Михалина ездила перед войной, а девочка ее Валерия существует теперь при мне и мною.

Наследственная шишка службы и почитания, доведенная у Валерки до пределов обожания.

Хорошо. Я над девочкой уже давно взяла опеку. Ей 18 лет. Она восторженно и несмело называет меня иногда мамой. Тогда я ясно начинаю понимать, что мне действительно 41 год и что у меня действительно могла бы быть восемнадцатилетняя дочка.

Но дочки у меня нет. И сына нет. Нет черноглазого, гордого и злого мальчика, которого я временами и ненавижу и люблю. Нет — и не будет.

Последнее звено рода будет последним. Впрочем, может быть, Эдик когда-нибудь женится, и я буду счастливой и сумасшедшей теткой. Вряд ли, однако...

Каждая ночь — тревоги, вихри зениток, разрывы фугасных. Лежу в постели и, стараясь не вслушиваться, стараюсь заснуть. Что и удается. А в прошлом году при каждой тревоге мы срывались с места, одевались, хватали какие-то чемоданы и баулы с ценностями и уставшую, издерганную и чудесно улыбающуюся (несмотря ни на что!) маму сводили в наше бомбоубежище, где просиживали иногда все ночи напролет в затхлом смраде плохо проветриваемого и переполненного людьми подвала. Вокруг нас собирались дети, и мы с ними играли в загадки, в слова, в стихи, в песни. Вокруг нас всегда было шумно и весело. Многим это не нравилось. Но зачем же ждать гибели в унынии! Перед неточной вероятностью конца лучше посмеяться. Мы и смеялись — чтобы не думать.

Полгода, как умерла мама. Уже полгода. Еще полгода. Завтра три месяца, как уехал в Башкирию брат. Уже три месяца. Еще три месяца.

Перегородки времени колеблются.

Время, время... теперь уж никак и ничего о нем не скажешь. Кажется только, что настоящее длится всегда, бесконечно, с самого начала и будет длиться так же (словно и родились в осаде, словно никогда ничего другого и не было, словно никогда ничего другого не будет!). Прошедшее похоже на сказку, слышанную в детстве, очень далекую и совершенно фантастическую сказку. А перед будущим закрыты все реальные двери: это же настоящее — осада была, осада есть, осада будет.

Много стоит такой героизм — от усталости, от безразличия, от окаменелости времени!

Живу в комнате брата. Два-три раза в день топлю буржуйку. И тогда тепло. Через час же после топки температура возвращается к норме: +6°, +7°. Сегодня между окном в столовой замерзло розовое сахариновое желе, пахнущее мятой, которое мне принесла на днях Ксения, и моя открытая банка мясных консервов. Снега нет — но холодно, очень.

У меня грипп, температура, боли в боку и спине, мучительно страдаю от холода. Валенок нет. Ношу мамины замшевые туфли, заграничные, удобные и неслышные, которые надеваю на толстые шерстяные носки. Мамины туфли... каждое утро улыбаюсь им, глажу, готова поцеловать.

Мамину смерть как утрату и вечную разлуку я еще не понимаю. Слишком многое от внешней жизни мешает мне понять до конца и закричать от ужаса. Потом, потом, в дни мира, я пойму.

Если доживу.

Американцы высадились во французской Северной Африке — Алжир, Тунис, Марокко. Говорят, это и есть Второй фронт. Жаль, что Африка не в Парголово.

А митрополиты — Сергий Московский и Николай Киевский — пишут Сталину поздравительные послания на ничуть не изменившемся за 25 лет советской власти торжественно-сусальном православном языке и называют Сталина «богоизбранным» и благословляют его и молятся за него. Послания эти напечатаны в «Правде» — и слово «Бог» идет с большой буквы[620].

Я не умиляюсь. Мне просто смешно — и странно. Интересно, может, и Папа Римский разразится какой-нибудь эпистолой...

Ноябрь, 14-е, пятница, 20 ч.

Холодно. Дров нет. Валерочка привезла несколько поленьев со службы и теперь колет их в арктической кухне и ставит самовар. Утром падал сухой снег — была, говорят, чудесная бисерная метель. Болит бок. Плевритные подозрения.

Тревоги и артобстрелы. Бомбы. Безвыходно сижу дома. В часы вечерних тревог ложусь спать и стараюсь, укутавшись, заснуть, чтобы ничего не слышать. Не все ли равно...

От брата — две телеграммы: в одной беспокоится обо мне, в другой благодарит за деньги. Пошел четвертый месяц разлуки. Бывают часы, когда тоскую о нем очень остро, по-матерински загадывая: как ему, что ест, как спит, кто стирает? А потом улыбаюсь невесело: пишет ли? с кем может говорить об истории и политике? кому говорит о красоте заката? кому читает то, что пишет, если все-таки пишет? и с кем вспоминает незабываемое, он, нелюдимый, дикий, неуклюжий и вечно взъерошенный в отношениях с людьми.

Не голодаю. Питаюсь очень неплохо: есть и сахар, и масло, и мясные консервы. Страдаю лишь от холода. Сплю хорошо. Читаю мало (некогда). Много работаю на машинке (для учреждения Ксении — чтобы заработать, деньги очень нужны).

Сегодня были: Киса, в котиках, располневшая, веселая и нарядная. Привезла мне остаток долга за выменянную сумочку: лапшу и рис. И подарок: головку лука. Мадам Тотвен, панически требующая немедленного пересе-

ния к ним для выздоровления: там можно поставить и банки, температура в комнатах до топки +10° (а у меня после топки +8°, +9°). Мадам Сушаль — злая, одинокая, старая и симпатичная мне. Татьяна Гнедич с сенсационными штабными новостями, которым не верю: она так легко и незаметно для себя от подтушевки фантазией переходит в простую, простую ложь! Со всеми говорю. Всем полуулыбаюсь.

В сердце очень холодно и очень пусто.

17 ноября, понед[ельник]. 18.15

Люди обо мне заботятся: Ксения подарила вчера свечу, а сегодня купила для меня коптилку со стеклом. Валерка привозит со службы дрова — по ужасающей снежной оттепели притащила вчера целый мешок! Даже милиция два раза останавливала ее в пути и проверяла содержимое мешка и документы. Гнедич подарила пол-литра керосина, а нынче принесла порционные котлеты с кашей из своей столовой (отдала ей карточные талончики: 100 гр. мяса, 20 гр. крупы, 10 гр. масла). Дрова, возможно, будут завтра. Или в ближайшие дни, во всяком случае.

Говорят, наши войска заняли станцию Александровская — между Пушкином и Гатчиной. Налетов два дня нет — из-за снежной пасмурности и дождя, видимо, — но стреляют все время: вероятно, обстрел. Боже мой, как мы привыкли к осаде, к военным звукам, к пальбе, к грохоту! Внешней реакции — у меня, по крайней мере, — почти нет: только констатируешь — стреляют. И оттого, что стреляют, что война, — нудно, как от зубной боли. Надоело. И все устали. Очень устали.

Пора бы кончать — как-нибудь! Читаю пространные речи Черчилля, речи Рузвельта. По-старому нам сочувствуют и нами восхищаются. Иностранцы удивительно многоречивы и платоничны. У них так много готовых приятных и прекрасных фраз. Лично я очень хорошо знаю эту особенность в них.

Температурю. Очень болит бок. Много работаю на машинке и много отвлекаюсь: люди. Второй день топлю печку служебными дровами Валерки — тепло, жить можно! Питаюсь тоже хорошо, а по сравнению с ноябрем прошлого года, когда зам. повара одной из столовок за хорошие вещи кормила нас по блату отвратительной хряпой, нашим единственным блюдом, даже прекрасно. В прошлом году в это время хлеб был рационирован по 125 гр. в день. Видимо, эта зима — если не случится ничего экстраординарного — будет легче.

Статистика: по одному из районов города за октябрь — смертей — 206, рождений — 9.

23 октября умер мой Николай Михайлович. Мне очень, очень грустно. Дистрофия его и цинга не прошли летом, он не лечился, не хотел лечь в больницу, еле волочил ноги, но ежедневно ездил в Полюстрово за дровами, бегал по городу, продавал что-то на рынках, путешествовал за обменами в Парголово. Очень переменился внешне, походил на скелет, обтянутый коричневой кожей, потерял зубы, мозг был сильно затронут дистрофией. Психические явления гнева, обиды, растерянности, забывчивости были повседневны.

Декабрь, 6-е, воскр[есенье]

В комнате горит одна свеча — настоящая, стеариновая, с милым светлым огнем, — и в комнате празднично: оказывается, свет одной свечи — великолепнейшее княжеское освещение! Так мне кажется после коптилок, при неверном и крохотном огоньке которых проходит моя вечерняя жизнь. Сравнительные критерии всегда любопытны.

Снег. Зима. Плеврит. Грызущие боли в правом боку. Выздороветь мне, конечно, трудно: в обитаемой комнате тепло, а в необитаемых — холодно: +3°, +4°. А ведь двигаться приходится по всей квартире — в кухне вода, в столовой буржуйка и посуда, в моей комнате телефон.

Большое внутреннее одиночество, о котором стараюсь до конца не думать, констатируя только его фактическое и неизбывное присутствие. Внешнего одиночества нет: живет у меня девочка Валерка, восемнадцатилетие которой мы справляем послезавтра, почти ежедневно проводит у меня вечера и ночует Гнедич, часто бывает Ксения[621] — и другие. Вечера с Гнедич любопытны, интересны и разнообразны: чтение собственного творчества (какой она большой настоящий поэт — думаю, что в Союзе она почти единственный **настоящий** поэт!), чтение «Иоанны» Шоу в подлиннике, чтение и разбор стихов начинающих поэтов, присылаемых в редакцию на отзыв (есть умопомрачительные по глупости, неграмотности и нахальству... «гонорар переведите»... некоторые, как шедевры идиотизма, сохраню на отдельных листках в этой тетради![622]), музыка, большие разговоры, большие полеты.

Странно, что мой Дом, не существующий больше для меня, опрокинутый и разрушенный, вновь становится Домом, куда идут усталые и бездомные люди: Ксения, Валерка, Гнедич. Для них — я живу в Доме, у меня Дом, в этом Доме есть частица и их Дома. Несколько дней, проведенных мною у

Тотвенов, вызвали у этих моих «домашних» взрывы тоски и потерянности: Ксении казалось, что я уехала куда-то далеко, а может быть, и навсегда, Валерка прибегала к Тотвенам навестить меня и огромными, полными слез глазами смотрела мне в лицо, не осмеливаясь спросить, когда же снова можно будет ей приезжать «Домой», Гнедич тоже приходила к Тотвенам, приносила мне продукты по карточкам и спрашивала прямо — когда я возвращаюсь к себе? Она ко мне очень привыкла, предана мне — вероятно, даже любит меня. Во всяком случае, ценит — и высоко.

Таким образом, чужие люди помогают возникновению какого-то нового Дома на еще дымящихся развалинах Старого **дома**, нужного им и утверждающего, что я, такая-то, как прежде, как и всегда, стою на твердых и недоступных действию времени и обстоятельств камнях.

(Раньше, когда мы были все вместе, мы часто с удивлением и радостью называли наш **дом** островом, волшебным островом; затерянный в океане бурь и окруженный обломками крушений человеческих жизней, наш **дом**, наш Остров, продолжал существовать своей тихой и неизменной жизнью единения, любви, дружбы и сохранял почти иератическую неподвижность внешних форм. Вокруг кипело море людских судеб, люди умирали, рождались, уезжали, приезжали вновь, сидели в тюрьмах, отбывали сроки высылок и возвращались в город, меняли мужей, географию, платья и службы, а у нас все шло, как всегда, размеренно и неуклонно, как ход счастливого времени на заколдованных часах.)

По-видимому, тайны волшебства, сотворившего мой Дом-Остров, действуют и поныне. Без моего желания, без моих усилий, без моей помощи Дом возрождается — какой-то новый, еще неведомый мне, еще не совсем нужный мне лично, — и в Дом идут, как пилигримы за спасением, и дом мой ищут — и во мне, как раньше в маме, видят почти символ Семьи, Дома, Материнства, Настоящего.

Да: странны, странны судьбы человеческие. И моя — в том числе.

В городе тихо: налетов больше нет. Ходят слухи, что немцы уводят войска из-под Ленинграда. На Сталинградском фронте — победы советских войск: город не сдан, врага отгоняют, бои будто уже под Ростовом. Открылся Центральный фронт: Ржев, Великие Луки. Опять-таки по штабным слухам, немцы эвакуировали Лугу, Псков, Новгород. Говорят, что вскоре начнется наступление и у нас, на Ленинградском фронте, — на севере мы как будто уже под Выборгом. Nescio. Англичане и американцы вступили во французскую Северную Африку. Бьются под Тунисом. Видимо, Второй фронт

пойдет с юга Европы — выбиванием из войны нищей и нелепой Италии. В Тулоне затоплен французский флот. Как интересно и жутко будет прочесть потом — когда-нибудь — историю французского раскола: де Голль и Петэн, Франция оккупированная и Франция сражающаяся.

Кстати: в Красногвардейском загсе за весь ноябрь зарегистрировано 1 (одно) рождение, в начале месяца. Браки есть — военные. Смерти на том же уровне — 5—6 в день.

Кстати: на имя Сталина поступили поздравления от митрополита Московского Сергия, митрополита Киевского Николая, армянского католикоса, мусульманского муфтия, председателя московской еврейской общины: «Богоизбранный вождь...», пишут митрополиты. Поздравления были напечатаны в газете «Правда». Бог с большой буквы. Говорят, что в церквах, в ектении, упоминается также имя Сталина.

Молчат только католики и протестанты: поздравления подписать, видимо, некому. Ксендзы и пасторы живут в тюрьмах и в концлагерях. Да и это может перемениться.

С деньгами трудно, но как-нибудь вывернусь.

Почти нежную симпатию начала ко мне чувствовать старая Сушаль, так не любившая меня до личного знакомства со мною. Часто приходит, подолгу сидит, одинокая, умная, злая, несчастная. Сегодня подарила мне три свечи. На днях по распоряжению из Смольного ей дали 2-ю категорию и обещали дрова. Отношение ее ко мне вскоре можно будет назвать привязанностью.

И это — тоже странно.

А я не люблю никого и не чувствую привязанности ни к кому. Одиночество мое совершенно и мудро. Я, человек земной, материалист и скептик, освобождаюсь от всех лепестков человеческих земных отношений.

С болью и грустью думаю только иногда о том, что, может быть, мне никогда больше не суждено увидеть д-ра Р[ейтца]. Ужасно, если этот человек ушел из жизни и из моей жизни. Вот необычайный случай моего постоянства и верности! При мысли об этом начинаю ощущать одиночество как тяжесть.

Д-р Рейтц мне всегда был нужен — даже если я не видела его годами.

Думаю иногда и о Вас, мой очаровательный спутник последних лет мирной жизни! Думаю без нежности, с большим холодным презрением, с большим холодным ожиданием: Вы мне тоже очень нужны, милый, очень. Но: не для мира, а для меча.

Постарела. Опустилась. Много седины. Лень делать ресницы. Почти перестала красить губы. Все равно. Пополнела и продолжаю полнеть. Тишина

и размеренность моей жизни идут, видимо, мне на пользу: ни вина, ни тонких табаков, ни острых блюд, ни бессонных бдений, ни звенящих от натянутости нервов.

Под бомбами и снарядами, в дистрофическом городе, переживающем второй год голодной осады, я чувствую себя гораздо спокойнее и тише, чем до войны. Ко многому я уже привыкла (отсутствие света, водопровода, канализации), от многого отвыкла. Жизнь сжатая, скучная, звериная — но моя жизнь широко развернула крылья интеллекта и духа, моя жизнь не скучная, и ничего звериного в ней нет. Дни летят очень быстро, хода времени не чувствуешь. В прошлую же зиму время тащилось медленно и зловеще, и каждый день казался бесконечным. От брата письма редкие, неутешительные и какие-то невнятные: видимо, тоскует. Багаж, кажется, еще не получен. Жду, когда продадутся брильянты, чтобы послать ему денег.

Когда придет мир, жить мне будет очень странно.

Декабрь 13, воскр[есенье]. 18 ч.

В пятницу, 11-го, у меня сидел Юрий, в грязной фронтовой шинели и рваных сапогах. Курили скверный табак, говорили о войне, о музыке, о красавицах из «Астории», удивлялись, что прежняя жизнь все-таки **была** — что это именно он любил изысканные галстуки, интересных женщин и уют первоклассных ночных кабаков, что это именно он отказывался всегда от всяких командировок, брезгливо пугаясь таких вопросов, как: где я буду ночевать? — и удобно ли там? — и куда пойти пообедать? — и когда же я приму ванну?

Были сумерки, мокреть, слякоть зимней оттепели. И вдруг тишину города и моей квартиры нарушил грохот близкого разрыва.

— Обстрел, — сказала я.

— Похоже, — сказал Юрий.

И тогда началось. Снаряды взрывались близко и бешено. Неустанно звенели стекла. Дом вздрагивал. Иногда начинал пьяно качаться, как в прошлом году от фугасных.

— Это из тяжелых, — сказала я, стоя у печки.

— Да, плохие снаряды... плохие! — сказал задумчиво Юрий, вслушиваясь: далекий выстрел, близкий разрыв — он из-под Севастополя подтянул сюда зверские дальнобойные...

Разрывы грохотали налево, направо, впереди, позади. Квартальный[623] из соседней квартиры заботливо постучал в дверь:

пойдет с юга Европы — выбиванием из войны нищей и нелепой Италии. В Тулоне затоплен французский флот. Как интересно и жутко будет прочесть потом — когда-нибудь — историю французского раскола: де Голль и Петэн, Франция оккупированная и Франция сражающаяся.

Кстати: в Красногвардейском загсе за весь ноябрь зарегистрировано 1 (одно) рождение, в начале месяца. Браки есть — военные. Смерти на том же уровне — 5—6 в день.

Кстати: на имя Сталина поступили поздравления от митрополита Московского Сергия, митрополита Киевского Николая, армянского католикоса, мусульманского муфтия, председателя московской еврейской общины: «Богоизбранный вождь...», пишут митрополиты. Поздравления были напечатаны в газете «Правда». Бог с большой буквы. Говорят, что в церквах, в ектении, упоминается также имя Сталина.

Молчат только католики и протестанты: поздравления подписать, видимо, некому. Ксендзы и пасторы живут в тюрьмах и в концлагерях. Да и это может перемениться.

С деньгами трудно, но как-нибудь вывернусь.

Почти нежную симпатию начала ко мне чувствовать старая Сушаль, так не любившая меня до личного знакомства со мною. Часто приходит, подолгу сидит, одинокая, умная, злая, несчастная. Сегодня подарила мне три свечи. На днях по распоряжению из Смольного ей дали 2-ю категорию и обещали дрова. Отношение ее ко мне вскоре можно будет назвать привязанностью.

И это — тоже странно.

А я не люблю никого и не чувствую привязанности ни к кому. Одиночество мое совершенно и мудро. Я, человек земной, материалист и скептик, освобождаюсь от всех лепестков человеческих земных отношений.

С болью и грустью думаю только иногда о том, что, может быть, мне никогда больше не суждено увидеть д-ра Р[ейтца]. Ужасно, если этот человек ушел из жизни и из моей жизни. Вот необычайный случай моего постоянства и верности! При мысли об этом начинаю ощущать одиночество как тяжесть.

Д-р Рейтц мне всегда был нужен — даже если я не видела его годами.

Думаю иногда и о Вас, мой очаровательный спутник последних лет мирной жизни! Думаю без нежности, с большим холодным презрением, с большим холодным ожиданием: Вы мне тоже очень нужны, милый, очень. Но: не для мира, а для меча.

Постарела. Опустилась. Много седины. Лень делать ресницы. Почти перестала красить губы. Все равно. Пополнела и продолжаю полнеть. Тишина

и размеренность моей жизни идут, видимо, мне на пользу: ни вина, ни тонких табаков, ни острых блюд, ни бессонных бдений, ни звенящих от натянутости нервов.

Под бомбами и снарядами, в дистрофическом городе, переживающем второй год голодной осады, я чувствую себя гораздо спокойнее и тише, чем до войны. Ко многому я уже привыкла (отсутствие света, водопровода, канализации), от многого отвыкла. Жизнь сжатая, скучная, звериная — но моя жизнь широко развернула крылья интеллекта и духа, моя жизнь не скучная, и ничего звериного в ней нет. Дни летят очень быстро, хода времени не чувствуешь. В прошлую же зиму время тащилось медленно и зловеще, и каждый день казался бесконечным. От брата письма редкие, неутешительные и какие-то невнятные: видимо, тоскует. Багаж, кажется, еще не получен. Жду, когда продадутся брильянты, чтобы послать ему денег.

Когда придет мир, жить мне будет очень странно.

Декабрь 13, воскр[есенье]. 18 ч.

В пятницу, 11-го, у меня сидел Юрий, в грязной фронтовой шинели и рваных сапогах. Курили скверный табак, говорили о войне, о музыке, о красавицах из «Астории», удивлялись, что прежняя жизнь все-таки **была** — что это именно он любил изысканные галстуки, интересных женщин и уют первоклассных ночных кабаков, что это именно он отказывался всегда от всяких командировок, брезгливо пугаясь таких вопросов, как: где я буду ночевать? — и удобно ли там? — и куда пойти пообедать? — и когда же я приму ванну?

Были сумерки, мокреть, слякоть зимней оттепели. И вдруг тишину города и моей квартиры нарушил грохот близкого разрыва.

— Обстрел, — сказала я.

— Похоже, — сказал Юрий.

И тогда началось. Снаряды взрывались близко и бешено. Неустанно звенели стекла. Дом вздрагивал. Иногда начинал пьяно качаться, как в прошлом году от фугасных.

— Это из тяжелых, — сказала я, стоя у печки.

— Да, плохие снаряды... плохие! — сказал задумчиво Юрий, вслушиваясь: далекий выстрел, близкий разрыв — он из-под Севастополя подтянул сюда зверские дальнобойные...

Разрывы грохотали налево, направо, впереди, позади. Квартальный[623] из соседней квартиры заботливо постучал в дверь:

— Идите вниз, Софья Константиновна, — предложил он, — там все-таки свет, народ... а то вы одни!

— Это у нас? — спросила я.

— Еще как! — ответил он. — Угол Восстания и Озерного, угол Восстания и Ковенского, дом 8 по Радищева...

О, собственность!..

— ...вся Некрасова. В общем, прямой по нас!

Я вернулась в комнату и сказала об этом Юрию. Полуудивился: так близко? Звуки обстрела в городе, оказывается, отличаются от таких же звуков в поле, на фронте.

Неистово звенели стекла. Какие-то разрывы рядом дали обрушение, звон битых стекол, падение кирпича и железа.

— Будто наш дом, — сказала я.

— Да, кажется, ваш, — сказал он, встал, обнял меня, вывел в темную переднюю. — Оденьтесь, идите вниз...

Он думал, что у нас есть бомбоубежище.

— Куда же я пойду, Юрик? — спросила я, надевая беличью шубку. — Бомбоубежище залито...

— Ах, залито?!

— Деваться мне некуда: здесь лучше. Окна во двор, а в конторе окна на улицу...

— На улицу?..

Он повторял за мною слова механически, думая о чем-то другом. Не знаю, о чем он думал.

Снова вернулись в комнату. Я зажгла коптилку. Разрывы прекратились. Юрий собрался уходить.

— Я не могу вас отпустить, — говорила я, — не могу! Если обстрел возобновится и вы будете на улице...

Но он торопился в штаб. Он ушел.

Не вылезая из шубки, я села на диван и подумала: «Как хорошо, что брата нет, что он в Башкирии!»

Вспомнилось его худое породистое лицо, предельно злое в минуты опасности и страха. Радуясь, что его здесь нет, все-таки каким-то нутряным чувством пожалела, что он не рядом: сели бы вот так на диван, крепко бы обнялись — и было бы совсем все равно!..

(Так вместе и рядом, на моей постели, я переживала с мамой артиллерийские ночные обстрелы в сентябре—ноябре прошлого года. Уткнешься лицом ей в плечо, крепко обнимешь, целуешь руки — хорошо, спокойно, почти

счастливо: мама — пахнет мамой — ее руки — ее кожа — она, она, она — значит, ничего страшного нет! и ничего страшного не случится!)

Разрывы заревели снова. Часто и близко. Сообразила, что Юра может быть не дальше Надеждинской. Потушила коптилку. Встала у печки, подняла воротник шубки, безумно хотелось спать (когда я боюсь или сильно нервничаю, меня всегда тянет ко сну. Наследственность: реакция отца). Хотелось спать, не видеть, не слышать, не прислушиваться. Дрожали стекла. Колыхался дом. Где-то что-то сыпалось.

Стало сердито и гневно: что за чушь, что за бессмысленная чепуха — нелепая смерть от осколка, от обвала, от артиллерийского снаряда в городе и в своей квартире! Гнев, не падая, начал переходить в раздраженную усталость. Хоть бы кончился обстрел, хоть бы кончилась война, проклятая, безумная, самая страшная из всех бывших до нее войн.

Одни генералы говорят: война кончится в 1945 году. Логически и физически она раньше кончиться не может.

Другие генералы говорят: война кончится в 1943 году от всеобщей усталости.

А немец еще силен. Великолепны его маневренность и организация. Злобны и жестоки его солдаты. Война!

Обстрел длился два часа. После 8 вернулась со службы Валерка. Перепуганно закричала еще за дверью:

— Вы живы? живы?

Трамваи не ходят. Советский и Некрасова завалены битым стеклом и сорванными проводами. Во тьме, по гололедице, ощупью идут люди и падают.

Обстрел был очень страшный. И мне было страшно — кусочками, — даже мне, плотно вошедшей в рамки равнодушия и безмятежного скепсиса.

(Сегодня узнала: много убитых — 2000 с лишним человек. В особенности пострадали прохожие на Невском, где снаряды рвались на улице: угол Литейного, угол Троицкой[624], угол Михайловской[625], Знаменская площадь, Старый Невский.)

В доме еды не было, а кушать хотелось (утром я съела тарелочку супа и выпила пару чашек чаю). Соорудили кофе. Выпили с Валеркой по три чашки, я доела свой хлеб.

Неожиданно вернулся Юрий, еще более мокрый и взволнованный.

— Ксения у вас? — спросил еще в передней.

Ксении у меня не было. Юрий был у сестры в 9 вечера и не достучался. На двери висели ее обычные «извещения», сразу целый ворох (если неожи-

данно приедет с фронта брат!): «Я дома», «Скоро вернусь», «Я у Сони». Ни на одном извещении даты не было. Юрий решил, что, работая на базе, на Песках, Ксения, застигнутая в пути обстрелом, логически должна была оказаться у меня.

Но Ксении у меня не было.

Юрий остался у меня ночевать. Валерка поставила самовар. Я достала большие мужские туфли — синие, домашние, которые я так хорошо помню! — достала заграничные шерстяные чулки для гольфа. Я ухаживала за Юрой с радостью и растроганной гордостью: воин, усталый воин!

(Женские атавизмы, оказывается! Любопытно.)

Пили чай. Ели хлеб Юрия. Курили его скверный табак. Смеясь, пошучивая, как всегда, в самом серьезном стараясь быть несерьезным, Юрий рассказывал о войне, об осени 1941 года:

— Здоровый драп был под Пушкином...

О лете 1942 года:

— Трава высоченная, в рост человеческий, цветы, густо, богато, пышно... тишина... пробираешься сквозь эти травяные заросли, смотришь на небо — а пахнет все трупом, разложением... Скверно! Хуже, чем зимой. Зимой трупы не воняют...

Потом Валера ложится спать на моей кровати, а мы с Юрой продолжаем сидеть: чай, табак и патефон. До одури, до исступления слушаем Вертинского, Лещенко, Жоржа Тиль, Шаляпина, Галли-Курчи. Слушаем танго, Верую, Ектению[626], «La Marquise Voyage»[627]. Говорим. Думаем вслух.

— А хорошо бы теперь быть на Африканском фронте! — мечтает Юра. — Там, верно, интересно! А у нас немец бьет только по штатским улицам.

Около 4-х утра топлю печку. Юрий сушит свои портянки и сапоги. Сижу рядом, смеюсь, курю:

— А если бы вам сказали три года тому назад, что вы проведете ночь у меня за сушкой портянок, Юра?

— Дал бы в морду и сказал «идиот»!

Уборная не действует: замерзли стояки и всю гадость выкинуло на пол. Объясняю все это Юре, говорю, где стоит параша, зажигаю свечу. Стесняется. Потом привыкает.

Ложимся в 5. Болтаем немного. В 7 встает Валерка, сонная и хорошенькая, выносит на двор парашу, идет на службу. В 9.40 бужу Юрия, которому пора в часть, и мгновенно, незаметно для себя, засыпаю.

— Сонечка! — слышу глухо.

Открываю глаза. Стоит надо мною, уже в фуражке, в шинели, в ремнях. Часы: 10.30. Проспала час.

Только что — в 20.20 сего 13 декабря — узнала, что позавчера в мой дом попало три снаряда. Разрушены квартиры по 2-й лестнице и сама лестница.

Декабрь, 28, понедельник

Четыре дня провела у Тотвенов — мои праздники. Подобие дома, подобие традиций, старинный и неуклюже засоренный русизмами польский язык, дряхлость, седые волосы, болезни, дряхлые разговоры, дряхлые души. Старик еле-еле ходит — 84 года! — белый, слабый, впадающий в детство, теряющий память и житейскую ориентировку. Старик как одуванчик — дунет ветер посильнее, и не останется ничего. Но, несмотря на все это, бодрится, рассуждает, не терпит возражений, поучает скрыто улыбающуюся жену, воюет с прислугой — и работает, работает, принимает пациентов, делает сложные операции, не падает, не сдается.

Скучно у Тотвенов, нудно, мещански, пахнет немыслимой в нашу эпоху обывательщиной XIX столетия.

Но я радостно смотрю на голову старика и благодарно думаю: «Вот с ним танцевала на московских балах моя милая, милая тетя! Она была тогда совсем молоденькой, розовой и черноволосой. Вот на него из-за портьеры смотрела моя мама, когда еще была девочкой и ее не пускали в зал на танцевальные вечера!»

1942. Осада. Привычное недоедание. Канонада. Умерла давно тетя. Недавно умерла мама. А старик Тотвен, замечательный мазурист, поклонник дам и волшебный доктор, дистрофическим одуванчиком сидит в кресле, жует кислую капусту, долго вникает в то, что ему говоришь.

— Я совсем оглупел! — часто и конфиденциально сообщает он мне. — Потому что вокруг только бабы и бабы! Знаешь, я даже много слов позабыл! Это все от баб...

А вокруг него действительно бабы: его третья жена, тонкая, сухая, чопорная и холодная женщина, капризная и избалованная, каким-то чудом пронесшая нетленной через четверть века наивно-эгоистическую и туповато-надменную ограниченность институтки, «единственной дочки», сентиментальной барышни из польского маленького имения и «дамы из общества»; рядом с ним его прислуга Паулина, стервозная старая дева, прослужившая в доме 40 лет и держащая в страхе и терроре всех обитателей квартиры, тупая, заядлая девотка[628], которая первая осудила бы Христа, если бы Христос вдруг пришел в мир; рядом с ним жилица, одинокая и до слез глупая стару-

ха, вдова профессора Катцера, честная, безобидная и щепетильная немка, которую иногда хочется долго и подробно бить — так тяжеловесен ее юмор, так тяжеловесна ее честность, так утомительна и невыносима ее безобидная, добрая и глупая душа!

В этом доме, в таком окружении, я встречаю свой первый в жизни одинокий сочельник. Мама ушла за Великую Черту. Брат — в далекой Башкирии: тоже один.

(22-го, в мамин день, когда тоска завладела так, что уже слезами подступала к горлу, пришла от него телеграмма: «Душою и сердцем в день мамы всегда любящий брат». Спасительная телеграмма. Через тысячи километров брат подал мне руку — и поддержал.

Тоскую без него, тоскую... Знаю, что невмоготу было бы вместе, что мучилась бы за него, что не знала бы ни мгновения покоя и свободы.

Но: тоскую... И жду.)

Мадам Сушаль принесла как-то белую бумажечку: в бумажечке — обломки опресноков.

Les dernieres parcelles consacrées[629].

1942. Осада Ленинграда. Привычное недоедание. В чужом доме делюсь оплатком со стареньким, выжившим из ума доктором, вокруг которого реют легкие призраки тети — черноволосой танцорки, и мамы, быстроглазой девочки. Может быть, оплатком я делюсь и не с доктором...

Спасая себя, спасая свою психику, равновесие, удивительное и безмятежное спокойствие, закрываю в себе все двери, не думаю ни о чем, почти ни о чем не думаю.

Потому что:

если подумаю о маме — зарыдаю,

если подумаю о брате — закричу.

А так, плотно закрыв все двери, провожу легкие и пустые вечера, грызу миндаль с изюмом, пью чай и болтаю, бесконечно болтаю о веселом, о легковесном, о неглубоком — и всем весело, все довольны, хохочет старик, заливается покрасневшая от удовольствия и неожиданного развлечения фрау Катцер, улыбается и понимающе переглядывается со мною жена доктора, все-таки самая взрослая и самая разумная в этом паноптикуме, шумно ходит и фыркает звероподобная Паулина, настроение которой потрясает всех: сколько дней уже нет скандала!

Сегодня вернулась домой. К доктору приехала за мной Гнедич, отношение которой ко мне трогательно и тихо. Я знаю, за что она меня любит и ценит, и не знаю — зачем. Слякоть, оттепель, тепло. Низкое свинцовое небо. У Казанского нас штрафует веселый милиционер: не так перешли улицу. Плачу 30 р. и зубоскалю. Он смеется — я смеюсь тоже. Милый милиционер! после древнеисторической плесени дома Тотвенов — первый живой человек. Штраф. Пусть штраф. На милиционера я смотрю радостными глазами. Живой настоящий мир, в котором я не живу и которого почти не знаю. Странно? Странно. Но это так.

А дома — неожиданность. Вчера, в мое отсутствие, Гнедич и Валерка вытопили комнату, все убрали, все почистили — и приготовили мне елку. Хорошенькая, засыпанная золотом елка смотрит на меня своими веточками, лебедями, барабанами, верблюдами, бомбочками. Под елкой стоят валенки: часть командирского обмундирования Гнедич, уступленная ею мне. Мне делается хорошо и больно.

— Мне странно и больно... — говорю я. — Кто-то думал обо мне...

— А если бы вы знали, как приятно думать о ком-то... — говорит Гнедич.

Я растрогана. Где-то в глазах начинают гулять слезы.

— Я теперь никого не целую... — говорю я и обнимаю Гнедич. Она приникает ко мне, и мы долго стоим, обнявшись и молча.

Новый год я тоже буду встречать у Тотвенов — и знаю, что от этого будет больно и Гнедич, и Валерке, и Ксении. Особенно Гнедич. Отношения с нею прекрасны — в интеллектуальном смысле, в направлениях высокого и большого. Я не люблю (я никого не люблю, кроме брата — и, кажется, доктора Рейтца!), с нею мне хорошо: с нею мы летаем, с нею мне не надо менять язык.

На днях познакомилась с женой Горин-Горяинова и через нее попросила передать ее мужу, Студенцову и Железновой мою растроганную и гордую благодарность: за то, что все они здесь, что не убежали от голода и осады, что в трудных и тяжелых условиях творят, играют, создают — с прежней легкостью и мастерством настоящих александрийцев, чуждых халтуре и дешевке (это относится в особенности к Студенцову и Железновой, но жене Горина сказать об этом прямо я, конечно, не могла). Сейчас вспомнила, что обещала дать их театру какой-нибудь переводной скетч. Иду в переднюю, где из буфета извлеку том старых французских пьес.

1943 год

Январь, 6-е

Розовое небо. Золотистое небо. Голубые пятна на снегу, как на картине Вейссенгофа. Замаскированный Смольный[630]. Улицы чистые, тротуары посыпаны песком, на саночках люди возят дрова, на саночках больше не катаются человеческие трупы. Смертность низкая: 5—10 чел. в день на один район города.

Морозов нет. Легкая нежная зима. Поэтическая.

Победы на юге. Ожидание каких-то движений и на нашем фронте. Обещания прорыва блокады. Этим ожиданиям и обещаниям пошел второй год.

Обстрелы. Тревоги. Фронт на каждой улице.

Январь, 19, вторник, Желябова, 29

Боли были неистовые. Поэтому 18-го не вернулась домой, где должно было праздноваться торжество: день рождения Гнедич.

Боли были такие, что даже не могла слушать чтения вслух Нины Станиславовны («Дни» Шульгина[631], принесенные мною). После вечернего чая погрелась у печки и пошла спать в кабинет. Приняла люминал — очень давно не принимала снотворного, очень ждала его волшебного действия. Ведь люминал дает мне всегда такие прекрасные сны!

Легла закутанная и обвязанная, вяло прислушиваясь к какому-то концерту по радио. Потом начались последние известия, которые слушала уже только слухом, а не мозгом. И вдруг голос диктора из Москвы:

— ...успешное наступление... Ладожское озеро... Взятие Шлиссельбурга... Прорыв блокады Ленинграда...

Села на постели, оглушенная. Сердце билось неистово и больно. Подумала: «Нет, нет — ослышалась — или во сне...» Голос диктора из Москвы повторил:

— ...успешное наступление... Ладожское озеро... Шлиссельбург... Прорыв блокады Ленинграда...

Опять подумала: «Может быть, от температуры?»

Но взволнованная Москва начала приветствовать и играть марши и песни, а потом то же потрясающее и чудесное известие повторил Ленинград. Я сидела на постели, опустив голые ноги на туфли, смотрела в черноту комнаты и слушала:

— как патетически и почти задыхаясь тренированные голоса трех ленинградских дикторов трижды повторили историческое известие,

— как шумели и толкались разнообразнейшие пластиночные марши, которые я обычно не люблю и которые в эту ночь казались мне прекрасными,

— как мой город, освобожденный, но еще не вышедший из тюрьмы, с порога своей открывшейся камеры кричал трепетные и возбужденные приветствия в мир и миру,

— как, между маршами, выступали люди с пресекающимися от волнения голосами и тоже благодарили, и тоже приветствовали, и тоже почти плакали (от боли и радости), как почти плакала я...

— как умно и горячо говорила Ольга Берггольц и милая Елена Рывина, как жарко и задыхаясь кричали какие-то бойцы и командиры на митинге неведомой части, включенной в сеть (безграмотные, бестолковые, смешные бойцы, бывшие в эту ночь такими милыми и по-родному смешными, как члены собственной семьи!), как выступали Саянов и Грабарь, какие-то инженеры и рабочие, какие-то Герои Союза и кто-то еще.

Я сидела совсем одна, замерзая и не чувствуя холода. Зуб и челюсть болели, но боль была какая-то не моя.

Я зажигала и тушила коптилку. Я курила папиросы «Альпиниада». Я думала о брате, о маме, о завтрашнем дне и о вчерашнем. Я улыбалась и махала радио рукой. Я что-то громко говорила иногда и беззвучно аплодировала. И знала, что по лицу скатываются от времени до времени слезы, скупые и редкие, и пропадают во фронтовом шарфе 1914 года и на мягкой ткани полосатого платья Элизабет.

Прорыв блокады моего города.

Это значит, что мы — оставшиеся — выживем.

Это значит, что мы — оставшиеся — получили помилование: смертная казнь через пытку отчаяния, безнадежности, голода и отупения отменена.

Будут еще смерти, будут еще и бомбы и снаряды, все будет, не все еще кончено.

Но: блокада уже прорвана.

И всякая смерть будет не в блокаде и не от блокады. Это будет просто военная смерть — может быть, нелепая, может быть, ненужная — совсем такая же и совсем не такая...

Редкое для меня и высокое ощущение коллективной радости. Ордер на освобождение из тюрьмы подписан всему городу. На волю выйду не только я. Выйдут все. Все счастливы. Все безумны. И я тоже.

Не спала до 4.30. Все слушала марши!..

21 января, четверг, 5 часов

Писать и читать еще можно. Вчера — вечерняя тревога с большой пальбой и бомбами. Сегодня мороз: -20° (первый раз за всю зиму!). Дневная тревога. Южные победы. Кто-то из военных пациентов доктора обещает на днях новые потрясающие вести по радио. Настроение у всех бодрое и радостно-взволнованное.

Поговаривают о Втором фронте в Европе. Союзникам пора бы — давно пора! — что-то делать.

Вступил в войну Ирак — против Германии.

Если так же поступит Турция...

Теперь я понимаю, какое возбужденно-гордое и счастливое настроение должно было быть все эти годы у населения Германии. От победы к победе... Они были счастливы. Они были безумны. Коллективная радость — примитивно-национальная и колониально-патриотическая — вещь заразительная.

С такой радостью можно и умирать и голодать.

И правительство, умеющее давать такую радость, — крепкое. На какой-то отрезок времени нерушимость его и величие почти божественны.

Призраки Святых Елен[632] выступают позже...

27 января, среда, 19 часов

Воздушная тревога. Тревоги бесконечны — и дневные, и ночные. Так же почти непрерывны обстрелы. Естественное понижение температуры настроения. Продолжаю жить на Желябова[633]; мне хорошо, тихо, старинно — словно в польском Китеже каких-то старых, старых снов.

Что делают люди во время обстрелов и тревог? Люди, которые полтора года живут под бомбами и снарядами и которым деваться от бомб и снарядов некуда, потому что второй год почти нигде не функционируют бомбоубежища и иные спецукрытия.

Люди ходят по улицам и продолжают свою обычную жизнь каждого дня.

Доктор принимает больных и делает операции (а район под обстрелом, разрывы, звенят стекла!). Топится плитка, и готовится завтрак. Глухая

Людмила делает маникюр мне и Татике[634]. (Последний раз я была у моей Таисы в октябре 1941 года.) Читается Дюма и Тынянов.

А радио чикает противным и так хорошо знакомым пульсом тревоги!

Говорят, что под Ленинградом немцев медленно берут в такое же окружение, как под Сталинградом.

Но немцы еще в Лигове и Стрельне, в Пушкине и в Поповке. У них много снарядов. А мы живем в городе, который героически и пышно именуется **городом-фронтом**!

Надоело, товарищи!

Несколько дней держались морозы. Потом лопнули. Ночи лунные. На Желябова действует уборная и водопровод. В 7 вечера вспыхивает электричество и горит до 12. Утром, от 7 до 9, свет бывает тоже.

А у меня, на Радищева[635], ледяная сосулька висит у крана, воды нет во всем доме, уборные «законсервированы», электричества нет и не будет.

28 января, четверг

Пару дней тому назад дом на Желябова здорово закачало во время ночного налета. Бомба ухнула, как казалось, где-то рядом. Сегодня, в теплый серый день, ходила в адресный стол: великолепное полукружие Дворцовой площади все сплошь без стекол. Бомба упала «в улицу» около Адмиралтейства, у Александровского сада.

Заходила Гнедич. Бассейная зверски пострадала от обстрелов. Рынок[636] закрыт: шрапнельные катастрофы. Бомба в районе Греческой церкви. Стекла у меня целы.

Во взятом Шлиссельбурге стоит неумолчный грохот от ликвидируемых мин. А на дорогах трупы, солдатские, человеческие трупы лежат таким ковром, что машина не берет. Военные рассказывали, что в момент боев прорыва блокады озверение и ярость советских войск были настолько велики, что приходится удивляться — как еще оказалось 1200 человек живых пленных?!

Тоскую. Думаю много о брате. Когда бомбы и снаряды, радуюсь, что его здесь нет, что уехал в тишину (такую вот, военную) Башкирии.

Известий от него нет давно.

Тоскую.

Тоскую.

Страшно думать, что никогда больше не будет ни мамы, ни дома, что впереди — нечто вроде гостиниц и меблированных комнат до самого конца.

Элемент Дома из моей жизни выпал. Поэтому мне совершенно все равно, где жить. И все равно, что делается с тем домом на улице Радищева, который был когда-то Домом и который я называю теперь «место моей прописки».

7 февраля

Вчера — у Ксении: ее именины. Дамы: Гнедич и я. Кавалеры: Розеноер, почитатель Ксении, и инженер Князев, приятель Юрия и Бориса. Патефон. Стихи. Разговоры о литературе. Каша из сухого картофеля с моим шпиком, настоящее кофе, забавные подарки Князева: плитка шоколада, пять штучек печенья, одна сладкая лепешка — все завернуто им в бумагу, разрисованную от руки: «Торт—1943», «Шоколад “Прорыв блокады”» и т.п.

Мерзну. В огромной комнате Ксении холодно. Красно-желтыми огнями горят лампочки в люстре: слабое напряжение. Сижу в тюбетейке и большом белом платке (потому что волосы грязные!). И впервые со дня войны танцую с Князевым — он очень элегантен, очень «довоенный», а я в валенках, с болью в цинготных ногах, с сумасшедшими биениями, видимо, совсем больного сердца.

После двух ночи мы, дамы, остаемся одни. Тогда распечатываю письма, полученные перед уходом из дому.

И делается очень страшно и очень безысходно.

Брат болен. Лежит недвижно второй месяц. Рецидив цинги: на ногах открылись раны. Тоскует безумно — без меня, без книг. Книг нет совсем, мог бы писать, но писать не на чем. Бумаги нет тоже. Рвется ко мне, на Север. Багаж получен — наполовину раскраденный.

Что же мне делать?

Открытка из Свердловска от приятеля отца по концлагерям инженера Вильнера, к которому обратилась в декабре с вопросом: что же с отцом?

Открытка привычным шифром извещает, что «в феврале прошлого года Каз[имир] Владисл[авлевич] заболел и отправлен на излечение в Коми АССР, видимо — в Чибью».

Значит: арестован опять.

Ему 75 лет. Он 8 лет провел на Беломорканале и в Ухт-Печерских лагерях. За четверть века нашей власти он перевидел много тюрем, он сидел очень часто. Его не научило и не исправило ничто. До глубокой старости он сохраняет бездумное мушкетерское легкомыслие и гениальную способность вредить самому себе.

Если бы я узнала, что он умер, мне было бы легче.

Доколе же мне быть дочерью каторжанина?

Доколе же ему, бездомному и одинокому старику, когда-то богатому барину и блестящему петроградскому щеголю, валяться на тюремных нарах и мерить этапные дороги?

Очень страшно.

Что же мне делать?

Знаю только одно: ни в коем случае не сообщать об этом брату. Социальная ущемленность его велика и так. Отец ведь **только** своим существованием сломал **и** существование сына, **и** жизнь его, **и** психику — и отнял будущее.

Может быть, это и есть «за грехи отцов»...

Да: брат мой — жертва. Мистическая жертва.

Он такой же неудачник и traîne-malheur[637], как и Кюхельбекер[638]. Очень светлый, очень высокий, витающий в каких-то немыслимых облаках и впадающий в ужас, недоумение и абсолютную растерянность при любом столкновении с любым земным воробьем, который — всегда! — оказывается ловчее и умнее его. Бедный, бедный Эдик! Мне бы очень хотелось, чтобы был на свете Бог. Я бы попросила тогда: сохрани его для меня, сохрани хоть таким, нелепым и непутевым! Дай мне кому-нибудь служить, ибо каждая жизнь — служение.

С Богом на эту тему говорить, однако, нельзя. А с Христом поговорить было бы можно, по-товарищески, тихо. Только ведь он бы не оставил мне брата, он бы увел его с собою — в какие-нибудь немыслимые сады!

Февраль, 26, воскресенье

Вот и зима прошла! Капель, ростепели, весеннее небо, весенние лужи. Безвыходно сижу дома: грипп с чересчур высокими вечерами Т°. Физическое самочувствие, однако, неплохое: мешает только кашель. Несомненно потолстела. От каш и хлеба. Кстати, с 22.02 прибавили по всем категориям по 100 г. хлеба в день — т.е. 3 кило в месяц. Это очень ощутительно: цена на хлеб мгновенно упала с 280—300 до 200 рублей. Рынок неожиданно перестал брать хлеб в обмен на другие продукты или берет неохотно. Прибавкой хлеба стабилизируется денежная единица, и хлеб лишается признака валютности. А для всякого государства важна единая, им установленная, валюта. Стихийно возникающие валюты государственно опасны.

Очень большая работа мышления. Громадные творческие достигания и открытия. Прекрасная точность и верность психоаналитических наблюдений и выводов. И все это — внутри, никак не проявленное, не отраженное и не оформленное. При бешеной психической и мозговой работоспособности непонятная и странная физическая скованность: ни одной записи, ни одного эскиза, ни одного слова. Скованность сознательная, а может, и нарочитая. Не только буддийское мудрствование и размышления о прелестях майи и масках сансары[639]. Еще и другое, очень сложное и объяснимое с трудом: ощущение нереальности всего реального, окружающего меня, продолжается — это так. Это не изменилось. Вероятно, это-то меня и спасает, окружая меня нимбами божественных беспечностей и безразличия ко всему материальному; при этом ощущении сосуществует и другое — ощущение реальности и историчности, так сказать, всего хода жизни, как здесь, так и в Союзе, так и в мире, ощущение, приводящее в работу мозговые механизмы и дающее великолепные результативные данные прогнозов, оценок, анализов и определений, причем это ощущение как бы меня не касается, оно почти за пределами **меня настоящего**, оно лежит только в сферах мозгового ума, не больше. Соединение же этих двух ощущений — нереальности реального для меня и реальности реального вообще — как бы порождает третье: борьбу с желанием физического творчества, введение в некие замкнутые фигуры покоя и неподвижности, утверждение преимуществ пассивных созерцаний и внешней статики, но и беззлобные доказательства старения, отмирания, социальной ненужности **на данном историческом этапе** того, что в других условиях считалось бы громадной ценностью и не только могло, но и обязано было бы дать свои проявления.

Так. Впрочем, об этом, может быть, писать и не стоило.

Родилась я все-таки не вовремя. Поэтому я и не могу идти в ногу со временем. Я не могла сразу и отчетливо уловить ритм Октября 1917 года и пойти дальше, следуя этому ритму: я была слишком молода для этого. И органически я была слишком честна, чтобы, фактически отставая, оседлать коней карьеры и таким образом получить право на некий неоправданный гандикап. На дороге жизни нельзя ни задуматься, ни останавливаться: раздавят. Решать нужно на ходу и менять решения на лету. А я — в какой-то момент — остановилась и задумалась (от чрезмерной честности — дети, помните, что честные люди очень часто оказываются вредителями — в разных отношениях!). Меня не раздавили — я, видимо, из стали, так как выдержала проносив-

шиеся по мне [колесницы] Джагернаута[640]. Но зато меня опередили — и мне уже больше не догнать.

Поэтому так и выходит, что я всегда с честным недоумением замечаю свое неизменное пребывание в стадии хронического социального запаздывания.

(Я, например, не заметила, как вырос НЭП, и долгое время при явно видимых формах НЭПа придерживалась **внешних** форм военного коммунизма. Во мне, вероятно, большой диалектический недостаток: всегда неточное по времени определение момента перехода количества в качество.)

В октябре 17-го года я была слишком молода: мне было только 15 лет!

В октябре 43-го года я буду слишком стара: мне будет уже 41 год!

Меня опередили — и тут, и там! Вот, должно быть, почему я умею смотреть на себя со стороны и объективно оценивать: хорошие данные для дипломата, для писателя, для юриста, для актера даже, быть может, для философа! Очень хороший материал! Очень жаль, что пропадает зря! Очень жаль!.. (И тут же: прекрасно, что это все впустую! Прекрасно, что эта Голгофа очень похожа на гротеск! Прекрасно, что все жемчуга уйдут в навоз и их в порошок сотрут сточные трубы человечества! Прекрасно, потому что «человек должен быть свободен» — от любви, от привязанностей, от вещей, от славы, от переживающего смерть имени).

Такая свобода нужна человеку для познания буддийского рая.

А мне на что эта свобода?

Возможно, для оправдания собственной лени.

Блокада города прервана, но не снята. Летают самолеты. Случаются обстрелы. В день Красной Армии, 23.2, был очень длительный, очень жестокий и очень кровавый обстрел. Не представляю даже, где так близко немцы могли установить орудия: от выстрела сотрясались у меня стекла — разрыв грохотал далеко, тяжко и страшно: осыпью. Вероятно, били тяжелыми. Кто-то рассказывал, что под Ленинград немцы подвели тяжелую французскую артиллерию. Если с линии Мажино[641], то веселиться нам нечего.

Дистрофиков в городе почти не видно. Если и встречаются, то сочувствия не вызывают ни в ком: на них смотрят холодно, испуганно и брезгливо.

Любопытная констатация: я помогаю и делюсь с людьми очень охотно и просто — и раньше и теперь; и это всегда радость для меня. Если же я вижу, что человек вступил в определенную — смертную — стадию дистрофии, я сознательно перестану помогать ему или ей, продолжая вынужденную помощь, не буду при этом ощущать радости. Пример: летом 1942 года я поня-

ла, что Николай Михайлович вошел в ту стадию дистрофии, откуда выход только один, раньше или позже — в смерть. Выглядел он ужасающе, всегда был голоден, всегда, без стеснения, просил у меня поесть, тратил на еду большие средства, питался совсем нескверно, но спасения больше не было. Он этого не знал. Я это знала — и мне было невыразимо больно вначале. Я знала также, что это единственный честный и преданный мне человек, я знала его поклонение мне и почитание всех моих, я знала, что я очень люблю этого необыкновенного человека, что — в будущем — без него мне будет очень трудно, что за все прошлое я ему глубоко и растроганно благодарна. Но он был обреченный, и, помогая ему, я почти досадовала на него: скорее бы! В это время на моем горизонте возникла Валерка, существо милое, почти чужое мне. Она была здорова и свежа. Я знала, что она будет жить. И я с радостью начала помогать ей, перестав помогать Николаю: он должен был умереть, и поддерживать его угасание было бессмысленно; Валерка должна была жить, и поддерживать ее горение имело смысл. Хотя, повторяю, Николай для меня был и личностью, и кем-то, Валерка же была пустым ничем.

И все-таки: зверь помогает только здоровому зверю.

24 марта 1943 года, среда

Бегство из дома — из бывшего дома — бегство буквальное. Мучительная невозможность жить долгое время в тех же стенах и с теми же вещами, с которыми жилось когда-то большой и нежной жизнью. Стремление жить чужой жизнью, входить в чужую жизнь, забывая о своей бездомности в чужих домах и среди чужих вещей. Немыслимость (для себя) убрать свои вещи, привести в порядок свое имущество, охранить и защитить свою собственность. И наряду с этим острая необходимость (для себя) сберегать и охранять чужое, помогать чужому, тратить время, драгоценное и всегда так высоко ценившееся, на чужие пустяки: сортировка каких-то необыкновенных пуговиц Татики, уборка чужой комнаты, перестановка мебели, перекладывание книг, советы о продажах, советы всегда дельные и умные и всегда направленные для чужой пользы и для чужого благополучия.

При возвращениях же к себе, в бывший дом, в свою квартиру, — неуверенность в себе и в своем существовании. Безразличие к каждой вещи и к каждому предмету. Небрежение. Лень. Равнодушие такое полное и такое совершенное, что невольно думаешь с особой, невеселой улыбочкой об освобождении от прелестей сансары.

Всюду пыль, запустение, пропадающие и возникающие вещи, незнание в точности, что есть и чего нет. Горы чужих книг, картин и рукописей в моей комнате, на которую смотрю с брезгливым удивлением: неужели здесь когда-то жила та женщина, которая носила мое имя и была похожа на меня, тонкая, худая, красивая, злая и тоскующая, с прекрасными руками в кольцах, всегда нарядная и очень душистая, не знающая ни штопки, ни хозяйства, ни самоваров, ни грязной посуды и умевшая говорить о высоком, прекрасном и недостижимом как о чем-то реальном, близком и понятном ей. Неужели здесь, в этой грязной и захламленной комнате, пахло когда-то заграничными духами и сигаретками, на столах — повсюду — стояли драгоценные розы, и женщина в шелковом халате с золотой парчой разливала по баккаратовским стаканам французское шампанское и думала о том, что нет на свете судьбы печальнее ее собственной и нет на свете человека несчастнее и обиженнее, чем она сама.

Как это ни странно, но в то время эта красивая женщина с чудесными руками и легкой беспечностью внешней жизни была действительно и печальна, и несчастлива. Она не понимала только до конца величайшей радости бытия человеческого, которой жизнь ее была насыщена до самых краев: Радости Дома и Радости Мира. Все же остальное в ее жизни, тоже богатой и тоже насыщенной этим остальным, было мелочью и прахом, сложным трагическим недоразумением, глупым и навязанным фарсом в тонах дешевого Гиньоля[642].

Всегда было некогда думать о себе (или наоборот: всегда слишком много думалось о себе под разными вывесками и разными масками), никогда нельзя было быть собою.

Собственно собою — большим и искренним горизонтом — можно было распахиваться только среди очень собственных, очень своих людей; а их было лишь двое. Один человек — самый настоящий и самый близкий — умер от голода. Другой человек — очень бедный и очень близкий — убежал от голода в восточные степи.

Дома больше не было. Дома не стало. Дом опустел и развалился.

В квартире, хранящей смутные внешние очертания бывшего дома, жить, конечно, можно (и, может быть, должно), но не хочется.

В бывшем доме жить очень страшно.

Пусто. Никого. Все, что есть, — не те.

То не вернется. А нужно, оказывается, только **то**.

Что значит **то**?

Мирная зеленая лампа за вечерним чаем и единственные нужные в мире руки, протягивающие фиолетовую чашку.

Утренние часы в тихих комнатах — и единственно нужный человек, склонившийся над ворохом штопки у окна и внимательно и молодо слушающий передовую сегодняшней газеты и Верхарна, строки из Буддийского катехизиса и Всеволода Рождественского.

Знакомые и единственные шаги, уход которых за пределы квартиры на какие-нибудь полчаса воспринимался остро и ощутительно, как воспринимается неожиданная остановка привычного с детства хода больших часов в столовой, которые **никогда** не останавливались.

(А теперь часы стоят — с середины января, — когда после нормальных при обстреле сотрясений здания вдруг упали гиря и маятник. Почему-то не поправить — некогда, лень, не стоит!)

Присутствие в доме того единственного и настоящего, что давало жизнь и смысл смыслу ее, что делало из дома **дом**, что помогало идти и собирать, что заставляло держаться прямо и бережно и охранительно протягивать руки перед собою — для защиты, для спасения, для помощи.

Улыбка и голос, единственно любимые и нужные. Голоса за стеной — ее и мальчика — звучание которых говорило о том, что все идет как следует, что все в этом мире прекрасно и спокойно.

Стихотворный набросок, еще не законченный, еще не вполне звучащий, который **надо** и **можно** было прочесть сейчас же.

Фраза в книге или в нотной тетради, которую **надо** и **можно** было повторить сейчас же, вызвав к себе, прервав любое занятие, уводя от любого дела — лишь бы милые карие глаза, внимательные и настороженные, были рядом, слушали бы и чувствовали вместе[643].

Июнь, 4-е, пятница, ул. Желябова

Снова свежая листва, снова свежие травы, снова лето, новая зелень деревьев, новые летние дни. Над городом летнее небо и дивная чистота воздуха — необыкновенная для этого города, двести сорок лет дымившего кострами, мануфактурами, топками, заводами. А теперь почти все заводы умолкли и почти все топки погасли. А воздух вдруг стал прежним — древним ингерманландским воздухом допетровских времен.

А в городе — то же: тревоги, налеты, гулы самолетов, захлебывающийся от злости лай зениток и — всегда — тяжелые и страшные падения бомб.

То же и так же. По-прежнему люблю серые дни с низкой облачностью. По-прежнему — далеким, анцестральным чутьем радуюсь солнцу и теплу, умным и понимающим сознанием боюсь солнца и отстраняюсь от чистого неба в лебяжьих перьях высоких облаков: будут тревоги, будут налеты. Нехорошо...

Надоело просто.

В ночь на сегодня опять была тревога и опять палили зенитки. А я, в кабинете доктора, после именинного пирога у Катцер, приготовляла себе постель, причесывалась на ночь, а потом в голубой пижаме легла и при свете коптилки еще почитала английский роман — интересный и exciting[644], как большинство английских романов. Болтали зенитки, иногда очень близко, двойными сердитыми лаями: значит, враг был рядом в синем квадрате неба, значит, бомба и смерть тоже могли быть... А в квартире на 3-м этаже все шло в ночь: все раздевались и ложились. Смерть гуляла рядом и ежеминутно могла облюбовать именно этот дом и расколоть его, как орех или как яйцо. Все почти привыкли — и к смерти, хулигански гуляющей рядом, и к страху этой бандитской смерти, неторжественной и невеличавой. Но деваться некуда — и бессмысленно, и не хочется. Авось как-нибудь пройдет...

В городе стоят страшные бомбовые развалины — некоторые умно замаскированы декорациями фасадов: трагический уличный театр эпохи войны! Другие обнажены с ужасающим равнодушным бесстыдством гниющего трупа. Мимо таких домов проходить тяжело: пахнет смертью, физической смертью человеков и вещей. На углу Моховой и Пестеля стоит грандиозная патетика немыслимой развалины. А на каком-то поднебесном этаже, на освобожденной от всех горизонталей перекрытий вертикальной плоскости стены, многоцветной от различного цвета обоев в различных бывших квартирах, по-старому виден врезанный в стену шкаф, в нем по-старому трогательно и до крика жутко висят домашние вещи: чьи-то пальто, чьи-то шляпы. А еще в каком-то доме — не помню где — уцелела висячая лампа: так и висит до сих пор над пропастью с обломками — та самая лампа, которая освещала когда-то мирный уют обеденного стола, приборы, книги, родные лица и, может быть, склоненные головки лукавых школьниц. А еще где-то, в уцелевшем углу, стоит керосинка. Стоит себе на табуретке, домовитая и спокойная, единственно уцелевшая в этом помпеянском пейзаже.

Летают самолеты. Воют тревоги. Стоят дома — те, которые еще есть, и те, которые когда-то были. В городе очень мало домов — а может, нет и ни одного! — в котором бы сохранились все оконные стекла. Обычно в улицы смотрят фанеры в оконных проемах или причудливая изгрызенность разбитого стекла. Тогда знаешь: за фанерой, может быть, кто-нибудь еще живет, в кротовом мраке сырости и холода. За разбитым же стеклом наверняка никого нет. Было — и нет...

Прекрасный город. Чудесный город. Ville miraculeuse et luciferienne[645]. Обезображенный, раненый, избитый, кровоточащий, обнищавший — но все-таки прекрасный и все-таки — несмотря ни на что! — гордый какой-то особенной, всем далекой и от всех отчужденной гордостью большого одиночества и непревзойденного величия.

Город — как царственный пленник, потомок богов. Отражение Утренней Звезды, оставшееся до какого-то времени в видимом мире и не принадлежащее никому.

Город — свой собственный... и еще чей-то; но никогда и ни в какую эпоху своего воплощения не бывший чьей-то земной собственностью. Никто не равен ему — ни в славе, ни в имени. Кто же может владеть им? Царственный пленник, потомок богов, даже закованный в цепи, даже заключенный в тюрьму и подвергнутый пытке, не принадлежит никому. Он — свой собственный и (может быть) еще чей-то... Прекрасный город. Чудесный город. Холодный, страшный и мстительный.

Кому же приносит он тысячи и тысячи человеческих жертв — и в дни своего строительства, кладя под свои фундаменты и кости и трупы, и в дни своего расцвета, отмечая особые свои дни наводнениями, холерами, декабрьскими бунтами, кровавыми расстрелами на царских площадях и казнями, казнями без конца?

А какой кровью фронта окупает он свою жизнь в видимом мире теперь!

И какую потрясающую гекатомбу принес он в страшную зиму 1941—1942 года!

Чудесный город. Прекрасный город. Нечеловеческий.

Война как война. В сводках пустое и раздражающее «в течение такого-то дня или ночи — на фронте ничего существенного не произошло». А за этим отсутствием существенного, как у Ремарка[646], десятки и сотни убитых

и искалеченных, сгоревшие летчики, потопленные подводные лодки, сброшенные бомбы и выпущенные по живым и техническим целям снаряды.

Скучно, я думаю, сейчас воевать солдату. Убивают ведь машины и механизмы. Солдат регулирует, солдат как рабочий у станка, как инженер, как вычислитель, солдат занят сложным и кропотливым трудом — техникой смертоносного машиностроения и управлением смертоносными средствами производства смертей. Не скучно, полагаю, снайперам: они — охотники, в них — пробуждение извечной души древнего человека, невинного и ясного убийцы. Не скучно разведчикам. Не скучно летчикам, летящим в небесный ад и низвергающим оттуда на землю другой ад. Какая интересная жесткая психология сложится в будущем у таких людей!

— Shell to hell[647], — говорят англичане и на крыле самолета-бомбардировщика рисуют карикатурного ангела с венчиком, несущего бомбы.

Более кощунственного рисунка я никогда в жизни не видела. Какой это был бы материал для совершенно умолкнувшего Союза воинственных безбожников (а где, кстати, этот союз и его, увы, такие неталантливые журнальчики?!)[648]!

— На моем счету сорок два фрица! — говорим мы и широко и ясно улыбаемся добродушной мордой широкоскулого парня в пилотке или веселыми глазами крепкотелой девушки в воинском берете.

Немцы, вероятно, тоже что-нибудь говорят:

— Товарищ Ленин, давайте скорее «война войне!»...

В город вернулся Большой Драматический театр[649]. Снова здесь и старенькая Грановская (такая неувядаемая и обворожительная до сих пор), и милая Кибардина. В том же здании ставят новые и старые вещи при запиханном публикой зале. Не была. И, вероятно, не пойду. Не хочу театра. Как-то в апреле, в нежные сиреневые сумерки с золотистой луной, возвращалась с Ксенией после симоновского «Парня из нашего города»[650] — и обеим было грустно, и страшно, и обездоленно пусто.

На сцене неплохие актеры изображали махровое цветение советского мещанства, внедрение его в быт и утверждение в быту — причем, по замыслу автора и трактовке режиссеров и актеров, никаких мещан в пьесе не было.

В зале сидели и смотрели на сцену великолепные представители породы советского мещанина и — где надо — то ржали, то вздыхали, то умилялись:

— Ой, не могу! Ну до чего же это...

На сцене были, в сущности, не очень плохие, только шибко глуповатые и уверенные в своем превосходстве люди. В зале сидели тоже такие же люди — девицы в шелках и в фальшивых бриллиантах (кстати, теперь «модный» женский Ленинград взбесился на искусственных камнях и даже из тэтовских пуговиц умудряется делать серьги и броши! Война, война, ничего не поделаешь — страсть к побрякушкам!) и молодые люди в погонах и без таковых. Все были очень довольны. Вид у всех здоровый и радостно-безмятежный. Смеются, ковыряют пальцем в зубах, жеманничают, перекликаются через весь зал. Очень много смеются — смех здоровый и легкий. Я смотрела на них с благожелательным юмором и любопытством иностранки.

(Есть такой стишок у Ахматовой о нашем городе — умный, невеселый и понятный мне[651].)

Я вдруг почувствовала себя очень старой и всем чужой. Осознание своей нужности вдруг колебнулось.

— Новое поколение! — сказала Ксения, думая то же.

— Новое и незнакомое, — добавила я.

— Ужасно! — вспыхнула она. — Боже, какие мы с тобой старые! А они — чужие, чужие! Неужели во имя вот таких ведется война, проливается кровь, гибнут — нет, уже погибли! — лучшие, самые лучшие.

— После мира жизнь будет принадлежать им, — сказала я, зная, что говорю правду, — после мира придет их царство. Они — это будущее, дорогая! И вот для этого будущего мы с тобой работали и будем еще работать.

Ксения задумалась, нахохлившаяся и детская.

— Очень страшно! — сказала она. — Но ведь и мы им чужие, совсем чужие. Кто мы для них, как ты думаешь?

Я ответила очень честно:

— Мы навоз, на котором они выросли.

— Неправда! Мы не навоз! Мы — люди творческого и созидательного труда. С нами строилась наша земля.

— С нами-то она, может быть, и строилась, но в основном все наше творчество послужило только удобрением для советской земли и для нового человеческого урожая. Они на этой земле нужнее нас, милая! Они цельнее и проще. Им нечего помнить и не с чем сравнивать. А отростки критики и фантазии в их мозгу атрофированы благомыслящим влиянием сферы произрастания и философским климатом.

— Ужасно! — повторила Ксения.

С этого вот сиреневого вечера мне что-то не хочется больше ходить в театры. В кино лучше: там темно и ничего, кроме экрана, не видно!

С этого же сиреневого апрельского вечера я вошла в полосу депрессии — социальной депрессии, если можно так сказать, — и пребываю в ней до сих пор. Мне даже не больно; мне только очень грустно и очень пусто. Ведь все время казалось, что я нужна, что я являюсь какой-то социальной необходимостью в ее индивидуальном воплощении и что я делаю что-то нужное и большое.

А теперь вот не знаю. Ничего не знаю.

Если все впустую — жаль. Очень жаль.

Урожай новых человеков, выросший на мне, кажется мне чудовищной и паразитарной нелепостью. Это — когда я говорю от себя. И исторически и диалектически все это оправдано, все это и закономерно, и целесообразно, и естественно.

«Нам время тлеть, а им цвести»[652].

И никто не виноват в том, что я терпеть не могу герань, тюлевые занавески, воскресные пироги и субботние бани, и все то, что внешне характеризует **его величество великого мещанина** всея Руси.

О внутреннем я уже не говорю. Нет ничего страшнее духовной и моральной сущности обывателя.

Да. Время гераней... И вот такие гераненные типы сражаются, сажают овощи, проводят под ливневыми обстрелами лесозаготовки, стоят на вышках во время воздушных налетов, мокнут в болотах на торфе, выслеживают биноклем и пулей врага. Такие вот — а не другие — отстояли Ленинград и с присвистом на сотни километров отогнали германские армии из-под Сталинграда и с Волги. Такие вот — а не другие — не разучились смеяться за двадцать месяцев блокады города, ходить в театры, завиваться, бегать к парикмахерам и заводить примитивные «блокадные» романы.

По-видимому, это очень хорошо.

Русский человек — живучий и терпеливый. А выносливей и веселей русского человека, по-моему, и на свете никого нет!

Июнь, 5-е, суббота. Ул. Желябова

Вчера к вечеру — Дом писателя. Татика, Катцер и я (кстати, нужно где-нибудь записать о Катцер — удивительно интересное поле для наблюдений и выводов: старуха влюблена в молодого инженера, очаровательного мерзавца, видимо!). Глупый и забавный английский фильм «Midnight»[653] с польски-

ми надписями (львовские трофеи!): туалеты и обстановка умопомрачительны и гнетущи своей бесстыдной несовпадаемостью с окружением сегодняшнего дня. По пути на улице Воинова болтаю вздор и веселюсь почти искренне — дивное небо, дивная погода, дивный воздух! Зелень неестественно яркая и чистая. Воздух неестественно свеж и нежен. Строгая четкость петербургского пейзажа полна такой красоты и такого вневременного великолепия, что я не могу не сотворить обычной молитвы:

— Святому дьяволу Петербурга — слава!

Я пополнела. У меня сейчас красивое тело. У меня очень посвежело округлившееся лицо. Прежней восковой бледности нет. Я седею, я плохо себя чувствую, начинающаяся полнота идет не от абсолюта здоровья, а от рано нарушенного обмена веществ — но я еще хороша. Пожалуй, такой красивой, как сейчас, весной и летом 1943 года, я не была уже много-много лет. А может быть, и никогда. (Я говорю о последних годах, а не о днях моей сверкающей молодости.) Смотрю на себя в зеркало, щурюсь, улыбаюсь — из зеркала смотрит на меня новая женщина, не я, похожая на меня, но физически чужая мне.

Думаю о маме — о том, что ей всегда хотелось видеть меня внешне такой, какая я сейчас. Без косточек, без трагической худобы бессильных рук, без фантоматической прелести обреченных на гибель. Вспомнила на днях и о Вас, мой милый спутник последних мирных лет, — вспомнились даже Ваши прекрасные глаза, в которых жили поэзия, нежность и порок. Глядя на себя в зеркало, расхохоталась — одна в пустых комнатах, где больше нет запаса шампанского, английских сигарет и любимых Вами роз.

Если бы я знала твердо — но очень твердо! — что Вы все-таки когда-нибудь вернетесь, я бы теперь взяла себе любовника, чтобы тот немыслимый букет из тернов, который я приготовила для Вашей встречи, имел бы свое завершение. Я бы Вам сказала, что в моих подземельях терновник дал алый, алый цвет — и что я сорвала этот алый цветок для Вас.

Это Вам, кроме всего другого, послужило бы темой для персидских строф!..

Любовником моим стал бы чужой мне человек с неопределенным прошлым и туманным настоящим: у него холодные, веселые глаза, жестокий оскал великолепных зубов, легкое тело спортсмена и страшные руки убийцы. Когда я смотрю на него, я всегда вспоминаю о Вас. Может быть, вы могли бы быть друзьями — Вы и он! — а мне остро и хорошо было бы сидеть между вами, пить вино, опустив ресницы, и выбирать пластинки — то английские, то французские.

— Speak to me of love...

— Parle moi d'amour[654].

На одной пластинке мужской голос поет эту трогательную песню сразу на двух языках! Пластинка эта Ваша. Теперь она у меня. Она — почти символ.

После кино ухожу с Гнедич к себе, а не на Желябова. Вызов по работе. Ласковое небо. Тепло. В Доме писателя был митинг, посвященный займу, короткий и культурный. Вяло. Как всегда, мямлил что-то Лихарев; умно говорил Левоневский. Желая вызвать всех на соревнование, вдруг публично похвалил сам себя Авраменко. Вера Инбер выступала уверенно и с большим ощущением собственной славы, словно «Пулковский меридиан» переименован в Меридиан Веры Инбер[655]. Потом читала свои займовские стихи Вечтомова, и ей много хлопали: она очень хорошо читает. С подъемом и страстью (так, словно поет цыганский романс!). Неважно, чтó поет. Важно — как. А получается здорово. Quod erat demostrandum![656]

Дурацкие частушки дурацки продекламировала дурацки выглядевшая Колпакова[657].

Гнедич же остервенело готовила в недрах Дома писателя «Бюллетень», посвященный займу, и в своей статье, которой похвасталась мне на улице (неплохая статья!), допустила ошибку... от разгона, видимо! Перечисляя мининские[658] настроения советских народов, несущих в фонд обороны все, что они имеют, — колхозное зерно, стахановские рубли, сталинские премии, сберкассовые начисления, бытовое золото, домашние сбережения и прочая, — она прибавляет: «Патриаршие панацеи».

— Что? — удивляюсь я. — Панагии, вероятно! Не патриаршие, а митрополичьи.

Она замирает в ужасе. Досадный ляпсус, который, может быть, удастся свалить на вечную машинистку! Смеемся. По дороге покупаю хлеб. Вхожу в квартиру — пусто, никто не ждет, распахнутые окна, вянущая зелень в вазах, запах сырости. В моей квартире жильем и домом больше не пахнет.

До белоночных сумерек занимаемся с Гнедич японским. Я не могу сказать, чтобы я начала изучать японский язык, нет: я изучаю японские иероглифы и каждый раз поражаюсь глубокому и таинственному философскому смыслу их начертательной письменности. Прекрасная работа для мозга.

Некоторые иероглифы волнуют до слез: тревожиться, грустить — составной иероглиф из двух: ворота и сердце. Сердце в воротах. Совершенно изумительно. Есть иероглифы, как маленькие поэмы.

Потом, около 11-ти, приходит усталая Валерка, изнемогающая под тяжестью картошки, которую ей дали на службе для огорода (у девочки огород,

она восторженно работает, радуясь тем будущим овощам, которые она принесет «домой», то есть ко мне, для Гнедич!). Пою ее какао и гоню спать. Она засыпает от утомления, но протестует:

— Ну, еще немножко... мне так интересно с вами... я вас никогда не вижу... Расходимся около полуночи. Сплю прекрасно. Ночной — обычной за последние месяцы — тревоги не было (а может, и была — я теперь сплю крепко и ничего не слышу!). Утром приходит в синюю комнату Гнедич, пудрится. Разговариваем, а потом читаем по-немецки «Фауста» и делаем любопытные открытия и аналогии. Надо будет вписать сюда гениальное определение Обывателя, которое дает Гете[659]. Точность и четкость определения делает из него математическую формулу.

15 июня, вторник. Ул. Желябова

После недели, проведенной у себя дома, в работе, в людях и в какой-то домашней ерунде, выехала сюда в субботу вечером, но в трамвае встретила Ксению, и Ксения затащила меня к себе. Был очень теплый солнечный вечер, было очень хорошее, нежное небо, был канун Троицы. У Ксении пила чай, слушала пластинки, бил озноб, самочувствие было тяжелое: 39°. Ночевала у нее — плохо, с бредовыми снами. К 8 утра Т° спала до 37,8. Ничего гриппозного. Видимо, просто модный ленинградский авитаминоз. Желудочные боли притом.

Утро у Ксении — в одиночестве. Она, розовая и светлая, вся в светлом, нарядная и торжественная, словно в церковь собралась. Но идет просто в свою рационную столовую. А я остаюсь одна, еле брожу, ослабевшая и больная, по ее квартире в доме Иезуитской коллегии, медленно одеваюсь, медленно причесываюсь (болят волосы — как и всегда у меня во время болезни!). Читаю Пастернака и Ахматову. За громадными окнами большой тихий двор, много солнца, много неба: Троица — всегда в такой день память о каких-то цветах, о белых платьях, о пыльном солнечном луче в костеле, о кадильном дымке, голубым облаком вступающем в луч, о мажорных гимнах и органных рокотах. Детство, детство... ранняя юность, растоптанные цветы на каменном полу... Отошла от окна. Почудилось: снаряд попадет во двор.

Нахожу стихи Ахматовой, о которых вспоминала на днях в этой тетради:

Тот город, мной любимый с детства,
В его декабрьской тишине
Моим промотанным наследством
Сегодня показался мне.

Самая замечательная и страшная строфа вот эта:

Но с любопытством иностранки,
Плененной каждой новизной,
Смотрела я, как мчатся санки,
И слушала язык родной[660].

Это вот подмечено у нее умно, тонко и горько. Сборник «Ива» — 1940[661]. Показательно. Писать ей уже не о чем — и, пожалуй, довольно[662]. Причины, собственно, не социальные, а физиологические: климактерия. Но физиологические причины она заставляет причинами социальными (так прелестней и трогательней — авось когда-нибудь Запад вздохнет — «ах, какая поэтесса пропала!»). Она большой поэт, очень большой и настоящий, но весь гений ее от пола и его функций. У нее расстрелян первый муж[663] и выслан единственный сын[664], но для ее творчества и творческой жизни (во всем ее комплексе) это гораздо менее важно, чем угасание сексуального горения в ней самой. Она — только женщина. Даже не мать — мать она была (именно БЫЛА) странная. Сын говорил о ней как о хорошей и милой знакомой, как о старшем товарище. Сына воспитывала бабушка — мать Николая Степановича[665]. Потом он жил один, и Ахматова к нему заходила — в гости, потолковать, послушать его стихи, рассказать о новой Анне в жизни Пунина[666], ее третьего мужа.

Теперь она где-то на юге — в Средней Азии, кажется. Сходила с ума от немецких бомбежек в 1941 году — говорят, боялась выходить из убежища. Увезли на самолете[667].

Помню ее так четко: 1919—1921: Дом литераторов и Дом искусств[668] — четки, синее платье, бурый мех на плечах, альтмановская зарисовка[669]. И позже — встречи в филармонии, в театрах, на Моховой, у поэтов, во «Всемирной литературе». Мы не были знакомы, но обо мне она знала многое и не любила меня. Со мною тогда почти все время бывал Замятин — а я была красивая, молодая, я ему очень нравилась (или чуть больше), и он мне очень нравился (или чуть больше). Ахматова недоброжелательно и холодно посматривала на меня своими длинными глазами. Замятину же, неизменно подходившему к ней при встречах, говорила всегда одно и то же:

— Не благословляю!

Он, смеясь, передавал это мне — тоже всегда. А я расстраивалась, и мне делалось грустно. Ахматову ведь я так любила, я мечтала о беседе с ней как о высшей милости судьбы. Но судьба оказывалась жестокой: Ахматова меня

видела, знала мое лицо и мое имя и не хотела меня. Глядя в мои глаза, такие блестящие, в которых жили, жили ее строки, она говорила чуждо и отстраненно:

— Не благословляю!

Тогда мне было очень больно, и я не понимала, что все (**все**) заключалось в том, что я была хороша, что во мне была сверкающая юность и что я нравилась Замятину. Женщина... женщина!.. В то время, однако, я этого не понимала.

20 июня, воскресенье, ул. Желябова

Как будто поправилась: температуры упали, желудочные явления почти прекратились. Чудесная погода, чудесное небо — тоска такая, от которой можно очень легко протянуть руку к самоубийству. От этого, должно быть, и почти непрерывное состояние безумствующей эйфории, истерической и нехорошей. Когда одна, становится так страшно, что хочется плакать — от страха: перед грядущим миром. Что я тогда буду делать с искалеченной жизнью, которая мне не очень нужна, с радостью мира о мире, о которой мне горько думать, с разбитым домом, который ни восстановить, ни построить я не могу и не смогу. На днях видела сон — мир, объявление о мире, радио кричало о мире. Во сне я заплакала: от счастья и ужаса. Я плакала так сильно, что даже проснулась — у меня действительно было совершенно мокрое лицо, слезы лились неудержимо, пододеяльник и подушка были совсем влажные. Я плакала от радости (мир! мир!) и от ужаса (а что в этом мире буду делать я?). Все будут возвращаться и строить дом. Мне возвращаться некуда и строить нечего и нечем.

Ношу в себе каменистую и холодную бесплодность азиатской пустыни. Оказалась в стране Гоби — далеко от всех, далека от всех, все для меня далеки. Луна. Дикие скалы. Волки. Холодно. И безнадежно пусто... А вокруг Гоби зазеленеют сады, будут цвести настурции и зреть яблоки и клубника, вечерами семьи будут пить чай в липовых садах и говорить об общем прошлом и общем будущем, вокруг Гоби, на военных кладбищах, раскинутся спортивные площадки и возникнут театры и веселые парки, где будут пить лимонад, есть мороженое и танцевать, вокруг Гоби жизнь забьет нормально-бурными и нормально-мощными водоемами, вокруг Гоби люди постараются как можно скорее забыть о войне, о том, что война была, о том, что кончилась, она еще не совсем окончилась.

Как и после 1914—1918-го, окажется очень много ненужного человеческого материала, **оставшегося** неизвестно для чего после войны. Останутся

люди пережившие, видевшие, побывавшие в безднах гибели и смерти и почему-то вышвырнутые обратно в жизнь. Что же они, эти несчастные Лазари, будут делать в жизни, которая отрекается от них (ибо на них все-таки печать другого мира) и к которой у них нет никаких путей — в том, в другом мире, где они побывали, все же было растрачено, отнято, обесценено, превращено в невесомость пыли и могильного праха. У них не сохранилось ни связей, ни дорог, ни, может быть, даже воспоминаний о них. Мир, породивший их и сметенный войною, почему-то решил швырнуть их в новый мир, порожденный войною и укрепленный миром, к которому они не имеют никакого отношения и который, отстраняясь от фантомов прошлого, и с ними не хочет вступать ни в какие отношения.

Вот. Боюсь, что и я **уже** в числе таких Лазарей.

Отсутствие мамы ощущаю все острее и острее — почти с каждым днем. Не с кем говорить. Некому часами читать Ахматову и Рабиндраната Тагора, Самэна, Рождественского и Лагерлеф. Не с кем говорить о музыке, об искусстве, о театре, о литературе, о моих бредах, о моих достиганиях, о моем зеленом луче на Цейлоне.

Я потеряла Единственного Человека.

В жизни моей очень много людей, множество людей, жизнь моя забита народом, как ярмарочная площадь.

Но я потеряла Единственного Человека.

На ярмарочной площади жить трудно: на ней ведь только можно бывать — и то не часто! А я вот живу. Деваться больше некуда. Везде подстерегает тоска, и везде тоска задушит. Оглядываешься на нее, на прекрасную хищницу, и прячешься — за людей, за балаганы, под вихри обстрелов и ревы тревожных сирен.

26 июня, суббота, у себя

Сегодня днем срочная от брата:

«Мобилизован. Уезжаю девятнадцатого. Целую крепко. Брат».

Дата: 17 июня. Час: 18.00.

Прочла в своей комнате, в той, где больше не живу, где жила прежняя я. Прочла. Поняла. Пришлось сесть — на какой-то пыльный стул, на какие-то пыльные тряпки, потому что занималась уборкой. Все поняла.

Страшно. Одна.

Боялась вызвать его к себе, потому что здесь — фронт. А теперь сам будет на фронте. Только на каком-то другом, не на этом. И без меня.

Во всех письмах тосковал, рвался ко мне, кричал, просил, умолял: «Зови!» Не могла. Даже не хлопотала. Даже не поднимала вопросов. Обстрелы. Налеты. Нет.

В письме от 1 июня пишет: «Это не лирика, но клянусь тебе: поцелую порог дома, когда вернусь, и перед тобой упаду на колени». Знаю — это не лирика. Это романтика. Это наша романтика, это романтика нашего Дома и нашей Любви.

Во всех письмах писал о желании попасть в армию. Романтически не мыслил переживать войну в бездействии. Романтически писал о доблести, о славе, о победах.

Эдик, Эдик, ребенок мой — сын мой — мальчик! О войне, о солдатах, о фронте можно петь песни и слагать стихи. Но солдат на фронте — это не песни и не стихи. Это работа Смерти и Ужаса — во всех видах и со всеми нюансами.

Войны не приемлю — никакой и нигде. Война есть только одна, вечная и неоспоримая: война классов.

Огромное множество ходит с медалями. На салатной ленточке сияет кружок «За оборону Ленинграда». Сейчас к ней относятся просто и почти пренебрежительно: ну, всем дают!.. Но я смотрю через годы: какая это будет прекрасная и драматическая символика **потом**! Медаль тому, **кто выжил** и **вынес**. Мне кажется, давать ее нужно главным образом за это! Выжить в Ленинграде и вынести Ленинград — это действительно достойно ордена. Впрочем, это ведь тоже романтика!

С изумлением отмечаю, что в городе — а видимо, и в Союзе тоже — немногие отдают себе отчет, что роспуск Третьего Интернационала и ликвидация ИККИ[670] являются самым важным событием за все время войны. Ничего значительнее этого не было. Очень много и пространно думаю об этом. Кругом говорят, что нужно ждать еще каких-то необыкновенных событий: будто в Москве объявлен негласный конкурс на гимн, которым необходимо заменить уже отживший Интернационал, будто предполагается перемена государственного флага — возвращение старого трехцветного с угловым гербом Советской Республики. Много говорят.



Свадебная фотография родителей С.К. Островской



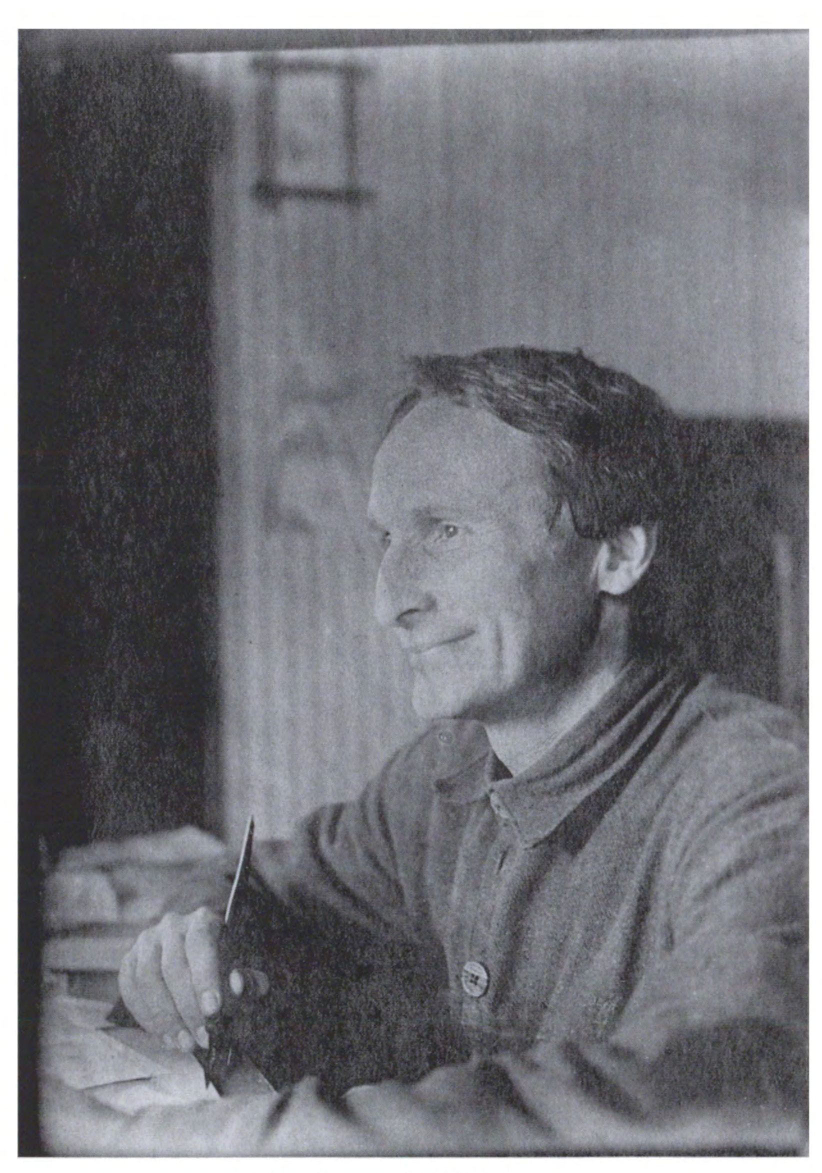
С.К. Островская с матерью и братом Эдиком. 1910 г.



С.К. Островская. Начало 1920-х гг.



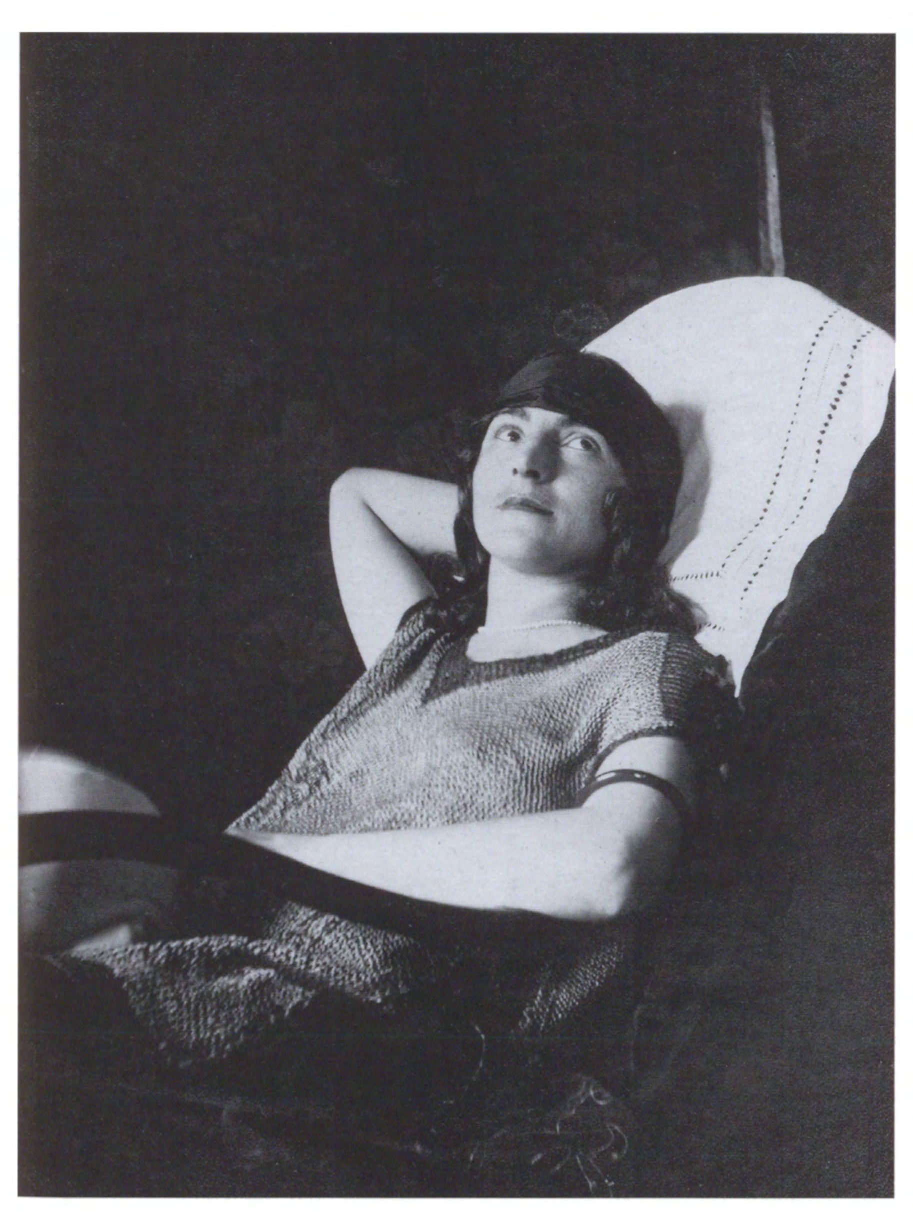
С.К. Островская. Начало 1920-х гг.



И.А. Боричевский. 1930-е гг.



С.К. Островская. 1920-е гг.



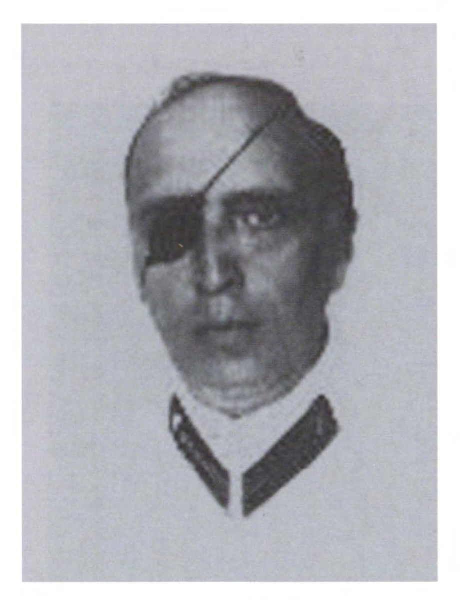
А.М. Оранжиреева. 1930-е гг.



С.К. Островская. Около 1940 г.



Т.Г. Гнедич. 1943 г.




А.А. Кишкин



Б.С. Петропавловский

Т.Ю. Хмельницкая



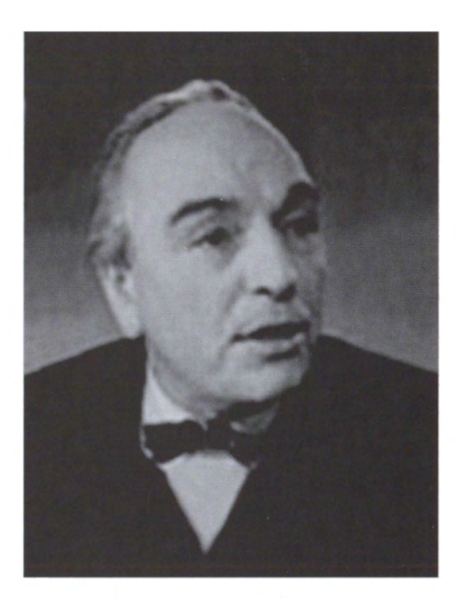
В.А. Рождественский



А.А. Ахматова. 1945 г.



Т.Г. Гнедич. Конец 1950-х гг.



Л. Уинкотт. 1960-е гг.



А.М. Оранжиреева. Конец 1950-х гг.

А.А. Ахматова и Л.Н. Гумилев. 1960 г.

Все не так и не то. О блокадных днях вспоминаю с благодарной нежностью: воля к жизни была, внутренняя тишина от близости ежеминутной смерти, внутреннее благородство. И каждая улыбка — ценилась на вес золота. Теперь старое: не так и не то.

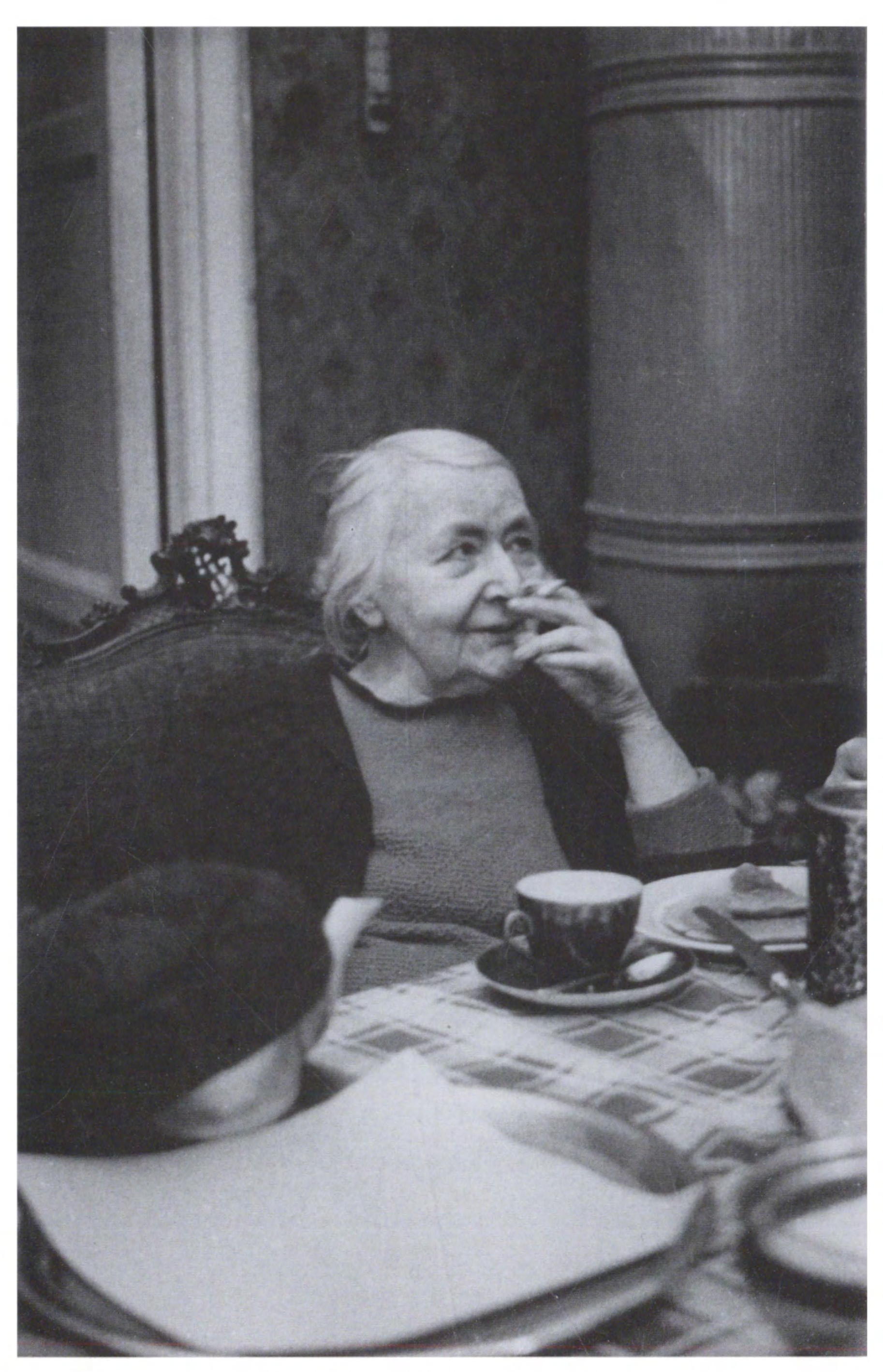
Странные отношения с Ахматовой, полные большой волнующей прелести. Игра, конечно — и она м.б. Знает, что любуюсь ею, что ценю ее — и, через меня любуется собою, ценит меня. И не только это: мне памятны пути

... дороги Китежа зеркальные...

какое-то понимание с полу-слова, со взгляда, с неоконченного жеста. Говорит со мною много — и интересно. Блестящая женщина. И: très femme.

С братом — по старому, труднее, чем до войны, потому что от своих ушла мать. Он меня и любит и боится — как и прежде. Говорим очень мало — всегда о внешнем, о незначительном. Ему со мною и неуютно и связанно. У меня он гораздо больше

Страница дневника С.К. Островской. Запись 12 апреля 1945 г.



С.К. Островская. Начало 1980-х гг.

В газетах и по радио говорят о России, о русском человеке, о священном патриотизме, о Дмитрии Донском и Александре Невском. Православная церковь собирает миллионы, и на эти миллионы оснащается танковая колонна имени Дмитрия Донского. Кутузов и Суворов вошли в почетнейшие ордена. На улицах сверкают погоны. Командиров нестрашно и неоскорбительно называть офицерами. Умная теория о переходе количества в качество, чего обыватель, конечно, не понимает. Обыватель даже и удивляется мимоходом, занятый больше рационами, выдачами, обменами, дровами и блокадными блудами:

— Опять все старое... только похуже!

А вот войну с обывателем вести нельзя: верный проигрыш!

В Ленинграде появились голуби. Суеверные люди вздыхают и пророчат мир. Ветвь оливы у всех на уме — ведь устали!..

Мне голубей не надо. Я бы хотела увидеть кошку — самую обыкновенную дворовую кошку всероссийской масти: чтобы она деловито и медленно переходила через улицу или жмурилась бы на солнце, выглядывая из подвала. Тогда я пойму, что нет больше ни голода, ни блокады. Я, может быть, заплачу, если увижу кошку, я же не знаю.

Много новых знакомых. Постоянное отсутствие времени. Постоянная толчея.

Ночь на 30 июня, ночь на среду, 0.55

До этой войны в доме — в Доме — всегда было много вина, и в последние годы я пила вино много и часто. (Жизнь так складывалась — может быть, без вина и жить было бы нельзя?) А вина были разные — и наши, отечественные, дорогая густота сладкого Салхино и Саамо, подделки Икемов и водички Рислингов, веселое и легкое «Советское шампанское», приторные химические ликеры, неплохой портвейн 777, редкие блаты «Букеты Абхазии» и настоящего кахетинского и простая водка, настоящая, очищенная, белая. И другие были вина: английские добротные джины и виски, божественные нектары Франции, испанские хересы, французское шампанское, восхитительные аперитивы — Martini et Cinzano, — чудесные коньяки и ром с Ямайки, который при послеобеденном кофе наливается в узкие рюмки.

Все — было.

И тогда часто мелькала мысль: «А можно ли пить в одиночестве — в тишине и пустоте? Может ли пить человек один, только для того, чтобы пить?»

Мысль мелькала поздними часами ночи, когда царила бессонница, когда тело хирело от страсти ненависти и боли, когда температура давала дикие скачки, лицо было воскового цвета, а слабые руки, прекрасные, холеные и бессильные, с равнодушной обреченностью любили цветы, шелка и нежность светлого тела.

Все это — было.

И вот сегодня, впервые за всю жизнь, я пила водку одна, совсем одна, в тишине, в одиночестве, в пустоте навсегда умолкшего дома. Руки мои пополнели и потеряли свою изысканную красоту портретного рисунка. Бедра мягко округлились и в силуэтной тени дают чувственный и нежный абрис греческой амфоры. Отяжелела талия и поднялась пополневшая грудь. Лицо перестало поражать трагичностью воска, оно свежо, и на нем смуглеет летний здоровый румянец. Болят только отекающие ноги, и шатаются от цинги все зубы.

И вот такая — такая! — впервые за всю жизнь я пью водку в одиночестве.

Пустая квартира — темные пыльные комнаты — голые окна — электричество, которого не было полтора года! — и которое осветило теперь этажи паутины, напластования грязи, запустение, тлен...

Я пью водку одна — водку, драгоценность, сберегаемую мною с годовщины Октября 1942 года для обмена на дрова (за пол-литра дают два метра дров с доставкой — найти бы такого вора!). Я пью водку — за тебя, Эдик, брат мой, солдат, ребенок мой, Кюхля[671] моя несчастная, сын мой, сын мой...

— За мое одиночество,

— за прошедшее время моего дома,

— за промотанные дни и вечера,

— за мир, который, может быть, когда-нибудь и будет,

— за дружбу Пушкина и Языкова и за их сложную стихотворную переписку[672], крамольная зашифрованность которой проходила мимо внимательной глупости цензуры («Пусть воспевают вино! Пьяницы...» А какое это было вино, какое вино!.. Испившие чашу до дна познавали его вкус и чародейства в казематах Петропавловской крепости),

— за хлеб, лежащий на столе,

— за хмурое небо, избавляющее от бомб,

— за идущую старость, с которой не знаешь, что делать,

— за письма твои, Эдик, брат мой, за башкирскую муку твою, о которой ни разу и ни в одном письме ты не упомянул, чтобы меня не тревожить, и о которой узнала я только сегодня из полуграмотного письма Елизаветы Комиссаровой, матери трех фронтовиков, живущей по Ленинской, 29, в селе Бакалы Башкирской АССР, в избе которой с ноября 1942-го жил до мобилизации и ты.

Вот это письмо — целиком:

«Бакалы, 4 июня 1943 г.

Здравствуйте, С.К., пишу я вам из далекой Башкирии, хозяйка Э.К, шлем вся семья горячий привет с пожеланием терпения и успеха. С.К., теперь напишу я вам большую благодарность за сына, за ваше старание [NB: мне удалось узнать номер полевой почты, вот и все — а то не знали около года, жив ли...]. Теперь отпишу о себе. Как вы писали, мы коренные жители Бакалов, а Э.К. привел к нам сельсовет ночевать, и он ночевал у нас три ночи, и посмотрела на него и сжалилась, как я мать трех сыновей, которые находятся на фронте. Он был больной, ужасный был у него вид, ето дело было 17 ноября, и весь он был покрыт насекомыми толстым слоем, даже на пальто поверху ходили, а ноги от колена до половины лапы были ранами, забинтованы, на бинте было покрыто, не узнать бинта, и тело было все съедено в сплошную коросту. Меня это так затронуло, я стала ему говорить, как вас звать, и говорить про насекомые, то тогда он заплакал, как маленький дитя, если вы можете, сказал он, то, пожалуйста, меня освободите. Белья, конечно, у него не было, даже не было на нем кальсон, одни брюки худые, ни зада, ни переда, даже стеснялся снимать пальто. Я надела на него своего мужа белье, а его все ложила в печь русскую, а он до багажа лежал в нашем. Он лежал всю зиму в теплом месте на печи, и я ухаживала за ним, как за маленьким. Кормили мы его своим до багажа, у него не было ни денег, ни вещей. Вот наконец пришел багаж, ета подлая старуха [NB: Степанова, Жанна Федоровна, именуемая в этих записках «соседка», француженка, вдова русского врача] не пускала его даже в квартиру, когда он приходил, еще когда не жил у нас. Если придет когда к нам, она ему не давала от порога проходить, не ходите, не ходите, у вас вши. А в дороге свои деньги не расходовали, берегли, а все тянули из него и все вытянули. Приехали в Урманаево, две недели прожили, и Ефимова [NB: племянница Степановой, москвичка, жена морского офицера] ему отказала, ищите, говорит, работу и с общежитием. И он собрался в Бакалы, работал в леспромхозе на кордоне, один маялся и заболел. Когда лежал у нас целый месяц, она к нам и не заглядывала. При-

шел багаж, они хозяину велели привезти, он возил колхозный хлеб, и он им в два раза, первый привез их, а второй ему, и когда он [т.е. брат] узнал, послал меня с доверенностью получить багаж. Она мне не дала. Во второй день он сам кой-как добрел, они живут очень далеко, она ему кой-чиво дала, а потом стали они по деревенькам ездить и менять его вещи. Хозяйкина сестра пришла, ему сказала, что ваши вещи меняют, ей сменили ваш сарафан розовый за 5 пудов картошки. Тогда он стал у ней [у Степановой] просить все, она с гневом принесла остальное, но мануфактуры не было никакой, ни чертовой кожи, ни полотна, ни зефира, никакого шелка, ровным счетом ничего. Вы писали бурки белые... словом, из белья две простыни, 2 кальсон и те давно все худые, а обувь принесли только всю худую. Барометр просил, просил, так и не отдали — словом, ограбили всего, заставили человека ходить в лаптях, что-то сменяли в деревни, как будто ваши 2 платья и обещали 2 пуда ржаной и 2 пуда пшеничной муки и 4 пуда картошек. И дали только 2 пуда ржаной, а 2 пуда пшеничной и 4 пуда картошки съели сами. Не отдали, и теперь Жанна глаза не кажет, а дочка [Ефимова] уехала в Москву. С.К., я бы на вашем месте такой мезской [sic!] старухе грязной бумажие бы не послала, вы на нее надеялись и пустили с ей, как с матерью, а она обделала его, как колдунья. Если бы не я, он говорит, хотел самоубийством кончить свою жизнь — ни квартиры, ни денег, ни родных, ни знакомых. С квартиры на квартиру водили из сельсовета. А она, ведьма старая, и внимания не обращала. С.К., я нисколько не преувеличиваю, потому что я человек старый, и когда встретитесь с Э.К., он вам расскажет, он ведь вам не пишет, скрывает. С.К., это я вам списала не все. Пожалуйста, если получите мое письмо, отвечайте. С.К., не сердитесь, что я так по-крестьянски, по-простому написала. До свидания, жду ответа.

Комиссарова Елизавета Дмитривна».

После такого письма водку пить можно?

Можно.

Даже драгоценную водку «на дрова»?

Даже.

И в одиночестве — впервые за всю жизнь?

Да.

За все это Вы мне ответите тоже, Вы, кого называю спутником последних лет мирной жизни! Как растет Ваш долг! Какой чудовищный долг ложится на Ваши атлетические плечи и на Вашу легкую совесть!

Чем Вы будете платить, милый?

Лишь бы военная судьба сохранила Вам жизнь и здоровье!
Ведь платить-то Вы будете мне...
Как — Вы — мне — нужны...

Три часа утра. Ох, давно не сидела так поздно, давно не писала так много! «Пепел Клааса стучит в мое сердце...»

За окнами серая ночь. Дни идут уже на убыль. Тучи. Тишина, нет дождя, нет самолетов, нет тревоги. Думаю: в каких казармах и на каких нарах валяется теперь мой брат, боец Красной Армии, больной, замученный, поэт, Кюхля, мечтатель, Парсифаль[673], юродивый, жертва, бессознательная жертва.

Думаю, думаю... о многом думаю.

О Ленине, антимилитаристические цитаты которого вымарываются теперь цензурой. О строго-секретном приезде в город военной миссии (или делегации), которую Жданов угощал в Смольном, а потом показывал ей кино: американцы молодые, рослые, красавцы — хохочут, чувствуют себя хозяевами! Обследовали, кажется, фронт, который в наступление **не двинется** (нет смысла!). Думаю о чудесном городе Пушкин, которого больше нет (рабочий с «Большевика», славный парень и спекулянт, торговавший у меня туфли для жены, живет в Усть-Ижоре: с крыши дома в бинокль виден город Пушкин — этим летом почему-то не видно больше золотых глав часовни Екатерининского дворца — и дворца не видно... Ах, может быть, замаскировали! Город Пушкин не только моя душа — это и мое тело). Думаю о том, что сегодня вечером, провожая к траму седую подпольщицу из Смольного[674], **впервые** за эти годы осады увидела на улице дистрофического человека, прогуливающего собаку — настоящую, живую собаку, худую и медленную немецкую овчарку. Около остова Физиотерапевтического института — а остов пахнет трупом! — я остановилась, потрясенная, и счастливо улыбнулась собаке, живой, настоящей собаке! Дистрофический человек меня не заметил. Собака оглядывалась на меня и недовольно поваркивала. Я стояла соляным столбом и смотрела на собаку. Живая. Настоящая. Ходит. Нюхает землю. Ворчит. Чудеса!

О многом я думаю, о многом. Тяжело мне.

Пушкин и Языков перекликались в печати крамольными стихами, тонко зашифрованными для цензуры. Боратынский талантливее и глубже Пушкина. В Языкове острота политической иронии, которой был лишен безмятежно-эпикурейский гений Пушкина. Земное солнце пушкинской песни

затмило все звезды литературного небосвода его эпохи. Среди звезд были, вероятно, и Сириусы. Никто — даже Блок — не пел нежнее и слаще Пушкина. Это — непревзойденный соловей русской поэзии. Но Боратынский и Языков — в особенности Языков — перекликаются с нашими днями мыслью. И это, может быть, важнее и существеннее песни.

Где-то слабо покрикивают паровозы.

Боже мой? Право сесть в поезд и безмятежно, и тихо, по-дачному, добраться до какой-нибудь станции! Как все это было далеко! Как отдыхали ленинградцы от этого права — хотя бы дачного поезда.

Все подъездные пути к Ленинграду, как железнодорожные, так и водные, подвергаются жесточайшей бомбежке с воздуха и артобстрелу. Недавно один мой знакомый возвращался с Большой земли в Ленинград: под Волховом ВТ длилась 4 часа, поезд стоял. Людям некуда было деться, вокруг поезда, на расстоянии от 15 до 50 метров, упало 60 фугасных: «Славен город Петроград!»[675]

А сегодня в 1943 году — Ленинград — ночь на 30 июня, облачное низкое небо, тишина, я — одна. Мать умерла. Брат — эвакуирован и мобилизован. Я — одна. И я молюсь.

— Господи, Господи, ты говорил «мне отмщение»... Подари же право отмщения мне, мне, не знающей тебя и не приемлющей, мне — товарищу твоего бедного, бедного сына, казненного и обесчещенного! Подари это прекрасное право отмщения мне — мне — мне... И мне ответят за твои поруганные алтари и за мой опустевший дом, мне ответят за смерть моей матери, за то, что умерла она от голода и от моего бессилия, — мне ответят за башкирскую муку моего брата, за его вши и за слезы отчаяния у чужих людей, взглянувших на него с материнской лаской, — мне ответят за дни, вычеркнутые из жизни, за ту боль и за те невысказанные скорби, что живут во мне, подобно скрытой раковой опухоли, — мне ответят за все, за все... даже за то, что я выжила. Что я еще жива, что я хочу и буду жить...

Господи, право отмщения дай мне!

30 июня, среда

Вручена медаль «За оборону Ленинграда». Принимая коробочку и грамоту, спросила в предельном смятении:

— Мне?!

Много мыслей, очень печальных и очень тихих. О маме. Об отце. О брате. Смерть. Тюрьма. Армия. Я — одна. Показалось, что человек, вручивший мне медаль, как-то пожалел меня. Может, просто показалось.

Дождь. Очень холодно. Короткий и неожиданный обстрел: видимо, бронепоезд.

Ночь на 2 июля, на пятницу

Валерка уже спит. Гнедич, моя ежедневная собеседница, нелепая и интересная, сегодня ночевать не пришла. Утром забегала Ксения — пили с нею какао. Она читала открыточку от Юрия: никак ему не вырваться с фронта домой! Хорошие, очищающие разговоры с нею — она человек ясный, прямой, устойчивый. Здоровый русский патриотизм. Нарядная, подтянутая, розовая — умница, душевная, любит меня. Меня многие любят, интересно, кто по-настоящему? Впрочем, нет, совсем не интересно. Я, кажется, никого не люблю.

Весь день за работой: машинка. Завтра встану в 6 утра, чтобы сдать работу и попасть к Тотвенам, где у меня совещательная встреча с Лоретт. Она пишет петиционное письмо в Москву американскому патеру, который, собственно говоря, должен был бы помочь здешним француженкам еще два года тому назад[676]. Меня это дело не касается: все церкви могут жить сами по себе, как я живу сама по себе. Я должна только проредактировать ее письмо и добавить какие-нибудь изысканные гирлянды. Это мне ничего не стоит — мне, вечному ходатаю по чужим делам. Ксения же с американским пастором, благополучно проживающим в Москве и даже не подумавшим ни разу за все время войны о здешних его коллегионерах, просто умилительна: какой великолепный рассказ можно из этого сделать! Я бы вот написала — так, как мне хочется, в тонах франсовской иронии и свифтовского сарказма, и послала бы... только куда? Разве что Папе Римскому — непочтительное приношение!

Вчера — Светлана, милая, застенчиво-преданная, но скучная. Седая, с абиссинскими глазами, с кривой улыбкой, со смехом мальчишки. Забавная. Оживляется, когда говорит о своих любовных делах в прошлом, которым несть числа. Считает себя циником. Пожалуй, не так — просто очень звериная, очень примитивная, очень «древняя» в вопросах пола (что, впрочем, называется «вопросами любви»). Рассказывает почти с мужским хвастовством, как один из ее любовников возмущенно взмолился:

— В вас нет ни капли возвышенного! Вы — сплошной секс и больше ничего!

Гордится этим. Любопытно, вероятно, послушать ее «обнажения». А может, и нет. Одним в этом направлении дано слишком много, другим слишком мало. Любовный темперамент — тоже талант. И для него нужны и университеты, и консерватории.

Читаю гиль. Между работой, в хозяйственных антрактах. Накопляется пыль, штопка, уборка. Когда за это примусь — никому не известно. Не хочется. Ничего не хочется. Усталость от войны. Желание мира. И страх перед миром: а как же потом...

Непрестанно об Эдике. Где сейчас, что делает, как ему? Последнее его письмо от 7 июня, прелестное и драматическое в своей тоске по дому: на шести страницах перебирает, как четки, память о вещах — флаконы на моем туалете, темные портреты в передней, Будда, лампы... все, что было при нем, что пылится и стынет теперь в студенческом неуюте моей сухой и безалаберной квартиры, где женщины не чувствуется.

Странная у меня все-таки жизнь! Недоделанная, незаконченная и вечно забитая людьми и делами. Словно ничего и не делаю — а все некогда, некогда...

Сижу в старом поношенном платье, переделанном когда-то из еще более старого платья мамы. Ползет, лоснится, в пятнах. Вдруг оказалось, что у меня мало платьев: раздала, продала, обменяла, отправила в Башкирию с Эдиком. Скоро год, как не была у парикмахера, чтобы постричься, и скоро два года, как перестала завиваться. Украшаюсь домашними папильотками, делаю ресницы, крашу губы — и иногда зло и весело улыбаюсь себе в зеркало. Полнею, округляюсь, хотя сливочного масла не видела уже несколько месяцев. Но когда же я ела столько хлеба и каши! Да никогда в жизни! Еда простая, здоровая (ну, скажем так!), сытная и скучная. Хотелось бы фруктов, конфет и хороших папирос. И может быть, хорошего вина. Хотя это и не так существенно.

Какая глупая запись в дневнике!

На фронтах еще тихо. Мы все ждем Второго фронта. Оккупированные страны, видимо, ждут тоже. А Черчилли и Рузвельты говорят... и обещают, обещают... и хвалят нас, хвалят...

Неужели умер д-р Рейтц? Неужели и эта дверца навсегда закрылась передо мною? Что же это такое, Господи, Господи! С кем же я буду летать?

Не надо думать о будущем — нехорошо, не полагается, не следует. «Будущее — это послезавтра», — остроумно говорит критик Хмельницкая, которая еженедельно, как ласковая, но не очень доверчивая собака, прирученно приходит ко мне вечерами — выпить чай с сухариками (ржаные сухари, наколотые мною и сброшенные в серебряную вазу!) и поговорить о литературе, о писателях, о смешном и трагическом сегодняшнего дня. Приятная женщина. С огромной и тонкой культурой — европейской культурой. Жаль, что так некрасива.

8 июля, четверг, ул. Желябова

Дождь целый день. Прекрасный, чудесный пасмурный день с непрерывным дождем. Тепло и тихо. Вчера было солнце и лето, зато были непрерывные обстрелы, грохоты: активизация фронта, как говорится! Сегодня налета нет — и тихо. Под дождем, под дырявым зонтиком приехала на Желябова. Вечер. Банный день. Возможно, и я приму ванну. Здесь письмо от брата. Такое:

«Дорогие и уважаемые Станислав Антонович и Нина Станиславовна, благодарю Вас за Вашу заботу и ласку, за дружбу и любовь к моей сестре. Сейчас я иду в ряды Армии, меня зовет наша земля, стон угнетенных народов, искалеченные и разрушенные города, раны и кровь изувеченных, слезы матерей и детей... земля зовет, наша земля, поймите меня, дорогие друзья, поймите глубоко, проникновенно и сильно. Я сообщил сестре, что мобилизация — это формальная сторона. А внутренний голос утверждает: ты идешь во имя тех дней блокады, холода и голода твоего города — ты идешь на великое правое дело: свобода всем угнетенным народам! Ты идешь верным защитником земли — гор, лесов, рек, морей и озер. За кровь и слезы. За скорбь и раны, за обугленные трупы людей и зданий, за смерть лучших людей, за смерть близких, братьев и сестер по Ленинграду, за смерть моей мамы — я иду в ряды нашей сплоченной, монолитной, несокрушимой Армии. Да, мои любимые, иначе я думать не могу, не хочу и не умею. Моя большая просьба к Вам, мои родные, будьте рядом с сестрой, не оставляйте ее в одиночестве. Ваша ласка, доброе, дружеское отношение к ней в дни полного одиночества будут сердечным ответом на мой голос к Вашему сердцу и душе. Желаю Вам здоровья, энергии, сил, солнечно-радостных дней успо-

коенности и тишины. До скорой встречи в нашем городе, когда слова Победа и Мир прозвучат голосом диктора. Жму Ваши руки, друзья мои.

Эдуард».

Дата: 18 июня 1943 года.

Бакалы. Башкирия.

И приписка: «Новый адрес сообщу, когда прибуду на место».

Все. Какой великолепный романтик! Какая прекрасная чистая душа — идея, служение идее, высота, горение. Рыцарство. Поэт-воин. Польская душа прадедов, та польская душа, которая превратила войну в праздник, в песню, в божественно-очистительный подвиг.

Пусть так. Видимо, не его мобилизация, а он все сделал для того, чтобы мобилизовали его. Еще раз: пусть так. Пусть помогает стране, пусть защищает страну, поэтически и юношески влюбленный в большие и вечные слова: Мир — Свобода — Правда — Справедливость.

Веками миллионы людей умирали за эти слова. Верили и умирали. Хорошо, что верили. Вера — это так важно! Это величайший двигатель, это совершеннейший архимедов рычаг, это непревзойденный чудотворец.

Очень счастливы те, кто обладает даром веры.

Теперь уж я окончательно одна. Мне даже заботиться не о ком! А обо мне и подавно никто не заботится. Впрочем, я этого почти не чувствую — я же привыкла. Единственная забота, которую я знала и ощущала, это была забота матери: мамы и тети. Я потеряла эту заботу. Она невозвратима и незаменима. А ничего другого в моей жизни и не было: все то, что было, несущественно и of no importance[677]. Люди мне дарили конфеты, цветы, изысканные папиросы и драгоценности. Это тоже называлось заботой. Я-то, правда, называла все это иначе. Меня сторговывали, меня покупали или мне платили. При чем же тут — забота!

Дома. Работа. Хозяйство. Чудесные тригорские вечера и ночи[678], утренние часы за самоварными кейфами. Гнедич ко мне все-таки привязана. И я привязана к ней — за те интеллектуальные ступени, на которые могу подниматься только с нею, за то наслаждение пониманием и проникновением в литературу и искусство, которое так легко и так чудесно достигается только с нею[679].

Талантливый она человек, умный и острый, с оригинальным и живым мозговым вымахом, с интересным и очень высоким интеллектом. Но кончит она плохо. По-русски плохо — знак Сатурна.

14 июля, среда

Сегодня два года, как мы виделись с Вами в последний раз, мой милый враг! Был день взятия Бастилии, было начало войны — в моей квартире был Дом, еще жили уют и прелести комфорта, были шампанское, цветы, хорошие папиросы и хороший обед.

Я почти не помню, как прошел этот день. Я знаю только, что глаза Ваши были прекрасны, как и всегда, что я с Вами ссорилась и ненавидела Вас — тоже как всегда! Вы много плакали из-за меня, милый, — отточенная верность моих слов всегда ранила Вашу нежную Душу. Вы говорили мне какие-то необыкновенные и высокие слова и заранее преклонялись перед моим будущим героизмом в тяжелые месяцы вспыхнувшей войны.

Вы говорили мне чудесные и головокружительные слова о любви и преданности. Вы звездами и жемчугами вышивали для меня годы грядущего мира, нежность Ваша была полна трагической страсти и печали перед разлукой.

Но голова у меня не кружилась. Во мне не было другой любви, кроме любви-ненависти. Во мне горело холодное и синее-синее пламя **собственной** жизни.

— Я вернусь! — говорили Вы за столом, растроганный событиями, любовью, семьей, которую, кажется, Вы действительно любили, и розовыми и теплыми огнями Вашей **собственной** жизни, — о, как мы все тогда будем счастливы!

— А когда же Вы думаете вернуться? — спросила я.

— После победы... не раньше, чем через два года!

За столом наивно разволновались мои, которых сегодня — через два года! — нет со мною рядом.

— Пожалуй, будет поздно, — задумчиво сказала я, — будет голод, будет невиданный ужас. Я не знаю, сумею ли я удержать в жизни моих!

Тогда Вы еще раз построили эфемерную башню из больших и патетических слов, которыми Вы так богаты. Вы убеждали моих и меня:

— Если она останется с Вами, мамочка, и с Вами, Эдик, будет все хорошо! Она спасет и сохранит, она найдет выходы из всех положений — даже если город возьмут германцы! — она не даст в обиду, она защитит.

Моих Вы убедили — почти убедили.

Меня же не убедили никак — я смеялась.

— Что же мне делать? — спросила я.

— Ждать.

— Чего?

— Меня и будущего со мною!

Помню, что тогда я хулигански свистнула, оскорбила этим Вас, рассердила доброе сердце мамы и огорчила сверкающий оптимизм брата.

За столом Вы заплакали.

И помню еще: испуганный и поколебленный моим поведением того дня, раненный моими словами, не находя во мне ни поддержки, ни веры, ни дружбы, Вы начали истерически цепляться за моих, спрашивая — но они-то, они верят в Вашу любовь, в Вашу преданность, в Ваше служение мне и моему Дому. Никто не успел ответить: пророчествовать начала я (и помню, было это в передней — у двери).

— Верьте, верьте ему! — говорила я. — Он — белый рыцарь, он — святой воин, он — прекрасный принц из сказки! Вы будете здесь подыхать от голода и корчиться от голода и ужаса, а он за вас будет вкусно и долго молиться и умиляться собственному благородству! Ты, может быть, умрешь, мама, — но зато какие дивные траурные мессы тебе обеспечены, когда он узнает об этом. Какие некрологи будут написаны, какие речи произнесены. Какие горячие слезы пролиты! Ты, может быть, сгинешь в окопах, Эдик, тебя съест вошь и газы, но как за тебя будут молиться, на какой пьедестал поставит тебя это любящее сердце, какой посмертной славой постараются окружить твое бедное мертвое существо, которому в мире всегда не было места и которое всегда всем мешало!..

Тогда все испугались: и мои, и Вы.

Я не помню, как Вы ушли. Я с Вами не попрощалась.

— Можно мне прийти в среду, 16-го? — спросили Вы, уходя.

— Приходите, — безразлично ответила я, лежа на диване и глядя на Вас, на великолепного и честного фальшивомонетчика, твердо верящего в чистоту своего золота.

На следующий день Вы уехали, и я Вас больше не видела. Я не знаю, где Вы. Я не знаю, что с Вами. Я не верю ничему, что мне приходится — изредка — слышать о Вас. Помню я только об одном: когда-то в припадке легкомысленного романтизма Вы подарили мне свою жизнь.

Вот это — Ваша жизнь — мне и нужно теперь и будет нужно всегда. Ведь кому-то мне счет подать нужно. Ведь мама умерла — от голода и ужаса. Ведь брата я с трудом вырвала у смерти. Ведь он пережил неописуемое страдание одиночества и бездомной нищеты в Башкирии, ведь скоро он пойдет в окопы!

Я — одна.

Живите, о, только живите, мой милый враг!

Ваша жизнь принадлежит мне! Боже мой, какую потрясающую поэму я сделаю из Вашей жизни.

Мир содрогнется... если только мне будет позволено...

15 июля, ул. Желябова

Несколько дней сплошных беспорядочных обстрелов — снаряды во всех районах города с такими большими и неожиданными интервалами, что отдельные районы «под обстрелом» объявлять по радио было бы нельзя — весь город был под обстрелом, сумасшедшим, нелепым и злым. Сидела дома, работала, видела людей. С оборонных рубежей приезжала Эмилия. Красивая, глупая, похудевшая. Рассказывала очередные «ужасы», к которым все привыкли: о том, что плохо кормят, что женщины «дорабатывают» питание телом, что проституция идет за хлеб и по хлебным нормам (у Горького где-то есть какой-то босяк типа дубровинской сотни[680], говорит: «Дал ей хлеба... а она его подо мной и сожрала весь!»[681]). Ничего нового в этом смысле нет, валютные эквиваленты меняются лишь по времени: хлеб — брильянты — ордер на комнату — рысаки — должность в период безработицы — пара чулок — собственная яхта...

С ночи — дождь, дождь. Татика больна. Катцер тоже. Доктор скрипит. Около полудня ходила платить за доктора налоги — на Невский, в бывшую гостиницу «Гермес», где приютились отделы райсовета[682]. Подружилась с сотрудницами из финотдела, с очаровательной 19-летней девушкой, которая мечтает о кино, но работает фининспектором. Люди меня любят и идут ко мне. А мне люди нужны только как экспериментальный материал. Улыбаться же им и быть ласковой и доброжелательной мне ничего не стоит.

Падал дождь. Ветер рвал белую шляпу и заграничный зонтик Татики. Невский был пустынен и провинциально глух. Страшны облезлые дома с выбитыми и зафанерованными стеклами. Страшен сгоревший остов Гостиного двора. Страшны спешно задекорированные пробоины от снарядов и разрушенные от фугасов дома. «Страшность» всего этого воспринимается уже теоретически, не больше: привычка. Расклеены газеты. Афиши. У кино — очереди. В театры билеты не достать. Густа и чудесна зелень скверов и садов, где растет капуста и турнепс. Трогательны «неогородные» пейзажи скверов, выходящих на Невский, у Казанского и в Екатерининском — скромные и тусклые клумбочки: цветы. Очень хорошо. В прошлом году такие клумбочки меня умиляли и поражали.

Говорят (редакция «Пропаганда и агитация», главный редактор — Аксельрод[683]), что в Ленинграде 600 тысяч жителей, из них 70 тысяч детей. Как много детей, оказывается! Рождаемость все увеличивается: регистрируют ежедневно от 1 до 5 младенцев. Родильные переполнены. Женщины ходят с животами. Армия, армия... Недавно регистрировали двух маленьких фрицев шлиссербургской породы. Один метис родился на воле, другой в тюрьме.

Юные девицы из ЗАГСа остро интересуются воспоминаниями молодой мамы.

— Насильственное насилие, — беззвучно говорит она, и девицы переживают.

Разбери теперь, какой черт держал свечку!

Под Курском и Белгородом — движение: наступают немцы. Мы стоим. По сводкам можно примерно прикинуть масштабы: «Взято 500 танков, побито 200». Сколько же шло?

Англичане высадились в Сицилии — может быть, они это и называют «Вторым фронтом»? Пацификацией и оккупационным «освоением» Италии англичане могут заниматься до следующей весны. А там, бог даст, произойдет монархический переворот, король обидится и скажет: «Не хочу, чтобы Муссолини, хочу чтоб я сам!» — проснется и обрадуется Папа Римский, кого-то побьют, кого-то расстреляют, Италия подпишет мир, который нельзя будет назвать неприятным словом «сепаратный», ибо правительство-то будет другое — и на европейскую землю ступит добротный англо-американский сапог.

Много будет музыки, молитв и колокольного звона. А наши армии попрежнему будут исходить кровью. А в ленинградские жилые дома по-прежнему будут лететь германские снаряды — в домохозяек с буржуйками и в девочек с куклами!

От брата нет ничего: последнее — маленькое и спутанное письмецо из Уфы от 20 июня, полное героических восклицаний и большой внутренней радости. Выжил бы только... бедная моя, бедная, дорогая Кюхля! Светлый, восторженный, нелепый, чистый...

В Новосибирске на рынке продают консервные банки — это посуда. В Сибири, на Дальнем, по всему Союзу — катастрофы с одеждой, мануфактурой, обувью. В Сибири останавливаются заводы: электропроводка зами-

рает без пробок. Пробки срочно — вагонами! — вывозятся из Ленинграда. Горький пишет Ленинграду: дайте 50 кило буры, дайте 50 кило шеллака, оборона страдает! Ленинград спешно дает и улыбается: 50 кило!.. Что же в таком случае происходит в экономическом положении Союза — и вообще, и в частности?

Мир бы нужен, мир — и поскорее!..

А потом заставить Европу поработать на нас, на скифов.

А потом обернуться к Европе блоковской азиатской рожей[684] и кивнуть ей легонечко:

— А мы — IV Интернационал!

Хотела бы дожить до этого — и до многого другого.

Европу я люблю так же, как и Вас, мой милый спутник!

18 июля, воскресенье. Радищева

Приехала к себе в пятницу к вечеру, очень грустная, очень растревоженная, очень неуверенная в своих завтрашних днях. Сдает нервная система: боюсь обстрелов и на улице чувствую себя ужасно, неуютно, торопливо, испуганно — все время слушаю, все время жду: первого снаряда.

Не раздеваясь, походила по пустым комнатам — пыльно, тихо, говорит радио. Механически проверила: водопровод, свет, телефон. Все в порядке. Потом поехала в Смольный, с милой седой дамой ходила по саду, смотрела на огородное хозяйство, на капусту, на картошку, смотрела на стены цветущих жасминовых кустов и на одинокие красные лилии, неизвестно почему нелепо и ненужно возникшие среди турнепсов и свекл. Было очень грустно. И небо было грустное, серое, с продольными тучами, с узкой полосой холодного желтого заката. Слушала милую даму, сын которой тоже призван — тоже, как и мой сын, — но который остается в Ленинграде, потому что у его матери громадные связи и большое положение, потому что она, в отличие от меня, может сделать так, чтобы единственный сын на фронт не попал.

Домой привезла жасмины, редиску и грусть. Неожиданно пришла Гнедич, не знавшая точно, дома ли я. Валерка же знала наверное, что дома меня нет.

А утром, в начале шестого, проснулась от неистового грохота снарядных разрывов. Творилось что-то невообразимое — видимо, мои кварталы были эпицентром обстрела. Слышны отчетливо были и выстрелы — какая-то батарея была очень близко от города. Гнедич недоумевала — уж не вошли ли

немцы в самый город. Сидели с ней на зеленом диванчике в передней, я в шелковом бухарском халате на ночной рубашке и в наброшенной на плечи меховой шубке. Знобило, болела голова. Ни за какие блага я бы не осталась в комнатах, где стекла — хотя и знала твердо, что моя квартира не на подобстрельной стороне (видимо, панорама — вчера и **эта** сторона была подобстрельной, как узнала сегодня — обстрел шел крестовой, с трех сторон, пересечения траекторий шли по улице Некрасова, на которую, говорят, жутко смотреть). За два года войны не было еще такого обстрела (я говорю о нашем районе) по длительности и по силе: все кончилось около 7 часов вечера. И за два года войны я не знала такого физического смятения при спокойной и нормальной работе рассудка. Тело кричало от страха, томления, ужаса перед ежеминутной возможностью гибели. Мозг слушал стихи Шиллера и рассуждал об эллинстве, об отростках эллинского элемента в русских поэтах — легкие отсветы эллинизма в Пушкине, несомненные (мужественные и свободные от греха и грешной чувственности) в Гумилеве, безусловные (ибо «keine Freude schaute sich nicht der Gott»[685]) в Кузмине и странные по вероятиям создания русского вида эллинства в Есенине.

А снаряды свистели и визжали безжалостными и страшными плетями смерти. Думала о ноже гильотины — почему-то. Разрывы были рядом, налево, направо, совсем-совсем близко. Изредка слышала испуганный голос управхозихи, рубенсовски красивой еврейки, полной постельных соблазнов:

— На Радищева... через три дома... горят... все дома на Знаменской... на Некрасова... горит... в почту... в рынок...

А после семи часов, после окончания этих неистовых воплей архангельских труб и жутких провалов ожидающей тишины, ожидающей нового смерча бедственного грохота, наступила реакция, падение сил, безволие безразличия и неимоверной немыслимой усталости. На дворе уже играли и пищали дети. Музыканило радио. Кокетливые, быстроногие девушки пробегали через двор, напевая, и говорили об обыденных делах каждого дня: служба, обед, хлеб, кино, свидание. Кто-то начал пилить дрова. Звенели ведра.

Прибежала Валерка, весь день просидевшая на службе в бомбоубежище. Когда я открыла ей дверь, бросилась мне на шею, молчаливая, хорошенькая и испуганная, и заплакала.

Варила потом суп из лапши и редисочной зелени. Приходили денежные гражданочки, «интересующиеся» заграничными шерстяными отрезами и модельными туфлями. Любопытно, что через полтора часа после такого

апокалипсического ужаса кто-то мог еще думать — и реально думал — об отрезах и туфлях. Я смотрела на них, пораженная.

Нервная система, конечно, сдает. Получается какая-то травматическая фобия: боязнь улицы. Формы ее неприметны. Мне действительно и страшно и трудно бывать на улице, хотя бы в лавке за хлебом, через квартал. Я иду сжатая, притихшая и задавленная ожиданием обстрела, и иду под самыми стенами домов и с неохотой перехожу на другую сторону улицы, классически боюсь «пространств и площадей».

Ночь тихая. Спали все великолепно, и мы с Валеркой встали поздно: в 10 часов. Была Laurette — подтянутая и элегантная, несмотря ни на что, — гальская порода! Потом часы уборки и переборки, чистки, мойки, часы воды, пыли, мусора, тряпок и открываемых и закрываемых шкафов и ящиков. Вещи мамы: на некоторых еще сохранились почти неуловимые веяния ее запаха. Нашла ее черный шелковый платочек с желтыми цветами, который она носила все месяцы болезни и который сорвала с головы за несколько часов до смерти. Вот — висит рядом, на спинке столового стула. Посматриваю на него, улыбаюсь, думаю: «Хорошо, что мама умерла! Хорошо, что не знала вчерашнего дня».

Письмо от брата — великолепное, романтическое и высокое.

«32.VI. 43 — гор. Уфа.

Моя родная, милая Сестра! пишу тебе слова любви, ласки и сознания, что настанет радостный, торжественный день мира, и мы увидим друг друга. В данное время я еще не могу сказать свой адрес, но скоро я напишу, где будет мое пребывание согласно адресов воинских полевых почт. Жизнь моя протекает в очень дружной, спаянной, родной семье бойцов, беседую на родном языке, это так радостно и хорошо!.. я нашел своих братьев...

Бакалы для меня — тяжелая, гнетущая память: болезнь, поиски работы, обмены, питание, дело со Степановой о вещах; очень заботливое отношение Комиссаровых было основано на материальном моем благополучии. Это все теперь далекое... жизнь зовет, земля зовет, армия позвала меня. Я еще весной просил военкомат принять меня, подал заявление о предоставлении мне работы по специальности. Сердечный дефект моего организма создал тормоз в этом деле. Теперь я здоров, окреп телом — и ноги не болят, переходы в 25—30 км безболезненны.

Я все думаю о тебе, береги свое здоровье, свои силы, свои нервы, береги себя для будущей нашей жизни.

Я уже привык к жизни колес, шагов, смены мест и точек отдыха. Питание очень хорошее. Медленно идет время к вечеру — и то некогда думать, все ждешь отправки. Ты знаешь, что я люблю пути, дороги, поля, леса и взгорья... я люблю небосвод и землю... Сегодня после бани купался в реке, теплая вода. Долго купался и стало легко и хорошо. Бодро вернулся в лагерь-дом.

Повремени писать письма на Бакалы, я скоро узнаю полевую почту. Неужели моя мысль и желание нашли решение — я иду в Армию! Правда, возможно, что там, где я буду, медкомиссия найдет меня малопригодным... но слова, трижды подтвержденные военкоматом Бакалы и Башкирской АССР — годен! — дают основание верить, что в военном деле я нужен и мне дадут возможность доказать свои технические и культурные знания и данные на деле.

Все думы о Маме, о Тете... о нашем Доме... и говорю себе: нет, нет возврата к прошедшему! Земля зовет, кровь стучит о камень, слезы точат сердца, раны требуют расплаты и смерть братьев и сестер зовет в ряды Армии! Моя единая, родная сестра, пойми меня глубоко и чутко: так надо жить, так надо шагать вперед. Крепко, крепко тебя целую, обнимаю по-братски и жду Твоих слов. Теперь, когда будет великий день мира, я приду к Тебе, моя радость, мое единственное утешение и ласка в жизни, я приду к Тебе сильным, окрепшим, закаленным — и мы пойдем в лучезарные дни спокойствия и тишины, пойдем рядом и вместе... А ветер зашумит о мире, о вольной жизни народов, о геройстве храбрых... и ветер споет песню-поэму о погибших... и люди отдадут почести тем, кто отдал жизнь за дни мира и братства... Да. Это будет так.

А сейчас, Сестра моя, жди моего письма и будь спокойна, моя Сонечка, целую тебя. Привет всем. Твой Эдик».

20 июля, вторник, Желябова

Жарко — +27°. Затянутое душными облаками небо. Температурю. Здесь, у старичка, настроение выравнивается, травматический страшок почти пропадает: без особого беспокойства выходила за хлебом, без особого напряжения была недолго в бывшей гостинице Демута, где живет славное кошечковое создание, Катерина Николаевна Галахова, недавнее мое знакомство через Тотвенов, некрасивая и очаровательная. Знала когда-то Марылю, Ивкова,

Колчановых. Блестящий инженер Ивков воровал у знакомых вещи. Золотистая и патетическая Марыля развратничала. Красивые девушки Молчановы щедро растрачивали свои темпераменты в темных уголках и на холостяцких диванах. Эти же люди бывали в тот период и у нас в 1923—1927-м — держались чопорно, изысканно и вполне комильфо. Может быть, скучали... а может быть, и отдыхали в молодой и теплой атмосфере маминого дома, где любили искусство, много пели, много играли и танцевали и ставили чудесные костюмные импровизации: театрализация романсов, шарады и нигде не написанные, мгновенно творимые пьесы.

Вчера приехала к Тотвенам днем — шла по стенкам домов, съежившаяся и задавленная возникающей фобией, с которой нужно, нужно бороться, иначе она поборет меня. Трамвай был мукой — а вдруг сейчас обстрел, что тогда? На Знаменской почти каждый дом жестоко ранен снарядами. Сильно пострадала Бассейная, Кирочная, Фурштадтская[686]. Очень много жертв. На Литейном тоже неблагополучно — д. № 51. В Институт усовершенствования[687] попало 11 снарядов — не в палаты, к счастью. Несколько угодили в Мариинскую[688]. Этот район, где я живу, давно и упорно облюбован врагом, и жесточайшие обстрелы падают именно на него. В нем нет исторических памятников. Говорят, что зато в нем есть целые военные засекреченные кварталы. Этого я не знаю.

Обстрелы: были, есть и будут — пока не кончится вся эта кошмарная и кровавая возня, называемая войной. А люди Ленинграда продолжают жить и бытовать, несмотря ни на что. Никто не бежит из города. Тяги к эвакуации нет совершенно (наоборот: принудительная эвакуация рассматривается как высылка и вызывает протесты, хлопоты и апелляции!). Паники тоже нет. Ничего нет. Все спокойно. На улицах после обстрелов растекаются только лужицы крови, и кровь падает струйками и каплями из развороченных этажей.

Но все ждут мира — твердо, упрямо, в горячей и страстной надежде. Передают слухи: кто-то сказал, кто-то говорил наверняка — скоро мир, очень скоро! Улыбаются таким вот слухам неизвестного происхождения, вздыхают — и ждут. Говорят даже, что немцы сбрасывали листовки, в которых разговаривали с населением города классическим говорком русского прибауточника из старых и пьяновитых мужичков:

«Июнь ваш, июль наш, август пополам, в сентябре по домам!»

Что только не выдумает ожидание мира, тишины, покоя!

Перечла Золя — «Pot-Bouille»[689] (хорошо и мерзко — мерзость обывателя показана холодно и, я бы сказала, ясно: от этого вот и хорошо). Собиралась писать свое — переделку из старого на новом материале наблюдений. В бредах предтворчества возникают люди, знакомлюсь с ними, узнаю ближе — они становятся настолько реальными, что, кажется, действительно живут где-то на соседней улице, и я, **безусловно**, и знала их, и видела, и говорила с ними.

Купила на днях сливочное масло, которого не видела месяцы и месяцы: 250 гр. — 400 рублей. Купила сахарин — 1 гр. — 50 руб. Предложили: американская белая мука 1 кг = 400 руб., смесь гороха, пшена и вермишели 1 кг = 350 руб. Шпиг (дешево) 1 кг = 1200; постное масло (очень дешево) 800—850 руб. Огородов в этом году множество. Но всюду какие-то жучки, паразиты, белая моль. Многое погибает. Вчера впервые за два года ела цветную капусту. К овощам я вообще равнодушна, люблю только жареный картофель и зеленые бобы с маслом.

Выгляжу хорошо. Полнею. Линия бедер амфорообразная, чего никогда не было. А физическое состояние — плохое.

31 июля, суббота. У себя

Все время, каждый день, беспорядочная стрельба по городу. Высоко, высоко поют снаряды, разрывы не всегда слышны, зато выстрелы — обязательно.

Тоска, тоска...

Начались ночные налеты: как-то была очень бурная ночь, с таким неистовым концертом зениток, что Татика вылетела в коридор, ночевавшие военные жильцы убежали на лестницу, а старик начал одеваться — и кончил одеваться, когда вообще все кончилось! Я в коридор не вышла. Мне хотелось спать. Артобстрела я боюсь — очень. А с ВТ мне почему-то легче: если да — так сразу!

Под Орлом большое советское наступление, остановившее и опрокинувшее наступление Германии. Бои под Мгой. Бои под Белгородом и в Донбассе.

Сицилия понемногу оккупируется: Рим в эвакуации — недавно англичане бомбили Рим. Италия в каком-то политическом трансе: Муссолини подал в отставку, Муссолини больше нет, Муссолини — партикулярное лицо!

До подачи в отставку Дуче совещался с фюрером: что же произошло, собственно? Фюрер ли вышвырнул за дверь пьяного Дуче — или Дуче подставил ножку фюреру? Это мраки истории!

От брата — ни слова. Я даже не думаю о нем. Je le vis tout simplement[690]. Мне тяжело. Гордо, светло и неулыбчиво.

Тоска. Очень большая тоска. А сказать некому — и поговорить о себе не с кем. Впрочем, это и хорошо. Постоянно слышу чужие признания и вижу чужие обнажения. Не надо. Человек должен быть один — один — один.

Перечитала «Bel-Ami»[691]. Посмотрела чудесные американские издания 1941 года — библиография для детей. Как там любят ребенка, как понимают его и как высоко, высоко ставят!

Давно не была в Доме писателя — да там ничего интересного и нет сейчас, все заняты большим огородным хозяйством на Всеволожской. А зимой тоже ничего интересного не будет, потому что все будут заняты дровами, теплом, водой, логовом и жратвой.

Если бы отодвинуть врага на пушечный выстрел от города! Если бы закончить блокадные дни Ленинграда!

Вряд ли. Недавно беседовала с фронтовиками: говорят, что отсюда германцев ничем не выкурить, что укрепились так замечательно и так добротно, что даже семьи офицеров приехали на жительство. Gruss auf Peterhof![692] С ума сойти! Укрепления строили советские люди. Укрепления заняты немцами в конце лета 1941 года, в момент панической трагедии с 8-й армией[693] и бестолковым стадом несчастных ополченцев. Укрепления повернуты на Ленинград и сцементированы так, что, кажется, напоминают некую линию Мажино.

В Петергофе сгорели все дворцы, разрушены все фонтаны, изведены все парки. В Петергофе устраиваются какие-то празднички на заливе, катаются на лодках, висят флажки.

В Ленинграде ходят детские экскурсии, поют марширующие девушки, в магазинах выставлены дамские шляпы, происходят футбольные матчи и спортивные состязания.

А всюду снаряды, снаряды, снаряды. Да. Видимо, жизнь все-таки сильнее смерти.

Болит голова. От времени до времени чудовищным грохотом вспыхивает выстрел и тоненько свистит пролетающий снаряд. Разрыв где-то далеко.

На днях много жертв было днем, на Финляндском. Говорят, сгребали их потом лопатами.

В недообстрельных районах по радио передавалась «Шахерезада» и вальсы Шопена.

Интересно, должно быть, выжить в нашем городе!

2 августа, вторник, 14.30

Чудесная погода, когда так хочется быть на воздухе, так хочется пойти куда-нибудь к зелени, к просторам, к небу — и нельзя: страшно. Ходить по городу страшно. Уже две недели город под непрерывным обстрелом — с отдыхом для орудий и прислуги, «с обеденным перерывом», как невесело шутят ленинградцы.

Собственно говоря, город просто расстреливается — методично и хладнокровно.

Собственно говоря, в состоянии «артобстрела», с «движение прекратить, населению укрыться» надо держать все районы с утра до утра.

Перефразируя Тихонова:

Сегодня до бешенства — полперехода,

Отсюда до мира — как до луны[694].

А город живет, работает, ходит за продуктами, ходит в театры и на службу, влюбляется, судится и лечится. Странный город. Странные люди. От бреда.

Настроение очень неважное.

Днем — снаряды. Ночью — снаряды. Ночью — обязательные теперь к полуночи воздушные налеты.

Оказывается, трудно не жить, а выжить.

4 августа

День св. Чекиста[695]. Вспомнила утром, решила повспоминать попозже — не удалось, забыла. Температурю — 37,8°. Бешеные боли в левом виске. Обстрелы не прекращаются. Лежала весь день. Вечером — Гнедич, дистрофический ученый Могилянский (марксист из Публичной библиотеки, который верит в икону Пантелеймона и у которого до благополучного конца войны целый ряд табу: не бреет бороды, не читает русских книг, не покупает книг — еще что-то).

Через него необыкновенное и радостное: Рейтц жив, жена его тоже, где-то в пространствах России, пишут к себе, в опечатанную квартиру.

А почему не пишет д-р Р[ейтц] мне? Видимо, думает — вне Ленинграда, тоже в пространствах.

5 августа

Открытка от брата: п/п 640 147. Письмо от 27.VIII. Шло девять дней. Думаю: под Москвой, в польской дивизии Берлинга[696] (а потом — в анкетах — если выживет — не опасно ли (?) будет упоминать об этой самой дивизии на вопрос: «Ваша служба в иностранных армиях?»). Пишет: «Настроение ровное, хорошее. Здоровье тоже».

Снаряды на Фурштадтской, на Озерном переулке — рядом — в садике детдома, где раньше стоял деревянный исторический особнячок: Белые голуби и Александр I[697].

Зовут по телефону Тотвены. Нет. Боюсь улицы.

Ксения слегка контужена снарядной волной: при наклоне головы резкие головокружения.

Киса выходит замуж — за старого любовника, за «народного». Мадам Папазян! Умница — и какая ловкая и умелая хватка! Телефон с нею.

7 августа, суббота

Обстрелы. Советские войска заняли Орел и Белгород. И Кромы. И что-то еще. Союзники в Сицилии вступили в Катанью, и мировой красавец Иден в парламенте распространяется на щекотливые темы: при безоговорочной капитуляции Италии правительство ее все-таки признано не будет, хотя капитуляция может быть почетной и проч.

Муссолини и его армия лопнули. Где Муссолини — неизвестно. Фариначчи якобы перехватили на границе.

Письма брату. Ночевали Ксения и Гнедич.

Обещала быть сегодня у Тотвенов — и вот не еду: Ксения сказала, что снаряд попал в дом по ул. Перовской, по нечетной линии Тотвенов — значит, заколпинские (думаю так) снаряды имеют и теперь досягаемость. Не еду. Не могу. Травма.

На улице не бываю совершенно.

Сейчас выпила водки и чувствую себя прекрасно. Попрошу у старика кокаин. Тогда будет море по колено... Нервная система сдала. И я, видя и зная это, даже не борюсь: пусть — все равно!

Творческие настроения — да как тут писать, когда все время ждешь: вот-вот начнется опять...

Тоска, тоска.

Выдержать бы внутренне — боюсь, что **моя** капитуляция уже началась. Непрестанно — мама, мама. Господи, как мне тяжело без нее, как **человечески** тяжело и одиноко...

Фактики:

Недавно на Волковом кладбище — 50 снарядов. Взлетели в воздух гробы с покойниками, по воздуху разносило скелеты и кости. Кости и разлагавшиеся члены влетали в окна соседствующих домов.

(Дом писателя — Е.В. Дружинина[698].)

Все время — грозы, ливни, бешеные громы, которые кажутся милыми и домашними — до того примитивна и не страшна небесная артиллерия Саваофа! На остановке трамвая на Кировском — писательница (забыла сейчас — кто): голубое пламя с неба, удар, треск, катастрофа! Писательница на ногах и потрясенно думает: что это за новая бомба? Почему я жива? Ей и в голову не пришло, что молния ударила в трамвайные провода. Естественные мысли — даже в области физических законов — в голову ленинградцам никогда не приходят.

Мы думаем только о неестественном.

Ибо война — явление неестественное (вопреки мудрости Ницше и легкой, доходчивой для большинства и захватывающей это мещанское большинство теории господина Гитлера!).

Да. Обязательно попрошу кокаин. Или что-нибудь в этом роде. Ведь так хорошо — до радостных, злых, ослиных слез!

Погибаю, товарищи! Может, кто-нибудь поможет как-нибудь.

Помочь нечем. Только движением фронта вперед, только возвращением Пушкина и Павловска, только установлением прямого, беспересадочного движения — Москва—Ленинград по Октябрьской ж.д.

А кто это может сделать — кроме маршала Сталина?

Так вот, маршал Сталин, — может, поможете? Ведь стоящий человек погибает, ей-богу!

13 августа, пятница

Д-р Костомарова находит, что у меня авитаминоз Б — следствие этого психические штучки, острые височные боли и тяжелая, сводящая боль в суставах (правая рука, в особенности в локтевом сгибе).

Чтение записок Вигеля[699], поэтов, французские романчики.

Возможности интересных бесед, которые не осуществляю: из-за болей в виске, из-за общего пониженного тонуса. Слабеющая память, впадающая в творческое безразличие. Скверно! У Ксении снаряд перед воротами и второй — во дворе. От второго вылетали почти все стекла (а у нее окна гигантские, здание ведь старинное — иезуитская коллегия!)

На Невском, у Садовой, кровавый асфальт долго замывали из пожарных рукавов.

Страшное было на Михайловской площади. Страшно было даже для работников «Скорой помощи», привыкших ко всякому. Месиво из рук, голов, кишок, мяса. На деревьях и решетке — орнаменты из человеческих разодранных членов. Сгребали в машину лопатами. Остальное — древесные гирлянды! — зарыли тут же в скверике.

Город расстреливается почти каждый день. Район за районом. Треугольник за треугольником. На днях на улицу Пестеля попало 22 снаряда.

В сводках: мы под Харьковом, подходим к Полтаве. Говорят, что есть какое-то движение на Ленинградском фронте, что будто мы заняли Сиверскую. Но о таком движении и о таких занятиях дачных местностей в Ленинграде регулярно возникают слухи с января 1942 года!

От Эдика — ничего. Тоскую, тревожусь, думаю, думаю... Вчера — ровно год, как расстались с ним, как проводила на пустынный вокзал и посмотрела вслед уходящему поезду. Господи, увижу ли, уцелеет ли? Что же буду делать — если нет? Где он — понятия не имею. На днях по радио: формирование польской дивизии закончено. Но в этой ли он дивизии? Трудно мне, очень трудно.

Иногда принимаю на ночь то люминал, то веронал. Хотя сплю прекрасно и без того. На всякий случай. От височных болей, от слепых поисков какой-то помощи.

Много занимаюсь механической работой: уборка, штопка. Легче как-то. Руки встречаются с руками мамы, думаешь о ней, даже не улыбаешься — непоправимо, невозвратимо!

Письма от проф. Драницына — мечтает о мировой революции и просит прислать ему книги по Польскому восстанию 1830 года. Постараюсь достать в Лавке писателей.

Гнедич мечется между фашизмом и коммунизмом, между эротикой и манией самоубийства[700]. Неврастеничка. Любопытна ее переписка с Всеволодом Рождественским. Я считаю его одним из наших крупнейших поэтов — может быть, самым крупным. Он на фронте — на самом настоящем, а пись-

ма его (если искренни) полны бодрости, оптимизма и всепоглощающего русского патриотизма. Даже в страшных остовах разрушенных ленинградских домов он видит «свет и простор», контур их для него «строен и суров». Эту чудовищную чрезмерность розового нельзя простить его поэтическому вкусу и человеческому такту. Впрочем, на фронте все наше, **городское**, переживается иначе.

Открыты настежь окна. Свежо. Дождь. Ветер. Живу на постоянном сквозняке. Но: таким образом превентивно пытаюсь сберечь стекла от военных случайностей.

Творческие дела в запустении, хотя срочно, срочно нужно готовиться для презентации в Дом писателя: сейчас передо мною в этом смысле могут открыться большие дороги.

15 августа, воскресенье

Галя Чулкова, которая когда-то маленькой девочкой «из управдомья племени» жила у нас в квартире. Выросла, стала тихой, скромной девушкой — трудармеец из Шлиссельбурга, где вяжут фашины для Синявинских болот, где не дают обмундирования, где обстрелы часты и жестоки. Снова рассказы о потрясающем развале половой нравственности: почти проституция. Ппм (полевой походный мужчина) и Ппж. По нескольку человек сразу, за хлеб, за консервы. Ужас.

— А драмы бывают? — спрашиваю.

— Какие? — наивно удивляется Галя.

— Ну, ревность... измены...

— Что вы! — старчески и грустно-грустно отвечает 19-летняя девушка. — Для этого ведь любовь нужна! А любви у нас не бывает...

Во всем отряде — две девственницы: она и еще кто-то. Считают дурами, но относятся хорошо (мужчины).

Эмилия тоже рассказывала как-то о своем лекпункте на станции Пери[701]. Начальнику приглянулась какая-то девица, только что мобилизованная и присланная, — красивая. Через пару дней девица прилетает в истерике в медпункт, где сестрой работает Эмилия: начальник дал приказ медпункту срочно направить девицу в Ленинград — к венерологу, на обследование и заключение. Девица ревет:

— Я честная, это — накатка!

Начальник разводит руками — слухи надо проверить, дело житейское. Из Ленинграда девица возвращается гордая и торжественная: все в порядке, все

реакции отрицательные. Она счастлива. Начальник тоже доволен — и уже спокойно, без опасений, через пару дней «приглашает» девицу к себе. Теперь она его временная фаворитка, снята с трудовой работы, сияет и благоденствует.

Женский состав на лесе и торфе легко идет на мимолетные связи — хлеб, хлеб! Потребители: воинские части — командиры, конечно, рядовым бойцам платить нечем. Отличается особо категория «служащие». Работницы держатся лучше. Одна дама, около 40, экономист и бывший преподаватель техникума, ходит от землянки к землянке, предлагая себя. Гонят: нет спроса, надоела, невеселая, плачет! Дополнительный хлеб вырабатывает редко и голодает. На лесе кормят скверно.

17 августа, вторник

За 1/2 литра водки — 2 м. с кусочком березовых дров. Сегодня за 2 кило хлеба распилили, накололи и подняли наверх.

Покупаю масло — очень дешево: 300 гр. — 360 руб.

Днем Сушаль. Вечером Гнедич и инженер Чагин.

Много заработной работы. Тоска. Писем нет. Боли в виске.

19 августа, четверг

До 4-х утра читаю Гнедич и Тамаре Хмельницкой свою «Лебеду». Впечатление прекрасное. Хмельницкая дает любопытное и ценное указание, с которым соглашаюсь: не надо самоубийства, героиня — человек абсолютной пассивности, нужна какая-то катастрофическая случайность. Пожалуй, исправлю.

Хмельницкая интересный человек. Очень культурна и рафинированна. Из разгромленной школы формалистов. Остроумна и неожиданно зла на язык при общей установке на несколько растяпистую, сладкую, почти слащавую доброту. Клика Уинкотт — Золотовский называет ее «сволочной барашек»[702]. На барашка очень похожа. Пугается стремительного роста русского патриотизма:

— Ведь так они и не заметят, как дойдут до погромов!..

25 августа, среда

Ксения, Сушаль, Татика, Гнедич. Целый день люди. Тоска. Обстрелов больше нет. Говорят, мы здорово разбомбили все немецкие батареи. Новые еще не установлены. Непрерывно летают наши самолеты. Слух: сам Сталин

приказал усилить воздушную разведку и подавлять огонь противника по Ленинграду — чтобы не было больше «кровавых воскресений»!

Письмо от брата. Успокоилась, почти счастлива, переписываю карандашную лирику и улыбаюсь. Мальчик мой! Может быть, и выживем. Даже намеком не говорит, где он... простота святая! Я бы знала, как символическим шифром обозначить свое географическое местопребывание.

Настроение лучше. Здоровье тоже.

Saint Louis, Roy de France[703]. Сколько цветов было когда-то в этот день! А сколько коробок шоколада ложилось на стол перед улыбающейся мамой!

29 августа, воскресенье

В свежий солнечный день летим с Валеркой в Дом писателя. Кино: «Воздушный извозчик»[704], очень милый и приятный фильм, оборонный, где война — чуть-чуть, как эффектная декорация. Будет пользоваться успехом за границей. Там любят такие логически неубедительные штучки: белокурая girl[705] оперная звезда, похожая на девушку из колледжа, неуклюжий, но милый-милый летчик (как прекрасно уродство Жарова), красивый, но смешной, смешной неудачный претендент, характерные папа и мама и так далее. Пропустила хронику: показывали восстановление кавказских курортов — Кисловодск, Минеральные. И самое главное: суд и публичная казнь фашистских наймитов в Краснодаре. Гнедич говорит: «Непримиримые, непреклонные лица». Кубанцы, видно, с советской властью особенно ведь не дружили! Свидетель — батюшка в рясе — хорошо говорит, суд к нему почтительно внимателен. И страшный кадр: запруженная народом площадь и трупы преступников, качающиеся на виселице, а на первом плане неистово аплодирующие и веселящиеся от души дети. Что мы делаем, Господи... разве детям можно показывать **такое** и допускать их присутствие на приведении в исполнение приговора: смертная казнь через повешение — у кого-то действительно ум за разум зашел. В Ленинграде возмущаются этим даже стопроцентные коммунисты!

Новое выражение (из Москвы), очень удачное: перпетуум жрабиле... хорошо!

Сентябрь, 1-го, среда

Несколько дней в гриппе. Видимо, простудилась, выйдя после долгого перерыва в носочках — а день был теплый, солнечный, с первыми золотыми пятнами в зелени листвы!

Ужасны разрушения от снарядов на Знаменской! От одного вида их можно опять впасть в травму!

Утром лежу, около 11 часов — Светлана. Готовлю для нее завтрак — завариваю чай, едим, читаю Кэстнера. Сижу в пижаме и шелковом халате, на голове шелковый платок.

— Вы похожи на сарта[706], — говорит Светлана.

В восточном халате я никогда не бываю похожа на женщину — это очень странно, но это так!

Письмо от Эдика от 21.8. Очевидно, где-то близко, если письма идут так быстро! Здоров. Настроение хорошее. Пишет: «Работа больше интеллектуальная». Что это? Газета, штаб или офицерская школа? Ничего не знаю.

Странно, что у нас теперь офицеры! Следовательно, из лексикона популярной ругани выпадает и это слово, как уже выпал давно «генерал».

Зенитки. Самолеты. Пока ни обстрелов, ни тревог. Каждый день что-то значительное по радио: Харьков, Ахтырка, Севск, Таганрог, Ельня... Москва салютует орудийными залпами, в приказах маршала Сталина появились слова «вечная слава (или память?) героям, павшим...», дивизии и бригады получают почетные наименования — Белгородская, Ельнинская, Харьковская. Должно быть, крепко идем и уступать больше не будем. Если Москва салютует по приказу Сталина, значит: фиксация. Сталин — человек осторожный и даром радоваться не дает. Умно это, очень умно. Поэтому так веско и невероятно громко каждое его слово: он так же мало и так же скупо выступает. Любое его слово — событие, даже в смысле психологического восприятия массами.

Читаю Диккенса — «Домби»[707]. Какая аберрация — утверждать, что Диккенс — детский писатель! И детям и юношеству читать его скучно. Он — для людей зрелых и много переживших, он для стариков, для тех, кто от бурь и грохотов жизни ищет тихих гаваней, медлительных вод, молчаливых полей и неярких закатов.

Диккенс сейчас по мне[708]. Мне так нужна какая-то тишина с медленным-медленным разворотом чьих-то угасших жизней, полных нестрашных драм, немножко забавных для современности нетрагических трагедий и неувядаемого описательного юмора англичан.

Собираюсь на днях к Тотвенам, у которых не была больше месяца. Очень легко отвыкаю от людей — и привыкаю к обстановке, к бытовому окружению. Кошка.

Октябрь, 9-го, суббота, около 12 ночи

Перерыв, не оправданный ничем. Очень много тоски, о которой никто не знает, очень много простой жизненной усталости, грустной и немолодой, о которой тоже никто не знает. Люди вообще ни о чем не догадываются: всегда веселая, всегда остроумная, многоречивая, похорошела, поправилась...

В действительности же: какое старчество во мне, какое необыкновенное старое, старое старчество! Живу в каких-то воспоминаниях, в прошлом, в ушедшем и очень давнем. О том, что было до войны, думаю нечасто — и обычно не в тех плоскостях, которые были в то время основными.

С удовольствием штопаю, чиню — механическая работа, и мысли, мысли. Вчера штопала кальсоны Эдика, первый раз в жизни штопала мужское белье, рваное и бедное, и умильно и горько думала о брате. Мальчик мой, где ты? Опять новая часть, новая полевая почта, новые скупые и сдержанные строки, в которых крик: о будущей встрече.

А будет ли она, эта встреча? Уцелеет ли?

Только что сообщили по радио: отбит весь Таманский полуостров. Значит, дорога на Крым, видимо, через Керчь. На днях в трех местах форсировали Днепр: где-то у Кременчуга, под Киевом, под Гомелем. Значит, понтоны из трупов. И у нас, под Ленинградом, какое-то движение: неофициально — Синявино и номерные высоты, официально — где-то между Чудовом и Тигодой. Все-таки — и это нечто. Обстрелы продолжаются — тяжелые. Говорят, что к ноябрьским дням снимут блокаду, что нам вернут дорогие и страшные кладбища — Пушкин, Павловск...

Почти не выхожу. Полнею. Хорошо выгляжу. Тоска, тоска... Блокадная тоска. Снова перестала летать. Спускаюсь — знаю это и безразличничаю. Все равно. Главное: уцелеет ли брат? А потом что? А если не уцелеет?

Любопытное в Москве: церковный собор, патриарх, Синод и сегодняшнее постановление — учреждение при СНК какой-то комиссии по «увязке» вопросов политики, пропаганды и религии»[709]. Забавно. И — закономерно.

Валерка счастлива, как юная богиня. Гнедич, декан лингвистического факультета[710] возрожденного института Герцена, устроила ее студентом на 1-й курс французского отделения без испытаний. То, что можно назвать: мировой блат! Девочка очаровательно некультурна и наивно невежественна: семилетка и Охта! Эти вечера, боясь для нее испытаний, гоняла ее по географии и поражалась таланту незнания. Примеры: столица Эстонии —

Эльтон, США — империя, родина негров — Австралия, пустыня Гоби в Африке, Темза — на Кавказе и так далее.

Разговор о летоисчислении, происхождение которого ей неизвестно:

— В старых книгах пишут: до Р.Х. Ты знаешь, кто был Христос?

— Знаю. Ну, этот... говорят, что это Бог.

— Предполагают, что он где-то и когда-то родился. Где и когда?

— Да, знаю. В 18...

— Молчи. Я потом объясню. А где?

Молчание. И — неуверенно:

— В Германии?

Все это очень интересно. Девице скоро 19 лет — и она очень любит читать. По преимуществу Чарскую, Дюма.

Узнала точно: в конце ноября 1941 года снарядом или бомбой убит мой милый, юный приятель Володя Морозов. Ужасно жаль его. Юноша большой и тонкой культуры. Если его мать, высланная в 1935 году в Курск, погибла при немцах — так лучше. Он был у нее единственный, надежда, гордость ее. Та скала, на которой человек строит свою церковь, тоже единственную. В Курск написать боюсь. А может, и следовало бы.

Город, пусть еще «подстрельно-прицельный», возрождается: вузы, театры, расширение учрежденской деятельности. Все подтянуты, чисты, нарядны. Гекатомба дистрофиков **была** — настоящее ощущение plusquamperfekt. Реальная связь с этим прошедшим временем почти (если не совсем уже) порвана. Жизнь утверждает, как и всегда: сегодня и завтра. Вчера — от поэзии, конечно.

Вспышка творческой энергии, заглушенная овощами, дровами, штопкой, кашами, варевом, уборкой. Куда уж...

Внимательные мужские глаза — оценивающие и прикидывающие постельные возможности. Трое так смотрят на меня — идиоты! Никому в голову не приходит, что для таких экскурсий я слишком стара, слишком умна и слишком печальна. Может быть, да и то не в этом плане это пришло в британскую голову. Может быть, голова и оценивает и прикидывает. Глаза зато смотрят прямо, просто и всегда смеются. Глаза почтительного товарища. За это — спасибо.

Холодно. Ночи лунные, прекрасные. Окна всюду едва прикрыты, даже не закрыты плотно: боюсь обстрела — обидно ведь именно теперь лишиться

драгоценных стекол, чудом — ленинградским чудом! — уцелевших в этой квартире.

Одиночество. Великолепно чувствую себя в те вечера, когда не ночуют ни Валерка, ни Гнедич.

Октябрь, 10, воскресенье, 20 час.

Хочется все запомнить: Будда на малахите (а под ним — Библия и Евангелие), закопанская[711] шкатулка с лекарствами, на ней лампа — та, что когда-то в кабинете отца, а потом — в столовой, та, что была последней при маме; олейниковская чашка с грузинским павильоном; на подносе — ржаные сухарики в серебре и букет последних ромашек в самой простой, самой грубой банке. Оксфордский словарь. Томик Диккенса. Томик Байрона (кстати, Пушкин в своем «Памятнике» говорит провидческое и **почти** лишенное человеческого честолюбия, ибо Superhumanum supersubstantia) [712]. А у Байрона в «Hours of Idleness»[713] великолепие человеческой Superbia[714], величайшего и первого из смертных грехов:

A FRAGMENT

When, to their airy hall, my Fathers' voice
Shall call my spirit, joyful in their choice;
When, pois'd upon the gale, my form shall ride,
Or, dark in mist, descend the mountain's side;
Oh! may my shade behold no sculptur'd urns,
To mark the spot where earth to earth returns!
No lengthen'd scroll, no praise-encumber'd stone;
My epitaph shall be my name alone:
If that with honour fail to crown my clay,
Oh! may no other fame my deeds repay!
That, only that, shall single out the spot;
By that remember'd, or with that forgot.

(1803)[715]

(Впрочем, пожалуй, и Пушкин повторил буквально Байрона — только другими образами: он все-таки жил в России, а не в Европе. Конечно — он **знал**: памятник имени, а не томам книг. Славянская рабская кровь снизила оглушительное начало личной гордости кормчего.)

К чему все эти записи? Словно готовлюсь к докладу в Пушкинском обществе[716]. (Гнедич на основании моих замечаний написала прекрасный до-

клад о поэтической зашифровке политической дружбы Пушкина и Языкова — я не написала ничего, я не могу (или не хочу?!) писать — и отдаю себя другим — пусть! Я же богатая!)

Только что приходила со службы Валерка; принесла остатки овощей из своего огорода и ушла ночевать к своей подружке. Я — одна. О, beata solitado, o, sola beatitudo![717] Медленно допиваю пиво. Тишина. Я — одна (почему же это меня так радует? Я же так часто бываю одна).

Около 7-ми уехала седая подпольщица из Смольного — авторитетная, неглупая, важная, **почти** откровенная со мною. Разговоры о Бухарине, о перерождении партии, о популярности Жданова: если бы он был умнее, общался бы больше с людьми, бывал бы больше «на народе», как Киров[718]. Тогда и популярность приняла бы другой, более активный оттенок. Впрочем, он, может быть, не делает этого именно потому, что он умнее, чем думают. Популярность — вещь опасная?

Пили с нею водку. Угощала хорошим — не блокадным — обедом! Масло. Сахар. Кофе. Конфеты (удивительное — даже посеревшее от давности: настоящая «Пиковая дама» и настоящие шоколадные палочки «Домино»!).

— За вашего сына!

— За вашего брата... за Эдика...

(Эдик, ребенок мой... молиться готова, поклоны бить готова, если бы знала: есть кому, есть защита, есть прибежище... Армия. Осень. Сырость. Дожди. Не надо, не надо...)

Открытие: нечего носить, к зиме, оказывается, почти раздетая. Фланелевое платье Элизабет и бумажное вельветовое: все. Променяла, отослала в Башкирию — разве я знаю?! И знаю ли я, что у меня есть, что лежит в чемоданах и в шкафах, в диванах и в узелочках?

Живу сжато, экономно, почти скупо — берегу хорошие вещи для чего-то: не то для продажи, не то для какого-то будущего, совершенно неизвестного мне и непонятного. Октябрь — а я в сатиновом платье (в нем были и пушкинские парки, оно уже ветхое!), в парижской кремовой пелерине. Руки голые. Белый сапфир. Не нужно носить колец — руки, моя гордость, потеряли всю свою изысканную красоту холеного безделья. Они даже плохо отмываются, мои руки, моя гордость, единственное, что нельзя подгримировать! Рабочими стали. Хозяйскими. Все равно. Глаза мамы не останавливаются больше на них с чуть печальным восхищением!

— У тебя руки бабушки... Боже мой, руки моей мамы!

Никто не говорит мне:

— Vos mains, vos belles mains, si faibles et si cruelles[719].

И брат не целует их больше — он любовался и любил.

И Николенька не вспоминает о моих руках, которые казались ему и страшными и сладкими — необыкновенными.

Заметила недавно: исчез прежний жест бессильной и безразличной ладони, исчезла прежняя привычная поза руки — скульптурно-балетная незащищенность, нечто от модельного слепка и от огромной усталости равнодушия. Теперь — почти всегда — рука напряжена. Пальцы — почти всегда! — сложены в кулачок: они грозят, они прячут, они готовы к отражению и к нападению. Может быть, к ним вернулось древнее атавистическое выражение недоверия и одиночества.

Вчера — к вечеру — Татика: ждут меня, скучают, рассказывают множество мелочей из быта на ул. Желябова, которые мне — вдруг! — абсолютно безразличны. А на каком-то этапе все это мне было очень нужно! Они привыкли и идут за мною. Я — отвыкла. И ухожу от них.

К какому же берегу меня прибьет, если уцелею после этого тайфуна? Где построю дом свой? Или какой дом подберет меня?

Если брат уцелеет — жить буду.

Если брат не уцелеет — у меня есть стрихнин.

Посмотрю на новые карты мира, зевну, напишу пару никому не нужных писем — и откланяюсь!

Никого у меня нет на свете, кроме брата. Никого во всем мире. И он — такой бедный, невезучий, сломанный. Не может уцелеть такой человек, такой седовласый ребенок с экстатическими глазами безумца и поэта и обреченным дегенеративным ртом.

Вспомнила, что у него всегда напряженные и сжатые руки: от страха. У меня — другое: от воли и великого гнева.

Мои воспоминания — словно молитвы. И все вещи — маленькие домашние боги. И я поклоняюсь даже старому медному чайнику: тетя с ним возилась, при маме он каждодневно трижды закипал на керосинках, при маме он

всегда отдыхал под теплыми покрышками, при маме на нем, на шелку и парче, любил спать чудесный Киргиз. А потом его ставили в печку, Эдик носил в нем воду с дальних улиц, руки Эдика кровоточили от цинги, мама умирала, чайник распаялся. Мама умерла. Эдик уехал. Эдик стал солдатом. Чайник починили и вычистили. Он стоит бесполезно под маминым диваном, такое важное домашнее божество! Я поклоняюсь ему. Я не трогаю его. Я даже редко смотрю на него. Он — бог.

Начало десятого. Нужно работать. Сейчас разогрею кофе, буду пить кофе с водкой — и буду работать.

Я — одна. Как хорошо, что я одна!

Октябрь, 24-е, воскресенье

Чужие люди и чужие дела. А своих дел, оказывается, и нет... Не привыкла говорить о своих делах. Мое настоящее «я» — табу для мира. И на мое «я» смотрю только я.

Вечер. 10 часов. Валерка — студентка Герценовского института. Французское отделение. Вступление ее в вуз — блат неестественных масштабов. Говоря проще: Гнедич — декан факультета иностранных языков. Этим все сказано.

Дождь. Тихо. Валерка пишет упражнение и с религиозным ужасом и восторгом входит в тонкости forme affirmative и forme negative[720]. Занимаюсь с нею много, иронически и холодно. Боюсь, что ничего у этого существа не получится. Сложно: мозгового топлива мало.

Вчера за 1 л. водки купила 3 м. дров. Солдатик, жаждущий спиртного, сбросил их во дворе. Дворничиха почти на моих глазах крадет доски. У меня от презрения и неловкости за нее морщится что-то внутри. И, как всегда в таких случаях, я молчу. Молчание стимулируется безграничностью презрения при новой констатации его абсолюта. Ну, что ж... видимо, это адекватно законам физики.

На днях вернулась от Тотвенов, где прожила пять дней: вызвали, потому что старик умирал. Потом старик начал поправляться. Приятнейший доктор Котельников сказал мне, однако, что ждать конца **уже** надо — и конец будет называться: кровоизлияние в мозг. Этого не знает ни сам больной, ни Татика. Старику говорю о будущем, о том, что после войны поедем на Таити, где всегда весна, где люди прекрасные и чистые

...еще поют какие-то молитвы,
Встречая ласковый и тихий божий день...[721]

Где к завтраку дают французские булочки и бананы, где нет змей и злых насекомых.

— А простокваша там тоже есть? — интересуется Диндя[722].

— Есть. Сколько угодно!

— А морковка там большая?

— Как наши кабачки.

Диндя удовлетворен и мечтательно засыпает.

Так, вероятно, он и уйдет из одной жизни в другую — на необыкновенные острова божественной лазури, где простокваша, булочки, бананы и теплое море.

Мама. Мама. На каких островах живет твоя тень?

И не плывет ли уже к нам лодка Твоего сына?

Последнее письмо от брата от 3.X. Новая почта. В письме обычное для него горькое недоумение: «Люди... родные, братья, но совершенно чуждые и чужие... человек — зверь эгоизма...» Бедный мой, любимый мой младший товарищ, как неуютно и странно тебе в этом большом и жестоком мире, в котором вдобавок идет еще большая и жестокая война.

3 октября. Был жив в этот день. А сегодня? 12 октября польские дивизии вступили в бой под Режицей, под Гомелем. Не могу даже думать об этом. Я и не думаю. Это просто со мною, во мне: как сердце, как кровь, как мысль о маме.. После 3 октября писем больше не было.

А вокруг — чужие люди и чужие дела. Сушаль и Лоретт, Тотвены и Колпиковы, Гнедич и Ксения, Валерка и Серебрянская, Дом писателя и школа ФЗО № 6 — какие-то разговоры, планы, хлопоты, телефоны, стратегия и дипломатия.

Полнею. Шатаются зубы. Часты сердцебиения. Болит левая нога — та самая, что получила нервный шок при знаменитой московской катастрофе.

Вокруг меня много людей, много шума, много дела. Но живу я в огромной светлой пустоте, свет которой, холодный и недобрый, начинает тускнеть. Боюсь, что вскоре наступит темная пустота сумеречной пустыни. Что тогда?

На днях — первое известие о Вас, мой милый спутник. Оказывается, Вы живы, Вы как будто сражаетесь на каких-то геройских полях славы — капитан Н-ских армий. Любопытно. Выслушала все это так холодно и так спокойно, словно Вас в моей жизни и не было, и Тот, кто должен был прийти, так и не пришел. Впрочем, это соответствует действительности: Тебя не было, были Вы... а может, и Вас не было... Перевернута не только страница.

Вся книга захлопнута и отставлена на какую-то дальнюю полку. Теперь передо мною лежит другая, совсем новая. А от прошлого в ней лишь поминания усопших и ушедших, и от будущего в ней лишь леденящий холодок пустых страниц, ожидающих одного слова: брат.

Наши войска вчера взяли Мелитополь. Бои под Киевом. Англичане топчутся в районе Неаполя. Ленинградский митрополит и послы православной церкви награждены медалью «За оборону Ленинграда» (а я вдруг разлюбила свою и оставила ее на синей жакетке у Тотвенов — только сейчас поняла этот выверт подсознания и улыбнулась ему). В Москве Иден и Хэлл совещаются с Молотовым. Все ждут каких-то реформ. Все ждут скорого конца блокады. Говорят, что под Ленинградом — бои. За Колпином мы продвинулись на 3 километра. На днях в течение нескольких часов Пушкин был наш. Много раненых. Несколько дней уже не было обстрелов. Дождь, дождь. А в ночь на 22 октября над городом прошла невероятная поздняя гроза: гром был так оглушителен и неожиданен, что никто не поверил (да и не подумал даже), что это гром: Ксения решила — наши корабельные батареи, управхозиха моя — бомбы.

Тоска. Мучительная и неизбывная. Возможно, что это и не тоска. Страдание человека о человеке — только.

Чтение пустяков. Музыку слушаю только по радио — и не у себя, а у Тотвенов. Как-то было сладко и печально до слез: ушла уже в кабинет, готовилась ко сну, было начало 11-го, читала, курила. И вдруг — «Лебединое озеро», рвущая трагедийная патетика обреченности, любви и смерти. Слушала, не шевелясь. Боялась одного: не закричать бы. А за дверьми запертых храмов проходили воспоминания — наши выезды с братом в балет, его неомраченные детские радости от театра, нарядность костюма, духи и шоколад, такси, летящее в электрическую ночь, — и дом, Дом, Дом, настоящее, свое, родное, такое маленькое и такое беспредельно громадное: мама ждет с ночным чаем, милые руки ее заботливо пододвигают ко мне масло и ветчину, милые глаза ее следят за чаем в моей чашке и за выражением моего лица, она слушает Эдика и делит его восторги, она говорит со мною, а потом — вдвоем — мы долго, почти до рассвета, сидим с нею над пасьянсом, пока раздосадованный таким положением Киргиз не вскочит на стол и не уляжется, разговаривая, на спутанные его бархатными лапками карты.

Чайковского мне слушать теперь трудно. «Лебединое», «Спящую» и — кусочками — «Онегина» в особенности.

25 октября, воскресенье

Из Вергилия:

Exotiare aliquis no stris ex ossibus ultor[723].

Так в «Энеиде» взывает проклинающая Дидона. Мститель придет. Я знаю. Он должен прийти. Если не я — то другой.

Одна. Дождь. Вечер.

Позже — полночь

«My soul is dark...»[724]

Пусть бы вернулся Эдик, пусть бы вернулся, пусть была бы какая-нибудь жена у него, чтобы мне успокоиться, уйти куда-то, перестать быть тем, чем я должна быть и чем не буду. Передать ему остатки мехов, брильянтов, картины и хрусталь, все то, что осталось от прошлого.

Вдруг поняла громадное значение физического труда в монастырях. Смирение интеллектуальной гордости, самое страшное и самое трудное.

Много работаю теперь физически — и радуюсь этому. Хорошо наступать себе на горло.

29 октября, пятница, 21 час.

Дождь. Тепло. Целый день дождь. Вчера — письмо от брата от 14.X. Несколько строк на вырванной из книги страничке: не получает моих писем, не получает высланных денег, волнуется. «Пиши, пиши, радость моя, единая...» О себе — ни слова. И все-таки вчера мне было легче, чем позавчера. Хоть какое-то известие.

«13-го был душой и сердцем с тобою».

13-го были его именины. Я тоже была с ним.

А сегодня дождь. Дождь... тяжело в такой дождь людям в шинели. Третий год шинельной жизни.

Не пишу, но все время живу и разговариваю с созданными мною персонажами. Странно и хорошо, если напишется так, как хочу. Может быть, это будет эскизное впечатление к тому большому и печальному роману, который я когда-нибудь напишу и который когда-то пережила.

В письмах к Мопассану Флобер говорит любопытное и, с нашей точки зрения, неприемлемое: «Для художника существует только один принцип:

приносить все в жертву искусству. На жизнь он должен смотреть, как на средство, не более...», «...человек, посвятивший себя искусству, не имеет права жить, как остальные люди...» (1876)[725].

Мало работаю, очень мало (я говорю о творчестве). Глухая, какая-то подземная лень: словно назло себе. Самоистязание, как будто не преследующее никакой конкретной цели.

Гнедич на днях сказала о разрушительности моего влияния на людей: скепсис и неверие человеку и в человека. Интересно, что она это отметила. Я не думала, что это так явно. Впрочем, она умна. И иногда ловко заглядывает за мои занавесочки, не понимая еще, правда, того, что видит. В нее я верю — она достигнет больших вершин, если не погибнет преждевременно обычной для русских талантов бессмысленной, глупой и бесцельной гибелью. В ней очень сильно развито чувство Эроса. В ее жизни был один мужчина, единственный, небрежно, не любя, но артистично приобщивший ее к тайнам плотской радости. Он ушел, он неизвестно где, а она, в неистовстве разбуженного эллинства, спутанного с русской мистикой единственной и обреченной любви, близка то к самоубийству, то к преступлению. Очень умна — и очень инфантильна. Может быть, потому, что у нее чрезвычайно маленькое эротическое прошлое, а следовательно, и совершенно ничтожный опыт в этой области. Она верит в любовь и поклоняется мужчине. Я шучу, что она воскрешает фаллический культ. Впрочем, я не так далека от истины. Ей хочется любить и быть любимой, как и каждой женщине, нормальной и здоровой.

Мне — не хочется. Я ведь была любима — так, как немногие. Но и это ровно ничего не стоит.

Сплю хорошо. Вижу чудесные красочные сны, которые почти всегда забываю. Недавно видела маму — прошла мимо в своем стареньком платье, взяла меня за руку, пожала руку тем особым, свойственным только ей пожатием. Проснувшись, долго **физически** ощущала ее прикосновение.

Во сне часто вижу Николеньку. Как-то даже говорила с ним по телефону: прерывающимся от рыданий голосом сказал, что старший его сын, Львиша, убит.

Эдика вижу очень часто — всегда мучительно, сумбурно, тяжело. Запомнилось: пустые, но освещенные подвалы, вроде бомбоубежища, и нас трое: мама, брат, я. Я хожу по одному помещению, бросаюсь от стены к стене, а стены качаются. Мама же и брат сидят, тесно прижавшись друг к другу, в

другом помещении, на полу, под какой-то аркой, в нише. Идет гибель. У мамы скорбное, очень бледное лицо, она обнимает Эдика, спрятавшего голову у нее на плече. Но смотрит мама на меня и на качающиеся стены. А я бегаю по подвалу и поддерживаю эти качающиеся стены своими руками.

Мягко, с большой нежностью думаю о Будде, о Рабиндранате Тагоре, о его «Гитанджали»[726]. Иногда прочитываю несколько стихов — кажется все это прекрасными молитвами, навсегда ушедшими от меня. Ни на какие Памиры я больше не вступлю.

Если у меня будет когда-нибудь кот, я назову его Сансара. Впрочем, может быть, лучше Акаша. (Во сне, кстати, я вижу иногда и Киргиза.)

Звонил Могилянский. Обещал после 10.11 узнать для меня адрес д-ра Р[ейтца]. На днях написала Никарадзе, который, оказывается, живет в ссылке в Казахстане. После роскоши и уюта его благоустроенного тбилисского дома ему, пожалуй, жутко в каком-то селе Пешковском.

Надо бы написать Кэто, узнать о Николеньке. Боже мой, как разметала всех война! Где они — nescio[727].

Перед праздниками ждут диких обстрелов, бомб, ужасов. Я тоже подумываю об этом — между делом: штопаю старенькое белье Эдика, варю обеды, занимаюсь удачным сочинительством в несложной технике ленинградского кулинарного искусства, впервые в жизни делаю что-то из муки, какие-то лепешки, потому что шестой день сижу без хлеба и не ощущаю его отсутствия: оплата за распилку дров и оплата (2 к.) за блатной перенос телефона из моей комнаты в синюю. Теперь телефон у меня под рукою, и я очень довольна.

Валерку из института придется снять. Если с французским у нее и будет удачно, то другие дисциплины приведут к провалу. Разговор о первой лекции по психологии:

— Ты поняла что-нибудь?

— Мало. Но эта психология мне нравится.

— О чем же говорили?

— Об этом... о Платонове... И потом еще о другом дяденьке, фамилия такая трудная... вроде Аристова...

— Аристотель?

— Да, да, Аристодин.

В записях ее по психологии страшнейший и безграмотный сумбур. Платон всюду именуется Платоновым. Возможно, что даже путает с автором учебника русской истории, который отыскала у меня среди гимназических книг.

Бедная девочка! Какой уж тут вуз!

Гнедич замечает:

— Вы идеализируете современного студента. Таких, как Валерка, у нас 50%.

Инкубатор для попугайчиков.

Собираюсь перечитать Пруста и диккенсовского «Копперфильда»: последнего я так ни разу в жизни и не дочитала до конца. Не знаю, отчего у меня такая нелюбовь к этой книге? Помню, как в 1912 году мама подарила мне прекрасное вольфовское издание Копперфильда[728] и как я неожиданно разревелась от злости и досады. Было это летом, в Карлсбаде. Пришлось срочно подарить кому-то эту книгу, чтобы избавить меня от ежедневных слез и гнева.

А ведь в это время я уже собирала книги, уже любила книгу, уже давно читала запоем, уже писала и мечтала о литературе.

Чем же объяснить мою подчеркнуто-единственную неприязнь к единственной книге?

3 ноября, среда

В синей комнате очень тепло, почти жарко. Пообедала рисовой кашей с мясными консервами, пью кофе и блаженствую: тишина и одиночество.

Гнедич у Хмельницкой, Валерка у подруги. Вечер — мой. Ночь — моя. Очень большая радость. (Люди паразитарно опутывают меня и располагаются у меня, как дома. А я, хозяйка этого дома, словно живу в гостях, где приходится считаться с желанием и поведением хозяев. Бытовой и житейской воли у меня нет, хотя англичане и утверждают, что у меня «commanding voice»[729].)

Что-то пробило: кажется, 9 вечера. Написаны письма красивой ученице, в Москву, и бедной Степановой, в Башкирию (она очень бедствует, от единственной пищи, картофеля, нарывы по всему телу и голове, сбрила волосы). Прочтена 1-я часть Игнатьева «50 лет в строю»[730] — читалось с таким инте-

ресом, словно роман самого захватывающего действия. А сколько знакомых имен... Прочтена великолепная статья Виктора Финка о мировой войне 1914—1918 годов (Знамя. 1939. № 9)[731]: очень сжато, ярко и образно. И — очень — страшно. Любопытно вот что:

Людендорф — «Мемуары»: «Каждый знал, что только конец войны будет иметь решающее значение и что характер и цели войны будут определяться характером и размером победы».

Рибо (председатель Совета министров Франции — закрытое заседание палаты 1917): «Цели войны будут вытекать из победы».

Ген. Галлиени (Франция) (Мемуары — 1915, IV): «Абсолютное незнание иностранных армий, несмотря на наличие военного атташе, несмотря на поездки в Россию нашего главнокомандующего. Неведение относительно подготовленности русских и ничтожности англичан. В особенности, незнание грандиозной неподготовленности Германии, незнание современной войны...» И дальше: «Наш штаб отстал на 45 лет. Он все время держится военных теорий 1870 г.».

Жорж Луи (бывший посол Франции в России): «Гартвиг (русский посол в Сербии до VII. 1914) — вот кто был вдохновителем, подлинной душой сараевского дела. Он покончил с собой, когда узнал, что ему грозит разоблачение».

А еще любопытнее вспоминать, что еще в 1854 году Маркс говорил, что в Европе существует «шестая держава», приводящая от времени до времени в трепет пять тогдашних великих держав: и эта «шестая» — революция. (Теперь же «шестая часть мира» стоит на революции и кует и будет ковать ее, каковы бы ни были ее внешние формы, если содержание останется то же. Этого вот боятся? — или мы ослепили их?)

Наши войска вчера отрезали немецкий Крым от сухопутных путей и вышли к Армянску. Опять Перекоп. Опять Гнилое море — Сивашский залив.

Говорят (правда, люди авторитетные — обком), что немец постепенно уводит свои войска из-под нашего города. Говорят, что в Москву идут прямые поезда с шелковыми занавесочками, с бельем. Хлеб упал до 80 рублей кг., белый рис — 250, 5 гр. сахарина — 200, картофель — 40—50, капуста — 30—40, лук зато очень дорог — 250. Не в связи ли с отходом немцев так расширяется и восстанавливается жизнь Ленинграда: 28 кино, театры, ремонты домов, право хождения до 12 ночи (узнала только сейчас от моего квартального), введение цветовых сигнальных фонариков у вечерних трамваев (газета от 2 XI). Возвращаются заводы, учреждения. Приезжают новые

люди — «с Большой земли». Предположено до начала весны переселить в Ленинград 400 тысяч человек.

Что это? Неужели конец блокаде, которая просто начала рассасываться, как скверная опухоль. Наше военно-хирургическое вмешательство будет, видимо, на деле незначительным. Газеты, конечно, скажут другое, но на это газеты и существуют!

Гнедич, несомненно, идет к славе. Пути ее странны — это говоря вообще. С нею интереснейшие беседы. Недавно, третьего дня, подпаиваю ее с целью: доказать свою теорему, построенную мною уже давно. Не жалею водки. Добиваюсь блестящих результатов. Люблю себя за умение читать людей. Если бы я не была так близорука, я бы видела и читала еще больше: мне была бы доступна игра лиц. Ведь без стекол лиц я никогда не вижу, а стекла всегда предупреждают об опасности. Жаль. Впрочем, и так получается неплохо. Гнедич говорит, что я типичный мемуарист, «божьей милостью», что я просто лентяйка, что я могу уже теперь создать нечто подобное Вигелю, а может, и посильнее. Она права в одном: у меня хорошая память, хорошая наблюдательность и легкое перо. Но у меня нет материала и среды для наблюдений. Жаль, что я не в дипломатии. Очень жаль.

Перечитывала некоторые баллады Теннисона. Хорошо.

I kissed his eyelids into rest,
His ruddy cheeks upon my breast.
The wind is raging in turret and tree.
I hated him with the hate of hell,
But I loved his beauty passing well.
O, the earl was fair to see!
(*«Two sisters»*)[732]

Задумываю, если удастся, дать перевод «Истории Англии» Моруа[733]. Одна из блистательнейших книг нашего времени. Сейчас как раз время: мы в реверансах с Англией, стоило бы и читающей публике дать ее историю, выкованную и вычеканенную Моруа в острых, коротких и предельно смысловых формах. Впрочем, может, скоро понадобится не менее блистательное, но более «воздушное» произведение Мориака: Иисус Христос[734].

Тепло. Теплее, чем в прошлом году в это же время. А о ранней зиме, почти без осени, 1941-го и говорить нечего. Каждый день, проветривая комна-

ту, еще открываю окно. Сегодня погода была ясная, голубая, густо летели наши самолеты. Где-то далеко постреливали.

Вчера пришла ко мне старуха Сушаль. Говорит нечленораздельно, правая сторона лица перекосилась: неожиданные для нее звонки паралича. Боится смерти. Сидела на стуле жалкая, растерянная, бормотала что-то невнятное. В старых-старых тускнеющих глазах ужас и слезы.

— Je suis venue vous dire adieu... je suis tout à fait seule...[735]

Поила ее чаем. Говорила что-то ласковое. Думала: 83 года! Думала: а маме не было 70... Сегодня уже вызвала к ней двух врачей. Что с ней, не знаю. Надо бы завтра зайти...

Завтра вечером и ночью снова буду одна. Управхозиха, заласканная и закупленная мною, любезно предупредила заранее: будет ночью обход и проверка документов. Следовательно, непрописанных ночлежников выгоню. Вероятно, обе пойдут к Ксении.

Скоро час ночи. То пишу, то читаю: газета с декларациями Конференции трех держав, длившейся в Москве с 19 по 31 октября[736]; восхитительный Теннисон, ранние опусы которого «Nothing will die» и «All things will Die»[737]. Coleridge о нем. Друг Теннисона, Arthur Hallam восторженно о Пяти Превосходствах его творчества[738].

Удивительные вещи открываешь в английской литературе, самой своеобразной из всех европейских литератур, не похожей ни на одну и **по времени** и **духу** обгоняющей каждую. Теннисон — эпоха Пушкина — перекликается с нашими символистами и акмеистами гораздо более ясно и громко, нежели Пушкин (игра красками, словами, звукосочетаниями — Брюсов, Гумилев). И разве Свифт и Стерн не ближе Салтыкову-Щедрину, чем их русские современники?

У нас же недавно, на конференции критиков, редактор «Звезды» Папковский, в котором заключается «быть или не быть» всех ленинградских писателей, объявил такое (заметьте, в публичном докладе!):

— Нам теперь не нужны исследования о Данте и изучение его эпохи. А вот если бы кто-нибудь мог доказать влияние русской литературы на Данте и его эпоху — это было бы интересно и своевременно...

Все так обалдели, что встретили эту «милую шалость» гробовым и покорным молчанием. Один Реизов открыто и дерзко захохотал — и смеялся долго, но один.

4 ноября, четверг. 19 ч.

Впервые затопила печку. Сижу одна — и снова блаженствую, предвкушая пиршество одиночества. Может быть, буду писать рассказ, по выражению Гнедич (и по моему убеждению) настолько портретный, что его нельзя читать Тотвенам. Она не знает, что в нем портретность не только эта. Того портрета ей не узнать. Только оригинал его может отшатнуться в скорби и горечи. Но...

Выходила: хлеб, почта. Голубое утро с обязательными в ясную погоду самолетами. Запахло заморозком, легким морозцем. Дали холодно мглились. Если бы не моя нервическая боязнь обстрелов, ушла бы куда-нибудь далеко — может, на острова даже. Гуляла бы, думала, мерзла. Захотелось бы домой, домой, к уюту, к теплу, к чашке горячего чая. И стало бы грустно: Дома нет, никто не ждет, чашки чая никто не даст, в комнате еще не топлено, уют и тепло надо делать самой — и делать его и нудно, и долго, и неинтересно.

Школа ФЗО присылает работу. «Навожу» им редакцию на всю стенгазету. Никто не умеет писать по-русски, даже старые инженеры — как Чагин или незнакомый мне Неофитов. Дети из ФЗО любят меня, прибегают ко мне радостно, и я с ними беседую, расспрашиваю. Какие горькие, одинокие, маленькие жизни! Как война отняла от этих детей и детство, и юность, и дом, и родных, и какое-то свое — крохотное, но свое — семейное завтра и сегодня. Одна такая девчурка, мимоходом обласканная мною летом, написала мне сегодня из больницы, где лежит с сентября, трогательное и милое письмецо. Зовут ее Валя Богданова. Отец, квалифицированный рабочий, пропал без вести на фронте. Мать, повар, умерла в начале 1942-го от дистрофии. Девочка, умирающая, была в то время в больнице. Когда вышла, матери уже не было. Не было и вещей. Соседи по квартире эвакуировались и в надежде, что умрет и девочка и ей все равно ничего не нужно, забрали с собой абсолютно все, что можно было увезти. Остальное все либо сожгли, либо продали. Эта девочка — не исключение. Таких множество. Такие — почти все.

Гудит печка. Пахнет уже разогретым железом труб. Отвыкла от чуда печек — все кажется: а вдруг пожар? Сушу перед огнем белье, которое неделю назад стирала Валерка: оно висит в столовой, оно не высохло. Мама вспоминается, ее хозяйство, бремя хозяйства на ней, ее годы, ее усталость и постоянная радость с нами — чтобы ничего не видели. Как она меня всегда отстраняла от всех домашних дел, упрямо и любяще:

— Успеешь, когда меня не будет! Это такая гадость. Всему научишься. Пока я с тобой, не думай об этом.

Ни о чем не думала. Руки были холеные и нежные. Руки мамы, такие красивые когда-то, с заостренными пальцами и миндальными ногтями, были рабочие, жесткие, огрубевшие. Не любила, чтобы их целовали. Несмотря на годы и на все остальное, светская дама стыдилась своих рук.

Вот и у меня теперь такие руки. И я рада: за тебя, мама! Мне жаль, что я никогда не смогу сказать:

— Для тебя, мама. Пока ты со мною, не думай ни о чем...

Вспыхивают и потухают короткие обстрельчики. Газет не получаю. Радио испортилось и чирикает непонятно. Где-то что-то происходит. Идет война. Люди умирают. На войне мой брат. Последнее его письмо — от 14.X.

Вспоминается: торжественно, тихо, всегда втроем, без гостей, с нарочным отказом случайному посетителю, проводим 1 ноября: день свадьбы мамы. И снова, как всегда, мама отходила в тень, со своими личными воспоминаниями невесты, молодой жены, молодой хозяйки.

— В моем браке не было ничего хорошего, кроме вас, — говорила мама. — 1 ноября я праздную потому, что это дало мне право на вашу жизнь.

В нашу благодарность матери за эту жизнь никогда не входил отец. Он был каким-то внешним механизмом — не больше.

— Как странно, что он ваш отец! — иногда шутила мама. — Я ведь совсем забыла об этом. Нет, вы у меня не от плоти, вы от духа, от моей мечты.

И в этот день, 1 ноября, больше всего рассказов было не о маме, не о том, что она «революционно восстала в 1897 году» против фаты, вереницы приглашенных и свадебного обеда, что она не захотела венчаться в Москве и быть «непристойной темой для разговоров» и накануне свадьбы выехала с дедушкой в Тверь, где пару и поблагославил какой-то милый, старенький ксендз, о котором почему-то все годы, несмотря ни на что, одинаково тепло вспоминали и мама и отец.

Нет, разговоры были о бабушкином доме, о детстве и юности мамы, о каких-то чудесных мелочах давно истлевшей жизни, о розах и садике дома близ Страстного монастыря, о том, как варилось варенье, как бабушка скучала без гостей...

— ...ты совсем в маму! (это — в мою сторону).

— ...как дедушка убегал к себе, если приходили гости... ты совсем в деда! (это — в сторону Эдика).

Как ездили в итальянскую оперу, какая была вкусная халва у Яни, а пирожные у Трамблэ[739], как эти смешные Шимановские приказали нарисовать на потолке гостиной свой герб и кичились, кичились этим подозрительным гербом, какие у мамы в юности были чудесные друзья, студенты-персы Зият-Хановы, Измаил и Али, армянин Ахумов, Артемий Петрович (крестный Эдика, кстати), армянин Манукьянц и целая вереница пламенных и восторженных поляков, певших запрещенные национальные песни, во время исполнения которых бабушка и дедушка плакали и на цыпочках ходили проверить, хорошо ли заперты окна (рядом был полицейский участок). А тетя была всегда в кого-то влюблена, всегда боялась сквозняков и без конца перечитывала «Онегина» и заливалась слезами над участью Татьяны. (Эдик как-то заметил: тетя, вероятно, ждала какого-нибудь Евгения Онегина, а потом неизвестно зачем вышла замуж за своего паршивого мужа. И получилось, как у Татьяны, но только все-таки без Онегина...)

Боже мой, Боже мой — все это было!

7 ноября — около полуночи

Вчера на рассвете штурмом взят Киев. Сегодня уже отбиты Васильков и Фастов. Москва гремит салютами и орденами. В Ленинграде все эти дни — канонада: мы и они. Они (в частности) — по городу. Говорят, началось наступление и на нашем фронте.

В приказе Сталина слова: о решающих боях, о трудностях, но все-таки о решающих, ведущих к концу. Он говорит это впервые. Он очень осторожен и немногословен. Он никогда не хочет ошибаться — и не ошибается. Поэтому его слово, редкое слово, полновесно и значимо: он никогда не утешает, и ему не знакома ложь во спасение. Он никого не жалеет, он никого не любит. Он обитает в других сферах и оперирует другими категориями: государство — мир, как вселенная — мир, как страны мира — мир, как строительство лестницы к будущему. А человек для него — иногда орудие, иногда материал. Очень важное и нужное качество для poteus vir[740] (в этативном масштабе) — человек служит государству, а не наоборот.

Сталин так таинственен, так высок, так далек, что ему верят как пророку, который никогда не ошибается.

Сегодня — весь день — одна. Работа над дневниками. Не умывалась, не причесывалась, в халате и в мамином рваном платье. Оставьте меня все в покое... У меня — свое.

От брата писем нет, нет, нет. Часы. Было — прошло... Думаю о нем с такой тоской, с такой болью. С такой любовью... сын мой. Мальчик мой.

Как сыро теперь в окопах и на полях Украины и Белоруссии! Как страшно идти в ночь, воющую смертным огнем артиллерии! Как холодно в этом умном и жестоком мире, не знающем самых простых законов самой простой человеческой любви!

Впрочем, мне ли говорить о любви, мне ли, полюбившей ненависть и присягнувшей ей?

Боюсь, что «Англия» Моруа у нас не пойдет: автор в своем историческом анализе, временами блистательно-дерзком (для буржуазной Европы), все-таки идет не по нашему пути научного мировоззрения. Его книга, может быть, будет допущена только в рамках ослепительно талантливого беллетристического обзора истории Англии. С этой точки зрения — равных ей нет. Не думаю, впрочем, чтобы и сам автор, романист, претендовал на строгую научность своего труда.

Книга ставит бездну спорных и неразрешимых вопросов — книга сделана для читателя, владеющего в полной мере историей Европы с начала нашей эры и до.

Поужинала: одиночество и водка. Блюдо моего изобретения, знакомое всем ленинградцам: тушеные овощи с кашей и шпиком. Американские колбасные консервы. Впервые с начала войны — маринованные огурцы на закуску. Завтра в 11 утра жду единственного человека, который мне сейчас нужен: седую подпольщицу из Смольного. Завтра вечером — обед у Ксении. Она — милая: ясная, простая, честная и светлая. Свет ее розовый.

Валерка вчера уехала на фронт — к Колпину: выделена для вручения подарков бойцам от райсовета и комитета комсомола. Счастливая, сияющая. А в политике ничего не понимает — не знает ни географии, ни истории, ни устава партии, ни целей комсомола. Радостный и счастливый зверек — вот и все.

Гнедич живет на мне чудовищным паразитом: не знаю — орхидейное растение или паукообразная вошь. Я уж не говорю о материальной стороне: кормежка, ужины, завтраки, постельное, «Дом» на всем готовом. Это — пустяки. Но я ей даю литературу для ее лекций, которой нигде в Ленинграде не найти; я ей внушаю мысли и образы, на основании которых она строит свое творческое мировоззрение и само творчество; я ее натаскиваю на те пути, которые через час она выдает за свои. Впрочем, и это пустяки. Все

пустяки. Я очень богата и — в интеллектуальном отношении — щедра, беспечна и презрительно-благожелательна. «Се кровь моя, се тело мое»[741], неужели в бедном Христе не было грустного и веселого презрения к тому человечеству, во имя которого он добровольно шел на гибель — во имя смыслов новой жизни и нового духа!

Так вот: о Гнедич. Она очень талантлива. Пишет теперь восхитительные октавы к туманностям будущей поэмы о «Без вести пропавшем Дон-Жуане». Эпоха: наша. Место действия: Европа. Герой: ее Аксель, судьба которого и пути которого неизвестны: не то наш концлагерь, не то штабы германской армии и отрядов эсэсовцев. Знала я этого Акселя: очаровательный проходимец из породы альфонсов[742].

Недавно говорила ей о том, что боюсь ходить по городу: не артобстрелы, а память и воспоминания. Психически целые кварталы и районы являются для меня «жизнеопасным сектором» — там в дни мира и тишины я болтала с братом, мы смотрели, любовались, спорили, молчали — и знали: нас ждет Дом. Там я бывала с мамой, там я помню ее, Ушедшую и Вечно-Пребывающую.

Я говорила ей о Пушкине — об ужасе фантоматического поезда, идущего по мирному маршруту над траекториями снарядов и линиями оборонных сооружений. Я говорила ей о Прусте и поисках новых утраченных, но бывших в прошлом, материальных путей.

Она создала блестящие октавы:

Но есть на карте наших пребываний
Такие острова и островки,
Где минные поля воспоминаний
Раскинулись пространствами тоски, —
Как в бабушкином ласковом романе
Для самого отпетого горьки
Слова, всегда рифмующие к «слезы»:
«Как хороши, как свежи были розы!»...

Увы, не раз приходится и мне
Пересекать жизнеопасный сектор,
Когда на Петроградской стороне
Иду я по прекрасному проспекту
Куда-то к романтической весне,
Стремительный и ровный, как прожектор,
Уходит он — как вереница дней,
К прекрасным зорям юности моей.

Еще не все судьба моя сказала,
Не все мне отсчитала номерки,
У Витебского грустного вокзала
Я знаю злые приступы тоски...
Ты помнишь, в марте там пустые залы
Особенно бывали высоки
Каким-то светом тихим и прозрачным,
Мечтой о Павловске романно-дачном.

Бывало, у вечернего окна
Так хорошо под говор полусонный
Припоминать стихи «Веретено»
В привычной грусти лирики вагонной,
Следя, как царскосельская весна
Печально чертит контуры перрона,
И тихие, забытые пути
К домам и дням, которых не найти[743].

Я должна быть благодарна ей, воплощающей, сохраняя инкогнито, мою поэтическую мысль. Я ленива — и слава меня не прельщает. Я слишком старая для обольщений славы. Во мне первый скептический холодок — и улыбка. И я ничему не верю — ничему, кроме философского ракурса: диалектический материализм.

Хоть бы одно письмо от Эдика... Хоть бы одно...

9 ноября

Вчера у меня был хороший день — тихий, какой-то семейный: утром приехала М.С., сидела на диване, беседовала со мною, такая уютная, с прекрасной белой головой, такая «свойская», если заимствовать из польского языка. Она, пожалуй, не знает, как нужна сейчас мне. Жалею, что не знала ее раньше, когда еще была студентом и работала на Мурманской. Приходилось же бывать в 1-м райсовете и в отделе управления. Дороги судьбы. Жалею, что не знала ее и в последние годы, перед войной, когда еще была мама. Мама женщин не любила — пожилых женщин в особенности. Всегда отмахивалась:

— Что у тебя за мания к человеческому антиквариату! Я еще понимаю — старые мужчины: они много видали, много помнят, рассказы их могут быть для тебя любопытными. Но от таких старых дам — нет, уволь, не хочу и продолжать знакомства!

Мама характерно играла, как всегда в минуты раздражения, подвижными бровями — правая у нее сломанно поднималась, иногда добрые и смею-

щиеся глаза — такие молодые, такие карие и блестящие! — становились вдруг презрительно-«барскими».

— Все твои старушки — это бывшие глупые барыни или вообразившие, что они были барынями. Единственное исключение — Лидия Егоровна, потому что она была не только настоящая барыня, но и настоящий человек. (Слово «человек» мама очень почитала: она и писала и произносила его всегда с большой буквы.)

И дальше:

— Все твои старые дамы ничего, кроме кухни, курортов и узкой, меленькой-маленькой собственной жизни ничего не видели и не видят! Они только ноют, как плохо теперь и как хорошо было раньше! А мне хорошо именно теперь и плохо было раньше! Я счастлива, что живу. Нет на свете ничего драгоценнее жизни, самой обыкновенной материальной жизни и живого существа! Подумай, каждый день **иметь право** видеть солнце, небо, листву или снег, наблюдать людей, болтать с детишками, каждый день читать газеты, книги, следить, как перерождаются люди, мир и условия восприятия быта. А твои антики ничего этого не понимают! Они только ноют и жалуются: ах, моя печень, ах, мой ишиас, ах, мое сердце. И все с подробностями, которые никому, кроме них, не интересны. Или: ах, какие индейки были раньше! а как вы делали слоеное тесто? ах, все прислуги были мерзавки! ах, какая была роскошная жизнь! ах, какая гадость этот комсомол! Не могу с ними разговаривать, времени жалко! Пришла как-то твоя профессорша, Тимонова, а я штопаю. Смотрит на открытую крышку рабочего ящичка, где у меня портрет моей любимицы, спрашивает: «У вас что-то из газеты вырезано, кто это?» — «Это Нина Камнева, — говорю, — знаменитая парашютистка». — «Это ваша знакомая?» — «Нет», — говорю. «А почему же вы ее вырезали?» — «А потому, что я восхищаюсь ею, она такой молодец, я жалею, глядя на нее и читая о ней, что я сама не молодая. Я бы обязательно сделалась парашютисткой. Подумайте, какое блаженство: лететь!» Она ничего не поняла и, вероятно, решила, что я к старости с ума схожу! А ты еще говоришь, что она умная! Мещанка — и все! И как она смеет утверждать, что **все** прислуги мерзавки? Я вот ей говорила, что у меня за всю жизнь ни одной мерзавки не было, что от прислуги нужно не только требовать, но и воспитывать ее, и что в большинстве случаев от самой барыни зависит — мерзавка у нее прислуга или нет. Ох, как она на меня посмотрела! «Вы настоящая большевичка», — пропела она. А я ей: «О, нет! К сожалению, у меня слишком слабый и нерешительный характер!» Она меня терпеть не может, я знаю.

Да и я ее терпеть не могу. Ты мне давай живых людей, а не мумии в консервах!

Мама была очень остроумна, и в юморе ее часто сквозила совершенно молодая дерзость.

Пожилые верующие люди смотрели на нее с удивленным и осуждающим недоумением. Впрочем, я неправильно употребила термин «верующие» — я ведь говорю о церковниках, об обрядниках.

— Церковный брак — публичное разрешение господину NN сегодня ночью изнасиловать медмуазель N, о чем вся публика и ставится в известность.

— Не люблю церковные похороны! Пожалуйста, не хороните меня в церкви. Я не хочу, чтобы какой-нибудь поп протанцевал бы вокруг меня траурный балет, а потом отправился бы завтракать!

— Есть четыре категории девоток: овцы, лисицы, шакалы и скорпионы. Священники ими кормятся, но в душе ненавидят их и боятся.

— Бог такой старый, что, вероятно, уже выжил из ума. Поэтому вот в Европе такая кутерьма! (1939)

— Как это Бог не введет у себя в раю стахановские методы работы! Ведь его святые бездельничают! Надо разбить управление миром на участки и на каждый участок поставить ответственного святого!

— Мощи — это такая пакость! Никакой эстетики! Поклонение кусочкам недоразложившегося трупа!

— Бедный Бог! Загнали его в церковь и делают там с ним все что вздумается!

— Католическая церковь в своих праздниках чересчур много уделяет места физиологическим процессам: Благовещенье, Непорочное зачатие, Purification de la Ste Vierge[744].

— Нет ничего непристойнее французских молитвенников! Они с Христом разговаривают на каком-то альковном языке!

— Я в церкви никогда не чувствовала Бога! Для меня Бог — это лес. Это дождь. Это солнце. В любом дереве больше Бога, чем во всех церквах Рима!

Маме было под 70 лет, когда она это говорила. У нее был свой Бог. В Будде она тоже видела Бога. За последние же годы жизни она от религии отошла совсем. Добровольно и сознательно.

Мама была человеком живым, она не останавливалась и не коснела, она шла и двигалась вперед вместе с движением мира и миров этого мира, хотя для нее это было подчас и трудно. Преодолевать нужно было почти все.

Очень многое она преодолела. Она восприняла даже самое трудное для ее поколения: теорию коллективизации сельского хозяйства. Практическое осуществление этого колоссального мероприятия ей было неизвестно: она не видела и не знала новой деревни, а слышала от изгоев ее только жалобы и дурное.

Конечно, с антиками ей было не по пути. Она была молодая. Она не принадлежала к отмирающим.

Как я теперь глубоко, особенно жалею, что она не знала М.С., что она только слышала о ней.

От этого позднего сожаления и вся эта запись.

17 ноября

Доктор Рейтц живет в Москве. Я нашла его. Я послала телеграмму и два письма. Я улыбалась почти весь день[745].

Как бы предваряя, на стол мой случайно легли случайно найденные мною: Рабиндранат и Буддийский Катехизис.

18 ноября

Письмо от Эдика от 30.X. Малярия. Желудочное заболевание. Тяжелая работа. Просьба о помощи — зашифрованная, но глубоко понятная мне. Денег нет. Печальное письмо. Безрадостное, бесконечно усталое. Вижу, как улыбается мне сквозь слезы:

— Мы отдохнем, Сонечка, мы отдохнем...

Жизнь моя зависит от жизни моего брата. Сейчас ее значимость стимулируется ожиданием: от письма к письму. В будущем же моя жизнь физически закрепится на древе Большой Жизни в тот час, когда в мою жизнь физически вернется жизнь брата.

Если же этого не будет, то — не знаю, не знаю...

28 ноября, воскресенье

Девять дней у Тотвенов. Больна все время: грипп с температурами, следствие моего получасового пребывания на тотвеновском дворе во время носки тотвеновских дров.

Старик маразматичен, иногда трогателен, иногда отвратителен. В доме гнетущая атмосфера вечной истерики, вечной бестолочи. Устаю от этого. Устаю так, что начинает тянуть к собственной неустроенности на Радищева, к какой-то внутренней напряженной тишине жизни в моем «бывшем»

доме, к книгам, к пыли на книгах, к одиночеству, к поздним телефонным разговорам.

Недавно — жесточайшие обстрелы.

Взят Гомель. Отдан нами снова Житомир.

На Ленинградском фронте что-то делается, что-то затевается, пресса и радио разъяряют воина, часто бьет наша артиллерия, говорят, что мы у Египетских ворот[746] Пушкина, говорят, что Пушкин горит, что ночами ленинградцы видят зарево.

Видимо, блокаду скоро снимут. Видимо, мы тоже окажемся частью Большой земли.

Мы все-таки третий год в осаде и в блокаде. Довольно, пожалуй...

Суворовский проспект уже весь асфальтирован — Дорога Триумфов в близком будущем, войска от вокзала к Смольному!

Ремонтируются дома, квартиры. В феврале ожидается громадный наплыв приезжих. Ждут Мариинского[747]. Освещаются лестницы. На улицах впервые с июня 1941-го загорелись синие лампочки: нумерация домов, и впервые разноцветно заговорили огоньки трамваев и перекрестные сигналы[748].

Видимо, блокада действительно скоро сдохнет.

А союзники неизвестно чем занимаются в Италии: не то на солнышке пляжатся, не то апельсины жрут.

Потрясающи английские налеты на Берлин — уничтожение целых кварталов, многодневные пожары. Впервые за все время войны — то есть с 1.IX.1939 — в Базель не пришли берлинские поезда. Берлин горит — вызваны команды из Лейпцига, из Мюнхена. Лейпцигерштрассе перестала существовать. Сгорел знаменитый Вертгейм[749]. 10 тысяч убитых. А налеты продолжаются, возобновляются, идут своим плановым порядком.

Война с городом, с населением, с горожанами, с тихими домами, где есть детские комнаты, где гладят белье, где умирают склеротические старики, где стоит дедушкино бюро и висят портреты прабабушек.

Лондон. Ленинград. Берлин.

И везде — люди. И человеку всегда больно: от всего.

Несчастное животное — человек.

Ночь на 31 декабря 43-го года

Целый месяц я дома, у себя. В захламленной и грязной квартире, похожей на казарму взбунтовавшегося дисциплинарного батальона: никто не убирает, пыль растет и громоздится, грязь вступает в мир, как царица, безалаберность загроможденных и пустых дней умопомрачительна.

Эдик, я думаю о тебе. Я живу тобою и в тебе. Я умираю тобою и в тебе. Я не знаю — где ты. Я не знаю, что с тобою, ребенок мой, брат мой, сын мой, кровь моя, Кюхля моя единственная.

Я не знаю, почему ты не пишешь — и почему полевая почта 21494—т возвращает мне мои письма и переводы. Чья-то рука на конверте помечает: «Выбыл в корпус».

Я не знаю, что это значит. Я не знаю, почему ты не пишешь. Я не знаю — жив ли ты.

Эдик мой, мальчик, ребенок, брат. Что же я буду делать без тебя? Ребенок с седыми висками, мальчик с морщинками на смутловатом породистом лице — Кюхля моя, та самая Кюхля, которой всегда упорно не везло и всегда трудно было жить на свете.

Хорошо тебе было только в одной географической точке вселенной: Дома.

Эдик мой, Эдик — кончается год, начинается другой, летят события и календарные листки. Не зажгутся больше свечи на часах в столовой, завтра твоя рука, нервная, сильная и от беспомощности злая, не зажжет огни по всем комнатам, завтра я не услышу твоего хрипловатого, грассирующего голоса:

— Послушайте, что я написал... я такой назойливый автор...

Эдик мой — ведь я кричу к тебе и о тебе! Я исхожу страданием любви и сакральной крови рода. Я ищу тебя. Я зову тебя. Я не знаю даже: жив ли ты.

Страшно мне, Эдик, так страшно... Я стараюсь не думать ни о чем, не воображать, не заглядывать. Воля у меня сильная — в умении ломать даже себя. Я «наступаю на горло собственной песне»[750] (а моя единственная песня — это ты) — я шучу, я болтаю с людьми, я веселая, я чертовски веселая и милая...

Но:

...страшно мне, Эдик (и об этом никто не знает). Пусто мне, Эдик (и об этом никто не догадывается). Я подхожу к каким-то новым пределам, к каким-то новым граням духа человеческого — временами мне кажется: не выдержу, сдам, положу в вино или кофе белый порошок, сознательно и холодно взятый мною для убийства **нас троих** в сентябре 1941 года.

Знала тогда: ни от голода, ни от удушья в заваленном доме не позволю умереть ни себе, ни вам — маме и тебе. Знала (и знаю), что 6 порошков стрихнина дали бы убыстренный и облегченный конец и что совесть моя — убийцы любимых — была бы спокойна и светла, как июньский полдень.

Это убийство — убийство от любви и во имя любви — было бы спасением. Стрихнин остался.

Мама умерла.

Тебя нет со мною — и я не знаю, где ты.

Я — одна.

А стрихнин остался... Шесть порошков лежат в старой замшевой сумочке, которую когда-то — тысячи лет тому назад! — подарил мне Николенька и о которой «разговаривали» со мною в ГПУ (хорошо, что пломбы тогда я сохранила, что нельзя было пришить мне контрабанду в «связи с заграницей»! (а последний — самый смертный из смертных грехов советского катехизиса!)). Вот: двойные скобки, оказывается... Трудно, трудно, милый, жить за двойными скобками...

Ночь. Легкие снега. Легкая зима. Никаких морозов. Никакой зимы. Нева стала в середине декабря — и наступление частей нашего, Ленинградского, фронта задерживается (так говорят!) из-за отсутствия морозов.

А немец гуляет по нашим улицам. Он не бомбит нас больше — бомбы, вылеты и самолеты стоят слишком дорого! Он ежедневно навещает нас своей артиллерией — и визиты эти весьма успешны! Засечен Невский и окрестности. Недавно — 5-го, кажется, — был самый страшный снаряд за все время войны: угол Невского и Литейного, около 6 вечера, четыре трамвайных остановки, четыре состава трамвайных поездов, медленный и многолюдный выход публики из двух кино: «Октябрь» и «Титан». На перекрестке Литейного и Невского было очень большое количество жертв. Люди не ждали смерти (ленинградцы почему-то думают, что немцы в темноте не стреляют, опасаясь демаскировки) — и люди погибли неожиданно и — может быть — почти легко.

Кино. Трамвайные остановки. Черный, черный вечер. Конец служебного дня. Конец ужина в рационных столовых. Кто же мог думать? Возможно, что смерть приходит всегда неожиданно — даже если ее ждут.

(Эдик, не обмани меня! Я ведь жду тебя... я думаю: жив, жив, не может умереть, должен выжить — для меня, для будущего... для нас.)

После этого снаряда (впрочем, их было три, примерно в той же точке) на черном осадном Невском проспекте автомобили «Скорой помощи» стояли «в очереди». Васильев из обл[астного] здравотдела говорил мне по телефону, что помимо «Скорой», работали три пятитонки — собирательницы анато-

мических кусочков, так сказать... погибла неизвестная мне девушка Лидочка из Госбанка: шла домой, при объявлении артобстрела честно спряталась в подъезд — но проходил трамвай № 19, и № 19 соблазнил девушку Лидочку, и она побежала вдогонку — а «вдогонку» оказалось — «в смерть». Ее тело нашли. Только шарфик был мокренький: поражение в шею... А других вот разыскать и не смогли. Немецкий философ Schelling[751] разрывает славянскую (только ли?) расу в клочья. Уцелевшие трамвайные вагоны всю ночь отмывали из шлангов (кусочки человеческого мяса — une chose persistante[752]).

Эдик мой, брат мой, где же ты? С 30.X. у меня нет писем от тебя. Малярия. Рана. Секретная работа. Смерть. Разве я знаю... Мальчик мой. Дитя мое. Как трудно быть матерью... *Как хорошо, что мама умерла.* А кто мне ответит за смерть мамы — от недоедания? И за тебя? И за меня? Кто мне ответит? Может быть, англичане...

Я ведь ничего — и никому — не прощу, Эдик. Я буду мстить, Эдик. И я отомщу, Эдик. Я знаю. Лишь бы... Понимаешь... лишь бы рука моя коснулась настоящих струн. Лишь бы ненависть моя воплотилась бы в реальную месть.

Ночь. Тишина. Валерка — ненужное существо, которое я больше не люблю, — спит в гриппе после аспирина и чая с водкой. У меня тоже грипп. Я грызу флотские сухарики и пью грог. Я не хочу болеть...

Эдик, я *не смею* болеть, не зная, что с тобою...

Ночные телефоны с Гжевской (женой играющего глазами профессора — vieux beau![753]) и с Гнедич. Гнедич тоскует без меня, без моего дома, воспринимаемого ею как Дом: хандрит, истеричничает, безвыходно сидит в Доме писателя — боится shelling'ов, хотя и просит у меня стрихнин (я это понимаю: это очень разное!). До вечера 1 января я — невидимка. Завтра около 17 ко мне придет М.С. — единственный человек, который нужен мне сейчас, единственный, за которого я цепляюсь всеми остаточными силами сопротивления. Надежды на нужность. Надежды на будущее...

(Смешно писать это слово — будущее! Ведь правда смешно, Эдик, правда?)

Итак, каждодневные обстрелы (говорят: высоты Дудергофа). Каждодневные утешительные сводки: продвижения, победы, трофеи, Ватутины, Гомели, Витебски и прочая...)

Трудно мне без тебя, Эдик, брат мой, очень трудно... ведь, кроме тебя, в моей жизни ничего нет. Что же я буду делать, если из этой **моей** жизни уйдешь и ты — последнее звено в цепи настоящих (первых) радостей. Как жалко, что нет Бога. Я бы пожаловалась — ведь мне очень тяжело, Эдик, очень тяжело — очень.

Тотвены, пожалуй, на меня обижены: не была целый месяц. Татика присылает сдержанно-грустные письма. Старик что-то лепечет: Валерка пытается передать, да я не прислушиваюсь... Все равно, все равно...

Сочельник — одна. Потом (вечер и ночь) — Ксения. Милая. Хлопотливая. Нежная, приятная и ласковая земная женщина! С нею всегда просто — и всегда хорошо и ясно.

Хотела лечь рано, да заговорилась с тобою, Эдик, брат мой — единственный. Вот уже несколько суток сплю только по 3—4 часа: некогда: работа — халтура.

С Новым годом, Эдик, брат, сын — **мое**.

Живи. Будь только жив.

Это — мое единственное желание.

Эдик мой, ребенок мой, — где же ты?

1944 год

И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы...[754]

Останься пеной, Афродита...
О. Мандельштам — «Камень»[755]

... Ты уюта захотела.
Знаешь — где он, твой уют.
Анна Ахматова[756]
Лето 1944 года

...Но об этом нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать...
Н. Тихонов[757]

Январь, 3-е, понедельник 17.40

Мороз. Голубые окна. Больную и глупенькую Валерку за руку ввожу в русскую балладу. Сидит теперь напротив и впервые знакомится со «Светланой»[758], ахая от переживаний. Задает вопросы:

— Что такое зиждитель? Что такое фимиам?

Объясняя, перелистываю Тихонова. Думаю, что слова, поставленные эпиграфом, могут служить безусловным эпиграфом для всей блокады Ленинграда, конец которой должен быть, да что-то не приходит...

Конечно, прав Тихонов, говоря в 1921 году:

Этого мы не расскажем детям,
Вырастут и сами все поймут,
Спросят нас, но губы не ответят,
И глаза улыбки не найдут[759].

Ошибается он только в одном: никто не поймет, ни дети, ни взрослые, ни Европа, ни Россия — никто. Да и не все пережившие ленинградцы поймут **осаду Ленинграда**, как не все участники Гражданской войны поняли Гражданскую войну.

Надо бы писать каждый день. Отстраняюсь, не могу. Иногда дурацкое слово: «А зачем?» Новый гимн: очень скверные, дешевенькие стишки газетного типа (припев хорош) и музыка Александрова, старая, которая лучше звучала при словах: «Партия Ленина, партия Сталина...». Давно уж я пророчила, что гимном должна быть именно эта песня. Сбылось. Жаль, что из-за всяких «принимая во внимание» нельзя было оставить прежний текст[760].

1-го вечером — Светлана, Гнедич, Юрий Загарин и Оскар Гурвич. Мальчики, влюбленные в свою собственную культурность, томность и принадлежность к «истребленной породе», похожи на славных глупых щенков, которые тыкаются милыми мокрыми носами во все «умные» стороны и все время показывают несложные фокусы. Так вот мальчики читали свои стихи и, захлебываясь, высказывали свои мнения о поэтах, о жизни, о литературе. Мы с Гнедич были критиками, а Светлана с Валеркой слушателями. Я и смотрела на мальчиков и с недоумением думала: «Господи, да им по 20 лет! У меня могли бы быть такие сыновья...»

Видимо, только физическое материнство дает настоящую зрелость, какую-то успокоенную уравновешенность. Зрелости, физической и психофизической, во мне нет: старчество и юность, не успевшая изжить себя. Какое забавное и почти неприятное: юная старушка! Какое печальное и почти смешное: старый юноша!

Один почтенный швейцар, очень важный и роскошный, говорил мне после октября:

— Я, барышня, с большевиками не согласен и не принимаю. Потому никаких першпектив...

А вот я с большевиками согласна и большевиков принимаю. А какие у меня перспективы?

Так, в каких-то передних околачиваться...

Светлана хорошо сказала о гимне, находя текст нового слишком длинным:

— Гимн должен быть предельно кратким: это формула, а не декларация.

Любопытная она.

— Меня интересовала в жизни только одна область — любовь. Этому я отдала все силы. В этой области могу считать себя виртуозом.

Седая, черноглазая, криворотая абиссинка с горячим взглядом, с хулиганским смехом и милой (почти застенчивой) улыбкой. Чувственна, насквозь сексуальна, легко сходится, легко расходится, иногда кажется чудовищной — от Вальпургиевой ночи.

И при всем своем цинизме, обнаженной постельности, при всей своей остро пахнущей женственности — неожиданное: любовь — одно, связь — другое. Связь и любовь — разное: иногда любовь по-настоящему — мучительно боится связи, поцелуя, прикосновения, объятия. Говорит:

— Один раз человек, которого я любила — так, настоящей любовью, — вдруг сказал мне, что хочет меня, что желает меня как женщину. Это было для меня как пощечина. Я долго потом стояла на Тучковом мосту, ревела, не знала — броситься в воду или продолжать жить. Все ведь упало.

Иногда мне кажется, что я ее понимаю.

Иногда я уверена, что понимаю ее.

Впрочем, это несущественно. Важно мое открытие для себя самой — только сейчас, через эту женщину, я поняла евангельскую Магдалину. Какие все-таки умные психологи создавали эту поэму! Только такая женщина, как Магдалина, прошедшая через много рук и много любовей, может, видимо, провести страшную божественную грань: L'amour et les amours[761]. Amour — caritas[762]...

6 января, четверг — Les Rois[763]

Снова вернулось мое письмо. Адресат выбыл.

Гости: Гнедич, Лоретт. Обедаем пышно: винегрет, мясной суп с капустой и рисом, ячневая каша со шпиком, кофе со сладкими блинчиками. Лоретт жарит блинчики, плевритная Валерка мечется и сияет. Патефон, музыка, песенки. Я так весела, что Гнедич делается страшно. Мне — тоже.

Лоретт говорит об Алисе. Я слушаю об Алисе. Мне все равно. Я ко всем благосклонна.

Но Лоретт — неизвестно почему — заговаривает о бретонском chansonnier[764] Theodore Botrel. И я каменею, мне сладко и страшно, встают далекие призраки (по высоте и нежности — чудеснейшие в жизни моей!). Мне остро и жутко вспоминается наша столовая, стынущий кофе в синих чашках, зимние сиреневые сумерки и тихий, очень тихий и очень усталый голос, напевающий:

En son palais de Versailles
Fut trouver le Roi:
«Je suis gars de Cornouailles
Sire, équipez-moi»[765].

Обстрелы не прекращаются. Сегодня снаряд в саду Смольного — совсем близко от Главного подъезда. Снаряды повсюду — на Литейном, на Мойке, на набережной Рошаля: улицы, дома, ворота, дворы, парадные. Город опять под обстрелом. Говорят, что немцы уводят из-под Ленинграда свои войска и оставляют великолепно замаскированные бетонированные дзоты, в которых остались смертники: бить по городу с артиллерийской снайперской прицелкой до конца — до собственной гибели. Говорят, что так бывает всегда.

На юге — победы: Житомир, Белая Церковь, Бердичев. Толстый Ватутин, похожий на поросенка, оказался наполеонидом[766].

А люди Ленинграда мечутся в сплошном неврозе особого типа — «арт-травма», как я его называю. Люди боятся улицы. До обморока, до сердечного припадка. Хочется всем одного: сидеть безвыходно дома, на неподобстрельной стороне.

Я не выхожу с 30 ноября. Я-то могу не выходить — даже без ярко выраженной арт-травмы! Обижаются и сердятся Тотвены. Мне все равно. Я готова дать зарок:

«Не выйду на улицы, пока не будет письма...

Год не выйду, пока не будет письма.

Глаз не подниму на небо, пока не будет письма».

Тяжело мне. Очень. И по этой, главной, причине — и по целому ряду боковых.

Я не боюсь. Мне противно (это о боковых).

Я очень боюсь. Мне страшно, страшно (это — о главном).

7 января

Люди, люди, люди. Все дни забиты людьми. Гнедич от меня вообще не выходит: таинственные закрученные пути, как всегда, — и, как всегда, с перерывами, с пробелами, с шильцами. Мама и брат были правы.

Сушаль вышла из больницы, посвежела, по-старому злая, ироническая, фальшивая. Ксения ходит в мехах, розовая и чудесная, и боится обстрелов, мечтает о бюллетене. Зарабатываю машинкой — до одури, до идиотического отупения. Я — и переписка на машинке! Ничего, ничего — и это, видимо, нужно: чтобы унизительнее, чтоб больнее, чтобы всю песенность из головы вышвырнуть, чтобы почти задыхаться от гнева и отчаяния.

(Да — иногда — даже отчаяния...)

Все время напеваю Ботреля:

Dame, oui![767]

Очень грустно. Очень безысходно. И табак причем скверный — а без табаку душа моя скорбит смертельно.

8 января, 13 час.

Только что ушла Гнедич. Интереснейшие разговоры с нею. Игра доведена до предела. Я почти выиграла.

Снег. Сумерки в неосвещенной комнате напоминают мне тюрьмы — мои камеры. Проклятий во мне нет.

Одна. Хорошо, что одна. Устала от людей.

Английский разговор по телефону — неожиданный и странноватый: комплекс снов, утренних фантазий, музыки. Любопытно, что именно сегодня, после imaginary conversations[768] моих недобрых утренних часов (бывают такие — подземные).

Самолеты. Редкие снаряды — где-то.

Письма от Никарадзе, от Евг. Мих., от Катерины Галаховой, от Степановой.

Живу, как в мареве, как в черно-перламутровой глади колдовских и японских тарелок на стене: при живом огне тарелки живут, переливается чешуя драконов, сверкают красные глаза, бьют хвосты — драконы готовы пожрать друг друга. И все — нереально, все словно вне, словно не совсем я.

Написала письмо Всеволоду Рождественскому, одному из любимых поэтов мамы. Написала, собственно, неизвестно почему и зачем. Первое письмо в жизни, написанное мною незнакомому человеку. Смешно — так ведь поступают только гимназистки...

Много думаю о прошлом — об очень далеком прошлом, о Москве, о детстве. Ясно чувствую запах московских снегов и запах первых кинематографов. И вижу и слышу: голоса, лица, платья, мебель, жесты. Тяжело.

И еще: о Петербурге 1918—1921 [годов], о Доме литераторов, о моей сверкающей юности, о Замятине, которого тогда еще не знала, о квартетных вечерах, о моем чистом и суровом одиночестве, о высоких, единственно-прекрасных часах в костеле.

9 января, воскресенье.

Открытка от Эдика от 21.11. Жив! Жив!

27 декабря по-старому, собственно. Дурашливый Эрошка в esprits legers[769] указывал — «27-го — радость»[770]. Так.

14 янв[аря,] пятница

Письмо от Эдика 11-го: от 3.1. Значит, где-то близко. Ничего не понимаю. В письме тусклые жалобы: здоровье — не по специальности — назначен на лечение, но ходить далеко. Где же он? Не трудармия ли с тяжелым и тупым физическим трудом? Ничего не понимаю. Просит помощи.

В комнате холодно, топлю два раза в день. Холод от дров — сырые, пустые дрова. Вечерами приступы жестокого озноба. Шатает. Еле хожу. Видимо, снова грипп — эпидемический в Ленинграде, нечто вроде знаменитой и зловещей испанки[771] 19-го года. В Москве — тоже.

Ждут наступления на нашем фронте. Гнедич рассказывала, что кто-то важный и таинственный сказал: Пушкин и Павловск немцами оставлены, Екатерининский дворец взорван, мы не входим туда из-за мин, обстрелов больше не будет.

А снарядики где-то грохают!..

Очень плохо чувствую себя. Очень.

Дрова шипят, тухнут — возня с печкой...

Ежедневно Лоретт. Часто Сушаль, впадающая в детство, злобная, строптивая. Устала от них так, что хочется кричать: какое мне до вас дело, до вас, до церкви вашей, до всех французов в мире! Глядя на Сушаль, понимаю полезность такого предприятия, как газвагоны.

Чтение «Карамазовых», Дефо, французских поэтов, «Английский шпион в Германии» Б. Ньюмэна 1914—1918[772].

Перестаю любить французский язык. Филологическая нежность отдается английскому[773].

Хочется лечь — не могу. В халате, в валенках, в теплой кофте жду Валерку. Придет — лягу. Для того чтобы открыть ей дверь, надо пройти через всю арктическую полосу квартиры. Жду одетая, чтобы не вставать.

Сплю почему-то плохо. Нынче проснулась в половине пятого утра и больше не засыпала. Сегодня приму люминал. Ем тоже плохо: ничего не хочется, от каш воротит — а, кроме каш, что прикажете делать?

Часто холодеют и совершенно немеют концы пальцев — как у мамы, как у мисс О'Рейли. Сердце.

Собираюсь — если поправлюсь вскоре — к Тотвенам.

Январь, 25, вторник

Огромное и успешное наступление на Ленинградском и Волховском фронтах.

Вчера нами взяты Пушкин и Павловск. Апокалипсическая Мга тоже отбита. В утро, когда стало известно об освобождении Лигова и Стрельны, мы с Ксенией, которая лежит у меня с 19-го (обстрел, поскользнулась, растяжение связок), были близки к истерике, к припадку — пришлось прибегнуть к сильному лекарству.

После двух с половиной **лет** подобстрельности очутиться вдруг в зоне артиллерийского молчания необыкновенно. Очень трудно поверить в это. Мозг знает. Разум знает. Но тело еще не верит, а в сердце радость становится острейшей болью — до задыхания, до слез. Вдруг выпуклой и чудовищной делается цифра — **два с половиной года**. Хочется схватиться за голову, кричать, звать на помощь из настоящего в то прошлое, которое (как будто) кончилось, но которое продолжает жить в нас: два с половиной года блокады, два с половиной года осады, фронта, запертости, безысходности, преданности на волю случая.

Два с половиной года гамлетовского «быть или не быть», перенесенного в плоскость самую реальную, самую физическую — каждодневную.

И — самое основное:

Наши братья: мой Эдик в неизвестности, а по моим представлениям, на Волховском; Юрий — под Ораниенбаумом, откуда фактически началось наше наступление, скрытое мною от больной Ксении: газет ей не давала, к радио не пускала, всех приходивших ко мне предупреждала еще в передней: об ораниенбаумском направлении не говорить.

Знает теперь о всех событиях все с самого начала, кроме самого начала.

Так и живем с нею — думая о наших «мальчиках», о стареющих седых мужчинах, очень разных и по-разному одинаково близких.

Я даже не жду писем от Эдика, я даже не волнуюсь: все кажется, не может сейчас писать, некогда, может, бои.

Ксения говорит, сдерживая слезы:

— Только бы увидеть, потрогать — руки, ноги, голова, плечи, все на месте... жив, цел...

Не говоря ни слова, думаю и я: «Только бы увидеть, только бы прикоснуться, ощупать ноги, руки, плечи. Убедиться: живой, живой».

Об этом страшно даже думать.

От этого, вероятно, и истерическое состояние.

27 января, четверг

Блокада моего города кончилась. Сегодня в 7.45 вечера, в темной кухне я слушала по радио приказ об освобождении Ленинграда, рядом стояла мол-

чаливая Ксения и две ее глупые сотрудницы, глупые лепетуньи, героически и просто пережившие и выжившие.

Слушая, думала о маме, о брате, о том, что я одна, одна, что хорошо мне от присутствия Ксении, от милого и неожиданного письма от Вс. Рождественского[774], от того, что почувствовала в себе редкое для меня движение слитности с коллективом.

Блокада кончилась. Город освобожден. Слушала приказ, думала о маме, которая не дожила, об Эдике, который где-то там, может быть, в бою, может быть, в смерти. Хотелось плакать — сдерживала себя. Радость была острой, как боль. Потому что в радости были и боль и скорбь.

Скольких нет! Скольких еще недосчитаемся!

Потом выбежали с Ксенией на улицу — слушать салют: 24 залпа из 324 орудий, установленных на Марсовом, на Дворцовой.

На темных мокрых улицах стояли кучки народа. Загорелось зеленым небо, загрохотали орудия, замелькали ракеты, плохо видные из наших бесперспективных переулков. Обозначились мрачные контуры домов — вдруг повеяло знакомым и страшным: налеты 1941 года, трупная освещенность города от светящихся бомб, от пожаров, от пламени разрывов. Так же тогда розово зеленело небо, взлетали ракеты, дрожали прожекторы, ревели взрывы и орудия — и так же четко и графически рисовались черные, черные дома, обреченные, ожидающие, беспомощные и печальные, как гигантские гробы.

Было холодновато. Знобило. Небо то вспыхивало, то погасало. На крышах маячили силуэты любопытных и догадливых зрителей. Снизу им завидовали. Залпы казались даже не очень громкими. Маленький мальчик деловито обсуждал:

— Выстрел слышно, а разрыва нет...

Люди слушали молча, с редкими восклицаниями, похожими на бред, на молитву:

— Господи, дожили... и бояться не надо... Господи!

На Марсовом и Дворцовой было шумно: кричали «ура», пели, выступали с речами. Народу было множество. Зрелище фейерверка, говорят, было прекрасно — думаю, что особенно прекрасно оно было для города, лишенного в течение двух с половиной лет привычных уличных зрелищ, празднеств и демонстраций.

В Смольном все наблюдали молча.

Думали о крови, о погибших, о страшном мосте из человеческих тел, по которому — всегда — человечество шагает к свободе... или к ее призракам.

Ночь на 1 февраля

Ксения только что заснула — долго говорила с нею об Эдике, читала отрывки из дневника. Она вчера получила открытку от Юрия: невредим. Прошел Ропшу, Гостилицы — идет на Запад.

От Эдика нет ничего — ни строчки.

В городе спокойно. Кажется, что никаких обстрелов больше не будет: говорят, что Финляндия бить по городу остережется, — ждут в этом году мира, говорят, что Финляндия должна думать о своей самостоятельности, не разъярять общественного мнения и прочее.

Новостей очень много — крайне любопытных.

И Пушкин и Павловск — наши.

Только был бы мой парк золотист и широк,

Ничего мне на свете не надо...[775]

Екатерининский — взорван, сгорел. Камеронову галерею будто бы спасли — будто бы, вовремя разминировали. Гнедич рассказывала, что на днях взлетел в воздух Павловский дворец: необнаруженная мина замедленного действия.

И город мой — кладбище. И вокруг города — кладбище. Уже прокладываются железнодорожные пути. Уже писатели ездят в музейные морги русской истории и пишут в газетах вялую и неубедительную, дешевую и неталантливую дребедень (особенно отличается Вера Инбер!). Уже, уже очищена от врага наша магистраль Ленинград—Москва. Скоро покатят международные вагончики с международными пассажирами. Ленинград вышел на Большую землю — и вдруг оказалось, что Большой земли-то и нет!

Видимо, скоро будет мир. Тогда к нам, в Союз — на настоящую Большую землю для всего мира, — прикатит Англо-Америка: греть руки, строить, помогать, грабить, раздирать. Поняла: Англия — это не Европа. Англия — отдельный материк, первый в мире и главенствующий над миром.

Скоро 4 утра. Спать не хочется. Тоскую. Об Эдике. Боюсь за него, мучаюсь — до задыхания. Никто не видит. Молчу, молчу. Стиснутые зубы.

Пару дней были взлеты, хотелось одеваться, думала о прическе, о маникюре, о том, что я еще красивая женщина, что никто не дает мне моих лет.

А теперь снова канула в безразличие, в туповатую (старческую) ленцу. Два дня не одеваюсь. Пижама, халат, валенки на босую ногу. Много работы. Некогда читать и писать. Да и не хочется. Вдруг — вероятно, на время — ничего не захотелось больше.

Вот бы только получить письмо, что **невредим**.

В госпиталях — страшные ранения: обрубки — без ног, без рук, без глаз.

Думаю: не пойти ли поработать в госпиталь, хоть чем-нибудь помочь солдату.

Никуда не пойду. Себя поберегу. Знаю, знаю.

Говорят, что вышло постановление: в партер нижние чины не допускаются. Говорила Гнедич. А ей я вообще не верю: истеричничает, болтает чудовищный вздор, за который не жалко расстрелять.

С Ксенией хорошо: уютная, домашняя, теплая — чудесная земная женщина. Благодаря ее присутствию, благодаря какому-то духу ее чистоты, хозяйственности, домовитой уютности моя столовая оказалась живой, обитаемой: завтракаем и обедаем в столовой, работаем там, принимаем гостей. Впервые с осени 1941 года там горит старая лампа, становятся на стол чашки и тарелки, поет патефон, расстилается скатерть.

Все **почти** как прежде.

Снимаю все табу. Не к чему...

Ночь на 2 февраля — около 2 час.

Ксения работает над балансом в столовой. Валерка спит на мамином диване. У меня тихо, тепло — остывающий самовар, сухарики, фотографии, письма, стихи. Квартира осторожно возрождается: живут синяя комната и столовая, пыли не так много, беспорядка немного меньше.

(А на листках перекидного календаря, как и прежде, ежедневные записи о делах и людях; но нет в них больше ни сердца, ни гнева, ни боли, ни ожидания. Календарь: просто.)

Днем была в Смольном, гуляла с М.С. по знаменитой аллейке, говорили о Катынском лесе[776], о будущем, о мире, о союзных республиках, где создаются национальные армии, где вводятся республиканские национальные НК иностранных дел.

Мое мнение: видимо, децентрализуется система вероятных после мира концессионно-торговых отношений с Англией и США. Политически очень умный выход: любой договор с иностранной державой (или капиталом) будет носить характер не всесоюзный, а местный.

Создание национальных армий, вместо Единой Рабоче-Крестьянской Красной Армии, мне пока неясно. Наименование «Р.К.» Кр[асная] Армия, должно быть, уйдет, что, однако, несущественно. Я не понимаю, я не вижу объекта дальнего прицела — почему наша армия распадается, расчленяется

на **ряд армий**[777]. Может быть, нас боится Европа. Может быть, национальные армии в системе Советского Союза, создаваемые именно теперь, **уже** говорят за близость мира. А как же быть дальше с войною, если Украинская Армия, например, скажет: «Не хочу!» Или нам нужно это для того, чтобы споры между Польшей и СССР о границах свелись бы, так сказать, к местным спорам — Польша—Украина, Польша—Беларусь. И будет ли Львов польским или советским, останется на дипломатической совести руководителей Украинской республики. Возможно, что я пишу ересь. Но мне хочется понять, **самой** понять, без газетного внушения, рассчитанного на массу. Я не масса, я существо мыслящее.

Подходим к бесконечно интересному времени грандиозных переустройств.

(Кстати, очень высоко ценю знаменитую поговорку, уводящую незыблемость диалектического начала к истокам: «Бог дал, бог взял — да святится имя его!»)

Домой шла в начале 7-го, были тихие-тихие графитные сумерки петербургских фонарей. С июня 1941 года **впервые** наслаждалась погодой, легким морозом, снежными шапками на крышах, далями улиц, золотисто-розовым молодым полумесяцем. Впервые за эти годы шла спокойно, не нервничая, **не ожидая** гибели или ранения, **не прислушиваясь** к возможному возникновению дальнего выстрела, который через секунды зальет кровью и засыплет битым стеклом снежные и расчищенные улицы и тротуары. Впервые мне **нестрашно** было ехать в трамвае. Трамвай не ощущался больше как «братская могила». Сегодня, впервые с начала войны, я позволила себе прогулку и наслаждение прогулкой.

Я, кажется, поняла уже телом: обстрелов нет.

Взят Кингисепп. Мы рядом с эстонской границей. Любопытно, как будет с Польшей, правительство которой в Лондоне ведет себя непозволительно... хотя бы с точки зрения британской государственности, британской дипломатии, британской разведки. Так думаем мы — не британцы. В сущности, польское правительство в Лондоне должно было бы быть немедленно арестовано британскими королевскими властями, как ведущее подрывную работу и занимающееся фашистской пропагандой на территории страны, воюющей с фашизмом[778]. В крайнем случае, Англия должна была бы выслать таких, по меньшей мере странных, гостей. Англия не делает ни того ни другого, а, разговаривая на эти темы с нами, делает единственное, что умела

делать всегда: недоумевающе-сокрушенное лицо милого дядюшки из породы мировых главбухов. Ах, какая это умная стерва!

В городе тихо, благословенно, почти мирно. Город отдыхает от чубаровского парня[779] с бандитской кличкой: Фриц-Обстрел.

Мир безусловно готовится к миру.

В этой подготовке неясна для меня позиция Гитлера. Как он уйдет с арены? Или кто и как его снимет с арены?

В Башкирии хлебная норма равна 100 гр. в день. Так пишут из районного центра.

Как бы после Фриц-Обстрела не пришел другой хулиган, помрачнее, судимости и приводы которого теряются «во мгле веков». У этого профессионального убийцы, методичного, холодного, безжалостного, слепого и многорукого, тоже есть кличка. Зовут его Царь-Голод.

Ночь на 12 февраля — полночь

Почти неделю живу на Желябова. Ежедневно много хожу по городу — навещаю, смотрю, тоскую.

— Жива, еще жива... — говорю почему-то вслух, стоя в синие сумерки над Невой, у Сената, где не была с дней мира.

На улице всегда, а в особенности в сумерки, ощущаю беспредельность и неизбывность в моей жизни одиночества. Одна. Нет дома. Никто не ждет. Нет больше ласковой руки, отворяющей дверь. Нет больше глаз, во взгляде которых живет сама любовь. И нет со мною сердца, в котором бы жила я, только я, если говорить о брате сегодня, только мы, если говорить о маме вчера, о брате вчера.

От Эдика ничего нет. А на улицах он со мною, ему говорю о радости, что петербургские пейзажи не нарушены, что живо великолепие архитектурных ансамблей, с ним иду под метелью через улицу Росси, через Чернышев мост, с ним, стоя на набережной Фонтанки, любуюсь снежным вихрем, снежным вечером, темнеющими линиями домов, когда исчезают и пробоины, и фанера, и война, из-за него опускаю ресницы и стискиваю зубы.

Лишь бы вернулся... Пусть не пишет, пусть. Лишь бы был жив. Невредим. А потом бы пришел ко мне — единственная любовь моя, единственная правда, единственная дружба. Сколько я ему еще должна! Хоть бы судьба позволила выплатить мой долг.

Сегодня, возвращаясь из Смольного около 7 часов, ждала трамвая. Нежданно пришли и почему-то задержались на остановке госпитальные составы из американок[780]. В составах было что-то торжественное и страшное. Одна дверь оставалась приоткрытой, на ступеньках стояли ангелы в ватниках — строгие женщины с тихими голосами. За дверцей были синие лампочки, белое-белое, носилки этажами. И за дверцей была тишина. Тишина вдруг стала ощутимой, повсеместной — казалось, замолчал весь город. Город снимал шапку. Город земно кланялся.

Только сегодня, глядя на белое-белое сквозь полураспахнутую дверцу госпитального трамвая, я поняла: кровь солдата — не простая кровь. Кровь солдата — святая. Вот почему была такая тишина: чаша Грааля. Сразу же подумала об Эдике. Захотелось крикнуть. Не крикнула. Смотрела только на белое, на синий цвет. Поклонилась святой крови. Прощения просить было не у кого.

От Михайловской шла по темному Невскому с ракетными вспышками фар, сигнальных огней, электрических разрядов на проводах. После двухдневной метели начинало таять. Утреннюю скользину очистили. Незабываемы графитные силуэты неосвещенного города; смотришь, запоминаешь — навсегда запоминаешь. Деревья в инее. Концерт в филармонии: радио передает 2-ю симфонию Скрябина.

В городе обстрелов нет. Бои в предместьях Луги. Вчера взята Шепетовка. Англия установила валютный паритет для земель Сражающейся Франции: 1 фунт — 200 франков. Если Англия начала брать франки, Франция, видимо, будет жить.

В городе ходит частушка:

Недовольны командиры,
Что кончается война,
Было жен по восемнадцать,
А теперь будет одна.

Возвращающиеся из эвакуации жены вступят в город с плакатом:

«Долой подлых захватчиц!»

Блокадные жены выйдут со встречным плакатом:

«Завоеванного не отдадим!»

Город уже шутит. В город приехало правительство советской Эстонии, гуляют первые «иностранцы» в мягких шляпах, широченных пальто и свет-

лых брюках. Ждут возвращения Мариинского. Молодежь танцует и целуется. Женщины сходятся с военными за продукты — и это называется «отоваривание».

А госпитальные трамваи ввозят в город святую кровь.

16 февраля, среда, 12.30 — Желябова

Читаю старые номера «Знамени» за 1937 год. Любопытные странички из неловко скроенного утопического романа Кида о Японо-американской войне[781]. Читая эти любопытные странички, с печалью думаю о маме: не с кем поделиться, некому прочесть, а это бы доставило ей такое колоссальное удовольствие... Подтверждение ее теорий об энтропии — о разнице количества тепловой энергии, переносимой ею в область психики. Мама всегда утверждала, что энергия психическая является разновидностью энергии электрической или лучистой. Количество, отпущенное на долю человека, предельно — у одного больше, у другого меньше, но количество не безгранично. Нужно беречь и умножать его, ибо вокруг богатого энергией человека возникают сонмы людей-паразитов, грабителей, спекулянтов, вампиров. Они утягивают эту энергию к себе — так, как можно красть электричество, причем в большинстве случаев кражи эти идут впустую: они обескровливают «богатого» и не насыщают «бедного». Истощение же мирового запаса психической энергии несомненно. Радиоактивные источники существуют — надо их только открыть. Надо также добиваться способов аккумулирования, улавливания психической энергии в момент смерти — или впадания в старчество — больших людей мира.

Обо всем этом мы говорили с мамой много и подробно — в радостной и чистой атмосфере Дома, где были книги, цветы, ее молодость и ее любовь. Мне очень жаль, что в 1937 году я не знала об этой книге, о романе, о страничках Кида. Мне очень жаль, что я не прочла этих страничек маме: в 37-м году было хорошо, она была здорова, верила в жизнь, в меня, в будущее. Верила и Вам, мой милый спутник.

Мне вообще почти не с кем говорить — так говорить, когда в процессе речи складывается творческий процесс мышления, когда говоришь, громко думая, поправляя себя, наталкиваясь на новое, делая открытия, отдавая себя и пополняя себя.

Именно **так** мне не с кем говорить о политике — в ее широком, историко-экономическом аспекте. **Так** я говорила с братом, с этой живой политической и экономической энциклопедией.

Не с кем мне **так** — кроме Гнедич[782] — говорить и о природе, о литературе, о музыке, о Петербурге.

Да. Одиночество теперь большое. Настоящее.

Физического одиночества я сейчас не боюсь. Чтобы не почувствовать то, другое, настоящее, не ощутить его до конца. Катастроф не надо. Как и всегда — умно, холодно и неизвестно для чего — берегу себя.

Нынче еду к М.С., потом домой, где ночую.

Завтра снова здесь.

Дом на Радищева опять для меня пустыня, необжитость, безразличие — чужое.

Март, 7 — 18 часов

Постреливают целый день зенитки. Тает, идет весна. Сегодня первый день на ногах, в голубой пижаме, в валенках, в грязном халате — убирала комнату, перелистывала книги, ужасалась обилию пыли и грязи. Почти две недели лежала: грипп с тяжелыми Т°, с затяжной головной болью. Теперь, видимо, проходит.

От Эдика ни слова. Третий месяц.

Нашлась Анта — жива. Изменилась, потеряла зубы, потеряла золото волос. Последний раз она была у меня 18 декабря 1941-го. Последний раз я ее видела в июне 1942-го, когда зашла на квартиру к ее сестре, Ляле Розен, в неуверенности: где Анта, выжила ли? Анту я тогда почти не узнала — это было умирающее человеческое существо в жестокой стадии дистрофии, всеми покинутое, всеми брошенное, без денег, без материальных средств, без реальных возможностей спасения. Слушая ее хриплый и ко всему безразличный голос, я знала — надо помочь, надо спасти. Помощь должна была быть материальной — только. Такой помощи я оказать ей не могла. Эдик был в госпитале. Его жизнь держалась в жизни на паутинной ниточке. Золото и серебро я меняла на продукты и этим укрепляла паутинку. Я обещала Анте снова прийти к ней — и не пришла больше. Помочь мне было нечем. Я сознательно оставила человека на пороге голодной смерти. У меня не было выхода. А потом мне было всегда мучительно и страшно думать о ней. Я боялась узнавать. Я не хотела знать, что она умерла: ведь в ее смерти каким-то образом виноватой становилась и я.

Гнедич по моей просьбе пару раз заходила в дом на ул. Достоевского, где жила Леля. Я каждый раз с ужасом ждала известий. Осенью 1942-го сказали, что Анта в больнице. Летом 1943-го сказали, что Анта после больницы

вернулась в свою квартиру на Петроградской, а затем уехала из города. Это было все.

А в середине февраля 1944-го, когда я гостила у Тотвенов, туда прибежала взволнованная Ксения.

— Сонечка, я нашла Анту! — крикнула она и, посмотрев на меня, сразу добавила: — Ты не волнуйся, она жива. Она здорова.

Какая-то вина с меня снималась. В чем-то — хоть в одном — я оказалась оправданной.

Анта мне написала прекрасное и трагическое письмо[783]. Я прилагаю его к этой тетради. Потом она приехала ко мне. Туберкулез. Одиночество. Работает в библиотеке Педиатрического института[784]. 2-я категория. Ограбили, растащили все вещи. Несколько раз — больница. Сломанная рука. Центральное отопление бездействует. Комнату свою не топит совсем.

Для того чтобы разрядить драматические возможности встречи, чтобы атмосферу сделать более легкой, более нейтральной, я попросила Гнедич остаться у меня в этот вечер. Третьи лица иногда спасают.

Было очень хорошо. Анта начала размораживаться. Может быть, мне даже удалось ей вернуть эфемерное ощущение нужности жизни. Мы с Гнедич и Валеркой окружили ее большим и ласковым вниманием. Мы вкусно пообедали. Пили чай. Гнедич и я читали стихи, говорили о литературе, о будущем, о прекрасном. Для нее мы делались оптимистами. Я подала водку, предложила тост:

— За возвращение, Анта... за возрождение!

— Нет, — резко сказала она, — для меня это вообще невозможно.

Я повторила еще раз и протянула к ее рюмке свою. Поколебавшись, она улыбнулась мне.

— Хорошо, — сказала она неуверенно — За возвращение. Я, может быть, попробую.

Это было уже много. Мне снова показалось, что с меня еще раз снимается какая-то вина.

Анта очень мертвая. Возвращение в жизнь для нее будет трудным. Возрождение, вероятно, даже невозможным. Я так хорошо понимаю все это — я ведь тоже, тоже Лазарь! Но я лгу ей, что возвращение и возможно, и необходимо. Я лгу — неизвестно зачем.

Она ночевала — в моей комнате. Ей было тепло. Ночью она нехорошо кашляла. Уходя утром, села на мою кровать, поцеловала меня, поблагодарила.

Ей у меня было хорошо — это я знаю.

— Вы очень переменились, родная, очень, — сказала она. — Я с трудом вас узнаю. Вы же совсем, совсем новая. И как много вы говорите... вы же все время говорите...

Мне очень интересно: в чем и как я переменилась. И только после ее слов, чуть подумав, я с удивлением установила, что она права: я очень много говорю, я слишком много говорю. Крылья эйфории под моим хлыстом уносят меня на такие высоты, что физически начинает умирать от бешеного темпа полета и биений мое физическое сердце.

Два раза у меня был Всеволод Рождественский. Мы пьем кофе, курим, беседуем. Он сидит на диване, смотрит на меня, лежащую в постели, рассказывает, читает стихи, читает прозу. Мне кажется, ему у меня тоже хорошо.

Я слушаю его и, глядя на него, почти его не вижу. Из-за него и при нем перегородки времени сдвигаются, раздвигаются, колеблются. Понятие Времени нарушается. В него врываются понятия сдвинутых и смешанных перспектив. Это чудесно — и это страшно.

Он, конечно, и представить себе не может, как мне хорошо и как мне больно (до крика!), что в моем доме — в бывшем Доме — звучит его живой голос. В этом доме поэтический голос его, стихотворная его песенность жили и звучали в течение долгих, долгих лет: с 1920-го, кажется. Как его любили в этом доме! Как часто читались его стихи! Это были встречи с милым, милым другом. Как часто цитировали его строчки — это были знаки наших настроений, состояний, восприятий, это были эпиграфы дней и минут.

— «Нет, не Генуя, не Флоренция, не высокий, как слава, Рим...»[785], — повторял Эдик, когда ему было особенно хорошо, и целовал руки мамы и мои.

И по этим строчкам мы с мамой сразу узнавали, что Эдик счастлив, что он радуется Дому, что ему хорошо Здесь, а не где-то там.

— «Я люблю зеленый цвет...»[786], — имела привычку говорить я совсем некстати, и по этой строчке мои сразу узнавали, что я в настроении победы, что у меня удача, что я чем-то довольна. Мама говорила часто обо мне — очень серьезно и почти набожно:

Как свечу, зажег тебя однажды
Сам Господь, неведомо зачем...[787]

Она вкладывала глубокий мистический смысл в эти строки. Она не только верила — **она знала**, что они написаны только обо мне и только для меня.

Когда мы бывали с Эдиком в Павловске, в Царском, он в какой-то час всегда просил:

— Прочти что-нибудь наизусть... ах, надо было взять с собой «нашего Всеволода».

В Летнем брат неизменно повторял:

Все буду помнить Летний сад
И вазу, гордую, как дева...[788]

Я даже сердилась иногда:

— Ты вечно говоришь то же самое...

— А ничего другого и сказать нельзя! — отвечал он чопорно-старомодным тоном, чуть обиженно — и жаловался потом маме:

— Подумайте, «наш Всеволод» для нее «вечно то же самое...». Это чье-то влияние, мама, это нехорошо, она от нас уходит.

(Кстати, эти строки Рождественского о Летнем саде очень высоко оценивал Николенька, москвич. Он утверждал, что ни у кого не встречал такой предельно сжатой и математически точной формулировки петербургского пейзажа в его абсолютно определенной точке. Он часто цитировал эти строчки в своих прекрасных письмах ко мне. Не менее часто голосом Рождественского он убеждал меня:

Если не солгали сновиденья,
Ты давно была моей женой...[789]

Сновиденья, очевидно, солгали... Хорошо и часто вспоминаю о нем. Какой это был восхитительный собеседник! И как умно — и, может быть, по-настоящему так, как надо, — он любил меня. Надо бы разыскать его, узнать, не встревожив жену. Пока нет путей. Подожду.)

А тетя, например, всегда плакала над стихами:

«В комнатку памяти как ни стучи...»[790]

А когда Эдик болел, он неизменно требовал «Юнгу». И **как** он бредил, скорбный, светлый, чистый, ребяческий, давая бесконечные вариации на свое любимое:

И снится мне, что снег идет в Бретани,
И Жан, постукивая деревяшкой,
Плетется в старую каменоломню,
А в церкви слепнет узкое окно...[791]

Эти строки сопровождали все тяжелые болезни брата.

— А если ему написать и попросить его прийти навестить меня... он придет? — спрашивал иногда Эдик.

— Не думаю, — отвечала я.

Брат сердился:

— Почему ты думаешь, что все такие гадкие, сухие, черствые? Ты бы на его месте не пришла?

— Нет.

— Почему?

Я всегда отвечала по-разному, но однажды, помню, рассердила Эдика по-настоящему. Он чуть не заплакал.

— Мне было бы некогда, — сказала я.

На помощь была вызвана мама. Больной Эдик искал спасения в ней и у нее.

— Мама, мама, он же не такой, как говорит она, скажите, неужели он такой?

Мама успокоила: подтвердила, что «наш Всеволод», конечно, «не такой» и не может быть «таким», что он придет, что он непременно пришел бы и т.д. Эдик в жару обрушил на меня горы обвинений: Достоевский, Пруст, Фрейд, Бодлер; Достоевский в особенности.

— Ты разрушительница! Ты деформатор! — негодовал он.

Я удивительно четко помню этот день: брат лежал в столовой, было лето, мама была в светло-сером стареньком платье, пропадали билеты в Художественный, на «Синюю птицу», Николай носил дрова, у меня была уйма работы. Я помню даже, что Киргиз валялся на золотой парче, что во всех вазах и банках стояли целые охапки шпажника, что потом, в знак примирения, мы с Эдиком пили шампанское, и я до одури читала ему его любимые стихи и ставила любимые пластинки.

Мы часто разбирали — за что и почему мы любили того или иного поэта. Было «вообще» и «в частности». «Вообще» — это было то особенное и волнующе-близкое, что не поддавалось определениям, что нельзя было объяснить словами, что даже, по выражению брата, **не следовало** объяснять словами.

— Этого нельзя касаться, это запретное, это святое, здесь твои логики и анализы — ничто, пыль, пыль! — кричал Эдик.

«В частности» — это были конкретности, извлекаемые из опусов, из допущений, из догадок.

Рождественского любили «в частности»: Эдик — за его «поэзию русской географии», за любовь к природе, за понимание природы, за Петербург, за дороги.

— Он такой, как я! — инфантильно доказывал брат. — Я уверен, что он так же воспринимает железные дороги, как я! И семафоры в особенности. Я уверен, что с ним можно «играть в будущее, которого не будет». Я уверен, что он любит музыку. Я ручаюсь, что он любит Грига, Дебюсси и Скрябина.

«В частности» мамы дополняли Эдика: она, например, знала, что этот поэт любит вкусный чай (а она всегда гордилась «своим» чаем — и была убеждена, что ни у кого больше «такой» не получается!), она знала, что он любит зиму, долгие прогулки, зимние пейзажи, не боится холода, любит кошек, любит, когда печка топится.

— Я люблю его за то, что он пишет в красках, что у него разноцветные слова, — говорила мама. — Его стихи — не бусы и не бисер (о Гумилеве мама говорила, что он «вышивает крупным бисером»), а прелестные картинки. Его стихи «я вижу».

(Мама хорошо рисовала и очень чувствовала краски. У нее в этом отношении был очень тонкий, изысканный и крайне разборчивый вкус. Угодить ей в цветовом вопросе было чрезвычайно трудно.)

Кстати: брат утверждал, что для Рождественского музыка тоже цветная, что он должен — Эдик всегда отличался аффирмативностью — понимать скрябинские замыслы «цветовых симфоний».

«Наш Всеволод» ходил с нами и в гости. У Ксении очень любили мою читку — после ужина, после танцев, когда отходил веселый хмель и людей по-русски начинало тянуть к высокому, к прекрасному — к какой-то церкви, где можно не то отдохнуть, не то покаяться, не то поразмышлять, — просили только Ахматову, Гумилева и Рождественского. Я обычно говорила сидя за роялем.

У Кэто я часто читала стихи, лежа на ее гигантской тахте. Муж ее тогда прекращал свои вечные прогулки по комнате и слушал, стоя. Потом говорил:

— Организуй, Кэтуша, закуску. Что это меня после стихов на водку тянет!!

Однажды летом мы были у него в отсутствии Кэто, я и Эдик. Кэто с дочкой были на даче. Пили, конечно. Пришел вызванный по телефону Дмитренко, сияя всеми своими орденами и ромбами. Б.С. был уже смертельно болен, только никто этого не знал. Он сидел с расстегнутым воротом френча. Жаловался на горло, пил водку и сырые яйца.

— Что это вы открыли нового у вашего Рождественского? — спросил он. — Мне Эдуард Казимирович говорил.

Я прочла тогда то, что мы недавно нашли:

Крысы грызут полковые приказы,
Слава завязана пыльной тесьмой...[792]

Впечатление было очень сильное. Попросили повторить.

— Отпевает нас Софья Казимировна! — сказал Дмитренко. — А здорово написал, черт его возьми! Водку он пьет?

— Не знаю, — рассмеялась я. — Вероятно.

— Ничего подобного! — ответил Эдик. — Он любит кавказские вина!

— Чепуха! — рассердился хмелеющий Дмитренко. — У тебя, Эдуард, дамская душа, и ты рассуждаешь по-дамски! Вино!.. Ну, ладно, выпишем для него из Телава. Как, Борис, выпишем?

Борис Сергеевич молча кивнул головой.

Дмитренко не унимался:

— Где он живет?

— Он наш, ленинградский, — погордился Эдик.

— Давай. Звони ему по телефону, Эдуард! Приглашай сюда. Скажи, машину пришлю.

Во всех серьезных случаях жизни Эдик смотрит на меня: испуганно посмотрел он на меня и тогда.

— Il ne faut pas[793]...— жалобно протянул он.

Б.С. понял Эдика, засмеялся (как он чудесно смеялся!), успокоил Дмитренко:

— Брось, Валек... поздно! К чужому человеку — ночью — звонить — все же спят, вероятно...

Дмитренко успокоить было трудно.

— Они все по ночам пишут. Я знаю. Я читал. Ты, Борис, меня не учи. Как это он не придет к командирам Красной Армии? Обязательно придет. Да он, может, в моей дивизии служил. Честное слово, я помню эту фамилию.

Договорились, однако, не вызывать и не звонить. Послушались меня: я предложила компромисс.

— Выпьем за его здоровье, вот и все! — сказала я.

Выпили. Дмитренко, как и всегда, рассказывал о Гражданской. Рассказывал он прекрасно. Жаль, что так никогда ничего и не было записано.

Б.С. был задумчив, насвистывал, мало говорил, наливая рюмки...

Осенью его хоронили — горловая скоротечная.

А весной 1935-го хоронили Дмитренко[794] — рак гортани и мозга.

И тут и там — траурные марши, ружейные залпы, фуражка на крышке гроба, шашка, цветы, чеканный шаг Академий в строю: Артиллерийская и Толмачевская.

Да. Все кончилось.

А работа крыс, может быть, и продолжается.

Начала писать одно, кончила другим. Многое еще не записано: поздно и холодно. А многое уже и забылось.

Сейчас пришло в голову, что, если Всеволод Рождественский еще раз придет ко мне, я, может быть, покажу ему эту запись. Для того, чтобы он познакомился ближе с моими. Возможно, это доставит ему маленькую радость.

Март, 10, пятница

Вчера: Анта, Гнедич, Валерка. Позже Загарин. Обедаем в столовой, слушаем музыку — починили мой хороший патефон, могу слушать Шаляпина, «Шахрезаду», Испанскую симфонию, Девятую. Потом Гнедич читает свою сумбурную мистерию, спорим, ведем масштабные политические разговоры — чисто русские! Не хватает водки для полноты картины.

Ночью, около 4-х, Анта говорит (мы уже лежим, но спать мне не хочется... слушаю себя... ошеломляет слепая бессознательность, за которой не хочу видеть ничего сознательного):

— Как вы можете так жить? Постоянно люди, люди, шум, отсутствие одиночества.

Она, видимо, не знает, какое во мне одиночество и какое молчание.

Все мне кажется, что у меня чужое тело. Мне с ним тяжело, неуютно, оно — не мое, оно мне словно мешает. Оно такое ленивое, капризное, требовательное — оно гораздо красивее, чем раньше, оно почти любуется собою, у него появляются новые и чужие для меня движения и жесты и новая и чужая мне жизнь. Удивительное раздвоение: будто новая инкарнация — буквально. А душа остается прежняя, старая, и мозг прежний, и память та же — и в памяти сохранилось все, что было до смерти — а смерть, видимо, была! видимо, я просто недоумерла физически в какие-то дни 1942 года! Недовершенный процесс распада клеток был остановлен атакой жизнетворческих клеток и побежден. Началось восстановление и возрождение физического

организма. Так второй раз родилось мое тело — не то, прежнее, а совсем-совсем новое. Его работа и требования не гармонируют с работой и требованиями мозга и духа. То, прежнее, было им подвластно, они знали и контролировали каждое его движение. С этим, новым, нужно еще свыкаться, узнавать и подчинять его.

Это великая вещь, что при новых инкарнациях душа теряет память. Сохранение памяти — пытка.

Еще не выходила. Говорят, весна и солнце. А ночами, говорят, луна. Завтра собираюсь на прогулку. Жду тепла, открытых окон, умолкших печей. Но весны — боюсь. И лета — боюсь. Что я буду с собой делать?

Курю папиросы «Казбек», подаренные Гнедич. Снова надела кольцо с рубином, открыла последний флакончик французских духов. И от рубина, и от «Казбека», и от духов приходят и прежние, и новые ощущения. Память та же, а тело не то же. Очень странно и интересно наблюдать за собою.

Юный солдат Виктор Поспелов, «муж» моей соседки Леночки Ширман, которая все еще мне кажется девочкой, рассказывал интереснейшее...

О психических атаках германцев в 1941-м под Ленинградом: идут во весь рост, с папироской в зубах, в майках с обнаженной грудью и закатанными рукавами — все красавцы, высокие, стройные, все белокурые — у всех золотистые волосы перехвачены по лбу черной ленточкой. Оркестры играют веселые марши. В руках автоматы. Шагают прямо. Шагают через трупы, не останавливаясь и не сгибаясь. Говорят, страшнее это было танков и минометного обстрела!

О немецкой разведке у нас в порту, на Южной дамбе, у Ковша. Все семь человек немецких разведчиков жили среди наших бойцов **полтора года**. Полтора года наши дружили и делили все невзгоды и ужасы голода и грязи той эпохи с германскими шпионами, не зная, что эта вот землянка, этот вот блиндаж, эти люди — не пулеметчики советской армии, прикомандированные к Н-ской части, а враги. Выдала случайность. Восемь дней отстреливались, окруженные в отравленном снегу, на измор. Сдались. Восемь дней германская артиллерия, где все поняли, не давала подходить к блиндажу и покрывала его и все окружающее бешеным огнем. Сдались — и почему-то не застрелились, убили только своего часового, виновника провала. Хорошо говорили по-русски. Может быть, были даже русские. Лейтенант их — душа-человек, весельчак, плясун, анекдотчик, баянист. Все его обожали, все при-

глашали в свои землянки. Всех околдовывал песенками Вертинского и Лещенко. Интересно, должно быть, нашей разведке было беседовать с этим офицером — какую сеть открыли, какие явки установили! А если в каждой нашей части было такое «приданное» звено! Ведь порт в течение полутора лет сотрясался от меткости вражеских засеканий: били точно, как по плану. Нельзя было провести до конца ни одного военно-технического мероприятия. Все сметалось.

А как немцы били по городу! Я не говорю о жути рассеянных обстрелов — я говорю о строго засеченных кварталах, на территории которых было нечто такое, что немцы знали, а соседи по дому и на улице не только не знали, но не знают и до сих пор...

Скоро два месяца, как обстрелов больше нет. Часто сердятся зенитки. Бывают редкие тревоги, не пугающие никого, далекие. Ждут решения Финляндии по нашим условиям перемирия. В газетах пишут, что Стеттиниус в Лондоне будет обсуждать условия перемирия и мира с Германией — причем Советский Союз будет ставиться в известность. Что это значит? И каким порохом начинает пахнуть. И какой трюк задумала «добрая старая Англия».

Ах, ведь мы тоже неплохие акробаты — не опоздать бы только!

16 марта. Желябова, 29

Приехала к Тотвенам поздно. Во мне раздумье и лукавство. И легкая боль в плечах.

Суббота, 18 марта

Была в Смольном. М.С. дала мне ответ части 21494 на запрос обкома об Эдике. 5.1. выбыл в другую часть. Подписи польские. Значит, армия Берлинга. Домой шла, уже подкошенная радостью и тревогой, — 5 января было давно...

А дома, в дверях, нашла письма от Нат. Ис.[795] и от Эдика. Вошла в синюю комнату, где было холодно и пыльно, зажгла лампу, не раздеваясь, села на диван. Морозило. Билось сердце, и ноги стали совсем чужими. Не снимая даже перчаток, распечатала письмо Эдика, поцеловала его, погладила щекой грязную затрепанную бумагу. Посмотрела на дату: 7 марта. Сказала громко, чтобы вообразить, что хоть кто-нибудь слышит, хоть тени:

— I live, I live, I'm here...[796]

Письмо сжатое, сдержанное. Почти холодное. За всем этим вижу огромную боль и огромную муку.

«После долгого молчания могу сообщить тебе коротко о себе... признан комиссией нестроевым... близорукость, косоглазие... дистрофия... может быть, отправят на лечение... твой день... душой с тобою...»

Орлиное зрение Эдика — и близорукость! Его прекрасные глаза — и косоглазие! Польская кровь — и дистрофия!

Что же это такое, господи!

На конверте — странная на первый взгляд и неуместная дата карандашом: 23.2.1918 — 1944. Поняла не сразу: из Польской Армии символически, упоминая о дне Красной Армии, дает мне понять, что ему — плохо, что он — среди чужих. Этого, собственно, и нужно было ждать. Что общего у брата, у этого сумасшедшего романтика Революций и мессианской легендарной Польши, с реальными и настоящими поляками современности и сегодняшнего дня? Язык только — да и то Эдик говорит на старинном польском языке дедов, на каком в Польше уже давно, с середины XIX века, никто не говорит. Опять коллизия в его бедной, бедной жизни — опять столкновение с действительностью — и опять поражение моего брата! Какая жестокая карма! Снова оказаться ненужным и лишним — даже в таком деле, как война. Нестроевой... всегда он был вне какого-то жизненного строя, в котором шли вперед другие. Входил. Шагал вместе. Был счастлив — и всегда выбывал... как нестроевой.

Только бы демобилизовали. Только бы вернули мне, в мои руки. А уж там как-нибудь...

Затопила печку. Думала. Знобило так, что не могла решиться снять шубку. Пришли Гнедич, Валерка, заходила управхозиха. Говорила о чем-то, слушала, отвечала, пила чай. Но было нехорошо, очень нехорошо. Сделанное веселое настроение, такое бьющее хмельной и бурной пеной смеха через край, сразу куда-то ушло. Пришли усталость, безмерная усталость. Тихая радость от его жизни, тихая боль от боли его жизни. И знание своей беспомощности, бескрылости, одиночества.

24 марта, ул. Желябова

Докторский кабинет. Радио с полночными известиями о победах. Целый день неистовая метель — как в декабре. А вчера вечером шла с Валеркой по набережным от Литейного до Дворцовой площади, читала старый Петербург, как книгу, и нежно и печально радовалась бледно-зеленой одинокой звездочке, возникшей перед моими глазами над решеткой Летнего сада. Было

свежо, таяло, тротуары были сухи, светло-розовыми шарфами лежали на графитном небе поздние закатные облака. Весь день работала у себя, говорила по телефону, ждала телефонов.

Выгляжу хорошо, красиво. Но старею, старею. Впервые отметила еще неприметный сетчатый рисунок на коже под глазами. Внимательно и часто смотрю на руки, на шею. Да, уже не то. И никогда уже «тем» не будет.

Пока была со мной мама, все **еще** казалось впереди. А теперь, оказывается, все **уже** позади. Рубеж этот был пройден незаметно. Ну, что ж! Ни о чем не жалею из той жизни, что была при ней и с ней, с единственным **подлинным** человеком в моей жизни, единственной и подлинной любовью в моей жизни.

Четверть первого. На Радищева в это время обычно пьется чай и ведутся большие разговоры. Здесь сонное царство. Радио только что сообщило, что мы перерезали дорогу Тернополь—Львов. Приходила Паулина[797], питающая ко мне нежность, выросшую еще и потому, что завтра день ее рождения и она ждет подарка. Вечером читала вслух старичкам Сенкевича «Огнем и мечом» и внутренне изумленно улыбалась напряженному и радостному вниманию слушающих: они вошли в книгу, жили, переживали, трепетали, мой голос ввел их в XVII век Польши и заставил «увидеть» всех героев. Читая вслух, всегда думаю о маме, о том, что она любила мою читку и была требовательна и беспощадна к моим интонационным инфлексиям. К читке для нее я всегда готовилась и, читая, всегда была гордой и счастливой. Здесь все проще, все легче, все скользит, скользит...

Устала от людей. От усталости, от пустой болтовни, от людской требовательности, от вампиризма бледнею даже. С половины десятого утра до половины четвертого дня не знала ни минуты для себя, для тишины, для книги: Гнедич, Никитина, Лоретт, маникюрша Люся. Всем, оказывается, я нужна. Все предъявляют какие-то права на мое время, на мое внимание, участие, дружбу, помощь. А мне все надоело, и я устала. Видимо, во мне нет эгоизма: я никогда и никому не говорю о своих делах, не жалуюсь, не советуюсь, не прошу помощи. О себе я всегда говорю коротко и всегда скупо и очень легко. Это и хорошо, что я никого в свой мир не впускаю. Зато в чужие миры вхожу — иногда даже живу в них, — и все чужие миры чужды мне и далеки.

Думала раньше много о том, что у меня в мире нигде нет места. Это, вероятно, так и есть. Зато теперь я знаю свое место: **при себе**. Только.

Сижу в чужом кабинете. Смотрю на чужие портреты: почти никого не знаю. Многих уже и на свете нет. С какой легкостью и простотой я ухожу теперь из дому и ночую у чужих. Все равно. Признак бездомности — все-таки и несмотря ни на что. Несмотря даже на слова Рождественского, который мягко и ласково, словно утешая меня, доказывал, что у меня не дом, а Дом и что в нем живут не только тени, но и я, живая, а не тень. Милый он. Чудесный собеседник. Он — прохожий, и я рада, что хоть на час он остановился на пороге моего дома.

Ощущение реальности времени с ним теряется. Я начинаю верить, что действительно знакома с ним двадцать лет, что нас когда-то познакомил Замятин. В нем, вероятно, много того света, который французы называют claret[798]. От этого — тоже вероятно — те пути и те ступени, которые для меня по временам являются совершенно неестественными, кажутся с ним и простыми, и естественными. Человек одарен талантом Прохожего, мирно и радостно встречая каждый день и благословляя каждое событие в пути: причин и объяснений ищут только оседлые. С ним мне почти хорошо. Вот она, цыганская кровь. Кочевник.

27 марта, понедельник

День моего рождения. Мороз. Метель. Потом голубое небо. Очень тяжелый день, и торжественный обед у Тотвенов напоминает мне поминальную трапезу.

Юрий убит под Нарвой.

Товарищ детских игр Эдика, товарищ моей юности, мой милый приятель, брат Ксении.

Капитан. Ропшинская дивизия. Недавно представленный к ордену Красной Звезды. Последнее письмо от него 13 февраля... «Пишите длинное письмо, как прошлый раз. Вы так интересно пишете...» А я не могла писать — физически не могла от какого-то внутреннего сопротивления, отмеченного как «зловещий признак» еще Антой. Написала я ему только вчера — нежное, грустное и тихое письмо: о весне, о зеленой звездочке над решеткой Летнего сада, об Эдике, о том, что мы — Лазари...

А сегодня узнала. Погиб он уже давно — может быть, вскоре после написания письма. Скрывали от Ксении — потому что она была больна. Ксения велела скрывать от меня, потому что я у Тотвенов, потому что день моего рождения. Вот и все.

Бедная, бедная Ксения! Бедный Юрий! Бедные мы!

28 марта

Дома. Начало седьмого. В комнате +3°. Затопила печку, сижу в шубе, курю. Может быть, и не думая ни о чем. Придет Валерка, придет Гнедич — будет Дом.

31 марта, пятница, 23 часа

Должна была прийти Ксения — и не пришла. Прислала записку: «Я не могу сегодня прийти. Я переоценила свои силы. Нам с тобою Юра был ближе и понятнее, чем другим... Поэтому мое горе с тобой вместе я буду чувствовать еще острее...»[799]

Я это знала. Мое присутствие, отягощенное воспоминаниями, страшно для нее. Все это я знаю, знаю...

Утром навещаю старую Сушаль, иду по знакомым ступеням, по знакомым комнатам. Сижу в ее задымленной и грязной комнатенке, смотрю на никелированную кровать, на матовый шар лампы — ничего не узнаю, ничего не чувствую, кроме досадного недоумения: неужели это та же комната, неужели все это — то же?

Позже ходила за карточками: холодно, скользко, тает снег, в небе все голубое, солнечное. Устала. Вчера работала до половины шестого утра.

Юрий убит 23 февраля, во сне. Артобстрел. Видимо, осколок, потому что адъютант, лежащий рядом, жив и здоров. После ранения жил еще 16 минут, но без сознания. В ту ночь, когда был у меня, читала ему Тагора — «Гитанджали». Просил прислать ему перевод. Обещала, не сделала, что-то помешало. Отметил сам: 92, 93, 94, 99.

«Я получил свой отпуск. Пожелайте мне счастливого пути, братья! Я прощаюсь с вами и ухожу».

«В час моего отхода пожелайте мне счастья, друзья! На небе зарделась заря, и мне предстоит чудесный путь. Не спрашивайте, что я беру с собою. Я отправляюсь с пустыми руками и трепетным сердцем».

«Когда я оставлю руль, то буду знать, что пришло время, чтобы Ты его взял. Что должно быть, то будет. Бороться бесполезно».

Юрий погиб.

А жизнь продолжается. Все идет по-старому. Ко мне приходят люди, звонят телефоны — как обычно.

На днях — Вс. Р[ождественский], Гнедич, влюбленная в него 18 лет и встречающаяся с ним впервые за чайным столом, водка, винегрет, наивно-

лукавые глаза Валерки, обращенные на Гнедич, мое безудержное веселье — я все время шучу, смеюсь, остроумничаю, дразню Гнедич. Мне так больно, что даже весело.

Жаль такой любви, как ее любовь — большая, придуманная, мучительная, нарядная от стихов и цитат, спасительная, всепрощающая... и ненужная.

— Ma Reine[800], — говорили мне Вы.

— Белая королева, — говорил мне Николенька.

— Царица Тайах[801], — говорят мне теперь.

Я причесываюсь перед зеркалом, пудрюсь, крашу губы, говорю веселые и легкие вещи. Мне тревожно и почти хорошо. И я знаю: человеку тоже тревожно — но по другим причинам — и тоже почти хорошо. Я с дерзкой радостью смотрю на вещи, окружающие меня: вот золотая шкатулка с Генрихом IV, вот портрет епископа эпохи Герцогства Варшавского[802], вот сливовый абажур на бронзовой лампе, вот простое распятие над моей постелью — а вот и рубин... Не хватает только золотого браслета, звенья которого распались, и я спрятала его куда-то. Надо найти золотой браслет! Надо найти золотой браслет!

Боже мой, какой я строитель Вавилонских башен!

Дома я не знаю, что делать. Я чувствую себя как в гостинице. Не то нужно идти куда-то, не то ждать кого-то. Все чужое, холодное, временное, ненастоящее. Но из гостиниц люди уезжают — домой. Я могу тоже уехать — в другую гостиницу. И все это будет называться: домой...

Нет все-таки Дома. Может быть, будет, если вернется Эдик. И то: может быть.

Апрель, 2, воскресенье

Утром в Спасо-Преображенском соборе слушаю Литургию Чайковского. Очень красиво. В православных церквях люблю смуглое золото, тусклые блески, свечи, лампады. Очень холодно. Еду к Тотвенам, чтобы завтра быть дома.

4 апреля, вторник

Усталость. Трудное настроение: запечатанное. Болят плечи. Ездила в Смольный, вечером была Ксения. Говорю очень много, но молчу все время.

Вспомнилась старая английская песенка:

And I — I knew full well he was lad
And he — he surely knew I was that woman
But yet —
We both were silent[803].

Ночь на 8 апреля

Была в оперетте на идиотской «Фиалке Монмартра»[804] с идиотскими актерами и идиотской публикой. Со мной прелестная модная женщина — жена главного прокурора Закавказского фронта. Иду на Радищева одна по фантастически красивым от луны улицам. На Знаменской часто останавливаюсь, смотрю на небо, на контуры крыш, на чудеса лунных теней. Дома ждут Валерка и Гнедич, довольные, что я у себя и, следовательно, у них Дом, приют, убежище.

Странно было позвонить в свою собственную квартиру, услышать за дверью чьи-то шаги, встретить радость, ожидание, самовар, тепло человеческого жилья. Отвыкла. С 12 августа 1942-го меня никто в доме не ждет и не встречает. Отвыкла настолько, что даже озлилась: чужие мне, не мои, не свои. Каким правом они занимают место, принадлежащее не им. Кто они, эти интрузы[805]?

9 апреля. Пасха

У себя: пижама, халат. Безденежье. Настроение холодной и веселой злобы. Вчера «Багдадский вор»[806], великолепие красок и тревожащий образ Конрада Вейдта.

Вы мне говорили когда-то:

— Я вам прощу любовника, но не могу простить портрета Конрада. Земной соперник мне не страшен: я вас всегда отниму. Я боюсь только вашей мысли и вашего воображения.

Тогда я покорно сняла портрет со стены. Может быть, я даже сожгла его — я не помню. Или подарила Вам. Мне же было все так безразлично. И Вам, и моим я принесла тогда в жертву даже старый дом на Фонтанке. (Но старый дом жил во мне неустанно — и Вы это знали — и Вы этого боялись.)

На Пасху у меня целый день люди — Валерка, Гнедич, д-р Фейгина, Никитина, Загарин, Гурвич. Телефоны без конца. Устаю, как лошадь на последнем перегоне. Не думаю ни о чем.

13 апреля, четверг

Случается, что люди видят чужие сны.

В моем доме некоей тени, откликающейся на мое имя (и на разные другие имена), в ночь на сегодня приснился чужой сон.

Потом Ксеничка, Гнедич, работа, телефоны.

Завтра пойду на вынос плащаницы, потом в Дом писателя, потом домой, где устраиваю день рождения Анты, потом с нею на «Багдадского вора».

Вчера узнала о смерти Селима. Убит в Гатчине. Жаль. Талантливый историк. Милый юноша.

От Эдика нет ничего.

16 апреля, воскресенье, ночь

С Татикой и д-р[ом] Буре была в филармонии: вечер трио — Ойстрах, Оборин, Кнушевицкий[807]. Музыку, оказывается, могу слушать безболезненно: нужно только хорошенько захлопнуть какие-то двери в себе, стиснуть зубы и faire bonne mine[808]. Много думала об Эдике, о наших с ним концертах, которые он воспринимал всегда экстатически, почти пьянея, почти заболевая от музыки. Особенно выпукло вдруг вспомнился вечер в филармонии, когда я представила его Лизе Гилельс — вспомнилось все: и мое парижское платье, и внимательные глаза Юрьева, и безвкусица нарядного туалета Лизы, и породистое лицо Эдика, и наш веселый и семейный ужин.

В филармонии публика новая — почти нет седых голов, столь свойственных филармоническому пейзажу. Как много воспоминаний и сколько здесь Замятина, Гермуша, Бюрже, проф. Миллера. Все прошло.

Почти весь Крым наш. Украина тоже.

21 апреля, пятница — дома

«It is good to mount up, as eagles; but dire remain the task of learning to walk and not to fail»[809]. Стихи на томике Тагора.

Утром, в постели, мягко и беспричинно распадается надвое мой золотой браслет, и я теряю два платиновых звена. Это мне кажется таким закономерным, что я даже не пугаюсь.

Позже, гораздо позже, я вспоминаю о другом томике Тагора с моей надписью — и нахожу его. Я читаю свою надпись. Закрываю книгу. Прячу сломанный браслет в сумочку.

Во мне — молчание.

Очень интересны совпадения и мистические флеры, которыми их облекает жаждущий загранного человек.

Жаль, что из этой странички не сможет сделать рассказ для своей «Шкатулки памяти»[810] мой милый поэт Всеволод Рождественский. Ce n'est pas son style. Et ce n'est pas le style du Temps[811].

Ночь на 26 апреля

Одна. Чудесное ощущение настоящего физического одиночества, принадлежности себе, нераздвоенности. Ушла от всех. Никто не знает, что я дома. Целый вечер пишу, перечитываю, разбираюсь в бумагах, часто улыбаюсь себе. Хотя улыбаться не хочется.

Плохое самочувствие. Вспышка старых поясничных болей, как летом 1940-го. Происхождение болей таинственно. Полагаю: правая почка или печень. Надо к врачу.

Днем падал снег. Весна медленная, неласковая. Ходить трудновато. Требуются тепло и покой. Какое у меня умное и покорное тело! Как оно хорошо дает мне понять, что все прелести сансары не для него и не для меня. Мой неведомый хозяин бьет его хлыстом, чтобы оно закричало, чтобы я услышала, чтобы не забывала.

Не хватает только получить в подарок книгу Андрея Белого...

Отметила еще раз: многие меня любят, но никому, собственно, до меня дела нет. Мое здоровье и мой брат превратились в вежливые формулы.

По-настоящему это никого не интересует и не трогает. О моем здоровье думает брат — пока... о брате думаю я. И это — все.

А люди любят меня веселой, оживленной, остроумной, ласковой, гостеприимной, умеющей слушать, выслушивать, советовать, сопереживать. Люди видят во мне плечо, поддержку, развлечение или театральное действо. Пусть. Не скажу, чтобы это было мне приятно. Но мне от этого не больно.

Распродаюсь. Фарфора, кажется, больше не осталось. Очередь за баккара. Золотистые китайские вазы, памятные с детства, оценены в 1500. Я даже не ожидала. Деньги мне очень нужны.

От Эдика нежное письмо от 1.IV. Адрес не номерной, литерный — О.П.В.У. лит. V. Что это значит — понятия не имею. Дистрофия, скорбут[812], желудочные боли...

Только бы вернули мне его.

27 апреля — днем

Прекрасная ночь, земная звездная — такая, которая может и не повториться никогда, потому что бредовая ценность ее была реальна и полна. За одну такую ночь — за 14 часов жизни — можно принести благодарность судьбе.

Я ее и приношу, эту благодарность, несмотря ни на что и вопреки всему.

Май, 4 — у себя

Под дождем от Тотвенов иду в Дом писателя, где будет литературный вечер и банкет. Выгляжу прекрасно, чувствую себя красивой, легкой, недоступной. Настроение хорошее. Вечер уже начался, с трудом нахожу в первых рядах сияющую Валерку в белом шелковом платье из Парижа. Пробираюсь к ней, раскланиваюсь с Гнедич и с Хмельницкой. Почти все время ощущаю на своей спине глаза Британца[813]. Когда в перерыве он подходит, говорю очень просто:

— How you do, Jaffar?[814]

Неожиданность этой простоты и всего, что кроется за нею, поражает даже его. Великолепны глаза у этого бандита, прекрасны зубы, ловко и собранно тренированное тело. Он хорош — и знает это. Все второе отделение сидит рядом, кокетничает со мною, играет, почти как женщина. Я смотрю, улыбаюсь, отвечаю. Говорим о красивых женщинах. Умное:

— Beauty... it's a hard work[815].

Мы знаем это оба. Мне зло, холодно, мне отчаянно плохо, но я улыбаюсь, улыбаюсь. В антракте беседую с В. Мануйловым о В. Р[ождественском]. Розовый чистенький профессор напоминает розового чистенького гимназиста из категории прирожденных пятерочников.

— Надо его спасать, — говорю я. — Ведь вы его любите...

— О, да!

— Я его тоже очень люблю.

Я смотрю не на Мануйлова, а в царство своих собственных теней.

— Вы его давно знаете? — спрашивает Мануйлов, и мне кажется, что я знаю, о чем он думает.

— Да, — отвечаю я. — Очень давно, со времен Псаметтиха...

После такого ответа вопросов быть не должно.

Я вспоминаю Белое море, «ликующий ужас полночного солнца», своих товарищей, синий жакет со значком комсостава, комариные орды на Масельской, озера Имандры, соронскую эстакаду, космические часы одиноче-

ства, великолепие лесных пожаров, каскадную Колу, английское кладбище в Мурманске. 1921 год идет наплывом. Я думаю о сером шарфе, подаренном мне с такой любовью, с такой заботой, которую я перекладываю на другое лицо. Я думаю о стихотворных строчках о кедровом ветре. Я думаю о многом — а с Мануйловым разговаривает светская дама, и Мануйлов не догадывается, что улыбающейся и остроумной светской даме очень страшно и отчаянно плохо.

В сумочке лежит письмо от Эдика: с 14.IV в госпитале в Рязани — шесть болезней! Дистрофия, скорбут, гемоколит, миокардит, обострение легочного процесса и какая-то таинственная желудочная болезнь. Денег нет. Курсант офицерской школы. Что ж — Польша убивает моего брата, польская армия поставила моего брата на край могилы. Кто же мне ответит за него, за маму, за все, что было, чего больше не будет.

Я не слушаю выступлений писателей. Я почти не слушаю концерта. Я разговариваю с разными людьми (и весело разговариваю!), но это не совсем я, это просто замечательно тренированная беговая лошадь, которую зовут Светская Дама.

Банкет ужасен. Гнедич напивается и мелет несусветный вздор. Только два человека держат себя безупречно: Толстая и я. Охмелевший Британец ходит вокруг стола и целует дамам ручки. Смешно пьянеет Хмельницкая. Танцует под патефон. Я с выбором отпускаю на несколько танцев Валерку. Писатели веселятся грубо, по-солдатски — и скучно! Пьяный Зощенко, с которым я незнакома, хватает меня за руку и шепчет:

— Останься со мной!

Я гневно и брезгливо вырываю руку, радуюсь, что на ней нет браслета с часами, и чувствую, что кто-то берет меня за плечи и поворачивает к себе. Пьяный Прокофьев тускло смотрит на меня.

— Вот это — да!.. — говорит он, но конца я не слышу. Я ухожу наверх, злая, злая, как черт, и там сижу около получаса, глядя, как танцуют, и всем отказывая. Потом решаю идти домой. Пьяная Гнедич протестует, потому что ей трудно ходить, но я неумолима. К нам присоединяется Тамара, убежавшая от Зощенки, который загнал ее на какой-то подоконник и долго и подробно развлекал психоаналитической похабщиной.

Приходим ко мне, Валерка топит печку, варит кофе. Гнедич говорит грубые непристойности, храпит, сидя на стуле, доводит меня до холодного бешенства. Таких, как она, расстреливают. Прогоняю ее спать, готовлю постель Тамаре. Говорю: «У меня нет больше чистой пижамы...»

Думаю о полосатой моей «каторжанке», думаю о пижаме Эдика и той, другой, светло-бежевой...

Но Тамара не ложится. Она говорит о Золотовском, своей любви к нему, опасаясь назвать эту очевидность любовью, о его целомудрии, о его привычках и детских склонностях к альфонсизму. Она просит советов.

— Вы такая опытная, вы такая пьедестальная, — говорит она. — Пьедестальность — ваш единственный недостаток!

Я даю советы. Я разбиваю, уничтожаю, втаптываю в прах, развеиваю. Она соглашается, но я знаю другое: женщине, которая любит, все это безразлично.

Она уходит около 10 утра, я ложусь, сплю полтора часа — и начинаю свой людской, тормошной и пустой, пустой день. Дела, люди, телефоны.

Все ненужное. Все не то. А все «то» заключается в письме Эдика: больница, шесть болезней, моя беспомощность, протяженность страны, мое бессилие. В письме намек: может быть, Комиссия уволит. Вернули бы мне его только. Только бы вернули...

Ночь на субботу, на 3 июня

Московские газеты. Одиночество (Валерка «отпросилась» к подружке). Стынущий чай. Папиросы. Раскрытый томик Мандельштама. Очень холодная белая ночь.

Брат — как будто — поправился: Рязань — спецработа, видимо, типа той, что и в Артакадемии, потому что в письмах, похожих на передовые статьи, написанных сумасшедшим романтиком, упоминается наш Борис Сергеевич. Посылаю деньги. Все это время надеялась мучительно на возвращение, на демобилизацию. Не судьба, видно. Боюсь, что встреча будет не раньше конца войны. Стараюсь не думать.

Почти выздоровела: полторы недели лежала — радикулит. Плюс подагрический диатез. Сердце. Эндокринно-вегетативный невроз. And so on[816]. Вероятно, поправляюсь, если снова начинаю так болеть. Защитные стенки, возведенные вокруг организма, после выхода из зоны непосредственной опасности, разрушаются — так же, как уничтожаются в городе и над городом различные оборонные сооружения. Но город в ранах. Он изувечен, его нужно лечить. И я — тоже изувечена. Все закономерно.

Множество людей, как и всегда. Несколько раз Британец. Очень умен, наблюдателен, любопытен, напоминает почему-то злое и нервное животное, хищника или лошадь. Приходит ко мне по приглашению третьих лиц. Зна-

ет это, присматривается ко мне, за глаза называет «редким экспонатом исторического музея России». Я очень холодна, безупречно и снисходительно вежлива и высокомерна. Игра.

Письма от В. Р[ождественского][817] и ему. После перевода из Сороки стоит где-то под Волховстроем. Всем доволен — пишет так, по крайней мере. Ему писать мне очень легко и радостно: словно разговор с собою на этих вот страницах. Почти с той же примесью мозгового кокетства и с теми же умолчаниями. Воспоминание о нем прекрасно. Сумел пройти через мою жизнь Крылатым Гостем и, уйдя, остаться таким в памяти — хоть на какое-то время, хоть до новой встречи (которая обязательно будет хуже первой — потому что я буду хуже!).

Война продолжается, но в Ленинграде о ней обыватель уже забывает. Город ремонтируется, приезжают люди с Большой земли, разочарованно удивляются:

— Но разрушений совсем немного! На Невском только два дома!

На фронтах — по сводкам — «ничего существенного».

Движение немцев под Яссами, остановленное нами. Волнующи газетные строки о восстановлении нормального хода труда — донецкие шахты, строительство Сталинграда, сегодняшнее сообщение о возвращении в строй Таганрогского трубочного завода, о подаче тока в Никополь и Кривой Рог.

Если бы в России не правила наша партия, ничего этого не могло бы быть.

Без разрешения ЦК о Сталине писать нельзя. И поэтому, вероятно, об этом поразительном человеке, об этой исключительной по весу и значению личности говорят стандартными, штампованными, почти этикетальными фразами, которые в конечном счете и произносятся и воспринимаются уже механически.

В Вологде живет старушка, у которой когда-то квартировал «политический» Джугашвили: только в 1932 [году] она случайно узнала, что «самый главный в Кремле» и ее квартирант — это то же самое. Старушка еще жива. Почему об этом не напишут?

Под Ленинградом погибло 890 тыс. немцев. Недавно слушала в Доме писателя интереснейший доклад полковника Люшковского, который все ждет, как передавала М.С., когда же я приглашу его пить чай. Очень славный. Приятный собеседник. Типичный русский интеллигент. Лейб-гвардии Финляндский полк.

На пленуме советских писателей в Москве граф Игнатьев, в генерал-лейтенантских погонах, сокрушался — почему в нашей литературе не показан советский генерал. Вот в «Войне и мире» дана целая серия генералов...

И армия и публика «обожают» Рокоссовского. Какое великолепное озорное лицо!

А еврейский писатель Маркиш патетически доказывал, что война произошла потому, что Гитлер изгнал евреев из Германии, и что еврейское горе больше всякого другого горя, и что Красная Армия мстит теперь за это еврейское горе, и что она должна дойти до Берлина, чтобы расквитаться за еврейское горе. И что все советские писатели должны писать об еврейском горе.

Тихонов, Лавренев и Игнатьев слушали с опущенными глазами.

Июль, 28, пятница, ночь

Перерыв в записях — неизвестно почему. Здорова. Прекрасно выгляжу. Полнею. Очень болят ноги, и иногда сходит с ума сердце, но это кажется таким привычным, что я считаю себя здоровой.

Ночи уже темнеют. Отцвела липа в Летнем — только один раз сидела в Летнем поздним розовым вечером, вместе с Татикой; и один раз за все лето держала в руках изогнутую ветку с кружевными медовыми цветами. Все отцвело. Умолкли птицы. Лето идет к концу. Зелень деревьев густая и по-городскому черноватая. Нигде не была — даже на Островах, которые снова стали ЦПКиО. Хожу много — и бестолково. Множество дел — главным образом чужих. Удивительно бестолковая жизнь!

Столовая. Зеленая лампа. Закрытые окна, потому что очень холодно. Валерка шепчет что-то над учебником физики, потому что она больше не ЗАГС, а студент Энерготехникума. Я недавно вернулась — утром комиссионный, куда сдаю две французские бронзы Guillemin[818], а потом Тотвены, лавки, маникюрша, Гамулин с сыном (русская мордашка, славный скобаренок. Но имя — Эвальд! Ослы Господа Бога!), Гнедич, которую вижу теперь очень редко, приносит перепечатанную для меня поэму Ахматовой — страшненькая![819] Когда слушала, было холодно. Потом у Ксении — ужинаю, ем ягоды, веду пустые разговоры с Фридляндом, который хочет мне нравиться. Улыбаюсь, но улыбаться трудно. Резкое падение настроения. Тщательно скрываю это от окружающих. Те, кто близко, не замечают ничего. Замечают чужие, кого вижу редко, кто, по-моему, совсем меня не знает.

На улице вчера встретила д-ра Буре, с которым постоянно зубоскалю. Целуя руку, спрашивает:

— Что случилось? Почему вы стали такая грустная?

Сегодня паяц Фридлянд объявляет неожиданно:

— Вы в депрессии. Это же ясно, я не идиот!

Утешает:

— Вы патриотка, вы должны быть счастливы...

Люди думают за меня, наклеивают на меня этикетки, надевают плащи и шпаги. Все считают, что я — гордая панна, дочь романтической многострадальной земли! — должна пребывать теперь в патриотической юбиляции: польское войско, белые орлы, конфедератки, Rada Narodowa[820], Комитет Освобождения[821]! Открыты дороги на Варшаву и Краков, Хелм, Демблин, Седлец. Мистика бело-алого знамени[822]. Польша. Марш Домбровского[823] по радио — передача из Москвы!

А я на весы исторических судеб смотрю покойно и почти безрадостно: ведь не все еще легло на весы (армия Андерса[824], например! Вероятности гражданской войны, например!). Оказывается, Польша не моя. Она — мое прошлое, анцестральное прошлое, слабым биением вспыхивающее не в крови, а в мозгу. От этого прошлого я тоже ушла так далеко, что и оно — уже не мое.

Но: в Польской армии, а теперь уже в Войске Польском[825] — мой брат. Весь этот месяц я прожила в окрыленном ожидании встречи: командование обещало ему командировку в Ленинград в августе. Все его письма, частые, отчаянные от нежности и грусти, растрепанные от любви и радости, кричали только об одном: август, встреча, встреча, август. И я ждала — впервые в жизни готовясь к встрече по-женски: мать и хозяйка дома. Я начала убирать квартиру, просматривать его белье. Я с успокоенной улыбкой ссыпала в жестянку два кило прекрасной муки. Я действительно обрадовалась жемчужному рису и мясным консервам. И легко положила на сахар табу — до приезда. Сегодня я отдала продавать шелковые рубашки и парижские шифоновые косынки: для манной, для яичного порошка, для овсянки. Я думаю: шпик есть, это хорошо — надо купить кофе — деньги на табак даны — не забыть бы приготовить голубую пижаму...

А теперь четкая линия кривой ожидания дала резкое падение. Исторические судьбы Польши могут помешать нашей встрече. Польское Войско, согласно декрета, переходит на освобожденную территорию. Наступает период реорганизаций и организаций. Какие уж тут командировки! Романтическое сердце Эдика, вероятно, ликует. А мое сердце цинически изумляется — какое мне, к черту, дело до вас, пани Польша! Не горжусь я вами. Не люблю я вас. Не нужны вы мне. Брат мне нужен, сын мой, кровь моя — а вы

вот мешаете со всякими там возрождениями и историческими курбетами! Не верю я в вас, пани Польска! Ни в жизнь вашу, ни в будущее. В одно, пожалуй, верю: измените и предадите, снова утопая в собственной крови от собственной измены. И снова — рано или поздно — пойдете на распятие — по привычным и единственным вашим путям: по трупам собственных сыновей.

Выйдя из смертных бездн блокады, которые носят названии Высокой Героики и Высокой Романтики, я вошла в неумолимую сферу отстранения от всякой героики и враждебности ко всякой романтике.

Я же знаю — какая всему этому цена...

Но я знаю также и то, какой ценой мы за это платим.

Довольно, дорогая: по всем этим фальшивым счетам от пышнозвонных, но дутых форм мы уже заплатили. Платить больше не будем.

А город, героический город Ленинград, живет новой, послеблокадной, суетливой и чуждой мне жизнью. Вернулись все театры. В Екатерининском сквере шершавые шапки гелиотропов. Нарядные, разноцветные троллейбусы шныряют по Невскому. Разбомбленные здания целомудренно оделись в строительные леса. Фанеры понемногу заменяются стеклами. Искалеченные дома, изъеденные язвами обстрелов, спешно гримируются дешевенькой косметикой. А у коммерческого продуктового магазина, по-древнему именуемого «Елисеев»[826], бессмысленные наряды вежливой милиции и грандиозные уличные очереди. В коммерческом ресторане на Садовой ломтик осетрины — настоящей, настоящей, о, героический Ленинград! — стоит 70 рублей. Процветают пивные. Девицы в модных прическах продают мороженое: 100 гр = 35 руб. в приятных и чистеньких пакетиках. Молоко на рынке 50 руб., молодая картошка 70, стакан черники 12. Неистово чистится к открытию петергофский парк — скоро, к первым золотым листьям, играющие стада молодежи смогут вынести свои эмоции в пейзажность разрушенного дворца и сметенных орудийным огнем улиц.

Все учреждения, весь людской состав города работает на «восстановление». Женщины с обожженными солнцем лицами неуклюже носят кирпичи, метут, грузят что-то, складывают, расчищают, ремонтируют, стеклят, штукатурят, столярничают, сидят в подвалах и на крышах. А я бы военнопленных пустила на эти работы — к черту всякие международные конвенции! Вместо героических ленинградцев я бы поставила на это дело несколько дивизий немцев: и проще было бы, и скорее, и добротнее, и политичнее.

(Генеральский лагерь[827] — прекрасное имение. Множество охраны, но охрана стыдливо невидима. Меланхолический фон Паулюс — музыкант: для него Москва прислала великолепный рояль. Еще какой-то генерал любит

Достоевского. У генералов изысканный стол и изысканные беседы — ни войны, ни политики: искусство, природа, философия, поэзия. С нами разговаривает только внук Бисмарка, генерал фон Бисмарк[828]. Остальные ненавидят — не нас, а Англию — а на нас смотрят пустыми и холодными глазами: арийцы и варвары!)

В Москве открылась духовная семинария с карточной категорией рабочего и с государственной стипендией.

В здешних церквях упоенно венчаются девушки в белом со щеголеватыми офицерами в орденах.

Декрет правительства упрочил брак, отменил алименты, отменил фактический брак, установил развод через суд[829].

Горский из ГИХЛа (Москва) недавно сказал мне:

— Дайте повесть, дайте чистый и красивый роман, в котором возродились бы к жизни святые слова: жених и невеста.

А я пожала плечами и предложила переиздать Аверьянову — «Иринкино счастье», всю трилогию[830].

Милые письма от Всеволода Рождественского. И он и все, что было с ним и от него, — тоже ушло куда-то, очень далеко. По каким только дорогам не шатается русская поэзия!

Два разговора с Ахматовой в Доме писателя[831]. Великолепна. Держится царицей. Почему-то кажется мне похожей на Александру Федоровну — в особенности когда сидит между Лихаревым и Саяновым. Знаменитой челки нет. Пепельно седеет. Глаза — старческие, треугольником — внимательны и недружелюбны.

— Вы были песней молодости нашего поколения, — сказала я ей. — Вы жили и с нами, и в нас...

Триумфальная слава окружает эту женщину, которая все эти годы молчала, но которую никто не забыл. Каждая встреча с нею меня волнует и тревожит. Я каждый раз делаюсь немного больной.

Скоро четыре. А завтра надо ехать на заседание в Онкологический[832] и давать какой-то очерк для «Правды»[833].

Ночь на 31 июля, на понедельник

Растревожила меня поэма Ахматовой. Весь день дома в халате, в черной ночной рубашке — печатаю ее странные бредовые строчки, в которых бреда-то и нет[834]... Из всех углов памяти начинают зыбко проступать призраки —

те, которые жили со мною всю жизнь, из-за которых жизнь ломалась и шла по кривым путям, которые я умерщвляла, прогоняла, закрывала на ключ, превращала в невинные альбомные воспоминания. Совсем как у нее. Нет — хуже.

Я сознаюсь, что применила
Симпатические чернила,
Что зеркальным письмом пишу...[835]

Вся жизнь прошла на симпатических чернилах, оказывается. Бреды, призраки, *тени.*

Ахматова ударила меня — и я вдруг проснулась. Невеселое пробуждение: развалины, гробы, дешевая мишура.

Дома (странно: пишешь и говоришь это слово по привычке, хотя знаю, что дома нет) роскошествую в одиночестве, в собранности: прислушиваюсь словно к чему-то.

Может быть, жду.

3 часа ночи. Почему-то сварила кофе (электроплитка, возрожденная к жизни: научили красть электричество). Снова развернула поэму — как кричит каждая строчка! Сколько гнева в Ахматовой, непрощения, обиды, издевки, мести, проклятия! Недаром я сравнила ее с Александрой Федоровной — в той ведь тоже мистическая сила проклятия! Радовалась бы, что погибают от бомб и снарядов дети: маленькая плата за немыслимую смерть цесаревича.

От присутствия в городе этой необыкновенной женщины, этой Femme sombre[836], во мне то же смятение, та же тревога, нежность, страх, неистовая грусть, мучительная нежность, что и когда-то — в эпоху Золотой Книги, испанских портретов, мартиролога святой ведьмы, белой сирени, белых встреч. Только сейчас сообразила, что femme sombre написалось не случайно. Тогда у меня было и другое сравнение: Femme blanche[837]. Видимо, никогда ничего ни о чем не узнаю.

Любимый призрак. Призрак. Никогда ничем иным и не бывший.

Гнедич вижу теперь очень редко. Переменилась ко мне, избегает, отстраняется, ей со мной нехорошо — больно, связанно, принужденно. Может быть, приказанные пути. Относится ко мне злобно, агрессивно, почти с вызовом, почти с истерическим желанием оскорбить — не меня, не тригорского собеседника Корчака, а женщину, красивую и уверенную в себе женщину, которую — кажется мне — она начинает ненавидеть. Обижается за всех женщин, которым когда-то было от меня больно, за всех, ей неизвест-

ных. Обижается за жену Британца, очень глупую, очень смешную, которая пару недель назад рыдала от ревности ко мне.

Однажды я остановила Татьяну.

— Я не понимаю, что с вами, — сказала я.

— А вы не думаете, что это ревность? — крикнула она.

Помолчав, я спросила, удивленная, но настороженная:

— К кому? Вы о ком?

— Вы же отняли у меня Всеволода. Вы отняли мою мечту, мою глупую наивность. 13 лет безнадежной, но прекрасной любви. А ведь вам Всеволод не нужен.

Я пожала плечами, сразу раздосадованная.

— Неужели вы не понимаете, что я от ревности готова кричать, выть, кататься по полу?!

После этого разговора прошло много времен. Вчера ночью он возобновился. Зло, остро, нехорошо — я-то молчала и слушала, говорила она.

— Я не могу видеть его конверты вам...

— Он мне пишет о муравьях и об озерах Карелии.

— Все равно. Я ненавижу его.

Я расхохоталась. Но смех у меня был недобрый.

Вспомнилось, как в 1942 и 43-м году Татьяна мне читала все его письма, все свои ответы ему, как считала свою переписку с ним «архивом для истории русской литературы», как мечтала влюбить его в себя, быть его женой, любовницей, случайным ночным происшествием — и обязательно, обязательно иметь от него ребенка. Во всю эту ахинею был посвящен ее приятель Могилянский, почему-то подогревавший ее устремления. Боже мой, как я уставала от канители этих night conversations[838]!

Вот уже 4 утра. Пишу, пью кофе — часто, часто задумываюсь и ухожу в какое-то «никуда». Неладно что-то со мною.

Сегодня письмо от Эдика — грустное: «Я оптимистически настроился... я наивно поверил в слова командира...» Приезд его становится проблематичным — чего и следовало ожидать.

Мне очень тяжело. Но ему — знаю это — во сто крат тяжелее.

Спутанный день. Обещала к обеду быть у Тотвенов, но М.С. уговорила приехать к ней. Поехала. В трамваях толпы, давка, столпотворение довоенных воскресений. Пустой вечер — пью водку, болтаю, эпатирую себя, зубоскалю с Мстиславом. Это целомудренное чудовище идет меня провожать —

и провожает с Глазовской[839] до самого дома. Мне забавно. А не следовало бы забавляться. Человек ко мне привык; дикарь приручился, относится ко мне прекрасно — с таким неуклюжим большим вниманием, которое мне, кстати, совершенно не нужно.

14 июля, в День взятия Бастилии, у меня впервые с начала войны были садовые цветы в комнате, махровые левкои. Пили чай с М.С. и полковник Люшковский с женой. Слушали патефон — я, по традиции, начала с «Марсельезы».

Случается, что думаю и о Вас. Впервые за много лет — без злобы, без гнева, тихо и немножко печально.

Ах, какая я была сумасшедшая! И как Вам было трудно и страшно со мною.

И, несмотря ни на что, как Вы меня любили.

Да: в жизни я знала прекрасную мужскую любовь. Я никогда ее не ценила. И до сих пор не жалею об этом.

28 сентября 1944

Судьба свела меня с Анной Ахматовой. Об этом, вероятно, нужно записывать, ибо все проходящее, человеческие тени мелькают и исчезают, словно тают быстрее и легче самого легкого дыма.

Как-то летом этого 1944 года Татьяна Гнедич сказала мне, что в город вернулась из Ташкента Ахматова и уже была в Союзе писателей. С Ахматовой я не была знакома. Я знала ее внешность, я помню ее с далеких дней 1921 года, когда она, в синем, с каким-то мехом на плечах, очень прямая, очень горделивая, читала в чудесной памяти Дома литераторов на Бассейной свои стихи. В руках ее тогда были крохотные листочки. Она чуть склоняла над ними голову и читала — протяжно, глуховато, ровно, без интонаций. Челка. Четки. Узаконенный, почти канонический образ «Анны Ахматовой», так и прошедшей где-то рядом — близко и далеко — и в тот год, и во все последующие года.

Часто встречала ее в годы НЭПа. В театрах, в филармонии в особенности. Если на каком-нибудь концерте ее не бывало — думала:

— Больна... уехала...

Не спрашивала, потому что спросить было не у кого.

В филармонии и у Поэтов на Моховой[840] она иногда подолгу смотрела на меня — внимательно, недружелюбно, холодно. Ее изящная скульптурная головка змейки не раз поворачивалась в мою сторону.

Знакомы мы не были.

Позже, в годы ее молчания, когда блистательное имя ее считалось почти одиозным, когда она замкнулась в какие-то неведомые мне круги, я встречала ее несколько раз на улице — на Фонтанке, в Летнем саду. Останавливалась, смотрела вслед. Можно было бы подойти, сказать какие-то слова, улыбнуться ей, женщине, чье творчество было не только ее песнею, но и моей тоже. Не подходила.

А в лето 1944-го извещение о ее возвращении в Ленинград меня вдруг неожиданно потрясло так, словно мне сказали о возвращении близкого человека, друга, родного, своего, с которым была случайная и непонятная разлука.

Знала, что в каком-то «Альманахе» в Доме писателя будет участвовать и она. Пошла на этот «Альманах», сидела в первом ряду с москвичкой Дружининой, которая, как и всегда, рассказывала мне какие-то юмористические вещи. Потом пришла Ксения. Села рядом. Потом начался «Альманах». Прокофьев, кажется, пригласил в президиум Анну Ахматову, и мимо меня, под гул взволнованных приветственных аплодисментов, к эстраде прошла Ахматова, которую я не видела годы и годы. У нее была та же царственная и гибкая походка. Она держалась так же прямо, очень прямо, ровно и горделиво. Челки не было. Перечная седина волос открывала хорошей формы лоб. Она была в черном длинном платье.

Я себя вдруг почувствовала взволнованной и растревоженной до боли в сердце — до самой настоящей физической боли. Вот на эстраде, среди других, сидит женщина, которую я не знаю, но которая прошла со мною через всю жизнь. Не зная меня, она часто разговаривала со мною своими стихами. Не зная меня, она часто давала мне какие-то советы — никогда не прямые, а всегда каким-то странным образом напоминания, отстранения, мелькания. Не зная меня, она часто бывала гостем, милым и жданным, в Доме — к книгам ее была любовь, любовь была и к ее строкам, она умела петь и уводить в какие-то немыслимые вечера и полдни, она колдовала и заставляла забывать сегодняшнюю боль и обязательное завтрашнее горе.

Утешительно было улыбаться ей в тюремные дни, громко повторяя наизусть любимые — или случайно запомнившиеся — строфы и жалея, что в памяти не сохранилось еще и еще.

Утешительно было приглашать ее во время болезни и жить с нею среди цветов, бредовых образов и жара.

Чудесно было приносить ее книжки в столовую, когда часы уже давно пробили полночь, и слышать нежный и такой прекрасный, совсем молодой голос мамы:

— Ну, сейчас у меня будет праздник! Пришла Анна Ахматова!

И мучительно, ласково и радостно вспоминать именно теперь, что все последние годы жизни мама особенной любовью любила творчество Ахматовой и часто — очень часто! — просила меня:

— Побудь со мною. Осталось-то, вероятно, уже недолго!

Я приходила, садилась в свое любимое зеленое кресло. Мама, склоненная над штопками, неизменно спрашивала:

— Ты не захватила Ахматову?

Глядя на седеющую женщину в президиуме, я даже не думала об этом. Видимо, это просто жило во мне. Видимо, где-то уже раскрывались какие-то двери — а куда они вели и куда ведут, я не знаю и теперь.

Я давно не знала такого трепета волнения и боли, как в тот вечер. Я плохо слушала — я не помню, что читал Прокофьев и другие. Кажется, говорила что-то Рывина, черненькая и кокетничавшая, как обычно. За Ахматовой сидела светловолосая Берггольц. На трибуну поднимался отвратительный Лихарев. Я запомнила, что он очень смачно и хорошо произнес одно слово — «пень». Из всех его стихов я запомнила только это слово:

— Пень...

Потом читала Ахматова. И я почти не помню, **что** она читала. О мальчике, принесшем ей травинки, которому ей не пришлось дать хлеба, о воинстве облаков над осажденным Ленинградом. О часах мужества. О какой-то ночи в среднеазиатском городе — какие-то необыкновенные слова о ночи, которые остались в моем сердце и ушли из памяти[841].

Берггольц говорила свои стихи о погибшем воине[842], и Ксения, еще не пережившая гибель Юрия под Нарвой, расплакалась и убежала. Дружинина, по-моему, продолжала сидеть рядом — но я осталась совсем одна.

Когда чтения закончились и распался президиум и все ряды, занятые публикой, я вдруг решила, что подойду к Ахматовой и что-то ей скажу. Мне

казалось необходимым **поздороваться** с нею, приветствовать ее в моем городе, сказать ей, что **выжили** здесь те, кто ее любит, что не все умерло, что стены сохраняют память.

Сойдя с эстрады, она в какой-то миг осталась одна, черная, высокая, царственная женщина, за которой волочилась незримая мантия славы, горя, больших утрат, больших обид. Я подошла к ней, сказала:

— Мы не знакомы с вами, но я решилась поблагодарить вас за то, что вы вернулись, за то, что вы существуете, пишете, живете.

Она улыбнулась и протянула руку.

— Ну, так будем знакомы, — ответила она.

Я назвала свою фамилию и коротко — но, конечно, взволнованно, конечно, порывисто — заговорила с нею: о том, что она была песнью молодости моего поколения, что жила со мною долго и неизменно, что была со мною и с нами во время осады города и распятия его, что теперь, после ее возвращения, петербургский пейзаж города завершил свое воскресение и стал прежним.

— Вы потеряли кого-нибудь из близких? — спросила она.

Я сказала о маме, о брате в далекой армии — о том, что я одна, что кругом призраки.

Подумав, она посмотрела в сторону и согласилась:

— Вы правы. В городе только призраки[843]...

Через некоторое время в Доме писателя был творческий вечер Ахматовой. Была уйма народу — пришла и Анта, и Ксения, и Гнедич, и подтянутый, какой-то подкрахмаленный Могилянский, похожий на переодетого священника, и Хмельницкая — и кто-то еще.

На эстраде Ахматова, средневековая, черная и прекрасная, мудро и благородно несущая в старость свою женскую прелесть и странное очарование древней статуи и змеи, сидела между Саяновым и Лихаревым.

— Они похожи на урядников! — сказала Ксения. — А женщину эту можно обожать, знаешь, совсем по-институтски!

Глядя на такое окружение, мне пришло в голову, что следовало бы написать картину и назвать ее «Арест государыни».

После чтения был перерыв, все пошли курить до начала второй части вечера: обсуждения писательской общественностью.

На площадке белой лестницы мы стояли с Ксенией и Антой. Гнедич с кем-то разговаривала. Мимо прошел Могилянский, направляясь к спуску.

— Вы остаетесь? — спросил он. — А я ухожу! Кощунством будет остаться и слушать, что будут говорить о **ней**. Словно кто-то может что-то сказать! Я ухожу!

Мы тоже решили уйти, кроме Гнедич. И для Ксении, и для Анты имя Ахматовой значит то же, что и для меня.

— Докурим и уйдем, — сказала я. — Могилянский прав. Я не хочу слушать никаких обсуждений, даже триумфальных!

В это время Ксения меня толкнула.

— На тебя смотрит Ахматова, — шепнула она.

Я обернулась. В тени дверного проема стояла Ахматова. Поймав мой взгляд, она чуть улыбнулась и кивнула мне.

— Понравилось? — спросила она, пожимая мне руку.

Мы говорили очень кратко. Она сказала:

— Сейчас меня будут ругать...

На ее лице был легкий смугловатый румянец. Улыбка, как и всегда, казалась горькой, недоброй и презрительной.

— О, у вас такое же платье, как у меня! — вдруг воскликнула она. — Испанский шелк...

— Нет, — ответила я, улыбаясь, — настоящий советский батист.

— Не может быть, — настаивала она, разглядывая синюю ткань в белые горошинки. — У меня совсем такие же из испанского шелка...

Она потрогала мое платье, улыбнулась и быстро, не прощаясь, скользнула мимо, протягивая руку какому-то милому старичку.

— Настоящая женщина! — восторженно сказала Ксения, слышавшая разговор.

Анта добродушно съязвила:

— Вы гипнотизируете ее своим очарованием!..

Мне было очень радостно, что Ахматова меня узнала.

Со дня моей первой встречи с нею я вспоминала о ней, и много. Я думала о ней, как думают о любимом. Идя по улице, я иногда улыбалась себе — забавно, не ожидая, я, оказывается, все время жду ее, вот на этом углу, у того дома, в трамвае, в Летнем саду, на соседней улочке...

Но я ее не искала — как и прежде, как и всегда.

Гнедич как-то к Тотвенам принесла мне давно обещанную поэму Ахматовой. Я начала сразу читать вслух, пораженная и очарованная с первых же строк.

— Подождите... что же это! — иногда говорила я, прерывая чтение и проводя рукою по лбу.

Гнедич торжествовала, видя мою почти мучительную радость.

Татика, собиравшаяся куда-то уходить, села и стала слушать. Потом, когда все кончилось, сказала первая:

— Я, правда, ничего не поняла, но это так страшно, что я даже не могу уйти по делам. Мне надо отдохнуть.

Татика умеренно любит Пушкина и Апухтина, холодна к стихам вообще и твердо стоит на самой реальной из всех реальнейших в мире почв.

О поэме Ахматовой я много думала и немного говорила. С Гнедич и Антой мы искали расшифровок «зеркального письма». Об этом я напишу, пожалуй, особо.

Поэма ударила меня и разбудила. Это поэма гнева и проклятья. В ней нет ни смирения, ни прощения, ни тишины. Поэма кричит — и, действительно, страшно, как бы не вырвалась тема и не стукнула кулаком в окно... А какая тема — неизвестно. Или наоборот: каждому известна своя.

Мне, помнится, захотелось написать Ахматовой об ее поэме — о моей концепции, об отражении ее в моей жизни. Не написала, конечно, как и следовало ожидать. Сочинила письмо в уме, прочла его в уме, отправила его в уме. Все.

18 сентября, идя в Дом писателя на вечер Гнедич о современной английской поэзии, наслаждалась хорошей погодой и блеском чудесного предосеннего неба. Несмотря на близорукость, еще издали узнала силуэт Уинкотта, беседующего у входа в Дом с какой-то дамой. Решила пройти мимо, не поднимая глаз. С этим человеком отношения у меня как-то странно складываются — иногда можно подумать, что мы с ним играем в прятки, но хорошо знаем, где нужно искать друг друга.

Я, проходя к подъезду, знала, что Уинкотт и его дама смотрят на меня и молчат. Глаз я все-таки не подняла — и вдруг услышала:

— Почему вы не хотите меня узнавать?

По голосу я узнала Анну Ахматову.

Она была без шляпы, видимо, в хорошем настроении, выглядела хорошо и немного лукаво. Дружески пожав мне руку, шутливо переспросила:

— Так почему же вы не хотите меня узнавать? Я вас несколько раз видела на улице, а вы проходили мимо.

Я сказала что-то о своей близорукости и задала вопрос о ее здоровье. Она была больна, у нее плохое сердце — и я знала об этом. Потом я сказала что-то о поэме.

— Понравилось? — задала она привычный вопрос.

— Это не то слово, — возразила я. — Мне даже хотелось написать вам об этом.

— Так почему же не написали?

— Я ведь полька... я гордая! — пошутила я. — Впрочем, если хотите, напишу.

Подумав мгновенье, она быстро положила руку на рукав моего пальто:

— Нет, лучше не пишите, а просто приходите ко мне. Тогда и поговорим о поэме.

Я поблагодарила за приглашение и спросила, в какие часы ее можно видеть.

— Мне все равно. Я никогда не знаю, что я делаю и в какое время. Приходите в четверг.

Она сказала адрес: Фонтанка, 34, кв. 44.

— Вы опять живете в Фонтанном доме[844]? — спросила я, записывая адрес на каком-то конверте.

— Да. А почему вы мне все-таки не написали?

— У вас такое большое окружение, Анна Андреевна... мне кажется, жизнь ваша отягощена людьми...

Она вдруг посмотрела в сторону и резко прервала меня:

— Вы ошибаетесь, вы очень ошибаетесь, — почти возмутилась она. — Я совсем одна. Город пустой для меня. В городе же никого нет...

21 сентября был теплый и хороший день. Я ждала часа, чтобы уйти на Фонтанку, как не ждала уже давно. На рынках и в магазинах не было цветов, кроме вялых свернутых ноготков, очень скверных. А мне очень хотелось войти в дом к Ахматовой с цветами. Подумала: если бы это было до войны! Какую великолепную корзину я бы ей послала! Какие чудесные розы я заказала бы для нее — и с какой радостью мой заказ человек бы исполнил!

Видеть эту женщину мне всегда тревожно и радостно. Но радость моя какая-то причудливая, не совсем похожая на настоящую радость.

Все еще не было сумерек, когда я вошла на громадный шереметевский двор. Посередине были грядки с капустой. Через пустой вестибюль с почему-то растрогавшим меня трюмо я прошла в сад — и по тропинке направо попала к двери. Шумели деревья. Сушилось чье-то белье. Вид мне показался почти царскосельским.

Я остановилась и поискала тот самый клен, который назван ею «свидетелем всего на свете».

Но клена я не нашла.

Открыла двери мне она сама и сразу сказала:

— Я вас поджидала.

Была она в каком-то очень простеньком и бедном платье. Голова была повязана черным платочком. Это не была больше сверкающая королева из белого зала в Доме писателя. Это была Золушка Следующего дня — но такая, которая знает, что она царственнее всех цариц и что ей принадлежало и первое место, и первый принц во всем королевстве.

В длинной и узковатой комнате почти не было мебели. Стояли полусломанные стулья, старое кресло, в которое она усадила меня, маленькая железная кровать, покрытая чем-то темно-желтым, маленький столик, шкаф с отломанной створкой. Вначале я подумала, что Ахматова принимает меня не в своей комнате, что это не может быть, что она не может так жить[845].

С первых же слов выяснилось: после ее отлета из Ленинграда в сентябре 1941-го в ее комнату, несмотря на всяческие брони, поселили бухгалтера из Управления по охране памятников искусства и старины. Бухгалтер в ту зиму страдал от голода и холода, как и все в Ленинграде. Он жег все, что мог. Он сжег обстановку Ахматовой. Он сжег ее книги. Его останавливали.

— Война... — отвечал он.

Потом он умер.

— А мне ничего не жаль! — сказала Ахматова со своей особой, свойственной только ей полуулыбкой. — Я не понимаю, как это можно — любить вещи. Я и раньше ничего не любила.

— Значит, недавно освободились от рабства вещей?

— Я вообще не понимаю этого. Мне и освобождаться не пришлось. Я не знаю этого чувства.

Какая-то девушка, которую она называет Ирина[846], принесла чайник. Ахматова налила чай, выложила на тарелочку печенье. Мы курили, пили чай и беседовали — о разном: о голоде той зимы, о людях, которые погибали, не умея расстаться с вещами, о безлюдии города.

— Я не знаю, как можно здесь жить, — сказала Ахматова. — Здесь же никого нет! Город совсем пустой, совсем. На чем все держится — непонятно. Зато ясно видишь, что до войны все, видимо, держалось на нескольких старичках. Старички теперь умерли — и духовная жизнь прекратилась. Здесь же действительно ничего нет. И дышать нечем.

Где-то в разговоре я упомянула об искусстве беседы, о том, что искусство это утрачено.

— Да... causerie[847]... — задумчиво сказала она, — этого совсем нет. Нигде. Почти нигде.

— А как было в Ташкенте? — спросила я.

Она оживилась и засмеялась.

— А там все ко мне приходили, приходили... Пришла одна дама, очень милая, очень культурная, и прочла мне двухчасовую лекцию о Грибоедове. Потом посмотрела на часы, попрощалась и ушла. За нею пришел Ян — этот, лауреат за своего «Чингиз-Хана»[848]! — и прочел мне двухчасовую лекцию о Чингиз-Хане. Потом посмотрел на часы и ушел. За ним пришел еще кто-то и прочел мне новую двухчасовую лекцию о чем-то очень интересном. И потом тоже посмотрел на часы и ушел. А я за это время, кажется, и полслова не сказала...

Она встала, подала пепельницу, пожала плечами.

— Они все словно сговорились не выпускать меня из Ташкента без законченного высшего образования...

О театре:

— Нет, я не бываю нигде. И совсем не тянет. Я много ходила по театрам во время НЭПа, так обстоятельства складывались... А балет теперь разве можно смотреть, они, по-моему, разучились даже руки поднимать по-балетному! Раньше это все были прелестные девочки, холеные, за ними в каретах приезжали... а теперь я посмотрела как-то на кордебалет: все это бедные, усталые женщины, тут и примус, и магазины, и жилплощадь... какие уж тут танцы! Они же устали. Корифейки танцуют прекрасно, конечно... Уланова, Дудинская. До войны меня уговорили поехать посмотреть Дудинскую. Очень хорошо танцует, я получила удовольствие, но кордебалет...

— Я не люблю Сюлли-Прюдома...

В Москве я люблю только арбатские переулочки. И переулочки Замоскворечья. Потому что в этом месте Москва еще сохранила план деревни, там разбросанность и линии строений такие же, как в деревне...

— В Ленинграде выжили немногие... Но **какой ценой** некоторые выжили!

— Случилось ужасное за это время. О людях, которых я привыкла уважать, любить, смотреть на них как на настоящих людей, узнаешь теперь **такое**... как страшно обнажились люди во время вашей великой блокады! И какой звериный лик проступил... нет, не звериный, хуже...

— Сколько же лет Гнедич? Неужели только тридцать шесть! Правда, у нее как будто нет возраста — ей можно дать и двадцать, и шестьдесят.

— О Ленинграде написано много, но все не так... все какие-то «меридианы»[849] или вроде...

Приходит какая-то «старинная» дама в шляпке-коробочке. Лица ее я не вижу в густых сумерках. Зовут ее Валерия Сергеевна[850]. Она много говорит и делает много мелких и изящных жестов избалованной и кокетливой женщины. Она немолода и называет Ахматову на «ты».

— Аня, дай мне чашечку чая! Чай с сахаром — это такая роскошь! Я набожно пью такой чай!

Из ее непрерывного велеречия я узнаю, что она знакома с Ахматовой с пятилетнего возраста, что и она царскоселка, что они с Ахматовой никогда не ссорились («Представьте, у нас не было недоразумений даже из-за поклонников! Впрочем, мы разные, и поклонники у нас были разные...»), что они жили когда-то в Гунгербурге, что она знала Гнедичей с Фонтанки, так это были какие-то купеческие Гнедичи, совсем не стоящие внимания, что недавно финны послали в город снаряд, и он разрушил дом на Боровой...

— Не может быть... — говорит Ахматова.

— Уверяю тебя...

— Это было в 41-м, это первая бомба, — говорит Ахматова.

— Ах, оставь, пожалуйста, это было тогда, а это теперь...

Ахматовой неприятно. Дама остроумничает и мелет несосветимый вздор — так говорили дамы в эпоху 1918—1919 годов!

— Меня приглашают в Москву...— переводит разговор Ахматова.

— А квартира? — восклицает дама.

— И квартиру дают.

— А что — для этого славословие Москве написать нужно?.. этому, ну, самому главному...

— Валя! — Ахматова в ужасе.

— Перестань! Я прекрасно знаю, как это делается...

Я принимаю все ее высказывания в шутку и за шутку, и Ахматова, видимо, мне благодарна. Она же меня совершенно не знает, а тут такие разговорчики...

Мы еще о чем-то говорим, но сбивчиво: всем владеет словоохотливая дама. Встаю, прощаюсь. Ахматова обещает зайти ко мне во вторник или в четверг. Провожает в переднюю, выходит на совершенно темную лестницу, предупреждает:

— В саду очень трудно найти нужную тропинку... как же вы пойдете?

Она изысканна, вежлива и холодна, как настоящая королева. Знаю, что присматривается ко мне, что я ее интересую, что, может быть, она даже вспоминает что-то.

В саду долго плутаю по траве и невидимым дорожкам. Где-то слабо горят желтые огоньки в окнах. Потом и они потухают, и я остаюсь в полной тьме. Звезды. Под звездным сумраком начинают проступать контуры Шереметевского дворца. С трудом нахожу дворцовую дверь в вестибюль. Сторожиха участливо высовывается из своей каморки:

— А мне уж сказали: спички кто-то жгет в саду! Я сразу и подумала, что это вы. Ничего, говорю, не бойтесь, это даже не мужчины и не чужие, это наши писательницы ходют...

Домой иду по темным весенним [так!] улицам. Горят китайскими фонариками сигнальные огни. Синими призраками страшных животных проходят трамваи. Слепят автомобильные фары. Город графичен: весь в контурах.

Возвращаюсь в пустой дом, где меня никто не ждет. Долго пью чай в одиночестве. Читаю стихи. Думаю о словах Ахматовой, сказанных вскользь:

— Не люблю делать неприятности людям...

Может быть, она и добрая. Может быть.

Гнева в ней много и проклятья — как в ее поэме. Сдержанная. Молчаливая. Хорошо слушает. Скупа на реплики. Не только поэма — она сама как зеркальное письмо. Одинокая, вероятно. Очень одинокая. Орлица[851].

27-го сижу дома с завязанным горлом, в халате, в ночной рубашке и Эдикиных туфлях. Читаю Ксении письма Николеньки и говорю о нем. Кто-то звонит, и Валерка торжественно возвещает в дверях:

— Софья Казимировна, к вам пришла Анна Ахматова...

Это не вторник и не четверг. Это среда. Я в самом ужасном виде. Мне сразу делается неприятно — я не хочу показываться Ахматовой в таком виде, но...

— Зажги свет в столовой!.. — кричу я и выхожу.

Ахматова одета скромно и почти бедно. На голове опять какой-то темный платочек. Ксения убегает, зная, что я хочу быть одна. Говорю о разном, не сразу овладевая разговором.

— Что вы хотели мне сказать о поэме? — прерывает Ахматова и смотрит, смотрит...

Приношу рукопись, разворачиваю, говорю. Слушает. Потом начинает отрицать — нет, это не о Гумилеве, кто мог так подумать! Это просто о том, о чем и написано, — о гусарском корнете и об одной актрисе.

«При чем же тогда признание автора в зеркальном письме?» — думаю я, но пока не говорю ни слова.

Соглашается с интерпретацией некоторых строк.

— Это верно, — говорит коротко.

— Ваша поэма полна гнева и непрощения...

— Пожалуй, вы правы... Я читала ее в Москве Пастернаку, он привел даже кулинарные сравнения. Сказал: «Раньше вы писали пассивные вещи, а здесь все кастрюли кипят, все шумит...»

— А кто вам говорит «о двусмысленной славе»? Это ваша Муза?

Она возмущенно поднимает руку.

— Нет, как можно! Это — романтическая поэма, такая брюлловская женщина.

Я качаю головой, не соглашаясь. Она видит это и молчит. Говорю о ее словаре, о новых словах, не «ахматовских»: скобарь, девка, дылда и проч.

Смеется — довольная.

Потом читает несколько своих вещей: «Из перламутра и агата...»[852] о среднеазиатской луне и что-то еще. Слушаю не вещи, а ее голос, звучащий в доме, где ее любили.

Читает прекрасные строки, где острая и злая формулировка:

Чужих мужей вернейшая подруга
И многих безутешная вдова[853].

Спрашиваю:

— Это не войдет в сборник?

— Конечно, нет.

— А я это получу?

— Нет.

— О, какая четкость!

Смеемся обе. Думаю все-таки, что рано или поздно — получу. Пьем чай с печальными бутербродами: черный хлеб и сыр (слава богу, что хоть сыр дома был!).

— У меня какая-то грандиозная память. Я все помню.

— Некоторые свои вещи я ненавижу.

— Недавно одна моя соседка, работает она монтером на заводе, говорит мне, что моими стихами увлекается какой-то кладовщик у них и считает стихи хорошими. Я спрашиваю, какие же стихи он читал, что ему так понравилось. Отвечает: «У тебя написано что-то производственное — о леснике!» Угадайте, о чем шла речь.

Я угадываю сразу:

— «Сероглазый король».

Она так поражена, что пару раз переспрашивает:

— Но как вы могли? Никто не угадывает! «Сероглазого короля» я ненавижу! Я нарочно в сборник вставила двустрочье, которое его портит: нарочно, из ненависти... Он волочится за мною, как рюкзак, мрачный и противный. Его ненавижу и еще «Сжала руки под темной вуалью...»[854]. Это меня преследует. Куда не пойду — всюду и «Сероглазый король», и «Сжала руки под темной вуалью...». Даже Вертинский поет «Сероглазого...». Когда я об этом узнала, поняла, что вещь кончена, что и мне конец в этой вещи...

— Не отрекайтесь от прошлого, Анна Андреевна...

— Я не отрекаюсь, я просто ненавижу то, что разлюбила.

— Как вам понравилась дама, что была у меня?

Сразу понимаю, что она будет «сглаживать».

— Очень милая.

— А что вы о ней подумали?

— Что она настоящая «петербургская дама».

— Да. Это стилизация. И неудачная.

— Она актриса? — спрашиваю я нарочно.

— Вот видите! Вам даже показалось, что она актриса. Вы ясно почувствовали игру, ненастоящее. Нет, это вдова психиатра Срезневского. Я знаю ее с детских лет. Она долго болела... психически. Я спасла ее с трудом. Теперь все прошло, выжила и поправилась, но...

Ахматова заботится о своей политической чистоте. Она боится. Она хочет, чтобы о ней думали как о благонадежнейшей. Она знает, что я знакома с Горским из Литиздата. Видимо, у писателей ей намекнули, что я «со связями». Она мне кажется сразу милой и немного забавной.

Ставлю ей шаляпинские пластинки — Сугубую Ектению, Верую, Покаяния двери[855], Ныне отпущаеши. Слушает замечательно. Потом говорит:

— Такой родится один раз в тысячу лет.

Потом поясняет:

— Я ведь его слышала всего один раз — в 1921-м, перед его отъездом за границу. Ни за что прежде не хотела слушать его, считала, что ходят на него только буржуи (ударение на **и**!) и говорят о нем только они, когда больше говорить не о чем! А в 1921-м меня заставили пойти, уговорил один человек, сказал, что нечего больше дурака валять. Я видела его в «Борисе». Один раз. Необыкновенно!

Несколько раз возвращаемся к поэме. Ее, кажется, очень интересуют мнения широкой публики. Ей, почти как девочке, нравится загадочность, окружающая и поэму, и ее.

— Поэма вызывает резко противоречивые толки. Одни находят ее слабой, неинтересной, непонятной, худшим из всего, что я написала. Другие, наоборот, видят в ней самое лучшее из моего творчества, предел, вершины его, любят поэму, цитируют ее, учат наизусть, пропагандируют, клянутся ею.

— Композитор Козловский[856] уже написал музыку к поэме. Он взял три части — Вступление, между прочим, — и написал: для симфонического оркестра и женского голоса. Для низкого женского голоса.

— Разве так я бы написала о Коле!! Я бы говорила о нем другими словами. Разве можно сказать о нем «гусарский корнет со стихами»... Я бы оскорбила его.

Упоминаю вскользь, и не акцентируя, имена, которые она знает, людей, которых знает она и знаю я.

— Евгений Иванович...

— Всеволод Рождественский...

— Аксель...

Реакции у нее скупые и словно испуганные.

О Замятине: «Я была дружна не только с ним, но и с Людмилой[857]...»

О Всеволоде: молчание.

Об Акселе: «Вы его знали?»

Прощаемся. Зовет к себе. Собирается скоро уехать на несколько дней в Москву. Благодарит — и в благодарности снова королева, холодная, вежливая и изысканная[858].

Декабрь, 10

После блокадного перерыва — первый раз в Публичке. Чудесно и, конечно, печально[859]. Перелистываю Британскую энциклопедию, читаю английские тексты по газодинамике — потом долго вожусь с фондовыми заказами

в недавно открытом Большом читальном зале. Тихие люди сидят над книгами. Ученицы требуют учебники французского и английского языка. Кто-то берет пачку газет. Старичок интересуется латышской литературой. Моряки читают английские инженерные журналы. Красивый юноша дает список по средневековью Франции. Тусклая и симпатичная женщина робко советуется с седым профессором о произведениях Сенковского и рассказывает что-то о посланиях митрополита Иннокентия[860].

Выхожу. Голубеют сумерки. Холодно. Очень острый ветер. Снега мало. Город стал таким многоцветным и таким чужим — как когда-то. Снова ощущение разрыва, снова сознание причастности к Китежу, снова любимые и привычные пейзажи кажутся миражами, которые вижу я одна.

Под обстрелами, в жестокости блокадных лет во мне жила слитность с городом — и никакого разрыва не было. А теперь, когда все прошло, когда почти все (если не все!) забыли, опять нарушилось единство и единение, опять пришло прежнее — а может быть, просто какая-то частица во мне ушла вслед за ушедшим фронтом, которым тоже почти никто не интересуется.

Работают все театры. Открылся даже цирк — «последнее научное учреждение, вернувшееся из эвакуации», как шутил Эдик в дни своего пребывания здесь. Трамваи переполнены. Много машин. К окончанию спектаклей у подъездов вытягиваются шеренги нарядных «Зисов», ожидающих ответственных владельцев. Появились модные и нарядные женщины. В особторге продают пирожные по 50 р. шт., сахар по 650 кг, мед по 600, мясо по 350, столовую соль по 80. На рынке мед 300. В ДЛТ шикарно торгуют по коммерческим — бумага для писем 750 р. коробка, подтяжки — 60, дамские чулки от 90 до 400 (и за чулками всегда очередь).

В филармонии выступает рыжий лауреат Гилельс с талантливыми руками музыкального акробата и лицом кретина. Смольный только на днях снял свои камуфляжные декорации. Вечерами улицы освещены — и все уже забыли, как это ходить впотьмах с фонариками и со светящимися пуговицами. Уличного освещения не было 40 месяцев. Плохо с дровами — дрова 300—400 р. куб. м., а по ордерам не достать. Продуктовые выдачи качественно ухудшились. Говорят, что с января не будет карточек — и все пугаются! Как жить, если средняя зарплата — 250 руб. в месяц без вычетов. Начнется, пожалуй, особоторговская дистрофия.

Приезжал Андерсен Нексе, его принимали в Союзе писателей. Не было ни переводчиков, ни говорящих «по-заграничному», но все остались друг другом довольны, потому что перепились нещадно.

У писателей предстоят перевыборы правления, идут скандальчики.

Так называемый поэт Семен Бытовой по-старому пишет скверные стихи (а идиоты от поэзии на заседаниях секции сравнивают его с Гумилевым и Буниным!) и говорит по-старому: «Я написал самопоэму... наши самобойцы в самоБолгарии...»

Типичный самодурок!

Прекрасные и сильные вещи привез с фронта Чивилихин, его прослушали на секции, сразу почему-то испугались. Николай Браун встревоженно и растерянно заговорил о том, что в стихах Чивилихина война такая жестокая, такая трудная[861]... (ах, довольно, довольно веселой и розовой войны, товарищи!), а персонификация глупости человеческой, Садофьев, с отвратительной мордой старого сладострастника, кривляясь, попытался обвинить автора:

— У вас эстетизм, эстетизм...

Холодный и умный Уинкотт делает карьеру на переводческом таланте Татьяны Гнедич: она прекрасно перевела английскими стихами антологию ленинградских поэтов для Англии и США[862]. Под ее переводами стоят подписи: Гнедич и Уинкотт. В Англии такая книга будет, конечно, называться книгой Уинкотта, Wincott's Book. Предстоящие большие гонорары и будущее пополам. Понять трудно. Одна из причин видимых: таким путем тоскующая о мужчине самка, легко владеющая стихом, попыталась купить себе привлекательного самца, совсем стихом не владеющего. А теперь, когда все закончено, когда, кажется, удачу можно загребать лопатами, содружество трещит и лопается. Уинкотт не собирается разводиться со своей женой, очень глупой, очень бестактной, когда-то хорошенькой и всегда несчастной от беспричинной ревности. Ее остроумная Хмельницкая называет «гинекологический моллюск». Уинкотт явно отходит от Гнедич, не намереваясь даже из джентльменства лечь с нею в постель. Хотя бы par politesse[863], а Гнедич, редко некрасивая, неряшливая, неуклюжая, без признаков возраста и женственности, прекрасно образованная и очень даровитая, снова впала в истерию, в самоубийственность, в проклятия жизни — и так далее...

Союз писателей в Ленинграде кажется щедринским собранием недоносков и недотеп — и страшненьких масок. Царит в печати бездарнейший Лихарев. Прокофьев пьет и все продолжает играть на гармошке. Злится и слегка крамольничает неглупый и горячий Лифшиц. Хорошо думает — ой, как бы не додумался! — мечтательный и тихий Шефнер. Михаил Дудин ходит в распахнутой шинели, глушит водку, дружит с непотребствующим Флитом,

спит с литературными и нелитературными девушками и поддается соблазнам зрелых прелестей актрисы Казико. Вокруг него пенится газетная известность, дешевенькие ситцы эрзац-славы — он похож на хмельного ушкуйника, «действующего» по новгородским переулкам.

Печальный юморист Зощенко тоже пьет и в пьяном виде говорит дамам несусветную похабщину. Интереснее всего то, что дамы его слушают — и подолгу!

Тамара Хмельницкая влюблена в Золотовского, Константина, которого я прозвала «Librum tpronicum ilulakorum»[864]. Два года длится их девственно-платонический роман, дальше поцелуя руки не идущий. Хмельницкая потрясена и не знает, что делать, а Золотовский клянется в верной дружбе и восхваляет женщин, которым не надо «этого». Бедная Хмельницкая молчит, ибо именно об «этом» и мечтает! Все думают, что у них связь. Тамаре стыдно, что никакой связи нет. Все это время, до самого восстановления в Союзе, больше года, Золотовский жил на иждивении Тамары: она так привыкла к такому положению, что, видимо, так это продолжаться и будет. Хмельницкая некрасива, но в ней что-то от фавнессы, от беклиновских игр сатиров и кентаврес[865]. Козлоногая. Окружающие ее мужчины (кроме Зощенко в пьяном виде!) этой мифологической sexualite в ней не замечают. Она заслонена курносыми подавальщицами в рогатых прическах и всеми иными спесиментами[866] модной женской прелести, которых невозможно отличить от подавальщиц.

Эстрадную писательницу Марину Карелину зовут «33 несчастья»: у нее всегда что-нибудь случается, она всегда плачет и всегда жалуется.

Ахматова держится царицей, среди писателей появляется мало. Сдержанна, надменна, великолепна, трагична в своей славе и одиночестве, светски холодна, благосклонна и презрительна. Китежанка![867]

Радио, как и до войны, с недавних пор наполнилось концертами.

Эвакогоспитали «самоэвакуируются» в большом количестве — в Польшу, в Венгрию, в Румынию...

На рынках торгуют инвалиды, зверские ругатели в орденах и медалях.

В Александринке капельдинер партера эксгибирует четыре георгиевские креста и медаль «За оборону Ленинграда».

Покойников хоронят в гробах и на дрогах, с возницей и с лошадью, как у настоящих людей.

Поражает количество молоденьких матерей с грудными младенцами. Армия хорошо работает.

В гинекологических клиниках случаи выпадения матки и всяких других женских неприятностей у очень юных существ, занятых на тяжелой физической работе, стали ежедневным явлением серийного производственного процесса.

Огромное количество обездоленных и обнищавших эваков стучатся в двери возрожденного прекрасного города. Город, верный лукавому закону люциферианства, их к себе не допускает.

26 декабря

Под утро вернулся из московских госпиталей брат. Болен. Освобожден на три месяца. Думаю, демобилизуют. Растроганный, растерянный, безумствующий от радости, что — дома (а Дома и нет!).

Вчера исчезла Т.Г.

Утром приходил W., злой: «This dirty dog!»[868]

Не верит в несчастный случай: «She's playing tricks»[869].

Уезжаем к Тотвенам.

В вечер моего сочельника к Тотвенам приходит Валерка, передает мне письмо, говорит:

— К вам звонила Ахматова, очень жалела, что вас нет дома...

Вместе с этим именем ко мне мгновенно возвращается все безвозвратно ушедшее, зажигаются свечи в больших канделябрах в мертвой и пустой в этот час квартире, я слышу шаги мамы и ее чудесный певучий голос, я вижу хрусталь на столе, шампанское, отражение в зеркале струящейся от блесток елки, я чувствую запах дома, я чувствую поступь Того времени, я вижу себя, нарядную и больную, подбирающую книги поэтов, приглашенных к ужину, — и мне делается так больно и так радостно, что я не могу совладать с собою и только с печальным недоумением смотрю, как рушатся и ломаются умные и хрупкие стенки умного равновесия, все эти годы не казавшегося хрупким.

И все это сделал голос Ахматовой, который я даже не слышала...

Я не знаю, как она ко мне относится, что она обо мне думает, почему она зовет меня к себе и приходит ко мне. Я ничего не знаю. Во мне встревоженная влюбленность с этой женщиной, беспокойство, ожидание, горечь, неуверенность, благодарность, молодое и победное сияние (смещенные перспективы испанской ведьмы и ее волнующей и чудеснейшей эпохи страсти и целомудрия!). И одновременно во мне четкая и осторожная наблюдательность мемуариста, игра на словах, на неведении, на вызове на слова и на

воспоминания. Думаю, что Ахматова это чувствует, не отдавая себе, однако, полного отчета, — чувствует и первое, и второе.

В вечер моего сочельника пишу ей довольно длинное, взволнованное и все-таки рассчитанное письмо:

«...la plus royale entre les femmes...»[870]

Через пару дней она звонит по телефону — очень молодой у нее голос по телефону, моложе, чем обычно, такой же капризный (не то слово, конечно), подчиненный флюктуациям ее неверного и ломкого настроения. Спрашиваю о здоровье (она часто болеет).

— Представьте, со здоровьем хорошо. Я очень хорошо чувствую себя.

— А у вас тепло?

— Как когда... — голос насмешливо идет по трапеции, — когда топят, ничего...

— А профессор топит и продолжает сердиться?

— Да. Но это никого не пугает.

— Получается это у него, однако, внушительно...

— Боже мой, он же годами вырабатывал эту внушительность, это целая система... только не надо всему этому верить!

Просит прийти в пятницу 29 декабря — вечером.

В этот вечер иду к ней с Островов, из Онкологического института. Чудесная луна, город весь голубой, призрачный, невероятный. Блоковский город. Улыбаюсь все время — и городу, и Китежу, и предстоящей встрече. И даже не боюсь, что провожающий меня врач, красивый истерик, улыбку мою может отнести к себе и объяснить собою.

В Шереметевском саду останавливаюсь, гляжу на синие тени деревьев, на голубые хрустальные снега, на желтые пятна плохо затемненных окон. Импрессионистские выверты природы, музыки и стиха.

Дверь открывает детвора — маленькая Антка[871] и маленький мальчик. Детвора ничего мне не отвечает, бежит передо мной и поет во все горло:

— Анна Андреевна, Анна Андреевна, Анна Андреевна...

В комнате холодно и неуютно. Ахматова лежит на своей узкой и простой железной кровати. На столике рядом лампа, папиросы, недоеденный кусок белого хлеба, недопитая чашка чаю.

— Не снимайте шубку. У меня не топлено.

Объясняет: третий день не топят, профессору и Ирине некогда, они чем-то там заняты... А вчера она была в Союзе, поднималась по лестницам, много ходила — от этого и с сердцем вдруг стало плохо...

Не сказав ничего, сказала многое: не лестницы и не Союз писателей — видимо, недоразумение с Пуниным, с его дочкой, видимо, демонстративная небрежность к температуре в ее комнате, видимо, демонстративная болезнь, кровать, одиночество. Не сердце — пусть даже больное! У нее, вероятно, чисто женское свойство: от обиды, от огорчения, от каприза искать прибежища в постели. Болезнью объясняется все — и ничего объяснять не надо.

Рассказываю ей об исчезновении Гнедич, передаю мою последнюю беседу о ней с Британцем.

— ...он сказал тогда: what a dirty dog!..

— Не надо так! — пугается искренне Ахматова. — Может быть, она самоубийца, а мы о ней такое говорим...

Вскользь о праве выбора смерти:

— Нет, конечно, нельзя. И в Евангелии об этом есть. Ну, что вы, разве можно!

— И теософию и антропософию не люблю (делает брезгливый жест) — все это мне чуждо. Я как православная христианка отрицаю это, осуждаю и не понимаю...

Еще не знает, как будет встречать Новый год. Может быть, у друзей, которые живут в первом этаже, — боится утомлять лестницами сердце.

— Подумайте, Николай Николаевич все время отговаривал меня встречать Новый год дома, вместе с ними. Он убеждал меня, что здесь мне не место. А когда я сказала ему наконец, что решила быть в этот вечер у знакомых, он почти обиделся... и так серьезно объявил мне: «Ну, я так и знал!»

И при этом ее улыбка, такая особенная, и чудесный жест беспомощности и обворожительной женственности, которая всегда et malgré tout[872] знает свою страшную силу.

Мельком говорит о перевыборах в правление Союза, о своем избрании[873]:

— Я себя зачеркнула в списке, как это полагается... с чем же тут поздравлять? Смешно, правда? На первом заседании я не была, правда, потому, что не знала. Меня никто не известил...

— Да, на днях я видела Лихарева. Сидит в редакции такой несчастный, жалкий, уродливый, похожий на больного орангутанга. Заискивает перед всеми. Чуть не плачет...

Интересуется, была ли я на вечере Всеволода Рождественского, какие впечатления.

— Читал хорошо, приличные стихи, — отвечаю, улыбаясь, потому что знаю, к чему ведет разговор. — Читал хорошие, приятные воспоминания,

написанные хорошей и приятной прозой. Такая поэтическая проза, высокого качества. Очень многословно, правда, но...

— Зощенко говорил мне, что от многословия Рождественского спасения нету!

— Ну, не совсем так... воспоминания легки, много анекдотов, о бале в Доме искусств, об Экскузовиче и бакстовском платье, «похищенном» Ларисой Рейснер[874], о Блоке, о беседах и прогулках с ним...

Ахматова очень не любит Всеволода. Возмущается:

— Ну, что он может помнить и говорить о Блоке? Кто тогда знал Рождественского, кто обращал на него внимание! В 1919 году я была замужем за Владимиром Казимировичем Шилейко, и Коля (Гумилев) просил его читать какие-то лекции по искусству в Студии поэтов[875]. Так вот — иногда к нам прибегал такой черноглазый юноша... пригожий. Сообщал, когда лекция, приносил какие-то бумаги. Это и был Рождественский. Я тогда впервые услыхала о нем. Коля его не любил и всегда называл «Рождественский — шляпа»[876]. Он был тогда женат на Инне Малкиной — она такая черненькая, энергичная, предприимчивая, во всем помогала ему. Он, кажется, действительно шляпа. Хотя он и был тогда секретарем этой студии, но делала все Инна... это сестра Кати Малкиной, знаете?[877]

Ахматова волнуется — и волнение ее очень глубоко и явно. Она боится: что написал о ней Рождественский в своих мемуарах? Она заранее готовит почву:

— Он же обо мне ничего не знает. Я уехала из Царского, когда ему было пять лет. А что мы знали о нем? Только то, что у нашего батюшки есть сын — вот и все. Откуда ему известно — любила я каши или нет — и какой я была — и вообще все это...

— Вы были дружны с его сестрой, вашей одноклассницей...

Опять возмущение — и острая и холодная констатация:

— А я вот не помню, как ее звали...

— Всеволод Александрович так почитающе относится к вам, что вряд ли его мемуары могут быть вам неприятны.

— Это теперь. Он знает, что я недовольна его книгой и, конечно, теперь уберет оттуда... пока я жива. А после моей смерти все это появится. Он и начал писать эти воспоминания в надежде, что я умру в Ташкенте, не переживу: тиф, дай бог, еще второй тиф будет...

Говорю ей о письме Рождественского ко мне по поводу книги воспоминаний и отношения к ней Ахматовой[878].

— Это он нарочно, чтобы успокоить меня.

(Ахматова такая женщина! и любит доказательства женской логики.)

Рассказывает с подчеркнутым ужасом, что все легенды и небылицы о ней идут от Голлербаха[879].

— У нас в Царском был такой прекрасный булочник Голлербах. Все у него покупали. И действительно, все у него было замечательно вкусное. Пирожки были очень, очень хорошие. У него были дети. Ведь у булочников бывают дети, не правда ли? И подумайте, его сын, тоже Голлербах, вдруг взял и написал «Город муз»[880] — и еще там что-то. И вообразил себя литературоведом, таким историографом поэтического Царского Села. Странно, не правда ли? Знали его отца, отец его был прекрасный булочник. Это было невероятное искусство. Жаль, что он не научил этому искусству своего сына. Может быть, он был бы гениальным пирожником.

(Ахматова вообще умеет убивать выбором невиннейших слов и ядовитейших интонаций.)

(Как-то — о чтеце Яхонтове:

«Однажды я пришла в столовую писателей в Ташкенте. За одним столом со мной сидел какой-то молодой человек в **зеленой** рубашке. Такая была удивительная, страшно **зеленая** рубашка. Он все время молчал и много ел — както странно ел, так много, плотно, но ужасно забавно. И вдруг посмотрел на меня и сказал:

— Я буду вас читать.

Я испугалась и сказала:

— Пожалуйста.

Потом он ушел. А мне сказали, что это — Яхонтов. У него была удивительная **зеленая** рубашка. Я запомнила.)

1945 год

ЛЕНИНГРАД

А веселое слово «дома»
Никому теперь не знакомо,
Все в чужое глядят окно...
А. Ахматова[881]

Январь, 8

Весь январь — люди, люди, неистовое количество людей. Словно волчок: завертела, запустила чья-то рука, так и несусь, не могу остановиться. А дыхания не хватает.

Отрада: встречи с Ахматовой.

О Т.Г. — дурное. Говорят, что арестована. Possible[882].

Новый год встречаю с братом и стариками у д-ра Буре: пышно, богато, нарядно и очень скучно. Чокаясь с Эдуардом, говорю: «А веселое слово “дома” — никому теперь не знакомо...» С лета 1941-го впервые пью шампанское. Мирное и мертвое воспоминание — только без грусти, без сожалений, даже без упрека. Видимо, забываю. А победы такие, что о них и писать нельзя: слов не хватает, голос пресекается. Это действительно нечто небывалое, грандиозное, ошеломляющее.

Ничего не пишу.

Много работаю.

С возвращением брата исчезла безмятежность великолепного равновесия. Работа, тревога, боль — а значит, и гнев, и раздражение, и страсть битвы.

С ним — трудно. И мне с ним, и ему со мною. Когда вдвоем, почти всегда молчим. Или говорим о газетах, о военных событиях, о детстве, о Киргизе. Он не изменился, не возмужал, не стал взрослым. Армия же больше убила в нем человека, самостоятельность, волю; еще больше запугала. Но не отняла ни наивности, ни романтики, ни пассивности, ни безропотной покорности.

Февраль, 26-е, понедельник

Жизнь, конечно, не перевернута, но сдвинута: 25.XII ушла — вероятно, навсегда —Т.Г.: в ночь на 26.XII вернулся — вероятно, навсегда — демоби-

лизованный брат. И с осени в жизнь вошла Анна Ахматова[883]. (Странно, что в жизнь мою совсем не вошел В. Р[ождественский], так и оставшийся милым прохожим — malgré tout.)

Сильные психические сдвиги. Безмятежность настроения блокадных лет исчезла (а безмятежность была особая — вот на фронте, может, бывает так: пока живу, значит, все хорошо, все равно, как-нибудь, завтрашнего дня нет — откуда завтра, когда сегодня, может быть, последнее).

А тут смерть — такая, военная — отошла, все входит в норму. Но у меня нормы, оказывается, и нету. Кувырком.

Дом. Страх перед Домом — от этого и кочевья, и элементы богемы. Поняла после возвращения Эдуарда: не будет больше Дома, не построю — нечем и не могу. И, конечно, **не хочу**. И еще поняла: потерю мамы. Теперь поняла до конца — незаменимость дружбы, тишины, беседы, любви, жизни моей жизнью. Я живу разными жизнями — и ничьей не живу по-настоящему. А моей жизнью не живет никто. Краем — но искренне и преданно — жила немного Т. Гн[едич]. Все.

С братом — другое. Я по-старому — бог, перед ним и страх, и волнение, и неистовство любви, и отданность. А временами и бунт (и это вполне естественно). Но у богов жизни неведомые, и верующие их жизнью жить не могут.

А как чудесно жила моей жизнью мама, жила любовью и дружбой, отдав всю свою жизнь мне, даже воспоминания. Моя жизнь — в той части, которую я ей отдавала, — была ее настоящей жизнью. А с каким чутким и изящным благородством она никогда не вторгалась в те области, в которые входа не было. Без стука она никогда не входила: ни в душу, ни в комнату.

Без этого единственного Человека — мне очень трудно. И подчас так страшно и горько от беспредельного одиночества, что хочется застонать.

Я ведь привыкла делить с нею так много — и говорить о многом — и рассказывать. А теперь и сказать некому — ни о виденном, ни об услышанном или прочитанном, ни о памяти, ни о встрече, ни о письме, ни о работе.

Застрелился Бродянский (кино). Его я почти не знала: урод, чем-то напоминает Бюргера (психологически), высокий, статный, блестящий лектор, умница.

Может быть, Бродянский и прав.

Некуда. Скучно.

Апрель, 12, четверг

Болела около месяца — в постели, с температурой и жуткими сердечными явлениями. На днях милый говорун Эйпшиц из Смольного определил: снова Tbc легких (железы) — боится, видимо, за горло. И еще: дистрофия миокарда. Видимо, декомпенсация. Прописаны необыкновенные лечения. Видимо, ничего делать не буду.

Сегодня только отчетливо поняла: я не опечалена и не огорчена. Равнодушия тоже нет: я, кажется, просто довольна. Все приходит вовремя. И я заболела вовремя. Жить мне очень трудно — дыхания не хватает (и в том, и в другом смысле).

Резко похудела. К довоенной худобе еще не вернулась. Все не так и не то. О блокадных днях вспоминаю с благодарной нежностью: воля к жизни была, внутренняя тишина от близости ежеминутной смерти, внутреннее благородство. И каждая улыбка ценилась на вес золота. Теперь старое: не так и не то.

Странные отношения с Ахматовой, полные большой волнующей прелести. Игра, конечно, — и она, и я. Знает, что любуюсь ею, что ценю ее, — и, через меня любуясь собою, ценит меня. И не только это: еще какие-то пути.

...дороги Китежа зеркальные...[884]

Какие-то понимания с полуслова, со взгляда, с неоконченного жеста. Говорит со мною много — и интересно. Блестящая женщина. И: Très femme[885].

С братом — по-старому, труднее, чем до войны, потому что от обоих ушла мать. Он меня и любит, и боится — как и прежде. Говорим очень мало — всегда о внешнем, о незначительном. Ему со мной и неуютно, и связанно. У меня он гораздо больше «в гостях», чем у Тотвенов. Дома только ночует, ужинает, пьет чай, с утра до ночи (буквально) просиживая на службе, в Боткинской больнице, где работает инженером. Думаю, что умышленно задерживается на работе, чтобы не быть дома, где нет дома, где тяжело. Запуган, робок, услужлив, неуклюж, в каждом взгляде на меня — трепещущая просьба: «Не бейте меня!»

Очень бедный человек. Конченый.

Мне от этого, конечно, не легче.

Говорить о себе мне совершенно не с кем. То, что делаю я и что делается со мною, никого не трогает и никого не интересует. Мне некому сказать о

книге, которую я читаю, о работе, которую делаю, о людях, которые разными путями идут ко мне.

Мне не хватает только одного человека: матери моей. Замыкаюсь все больше и больше, сохраняя огромные связи, продолжая быть общительной и почти веселой. Но даже и эта привычность светского тона становится уже бременем. Освобождаюсь. Отстраняюсь. И все это без усилий, без борьбы, без напряжения — очень легко. Жертв больше нет. И приносить их и некому и нечему. И больших радостей нет: не от кого и не от чего. Такая смешная жизнь — неизвестно зачем летящая на больших скоростях через маленькие полустанки.

Сегодня телеграмма от Вс[еволода] Р[ождественского] из Ярославля о том, что едет в Москву, что пишет. Абсолютное безразличие, даже не улыбнулась. Возвращение минутного пафоса прошлогодних отношений кажется уже невозможным — я уже не та. Бывал у меня, читал свои гладкие стихи. А Синяя птица на плече не сидела...

Может, он по-своему и прав, когда говорит мне:

— Со всеми вашими поклонниками вы можете играть как угодно и во что угодно. А я вас знаю настоящую: милую и простую женщину.

Мне с ним бывает почти хорошо. Мне так весело, что он обо мне так думает, что я с ним действительно и проста, и мила — по-своему, конечно.

(А в какие-то минуты продолжаю непременно говорить по-французски! Вполне сознательно.)

Скользкий он человек. Холодный. Усталый. Равнодушный. Уязвленный. И все его горение, вся его простота, вся сердечность и ласковость — такие же хорошие светские маски, как и у меня. Все sensuel à froid[886] — несмотря ни на какие слова и словечки. У меня ведь тоже — sensualité d'epiderme[887]. Ахматова его активно терпеть не может. Сегодня ночевала у меня, утром говорила:

— Что это все принимают его за поэта? Какой же он поэт? У него нет своего голоса, он же всем подражает, это типичный эпигон. И человек жестокий, опасный, недобрый. А девочка у него прелестная[888]...

Несмотря ни на что, большой человеческой любовью меня любила Т.Г. Часто думаю о ней. Очень жаль: талантлива, даровита, прекрасно образованна. И сама, собственными руками, ковала, ковала себе гибель — и выковала наконец. Бездарное творчество воображаемой жизни, приведшее к бездар-

ному, но невоображаемому концу. Какая уж тут история русской литературы. Отворачиваются, отрекаются, забыли — под сомнение ставится даже... талант переводчика!

— Она переводила, как дилетант... непрофессионально! — изрекла вчера **даже** Ахматова в присутствии Хмельницкой.

А Лозинский забраковал блестящий перевод из Байрона «Видение суда»[889] — неточные рифмы.

Ее уже забывают. А скоро и совсем забудут. И останется только анекдотичное воспоминание о неряшливой чудачке, пылавшей очередными страстями к очередным поэтам и пугающей их несоответствием эллинских настроений и бесполой и безвозрастной внешности не то синего чулка, не то Армии спасения[890].

А Тригорское совсем опустело... В нем больше нет живых голосов. Зато прибавился еще один призрак.

14 апреля, суббота

Вчера — Дом писателя. Нечто вроде «Альманаха поэтов».

Читают многие и много — хорошо начинающий Ботвинник, юный, скромный морячок, говорящий своим голосом; приятны грустные романсы хорошенькой стервы Рывиной, готовые для умной интерпретации Шульженко[891] под джазовые танго; перепевает самого себя Хаустов с тяжелыми глазами — уже перепевает, хотя родился поэтически недавно. Жестоко, несправедливо, незаслуженно обругали даровитую, но неприятную и отрешающую от себя Варвару Вольтман (Господи — Вава Вольтман гимназических годов! А к гимназическим воспоминаниям у меня нет в сердце ни доброго, ни ласкового): стихи о блокаде у нее жесткие, голые, страшненькие, не розовые. Невсхлипывающие[892]. Все переполошились, перепугались:

Рывина — нельзя так писать о Ленинграде!

Бытовой — вредные стихи, отвратительные,

Колтунов — блокада была полна оптимизма и т.д. Видимо, требуется смеющийся героизм смерти, бала в бомбоубежище. Начали морщить нос от запаха гнили, нищеты, голодного ужаса.

— Ах, сколько ужасов! Такого не бывает у порядочных людей!..

А блокада тем и велика, что во времени шла через дорогу ужасов. И героика Ленинграда именно в том, что во имя жизни пришлось идти не только на смерть, но и на унижение голодом, грязью, дистрофией, вшами, по-

еданием лебеды и мокрицы, пришлось выдержать не только натиск врага, но и штурмовые колонны отупения, безумия, человеконенавистничества, преступления, обнажения от маловесомых (как оказалось) покровов элементарной культуры и элементарных основ межчеловеческого общения. Выжили, кто выжил, — побороли, встали, победили. Но все это — было? Было. А человек стыдится срама своего и горе в прошлом любит только красивое, достойное и его поднимающее и оправдывающее. Впрочем, может, поэтам и можно петь только о красивом горе. Поэзия и музыка украшают мир — это высокие сферы прекрасного. Какие же стихи могли бы написать Достоевский, Салтыков-Щедрин, Стерн, Свифт?

Расхваленный и перехваленный Дудин носит фуражку по-казацки, шинель вразлет, фигурничает, позирует на «развязного олимпийца». Удается это ему плохо, хотя со словом «Олимп» он, несомненно, знаком — и кинематографы так называются, и папиросы, как будто такие когда-то были. (Так я и написала сегодня Ахматовой, посылая ей орденскую ленточку к медали «За оборону Ленинграда», недавно полученной ею.) Дудин читал свою длиннейшую поэму о женщине — председателе колхоза[893]: звонко, голосисто, своевременно, с прицелом на деревенскую ласковость и на лауреатство. Хвалили до потери сознания. — а кто-то, тезка мой[894], кажется, сравнил сразу и с Державиным, и с Некрасовым.

Совершенно ненужные стихи читал Сергей Спасский — нехорошие и скучные: я слушала только, как он здорово раскатывает свое «р» — фррронт, парррки, гррром.

Уныло и молча сидел Шефнер — интересный поэт, тихий и думающий. Лифшица не было. Размалеванная под дешевую Кармен, демонстрировала Полина Качанова свою кафешантанную дружбу с кобелеватыми поэтами. Как всегда, самопутано выступал редкий самодурак С. Бытовой, обессмертивший себя таким четверостишием:

Семен Михайлович Буденный,
Семен Михалыч Бытовой.
Один рожден для жизни бранной,
Другой для жизни половой.

Если часто слушать критические парады Бытового, легко и просто можно принять смертную дозу веронала: лишь бы попасть в те круги, где отсутствие выступлений Бытового гарантировано.

Домой шла по ночным улицам с пилаточкой Хмельницкой и романистом Уксусовым. Тамара, как и полагается, и хвалит с оговорками, и порицает с оговорками. Типичный соглашатель от литературы — с оглядкой. Уксусову попало за то от собрания, что он предложил поэтам читать французскую прозу — чтобы научиться логически доводить до конца единство мысли.

— Почему французскую? — закричали с мест возмущенные патриотические гимназисты. — Русскую, русскую читать надо...

— Чехова... — пискнул кто-то.

Ночь была холодная, пасмурная. Шаг у нашей весны неторопливый. Было грустно и обездоленно до отчаяния. Идя по темной Бассейной, много думала об одиночестве, о Китеже, об Ахматовой — и о ней думала и печально и нежно. Правда, что нигде не бывает. Скучно — и страшновато: а как же дальше?

Дома обругала Валерку, забывшую позвонить брату в больницу. После полуторасуточного дежурства пришел в начале первого, усталый, загнанный, несчастный. Я уже лежала, раздраженная и злая, какой бывала прежде. Молчала все время, зная, что, если заговорю, скажу недоброе. Брат даже не рассердился на зареванную Валерку и еще сделал мне замечание:

— Не надо на нее кричать! Это унижает.

Ненавижу христианские добродетели кротости и смирения! Убивают они человека — как убили его.

О Доме писателя никто меня не спросил, и рассказывать мне было некому. От этого и запись.

Сегодня что-то убирала в шкафах. Обедала у Драницыных, где скучно и мило, как у Тотвенов. Раскладывала пасьянсы и говорила о Кракове.

Вчера мы взяли Вену. Стоим в 50 км от Берлина, который зверски бомбят союзники. А я все думаю: может действовать на таком расстоянии наша дальнобойная? Пусть бы действовала. Я с Эренбургом[895] — ни немцам, ни немкам никакой пощады, никакой сентиментальной возни, никаких ватиканских воздыханий! Я ленинградка.

Ночь на 16 апреля

2 часа ночи. Пью чай. Брат уже спит. Час тому назад пришла от Васильевых, где был сверхъестественный стол и блестящий ужин с шампанским, фаршированными гусями и чудесными тортами всех видов. Было много народу — все чужие; я сидела усталая, больная и говорила только с большим

адвокатом Успенским. С ним поговорить было интересно, хотя и он... genus specificum![896] Беседа, конечно, и о деле трибунала НКВД, о котором кратко в газете[897]: группа молодежи, попойки, ограбления, изнасилования. Главным образом — ученики школы, под предводительством Королева (отец его — генерал-полковник авиации, мать — крупный работник горкома ВКП(б)). Юноше дали расстрел[898]. На суде он держался независимо и весело: уверен, что расстрел заменят и он через пару лет выйдет свободным. Папы хлопочут — тем более что из дела с 25 обвиняемыми изъято, например, дело соучастника преступлений — сына Попкова. И еще кого-то: видимо, Мартынова, сына председателя райисполкома.

Дурная среда. Дурное влияние. Бедные мальчики грабили квартиры, а на полученные из комиссионных деньги кутили в коммерческом ресторане, уплачивая по 5—6 тысяч по счету. Угрожая оружием, изнасиловали девицу З. из МПВО. На суде девица, приятная и милая, держалась хорошо. Рассказывала достойно и без цинизма. Адвокаты, расположившись к благородной жертве, попросили у судей разрешение уйти ей из зала суда, так как пребывание в оной может быть ей неприятно по соображениям моральным. Суд согласился и предложил потерпевшей, если она этого желает, покинуть суд. И вдруг потерпевшая спрашивает:

— А можно мне остаться?

И остается. На нее смотря, шушукаются, переглядываются — жертва, изнасилованная, ах, как интересно! Она сидит спокойно и очень просто, иногда улыбаясь обвиняемым.

Адвокатура была озадачена, остановившись перед неразрешимостью психологической загадки.

А ну, писатели — кто объяснит? И — как?

Как и всегда, когда о детях, вспоминаю слова мамы:

— Дурных детей нет. Есть только дурные родители.

Судить, конечно, надо бы не мальчиков, а их отцов.

Успенский рассказывает два факта:

1. Тринадцатилетняя дегенеративная девочка украла у матери карточки, легла с ней спать в одну постель и в полночь убила ее топором (в блокаду, 1942). Дали 5 лет — несовершеннолетняя. В тюрьме вновь привлекается за кражу. Мелкую. Следователь-женщина мягко спрашивает:

— Ну, как тебе живется здесь? Не трудно?

— Ничего, — отвечает девочка. — Хорошо. Наменяла кой-чего. Вот юбчонку справила. А то после мамкина дела осталась голая...

«Мамкино дело...» — и улыбается.

2. Два мальчика из интеллигентной семьи. Дети ответственных работников. Родители отсутствуют сутками на работе. Мальчики шляются по кино и рынкам. Скучают. Блокада. Занимаются всякими обменами. Выменивают два винчестера. Во время обстрелов развлекаются: из окон стреляют из винчестеров в торопливых прохожих — обстрел, жертвы обстрелов! Ружья замечает у них соседка, жена полковника, покровительствующая детям. Она не знает, чем они занимаются, но протестует против хранения оружия. Мальчики боятся, что донесет, и убивают ее. Просто.

Школу перестраивать надо. А кто перестроит родителей? Мало кто из родителей понимает, что ребенок — это договор с будущим и с обществом и что договорные статьи надо выполнять им, родителям, при содействии школы. Наши «цветы жизни»[899] аморальны и нравственно слепы, как растения. Хорошо то, что мне нравится и мне удобно. Готтентоты[900].

Днем у Марии Степановны. Говорим о том же деле. У нее в доме чистая и скромная атмосфера — почти XIX век в среде думающей, полетной, трудовой интеллигенции. Она — уже анахронизм. Не то укор, не то неприятный устаревший пример. Любит меня — а за что, не знаю.

А мне уже ничья любовь, кажется, не нужна.

17 апреля, вторник

Штопала на днях свою простыню. Посмотрела случайно на метку: М.А.[901] Не знала даже, что сплю под **этой** простыней. Улыбнулась, подумала, вспомнила. Да. Никогда больше. Память, которая никому отдана не будет. Мое. Самая чудесная, самая светлая память. Femme blanche.

А сегодня солнце, холодно. Глиняное болото под ледком в Шереметевском саду. Вчера вечером, когда я была у Тотвенов, ко мне приходила Ахматова. Вернулась я в полночь, испуганная Валерка сказала, я разобиделась на судьбу: вчера весь вечер о ней думала, читала ее старые вещи, романтически хотела видеть. И с тоской поехала к Тотвенам, где пила скучный чай и вела скучнейшие разговоры о безденежье. Нынче — перед дискуссией о ленинградской теме в Доме писателя[902] — зашла к ней. Не застала. Встретила потом на улице с маленькой Анной. На солнце только увидела, какая у нее густая седина. В холодной комнате неуютно, не убрано, бивуачно. Одета она скверно. Туфли развалились. Ботиков нет — и так всю зиму. Это — наш первый поэт, наша российская слава. Какие уж тут чернобурые[903]...

Прочла мне интересные и волнующие стихи о блокаде В.С. Срезневской, с прекрасными сравнениями, написанные болью и памятью. Я не знала, что она пишет.

— Она почти скрывает, — говорит Ахматова — Читает неохотно и мало. Покажу Оле Берггольц. Может быть, напечатают.

— Нет. Не напечатают[904].

— Вы думаете...

Говорим о деле юношей-преступников.

— Бедные родители, — вздыхает она. — Это — последствия войны.

Говорим об Эренбурге.

— Вот даже вы, близко знающая литературу, не знали, что Эренбург — поэт. А он поэт, он не журналист — и романы у него плохие. Но я его не люблю как поэта. Какая странная судьба у него: поэт — и об этом почти никто не знает.

На дискуссию не собирается.

— Это так длинно и так утомительно! И заранее знаешь, что́ будут говорить и о чем. Завтра, может, приду...

Читает выдержки из «Ленинградского дневника» В. Инбер[905] — ничего особенного не говорит, шутливо удивляется — как это можно писать такое? Но интонация не только жалит, а убивает наповал. В. Инбер она не любит агрессивно.

Придет ко мне в четверг, видимо, ей нравится у меня. В Москву не едет.

— Боюсь там застрять. Мне сказали, что почти на днях можно ждать окончания войны. Нет, но мира не будет, ничего — просто кончится война, Германия капитулирует. А этот день я хочу быть в Ленинграде.

Нетленным и неизменным пронесла Ахматова через все годы войны и свой русский дух, и свою любовь к России, и свою преданность родине и русской культуре. Ни разу не изменила себе, не заговорила чужим голосом, не вступила на чужие ей пути. Удивительно благородная и четкая линия мировоззрения, единая, цельная и неподкупная.

20 апреля. Вечер

Ночевала Ахматова. Китежанка. Утром и днем вдвоем с нею — хорошо мне и всегда больно (от памяти, верно, — почти вся жизнь с нею и без нее). Провожаю в Литфонд, потом в Шереметевский. Дождь. На Фонтанке встречаю Уксусова и вспоминаю, что сегодня выступает полонист Беккер о Мицкевиче: страшный еврей со страшным акцентом. Обещаю прийти в Дом писателя, обещаю потом пойти в кино. И — возвращаюсь к себе. Не могу.

21 апреля

Днем Ел. Ал. И неожиданная Ахматова — угощаю чаем и блинчиками. Ел. Ал. говорит:

— Я знаю вас давно, Анна Андреевна. Мы с вами когда-то встречались в одном доме.

И не называет — где. Ахматова сразу загорается, вспыхивает, нацеливается на Ел. Ал. всем своим очарованием, колдует, ворожит, обволакивает. И не узнает ничего — та почему-то молчит.

В эту ночь, грея руки у стынущей печки, говорила со мной о Поэме. Любит это свое творение — и почти детски радуется его таинственности.

Спросила:

— Неужели вы не догадываетесь, кто актерка и портрет?

Подумав, объявила:

— Это Ольга Афанасьевна Судейкина.

Я не подала вида, что слышала — боком, правда, — об этой большой и страстной дружбе, так же страстно перешедшей в ненависть.

— Я слыхала это имя, — сказала я

— Я ей посвятила два стихотворения[906].

— Да, я знаю. Но это не то...

И вдруг вспомнилось: телефон Олечки Судейкиной был записан у отца, это была приятельница из блестящего круга дам большого полусвета. Сказала об этом, пораженная играми собственной памяти. Ахматова улыбалась, словно довольная чем-то. Прервала меня:

— ... у баронессы Розен? У Женечки?[907]

— Может быть, вы встречали моего отца?

— Может быть.

А сегодня — тоже вдруг — спросила:

— Ваш отец играл, правда? На органе?

Отец, вероятно, пересекал когда-то дороги, по которым шла ее слава, ее прелесть, ее скорбь. Никогда не упоминал ее имени. Впрочем, таких, как она, он боялся и не любил — умная, острая, тонкая... трудная женщина! Он ценил легкость нравов и легкость мысли XVIII века, но не признавал женщин-писательниц. Стихи же считал «писаниной» и почти стыдливо говорил о ком-нибудь:

— У него голова не совсем в порядке... стихи пишет!

Из вежливости говорил, что любит Пушкина и Мицкевича. Но я уверена, что читал он их только в гимназии!

23 апреля — ночь

Сегодня, поздним вечером, в большой тоске шла по Фонтанке, смотрела на холодные отражения ненастного заката в воде. На Неве был ветер, ветер. У здания английского посольства[908] радио сказало, что наши войска вошли в Берлин, что части Жукова и Конева соединились, что бои в городе.

Едва не разревелась. Повеяло миром, который может прийти завтра. Захотелось поздравить стоящих рядом прохожих, каких-то военных. Но у них были скучные штатские лица. Они слушали молча.

30 апреля, понедельник

Затемнение в городе снято. Снова фонари, окна, лампы — как прежде, как когда-то, как в той жизни, которая кончилась навеки в первый день войны. Очень странно. От Тотвенов шла пешком, медленно, всматриваясь, запоминая. Бои в Берлине. Мир уже входит в мир. Мир уже переступил порог, но еще не поднял глаз. А когда взглянет — остановится Великая Кровь.

2 мая 1945 — 23.45

Берлин взят. Над Берлином наше знамя.

Ночь на 9 мая 1945

Ночь смерти мамы. Война кончена, кончена. Мир. Объявлен Праздник Победы. День смерти мамы навсегда будет днем ликования и торжества.

— Когда я умру, пойте и веселитесь! — говорила она.

В моей комнате, где теперь спит Эдик, сидела у него на постели до 5 утра. Говорили о мире, о победе, о маме. Вспоминали, как всегда хотела радости, как не признавала смерти, как любила жизнь.

Три года без нее.

Первый день Жизни в годовщину ее смерти.

Ночь на 11 мая

Если бы во мне жила такая радостная и жизнетворческая душа... как у тебя, мама моя...

Трудно мне, трудно. Morbidezza[909], видимо, — не подумайте только, что модернистическая morbidezza

Обедаю у Тотвенов.

Вечер — ночь — банкет у Писателей. Скучаю до зевоты. Ночью — когда все уже перепились, а оркестр уехал домой — играю до удури на рояле: ...

«под танцы»! Все пьяны, всем все равно. Вагнер скачет... а Вечтомова выглядит похабно-пьяной девкой, пытающейся сойти за купальную ведьму. Чудесна, светлая, золотая и розовая, Елена Серебровская: и зачем только она пишет стихи? И так хороша, и так хороша[910]. Хмельницкая выпила чересчур и плачет — и объясняется с невозмутимо альфонсным Золотовским — и говорит мне:

— Ну, не сердитесь, ну, я больше не могу...

А я, злая, напряженная, все видящая и ничего не прощающая (товарищи, подумайте о погибших солдатах, о крови, подумайте!), говорю сквозь зубы:

— Ne pleurez pas, on vous regarde...[911]

Самое страшное для меня: on vous regarde...

Хмельная Ахматова широким жестом приглашает меня к себе. Пьет она хорошо — не ожидала. Присаживаюсь рядом, говорю, что Марина Карелина обижена... Смеется: ласковая сегодня — потому что все равно.

За соседним столиком вдребезги пьяные писатели — четверо — стадно декламируют:

— ... все сохранила ты, Равенна[912]...

Любопытно: комплекс ритма.

На утренней улице встречается пьяный Остров Дмитрий — un parvenu en toutes choses[913]:

— Мне девочка нужна! — орет он. Проходит мимо.

Провожает меня Кобзаревский — из тех, кто в каждой женщине пытается найти «девочку». В течение всего вечера стараюсь отделаться от него, убеждая его в том, что он прекрасный отец, что хорошим отцом быть гораздо труднее, чем хорошим любовником. Его мнение обо мне — postfactum:

— Да, интересная... Жаль, из недоступных, кажется...

Господи, как мне весело!..

А ведь это — **первый день после войны**.

Простите нас всех, мы — погибшие.

Только мертвые сраму не имут..

На улицах очень много пьяных... Это понятно. Я бы, кажется, пила непробудно — от страха.

20 мая

Кино: «От Вислы до Одера»; «Знамя победы над Берлином»[914]. Когда смотришь на горящий подобстрельный Берлин, качаешь головой, сокрушаясь:

— Ах, жалко все-таки... такой город..

Когда потом смотришь на чудовищные скелеты мертвой Варшавы, думаешь не о Варшаве, а о Берлине так: «Мало... мало... еще бы надо!»

Показан гестаповский двор с трупами расстрелянных — сотни, тысячи. Лежат, как бревна, как большие овощи. Бывшие люди. Тысячи.

Рядом — Анта, умная и несчастная; рядом ее племянница — глупенькая и тоже несчастная.

24 мая

Готовлюсь (лениво и бездумно) к моему вечеру в Доме писателя. Переводы на французский Гора и Никитина[915]. Бездарная русская проза. Работаю вяло и без интереса. Переводы — не мое дело. А знают меня все как переводчика — только. Неважно. Все равно. Никуда не выйду. Разве — «в некуда»...

31 мая

Вертинский в М-м ДК[916]. Смотрю не на старенького безголосого chansonnier с поразительной культурой дикции и «подачи» слова, а на публику: молодежь — военная, орденоносная, покрытая славой, здоровые рослые бездумные девушки — все в иступленном восторге, в опьянении, страшнее алкогольного. Что же у них общего с магнолиями, с королевами, с отчаянием спокойной Молдаванской, с жалобами бедного любовника, которого покидает любимая для роскошного владельца роскошного авто? Вертинского воспринимаю как механическую стрелку социального барометра. Что же мы сделали за 28 лет? Каких людей мы создали? Почему же им нравится Вертинский? Почему же на концерты Вертинского, не анонсированные *нигде*, попасть труднее, чем на премьеру балета, чем в филармонию, чем на любого из самых лауреатских лауреатов?

Ничего не понимаю.

Впрочем, может быть, это и естественно: хороший кабацкий жанр — а кабаков нет — а кабаков хочется ... вот и бросились на первый кабак.

И — все-таки...

Жертва должна быть оправданной. Иначе: в петлю, дорогая, в петлю.

1 июня, пятница

Мой вечер у Писателей. Безразличие. Словно не я. Много хороших слов. И все — пустое: и вечер, и слова.

Эдик болен. Лежит дома. Видимо, плеврит. Боюсь, что обострение ТБС, как и у меня. Ходят милые и неграмотные врачихи — молоденькие.

Я занимаюсь не литературой, а кухней.

Июнь, 29, пятница

Вот и месяц кончился. Холодный, свежий, не летний, с чудесными перламутровыми ночами. Все время очень трудные настроения. Денег нет, расходы огромные (болезнь Эдика, поправился, питала его блистательно).

Единственная отрада моя за весь месяц — частые встречи с Ахматовой.

На днях — Вс. Р[ождественский]. Демобилизован. Рассказывает милые интересные вещи о Москве — о театрах, о писателях, еще о чем-то. Дарит мне книжку Фаррера. Боже мой. Неужели он и меня видит сквозь призмы французского модерна?! Забавно. Когда мне было 14 лет, я влюбленно обожала Фаррера за его «La Bataille» и «Fumée d'Opium»[917] и писала даже какие-то аннамитские[918] новеллы, где было все: и инфернальные женщины, и опиум, и корабли, и разлуки, и бездумные и странные любови...

Люди, люди. Работа для Физиологического института. Встречи, кино, болтовня, пустота. И — тоска... но какая!..

14 июля, суббота

Бастилия. Вс. Р[ождественский], которого кормлю обедом, потому что семья его на даче, а столовая Д[ома] пис[ателей] — на ремонте. Жена его, кстати, как говорят, беременна и вот-вот родит... а он об этом со мною ни слова, эстетствует, умалчивает. Глупо. Со мною ведь можно — и должно — говорить обо всем. Очень глупо. Тем более что ничего от «Imaginary Portraits» and «Conversations»[919] не получается. Я уж не говорю об «Imaginary Life»[920]!

На столе много цветов. Знамя Бастилии. Во мне веселое, легкое, of no importance[921]. Память скользит по ломаным углам неполных отражений — тоже цветы, тоже люди. Зеркала. Тени. Tempera[922].

Если бы Вы приехали, что бы я Вам сказала?

— Tiens, c'est vous[923], — сказала бы я, вероятно.

Потому что я не жду Вас и (глубинно) не хочу Вашего возвращения. Ведь от Вас мне снова будет неловко, раздраженно и больно — как от элегантной и изящной обуви, от которой я отвыкла, которая, вернее, мне не по ноге.

Если Вы вернетесь, жизнь моя, нелепая, безрассудная, богемная, свободная, станет гораздо более трудной. Она сразу станет чужой мне. Вы, пожалуй, вообразите снова, что она — Ваша. Вы, пожалуй, увидите во мне прежнюю королеву и прежнего Ястреба. Что же я буду делать?

Couvres ton lit desert comme un sépulcre — et dors
Du sommeil des vaincus et du sommeil des morts[924].

Это — я обещаю Вам. А может быть, я говорю с мертвым? Что́ знаю я о Вашей жизни в жизни?

В день Бастилии Вс[еволод] Р[ождественский] предлагает мне сотрудничать в «Звезде» и в «Ленинграде». А я, как норовистая лошадь, сразу начинаю злиться, храпеть, косить глазом и упрямиться. Кто скажет — почему?

Литературные пути — трудные.

Вс[еволод] Р[ождественский] сравнивает меня (кроме всего прочего) с Верой Холодной и Франческой Бертини.

Позже — обедает Анта, с которой мне всегда очень больно и очень хорошо.

Еще позже — мы с нею у Ахматовой, где петушистый крикливый мальчик Громов держится «пай-мальчиком на кончике стула». В заштопанном старом халате Ахматова — все-таки царица. Халат она зовет «мое рубище». В этом — вызов оскорбленной и не изжившей себя женственности. Говорим обо всем — о Блоке, о Берггольц, о модерне. Громов: «У Анны Андреевны единственный недостаток — она любит стихи Берггольц». А Анна Андреевна улыбается — и молчит! Она молчит — и Громов этого не видит.

Умный мальчик. Опасные пути. Признает только двух современных поэтов — Пастернака и Ахматову. Блока умно относит к XIX веку.

Я уже давно говорю, что XIX век затянулся и кончился не в 1899-м, в ночь на 1 января 1900-го, а где-то после 1917-го: в России после Октября, в Европе после 1918 года. Не иначе. Поэтому, конечно, и Блок от XIX, а не от нашего, XX. И «Скифы», и «Двенадцать» — только преддверие XX.

Ахматова великолепна.

Любопытно, что в поэме своей недавно вычеркнула посвящение Intermezzo: «В. Гаршину»[925].

Рукопись она подарила мне. Спрашиваю:

— Посвящение вычеркиваете?

— Конечно. Ну при чем здесь Гаршин, правда?

— Правда.

(А внутри у меня — вопросец: не потому ли, что в гнусном «Ленинградском дневнике» Вера Инбер упоминает о прогулках по блоковскому городу с проф. В. Гаршиным[926]? What is it?[927] Не то ли это самое?)

16 июля, понедельник

Онкологический. Жасмины у М.К. Потом Татика и чудесная прогулка с нею до самой Стрелки. Островов нет — задворки, мусор, свалки, общественные уборные, жалкие цветники. Безлюдно, потому что очень холодно: жестокий ветер. На Стрелке — пустыня, дурацкие львы, взволнованное взморье, шелест пены. Все как когда-то, как сто лет назад... кроме львов!

17 июля, вторник

Целый день у меня Ахматова. Пьем без конца водку; салат из крабов; стихи; музыка; обед — бреды. Хороша и тревожна, когда выпьет. Явные лесбийские настроения, которые я упорно — вторично — не замечаю. Читает свои новые стихи, которыми недовольна:

...даты,
И нет среди них ни одной не проклятой...

Прекрасно о буйствующем ветре среди листвы:

Гремит и бесстыдствует табор зеленый...[928]

Неожиданно спрашивает:

— А вы встречали принца?

Чуть поколебавшись (все-таки!), говорю медленно:

— Не-е-ет.

— А я — встречала, — говорит гордо.

— У меня были дэгизированные, — улыбаюсь я, — déguisés en prince, en roy, en Dieu[929].

— О, они это умеют! — улыбается также.

Большие, полетные разговоры. Поздно вечером Всеволод Николаевич Петров — «настоящий офицер», как говорит Эдик. Почитатель Кузмина[930]. Distingué[931] до потери сознания.

18 июля

Я с Ахматовой. Часы у нее. Дом писателя. Чем-то недовольна, полупечальна, отчуждена. Много интересного о Пастернаке. Внушает свою мысль, как и всегда, боковыми путями. А мысль простая: не поэт больше, не пишет своего, только переводит, поэмы его — не поэзия. (Читай: «Как же может Громов видеть в XX веке **двух** поэтов — Ахматову и Пастернака?» Где же

Пастернак?) Загадочная картинка для литературоведов. Ох, как умна. Как древняя змея.

19 июля, четверг

Парголово. Впервые за годы, за годы — поезд, платформы, вагонные пейзажи убогих пригородов.

А в Парголове — только в Парголове и уже в Парголове! — горизонт над полем, запахи сена и дикой ромашки, тарахтящая в пыли телега, муравьи, кузнечики и жаворонки, настоящие жаворонки! Трава. Земля. Осока. Болотца. Зеленые ягоды брусники и голубицы. Сосновые шишки. Меланхолические коровы. Солнце на загорающей руке. Тишина, которая почти оглушает.

Только Парголово... от жаворонков, от кузнечиков, от первой встречи с землей (после стольких лет!) смутное, тяжелое, радостное и горькое: sur les sentiers du Temps perdu[932]... Дубровы. Поворовка. Лесное. Мама. Варенье в саду. Les ombres[933].

20 июля, пятница

«Пигмалион» в Александринке[934]. Ужасно.

21 июля, суббота

Острова с М.С. и Татикой. Чудесное солнце, светлый и тихий залив. Потом прогулка по аллее бедных цветников — и неожиданный дождь, потопный ливень, серые видимые потоки небесной воды. После дождя густо дымится асфальт дорожек. Идешь по необыкновенным дорогам, источающим клубы пара. Люди в вулканических туманах. Любопытно.

25 июля, среда

Вчера ванна у Тотвенов, сердечный припадок. Не могу вернуться домой. Ночую у них. Сердце бьется так, что ему ничего не стоит разорваться. Читаю что-то, курю, никак не заснуть: нежданные клопы.

Встаю рано, разбитая, мертвая, угасшая.

Умное тело снова крикнуло: «Не смей жить, не смей радоваться, не смей любить солнце! Ты не для этого».

А для чего же, Ваша Милость?

31 июля

Хожу. Что-то делаю. Живу.

И ходить и жить — трудно. И физически и по-другому.

Перечитываю Успенского и Фрейда.

Сердце не в порядке.

Дожди. Холодно. Лета словно и не было.

Липы в Летнем саду отцвели без меня.

1 августа 1945 — ночь

Брат сказал за вечерним чаем, что видел на улице голубей — и на них смотрела кошка. Голуби были растерянные и смешные. Кошка была такая, как и подобает быть кошке, даже уличной. Если брат, измученный и замученный, не бредил, он действительно видел и голубей и кошку.

А это значит — он видел мир на улицах Ленинграда.

Я голубей не видела. И кошку на улице я встречаю редко.

По-моему, мира — тихой жизни, мирной жизни маленьких людей — еще нет. Зенитчики не демобилизованы. ПВО Ленинграда не демобилизована. Европейский горизонт — с конференцией Большой Тройки в Берлине, с гиньольным гротеском суда над Петэном[935], со штучками в Греции[936] — заткан туманом. Восточный горизонт гремит оружием.

Победа лейбористов в Англии. Кажется, хорошо. На последней фотографии у Черчилля горькое и разочарованное лицо. Трумэн похож на косного clergymana[937]. Наш Сталин спокоен, полуулыбчив — вертит в руках коробок спичек... Все — от него. Никогда еще Россия не знала такого могущества, такой страшной высоты мирового влияния. Urbi et orbi[938]. Сталин мог бы взять это своим девизом.

Сегодня промокла до кости — дождь, холодно, а я в шосетках[939], в плавках, в дырявом сатине. Дома сооружаю салат, чай с водкой. Нехорошие и отчаянные разговоры с братом. Устал. С 1 февраля — ни одного выходного. Засыпает на работе.

— Больница как монастырь, — говорит меланхолически и горько, — служба прохожим...

А потом — вскользь, мельком (будто бы):

— Как твой порошок?

Понимаю: говорит о стрихнине 1941 года.

— Есть. А что?

— А если...

— Проверила. Нехороший конец, мучительный. Надо обменять у старика на морфий.

Молчит. Какая горечь в его улыбке! Более страшной улыбки, чем у моего брата, я не видела ни у кого: прощение. Недоумение, безразличие.

— Мне вот только тебя оставлять не хочется...

— А со мною? — спрашиваю весело.

— Вместе? Хоть сейчас...

Улыбка делается радостной, светлой — почти счастливой.

Говорим об арктических экспедициях, о работе на высокогорных станциях. Поводит бровью:

— Il faut laisser tout pour cette enfant...[940]

A cette enfant[941] упоенно летит за Вербицкой по страницам «Ключей счастья»[942].

Может быть, cette enfant какие-нибудь ключи и найдет.

Знобит. Температура. Завтра боевой день — квартирный вопрос. Могут отнять одну комнату. Шансов на выигрыш мало. Говорю: ах, все равно... Но знаю твердо: совсем не все равно. Это я говорю только себе самой. Больше сказать мне некому. Пойти мне не к кому. Да и не привыкла... Как это так: кому-то рассказывать о себе, кому-то жаловаться, у кого-то просить помощи? Не умею. Не обучена. На том и стоим.

Нашла старое-старое серенькое платье мамы. Еще пахнет. Годы шпажника, стихов, божественного Киргиза. Годы нашего Дома.

— La raison n'existe plus, j'ai compris, — сказал сегодня брат, — je reviens la nuit, je vois les maisons éclairées, les fenêtres de qui attendent de devenir «des maisons». Ce n'est pas «la maison». Ce n'est pas moi qu'on attend[943].

Пробило два часа. Ночь. Редкие капли дождя. Холодно. Валерка готовится к физкультурному параду и работает на восстановлении города. Участники парада — по декрету — освобождены от восстановительных работ. В техникуме знают это, но студентам, не работающим на восстановлении, не дают карточек. Сие оригинальное положение приводит в движение социалистическую совесть. Д-р Е.Д.

Доносятся гудки маневрирующих паровозов. Зовут в Пушкин, а я не могу. Страшно. Как это — ходить по трупу города поэтов и радоваться парковой зелени и остову дворца?

Завтра вечером — у Знамеровских. Много времени трачу на консультации по литературе, хотя в «Правде» больше не работаю. Люди идут ко мне на дом. Помогаю — гораздо больше, чем себе самой. За это, однако, мне никто не платит.

На днях — приятные часы с Тамарой Хмельницкой. Читаю свои стихи и исторические миниатюры. Ей, профессиональному критику, как будто нравится. Не знаю. Не ко времени я Out of time[944].

Обедала у Тотвенов. Обедаю я вообще редко — когда бываю у них или когда жду гостей и занимаюсь кухней. Готовить для себя не могу. Скучно.

Цены: молодая картошка — 40 р. кг., зеленый лук — 70, стакан черники — 5, кило садовой земляники — 150, маленький кабачок — 30, масло сливочное — 150, стакан фасоли — 3 р., эскимо — 4 р., огурец — 5—10, белая мука — 50—60 кгм, сатин — 200—250 метр, молоко — 30 л.

Сегодня с Татикой просматривала «Ниву»[945] за 1912 [год]. Смешно. Боже мой, какая была смешная неестественная жизнь!

Каждый день могла бы пить водку.

Или нюхать кокаин.

Нашла письма Николеньки за 1936-й. Прекрасные. И снова: неестественное. Никогда не бывшее, не могло так быть, не похоже на реальную жизнь.

В прошлом году написал несколько писем — и опять замолк. Видимо, уже навсегда. Ну, что ж, пусть... Все это — словно не я. Какие-то аватары. Чужие.

Д-р Р[ейтц], кажется, возвращается в город. И тоже — страшно..

4 августа, ночь — суббота

Спутанный день — люди, дела. Комиссионный с Мар[ией] Степ[ановной]. Неудача. Наспех обедаю у Тотвенов. Самочувствие отвратительное — боли под лопаткой, жарок. Дома — Вс[еволод] Р[ождественский]. Болтаю вздор — я с ним всегда веселая, легкая, не своя: вроде живой картинки, театральной импровизации, балетного номера. Почему-то не могу — или не хочу — иначе. И психика делается какой-то балетной.

Узнав, что я жду Ахматову, убегает. Боятся ее люди. Правда, эта женщина и смущает и связывает. С нею никогда не просто. Может быть, в этом ее трагедия. Le drame des têtes couronnées[946].

Ахматова сидит у меня недолго, пьет чай со скверной едой, которая у меня не удалась (все сегодня не удается!), смотрит на часы. Потом уводит к себе. Ужинаем, пьем водку. В распахнутое окно входит сад и большое небо с печальными следами белых ночей. Говорим о поэзии — о французах: любит только Рембо и Верлена. Страстно ненавидит — и боится! — авторов biographies romancées.

— Я бы создала международный трибунал и засудила бы их всех, этих Каррэ, Моруа, Тыняновых...

Видимо, знает, что post mortem[947] удостоится сама не одного романа о жизни (о такой жизни!) — и все будут разные. И везде она будет разная.

И, как всегда, нигде не будет ее настоящей. А настоящую Ахматову знают, вероятно, немногие — если кто-нибудь знает вообще.

Дома около 3-х ночи. Мерю температуру: 38,6°.

9 августа, четверг

Наша война с Японией. Все ждали этого уж давно. Эти дни болею: сердце, температура, легочные боли.

Вчера обедали Анта и Ахматова.

10 августа, пятница

Квартирные дела в горжилотделе. Как будто улажено. Обедаю у Тотвенов: Мар[ия] Степ[ановна], усталая, словно и отпуска нет, и Лидия Ив[ановна] Бессонова, врач, очень глупая, очень неинтеллигентная, которую почему-то я не люблю. Вечером дома: майор Закатова, доктор, с которой говорим об ее сыне, юном невротике: как его воспитывать? А какое мне, собственно, дело до чужих детей и чужих жизней?

О войне говорят мало — это далеко, это будто не наше. Об атомной бомбе не говорят вообще. А я от ужаса атомной бомбы не могу очнуться[948]...

Япония согласилась на капитуляцию. Текст согласия достойный. Полный благородной скорби. Интересная страна.

11 августа, суббота

Завтракаю у Мар[ии] Ст[епановны]. Потом Острова, Татика, загорающая хорошенькая Валерка в салатном американском платье. Сверкающий день. Вечером Дора Владимировна Шапиро — воспоминания о маме, один сын убит, второй — киношник, женат на дочери Веры Инбер, литерное просперити. Устала.

12 августа, воскресенье

Острова. Обедаю у Тотвенов. Вечером слушаю с писателями неудачную пьесу Варвары Вольтман и Ливанова.

Жар. Хорошо сказал Карасев:

— Это пустяки, что немцы подкладывали мины под дворцы и заводы. Это все можно восстановить. Но они людей нам заминировали. Они заминировали человеческие отношения. Об этом писать надо...

Как же — напишешь!

Ночью едем по Невскому: Тамара, я, Громов, Уксусов, который не умеет спорить: орет, сердится, обижается, обижает. Кажутся они мне глупыми детьми, говорящими не в цель, а мимо.

О войне на Востоке не говорят.

15 августа, среда

Неожиданная Басова, которую не видела годы и годы. Обрадована ей и недоумеваю: никогда без цели не приходила. Немного постарела, носит очки, плохо одета, от парижского шика ни следа. Старший оперуполномоченный НКВД в Москве, член партии. Фантастическая женщина, холодная и жесткая, но всегда приятная мне — в ограниченной дозе: воспоминаний много, остроумна, бессчастная. Какое у меня, оказывается, пышное знакомство!

Обедают Анта и Ахматова. Все хорошо, пока не приходит Мстислав — «пленный фриц», пугающее чудовище, тоже бедное, потому что мыслящее, пусть криво...

Ахматова пугается и сразу же уходит. Я ложусь. Отвратительное самочувствие...

25 августа, суббота

Частые встречи с Ахматовой. Ежедневно Басова, уехавшая вчера в Москву. Совсем разболелась. Сегодня ночует у меня Анта. День смерти Гумилева.

Сентябрь, 2 — воскресенье

Сегодня в 2.30 говорил по радио Сталин — о конце войны, о мире во всем мире. И для всего мира, кажется. Говорил очень быстро, гораздо быстрее, чем обычно: видимо, и здесь — нервы... Наша победа над Японией неожиданно подана как русский реванш за русский 1904-й. Хасан и Халхин-Гол[949] показались почти театральным аксессуаром второстепенного значения, отсутствия которых на сцене зритель бы и не заметил.

Слушала, стоя в передней, впервые на ногах после болезни. Поздравила — рукопожатием — брата и Валерку. Потом брат ушел на службу, сказав:

— Нужна бы водка сегодня...

Водку Валерка привезла от Тотвенов. В полночь, когда брат вернулся, ужинали и пили за победу. Я могу пить за победу, потому что победа есть. А за мир пить не буду. Мир, правда, пришел в мир (как будто). Но в мире существует атомная бомба. И одно это существование, даже латентное, даже бездейственное, разрушает принцип мира в мире и для мира.

Американцы дважды сбросили атомную бомбу на Японию. Научный эксперимент на опытной площадке, так сказать.

Две маленькие бомбы — говорят, не больше 2 кило (это и ребенок может донести!). Бешеный столб пламени, перед которым меркнут Везувии. Море огня. Дым, разъедающий глаза отважным летчикам на высоте 13 тыс. метров. Трое суток с самолетов не было видно ничего. Потом оказалось: действительно ничего — пустыня, первозданность, пески, nihil[950].

А ведь что-то было до этого nihil — остров, от которого только рубчатость морского дна и гигантская многокилометровая воронка — порт Нагасаки или Симоносеки (а не все ли равно: может быть, Марсель, Плимут) с великолепными верфями, с заводами, с деловыми и неделовыми кварталами, с хризантемами и кимоно, с детишками в школах, с кораблями на рейде, с чертежными залами, с хлебопекарнями, с тысячами и тысячами людей, не самураев, а простых рабочих людей. Упала маленькая бомбочка — и все Геркуланумы померкли, наступил час Nihil. Металлы расплавились, камни измололись в порошок, человеки исчезли бесследно. На месте мирового порта легла ясная и чистая пустыня. Отважные летчики зафиксировали на пленку пустыню.

Мир пришел в мир **после** того, как упала атомная бомба. А если бы ее не было?

Сначала упали американские атомные бомбы. Потом вступила в войну на Дальнем Востоке наша армия — советская. Через сутки Япония капитулировала.

Я горда, я счастлива, что атомную бомбу сбросила не моя страна.

Мы в Китае, в Монголии, в Маньчжурии. Мы — на азиатской земле. Мы с обездоленным Востоком, который умеет умирать и которому мы привьем чувство радости и победы. Мы — на Востоке, который умеет умирать. Мы — на Востоке, который мы научим жить.

Европа, старая, умная Европа, неужели вы до сих пор не поняли, что мы мудрее вас и древнее вас. Америка, молодая, умная Америка, неужели вы не понимаете, что ваш ум и не стоит крупицы нашей мудрости и что ваша молодость дряхлее нашей древней и вечной юности.

Хорошо, что я не доживу до этого близкого и страшного поединка.

Ночь. Гудки маневрирующих паровозов. Молчаливое ночами радио, давно уже прекратившее безнадежность своего постового тиканья. Снарядов больше нет. Тревоги больше нет. Пролетающий изредка мирный самолет будит своим гудением бессознательное чувство опасности, которое мозг сразу же относит ко времени plusquamperfectum.

Война кончилась, дорогая.

Мир пришел в мир.

Вы, собственно, дождались тех событий, которые **заставили** вас выжить в зиму 1941—1942. Все в порядке. Может быть, вам уже следует убраться — и уступить кому-то место (впрочем, место ваше не займет никто: и человека такого не будет, и место ликвидируется за ненадобностью!).

Что же делать, дорогая?

Ведь вам-то ждать больше нечего. Ждали мира — мир пришел. Ждали брата — брат вернулся. Ждали освобождения Ленинграда от блокады — блокада уже полтора года как окончилась.

Вы жили надеждой и ожиданием. Ваши надежды исполнились, ваши надежды осуществились.

Вы больше не боитесь улиц. Снаряды больше не рвутся. Стекла не летят. Артобстрельная кровь больше не окрашивает асфальта.

Вы не ждете писем. Вы не безумствуете. Вы не сходите с ума от отчаяния и ужаса. Ваш брат, ваш ребенок, ваша кровь, — рядом с вами. Вот он спит в соседней комнате, усталый, замученный, злой, нереальный, совсем реальный, самый близкий.

Вы даже сомневаетесь в его любви к вам. И вы знаете, что ваша дружба не нужна ему. Вы только наблюдаете, весело и горько, как всегда, подчиняясь темному гению внутреннего видения и внутреннего знания.

Мы никому не нужны по-настоящему.

Нужность ваша определяется вашим материальным бытием в материальном мире, несущим с собою и в себе материальные выгоды сосуществования с вами.

Научились, однако, вы многому.

Вы научились молчать. Вы научились **не** читать. Вы научились думать своими мыслями.

Пока жив 86-летний д-р Тотвен, надо обменять болевой стрихнин на безболезненные и вечные сны морфия. Я боюсь жизни в таком мире, в котором существуют атомные бомбы — тихие и легкие пакетики, под силу восьмилетнему ребенку с синими глазами.

Я боюсь писать дневник.

Потому что я признаю свое поражение:

— Habet![951]

А на столе в столовой стоят дивные букеты осенних садовых цветов. Сегодня их мне принесли Знамеровские, мать и дочь, которых я шармирую неизвестно зачем. Но я зато знаю, почему они мне приносят цветы. Я направляю стихи молодой Знамеровской, через меня она сможет войти в печать и в литературу, через меня она и печататься будет раньше меня.

Все это я знаю.

И еще знаю: что всякое знание — суета и томление духа. И еще знаю — суета со временем начинает казаться забавным гротеском, а дух перестает томиться, переходя к стадии безоблачной, ясной и холодной констатации.

Мы, пожалуй, зашли дальше вас, ваше величество, царь Экклезиаст!

Отрада моя — частые встречи с Ахматовой.

Человек, с кем хочу и могу говорить, — Анта. Двадцать лет волнующей близости с нею. Двадцать лет нежнейшей дружбы, которую нельзя назвать дружбой. Двадцать лет молчания.

Она, кажется, простила мне то, что я не пришла к ней вторично в 1942 году, что я не протянула ей братской руки. Может быть, простила — она, не умеющая прощать, как и я.

Уход мамы ощущаю катастрофически. В особенности теперь, когда с восстановлением всеобщей нормы восстанавливается и мое привычное нездоровье, бывшее для меня нормой всю жизнь.

Часто и много лежу: странные температуры, странные слабости, сердцебиения, недомогания. Слежу за собой: явления как у мамы перед гибелью. Видимо, декомпенсация. Врачи-то об этом не скажут. У них другое, ласковое — субкомпенсация сердечной деятельности.

Ах, как жаль, что ты не богатый, не богатый, товарищ мой! Был бы богатый, водку пил бы, водку пил бы, товарищ мой! Был бы богатый, порошок бы нюхал, порошок бы нюхал, товарищ мой!

В Киеве — антисоветские настроения: печалуются об ушедших фрицах — торговля ведь была, частная, настоящая, доходная, идейная! Сволочи, во имя чего же погибли миллионы? Мориак пишет о Христе, о спасении: «Depuis qu'il a souffert et qu'il est mort, les hommes n'ont pas eté moins cruels, il n'y a pas eu moins de sang versé, mais les victimes out été recréées une seconde fois... même sans le savoir, même sans le vouloir»[952] — великолепно принудительное

спасение, от которого не спрячешься даже во грехе и преступлении! Идейно мы близки к этой потрясающей концепции.

В Эстонии и Латвии партизанят «недовольные», стреляют из-за угла. Нам, советским, в Эстонии жить нехорошо. Даже в Германии легче.

Из Дрездена, как говорят, «переводится» в СССР знаменитая пинакотека. Где же будет Сикстинская? В Ленинграде или Москве? В Дрезден ездила большая комиссия — Эрмитаж, Академия художеств.

В древние замки пышной Саксонии наша армия входила — и останавливалась, потрясенная: богатство, роскошь, портьеры, вазы, картины — музей!.. музей, черт его!.. Из древних замков Саксонии наша армия уходила, оставляя потрясенными стены: распоротые картины, битый фарфор, стащенные на черт его знает что занавески, хруст миниатюр на кости под разудалым сапогом, богемский хрусталь, наполненный зловонием испражнений, паркеты, лестницы, дворы, усыпанные разобранными страницами книг и драгоценными листами грамот, инкунабул, рескриптов (Знамеровской рассказывал офицер, вернувшийся оттуда, искусствовед, товарищ по факультету).

Говорю брату. Смеется:

— Так и надо! За кровь — кровь...

Инкунабула — не кровь. Не понимая, понимаю — всегда так, во всех войнах, во все времена. Солдат не прощает высшего. Он деловито поднимет зажигалку, возьмет полотенца на портянки, отложит пеструю олеографию для деревни и бережно сложит блестящие портьеры («мануфактура-то какая, дьяволы!..»). Но все то, что ему неизвестно и не нужно, все, что его отвращает этой известной ему ненужностью, во все века он считает враждебным себе, **господским**, блажным, вредным — и безжалостно и весело уничтожает.

Мир судит Квислингов[953] и Петэнов. Мир дал миру Квислингов и Петэнов. Что это такое? Откуда взялись эти страшные маски? Почему Франция управлялась маразматическим старцем, бездумно утопившим в гниющем водоеме мещанства и государственной измены свои верденские лавры всемирной славы и всемирного признания?

Почему в Греции все время кого-то убивают? Почему в мире все именно так, а не иначе? Почему судят преступников войны и не судят изобретателей атомной бомбы? Почему рядом с Герингом и Гессом не фигурирует имя достопочтенного clergyman'a Трумэна? Почему... почему...

Я пишу, как старый маньяк.

Мне не с кем говорить.

А на столе цветы, цветы — целый осенний сад. Но цветы почему-то кажутся мне не праздничными, а погребальными. Вспоминаю цветочные безумства в доме до войны и говорю громко-громко:

...и была для меня та тема
Как раздавленная хризантема
На полу, когда гроб несут...[954]

7 сентября — Reine[955]

Никто не поздравил — даже брат. Одна. Продолжаю болеть. Днем штопаю наволочки, сидя в зеленом кресле у окна. Одиночество весь день и весь вечер. Холодно. На столе астры, астры, целый сад увядающих цветов — богатая могила. Вечером читаю о да Винчи, о Буонарротти, о папе Юлии Ровере. Очень тихо и очень горько. Не хотела говорить брату, но говорю:

— Даже ты позабыл...

Смущается, растерян, молчит. Как он боится меня! И как вся любовь уничтожается страхом! Потом кратко беседуем: Винчи, политика, Греция, атомная бомба, японские дела. Вежливый разговор чужих людей.

Очень плохо чувствую себя. И радуюсь этому. Днем, когда стало особенно горько, позвонила к Ахматовой. Захотелось услышать голос, звучавший в те годы именно в этот день. Я всегда поздравляла себя ее стихами — и у нас с мамой всегда было безумное, пьяное, прекрасное стихотворное утреннее кофе.

Поговорила с нею. Стало легче. Maison des ombres[956].

А у Леонардо нашла чудесное, почувствовала человеческую гордость за него, счастье человека, живущего в век атомных бомб, за такого человека, который в XV веке мог сказать (он изобрел подводные лодки): «...но этого я не желаю обнародовать, считаясь со злой волей людей, которые использовали бы их для нападения из морских глубин на корабли, чтобы топить их вместе с их пассажирами и экипажем» (из статьи Антонио Фаваро)[957].

8 сентября

Читаю все время Евангелие и Мориака. Очень интересно. Нашла о себе: дано было рабу серебро, а он не умножил его[958]...

Ночь. Тяжелое самочувствие. Кашель. Отеки.

Хоть бы скорее, что ли...

Ночь на 10 сентября 1945

Нет, сюда не ходите. Не надо.
Это склеп. Но креста и лампады
Еще нет. И не видно венков.
Кто-то здесь похоронен — но кто же?
Ты ли, так на меня похожий,
Или ты, моя радость божья,
Или пепел купальских костров?
Я тут часто бываю. Все мимо
Прохожу. Все зайти недосуг.
Все считаю круги. Этот круг
По развалинам Ерусалима,
Но последний ли? Может быть, да.
Зеленеет в канаве вода.
С лопухом говорит лебеда.
От жилья никакого следа[959].

10 сентября

Удивительные вещи рассказывает полусумасшедшая старуха. Потрясающие вещи.

А я почему-то не удивлена и не поражена, хотя и стараюсь проявить предельное удивление.

Холодно. Далеко. Пусто. Очень далеко. Не то о другой планете. Не то о всегда неверной и странной жизни чужих стран. Не то о какой-то, о чьей-то прежней жизни.

Я, сегодняшняя, думаю о черте итога. О старой книге на полке. О пыльной рукописи, которую никому не прочесть: зеркальное письмо.

Вчера вечером у меня Ахматова и вместе с ней безумный майор Ярополк Семенов из Москвы, красивый, гвардейский, с орденами, похожий на опричника. Мастер спорта и литературовед. Смотрит на Ахматову «пронзительными» влюбленными глазами. Она отстраняется, смеется, ворожит — какая интересная женщина, какая тревожащая женщина! Что там какой-то год рождения, какая-то седина, словно нарочно. Любуюсь ею — а это чистая золотая монета, женское любование женщиной.

Майор поразительно читает отрывки из поэмы Марины Цветаевой «Крысолов». С такой читкой ему бы прямо на эстраду — если бы Цветаеву можно было читать... А начал поэму Ахматовой, и все очарование слетело. Вдруг оказалось, что он, несмотря на два вуза, неинтеллигентный и малокультурный человек. Поэма Ахматовой написана на петербургском языке и требует и петербургского акцента, и петербургской интонации.

А волжский говорок для Цветаевой хорош — она и о немецком Гаммельне пишет таким же вот говорком, и бюргеры ее говорят так же, и Греты ее подобны московским боярышням допетровской Руси.

Майор прожил в Ленинграде неделю — и всю неделю простоял перед Ахматовой на коленях[960].

Она отстраняется, смеется, морщится — но это мужское неистовое поклонение ей приятно. Très femme.

15 сентября, суббота

Выхожу. Пару дней жила у Тотвенов в старосветской обители, в маленьких интересах, в отдыхе, в домашности, среди чужих мне людей, которые меня любят активной заботливой любовью. И эта забота обо мне, материальная, внешняя, забота о том, что я съела, как спала, когда приняла лекарство, трогает меня, бездомную и безнадзорную, — трогает, умиляет и почти расстраивает.

Ведь обо мне никто не заботится — и так, по-семейному, никто обо мне не думает. Может быть, мне и не надо ездить к ним так часто. Умиляться мне не положено. А растроганность, безусловно, вредна.

Сегодня у меня обедала Ахматова. Читала свою великолепную легенду — какое-то преддверие к «Китежанке»[961]. В простой и величественно ясной церковной напевности ритма пророчества, пророчества — а писалось это в 1940-м.

Снова, как и всегда. Разговор о мемуарах, о воспоминаниях современников, всегда искажающих и деформирующих, по ее мнению. Боится воспоминаний о себе. Подсознательно почти крикнула на мое «Люди не любят благодеяний...»:

— И свидетелей тоже!..

Ей же ничего не прощают. Говорю ей об этом. Соглашается. Ей не прощают славы, знаменитого имени, внешности, тревожащей женственности, царственности обращения — не прощают поклонения, не прощают даже печальных трагедий ее жизни — неудачной жизни, в общем. Злословят,

клевещут, сплетничают, шушукаются — и сейчас уже, на глазах у нее, творят какие-то биографические легенды.

Одинокая она. Очень. И настороженная. Вот почему у нее бывает временами такой взгляд: быстрый, скошенный, недружелюбный. Это — от недоверия, от страха уколоться еще раз.

Провожаю ее к Гинзбург[962], на Канал. Мокро, лужи, свежий электрический вечер. Идем пешком. Говорим, кажется, немного, и о легком, о преходящем, но говорим хорошо.

Возвращаясь, слышу, как у колоннад Казанского женский голос кричит из темноты о помощи. Люди останавливаются, смотрят в темноту, стоят. Потом на остановке трамвая какой-то подвыпивший демобилизованный объяснил:

— Гражданочку одну насиловать начали... Нет, не кончили, помешали... Сумочку только захватили.

Я посмотрела на часы: было ровно десять вечера.

16 сентября, воскресенье

Днем у старухи Сушаль: дарит мне имбирь (замечательный, американский!), который ей не нужен. Я тоже не знаю, что с ним делать, и дарю его Мар[ии] Степ[ановне] и Тотвенам.

Обедаю у Мар[ии] Степ[ановны]. Ночую у Тотвенов.

Завтра принимаю ванну.

Прокурор санкционировал изъятие от нас одной комнаты: бывшей моей, которую ненавижу.

Какие приятные перспективы! Начинаю борьбу.

20 сентября, четверг

Около полуночи меня принимает Телепнев, председатель исполкома Смольнинского района. Высокий, некрасивый, в гимнастерке. Чудесные золотые волосы, как у Есенина.

Буквально:

— Право на комнату у вас есть, закон на вашей стороне...

Я оживляюсь

— ...но комнаты я вам не дам!

И короткая лекция: жилищный кризис, демобилизация и прочее. Аргументы:

— ...даже Эттли говорит о трудностях с жилплощадью, и у них так же.

Не спорю, но Эттли для меня не авторитет.

В исполкоме все очень вежливы. Секретарша Телепнева, пожилая, милая, седая Свешникова, очень приятна. Это — первое учреждение, где на меня не орали.

26 сентября. Среда

День Эдика. В гостях только Анна Андреевна: он же никого не хочет, никого не любит — а ее вот любит и не боится, не стесняется. Как-то сказал:

— Это мама нам ее подарила.

Ее отношение к Эд[ику] трогательное: она внимательна к нему, ласкова. Жалеет. Чувствует, конечно, обреченность.

13 октября

Дело с комнатой проигрываю: у меня нет блатов, и я не знаю, кому и как дать взятку. Будет жить рекомендованная мне почтенная еврейская пара, за которой «стоит» сам начальник 8-го отд[еления] милиции Черепанов. А у Черепанова дочка, а в дочку влюблен начальник райжилотдела Корочкин.

Ситуация для меня недостижимая.

На днях открытка от Николеньки — из Германии. Видимо, Берлин and so on[963]. Очень обрадовалась, ответила очень наивными, какими-то «прошлыми» словами. Отослав ответ, удивилась сама себе — и растрогалась.

16 ноября

Чудесные — как когда-то — письма от Ник. Фото. Валерка, самая передовая из нас в этом отношении, разбирает звание: подполковник. Очень интересные строки о Германии — интереснее и острее, чем все, что печатается. У него несомненные «лит. данные».

Прошлый раз написала ему: «Погляди на германское небо и прокляни его — за разрушенный дом мой, за твоего изувеченного сына, за то, что раньше времени я пойду к концу, как и ты».

Благодарит за эти слова. Они показались ему настоящими и сильными. И дальше: «Но проклясть не могу. Это можно только издали или в бою (если есть время). Мы скоро забываем — и в забывчивости виноваты детские глаза, улыбающиеся и задорные, слезы старух под крепом, венки, венки, бесконечной чередой проносимые по улицам, тишина золотой осени...»

Ночью пишу нелепое, какое-то растерзанное письмо, потом овладеваю собой и кончаю так:

«Сегодня был мокрый скользкий день при нуле. А вчера над городом стояло такое великолепное солнечное небо, была такая стеклянная мглистая весна, что с Невы не хотелось возвращаться. Я долго не могла расстаться с набережными, с Биржей, с божественными контурами кромчатого льда на зеленой реке. Вчера была космически-ликующим человеком (а это бывает теперь со мной очень редко). А потом это состояние непоправимо нарушилось, и я не сразу поняла — почему. Перед Биржей стояла целая батарея мощных зениток, не замеченных мною сначала. И я вспомнила, что мне нельзя забывать ни на мгновение — ни о чем. Я ведь ленинградка. Я не уезжала из осажденного города. Я пережила все. И недостойным и кощунственным было бы забыть. Отомстить можно за все города Союза, но не за Ленинград. Он — неоплатен. И он не требует мести. Он требует только памяти.

Нет, у нас не было крепа, и мы не плакали под крепом: нам было некогда, на нас еще до сих пор глядит “...тот самый

До сих пор не оплаканный час”[964].

Нет, мы не носили венков. У нас не было венков, не было цветов. Да нам и некуда было бы нести венки: мы не знали и не знаем, где похоронены наши близкие. Я была бы счастлива знать, где могила моей матери. Я была бы счастлива принести с этой могилы горсть песка и щебня. Привези мне такую горсть берлинского щебня — чтобы никогда не угасала моя память о безмерном страдании Ленинграда, чтобы я всегда осознаваемо чувствовала, что моя армия платила за меня, выжившую, и заплатила за мою мать, недожившую».

1946 год

ЛЕНИНГРАД

Comfort me with stars, not apples[965].
T. Inglis Moore (Australia)

Ночь на 2 янв[аря] 1946

Новый год встречают у меня Ахматова и Левушка Гумилев[966]. Уходят рано. Эдуард говорит о нем: «Double couronne de l'Egypte»[967]. Я думаю о стихах, которые я читала **всегда** под Новый год.

Март

Просмотрела свою записную книжку. Будто бы ничего. Глупые записи, о которых уже забывается. Деньги. Деньги. Полунищета. Особторги. Книги. Счета. Молчания с братом. Молчание д-ра Р[ейтца], новая встреча с которым показалась новым этапом Light on the Path[968]. Он — камень, по которому стекает Время.

А следов как будто и нет.

Май 1946

В День Победы на пьяном банкете в Союзе писателей, пьяный Прокофьев сказал пышную плакатную речь, которую, по обыкновению, никто не слушал. Многие его брезгливо осудили за то, что он выразился: «Работать, товарищи, обещаем так, чтобы штаны в ходу трещали». Фи!

А если бы он процитировал Маяковского дословно, никакого «фи» не могло бы быть.

«А надо рваться в завтра, вперед,
Чтобы брюки трещали в шагу»[969].

Один может, другой нет. Даже сегодня.

Ночь на 28 июня, на пятницу

Возвращаюсь белой ночью из Фонтанного дома. Тепло. Пустынно. Останавливаюсь на улицах, читаю газеты на стенах и объявления. Слушаю: кричат кошки — ленинградские, обыкновенные. Вижу: кошка в подвальном

оконце — ленинградская, обыкновенная. Значит: мир. Значит: жизнь. Значит: все по-старому.

У Ахматовой правлю ее рукопись «Нечета»[970]. Запятые.

Никого не люблю. Неуютно без любви.

Чувствую себя очень плохо. Не то ТБС, не то сердце. Разные врачи о разном.

А мне бы одно: знать конец.

Четверговые встречи с д-ром Р[ейтцем]. Ступеньки к Памирам, в которые больше не веришь.

Как я цепляюсь за него. Соломинка?

Июль—август

Четверги: д-р Р[ейтц]. Часто Ахматова. Считает ее последней от матриархата (не ее выбирают, а она). Может быть. Я-то в этом не уверена. Женская ее жизнь несчастливая, мужчина от нее всегда уходит. Не потому ли, что истоки у самых древних истоков, когда

На белом камне черный знак,
Под белым камнем скорпионы...

В ней, конечно, двуполость андрогина. Дерзка, себялюбива, игра в добрую королеву, развращена, перестала жить собственной жизнью, ибо живет только биографически, с учетом жеста и слова «на будущее».

Странная слава. Всегда думаю о странности этой славы в наши дни. Пьяный Лева часто говорит:

— Мама, тебя опять напечатали... какие идиоты!

Рядом с нею патологическая порнография климактерической Раневской, с которой как-то (после водки) шляюсь ночью по городу после дождя. Рядом с нею «странная» коммунистка Ольга Берггольц, умная, живая, интересная, влюбленная в своего мужа (матадор) и идущая по граням философии чужого мира и российской похабщины. Рядом с нею официальные лесбиянки с Троицкой, Беньяш и Слепян с роскошной квартирой и туманными заработками[971]. И коленопреклонения критики и читателей. И фимиам, и миро, и ладан, и обожествления — и все плывет в каком-то тумане («туманце»[972]), от которого действительно пахнет великолепной усыпальницей.

С диалектической точки зрения явление сугубо непонятное.

7 августа

Два вечера памяти Блока — Институт литературы и Горьковский театр. Ахматову водят, как Иверскую, — буквально. Говорит: «Что это они так со

мной? Даже страшно...» Болеет, сердечные припадки, но водку пьет, как гусар.

Вечера ужасны по организационной бездарности. Скука смертная. Никого из Москвы, никого от братских республик. Словно Блок — областной поэт. Вс. Рождественский читает не к месту притянутые «мемуары о небывшем». Выходит, что, когда от Блока отвернулась интеллигенция (какая?), он смог опереться только на это молодое Всеволодово плечо. Бестактное выступление. Блок у него говорит много и пространно. Беньяш:

— Он все перепутал. Это его жена говорила, а он вообразил, что Блок.

Ахматову встречают такой овационной бурей, что я поворачиваюсь спиной к сцене с президиумом и смотрю на освещенный (ибо не спектакль, а заседание) зал. Главным образом мужская молодежь — встают, хлопают, неистовствуют, ревут, как когда-то на Шаляпине[973]. Слава одуряющая — и странная, странная...

Брат о ней говорит второй год:

— Усыпальница, в которой венки, кресла, салфеточки, фотографии. Все истлело, а она поет об истлевшем. И сама — истлевшая.

Не любит ее. Не выходит...

Ночь на 22 сентября 1946

Пьем у Ахматовой — Ольга, матадор, я. Неожиданно полтора литра водки. По радио и в газете — сокращенная стенограмма выступления Жданова[974]. Она не знает: скрыли еще раз. Ольга хмельная, прелестная, бесстыдная, все время поет, целует руки развенчанной. Но царица, лишенная трона, все-таки царица — держится прекрасно и, пожалуй, тоже бесстыдно: «На мне ничего не отражается». Сопоставляет: 1922—1924 — и теперь. Все то же. Старается быть **над** временем. В Европе это удастся. Здесь — вряд ли.

Ольга декламирует, как девиз, слова неизвестного поэта:

И не плачь ты от страха, как маленький,
Ты не ранен, ты только убит.
Я на память сниму твои валенки,
Мне еще воевать предстоит[975].

Пьем все много, интересно беседуем, Ольга с мужем разговаривают почти матом, словно иначе не могут. Истерические похабничающие жрецы у ног бывшего бога.

Ахматова задерживает меня до 4-х утра, пьяная, одинокая женщина. Еще раз: двуполость. Я делаю вид, что близорука во всем. Брезгливо мне, любопытно и странно. Обнажает свои груди, вздыхает, целует меня в губы острыми жалящими губами — так, видно, когда-то целовала любовников. Тороплюсь уйти. Что же мне с нею делать, в конце концов?!

Черные, пустые улицы. Дома все спят.

Боже мой, сколько лжи.

13 октября 1946, воскресенье

Несколько тихих вечеров у стариков — пасьянсы, Татика читает об Австралии, маразматический милый Диндя философствует: «Жизнь — это школа фокусов... мне еще папочка говорил, что немцам верить нельзя, поучиться у них кое-чему можно, а верить нельзя...» Продают. Закладывают. Доходов никаких. Я тоже продаю. Закладываю. Денег нигде не платят. Я в долгах, в безденежье, боюсь, [это] становится моим естественным состоянием.

Именины Эдика — приезжаю от стариков поздно, в гриппе, наталкиваюсь на хозяйственные беспорядки. Сержусь, готовлю, топлю печки, занимаюсь кормлением до 8 часов. Весь дом — на мне. Брат в этом году дал в январе 50 руб. и в мае 200. Как я буду жить дальше, известно только греческим богам!

Падал снег. Утром и улицы и крыши — белые. На Невском вихри из мертвых листьев и окурков. Очереди в особторгах за сахаром и крупами. Белый хлеб по карточкам больше не выдают. Батоны в особторге с обязательным «приложением» — кусок масла, сыра, семги. Самые дешевые, препаршивые конфеты — 70 руб. кг. На рынке: картофель — 7—8, капуста — 7, молоко — 14, масло — 170, лук — 25—27.

Букинисты прекратили покупку книг. Жаль. Книги — мои хорошие друзья. Всегда выручали.

У Ахматовой были фурункулы на голове. Теперь карбункул в носу. Вернулся из экспедиции Левушка; отношения между матерью и сыном тяжелые и странные. Завтра веду к ней хорошего врача.

Киса считает своим мужем заслуженного мастера спорта Вл. Конст. Романова, славного, когда-то интересного («офицерское лицо!») малоинтеллигентного человека.

Была как-то в Доме ветеранов сцены у Орленевых («les petite veuves»[976]). Было холодно, солнечно, привезла оттуда великолепный букет осенних ветвей и жестокую простуду. В Доме тихо. Нарядная мебель в гостиных и пе-

реходах, пустыня, все старички сидят по своим норкам, за окнами просторы, речная гладь, осень, осень, безотрадность. А на каждой двери табличка: такой-то, такая-то. И — пусто. И — осень. И — все таблички одинаковы. Словно большое, тихое, красивое кладбище. А за дверями — покойники. Только еще не похороненные.

Кстати. Прав д-р Р[ейтц], сказавший на днях:

— Любопытство — ваша единственная связь с жизнью.

Я была почти ошеломлена. Я очень люблю точные формулировки. Собственно говоря, мою жизнь, может быть, и следует назвать удачной: любопытного в ней было **очень много**.

Обнажение ствола (а какой он — не знаю) продолжается. Кажется, и снимать уж больше нечего, а вот, оказывается, находится разное из time past[977].

Сегодня пересматривала и перечитывала прерафаэлитов и удивлялась: как я могла их любить 20—25 лет тому назад! Почему меня волновал дурной, в сущности, рисунок Габриэля Россетти? Почему я усматривала и находила что-то «особое» в Holman Hunt и в Берн-Джонсе? Рескиниада[978].

Отложила книги без сожаления: продать.

Так вот, легко и свободно. Откладываю многое в сторону: театр — писателей — поэтов — художников — философов — музыкантов.

Умирать будет не трудно, видимо.

Нужно, чтобы в лодке сидел совершенно голый человек и радовался бы тому, что терять абсолютно нечего.

Редкие и дурные встречи с Антой. А с нею с одной хочется поговорить вкусно.

На днях — жена Уинкотта, неизвестно зачем: ему дали 10 лет, измена родине и агитация, лагеря в Рыбинске[979]. Здесь сидел в одной камере с Юрой Загариным[980]. Глупая, наивная женщина. Жаль ее. Любовь ее к мужу так беспредельно глубока и прекрасна, что даже хочется уважать ее. Вечная вера вызывает у меня чувство теоретического уважения.

15 октября, вторник

Ослепительный осенний день, налитый до краев небом и солнцем. Прихожу к Ахматовой с чудесным доктором Пигулевским. Она лежит важная и «страшно слабая». Он искренне удивляется:

— Как?.. от фурункула в носу вы в постели?

Вопрос ей не нравится. Она ссылается на сердце.

Оказывается, фурункулез кончился. Доктор мил, прост, прописывает что-то, просит сделать анализ крови. После его ухода она бунтует: «Никаких анализов, вздор!»

16 октября

Анта — плоха, совсем слабая. Прекрасное начало беседы с нею, сорванное безнадежно внезапным появлением гостя из Москвы. Принимаю в холодной, неубранной столовой, злая от неожиданности. Просит чаю. А дома ни хлеба, ни сахара, ни еды вообще, потому что обед еще и не готовился. Валерка идет за хлебом, просит денег — но как!..

— У меня не хватает выкупить, у вас есть деньги?

Говорю небрежно:

— Возьми у меня в сумочке.

— А разве у вас есть?

— Я же говорю, возьми.

Уходит, возвращается:

— Там у вас 5 рублей, ведь это последние?..

Картина. Я стервенею. Гость улыбается розовыми улыбками, слушает, делает вид, что не замечает. Мне хочется убить гостя и избить Валерку.

Курю душистые американские сигареты.

Гость — после чая все-таки! — уходит. От знания завтрашнего дня у меня дрожат руки. Беседа с Антой сорвана. Читаю ей выборки из этого дневника. Считает, что мой дневник — чудовище, злое, беспощадное, холодное, безлюбое.

— Вы никого и ничего не любите. Какое у вас ужасное зрение: только на дурное.

Только на дурное. Может быть, вы и правы, Анта. Черт разбил зеркало. Осколок попал в глаз Кая. Его спасла Герда — любовь[981]. Но: спасение ли это? А у меня таких Герд не бывает. Кончено. Мои Герды сами бьют зеркала — и еще какие зеркала!

18 октября, пятница

Вчера — страшный день: спутанный, набитый людьми, сумасшедший. Я нервничаю, злюсь. Не ощущаю даже полноценной тишины и радости от утреннего завтрака с д-ром Р[ейтцем]. Он уже — призрак. Дымный. Невесомый. Уже «там». Потом — Орленева, Вольтман. Потом — неожиданная Ахматова, нарядная, веселая, первый визит после болезни. А у меня одно: часы,

часы. Выдумываю дело, спроваживаю театральных дам, увожу Ахматову. Решает меня провожать, кружу, еще выдумываю. Потом покупаю разные вещи в особторге, бегу домой, опять нервничаю, злюсь, стряпаю, перетираю хрусталь.

«Вы лошадь, лошадь, — говорю себе. — Вы на ипподроме, ровнее, ровнее, без сбоя, на вас смотрит Европа».

Потом интересные разговоры. Потом — безобразие, гадость, стиснутые зубы, гнев. Потом — усталость от борьбы, от презрения, от гнева. Сердце сходит с ума. Лихорадка бьет, как в малярии.

— Ах, удрать бы к чертям в Полинезию[982], — декламирую, лежа. — Но до этого дать в морду!

Впрочем, лучше бы написать водевильчик!

А поздно вечером — и тоже неожиданно — Борис. Биение в солнечном сплетении. Смотрю на него, знаю то же, что и он: 15 лет игры в жмурки, веера, ширмочки, avances reculées[983], срывы, провалы — другие люди — другие женщины. А биение в солнечное сплетение не прекращается — быстрое, тревожное, угрожающее. Совсем как радио во время обстрелов...

Боюсь. Не надо. Жизнь у меня и так сложная. Сложная, светлая, холодная, ледяная — свет лабораторий и анатомического театра.

А это — как густое темное вино, как теплый темный мех, как синкопическая музыка в затемненной комнате, как шепот, когда голос потухает все больше и больше...

Тяжелая ночь. Люминал.

Сегодня — совершенная физическая разбитость.

26 октября, суббота

Предлагают прекрасное масло по 150. У меня нет денег. У меня все лето не было денег, были только долги — денег нет и теперь, а долги растут. Очень приятно.

Замечательная прогулка с Ахматовой. Летний, Марсово — такой необыкновенный закат — на крови — с гигантским веером розовых облачных стрел в полнеба. Говорит о себе:

— Зачем они так поступили? Ведь получился обратный результат — жалеют, сочувствуют, лежат в обмороке от отчаяния, читают, читают даже те, кто никогда не читал. Зачем было делать из меня мученицу? Надо было сделать из меня стерву, сволочь — подарить дачу, машину, засыпать всеми возможными пайками и тайно запретить меня печатать! Никто бы этого не

знал — и меня бы сразу все возненавидели за материальное благополучие. А человеку прощают все, только не такое благополучие. Стали бы говорить: «Вот видите, ничего не пишет, исписалась, кончилась! Катается, жрет, зажралась — какой же это поэт! Просто обласканная бабенка. Вот и все!» И я была бы убита и похоронена — и навек. Понимаете, на веки веков, аминь![984]

Обедаем у меня, пьем водку.

Интересный день.

О ней действительно очень много говорят. Разносятся слухи — паралич, сошла с ума, отравилась, бросилась в пропасть на Кавказе. Все ловит, собирает, пересказывает, улыбается — и: торжествует.

— Подумайте, какая слава! Даже ЦК обо мне пишет и отлучает от лика. Ах, скандальная старуха?..

27 октября, воскресенье

Обедают у меня Анта и Ахматова. Опять водка. Мне скучно и раздраженно. Ахм[атову] в больших дозах иногда не выношу совершенно. Лицемерка, умная, недобрая и поглощенная только и единственно собою.

Анта шутит, но ей, кажется, даже дышать уже трудно.

— Не выживу, — говорит просто, — на будущий год, в это время, вспомните обо мне. Меня уже не будет.

31 октября, четверг

Д-р Р[ейтц] заболел — сердце. Мне самой нынче плохо, долго лежу, потом еду в Апраксин, сдаю в починку обувь по ордеру (милая Мар[ия] Степ[ановна] все заботится обо мне!). Около 5-ти приходит Ахматова. И снова — водка, водка, вино. Сорит деньгами. Очень любит пить. Теперь в особенности. Мне кажется, пила бы ежедневно — и много, и быстро, и жадно.

Ноябрь, 3

Два дня у Тотвенов. Очень тихо. Штопаю, читаю допотопные вещи, кладу пасьянсы, хорошо сплю.

Никто не понимает, что такая пристань — тишайшая из самых тихих — мне очень нужна.

Я ведь очень устала. И я совсем одна — навеки.

2-го вечером читаю Молитвослов. Какие есть красивые молитвы. Надо бы переписать.

7 декабря 1946

Шатаюсь по каким-то людям — словно друзья? Сдельных работ нет. Продажи. Ломбарды. Запоздавшие тысячи за Труэта.

Очень часто — Ахматова. С нею — трудно.

Сегодня слякоть, ростепель, Петербург. Смотрю с Татикой и Женей Пузыревой фильм о Нюрнбергском суде[985]: очень страшно, очень — но логически незавершенно. Запоминаются измученные лица Кейтеля и Йодля — лица предельного человеческого страдания. Демонстрация отрывков из фашистских фильмов не доказывает необходимости такого страдания — и поэтому: фильм сделан политически плохо. Нюрнберг — казнь, а не убийство. А зритель — середнячок! — уходит ошарашенный и политически сбитый с толку: вот еще одно убийство! В серии избиений, трупов и Майданеков трупы казненных кажутся продолжением серии, а не следствием ее. Фильм не дает закономерности хода событий — от факельцуга до виселицы. Это — неудачная работа Кармена. Почти вредная.

Иду на именины к Кисе. Она вышла замуж за В.К. Романова. Отец ее всегда кичился древностью рода Палтовых и говорил, что она сделала бы честь роду Романовых, выйдя за кого-нибудь из великих князей. Этот Романов — крестник Константиновича. Отец его был не то егерем, не то лакеем в Павловске.

14 декабря, суббота

Надо бы сделать конец к «Золотой Книге» — такой конец, какой мог быть в настоящем.

Мягкий снег на улицах. Мороз. Вечер. Зажженные фонари. Та же комната (и не та). Та же лестница. Те же ворота. Тот же час (и не тот). И равнодушный тупой голос:

— Умер, умер. Как же! умер...

А ведь здесь когда-то, у Вашего порога, билось человеческой любовью человеческое сердце. А ведь здесь когда-то по этой лестнице шла к Вам ослепительная нежность, о которой Вы, может быть, и знали, но на которую не взглянули ни разу. А ведь здесь когда-то звучали голоса, которые всегда говорили не о том. И долгие годы жизни, блистательной и страшной, проходили и вдоль и мимо.

Простите, призрак.

Я не смогу и подумать о Вас и оплакать Вас.

Простите меня, Призрак.

Конец «Золотой Книги» пришел. Очень легко. Очень просто. Ибо душа не вмещает больше скорби — и веселится.

21 декабря, пятница

Ахматова думает, вероятно, что я — лесбиянка. И идет ко мне, пьяная, тревожными путями андрогина, не уверенного в своей дороге. А мне и странно, и смешно, и отвратно. Я не лесбиянка, дорогая. Я просто знала слишком прекрасную мужскую любовь и осталась коронованной и любовью и поклонением. Я целомудренно отношусь к страсти. Я от любовника требую очень многого. Я люблю кактусовое цветение чувственности. Я — криптограмма. Вот именно поэтому я и одна.

Веселый вечер в остроумии и хорошем зубоскальстве: Ахматова и Исидор Шток[986]. Много вина. А настроение у меня такое, что хоть в нюрнбергскую петлю!

«...и прах был тайно развеян по ветру»[987].

Европейское средневековье не кончилось.

Шток остроумный, неглупый, из семьи венских музыкантов. Распутный, холодный, пересыщенный дешевками (говоря о другом, сказал собственно о себе: «Я ведь умею считать только до ста! Я понимаю: сто. А вот Сикстинская, говорят, стоит 800 миллионов — но этого я уже не понимаю! А линкор, может быть, стоит 2 миллиарда. И этого я тоже не понимаю»). Он тоже ушиблен войной — и унижен страшно: вспоминает — и все время смеется. Непрерывно смеется, словно рассказывая что-то очень забавное и чуть непристойное.

— ...штрафные! Разведчики! Ну и публика! (Смеется.)

— ...Мурманск тогда по приказу Верховного Командования должны были сдать ... (Смеется.)

— ...спасла «бригада» из уголовных и штрафных из Соловков (смеется)... их была тысяча... а вернулось пятьдесят человек (смеется).

Говорит о своих товарищах по подводному флоту, называет имена, рассказывает анекдоты — очень интересно, очень живо и увлекательно. И — вдруг:

— ...а когда я снова приехал в Мурманск, я их всех увидел (смеется)... Только они стали бюстами... бронзовыми бюстами... (Смех переходит в хохот.)

Почему это я все встречаю каких-то страшненьких людей? Все маски, маски. Никому не хочется подать руку. Работаешь и живешь, как в помой-

ке. Маяковский хоть ассенизатором был[988] — кричал, задыхаясь от вони, что это вонь, а не что-нибудь другое. А я все коплю, все молчу, окостеневаю.

Перечитываю «Весы» 1907—1908[989]. И — кусками — Розанова. Удивительный писатель — тоже страшненький, от которого главным образом тошнит, но который все-таки и волнует, и говорит что-то, и дает в руки (хоть крупиночки). Интереснейший.

«Хорошее — и у чужого хорошо. Худое — и у своего ребенка худо».

«Человек искренен в пороке и неискренен в добродетели».

«В счастье человек — язычник».

«Чувство Родины должно быть великим горячим молчанием». (Прекрасно.)

«Мы не зажжем инквизиции. Зато тюремное ведомство — целое министерство»[990].

Но какой мракобес! И истерик притом.

22 декабря 1946

Именины мамы. Пьем водку с Женей Б. Она ночует.

Эпиграф к жизни: «Значит, нам туды дорога...»

24 декабря

Сочельник у Тотвенов — совершенно пусто и чуждо, все — чужое. Дура Бессонова; потом голодная и жеманная Ананьина. Елки нет. Ничего нет. Эдуард опять меняет работу — и опять будет работать в проклятой Мечниковской. С ним предельно тяжелые отношения — молчание главным образом. Совершенно чужой.

Я живу в чужом мире и среди чужих.

Остаюсь ночевать у Тотвенов.

Когда все ушли, оказалось, что опресноки упали на пол, по ним ходили, растаскали по комнате.

25 декабря, среда

У Анты до вечера. Она очень плоха. Вот человек, которого я знаю давно, люблю, кажется, и жизнь которого для меня совершенно темна. И сам человек темен.

Впрочем, это, вероятно, всегда так.

У нее сидит баба, б[ывшая] домработница. Была в оккупации — сначала Шапки[991] («у офицеров работала по хозяйству — которые сознательные;

очень хорошо платили и даже все извинялись, а которые несознательные — ну, те, вроде как у нас, все по таксе норовили!»), а потом — вся Европа. Работала в деревне, у богатой крестьянки.

— Они не богатые, — поправляет меня, — они — середняки по-ихнему. У них только 20 коров и было.

Хозяйка была к ней добра. С хозяйкиной дочкой дружила, та ей платья свои давала носить, в кино в город ходили, на танцульки.

— Может, где и были немцы — звери, а мы таких не встречали. Жили прямо как никогда. И сыты были — завсегда... Теперь и во сне не увидишь!

Потом ее, и мужа, и ребенка освободители, англичане и американцы, возили по Европе.

— Мы все повидали — и Бельгию, и Голландию, и Францию. Богатый народ. Чисто живут. И еды много.

В английских лагерях русским освобожденным было неважно: «Кормили-то хорошо, да не полюбились мы им что-то. Все, бывало, кричат: “Рэд, рэд!” И штыки показывали — не разговаривай, мол, не подходи!» У американцев же лагеря были, по ее мнению, райские: «Наилучший народ — американцы. Вежливые, ребят любят прямо до конца. Как увидят моего, все по плитке шоколада суют. Одели нас — ну, одним словом, задаривали. А как я детная, так и меня и на сто шагов пешком не пускают. Все в машинах каталась. Комендант, скажем, прямо за углом — нет, пожалуйте в машину! А уж кормежка...»

Ей сейчас худо — с мужем разошлась, у ребенка карточки нет, жилья вообще нет, голодает. В Шапках на экскаваторе работала, на страшной физической работе по 12—14 часов в сутки. Жили в землянках. Оборванная, злая, голодная. Ей 30 лет, а дашь все 50.

— Ну а как на родину привезли, тут нас и встретили! Пять суток под дождем в поле сидели. Еле какую-то баланду по мисочке в день дадут — все ругают советские, все ругают — подлые, говорят, шпионы, предатели, зря, говорят, мы вас освобождали. И на допросы все...

Вздыхает.

— Да, уж пожили! Так, видно, больше не жить.

На мой вопрос отвечает охотно и деловито:

— Конечно, к хозяйке своей, к немке, вернулась бы. Работа легкая. Харчи царские, да так бы век весь и отжила. Мы с ней и прощались, так плакали все — ну, родная, и все!

А недавно я видела другую женщину (у кукушек с Мар[ией] Степ[ановной]) — тоже была в лагерях, в немецких, от Красного Села до Берлина. Замученная, простая, тихая.

Передние зубы выбиты. Нос переломан.

— У нас еще было хорошо, били мало. А у других...

Немцы ставили женщин на скоростной ремонт путей, разрушенных бомбардировками.

— Ленинград очень бил по Красному, — говорит, словно жалуясь, — обстрел еще не кончен, а нас уже гонят... Если бы не мои девочки, старшенькая в особенности (а с нею были две дочки — в 1941-м: 5 лет и 3 года), все бы мы пропали: а она то ягод соберет, то грибков, то милостыньку попросит, то сворует от немцев что — ну, и жили.

Под Красным немцы заставляли женщин рыть новые могилы, разрывать старые — перезахоронять.

— Я теперь ничего не боюсь... покойников перевидала разных, привыкла к ним потом. Папаша мой помер в плену в начале 1942-го. Так я потом, в 43-м, сама его перезахоронила. Думаю: что же это все чужих хороню! Как же это я об своем позаботиться не могу. Хорошую могилку сделала. А его сама вырыла, сама вытащила, гроб тут знакомый лагерник сделал. Брусникой расплачивалась и грибами.

А потом была на окраине Берлина. И падение Берлина было при ней. Рассказывать не умеет.

— Страшно было. Как заведут пальбу, — все трясется. Даже земля под ногами так и ходит. И дома ходят. Бомбы летят, снаряды, а мы все рельсы кладем, пути чиним. А девочки дома, в лагере. Идешь домой и не знаешь — живы ли, цели ли дома? Опять старшенькая помогала. То с огородов что притащит, то немки карточку подарят. Только от ее рук и выжили. Иначе бы все с голоду передохли.

Освобождение помнит как-то тускло:

— Ну, пришли советские, сказали, что дела у них и без нас много, вперед еще надо идти. «Добирайтесь до родины как знаете». Мы и пошли, несколько семейств. Тележки ручные у немцев очень хорошие, мы реквизировали (sic!) и пошли. В Польше шли, так нам очень хорошо было, всего доставали. У меня калош было набрано страшно много, а в Польше на калоши все давали — хоть масло, хоть молоко, хоть что лучше. А тут вот и муж, оказалось, выжил в Ленинграде. Только нас уж похоронил.

Питекантропический урод из Промкомбината важно тянет:

— Конечно, сперва беспокоился, а потом вполне осознал: категорически невозможно, чтоб уцелели под фашистским зверем. Так что и не ждал отнюдь.

26 декабря, четверг

После долгого перерыва — Всев. Рождественский. Предлагает работу на радио. Мне опять пусто, весело, смешно. Арабская девушка под звездами или Франческа Бертини. Говорит, мямля, как всегда:

— Передайте Анне Андреевне, что я по-прежнему у ее ног. Только бы она не смешивала меня с другими. Иначе я не смею. Она ведь все понимает, она поймет и это.

Серпант, а не человек? Все меняет шкуры, все меняет.

Мой великолепный горностай покупает за 3 тыс. (а стоит он не меньшее 5—6) вторая жена композитора Дзержинского, хорошенькая, злая, бесстыдная разбойница. Ну, к черту — и горностай, и ее.

«Значит, нам туды дорога...»

30 декабря 1946

В черновой тетрадке со старыми стихами и переводами нашла желтенький листок[992]. Постаревший что-то слишком быстро. Запись от 24.IV.1939:

«Опять: тоска о мировой революции. Тоска о том, что в Париже еще не организована Всефранцузская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией, что перед нею еще не проходят толпы банкиров, выхоленных женщин, монахов, министров и сутенеров, что нет еще кровавых приговоров в этой благословенной стране, что ее пролетарии еще не стоят у власти. Тоска о том, что я, знающая больше, чем другие, еще не могу работать и днем и ночью в древних тюрьмах Франции, разговаривая с вереницами людей и очищая мир, против фамилии ставя крестики "налево". Может быть, в моей жизни этот великий час и не пробьет. Но сегодня я так жду его, как ни одна влюбленная женщина не ждет своего любовника.

Мир очищается в крови и кровью.

Я готова на все».

В декабре 1946 года первое за два года письмо от Т. Гнедич. Жива. Перевела байроновского «Дон Жуана»[993]. «Пан Корчак, милый друг...»

Святые часы Тригорского. Вечные.

1947 год

ЛЕНИНГРАД

1 января, среда

Перевожу польских поэтов[994] — холодно: не нравятся. Весь день дома и одна. Встречаю год с Ахматовой и Левушкой — очень мало еды и множество вина. Начали «встречать» с 5 часов у Ахматовой и кончили у меня. Левка — совершенно пьяный. Она, торопясь:

— Мне же пьяного мужика домой вести надо.

3 января. пятница

Уйма людей. Неожиданное из забытого прошлого: Василий Семенович Басков[995], преданный ученик Эрмита, который видел меня в 1926 или 27-м и почему-то запомнил. А я забыла начисто. Нелепый, урод, разбросанный, с грандиозными планами русского интеллигента-народника, судорожно пытающийся связать несвязуемое: 1930-е годы и 1947-й. Так живет в 30-х годах, что, по-моему, в своей Сибири даже войны не заметил.

Вечером черненькая Женя Бажко с васнецовскими глазами, потом Ахматова, холодная и неприятная. Черненькая Женя смущенно и оскорбленно убегает.

Сушаль очень больна — видимо, рецидив рака. Лежит, воинствующая, не сдаваясь. Удивительная старуха. Около нее вертится отвратительно и безнадежно глупая Бовар, воровка, хамка, консьержка, ничтожество, гробовая гиена.

Подвернула ногу. Растяжение.

Денег нет.

20 января, понедельник

Закрытие онкологической конференции. Очень интересные доклады Джанелидзе (неумеренно восторгающегося США) и Сереброва (умеренно констатирующего технические достижения США). В публике блистательный полковник Шейнис, совсем полинявший и утративший все блески. Не ви-

дит меня, а я не окликаю. Встреча с милой Серебровой, у которой такая трудная женская жизнь — думаю, трагическая.

Огни на Кировском, легкий снежок.

Ночую у стариков.

Совсем бесснежная зима — голая и теплая.

21 января

Навещаю умирающую Сушаль. Узнает меня, цитирует Расина, говорит связное, потом вдруг все путает, принимает меня за свою дочку, пытается встать с постели, чтобы со мной — дочкой — скорее уехать в Марсель. Страшные серые ноги, тоненькие, как жерди. 85 лет.

26 января

Несколько дней у Тотвенов. Припадок печени, кажется. Сушаль умерла 23-го, ее почему-то увезли в больницу, кто вызвал «скорую» — неизвестно, все шипят кругом, сплетничают, злословят[996].

На Ковенском — литовский ксендз, хитрый мужик, оглушительное мещанство кулацкой латышской деревни. Я потешаюсь над озадаченной Паулиной:

— Паненка, а на каком языке он хорошо говорит?

Оказывается, ни на каком.

29 и 30 января

Трудные дни. Похороны Сушаль. Мороз. Человек из Москвы, от которого меня тошнит, которого хочется ударить памфлетом или подарить бульварный роман с цитатами из Писания и Отцов церкви.

— Vous avez un physique irrésistible et troublant[997].

Хожу в злобе и в смехе, как в пышном платье. Почему это некоторым людям хочется разговаривать со мной руками?

Февраль, 4, вторник

Наплывающие круги из прошлого. Неожиданный Саша Котляров, которого встречаю как близкого, как милого сердцу. Не виделись 10 лет — лагеря, фронт, теперь Москва, завод НКВД, шикарный парень! Сидит у меня днем, потом приезжает в 1 час ночи и уходит от меня в 6 утра. Все рассказывает о своих женщинах, все рассказывает... как когда-то. Он видел маму, дом, сидел у нас в столовой, на нем глаза мамы и отношение к нему. В этом — все.

Эд[ик] заболел. Мрачный, злой, ненавидит Валерку, кончившую техникум, сдавшую все госэкзамены и ставшую педагогом. Она его тоже не любит. Дома у меня тяжелая атмосфера недружелюбия, вражды, неприязни. Мне дышать нечем.

13 марта, вторник

У Т.Г. в лагере[998]. Крестные пути по снегу, по шпалам. Лагерь какой-то производственный, не пугающий никакими внешними аксессуарами: ни часовых, ни окриков, у меня даже паспорта не спросили, и я нигде не называла свое имя. Просто строительство, высокий тын с колючей проволокой, как в больницах, вокруг трампарков, складов. А за тыном нужно прожить, скажем, 10 лет. Невдалеке полотно, гудки паровозов, движение. Я приехала и уехала. А за тыном своя статика, особая, и движение особое: изживание срока — скажем, 10 лет.

Все шло наложение образов: особенно ярко — отец. К нему я не ездила. Там тоже, вероятно, был тын.

Сценка: две пожилые крестьянки, одна розовая и здоровая, другая хилая. Эта хилая вздыхает:

— Эх, два «героя» сидят у меня! Я ведь мать-героиня...

Та, что розовее и кажется моложе, вспыхивает:

— Нашла чем хвастаться! Будто одна ты, что ли...

Злая вздергивает юбки, шарит под ними, вытаскивает какую-то палочку, распахивает полушубок: орден.

— А я что, не героиня? А у меня что, герои мои не здесь?!

Свидания им не дали. Посоветовали:

— Напиши своему лодырю, чтоб работал.

Т.Г. такая же. Взволнованная встреча. Я боялась, что застану ее в страшном состоянии. Нет: бодра, полна оптимизма, верит, что за перевод «Дон Жуана» ей дадут свободу. Кажется, любит меня по-настоящему. С нею полетно — очень трудно подчас, но полетно. Какая одаренность!

«От чацкого ума идущая любовь...»

Бедная. Бедная. Лишь бы ее не обманули...

Т 38,1°. Видимо, простудилась, вывалявшись в снегу.

А Царского нет. Я ничего не узнала: какой-то недостроенный вокзальчик, какие-то — чужие — домики, какие-то — чужие — деревца. А вдоль полотна горы ржавого железного лома. И — кровати. В блокаду в городе всюду на улицах почему-то было множество таких голых, оскаленных кроватей. На

Басковой улице их было целое скопление, целый парад кроватей, злых, рыжих, колючих. Словно люди все вымерли, а кровати, стосковавшись, вылезли сами на улицу — в поисках собственного покойника.

27 марта

Приезжаю утром от стариков. Вчера простояла 8 часов в ломбарде, чтоб иметь возможность хоть что-то купить к утреннему завтраку сегодня.

Брат встречает вяло и мрачно. Небрежно поздравляет — не сразу.

Обедают Ахматова и Анта. Узнав, что мой день, решают выпить водку. Складываемся, смеемся — веселые нищие, у всех какие-то жалкие копейки! Очень хороший вечер.

Анта недоедает систематически. Ахматова недоедает очень часто. Я питаюсь from time to time[999].

— Первой умрет Анта[1000], потом я, — говорит Ахматова, — уж вам, мадам, придется побыть некоторое время одной.

Брат на суточном дежурстве.

Очень хороший вечер вообще. Во мне смятение тоски.

— Желаю вам, чтобы вы перестали все время улыбаться! — говорит Анта. — От вашего вечного смеха страшно.

В этот день приходит книга, которую любила мама. Jules Renard: «Les Histoires Naturelle»[1001].

Очень много о маме. Как мне было с ней хорошо, как по-настоящему хорошо — всегда. Это был большой, сверкающий, неповторимый дар судьбы. Спасибо ей.

30 марта 47

В начале марта пишу октавы:

Гусар, войдите! Я Вас жду давно.
Вот масло, сыр, а хлеб лежит направо.
Я молча пью цикуту и вино
И говорю пленительной октавой:
Хотя поэтом быть мне не дано
(На многое я не имею права),
Я позволяю себе вольность эту,
Беседуя с помазанным поэтом.
Ковровый столик. Будда. Телефон.

Свет лампы. Книги. Все, как было прежде.
Часов знакомый монастырский звон
Не говорит мне больше о надежде
Вас видеть завтра. (Это, впрочем, сон
В своей парапсихической одежде:
Гудки, звонки, отходят поезда,
И бьют часы. А Вы ушли. Куда?)
Тому два года запись дневника:
«Тригорское надолго опустело».
Работа стража вовсе нелегка
И так печальна! Одиноко, бело,
Пустынно, тихо. Призрака рука
Порой коснется чутко и несмело, —
И страж живет в арктической пустыне,
Похуже, чем папанинцы на льдине!
И помню все, Гусар! И память эта
Хранит на полках свитки дней и лет,
Какое-то куземинское лето[1002],
Ахтырского собора[1003] дивный свет,
Все то, что было, чего больше нету —
Как, например, могил любимых нет...
Зато «Хараксы»[1004] были и остались —
Дай Бог, чтобы Вы с ними не встречались!...
(*Ночь на 11.III.47*)

Полковница из Эстонии привозит масло по 190. Покупаю для своих друзей и целый afternoon[1005] развожу: Тотвены, Ел. Авг., Останкова, Мар[ия] Степ[ановна]. А себе не могу купить и 300 гр. — денег нет. Слякоть. Видимо, температурю. С большой и сдержанной нежностью относится ко мне Стиша. Очень трогает — и больно. Мне всегда больно от хорошего отношения ко мне.

31 марта, понедельник

Тяжелый день. Тяжелое физическое состояние. Люди дела. Очень светлый, простой и ясный человек — д-р Емельянова, та, что привезла мне новости о Татьяне, та, чей муж там же. Когда говоришь с нею, все кажется таким несложным! Некрасивая, но милая, милая. Мужа ее видела я мельком,

во время свидания с Т. Высокий, плотный, с бородой, с громадными, чистыми глазами «счастливого великомученика». Никогда не видала таких глаз раньше — зеленые, прозрачные, умные, по-земному святые. Может быть, Сергий Радонежский?

Дома дышать нечем. Ненависть. Вражда. Скандалы. Жильцы — Валерка, брат.

Слава богу, что умерла мама. Что не видит всего этого. Что ей не надо жалеть меня.

Заболеваю. Вернее, уже давно больна.

8.III интересный долгий разговор с чужим человеком — о январских днях 1941-го, между прочим. Никто ничего не понимает. Удивительно «чужие» концепции, в которых я — совсем «чужая». Знаменательно. Жаль. Я-то знаю себе цену — и знаю, по какой цене меня можно продавать.

А так — вся жизнь по копеечкам... Скучно.

19 апреля, суббота

Три недели прожила у стариков: грипп — плеврит — обострение процесса ТВС. Навещали многие — и близкие, и чужие. Брат не пришел ни разу. Поздравляли с Пасхой — и близкие, и чужие. Брат не пришел. Все это и чудовищно и страшно. А еще страшнее думать, что все это — закономерно.

Большая и сияющая надежда на то, что не проживу очень, очень долго. При Т 39,8° — изумительные цветовые фигуры: никогда не видела такого великолепия красок и форм. Написала Г.В. (а зачем? Ведь и этому дымному старцу я совсем не нужна).

Чтение Байрона — «Дон Жуан». Перевод Т. Г[недич] сделан восхитительно: льющаяся, легкая, певучая русская октава. Но — все-таки: тема с вариациями. В музыке Моцарт—Лист возможен. А в поэзии Байрон—Гнедич, кажется, невозможен[1006].

У меня хорошо получается Ахматова по-польски. Моя попытка перевода «Мой городок игрушечный сожгли» на французский мною единолично забракована. Я к себе очень требовательна, холодна и беспощадна. Во мне, к сожалению, нет ни безумия, ни самовлюбленности. Только недавно поняла, что я очень нормальный, очень уравновешенный и трезвый человек. Мне все казалось, что я — вне нормы. Нет. Я — норма. Вот от этого, возможно, мне и трудно.

Продаю вещи и этим живу: голубой дербентский ковер — 1000, темный ферганский — 800, русский — 900. Какой-то хрусталь, какие-то кружева.

Выкупаю в ломбарде брильянты с рубинами и золотой браслет с платиновыми звеньями. А продать это — некому. Кто же теперь покупает золото? У нас это больше не валюта. О такой бытовой валюте «на черный день» никто и не думает (спекулянты разве). Черного дня в будущем уже нет, ибо вчерашний день подобен завтрашнему.

Анат. Костомаров — Свирьстрой — у него работают наши лагерники: **бомж** — без определенного места жительства, «доходяги» — доходились, заканчивают, либо санаторий, либо кладбище.

Вот и я такая же — «бомж доходяга!».

А мне и кладбища не надо. Я в морг или в анатомичку. Хочу, чтобы хоронили меня без похорон — как маму: неизвестно куда, неизвестно где — могила неизвестного солдата, символическая могила без мрамора и огней.

Завещание, пожалуй, писать надо, а то все перепутают, начнут меня чествовать, вспоминать, одаривать цветами и лентами. К черту! У меня свои дороги.

Я вернулась домой в 7 час. вечера. Брат встретил любезно, растерянно и молча. Я лежала у себя. Он сидел у себя. Он даже не спросил, как я себя чувствую и чем болею. Потом я топила печку. Потом — от гнева и холодной обиды (без элементов обиды) — пила с ним водку. Смешной. Все сердится. Ненавидит Валерку. Пожалуй, ненавидит и меня. Возможно, ревность, одиночество. Наверняка: дурная наследственность.

Несмотря ни на что, я холодно и любопытно слежу за тем, как люди падают. Удерживать от падения, пожалуй, не умею. Таких, как я, побеждают. I am not a fighter[1007]. Я только смотрю.

Мне очень хорошо и тихо у Тотвенов.

Мне очень трудно и нехорошо дома. То есть «дома». А с утра было прекрасное настроение — человек с черными глазами пришел ко мне и, не сказав ничего, сказал о любви своей. И во сне я была счастлива так, как я не бывала счастлива в жизни: я несла в свою комнату (бывшую) бутылку шампанского и улыбалась тому, что может быть. Во мне была радость и духа и плоти. Во сне я была настоящей женщиной, любящей, любимой и беспредельно счастливой. Я была счастлива в ожидании счастья, которого я не знала и не знаю. Во сне человек даже не прикоснулся ко мне. Он был только встревожен и бледен южной смуглой бледностью. Но во сне я знала то, что знала всегда: я люблю и я любима. И я — счастлива.

В эту минуту меня разбудила Паулина. Было около 10 утра. Я долго удерживала сон, но не удержала.

Во сне я видала мертвого человека.

Во сне я видала мертвый призрак.

28 апреля, 1947

Ночевала у стариков. Удивительный и страшный (по-особому страшный) сон на сегодня:

Я с мамой в какой-то очень нарядной (дворцовой) жилой комнате. Мама говорит:

— Нина Багратион умерла.

Во сне я знаю, что она умерла уже очень давно, но почему-то спрашиваю:

— Где она?

Мама говорит, что она в соседней комнате и что надо туда пойти.

Двустворчатые великолепные двери (empire), и за ними неожиданное: как зимний сад, пальмы, цветы, множество цветов, зеленоватый ясный сумрак. Комната узкая и в ней — три ряда гробов, девять гробов, и в каждом гробе — покойница в белом, кружевная невеста с флердоранжем, все молодые, красавицы, но не спящие, а мертвые, по-настоящему мертвые, костяные, с синевой у губ и век, с особой — опять-таки костяной — желтизной лица.

Во сне я поражена и растерянна: я близорука, мне страшновато, и я не могу найти среди этих покойниц Нину. Я не могу ее узнать: я не вижу.

Я медленно миную ряды гробов и у другой двери, ведущей куда-то дальше, оборачиваюсь к гробам, становлюсь на колени pour faire une prière[1008]. Я, кажется, крещусь и шепотом спрашиваю у мамы, которая со мною, но которую я не вижу. (Она где-то рядом за мною.)

Ответа мамы нет, но я начинаю смотреть на одну покойницу и знаю, что это именно Нина. Я перестаю быть близорукой и начинаю видеть, прекрасно видеть. Все покойницы — красавицы, одна даже белокурая (почему-то запомнилась), но та, на которую я смотрю, Нина, такая, как я ее видела в гробу, прекрасная, но уже гробовая.

Мама быстро говорит, предупреждающе, я не помню что.

И вдруг Нина — мертвая, гробовая Нина — поднимает веки и смотрит на меня. Я знаю, что на меня смотрит покойница, что это взгляд оттуда.

Мне очень страшно, но я смотрю ей прямо в глаза, по-моему, очень долго, в эти громадные изумительные глаза, которые не блестят — мертвые.

Она наконец опускает веки. Мы с мамой выходим. Мама закрывает двери — стеклянные, — но я маму опять не вижу: я только знаю, что она здесь.

Все обрывается. А потом я иду по Невскому, по теневой стороне от Адмиралтейства и на углу Мойки, у Строгановского дворца, опять вижу Нину: она идет навстречу, покойница, гробовая, но с живыми глазами, смотрит на меня и улыбается. Она в белом, в фате, с флердоранжем, за ней волочится белый шлейф. На улице никого, только мы (как бы в утро белой ночи). Она проходит мимо и подает мне что-то: обрывок сукна — кажется, красного — и записку. Она прошла; я не оглядываюсь, я читаю, это ее почерк. Две-три строки по-русски. Это просьба — что-то сделать и кого-то повидать. Я просыпаюсь и — забываю. Я не помню, что я должна сделать и кого увидеть. Знаю только, что мужское имя: le petit nom[1009] и фамилия. Мне не известные.

За последние дни вспомнила о Нине, но не реально, а «боком»: хотела вынуть ее портрет из подаренной ею рамки и вставить туда что-то другое.

Ночь на 4 июля

Еще раз: как хорошо, как благословенно, что мама умерла! что не видит мертвящего ужаса моего дома, что не видит гибели своих детей.

Я — лошадь, конечно. Цирковая, беговая, скаковая, муштрованная, умная, бессахарная. Мне все нипочем. Я и по кривой выеду. Я ведь — сибирская.

А брат погибает на глазах. Видимо — шизофрения. От этого мне не легче. Это очень смешно, но мне от этого — тяжелее. А должно бы быть все равно.

Забываю все. Не знаю, что было вчера. Не помню, с кем говорила по телефону и к кому обещалась быть. Механическая страшная кукла — по существу, мертвая, Ахматова называет меня «симулянткой здоровья».

Встречи, люди, разговоры, события.

Кажется, много примечательного. А может быть, ничего такого и нету.

Где-то — на каком-то перегоне — я перестала понимать.

Кроме жалости и презрения, что бывает еще?

На днях, ночью, у Ахматовой слушала соловья: в комнату входила белая ночь и Шереметевский сад — и вдруг около трех запел соловей. А я, дура, чуть не заплакала. Соловей! 1947! Ленинград! Рядом трамвай № 5!

Ахматова говорит на это пророческим голосом:

— Всегда и всюду трамвай № 5!

Ей вернули литературный паек. Константин Симонов (через кого-то) просит у нее **для печати** статью о Пушкине. И только что ее вновь обругали в газетах за «религиозную эротику» и за старую статью о «Золотом петушке» — низкопоклонство перед Западом[1010].

Трудно писать. Не для кого.

Какая-то механическая кукла — страшная — собирается поехать в Москву. Для этого нужно подготовить французские[1011] и польские переводы, для Кедриной и Эттингера. Вместо этого страшная механическая кукла делает на последние деньги салат и ночью сидит на Марсовом поле — или одна гуляет по набережной — туда-сюда, взад-вперед — на перламутровом сантиметре вселенной.

27 декабря 1947

Еще раз: Ахматова живет биографию — и дни свои переносит (вполне сознательно) в посмертное. Очень озабочена (по-настоящему, деловито) тем, что о ней будут писать «потом» и как то или это отразится в далеких биографиях — 2047 год, например!

Около 11 вечера. Встречаемся с нею на дивных заснеженных улицах в ласковом декабре. Гуляем по переулочкам. Возмущенно рассказывает: в первые дни после знаменитого постановления у нее была шумная окололитературная дама Марианна Георгиевна (из «Ленинграда»)[1012] и авторитетно и таинственно предупредила ее: месяц не выходить на улицу.

— Ну, а если выйду? — спросила Ахматова.

— Ташкент.

Ахматова и не выходила (она все-таки покорная!), никому об этом не рассказала. Кроме Ольги Берггольц. Та сказала:

— Это она, вероятно, от себя.

Ахматова не поверила — и так-таки не выходила. По-моему, гораздо больше месяца. Много раз видела Ольгу. А теперь открылось, что еще в то время Ольга, рассказывая об этом Нине Ольшевской (жена Ардова) в Москве, сказала:

— Ей показалось, что ей запрещено выходить на улицу.

Ахматова кипит — разочарование в Ольге, недоверие, сомнения.

— Что же обо мне будут говорить? «Показалось»... значит, галлюцинация? Значит, сумасшедшая. Чаадаева хоть Николай I сделал сумасшедшим, а здесь — какая-то Ольга... Если это где-нибудь останется, ей поверят, поверят. Если потом и выздоровела, то все-таки **была** сумасшедшенькой.

Ольга упала. Ахматова советуется — объясняться с ней или нет.

1950 год

ЛЕНИНГРАД

1 марта, ночь

Возможно, что надо продолжать дневник. Скользко. Предвесенние морозы. Снижение цен, которое приводит в восторг нас всех, обывателей, на 25—30%. И установление золотого рубля — это самое важное, но обыватель этого не понимает.

Прекрасное одиночество без единого часа одиночества. Людьми забиваю пустоты, но пустоты продолжают быть — великолепные, холодные, замаскированные буднями.

Месяц — перевод болгарской пьесы[1013] и уроки болгарского. Коллеги: Пузырева Женя и Доброва Маша. У первой — время войны в Англии, у второй — в Колумбии. Писатель Ю. Герман буквально повторяет мои слова:

— Значит, все-таки есть такая страна — Колумбия?!

В прошлом году — февраль: перевод писем Радищева с Анной Андреевной[1014].

В этом году — февраль: попытка вновь «заработать» на письмах Радищева через Институт истории литературы. Маше Добровой — франсистке — по партийной линии предложили попробовать свои силы на русском языке XVIII века. Всю ночь работаю — жучком! — для ее работы. Если проверять будет Пиксанов, мы погибли. Я могу дать прекрасную стилизацию XVIII века, но, конечно, не чистый радищевский стиль... Для этого нужно время, а у меня было 9 часов всего: и для овладения, и для оформления. Пусть бы забраковали: и такая, «сверхскоростная», попытка архаизации стоит дорого!

Эдик, видимо, шизоид. Эндогенная нервность.

Котенок Тика умер. На его месте цветет и тиранствует самая обыкновенная ленинградская кошка Кузя, бог Эдуарда, бич его и обожаемый палач. Кузя — типичная дочка ахматовской Катьки! Если темпераментом Кузя пойдет в маму — Катьку, — катастрофа! Пока — ей 16 месяцев — держу ее в принудительном девстве!

Совершенно нет времени для себя.

Видимо, это очень хорошо. Видимо — так и надо.

Седею, старею — и радуюсь этому. Мои болгарские дамы хотят омолодить меня хной, но я протестую.

Минуло полтора года, как умер Г.В. Рейтц, самый необыкновенный человек в моей жизни.

В мае—июне 1949-го была около месяца в Москве — резко обострилась по-хорошему связь с Ниной Воронцовой и ее матерью, вдовой генерала Олохова.

Москва — прекрасна и чудовищна: галлюцинаторное смешение XXI века с XVII. Дивные кремлевские и москворецкие перспективы — и зловонные, захламленные арбатские переулочки.

Николеньку не искала. В конце 49-го года страшные встречи с Артемовым: легендарный «комиссар» кажется страшным «недорасстрелянным» призраком в нашу эпоху.

Что же еще?

Кажется, все!

Татика с декабря 1948-го пребывает в Польше — и от ужаса встречи с «милыми родственниками» мечтает, как о высшей благодати, о возвращении на родину. Пусть нищета — но дома, дома!

Вторник — 11 апреля [1950] года

На днях в журнале «Огонек» № 14 напечатаны первые советские стихи Ахматовой[1015] — и первые вообще после такого большого перерыва. Значит, прощена. Обрадовалась и послала ей телеграмму в Москву, где она уже около месяца гостит у Ардовых. Левушка, говорят, переведен в Москву[1016]. Может, больше и не увижу его никогда.

Пьеса окончена, театры ее хвалят, но пока никто не покупает. А мне бы только продать... пусть «Царская милость»[1017] окажется для меня только материальной царской милостью судьбы и Меркурия: о милости Аполлона я не мечтаю. Для славы время пропущено.

Зрение безусловно ухудшается.

Перевод писем Радищева и мучительнейшая правка чужих, очень скверных переводов.

Тепло. Нева вольная. Уже поливают улицы.

По радио сообщили наш протест США. 8-го над Либавой появилась американская летающая крепость. Не приземлилась. Обстреляли. От этого и повеяло таким ужасом, что застыло сердце[1018]. Ведь для всех и та война еще не отзвучала.

19 декабря 1950

Нет на свете человека более оптимистического, более легкого, более... уж, не знаю, право, что еще!

У меня глаза не завязаны.

Я прямо и остро смотрю вперед — и **в этом** отношении я не близорука: я все вижу. Приближается гибель, материальная гибель — но разве **это** что-нибудь значит?!

Погибала я не раз — и от холода, и от голода, — погибала я многократно. Но какая живучесть!..

Работает **только** правый глаз. Наплевать!

Сердце работает **плохо**. Наплевать!

Легкие работают **плохо**. Наплевать!

Память сдает. Наплевать.

Но мозг и сердце работают **хорошо**.

И это, товарищи, все. Это — **много**.

Конец ноября — в Москве. Третьяковская с божественной Владимирской (из-за нее я, собственно, и пошла в Третьяковскую, из-за нее и прошагала все залы — из-за нее, бывшей на поле Куликовом!). Елоховский собор с божественно-прекрасным патриаршим хором (и от него: от хора, от собора, от духоты — «сомлела», как боярыня XVII века, — сердечные припадки каждый день). Вот и вся «культурная» Москва.

А Москва сегодняшняя — великолепна. Как загорается она в сумерки, красавица! Какие ожерелья, какие запястья надевает к пяти часам пополудни. Как красуется и как бахвалится, какая страстная строгость в ней, какая невинная щеголеватость!.. Царская невеста, ханская наложница, разве знаешь ее истинное имя — самой первой в мире, самой прекрасной и самой сильной...

Полюбила ее в этом году — и возгордилась ею.

То солнце — то снег — то слякоть — то гололедица. Царица мира. Сталинская, наша — крепость и прелесть, волшебство и чертеж, расчет и магия: Москва, Москва... Ужель та самая, с кривыми улицами, с акробатическими пролетками московских извозчиков, с одурманенными ордынскими особнячками, с Рядами, с Пассажами, с Вербами, с миллионами Варварки и с грошовой нищетой окраин?

И та, и не та... Красавица, лебедь, колдунья!.. И весь мир — к ней. И весь мир — под ней.

«Белу ручку протянула, сережками поманила, золотым кольцом мигнула, весь свет покорила...»

Мне бы жить под твоей сенью, Москва.
Легче стало бы и проще.

Но: держит Ленинград. Не городом уже, а призраком. Шизоидный брат.

Развал домашнего хозяйства. Катастрофическое безденежье. Отсутствие мерной и планомерной работы (и **не моя** вина в том, товарищи!). Отсутствие стимула и хлыста. Музейная замороженность. Нездоровье. Зубы. Сердце. Сны. Ничья рука не протянута навстречу.

Ничье сердце не откликается улыбкой.
Ни — че — го! Ни — ко — го?
А у меня дров нет, деточки!
А у меня хлеба нет, деточки!
А у меня жизнь отымают, деточки!

Можно бы написать поэму. Но адрес только один: секретариат Сталина — лично, черт возьми.

Встречаю Ахматову, часто: замороженная, снова важная — печатают! Переводит средне. Готовит сборник: средний[1019]. Гимн РСФСР безусловно хорош[1020]. И хорошо на музыку ложится.

А о Левушке — ни слова. «Не надо говорить, все по-старому...» — на углу Надеждинской, после водки, после ужина.

Бедный Левушка! Плохая у него мать! Да и матери не знал никогда, бродяга! Сначала у бабушки, потом у теток (от любимой к нелюбимым!). Потом — у матери, в передней ее любовника[1021]... Господи, он даже не поел досыта...

1953 [год]

3 августа 1953

Ахматова впервые читала «Хождение по мукам» летом 1953-го, в санатории. Беседы по этому поводу с Городецким, которого не видела многие годы. Не любит его[1022].

Елиз[авета] Киевна Расторгуева = Елизавета Юрьевна Караваева (жена Мити К[узьмина-Караваева]), урожденная Пиленко. Мать ее Нарышкина. Лиза носила ладанку (или медальон) с волосами Петра Первого.

От кого-то (?) понесла ребенка, родила его за границей. Девочка жила и училась во Франции. Потом была секретарем А. Жида, приезжала с ним к нам, у нас и умерла 22 лет от роду.

Лиза в эмиграции стала монахиней, была настоятельницей женского православного монастыря в Париже, потом перешла в католичество. Во время немецкой оккупации посещала заключенных французских патриотов, приговоренных к смертной казни. Одной француженке (juive[1023]) отдала в камере свой numéro matricule[1024]. Та вышла на свободу. Лиза была повешена. L'Eglise veut la faire canoniser, à ce qu'il paraît [1025].

Какой кощунственный пасквиль у Толстого!

Блок — еще больший пасквиль. Свое беспутство и связь с адвокатской женой (Н.В. Волкенштейн[1026]) Толстой подсовывает Блоку. Отношение Блока к женщинам: Дельмас и Валентина Щеголева хранили о нем самые высокие и нежные воспоминания.

(«Женщины вокруг него вились, как лианы»;

«Женщины стояли к нему в очереди и уже на лестнице снимали штаны»[1027].)

«Что он сделал из величайшего поэта XX века?»

Толстой от Москвы, а не от СПб., которого и не знал. Сидя в Париже, в 1919-м, писал о СПб., не чувствуя, не зная, путая, не имея даже карты города.

Так писал о Блоке:

— ...а Блок в это время умирал от голода, таскал в свою даль гнилую картошку с Моховой. У него была распухшая аорта, это было смертельно для него.

— Блока кто-то мог знать в какие-то 19... годы, пока он еще был раскрыт и открыт. Г. Иванов, Городецкий. А потом он закрылся, запер сам себя на замок. Его больше никто не знал.

— Даша и Катя: ложные, выдуманные «тургеневские девушки», которых и при Тургеневе никогда не было.

— Изменила мужу, потому что у нее висела футуристическая Венера!

Я: — Футуризм асексуален — согласна[1028].

1958 год

21 марта

Мы все давным-давно расстреляны,
Нас всех давным-давно уж нет,
Но по уставу всем нам велено
Подписчиками быть газет.

Нам велено читать и кланяться
И кувыркаться и плясать,
И мы, как клоун и эстрадница,
Все научились выполнять.

Мы научились вереницею
Идти туда, идти сюда
И над постылыми гробницами
Рыдать от страха и стыда.

1963 год

Ночь на 21 июня 1963

Палач пришел.
Палач вошел...
А комната пуста.
Он — здесь и там,
Он — по углам,
В окне горит звезда.

Он — за ковры,
Он — под ковры,
А комната пуста.

1967 год

30 июля 1967

А я уже давно не знаю —
Кому мне верить, кому нет,
Ловлю лучи последних лет
У крайнего земного края.

И мил мне ласточек полет
И белых облаков кипенье,
Но радостям все меньше счет,
И начал таять тонкий лед
Над черною рекой забвенья.

1968 год

12 марта 1968

Когда я уйду, заприте дверь на ключ и на задвижку и не прислушивайтесь к шагам на лестнице.

Я больше не вернусь.

Когда я уйду, войдите в мою комнату, оглядитесь вокруг, соберите мои карандаши и бумаги, надушите руки моими духами и положите в печку мои старые ночные туфли.

Я больше не вернусь.

Когда я уйду, сядьте за мой стол, налейте чай в привычные чашки, возьмите печенье, пожалуйста, возьмите конфеты, пожалуйста, и взгляните в зеркало, в котором моего отражения нет.

Я больше не вернусь.

Когда я уйду, послушайте молча, как бьют мои большие часы, как они пробьют этот час и тот, и вот этот, последний. А потом остановите маятник и послушайте тишину.

Я больше не вернусь.

Когда я уйду, широко откройте окно и впустите ночь и ветер. И благодарно посмотрите на звезды, которые я так любила, которые я видела всегда — даже когда их не было.

Прощайте, прощайте, говорю я вам, прощайте!

Я больше не вернусь.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1911 год[1]

Sophie Ostrovska
Дневник Сони

Вторник 25 января 1911 года[2]

Наружность лиц, которых я знаю.

Ну начинаю свой дневник и прошу внимать на каждое слово.

Папа мой очень стройный и красивый мужчина. Лицо довольно красивое и выразительное, правильный нос, глаза карие и[3]. Мама же среднего роста довольно полная и красивая «madame» с красивыми глазами и красивым носиком. Не ревнивая женщина, но надо же побранить мужа тогда, когда надо ну! Брат на Папу и Маму не похож: волосы как щетина, глаза маленькие и очень хитрые, во рту постоянно длинный язык, что минутки за зубами полежать не может и т.д.

Моя тетя очень комична, у нее после своей молодости остались две красоты, которых она еще не потеряла, но придет время, она и это потеряет. Ну что ж у нее осталось: это зубы и глаза.

Нос довольно много вздернутый — и кончается пятачком, как у одного животного. Ну у кого? Как вам сказать...

Ну теперь довольно, а то я соскучилась все время сидеть и писать! Желаю вам хорошего отдыха.

Писательница Соня.

1915

27 августа, четверг[4]

Дневник — вещь чрезвычайно сложная; с ним надо обращаться нежно и хорошо, а чуть что не так — дневник исчезает и появляется грубая, обнажен-

ная, резкая исповедь. Многие не только говорят, что дневник — это вторая душа человека, знающая сокровенные мысли и тайны, но и делают это. Но я до этого, вероятно, никогда не буду в состоянии дойти. Как! Чтобы самые глубокие тайны и скрытые мысли и желания могли появиться на бумаге с придаточными предложениями и запятыми перед «а», «как», «что» и пр. Никогда! Мало ли что может случиться — и пожалуйста, все открыто. Разоблачение явилось бесстыдным образом, словно ничего и не было! Нет. Так я не могу! Конечно, можно бы писать дневник каким-нибудь условным шифром, но я боюсь, да и времени нет и легко перепутать можно. Дневник я начинала Бог знает сколько раз, аккуратно записывала ежедневно, что за погода, кто был и каков обед, но потом казалось все таким глупым, донельзя мелочным, что с отвращением выбрасывала исписанные листы. Жаль, не было абсолютно ничего... умного. Воображаю, как я буду вести этот дневник?! Само собой, что ежедневно писать не буду. Скоро надоест. А так... изредка.

30 [августа], воскресенье

Завтра в школу? Завтра? Как скоро промелькнули каникулы, с Волгой, Москвой (где, впрочем, было очень и очень ничего), Павловском... Милый Павловск! Я очень любила его концерты, хотя меня привлекала не только музыка, но и Асланов[5]. Тонкое понимание партитуры, элегантное капельмейстерство — именно элегантное: изящные, плавные движения рук. Оркестр его чутко понимает и, кажется, любит. Вообще Асланов в моем вкусе, хотя немного смешила его непослушная прядь волос, непременно прыгающая на лбу в момент грандиозной, торжественной музыки... Странное, короткое, спутанное лето. Зато масса нового, досель не изведанного. А это очень интересно! Правда, я смела, но перед неожиданностью храбрость ничто. Бывали минуты, когда я теряла самообладание и спрашивала себя: «что это?» За лето я дошла до одного: по моему лицу трудно узнать что-либо. Иногда я могу его превратить в каменную маску, но это многого стоит! Вот только... глаза. Противные глаза! Сейчас же все выдадут! Тогда я скрываю их ресницами. Многие думают, что это из скромности или робости; никогда! Если я не хочу, чтобы кто-либо узнал, что я думаю, я прячу глаза. А бывает, что принуждена их опускать из-за безумной охоты смеяться. Но это бывает только на улице. Сегодня была у Вавы. До этого она телефонировала раз с пять: «Придешь? Придешь?» Надоедает, да к тому же теперь у меня квартира еще не убрана, гостиная превращена в склад всякой всячины. М-ль Ту-

гаринова в Павловске, потому что концертирует там. А Вава — ребенок слишком настойчивый, тараторящий без умолку и все в таком роде. День неудачный; возможно, что вечер лучше будет, так как иду на Сабурова[6]. Первый раз в жизни увижу фарс[7]. Оперу и драму более или менее основательно знаю, но фарс... ни артисты, ни публика, ни настроение мне незнакомы. Интересно посмотреть, какова публика!

Сентябрь 9, среда

Правда, давно не писала, но постараюсь привести свои мысли в более приличный порядок. А то так стыдно, что в голове самым спокойным образом разгуливают! У Сабурова мне очень понравилось; сначала я немного стеснялась своего коричневого платья, но потом ничего. Папа познакомил с м-elle Чебуновой и ее женихом. Она... не знаю, но мне не нравится. Вертлява, визглива, пучеглаза (pardon), он — размазня, хотя офицер. Но с ними знакомство поддерживать не буду, так как мама их очень мало, почти совсем не знает. Один какой-то несчастный раз встретила на концерте — разве это обязывает к чему-нибудь? В школе великолепно: я довольна! Та же mademoiselle Michel, прекрасная преподавательница; miss O'Reilly вернулась: она мне очень нравится, и даже я ее люблю чуточку. Вот только m-elle Муллова не у нас: это противно. Ух, как я разозлилась, узнав, что она не будет в V классе! Разорвать ее была готова; она сама это заметила. Очень милое, симпатичное, а главное, доброе отношение к ученицам. M-elle Неклюдова... не могу судить, не зная человека; каждый имеет преимущества и недостатки, но пока на нее особого внимания не обращала. Поживем — увидим! Цоппочка та же: то кричит, то шепчет, то злится, то ласкает; то мы «приготовишки», то «внимательные девочки» — поймите, пожалуйста! Но в сущности она предобрая, превосходно знает свою математику, старается нам вдолбить извлечение корня, а мы в соляные (или как там?) столбы превратились. Fraulein[8]... гм! Остроумная, живая, веселая, но... из того, что говорит, лишь 3/4 понимаю, стараюсь уловить хотя бы смысл, который, увы, довольно часто от меня ускользает. Но, как мне кажется, она тоже хорошая. История у нас — extra fine[9]. Марковская — оратор, да к тому не совсем обыкновенный! Удивительно хороший дар слова — ясно, четко, определенно связывает мысли, вплетая придаточные, что, однако, не влияет на яркую, чистую, свободную мысль. У нее красивый подбородок и удивительно серебристо очерчена линия перехода в шею. Она, кажется,

тоже милая. Физика у нас — преуморительная. Спаржей прозвали; высокая, худая, угловатая, но с отполированными ногтями (заметили-сь!), застенчивая до крайности: взглянуть пристально нельзя: опускает глаза, краснеет, словно на вертеле жарится. А наш класс, как известно, самый беспардонный: уставились бесцеремонно на нее, глазеем; она и так, и сяк, краснеет, бледнеет, вертится, оборачивается — чуть не прыгает! Да, нам-то смешно, а ей, бедненькой, каково! Злючки мы, но добрые злючки. Это так мамочка выразилась. Кого же еще остается перебрать? Mister'а не видела, так как урока еще с ним не имела, histoire naturelle[10] та же самая, religion да... т.е. (извините) тот же père, какой был и прежде. Le Nievskiy et le dwornik — его выражение, с позволения сказать! Остальное... не знаю или не помню, потому что спать пора! Педагогический (кажется, не сделала ошибки?) персонал разобрала по частям (не речи!), будет время рассортирую и учениц. Есть поистине и типы, и типики. Но высшему начальству — должное почтение! Ах, правда m-elle Girard забыла! Особенного ничего — вечная улыбка. Тот самый aimable[11], руку на молитву сложит, которая почему-то никогда не прекращается. Вот и все!

13 сентября, воскресенье

Счастье, что завтра праздник, счастье, что дома остаюсь. Можно подумать, что это из лени, но я думаю, все ученицы и ученики с нетерпением выжидают праздников. Летом я никогда не знаю — праздник ли или обычный день, а вот зимой, когда приходится рано вставать, наскоро глотать кофе и, кое-как напялив шляпу, мчать к трамваю, дабы не опоздать на молитвы и не услышать быстрое «Vite, vite»[12] m-elle Michel и заслужить уничтожающий взгляд Валенки, тогда-то праздник играет немаловажную роль. После молитвы спускаемся в класс — преуморительный он у нас, право! Каждая девочка иная, никогда не встретишь схожего темперамента или характера. Но... по порядку! Самым резким ребенком у нас — Jeanne Micaud: высокая, крупная брюнетка с очень красивыми, темными глазами, [нрзб] густыми, вверх загнутыми ресницами, с быстрыми, нервными движениями, неимоверно скорой речью и поминутно меняющимися настроениями и желаниями — вот она, резкий, своеобразный тип, с улыбкой японки и грустным взглядом цыганки, вот она — дочь нервного, экзальтированного, горячего, страстного народа — народа Франции!! Но в сущности — Jeanne очень милый ребенок, немного упрямый и настойчивый, но симпатичный,

добрый и, как мне кажется, одинокий и даже несчастный!! Не особенно ее дома балуют, думаю, обращают больше внимания на младшую сестру!

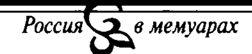
14 [сентября], понедельник

Вчера не дали докончить: является Михалина: «Барыня спрашивает, что делаете и почему к гостям не идете?!» Разозлила меня! Я швырнула тетрадь, помчалась, как фурия, в гостиную и злая все время сидела. Мама говорила, что у меня был необыкновенно воинственный вид! Словно на немцев собралась!

Но... поговорим о классе! Есть у нас некая личность, под заглавием Жени Видаль! Что и почему, но я ее не люблю, да и она не в восторге от меня! Обоюдное равнодушие и, пожалуй, даже нелюбовь — ни мне, ни ей обижаться нечего. Она мне не симпатизирует с третьего класса или, точнее выразиться, с первого дня моего прихода в гимназию (тогда еще пансион). Возможно, что я ей отбила звание первой ученицы и тем вооружила ее против себя, но, может быть, я просто не сумела подойти к ней с покорной, робкой физиономией, спрашивая порядки школы! Уважение, то есть лесть к своей особе, она очень и очень любит!! Напускная гордость, которой, впрочем, ни на грош нет, потому что подделываться под настроение Elda'у — глупо и низко — и вечное желание мелких ссор из-за мелочей — этим она мне глубоко не понравилась! Другое дело — Женя Рукавишникова! Естественный, простой, свободный ребенок, с детским воображением, с бесхитростными скорыми глазами и хорошими, толстыми золотыми косами — она меня сразу привлекла к себе. Хотя раньше дразнило немного восторженное отношение к Маргарите Клемен. «Так Маргарита сказала, то Маргарита сделала!» В III классе это были ее обычные фразы. Но в IV и она больше сблизилась с остальными, сплотилась в одну тесную, неразрывную дружбу с девочками, кажется, за исключением Suzanne Mazo. Но та для последней слишком мала, слишком наивна, «trop enfant»[13], как Susanne выразилась!! Может быть, это и лучше для Жени! У нее очаровательная сестренка, прелестный «baby», как ее теперь называют в школе и за что она чуть надувает свои губки!

Маленькая, симпатичная, с красивыми личиком и темными глазами (может быть, они кажутся темными из-за больших зрачков?!) — Лида мне очень нравится! Как-то мама ее видела и сказала: «Очаровательный ребенок!» Эти две сестры меня восхищают, и обеих я люблю!

Опять надо до завтра дневник отложить, ибо мама загонит спать! Как быстро промелькнул понедельник — я бы хотела, чтобы завтра было только воскресенье, а здесь, пожалуйста!!!



2 октября, пятница

Препротивные боль горла и насморк! Ненавижу их, брр! В школе сегодня не была: мама не пустила, говоря, что мне хуже быть может! Про дневник я помнила, но положительно времени не имела: занятий у нас теперь очень много, так что не только дневнику и «Гефсиманскому саду»[14], но музыке и истории Польши не могу оказать должного внимания. У моей учительницы m-elle Jeanne какой-то нарыв на лице, так что операцию будут делать. Мне ее очень жаль! Она мила и симпатична! Да... ведь еще класс не разобран окончательно! Ее сиятельство Вава Вольтман есть что-то вроде чего-то именно. Вся она очень неопределенна, начиная с глаз и кончая характером и знаниями. Внимательно изучив ее, может быть, и можно добиться чего-либо, но я к этому не имею ни времени, ни желания!! Одно только я замечаю в ней — никогда не делиться с другими своими знаниями, то есть не подсказывать. Двигает ртом и вращает бесцветными глазами, но ни звука от нее не услышишь. Не помню, кто однажды попросил ее дать сочинение о Shakespeare; она заерзала, засуетилась, наговорила массу слов, огорошила наплывом фраз и предложений, но спрашивающая могла понять реально одно, что Вава испортила сочинение и т.п., ибо оно не поправлено и грязно, что оно при ней, что она его забыла и т.п. Дома у ней Бог знает сколько учительниц, вечных miss, mademoiselles. Немецкие и английские сочинения ей пишут, а она их вызубривает, но всенародно чуть ли не клянется, что сама их писала; и опять поток слов, каскад речей, водопад предложений! Маленькая, полная, страшно мягкая и пухлая, но невозможно цепкая, с некрасивым носом и бледным ртом — вот она, Иерихонская труба!

Незначительные, обыденные типы — Зины Эйсмон и Елены Невери. Ни та, ни другая меня не интересуют, хотя первая обладает недюжинными музыкальными способностями и красивыми глазами. Зина меня злит, и иногда мне приятно сказать ей какую колкость! Лена тоже меня нервирует — особенно своим голосом и поминутным «Позабыла» и заглядыванием в книгу!

Теперь... смуглая, худенькая девушка с гладкими темными волосами, с печальными черными глазами и премилой родинкой над левым углом рта, в довольно длинном платье — кажется, ожила старинная французская гравюра! У Елизаветы Востриковой взгляд и улыбка взрослого человека: никакой ребяческой пустоты, легкомысленности, беспечности! Невольно думается, что всякое слово, взгляд и движение заранее обдуманы и пересмотрены. Говорит мало, очень мало и крайне сжато и неопределенно! Мне кажется, Лиза боится сказать лишнее: ей не хочется, чтобы ее слова разносились по всей гимназии, передаваемые девочками под строжайшим секретом: по сек-

рету всему свету! (Что у нас практикуется в широких размерах). Раньше я была куда доверчивее, но теперь в гимназии я очень скрытна. Подруги у меня нету! Мой единственный друг — мама! Вернемся к Лизочке... жизнь ее я не знаю; историю тем паче! Две-три незначительные подробности, вскользь уроненные ею, я знаю, но писать не хочу! К чему? Память, слава Богу, не изменила, а если стану забывать, припишу! У Лизы одинаково ровный голос. Очень гибкий и свободный, внимательный пытливый взгляд больших глаз. Длинные красивые ресницы. Она очень и очень недурненькая барышня и учится очень хорошо! Мне кажется, что она великолепно знает, что такое жизнь. Как мне ее жаль по одной причине, но я по этому же поводу ее и не понимаю! Странная девушка! Не могу ее раскусить, хотя и боюсь этого, потому что не хочется, чтобы было такое ощущение, словно я раскусила пустой орех. Бешено хочется разгадать ее, ибо не думаю, чтоб была пустым орехом! Нет! To coś innego![15]

Недавно получила письмо, которое мне доставило большое удовольствие. Есть письма, на которые я не сразу решаюсь отвечать: я их боюсь! Потому что не знаю, какое чувство питает ко мне особа, писавшая его!! Долгое время внимательно читаю их, потом отвечу противоположное мыслям! К этому приходится прибегать, к счастью, не часто! Ну, пока до свидания!

21 ноября, суббота

Бог мой, сколько времени не заглядывала в дневник! За это время многое прошло, много было нового, интересного и милого. И пятисотое представление «Ревизора» промелькнуло, как во сне[16] (какие роскошные, черные, демонические глаза!) и «Лес» с трагической Железновой—Аксюшей[17]. И «Пигмалион» с прекрасными рыданиями Рощиной-Инсаровой[18] и ее не менее прекрасными платьями. А Литейный театр[19], а кинематографы? — ничто не занесено в дневник, а теперь не хочется! Сейчас хорошая погода: небо, правда, сероватое, но обильный, пушистый, белый снег покрывает улицы и крыши. Холодно, морозно, но хорошо!

Декабрь, 29, вторник

Грусть неимоверная, тяжелая, гнетущая, словно великий молот эссенских заводов[20]! Почему? Вопрос, на который я никогда не в состоянии ответить. У иных грусть имеет или свое значение, или, по крайней мере, они знают, почему она пришла и незаметным, но плотным газом с серо-черными отливами осторожно и властно окутала их! А я не знаю, не знаю причины ее грозной, все побеждающей массы, плотно окручивающей меня. Хочется ласки, темно-

ты, тишины и молчания! Но ничего нет, ничего!! Праздник Рождества, а для меня словно и не приходил! Подарки я получила богатые и хорошие, была довольна на мгновенье, а потом опять безразличие. Что такое? Сама разгадать не могу! Я люблю театр до безумия, но актеров вообще не знаю, а могу судить по чтению и рассказам. Оказывается, в них нет ни капли того очарования, которое они раскидывают, играя, а самые обыкновенные, даже низкие и животные инстинкты и желания. Остальное — будто бы и не бывало никогда! Так грустно, так грустно!! Но... пустяки! Сегодня мамочка получила два письма: одно от Мани, другое... другое... не все ли равно? Я знаю — от кого, этого довольно! Оно меня очень рассмешило. Т.е. не то чтобы вызвало смех, но только мне стало очень весело, потому что долго молчащая личность вдруг заговорила, да не ко мне, а к моей «maman»: ça me rendait folle! C'etait bien bizarre, parce qu' il y avait quelques phrases assez-même plus que libres peut-être! Et de qui? D'une personne estimée, honorée par tout le monde, qui paraît si sainte...[21] А на самом деле это дьявол, а не человек! Мне кажется, что я достаточно изучила эту страшную (о, да, даже очень и очень страшную) личность. Он живо напоминает Юрьева в роли Дон Жуана[22], где одно характерное движение глаз говорит так много. Хитрый эгоист, умный, вылавливающий из океана жизни жемчужные минуты счастья, но в обыденной жизни (т.е., вернее сказать, в глазах некоторых ослепленных) он глубокий, чистый, святой человек! Я узнала (может быть, слишком рано!), кто он! Итак, довольно! Неправда. Опять сомнения, сомнения, где ключ для разгадки?

[1926 год][23]

1926. Лето в Царском Селе. Марыля, Эрмит и я[24]. Очень розовое небо. Гумилев, Пушкин и Эпикур.

[1929 год][25]

...Не спасешься от доли кровавой,
Что земным предназначена твердь.
Но молчи: несравненное право —
Самому выбирать свою смерть.

Беспрерывно и неотступно в ДПЗ в марте 1929 года, камера № 32[26].

КОММЕНТАРИИ

Дневник

Фрагменты дневника С.К. Островской публиковались ранее: *Ostrovskaya S.K.* Memoirs of Anna Akhmatova's years 1944—1950 / By S. Karin; trans. from the Russian by J. Davies]. Liverpool, 1988; *Островская С.К.* Встречи с Ахматовой (1944—1946) // Вестник Русского христианского движения. 1989. № 156. С. 165—183 (без указания публикатора); *Островская С.К.* «Блистательно имя ее...» // Грани. 1999. № 189. С. 221—238 (без указания публикатора); *Островская С.К.* Блокадные дневники / Предисл., подгот. текста и коммент. Л.И. Бучиной // Русское прошлое. СПб., 2006. № 10. С. 191—323.

В настоящем издании дневник С.К. Островской впервые публикуется полностью — по машинописной авторизованной копии, которая хранится в фонде петербургского Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Ф. 5. Оп. 1. Д. 260). Страницы дневника, которые Островская не включила в машинописную копию, помещены в приложении.

За помощь в подготовке издания благодарим Рукописный отдел Российской национальной библиотеки и лично Наталью Ивановну Крайневу и Анатолия Яковлевича Разумова, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и лично Нину Ивановну Попову, Ирину Геннадьевну Иванову, Наталью Олеговну Громову, Марию Борисовну Правдину, Елену Романовну Чигвинцеву, Рукописный отдел Пушкинского Дома (ИРЛИ АН) и лично Татьяну Михайловну Двинятину, НИЦ «Мемориал» и лично Ирину Анатольевну Флиге, а также Маргариту Михайловну Аумен, Нонну Алексеевну Барскову, Дмитрия Александровича Браткина, Бонни Вигеланд, Марину Юрьевну Любимову, Веру Аркадьевну Мильчину, Наталью Владимировну Прасолову, Милену Всеволодовну Рождественскую, Ирину Ильиничну Сандомирскую, Веру Викторовну Семину, Александра Константиновича Шиккера, Василия Георгиевича Щукина.

[1] К.В. Островский.

[2] А.Ф. Островская.

[3] Э.К. Островский.

[4] Популярные исторические романы Вс. Соловьева («Княжна Острожская», «Царь-девица», «Юный император», «Капитан гренадерской роты» и др.) публиковались в журналах «Нива» и «Север», выходили отдельными изданиями. В 1887 г. было издано его 7-томное собрание сочинений.

[5] С.Ф. Войшнис-Михневич, старшая сестра А.Ф. Островской.

[6] Еженедельный сатирический журнал (редактор А.Т. Аверченко). Выходил в Петербурге — Петрограде в 1913—1918 гг.

[7] Настольная игра, в которой фишки двигаются по расчерченному полю. Количество шагов определяется числом, обозначенным на «кости» (кубике).

[8] При Санкт-Петербургском городском Попечительстве о народной трезвости на Кронверкском пр., в Александровском парке, в 1900 г. был открыт Народный дом им. Николая II.

[9] 12 августа 1913 г. оперная труппа Попечительства под управлением Н.Н. Фигнера представляла оперу «Царь-плотник» (музыка А. Лорцинга, режиссер Д.Ф. Арбенин). В этот же вечер были показаны 2-я картина 1-го действия и 2-е действие балета М. Петипа и Л. Иванова «Лебединое озеро» на музыку П.И. Чайковского.

[10] Мужская гимназия при римско-католическом костеле св. Екатерины (Невский пр., 32) существовала с 1770 по 1918 г. В ней имелись богатая библиотека, гимнастический зал, мастерские; были организованы хор, оркестр, ставились спектакли на французском и польском языках.

[11] Мастерская по изготовлению корсетов «Софи» находилась по адресу: Невский, 40—42.

[12] Правильно — Коралли.

[13] По-видимому, это был 7-й том из семитомного издания Сочинений Вс. Соловьева (СПб., 1887), включавший романы «Наваждение» и «Последние Горбатовы», а также стихи и повесть «Старик».

[14] По этому адресу находилось издательство «Вера и знание», специализировавшееся на выпуске литературы духовного содержания, а при нем — книжный магазин и библиотека.

[15] То есть подарки из магазинов кондитерских товаров в Москве, на Мясницкой.

[16] Гостиница в Москве (Софийка, 4).

[17] Механический клавишный духовой музыкальный инструмент.

[18] Женская гимназия при костеле св. Екатерины (Невский, 32—34) с семилетним курсом обучения.

[19] «наши классные дамы» *(фр.)*. Соня имеет в виду классных дам московской гимназии, где она начинала учебу.

[20] «Вы отдаете вашу дочь не к нам, а в школу св. Екатерины...» *(фр.)*.

[21] прощай, мой дорогой *(фр.)*.

[22] «В кухне у Михалины маленький мальчик, такой вежливый и ловкий, одетый совсем не как мужик» *(фр.)*.

[23] «с этим опрятным мальчуганом» *(фр.)*.

[24] В 1910 г., когда семья Островских еще жила в Москве, Островская училась в школе для девочек при римско-католическом костеле св. апостолов Петра и Павла на Милютинском переулке. В школу принимались девочки исключительно католического вероисповедания. Приходящие платили 60 руб. за учебный год, пансионерки («enterne») — 200 руб. В 1910—1911 гг., когда Островская училась в этой школе, директрисой была Хелена Мелонб.

[25] Сорт сладкого белого вина, производимого в регионе Барсак недалеко от Бордо.

[26] До свиданья, мой «дневничок»! *(фр.).*

[27] С октября 1918 г. — пл. Восстания.

[28] Вероятно, Соня перепутала название: недалеко от дома 139 по Невскому пр., где жили в 1913 г. Островские, находился один из магазинов колониальных товаров (чай, фрукты, вина) Торгового дома «В.И. Черепенников с с[ыновья]ми» (Невский, 142—1).

[29] Частный французский пансион для девиц Марии Львовны Ле-Бурде-Капронье в 1914 г. был преобразован в женскую французскую гимназию (частная гимназия Люси Ревиль). Заведующая — М.И. Жирар. Адрес: Ново-Исаакиевская (с конца 1920-х гг. — ул. Якубовича), 14.

[30] Вероятно, из-за своего громкого голоса Симона Ру и получила в гимназии прозвище Виниций, от имени Марка Виниция — консула Римской империи, блестящего оратора.

[31] Этот магазин художественных принадлежностей: картины, гравюры, иллюстрированные открытые письма — находился по адресу: Морская, 9—13. Владелец: А.П. Фиетта.

[32] Возможно, это прозвище подсказано популярным среди гимназисток рассказом Л. Чарской «Сфинкс»: «Девочку с удлиненными зеленовато-серыми глазами и худеньким, бледно-смуглым лицом прозвали Сфинксом. Она выделялась среди подруг и выглядела особенной» (*Чарская Л.* Сфинкс // Чарская Л. Гимназистки: Рассказы. СПб., 1910. С. 80).

[33] «Цветок» *(польск.).*

[34] Один из первых стационарных петербургских кинотеатров. В 1913 г. для этого кинотеатра на 800 мест архитектор М.С. Лялевич перестроил дворовую часть старого доходного дома по адресу: Невский, 80.

[35] Из объявления в газете «Невское время» (1915. 28 дек.): «Паризиана. Невский, 80. С 28 по 31 декабря 1915 г. исключительно в нашем театре монопольно на весь Петроград "И ждет она суда нечеловеческого", жизненная драма в 4-х частях. Постановка артиста Московского Художественного театра В.К. Туржанского». Роли в фильме исполняли: Н. Борисова (Вера Николаевна Лихонина), Н. Чернова, А. Мичурин (адвокат Мичурин), Н. Васильковский (доктор Тарлецкий).

[36] хороших манер *(фр.).*

[37] полковник *(англ.)* .

[38] Какие... Неопределенные <...> не задерживающиеся в памяти чувства грусти и недооцененности! *(польск.).*

[39] все хорошо *(фр.).*

[40] мало развитый *(фр.).*

[41] непородистый *(фр.).*

[42] признак недоедания *(фр.).*

[43] вечера, кузены, кузины, прогулки вдвоем и т.д. *(фр.)*.

[44] В гимназии преподавали две сестры Мулловы — Елена Павловна и Ольга Павловна.

[45] детские *(фр.)*.

[46] Вероятно, имеется в виду одноактная пьеса М.В. Самочерновой «Дорогая гостья», опубликованная в бесплатном приложении к журналу «Задушевное слово» за 1915 г. — «Детский театр “Задушевное слово”».

[47] перепачканная шоколадом *(фр.)*.

[48] См.: *Борисова (Брюхова) А.В.* Сюрпризы. Одноактная комедия-шутка. М., 1914.

[49] «заговор» *(фр.)*.

[50] переливчатых *(фр.)*.

[51] кулон *(фр.)*.

[52] Мне неважно *(фр.)*.

[53] О Софи! Недавно я обратила внимание на одну даму. Как она была прекрасна! Какие глаза, какие ресницы! Мне бы очень хотелось иметь такие же! *(фр.)*.

[54] Сегодня я присутствовала на этой церемонии! *(фр.)*.

[55] Это меня мало касается! Неважно! *(фр.)*.

[56] «Эльзасская ночь» *(фр.)*. См.: *Le Roy-Villars Ch.* Une nuit d'Alsace: épisode dramatique en deux actes. P., 1910.

[57] Кстати, я получила награду за прошлый год *(фр.)*.

[58] табели с отметками *(фр.)*.

[59] Великая реформа [19 февраля 1861 — 1911]: русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное издание: Т. 1—6 / Под ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичеты. М., 1911.

[60] Ф.А. Арутюнов.

[61] «дурочка» *(фр.)*.

[62] массу обаяния *(фр.)*.

[63] по-современному *(фр.)*.

[64] кстати *(фр.)*.

[65] чертенок в женском обличье! *(фр.)*.

[66] остроты *(фр.)*.

[67] «осанка» *(фр.)*.

[68] и она сама *(фр.)*.

[69] вот в чем вопрос *(англ.)* (см.: *Шекспир У.* Гамлет. 3-й акт, 1-е действие).

[70] Было тихо и хорошо *(польск.)*.

[71] Моя душа чиста и целомудренна, как если бы я была двухлетним ребенком и на мне не было никакого греха... нашего первородного греха! После исповеди — я начала молиться. Но в тот день я молилась не только, чтобы от него избавиться; нет, я молилась, потому что чувствовала, что должна это делать. Стала ли я набожной? Не знаю, мне кажется, я оставалась той же самой, только... я никогда не была такой спокойной, такой спокойной, как теперь! О, да! Я обожаю нашего Спасителя и его блаженную Мать непорочную Деву *(фр., лат.)*.

[72] Солнце, лазоревое небо и святое причастие!! И что? *(фр.).*

[73] Шведское название главного города Великого княжества Финляндского, входившего с 1820 по 1917 г. в состав Российской империи. После 1917 г. стало употребляться финское название — Хельсинки.

[74] «Ужас» *(фр.).*

[75] комбинации *(фр).*

[76] Туалетная вода французской парфюмерной фирмы Армана Роже и Шарля Галле, поступившая на рынок в 1862 г., обладает терапевтическими свойствами (успокаивает, освежает, бодрит и повышает настроение).

[77] экстракт сандалового дерева *(фр).*

[78] Счастливая молодость!.. счастья — долгие, жалости — короткие... *(польск.).*

[79] Слава богу! Так лучше! *(фр).*

[80] На Эспланаде, широкой улице с аллеями посередине, стоит памятник национальному финскому поэту Йохану Людвигу Рунебергу.

[81] Изогнутая трубка с коленами разной длины, по которой переливается жидкость из сосуда с более высоким уровнем жидкости в сосуд с более низким ее уровнем.

[82] Имеется в виду закон Архимеда.

[83] Любимица *(фр.).*

[84] неважно *(фр.).*

[85] Коробки с обувью «Товарищества Санкт-Петербургского производства механической обуви "Скороход"».

[86] Имеется в виду восточная часть Каменного острова, которая омывается Малой и Большой Невкой, традиционное место прогулок жителей Петербурга.

[87] Из Вступления к поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

[88] «прекрасную даму» *(фр.).*

[89] крайней точке *(фр.).*

[90] Имеется в виду так называемая Строгановская дача, находившаяся вблизи впадения Черной речки в Большую Невку, напротив Каменного острова. Была построена в 1795 г. для графа А.С. Строганова. Со временем дача была разобрана. В.Я. Курбатов писал в 1913 г.: «На Строгановской набережной — остатки Воронихиной дачи...» (*Курбатов В.Я.* Петербург. СПб., 1993. С. 288).

[91] С 1923 г. — ул. Чайковского.

[92] Озеро бассейна Белого моря. Русско-американское акционерное металлическое общество приобрело в 1914 г. Сегозерский чугуноплавильный завод, куда К.В. Островский был назначен директором-распорядителем.

[93] Мир, мир, мир!!! *(фр.).*

[94] Островские посетили Литейный театр Е.А. Мосоловой. Владелица и премьерша этого театра, комедийная актриса Е.А. Мосолова, «жизнерадостная, улыбающаяся, кокетливая и немного легкомысленная, была незаменима в пьесах с улыбкой, <...> на месте в игривых ролях» (газетный отклик В.А. Регинина цит. по: *Петровская И., Сомина В.* Театральный Петербург. СПб., 1994. С. 324).

[95] Польское благотворительное общество «Союз братской помощи» во время Первой мировой войны арендовало на Сергиевской улице квартиры для беженцев из Польши. Р.З. Баженова была секретарем «Союза братской помощи».

[96] а может, и больше! *(фр.).*

[97] с этим ребенком, с этим большим младенцем? *(фр.).*

[98] неплохо *(фр.).*

[99] что-нибудь неуместное *(польск.).*

[100] эта малышка, скорее, милая *(фр.).*

[101] и вот она, наша спальня! *(фр.).*

[102] Парк на горе Тяхтиторнин вуори (Обсерваторной), на которой в 1833 г. была построена обсерватория.

[103] Река Вуокса с многочисленными порогами и водопад Иматранкоски привлекали туристов в финское местечко Иматру.

[104] Элегантная, очень недурна собой, варшавянка, Галина Геджинска, беженка из Лодзи, и ее мама осталась в Королевстве *(польск.).* Имеется в виду Королевство Польское — марионеточное государство, основанное в ноябре 1916 г. и признанное Германской империей и Австро-Венгрией. Было образовано в пределах бывшей российской территории Царства Польского (однако без определенных границ) и существовало как государство-сателлит Германии (до ноября 1918 г.).

[105] «авантюрочки» *(фр.).*

[106] Боже милосердный *(фр.).*

[107] Одним словом *(фр.).*

[108] Вероятно, имеется в виду популярная во время Первой мировой войны песня (слова и музыка В. Сабинина) «Гусары-усачи». Текст записан в альбоме Островской «Extraits choisis»:

Оружьем на солнце сверкая,
Под звуки лихих трубачей,
По улицам пыль поднимая,
Проходил полк гусар-усачей <...> (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 73. Л. 8).

[109] В той же тетради записан текст песни «Последнее танго»:

В далекой, знойной Аргентине,
Где небо южное так сине,
Где женщины как на картине,
Там Джо влюбился в Кло.
Чуть зажигался свет вечерний,
Она плясала с ним в таверне
Для пьяной и разгульной черни
Дразнящее танго <...>.

Под текстом — имя: Иза Кремер (Ф. 1448. Ед. хр. 73. Л. 26). Известная певица И.Я. Кремер часто исполняла эту песню (слова А. Рубинштейна, музыка Е. Дулуара).

[110] Имеется в виду знаменитая мексиканская народная мелодия «El son de la Negra» («Мелодия черной женщины»).

[111] Сведения о песне «Маннарони» найти не удалось. Песенка «Пупсик» пришла на русскую эстраду из оперетты Жана Жильбера «Puppchen» (1913).

[112] Речь идет про Летний театр-ресторан «Комедия» на Невском, д. 98, антреприза солиста Мариинского театра Г.Г. Тякшта. В этот день в его постановке шли балет-дивертисмент «Карнавал», одноактный балет «Крестьянский праздник» и оперетта «Горячая кровь» (музыка и либретто П.П. Шенка).

[113] что поделаешь! *(фр.).*

[114] Николай Анатольевич Попов многократно упоминается в дневнике Островской, чаще всего как Николенька, Николь. В 1930-е гг. он проживал с семьей в Москве по адресу: Б. Левшинский пер., д. 17/25 (справка ГКУ ИС (Паспортный стол района Хамовники. Домовая книга за 1940 г.)).

[115] Фамилию Евгении Алексеевны выяснить не удалось. Вероятно, она в детстве воспитывалась в домах княгини Н.Ф. Ливен (Б. Морская, 43), графини Е.И. Шуваловой и Е.И. Чертковой (на Среднем пр. Васильевского острова). Они содержали в 1870—1890 гг. петербургские великосветские салоны, которые одновременно являлись центрами молитвенных собраний евангельских христиан (одной из христианско-протестантских сект, близкой баптистам).

[116] С.А. Толстая.

[117] К 1916 г. в Петрограде было около 300 лазаретов Петроградского городского комитета Всероссийского Союза городов — общероссийской общественной организации, созданной в августе 1914 г. в Москве на съезде городских голов в целях всесторонней помощи фронту и тылу.

[118] Речь идет о романтической повести Ф.Р. де Шатобриана «Атала, или Любовь двух дикарей» (1801).

[119] Ресторан «Медведь» был открыт в 1878 г. (Б. Конюшенная, 27). В вестибюле стояло чучело медведя с подносом в лапах.

[120] «Что, что? О, Боже, какое убожество!» *(фр.).*

[121] ничего такого особенного *(фр.).*

[122] совершенные ничтожества *(фр.).*

[123] Палас-театр был открыт в 1910 г. на Итальянской, 13 (в настоящее время здесь находится Театр музыкальной комедии). Репертуар его составляли преимущественно оперетты, народные песни и романсы. Из афиши Палас-театра: «В понедельник, 5 сентября [1916] экстраординарный спектакль и концерт Н.В. Плевицкой. Новые цыганские романсы Н.И. Тамара. Аккомпанемент М. Дулова».

[124] другой породы *(фр.).*

[125] Вот и все! *(фр.).*

[126] что делать *(фр.).*

[127] смутить *(фр.).*

[128] это ясно, как день *(фр.).*

[129] Меровинги (конец V — середина VIII в.) — первая династия франкских королей.

[130] Ничего не поделать! *(фр.).*

[131] собеседницу *(фр.).*

[132] это так же важно, как и все остальное!! *(фр.).*

[133] по правде говоря *(фр.).*

[134] тсс! *(фр.).*

[135] Ах, вот уж о чем я никогда не думала *(фр.).*

[136] Франц-Иосиф умер 10 ноября, Э.Ф. Направник — 12 ноября, Дж. Лондон — 11 ноября 1916 г.

[137] о, никогда в жизни *(фр.).*

[138] прелестную малышку *(фр.).*

[139] колики *(фр.).*

[140] все очень хорошо! *(фр.).*

[141] своим родственникам (фр.)

[142] Подумать только *(фр.).*

[143] В архиве Островской сохранилась пачка писем от Ф.А. Арутюнова. Он писал ей: «Когда-нибудь, когда она позабудет меня, эти бумажки, если только она их не уничтожит, могут воскресить в ней <...> сознание собственного могущества и неразгаданного влияния на одну душу <...>. Я бы не простил себе малейшего злоупотребления добротой Сонечки, умную головку которой я целую так горячо, как ни один отец еще не целовал своей дочери» — и нередко повторял эти слова в других письмах. На одном из писем Островская сделала надпись: «Прочитано 7 января 1936 г. — через 7 лет после смерти писавшего» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 83. Л. 15).

[144] глупые глаза *(фр.).*

[145] всадника *(фр.).*

[146] с этим уже покончено *(фр.).*

[147] «монашеское одеяние» *(фр.).*

[148] Поживем — увидим! Итак, попробуем жить и видеть *(фр.).*

[149] Вероятно, Островская имеет в виду своего отца, К.В. Островского, с которым их отношения к этому времени уже стали конфликтными, что известно из поздней записи Островской (1960-е гг.), в которой она, вероятно по просьбе врача-психиатра, прослеживает динамику заболевания брата (Ф. 1448. Ед. хр. 116).

[150] Жизнь очень тяжела, ничего не поделаешь. Наш долг — нести тяжкий груз существования. Люди испорчены, злы, фальшивы... не правда ли? Где должны мы сами искать свое счастье? В удовольствиях, в мимолетных страстях? О, нет, нет! Значит, есть нечто, более великое, более порядочное? Значит, есть свет, чистота, красота? Где доброе, настоящее, великое? *(фр.).*

[151] Нет возможности! *(фр.).*

[152] Имеется в виду Русское купеческое общество взаимного вспомоществования (Владимирский пр., 12). В настоящее время в этом здании находится Театр им. Ленсовета.

[153] *Шугай* — женская одежда, распространенная главным образом на Севере России: короткая кофта с отрезной спинкой и сборами, с удлиненными рукавами и большим отложным воротником.

[154] Вероятно, героиня повести И.С. Тургенева «Фауст» Вера Николаевна Ельцова.

[155] К.В. Островский купил дом по адресу: Преображенская, 8. Островские переехали туда из квартиры, которую занимали недалеко — по адресу: Солдатский пер., 6.

[156] Здесь: военного *(фр.).*

[157] Вероятно, имеется в виду книга В. Гюго «Собор Парижской богоматери» (1831).

[158] Хлеба и зрелищ *(лат.).*

[159] ужасно *(фр.).*

[160] Управление Мурманской железной дороги было образовано в 1917 г. в Петрозаводске. В 1919-м переведено в Петроград и находилось там по 1935 г.

[161] молодая девушка, светская барышня *(фр.).*

[162] Островская ошиблась: здание, в котором располагались Главмилиция и Центррозыск (Большая Лубянка, 2), принадлежало ранее Российскому страховому обществу. С сентября 1919 г. это здание было занято ЧК, затем переходило к ее преемникам: ОГПУ, НКВД и т.д.

[163] Юридическое образование Кишкин получил не в Училище правоведения, а в Петербургском университете. Об участии В.А. Кишкина в убийстве 7 января 1918 г. революционными матросами в палатах Мариинской больницы депутатов Учредительного собрания от партии кадетов А.И. Шингарева и Ф.Ф. Кокошкина сведений нет.

[164] В.А. Кишкин, бывший начальник Петроградского губернского уголовного розыска, был знаком с Островской как с сотрудником подведомственной ему структуры.

[165] Епископ в костеле св. Екатерины, где до 1917 г. Островская была прихожанкой, Я.Г. Цепляк был арестован в апреле 1920 г. Его вскоре освободили, возможно, благодаря ходатайству начальника уголовного розыска Мурманской железной дороги Островской перед начальником Петроградского губернского УГРО В.А. Кишкиным.

[166] Революционные военные железнодорожные трибуналы были учреждены декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г.

[167] виновен или невиновен *(лат.).*

[168] пошел вон *(фр.).*

[169] в конце концов *(фр.).*

[170] Эта запись отсутствует в рукописном дневнике Островской. В машинописную копию она перенесена из тетради (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 40). Вероятно, под влиянием Боричевского Островская фиксирует свои сны и грезы.

Записи из дневника Боричевского:

24 января 1927 г.: «Был у Гинечки. Больна. И все-таки воспользовался случаем и записал некоторые ее грезы. Для главы о переселении душ» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 6. Блокнот 26. Л. 23).

27 января 1927 г.: «Был у Гинечки. Записал некоторые ее грезы — особенно о “предсуществовании”» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 6. Блокнот 26. Л. 25).

[171] Записи «снов о Нине» также перенесены Островской в машинописную копию дневника из тетради (Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 42—60).

16 января 1928 г. Боричевский записывает в дневнике: «Вчера был у Г.В. [Рейтца]. Сделал ему доклад “К психологии веры и бессмертия”. В связи с умершей приятельницей Софьи Казимировны» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 6. Блокнот 30. Л. 19). 19 сентября 1928 г. Боричевский оставляет такую запись: «О своей работе в области “глубинной”. Опыты летом ставил редко. Только закончил серию <...> Нины Б. То есть почти все, что нужно для опытного отдела моих “Основных вопросов парапсихоанализа”» (Там же. Блокнот 32. Л. 7).

[172] Михайловская клиническая больница лейб-медика баронета Виллие (Большой Сампсониевский, 5) была построена на средства, завещанные баронетом Я.В. Виллие.

[173] Семья зубного врача Станислава Антоновича Тотвена, дружившая с семьей Островских, жила по адресу: Большая Конюшенная, д. 29, кв. 5.

[174] Возможно, жена С.А. Тотвена.

[175] В Малом государственном оперном театре (бывший Михайловский) шла оперетта М. Крауса «Клоун» в постановке Н. Смолича.

[176] Торговый дом Гвардейского экономического общества (Большая Конюшенная, 21—23) — памятник архитектуры начала XX в. (арх. Э.Ф. Виррих). Его зал с пролетом в 13 метров перекрыт несколькими легкими железобетонными арками, несущими стеклянный свод. С 1927 г. в этом здании размещался универмаг Дом ленинградской кооперации. (С 1946 г. — Дом ленинградской торговли.)

[177] Судя по записям в дневнике Боричевского, Островская могла бывать в Рефлексологическом институте по изучению мозга им. В.М. Бехтерева и видеть самого Бехтерева. В дневнике Боричевского есть запись от 28 декабря 1927 г.: «Умер Бехтерев. Только что стоял в Институте перед урной. Как странно: еще так недавно, недели две [назад] видел его на заседании нашей комиссии [по изучению парапсихологии]. Пришел на доклад М.М.: смотреть новый прибор. Я не мог остаться на заседании и исчез, едва успев поздороваться. Вышло так, что я пришел только для того, чтобы с ним попрощаться. Небольшая урна с мозгом — все, что осталось от Бехтерева. Постоял и помянул его добром: это первый крупный ученый, признавший мое науковедение. Никогда не забуду» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 6. Блокнот 30. Л. 6, 7).

[178] покорность *(фр.)*.

[179] Отец и сын Ости вели опыты по телекинезу в лаборатории Парижского метапсихологического института (см.: *Osty E., Osty M.* Les Pouvoirs inconnus de l'Esprit sur la Matière // Revue Metapsychique. 1931. № 6; 1932. № 1).

[180] С психофизиологом Л.Л. Васильевым, заведующим лабораторией физиологии в Институте мозга, Островскую познакомил Боричевский.

[181] Это инициалы Г.В. Рейтца и Л.Л. Васильева.

Записи из дневника Боричевского: «Наконец нашелся человек, который кое-что понял. Это молодой ученый, биолог Л.Л. Васильев. Он сам занимается одной из непризнанных областей науки: парапсихологией» (24 марта 1926 г.; Ф. 93. Ед. хр. 5. Блокнот 24. Л. 10); «Посетил Институт мозга. Васильев и его товарищи были очень любезны. Водили меня всюду. И говорили о многом, между прочим, о передаче мыслей на расстоянии. Ждут новых приборов из-за границы» (31 марта 1926 г.; Там же. Л. 12). Г.В. Рейтц в конце 1920-х был практикующим врачом-психиатром и тоже занимался проблемами парапсихологии. Вместе с Рейтцем Боричевский делал опыты по обнаружению (преимущественно у женщин) паранормальных способностей.

12 сентября 1926 г. Боричевский записывает: «Познакомился с д-ром Рейтцем. Высокий, лысый, косоглазый, сдержанный и самоуглубленный <...>. Любопытная беседа о психологии анормальной. Сошлись во многом. И прежде всего: важное значение психоанализа. А здесь он почти не применяется. По остроумному замечанию Рейтца, фрейдисты ищут сексуальность даже в шахматной игре и объявляют короля предметом эдипова комплекса. А богатейшее поле подлинного подсознания остается неразработанным» (Там же. Блокнот 25. Л. 46, 47, 48). В дневнике Боричевского много записей о его общении с Рейтцем, о посещении Рейтца вместе с Островской, об их совместных беседах на следующие темы: паранормальные личности, кинетические способности, способности к вчувствованию, границы «вживания» в чужую жизнь. 9 мая 1927 г. Боричевский записал в дневнике: «Изложил Рейтцу свой провокационный опыт с Софьей Казимировной. Рейтц: “Я запретил Софье Казимировне опыты по фотографиям” (т.е. со мной). Так и сказал: “Запретил”. <...> Даже такой человек, как Рейтц, не устоял против стремления к монополии» (Там же. Ед. хр. 6. Блокнот 27. Л. 27, 28).

[182] В 1928 г. М. Гришан находилась в ссылке в Средней Азии.

[183] К.В. Островский был арестован 22 ноября 1929 г. Он проходил по делу сотрудников Русского технического общества (К.В. Островский, В.И. Тейдеман, С.К. Грилихес и А.П. Шведчикова) (Архивная справка ФСБ по Делу 1920—29 // Архив Центра «Возвращенные имена»). Они обвинялись «в экономическом шпионаже в пользу буржуазной Латвии и Финской концессии, в тесной связи с расстрелянным за вредительство и экономическую контрреволюционную деятельность профессором Пальчинским». Русское техническое общество было объявлено «рассадником контрреволюции и антисоветских настроений» среди инженерно-технических слоев Ленинграда. По постановлению особой тройки ОГПУ в ЛВО от 1 сентября 1930 г. Островскому было «определено содержание в концлагере сроком на 8 лет».

В архиве Островской имеется адресованное ей письмо А.И. Солженицына от 18 мая 1969 г.: «Мои друзья <...> сказали мне, что Вы хорошо знали семью Пальчинского и его самого. <...> Мне интересно бы знать:

1. Откуда происходила вся семья Пальчинских, каковы были отец и мать его, какие традиции были заложены в его воспитании?

2. Откуда пришло к нему революционерство и откуда страсть к инженерии?

3. Его наружность (особенно — к 1913—17 гг., да и в 20-е), черты его характера. Разные бытовые случаи, как бы мелки и незначительны они ни казались.

4. Его фотографии — особенно (нельзя ли на некоторое время получить их?).

5. Данные о его жизни, взглядах и частых высказываниях после революции и до дня ареста.

6. О его жене и дочери (кажется, была дочь?).

За все, что Вы сможете мне сообщить, — сердечно благодарю Вас заранее. Всего Вам доброго и здоровья прежде всего. (Подпись)» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 97). Ответ Островской неизвестен. Петр Пальчинский — прототип Петра Ободовского, одного из героев эпопеи Солженицына «Красное колесо».

[184] Имеется в виду Л.Д. Оранжиреева. Ее нервное заболевание могло быть связано с тем, что в 1925 г. был расстрелян ее брат Николай.

[185] господами *(фр.).*

[186] крепостными *(фр.).*

[187] См. в рассказе А.П. Чехова «Свадьба с генералом»: «Ужасно ей хочется, чтобы на свадьбе присутствовал генерал! Тысячи рублей им не надо, а только посадите за их стол генерала!» (*Чехов А.П.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1970. Т. 1. С. 420).

[188] из духа противоречия *(фр.).*

[189] *Торгсин* — Торговый синдикат (Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами) существовал с 1931 по 1936 г. и обслуживал зарубежных гостей и советских граждан, имеющих «валютные ценности», которые можно было обменять на потребительские товары.

[190] А.О. Смирнова-Россет была крестной матерью матери Островской.

Брат А.О. Смирновой-Россет Аркадий Осипович Россет был другом Франциска Адамовича Корчак-Михневича — деда Островской по материнской линии. После Польского восстания 1863—1864 гг. дед за причастность к нему был присужден к конфискации земель и недвижимого имущества и к выселению в Восточную Сибирь (с женой и маленькой дочерью Софьей). А.О. Россет выхлопотал ему разрешение остаться в Москве на постоянное жительство. Корчак-Михневичи жили в Москве в одном доме с А.О. Россетом (дом Батюшковой на Тверской у Страстного монастыря). В 1871 г. в их семье родилась дочь Анастасия, которую и крестила А.О. Смирнова-Россет. См. копию письма Островской в дирекцию Музея-квартиры А.С. Пушкина на Мойке от 4 января 1969 г. (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 80).

[191] Так Островская называет свою подругу Е.В. Палтову.

[192] Военно-политическая Академия им. Н.Г. Толмачева была создана в 1925 г. и подчинялась непосредственно Политическому управлению Красной армии. Академия готовила политических работников для армии и флота и преподавателей социально-экономических дисциплин для военно-учебных заведений. В 1938 г. была переведена из Ленинграда в Москву.

[193] К.Н. Попова работала экономистом во Всесоюзной государственной конторе по снабжению электростанций и электропроизводств.

[194] Так Островская называет А.М. Оранжирееву.

В дневнике Боричевского за 1928 г. встречаются упоминания об А.М. Оранжиреевой: «Был первый раз у Антонины Михайловны. Самой нелюбимой из моих дам. Все ее ругают. Находят у нее даже преступные наклонности. Говорили о ее нелестной славе. О С.К. и т.д. <...> При разговоре она никогда не смотрит в лицо. Но в ней что-то есть»; «Был у Антонины Михайловны. Златоволосая "баронесса" очень милое существо. Ничего нет в ней криминогенного. Просто от страстей спасается страхами и работой. И большая умница» (29 января и 18 мая; ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 6. Блокнот 31. Л. 12, 24).

[195] Сведениями об этом лице мы не располагаем.

[196] Судя по записям в дневнике Боричевского, М.М. Севастьянов тоже занимался в Институте мозга изучением паранормальных явлений (см.: *Севастьянов М.М.* Современные кудесники и наука // Вестник знаний. 1927. № 17. С. 1409—1414).

[197] Возможно, Островская познакомилась с главным юрисконсультом Волховстроя Я.М. Магазинером в связи со своей работой переводчицей в учреждениях и на конференциях, имеющих отношение к различным аспектам гидрологии.

[198] Идентифицировать это лицо не удалось.

[199] П.К. Лерхе в это время жил в Твери.

[200] Так Островская называет свои литературные опусы, из которых, как ей представляется, должно состоять главное произведение ее жизни. Некоторые из них, написанные в символистской манере, возникли не без влияния от общения с «эпикурейцем» Боричевским. К примеру: «Простая и темная одежда стоиков спадала с плеч Твоих. Я склонилась, приветствуя тебя <...> — Может быть, мне придется покинуть ваш берег навсегда, — сказал Ты... Я спросила: — Это Учитель посылает Тебя на родину? — Да, — ответил Ты, — да, это Учитель <...>. Кроме того, ваш эпикурейский город не любит и не понимает нас <...>. Ты найдешь другого руководителя, сестра...» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 23. Л. 3—4).

[201] Сотворите молчание *(лат).*

[202] День католического святого Доминика, основателя монашеского ордена доминиканцев, отмечается 6 августа. В этот день в 1221 г. он умер.

[203] Осанна и Из глубины восстав (*лат.*). Осанна (спаси, мы молим) — торжественное молитвенное восклицание (Пс. 117: 25). В Новом Завете выражение «осанна» встречается при описании входа Господня в Иерусалим: «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! Благославен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12: 12—13).

[204] Речь идет о Б.С. Петропавловском.

[205] Так Островская называет друга своей молодости Г.П. Вестерлунда — в ее альбоме есть следующие записи: «Петроград 27 марта 1923 г. Герман Петрович Ве-

стерлунд»; «Прощальные слова единственной Софии Казимировне в день отъезда Гермуши на родину. 1 марта 1926 г., понедельник» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 31, 32).

[206] IV Балтийская гидрологическая конференция проходила в Ленинграде в сентябре 1933 г. В конференции приняли участие 400 ученых из Германии, Швеции, Дании, Польши, Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии и вольного города Данцига.

[207] Гидрологический институт был создан в 1919 г. с целью изучения гидрологического режима вод суши. В настоящее время — Государственный гидрологический институт.

[208] «Христианская наука» (*англ.*) — протестантское движение, основанное в Бостоне в 1879 г. Мэри Бейкер Эдди. Священными книгами «христианской науки» являются Библия и написанные Мэри Бейкер Эдди книги «Христианская наука» и «Наука и здоровье, с ключом к Писаниям». Она интерпретировала свое учение как научное, которое поддается практической проверке. Сторонники «христианской науки» считают, что человек и Вселенная по своей природе являются духовными, а не материальными и что добро и добродетель являются реальностью, тогда как зло и ошибки являются мнимым следствием иллюзорного материального существования. Поэтому они полагают, что через молитву, знание и понимание можно достичь практически всего. Например, всем методам лечения следует предпочесть исцеление через особые молитвы, направленные на пробуждение духовности в мышлении.

[209] В конце XII в. бременский каноник Альбрехт фон Буксгевден прибыл в Ливонию, основал в 1200 г. город Ригу и был первым рижским епископом. На русской службе Буксгевдены с середины XVIII в.

[210] Имеется в виду Г.О. Буксгевден.

[211] Память Блаженного Августина, одного из Отцов Церкви, отмечается католической церковью 28 августа.

[212] То есть туберкулез.

[213] Русское географическое общество было создано в 1845 г. В 1909 г. получило здание по адресу: Демидов пер., д. 8а (ныне пер. Гривцова, д. 10), построенное в стиле модерн архитектором Г.В. Барановским.

[214] которая оказывает им радушный прием *(фр.)*.

[215] Строительство Нижнесвирской ГЭС производилось с использованием труда заключенных. Первый гидроагрегат ГЭС был пущен 19 декабря 1933 г.

[216] Волховская гидроэлектростанция на реке Волхов в Ленинградской области, пущенная в 1926 г.

[217] После Гражданской войны аэрологическая обсерватория, созданная еще в 1912 г. в поселке Онтолово, была переведена в Павловск. Декретом Совета Народных Комиссаров от 21 июня 1921 г. Павловская обсерватория была включена в состав метеорологической службы РСФСР, руководство которой было возложено на Главную физическую обсерваторию (с 1924 г. Главная геофизическая обсерватория). В 1930-е гг. Павловская аэрологическая обсерватория (Аэрологический институт)

стала центром изучения атмосферы и земного магнетизма. Была разрушена фашистами осенью 1941 г. Ее функции приняла на себя созданная в Москве Центральная аэрологическая обсерватория.

[218] Рукописи немецкого астронома И. Кеплера были приобретены Екатериной II в 1775 г. С открытием Пулковской обсерватории они были переданы в библиотеку обсерватории, где хранятся и в настоящее время.

[219] Это стихотворение Островская включила в машинописную копию дневника из своей тетради для записи стихотворений (Ед. хр. 22. Л. 54—55).

[220] *Люмбаго* — невралгия поясничной области *(лат.).*

[221] скуловой нерв *(лат.).*

[222] 9 сентября 1933 г. А.А. Миллер на основании ордера ОГПУ был арестован в составе группы сотрудников Этнографического отдела Русского музея. Проходил по «делу славистов», обвинялся в принадлежности к мифической контрреволюционной фашистской организации «Российская национальная партия».

[223] Название произведения Островской (о нем будут упоминания и в дальнейшем; см. записи от 13 августа 1937 г. и 19 августа 1943 г.; ср. также стихотворение, записанное 10 сентября 1945 г.).

[224] Ракетная научно-исследовательская и опытно-конструкторская Газодинамическая лаборатория (ГДЛ) занималась разработкой реактивных минометов. В конце 1933 г. вошла в состав Реактивного научно-исследовательского института и была переведена в Москву.

[225] Записи о детстве и о Боге вставлены Островской в машинописную копию ее дневника из тетради (Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 1—4).

[226] Тело Христово *(лат).* В католической традиции наиболее значимые торжества праздновались с октавой (октава — от *лат.* octo, восемь), то есть в течение восьми дней. Праздник Corpus Domini, начинавшийся на 60-й день после Пасхи, в четверг после праздника Пресвятой Троицы, длился октаву. В этот праздник месса завершалась торжественной процессией и поклонением Святым Дарам.

[227] Островская имеет в виду изображение Мадонны работы немецкого художника Куно фон Боденгаузена, модное в начале XX в. (см.: *Горький М.* Жизнь Клима Самгина. М., 1987. Ч. 2. С. 36: «...репродукции с этой модной картины торчали в окнах всех писчебумажных магазинов города»).

[228] Запрестольный образ Богоматери с Христом-младенцем на руках в апсиде главного нефа Киевского кафедрального Свято-Владимирского собора — роспись работы В.М. Васнецова (1896).

[229] Эрмитажное полотно Леонардо да Винчи, созданное в 1478—1482 гг.

[230] Упомянуты Острobрамская икона Божией Матери, находящаяся в Вильнюсе в часовне над воротами, называемыми «Острая брама» (от польск. «брама» — ворота), и Ченстоховская икона Божией Матери из монастыря в польском городе Ченстохов.

[231] Румянцевский музей возник как частная коллекция, которую собрал граф Н.П. Румянцев. После его смерти в 1826 г. Румянцевский музей был передан в веде-

ние государства. Книжный фонд Румянцевского музея был реорганизован в библиотеку. В 1924 г. на ее основе была создана Государственная библиотека СССР им. В.И. Ленина.

[232] понедельник *(фр.)*.

[233] Так Островская называет В.А. Зайковского: в 1921 г. она писала в дневнике о его польской гордости, в 1937 г. — будет вспоминать «купе Пана за Полярным Кругом».

[234] Этим именем Островская называет Е.Г. Бюргера.

[235] Андрей Белый умер 8 января 1934 г.

[236] старомодная *(англ.)*.

[237] Имеются в виду В.Д. Палтов и В.Н. Палтова.

[238] Родственник Островской. См. письмо Сони Островской матери от 22 марта 1913 г.: «Поклон Елизавете Акакиевне и ее детишкам, Ольге Андреевне, Софии Францисковне Войшнис-Михневич, дяде М. Островскому, Теплякову (хотя его я забыла)» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 78. Л. 3).

[239] официальной любовницей *(фр.)*.

[240] Имеется в виду Н.И. Рейтц-Борейша.

[241] Инженерная, 4. В этом доме было ведомственное жилье сотрудников Русского музея.

[242] А.А. Миллер был осужден по ст. 58—4. 10, 11 УК РСФСР 29 марта и 2 апреля 1934 г. соответственно Коллегией и Особым совещанием при Коллегиии ОГПУ, приговорен к пяти годам лагерей с заменой ссылкой в Казахстан (Архивная справка ФСБ по Делу П—30695).

[243] насовсем *(фр.)*.

[244] Стихотворение «Усадьба» Островская включила в машинописную копию своего дневника из рукописной тетради для записи своих стихотворений (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 22. Л. 57—58).

[245] См.: *Кобеко Д. Ф.* Цесаревич Павел Петрович (1754—1796): Ист. исследование. СПб., 1882.

[246] См.: *Гершензон М.О.* Грибоедовская Москва. М., 1914.

[247] Имеется в виду туберкулезный диспансер, переведенный с ул. Петра Лаврова (б. Фурштадтская) в Городскую клиническую больницу № 16 им. В.В. Куйбышева (б. Мариинская). 29 июля 1937 г. Боричевский записал: «Видел недавно С.К. У нее туберкулез второй стадии. И она страшно загружена переводами» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 11. Блокнот 58. Л. 9).

[248] второе зрение *(фр.)*.

[249] См.: *Lenôtre G.* Paris révolutionnaire. P., 1896.

[250] Молчи *(фр.)*.

[251] А.А. Миллер в Казахстане в ссылке работал в одном из среднеазиатских музеев. Затем был вновь арестован. Умер 12 января 1935 г. в Карагандинском ИТЛ (см.: Люди и судьбы: Библиографический словарь востоковедов — жертв политического террора в советский период (1917—1941). СПб., 2003. С. 268).

[252] высшего света *(фр.)*.

[253] Оранжиреева уехала в Хибины осенью 1934 г. С 1 октября 1934 по 10 ноября 1936 г. она исполняла обязанности ученого секретаря Кольской базы АН СССР.

[254] Адрес А.М. Оранжиреевой: Петроградская сторона, Большой пр., д. 72, кв. 15.

[255] Имеется в виду Н.Д. Оранжиреев. Он служил инженером на Николаевской железной дороге. Публиковал статьи в сборниках материалов по эксплуатации дороги, издал книгу «Попикетный ремонт пути, его применение и значение для путевого хозяйства» (М., 1916). Выпустил также сборник стихов «Баллады на темы жизни. Вып. 1 (пока единственный). 1. Итальянец. Что мужику здорово — барину смерть. Баллада инженерная. 2. Три чина. Ближний люби ближнего — сам не лучше его. Баллада великосветская» (Новгород, 1916), книгу «Преступление и наказание в математической зависимости» (М., 1916), где предложил математические эквиваленты преступной деятельности, вычислил коэффициенты зависимости наказаний от тех или иных преступлений, дал, по его мнению, математически обоснованную таблицу наказаний. Три экземпляра этой книги автор послал Николаю II (РГИА. Ф. 472. Оп. 50. Ед. хр. 1668). После революции служил контролером Контроля по строительным операциям Общества Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги. В 1919 г. поступил в Петроградский университет на юридическое отделение факультета общественных наук. В том же 1919 г. был арестован без предъявления обвинения, но освобожден: по постановлению Коллегии Петроградской районной транспортной чрезвычайной комиссии от 6 декабря 1919 г. за недоказанностью факта преступления дело производством было прекращено (Архивная справка ФСБ дело № П—19388 // Архив центра «Возвращенные имена»). В 1920 г. женился на А.М. Розен. Из университета Н.Д. Оранжиреев ушел из-за необходимости содержать семью. Преподавал в Политехникуме путей сообщения. 25 февраля 1925 г. на основании ордера Полномочного представительства ОГПУ в Ленинградском военном округе был вновь арестован. Проходил по «Делу лицеистов».

Коллегия ОГПУ от 22 июня 1925 г. вынесла приговор — расстрел. 2 июля 1925 г. приговор был приведен в исполнение (см.: *Телетова Н.К.* «Дело лицеистов» // Звезда. 1998. № 6. С. 130—131).

[256] Парижская тюрьма.

[257] все хорошо — все очень хорошо *(фр.)*.

[258] *Зеленый луч* — редкое оптическое явление, вспышка зеленого света в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом (обычно морским).

[259] Торговая улица Парижа.

[260] До каких же пор (терпеть что-либо)! *(лат.)* — начальные слова речи Цицерона против Катилины.

[261] Цитируются первые строки агитационной песни К. Рылеева, написанной совместно с А. Бестужевым.

[262] Знаю, что ты меня обманешь,
Но я люблю твой голос *(фр.)*.

[263] В твоих объятьях я чувствую себя такой маленькой *(фр.)*.

[264] До самой смерти *(лат.)*.

[265] воскресенье *(фр.)*.

[266] Воображаемые портреты и путешествия *(фр.)*. Возможно, аллюзия на книгу: *Патер У.* Воображаемые портреты / Пер. и вступ. ст. П. Муратова. М., 1916.

[267] Ресторан «Дарьял» — набережная р. Мойки, 59 (Невский пр., 15).

[268] На нас кровь Христа — она может быть как искупительной, так и обвинительной... Сможем ли мы принять чудесный дар божественной нежности и его требований? Всякая любовь — требовательна *(фр.)*.

[269] *Друиды* — жрецы и поэты у древних кельтских народов. Долгое время считалось, что друидические обряды основывались на поклонении дубу.

[270] Неизвестно, собственное это произведение Островской или перевод. В архиве Островской оно не обнаружено.

[271] См.: *Леонов Л.* Барсуки. М., 1924.

[272] И.П. Павлов умер 27 февраля 1936 г..

[273] Всесоюзный институт экспериментальной медицины (ВИЭМ) создан был в 1932 г. на базе существовавшего с 1890 г. Императорского Института экспериментальной медицины. В 1933 г. Л.А. Орбели руководил в ВИЭМе Отделом эволюционной физиологии и специальной физиологии.

[274] *Дольный* — земной. По-видимому, выражение заимствовано из стихотворения Н. Гумилева «Она» (1912), посвященного Ахматовой:

<...> Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью, дольной и отрадной,
Высокомерна и глуха.

[275] То есть принадлежащий к высшему командному составу. В 1919 г. Революционный Военный Совет Республики ввел нарукавные знаки различия командного состава: под красной звездой красные суконные треугольники для младшего комсостава, квадраты для среднего и ромбы для старшего.

[276] В 1927 г. в СССР рождественская елка была объявлена религиозным пережитком. Вновь была разрешена как новогодняя перед наступлением 1936 г.

[277] Медсестра, приятельница Островской.

[278] «Правление Ленинградского отделения Союза советских писателей и литературный фонд извещают о смерти члена Союза советских писателей Кузьмина Михаила Алексеевича, умершего 1 марта 1936 г. Вынос тела из больницы им. Куйбышева (пр. Володарского, 56) 5 марта в 2 ч. дня» (Ленинградская правда. 1936. 4 марта).

[279] Дом литераторов существовал в Петрограде с 1918 по 1922 г. (по адресу: Бассейная (с 1918 г. — ул. Некрасова), д. 11). Был создан с целью материальной и моральной поддержки писателей в период голода и разрухи в стране. Здесь проходили встречи, вечера, диспуты.

[280] Речь идет о стихотворном цикле «Александрийские песни» (1905—1908).

[281] Строка из «Заключения» к «Александрийским песням» М. Кузмина.

[282] сотрясения *(лат.).*

[283] дружбы-любви *(фр.).*

[284] У королей своя тайна... *(фр.).*

[285] 14 марта суббота *(фр.).*

[286] О, соловей, узнай от бабочки, как нужно любить: сгорать от любви... Какую надпись нужно сделать на твоей могиле? Не привязывайся сердцем к тому, что проходит...

Саади.

Похороны... *(фр.).*

[287] См.: *Манн Т.* Волшебная гора / Пер. В.А. Зоргенфрея // Манн Т. Собр. соч. Л., 1934. Т. 4. С. 411.

[288] От *лат.* pluŝ quam perfectum — «больше, чем перфект», т.е. «больше, чем совершенное»; иногда в смысле: «давнопрошедшее», «предпрошедшее».

[289] Всегда со старыми развалинами! (*фр.*).

[290] Фамилия бытовала в двух вариантах: Дмитренко и Дмитриенко. См. о нем в некрологе: «Долгая и тяжелая болезнь вырвала из рядов Красной Армии боевого заслуженного командира, комбрига Варфоломея Ивановича Дмитренко. <...> Тов. Дмитренко героически дрался против деникинцев на Кавказском и Южном фронтах, против белополяков, против банд Антонова и басмачей. <...> За свои боевые отличия тов. Дмитренко был награжден двумя орденами Красного Знамени, военным орденом Монгольской народной республики, почетным революционным оружием и рядом других наград. Будучи старшим руководителем по кавалерии в Военно-политической ордена Ленина Академии РККА им. Толмачева, он поднял дело кавалерийской подготовки слушателей на большую высоту. <...> Широта его кругозора и большие организаторские способности нашли свое выражение в его работе по материальному обеспечению в Академии. Шапошников [и еще 30 подписей]» (Ленинградская правда. 1936. 28 апр. С. 4).

[291] Ленинградский военный округ.

[292] По-видимому, комбригу Кубанской кавалерийской дивизии В.И. Дмитриенко принадлежала шашка убитого в октябре 1918 г. в Пятигорске заложника — генерала от кавалерии князя Г.А. Туманова.

[293] Дачное место под Ленинградом.

[294] В сентябре 1935 г. в Ленинграде проходил III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии, в котором приняли участие ученые 25 стран.

[295] *Вишан* — характерная разновидность кавказских мегалитов, огромные каменные изваяния рыб. *Менгир* — простейший мегалит в виде установленного человеком грубо обработанного дикого камня, у которого вертикальные размеры существенно превышают горизонтальные. *Долмен* — древнее погребальное сооружение, один из видов мегалитических построек. Долмены сложены из огромных каменных

глыб и плит, поставленных вертикально и покрытых одной или несколькими плитами сверху.

[296] Названия озер, древнего города и горы в Армении.

[297] *Хайастан* (Айастан) — название Армении у армян. Островская вспоминает разговоры с Ф.А. Арутюновым после его освобождения из Ивановского лагеря заложников, где он пробыл с 1919 по 1921-й. После освобождения он скитался, не имея ни жилья, ни средств к существованию. Встретившись с Островской, строил планы уехать вместе с ней на родину в Армению и заниматься сельским хозяйством.

[298] 15 мая 1936 г. спектакль «Нора» по пьесе Г. Ибсена «Кукольный дом» шел на Малой сцене Госдрамы (впоследствии — Театр им. В.Ф. Комиссаржевской) в постановке Б.А. Бабочкина.

[299] «Revue des Deux Mondes» (Париж; 1829—1944) — французский журнал.

[300] Завод по выпуску ламп накаливания, созданный в 1920 г. Название «Светлана» — аббревиатура: СВЕТовые ЛАмпы НАкаливания.

[301] Палеонтологический термин, вид отпечатка насекомого *(лат.)*.

[302] Зоологический институт Академии наук СССР был создан в 1930 г. на основе Зоологического музея.

[303] Озерной переулок находится рядом с ул. Радищева (бывш. Преображенская), где в эти годы в д. 17/19 жила Островская.

[304] Для меня все это еще не совсем мертво *(фр.)*.

[305] Мне заплатили! *(фр.)*.

[306] С 1927 г. в СССР стало разворачиваться массовое движение по подготовке всех граждан к противовоздушной и противохимической обороне (ПВХО). Значительный вклад в это движение вносило Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству СССР (Осоавиахим), созданное в 1927 г. Центральный совет Осоавиахима разработал нормы комплекса «Готов к противовоздушной и противохимической обороне», введенные в действие в 1934 г. По этим нормам в стране проводились соревнования, в которых участвовали сотни тысяч человек.

[307] Ботанический институт АН СССР был образован в 1931 г. в результате слияния Ботанического сада с Ботаническим музеем АН СССР.

[308] «Столица и усадьба» (Петербург (Петроград), 1913—1917) — иллюстрированный «журнал красивой жизни», печатавший статьи по истории русской усадьбы и по искусству.

[309] От *лат.* Æther — эфир.

[310] Я проживаю жизнь: быть может, эта жизнь велика и прекрасна. На нас кровь Христова *(фр.)*.

[311] Город на севере Ирака.

[312] М. Горький умер 18 июня 1936 г.

[313] Анри де Ренье умер 23 мая 1936 г.

[314] Какой артист погибает! *(лат.).* По свидетельству Светония, эти слова произнес римский император Нерон перед тем, как лишить себя жизни.

[315] Боричевский записал в дневнике 12 июля 1936 г.: «Встретил вчера Софью Казимировну. Неожиданно, у трамвая. Долго гуляли по набережной. Она — худая, как и прежде. Замуж не вышла. И говорит: у нее нет никакого энтузиазма. Нет веры ни в какое дело. Поэтому и дневников не ведет. И писем не пишет. Но живая и остроумная, как прежде» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 10. Блокнот 52. Л. 10, 11).

[316] Однако любовь должна здесь замолчать, так как самый слабый голос, разоряя это громадное гнездо, навсегда заполнит его отчаянными жалобными криками *(фр.).* Цитируется стихотворение «La Caverne» («Пещера») Шарля Фюстера из сборника «Сонеты» (1887—1888).

[317] Ленинградский институт инженеров водного транспорта был создан в 1930 г. на базе водного факультета Ленинградского института инженеров путей сообщения.

[318] Роман польского писателя Г. Сенкевича.

[319] Имеется в виду С.С. Тотвен.

[320] Возможно, имеется в виду монография о Г. Берлиозе французского музыковеда Адольфа Бошо (*Boschot A.* Le Faust de Berlioz. P., 1927).

[321] Островская имеет в виду дом, где жил Рейтц: Наб. р. Фонтанки, 189.

[322] См.: *Duhamel* G. Chronique des Pasquier. P., 1935.

[323] салонная игра *(фр.).*

[324] горжетка *(фр.).*

[325] Я.М. Магазинер в это время ожидал ареста: несколько месяцев назад арестовали свекра его дочери переводчика М.А. Дьяконова. Магазинера арестовали через полгода.

[326] Вы жестоки! Ты жестока! *(фр.).*

[327] «самая правдивая, самая настоящая замужняя женщина» *(фр.).*

[328] Краткое название королевства Саудовская Аравия на арабском языке.

[329] По-видимому, имеется в виду М.В. Ильинчик.

[330] Жилищно-арендное кооперативное товарищество.

[331] Песнь о Роланде *(фр.)* — средневековый героический эпос, записанный на старофранцузском языке.

[332] Семейный круг *(фр.). Maurois A.* Le cercle de famille. P., 1932.

[333] Приказ № 180 по Кольской базе АН от 7 ноября 1936 г.: «Премировать Оранжирееву А.М. — ученого секретаря базы — за исключительно огромную работу по оказанию содействия научным экспедициям, за организацию и постановку учета научной работы, за создание научного архива материалов по Кольскому полуострову — путевкой в дом отдыха на Южное побережье Крыма». В ноябре 1936 г. Оранжиреева уехала в отпуск и не вернулась на базу, уволившись по окончании отпуска с 28 января 1937 г. «по состоянию здоровья», как видно из документов ее личного дела, хранящегося в Научном архиве. См.: Кировский рабочий. 2000. № 39. 29 сент. С. 3.

[334] Неточная цитата из стихотворения А. Кольцова «Песня» (1840).

Правильно:

Дуют ветры.
Ветры буйные,
Ходят тучи,
Тучи темные.

[335] Цитируется роман Андре Моруа «Семейный круг» (см.: *Моруа А.* Семейный круг. М., 1989. С. 98).

[336] «Под знаменем марксизма» (Москва, 1922—1944) — философский и общественно-экономический журнал.

[337] См.: *Луппол И.* Лев Толстой, история и современность // Под знаменем марксизма. 1936. № 1. С. 151—163.

[338] См.: *Фейхтвангер Л.* Безобразная герцогиня: Роман / Пер. с нем. В. Вальдман. Л., 1935.

[339] Английская королева Елизавета I Тюдор, отказываясь от замужества, заявляла, что «обручена с нацией». К концу 1580-х гг. сформировался ее культ: в народном сознании королева-девственница уподоблялась Деве Марии и считалась покровительницей протестантской Англии.

[340] См.: *Larbaud V.* Enfantines [Детское]. P., 1932; *Mazeline G.* Les Loups [Волки]. P., 1932.

[341] В германо-скандинавской мифологии Фрейя — богиня любви и войны, плодородия, эроса.

[342] 10 декабря 1936 г. король Эдуард VIII подписал отречение от престола. На следующий день он по радио обратился к нации, заявив, что поступил так, поскольку находит невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую любит.

[343] Город Хибиногорск (основан в 1929 г.) на Кольском полуострове в 1934 г., после убийства С.М. Кирова, был переименован в Кировск.

[344] милосердие, жертвенная любовь *(лат.).*

[345] См.: *Яцевич А.Г.* Пушкинский Петербург. 4-е изд. Л., 1936.

[346] Это конец. Я следую за крестом *(фр.).*

[347] *Синяя птица* — образ, заимствованный из одноименной пьесы Мориса Метерлинка, символизировал для Островской способность к высокому творчеству.

[348] Зло... свет... хорошо... я люблю тебя... чистый... великолепие... приди... ждать... опора... красота *(фр.).*

[349] «Нормандия» — трансатлантический турбоэлектрический почтово-пассажирский лайнер, предназначенный для срочных трансатлантических рейсов по линии Гавр — Плимут — Нью-Йорк. Был спущен на воду в 1932 г.

[350] До 1918 г. и с 1944 г. — Дворцовая площадь.

[351] Речь идет о В.А. Зайковском и поездке Островской с ним в самом начале 1920-х гг. в Заполярье.

[352] Папиросы марки «Беломорканал», которые с 1937 г. производила ленинградская Фабрика им. Урицкого, были дешевы и необычайно популярны в СССР.

[353] В Государственном Академическом театре оперы и балета им. Кирова (б. Мариинский) шла опера «Евгений Онегин» в постановке 1928 г. Режиссер-постановщик Э.И. Каплан, художник В.В. Дмитриев.

[354] Статья 58—10 Уголовного кодекса РСФСР «Контрреволюционная пропаганда и агитация» касалась преступлений, квалифицируемых как пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений, равно как распространение, или изготовление, или хранение литературы того же содержания.

[355] Институт был создан в 1920 г. как Северная научно-промысловая экспедиция при Научно-техническом отделе ВСНХ. С 1925 г. — Институт по изучению Севера, с 1930 г. Научно-исследовательский всесоюзный арктический институт. В 1932 г. вошел в систему Главного управления Северного морского пути.

[356] Сведений о сдаче Островской государственных экзаменов и о получении высшего образования в ее университетском деле нет (см.: ЦГА СПб. Ф. 7241. Оп. 3. Ед. хр. 872).

[357] Издательство, созданное в 1919 г. по инициативе и при ближайшем участии М. Горького с целью пропаганды мировой классики.

[358] «Гроза» (1933; реж. Владимир Петров).

[359] В конце 1930-х гг. Гнедич снимала дачу в г. Пушкин.

[360] *Эталаж* — выставка, обзорная раскладка товаров (от *фр.* etalage — выкладка товара на витрине и прилавке).

[361] Благостность в принятии мира — основная идея нищенствующего монашеского ордена францисканцев, основанного в 1208 г.

[362] Доминиканская инквизиция — особенно жесткий период в истории инквизиции (XIII—XIV вв.), когда ее функции были изъяты из компетенции епископов и вверены постоянным инквизиционным трибуналам при монашеском ордене доминиканцев.

[363] Фрейлина Екатерины II.

[364] Цитата из стихотворения Островской 1931 г. «О, память сердца вовсе не легка...» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 22. Л. 84).

[365] Камеронова галерея названа по имени ее создателя — архитектора Ч. Камерона. Задумана была Екатериной II для прогулок и философских бесед. Строительство галереи было завершено к 1787 г.

[366] См.: *Блок А.* Дневник (1911—1913). Л., 1928.

[367] См.: *Huysmans J.-K.* A Rebours. P., 1926.

[368] И.М. Гревс был профессором Петроградского университета в те годы, когда там училась Островская.

[369] Островская вспоминает Рейтца. О Рейтце см. записи в дневнике Боричевского: 18 января 1937 г.: «У Густава Владимировича... Опыты с сильными возбудителями. Только мы двое испытуем психику будущего» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 10. Блокнот 55. Л. 6). 11 мая 1937 г.: «Был у Густава Владимировича. У него опыты идут

удачно. Метод сильных возбудителей раскрывает души. Выкладывают себя и такие, кто целые годы молчит» (Там же. Л. 19).

[370] Речь идет про Морской отдел Гидрологического института.

[371] Еккл. 1: 2.

[372] Возможно, речь идет о Николае Михайловиче Менере, рабочем вагоно-строительного завода им. Егорова, бывшем соседе Островских по дому 19/17 на Преображенской улице (см.: ЦГА СПб. Ф. 7965. Оп. 1. Ед. хр. 2320. Л. 47).

[373] Правильно: «сплошной, моргасной, бесцельной, пещерной, безметельной зимой» (*Пильняк Б.* Третья столица // Круг. М., 1923. Кн. 1. С. 210—211, 280).

[374] «Просто жизнь» в «чью-то жизнь» *(фр.)*.

[375] Цитата из пьесы итальянского писателя и драматурга Луиджи Пиранделло «Это так (если вам так кажется)» (1917) о женщине, принимающей навязанные ей противоположные роли.

[376] прошлых времен *(фр.)*.

[377] Через месяц, 15 октября 1937 г., М.А. Гржибовский был арестован, а 1 ноября — расстрелян.

[378] Личные отношения Островской с Е.И. Замятиным завязались в начале 1920-х гг., когда Замятин преподавал в студии Дома искусств и работал в редколлегии «Всемирной литературы», где и могло состояться их знакомство.

В архиве Островской сохранилась копия письма к ней Замятина от 25 февраля 1922 г.:

«Дорогая Софья Казимировна. Горе в том, что около чугунного бога — сердце не очень-то согреешь. Это главное. А что я Вас не забыл — это Вы, может быть, когда-нибудь узнаете. Относительно книг — сейчас, кажется, ничего не могу придумать: в голове очень легкомысленно — собираюсь идти на маскарад Дома Искусств (взяли бы Вы тоже и пошли — это было бы очень талантливо). Купить книги можно в Академическом книжном магазине — кажется, этот магазин на Литейном. На левой стороне между Бассейной и Жуковской. Где достать — может быть придумаю и потом скажу. Евг. Замятин» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 88. Л. 1).

В тетради Островской «Extraits choisis» записано ее стихотворение «(Зверю) Евгению Ивановичу Замятину»:

<...> Грубо сжав, прильнуть всем телом,
И я вскрикну, когда зубы окровавят мои губы,
Смятые твоею страстью...
И отдамся я безвластно
На ковре иссиня-белом <...>

Под стихотворением запись: «Без даты, ежедневно» (Там же. Ф. 1449. Ед. хр. 73. Л. 73).

[379] Ср.: «Татьяна Григорьевна Гнедич жила вдвоем с матерью <...> в комнате, пропахшей нафталином и, кажется, лавандой, заваленной книгами и старинными

фотографиями, уставленной ветхой, покрытой самоткаными ковриками мебелью. Сюда приходил я заниматься с Татьяной Григорьевной английским; в обмен я читал с ней французские стихи, которые, впрочем, она и без моей помощи понимала вполне хорошо» (*Эткинд Е.* Записки незаговорщика. СПб., 2001. С. 381).

[380] литературы *(лат.).*

[381] В 1930-х гг. в СССР пропагандировалась оборонно-массовая работа. В декабре 1932-го был введен значок «Ворошиловский стрелок», стимулирующий движение за овладение стрелковыми навыками. С осени 1936 г. на значок «Ворошиловский стрелок» II степени нужно было выполнить норму по стрельбе из боевой винтовки.

[382] Упомянуты поэмы Г. Гейне «Германия, зимняя сказка» (1844) и Б. Пастернака «Девятьсот пятый год» (Л., 1932).

[383] Атрибутировать цитату не удалось.

[384] См.: *Чуковский К.И.* От двух до пяти. [7-е изд.] М.; Л., 1937.

[385] «Из глубины я воззвал к Тебе, Господи...» *(лат.)* — начало псалма 130 (по Вульгате) или 129 (в русской Библии), в католическом обиходе читается над умирающим.

[386] Й. Сигети выступал в Ленинградской филармонии вместе с Ленинградским академическим симфоническим оркестром.

[387] В архиве Островской сохранился машинописный текст прозаического произведения «Замшевые башмачки» — аллегорической истории с аллюзиями на сказку «Золушка». Не удалось выяснить, авторский ли это текст или перевод (см.: ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 70).

[388] Вечной Девы *(фр.).*

[389] Вероятно, аллюзия на книгу: *Бруссон Ж.-Ж.* Анатоль Франс в туфлях и халате / Пер. с фр. А.А. Поляк и П.К. Губера. Л.; М., 1925.

[390] Ф.Э. Дзержинский умер 20 июля 1926 г. от разрыва сердца после своего двухчасового доклада на заседании Объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б).

[391] Рядом на Фонтанке, 189, находился дом, где жил Рейтц.

[392] «Лакрима Кристи» (Слеза Христа — *лат.*) — вино из Кампаньи, производимое из винограда, выросшего на вулканических почвах горы Везувий, — и «Золото Рейнского» — благородные вина времени юности Островской.

[393] В.А. Зайковский был арестован 31 августа 1937 г., осужден 15 ноября 1937 г. И.И. Артемов был арестован, через некоторое время освобожден. С.А. Мессинг был арестован 15 июня 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Польши; осужден 2 сентября Особым совещанием к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян.

[394] Опасайся послепраздничных дней! Опасайся мистралей *(фр.).*

Дневники Ван Гога не известны. Вероятно, Островская читала письма Ван Гога (Lettres de Vincent van Gogh à son frère Théo. P., 1937). Но цитирует она неточно. 29 июля 1888 г. в письме к брату Тео из Арля Ван Гог пишет: «Я опасаюсь похмелья

[после победы импрессионистов]» (*Ван Гог В.* Письма. М.; Л., 1935. Т. 2. С. 103). О мистрале в Арле Ван Гог упоминает многократно.

[395] См.: *Андрияшев А.П.* Очерк зоогеографии и происхождения фауны рыб Берингова моря и сопредельных вод: Дис. ... канд. биол. наук. Л., 1939.

[396] Имеется в виду Физиологический институт им. Ухтомского, созданный в 1934 г. в Старом Петергофе на базе Биологического института Ленинградского государственного университета.

[397] «Благая весть, принесенная Марии» *(фр.)*. Имеется в виду пьеса: *Claudel P.* L'Annonce faite à Marie. P., 1912.

[398] Аллюзия на Евангелие от Иоанна (11:144).

[399] См.: *Фейхтвангер Л.* Лже-Нерон / Пер. с нем. И.А. Горкиной и Э.А. Розенталь. М., 1937.

[400] Выставка произведений художников Грузинской ССР проходила в Русском музее с 30 мая по 20 ноября 1938 г.

[401] См.: *Chadourne M.* Vasco. P., 1928. Книга французского писателя Марка Шадурна — приключенческий роман с философскими отступлениями — о человеке, пытающемся найти спасение от внутреннего беспокойства в экзотике и ярких внешних впечатлениях.

[402] Невский, 44. Первая кондитерская по этому адресу открылась еще в 1903 г. В 1936 г. получила название «Норд». После Второй мировой войны, во время борьбы с космополитизмом, переименована в «Север».

[403] В 1937 г. в Мраморном дворце на Дворцовой наб., 6, был открыт филиал Центрального музея В.И. Ленина.

[404] Пьер Абеляр полагал, что путь к познанию истины, сущности вещей — это путь разума (соединенного с откровением). Бернард Клервосский считал, что правда веры не нуждается в доводах разума.

[405] Так (от Eremites — Пустынник, Отшельник — *греч.*) друзья называли И.А. Боричевского.

[406] Всемирная выставка 1937 г. (25 мая — 23 ноября) проходила в Париже под девизом «Искусство и техника в современной жизни».

[407] «Любить выдуманное существо! Какое оскорбительное безумие для того, кто любит!» *(фр.)*.

[408] Неловкость, похожая на тревогу *(фр.)*.

[409] Горечь. Удивление. И — отвращение (впервые) *(фр.)*.

[410] не искупление, но наказание *(фр.)*.

[411] Имеется в виду Манон Леско, героиня романа А.Ф. Прево «История кавалера де Гриё и Манон Леско» (1733).

[412] «Мохнатые глаза» *(фр.)*.

[413] В 1938 г. в Государственном Академическом театре им. С.М. Кирова балет «Раймонда» (музыка А. Глазунова) шел в новой постановке (балетмейстер В. Вайнонен) с участием Г. Улановой, Н. Дудинской, К. Сергеева, В. Чабукиани.

[414] В 1938 г. вышли на экраны фильмы С. Эйзенштейна «Александр Невский» и С. Юткевича «Человек с ружьем».

[415] *Тора* (закон — *древнеевр.*) — Пятикнижие Моисеево. Пергаментные свитки с текстом Торы, используемые для чтения в синагогах, хранятся в футлярах из ткани или дерева.

[416] Возможно, это малоизвестный поэт, прозаик, переводчик 1920-х гг. Евгений Григорьевич Сокол (наст. фамилия — Соколов). В архиве Островской сохранилась рукопись ее стихотворения 1922 г. «Соколу»:

Ночь темнее и темнее,
Звезд на небе ни одной,
Видишь, ты еще грустнее,
Хмуробровый сокол мой <...> (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 20. Л. 12).

[417] От *греч.* ephémeris, буквально — годный на день, однодневка.

[418] Фрагмент заупокойной молитвы: Anima eius et animae omnium fidelium defunctorum per Dei misericordiam requiescant in pace (Да упокоится с миром его душа и души других усопших *(лат.)*).

[419] Желание — борьба — обладание *(фр.)*. Островская воспроизводит в произвольном порядке названия трех частей «Божественной поэмы» (1902—1904) Скрябина: «Борьба», «Наслаждения», «Божественная игра».

[420] Слово, глагол *(лат.)*.

[421] Цитата из стихотворения Н. Гумилева «Слово» (1920).

[422] Доброе деяние *(фр.)*.

[423] спазмы; от *лат.* Contractio — стягивание, сжимание, сжатие.

[424] Достаточно *(лат.)*.

[425] Герой цикла романов М. Пруста «В поисках утраченного времени» (1907—1918).

[426] *Костер Шарль де.* Легенда о героических, веселых и доблестных приключениях Тиля Уленшпигеля и ламе Гудзак во Фландрии и других странах / Пер. с фр. М. Зотиной. М., 1937. С. 192. Иносказательное напоминание о необходимости возмездия.

[427] мое неотчуждаемое добро может стать моим неотчуждаемым злом *(фр.)*.

[428] Неточная цитата из книги Андрея Белого «Между двух революций»: «Зная факты вредительства психик и помня предостережение Гете, что от бескрайней романтики до публичного дома один только шаг, — я писал <...>» (*Андрей Белый.* Между двух революций. Л., 1934. С. 197).

[429] Цитата из стихотворения Андрея Белого «Матери» (1907). См.: Там же. С. 186.

[430] День празднования католической церковью явления Девы Марии Лурдской, исцелительницы больных, страждущих, — 11 февраля. Считается, что в этот день в 1858 г. недалеко от Лурда — небольшого французского городка в предгорьях Пиренеев — произошло явление Пресвятой Богородицы 14-летней девочке Бернардетте Субиру.

[431] Я ничего не могу объяснить *(фр.)*.

[432] *Андрей Белый.* Между двух революций. Л., 1934. С. 185.

[433] Там же. С. 181—182.

[434] Там же. С. 141, 148.

[435] Там же. С. 22.

[436] Н.Н. Евреинов считал театральность одним из основных человеческих инстинктов. Эту свою концепцию он назвал «театр для себя». См.: *Евреинов Н.* Театр как таковой. Обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни. СПб., 1913.

[437] В 1938 г. на сцене Ленинградского театра драмы им. А.С. Пушкина (б. Александринский) шел спектакль по пьесе А.Н. Островского «Таланты и поклонники» (реж. В.П. Кожич).

[438] я держу руки за спиной *(фр.).*

[439] Книга сделанных заново *(фр.).*

[440] В Пушкине завязалось тесное общение Островской с Т. Гнедич, которая вместе со своей матерью в 1939 г. тоже снимала там дачу. Возобновилось общение Островской с И.А. Боричевским, который жил в Пушкине постоянно (ул. К. Маркса, 94, кв. 8б). Началась ее дружба с его маленьким сыном Мичей. Боричевский писал в дневнике 28 июля 1939 г.: «Встретили [с Мичей] в парке Софью Казимировну. После болезни тощая — надгробный ангел. В Баболовском сидели под елью. Я говорил о близкой советской революции во Франции. "Когда Вы поедете туда, возьмите меня с собой". Поцеловал ее в руку под локтем, где под кожей синие жилочки» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 12. Блокнот 62. Л. 46); 10 августа 1939 г.: «В Александровском парке с Софьей Казимировной». «"Тетя" любит Миченьку. И я очень этому рад» (10 августа; Там же. Л. 50. 51); «Была второй раз "тетя". Так называет Мича Островскую. Показал ей Юльчины этюды. Подарил "Дыхание весны". Почитали вместе "Эпифанию" Леконта де Лиля. Дал ей Верхарна <...>. В тяжелый для меня тифозный год Юльча хотела, чтобы я обратился за помощью к Софье Казимировне. Но я не согласился — она тогда отошла от меня. И вот теперь — как будто это желание передалось ей. Она заботится о нашем Миченьке. Юльча и она сочувствуют и ценят друг друга, хотя никогда не виделись. Это и есть настоящее. Когда-нибудь люди будут такими» (22 августа 1939 г.; Там же. Блокнот 63. Л. 4, 5, 6); «Подарила Миченьке две простыни. Очень трогательно. Белье не достать нигде. Мальчик спал на обрывках» (30 августа 1939 г.; Там же. Л. 11); «Был несколько раз у окна Софьи Казимировны. <...> Не застал ни разу. А вечером встретил у ее приятельницы. Она уезжает. Пенял ей, что и поговорить не успели. Порция легкой лирики. <...> Проводил ее на улицу. Руки в перчатках: "Целовать некуда". Подняла перчатку: "Есть куда"... Вернулся к ее приятельнице Татьяне Гнедич. Молодая ученая дама. Читал ей свой перевод "Прометея". Дельные замечания» (6 сентября 1939 г.; Там же. Л. 12, 13).

[441] Квартал фовистов *(фр.).*

[442] Нимфа и Фавн *(фр.).*

[443] Англия (*фр.*).

[444] «Линия Зигфрида» (нем. Siegfriedstellung) — система долговременных укреплений, возведенных в 1936—1940 гг. на западе Германии, в приграничной полосе от Клеве до Базеля; имела около 16 тыс. фортификационных сооружений. Была названа по имени неуязвимого героя древней германской саги о Нибелунгах Зигфрида.

В начале сентября 1939 г. в газетах появилась информация о прорыве французскими войсками линии Зигфрида, однако это были бои местного значения, и успешное французское продвижение оказалось кратковременным. Линия Зигфрида была прорвана лишь в результате наступательной операции войск союзников против немецкой армии (26 августа 1944 — 25 марта 1945).

[445] Это могла быть одна из следующих книг: *Торез М.* Современная Франция и Народный фронт / Пер. с фр. О. Шаргородской. М., 1937; *Thorez M.* La Mission de la France dans le Monde [Миссия Франции в мире]. P., 1938.

[446] См.: *Hitchens R.* Bella Donna L., 1912.

[447] Россия — кровать. Франция — будуар. Англия — салон финансиста. Германия — торговый прилавок. Италия — западня. Польша — героические развалины *(фр.)*.

[448] Польша — истеричка. Италия — красивая, лишенная темперамента девушка, которая при виде разобранной постели спасается бегством, предпочитая огорчить, но не разочаровать. Франция — страстная идеалистка. Россия — девка, которая знает, что всегда будет утомлять мужчин, которым будет отдаваться. У нее всегда есть запасной любовник. Германия — солдафон, который ищет не столько женщину, сколько источник дохода. Англия — бесполая старая дева, колючая, богатая традициями и семейными воспоминаниями *(фр.)*.

[449] *Повет* — средняя административно-территориальная единица в Польше, входящая в воеводство.

[450] Имеется в виду Ю.Н. Попов.

[451] как в отдельном кабинете *(фр.)*.

[452] Слова, слова, слова... *(англ.)*. Цитируется монолог Гамлета (из 3-го действия 1-го акта.)

[453] Советско-финская война началась 30 ноября 1939 г.

[454] См.: *Gide A.* Nourritures terrestres, Nourritures nouvelles [Земные яства. Новые яства]. P., 1935.

[455] Желание — поиск непоколебимого и цельного обладания *(фр.)*.

[456] «Это совсем ни с чем не сравнимое ощущение покоя, которое дает нам вера в Бога. Единственное существо, от которого можно с уверенностью не ждать “сюрприза”» *(фр.)*. Цитируется книга Жака Ривьера «Carnet de guerre — août—septembre 1914» (1929).

[457] Ничего *(лат.)*.

[458] Четверг *(фр.)*.

[459] Костел св. Екатерины до революции был главным католическим храмом России. В 1938 г. он был закрыт и превращен в складское помещение.

[460] Она царит в моем сердце: имя ей Та — любовь,
Плоть ее — это сад, где цветет моя нежность.
И я сжигаю ночи и обрываю листья дней
В душистых порывах ее горячей ласки... *(фр.).*

Источник цитаты не установлен.

[461] Ты идешь? Аис, ты идешь? *(фр.).*

[462] Имя твое — Любовь? *(фр.)*

[463] Строительство нового редакционно-издательского здания «Известий» на Страстной пл., 5 (с 1937 г. — Пушкинская пл.) было завершено в 1927 г.

[464] Война с Финляндией закончилась 13 марта 1940 г.

[465] Мудрость

О, мой возлюбленный, почему глаза твои такие тяжелые?
Почему твой лоб так грустен, а рот так устал?
Посмотри, я красива и так полна любовью! —
— Прости меня, один мудрец мне сказал: «Все проходит» *(фр.).*

[466] Слова, сказанные Лениным на VII съезде Советов (*Ленин В.И.* Полн. собр. соч. М., 1964. Т. 39. С. 410).

[467] или-или *(лат.).*

[468] Цитата из стихотворения Д. Мережковского «Две песни шута» (1887).

[469] Цитата из стихотворения С. Малларме «Окна» (1863):

Увы! Земная плоть владеет мной упорно,
Влечет меня в затвор, в укрывище от бурь;
Безмысленна толпа, и глупость тошнотворна —
Я зажимаю нос, взирая на лазурь.
(*Пер. с фр. А. Куркова*)

[470] Не бойся. Судьба каждого записана в линиях лба, чтобы, когда час настанет, он был готов *(англ.).* Цитата из пьесы американского драматурга Эдварда Кноблока «Kismet» (*Knoblock E.* Kismet. P., 1913). *Кисмет* (*араб.*) — судьба, участь, предопределенность.

[471] Записи из дневника Боричевского лета 1940 г.: «Александровский парк. Были здесь с Софьей Казимировной» (18 июля); «Вечер поэзии с Татьяной Григорьевной и Софьей Казимировной» (26 июля); «Из рассказа Софьи Казимировны: В “Красной стреле” познакомилась с семьей Гильесов — скрипачей — победителей на Международном конкурсе. Пригласили ее к себе. Великолепная обстановка, и ни одной книги. С.К. (матери): “Эта люстра елизаветинская?” — “Лиза. Поди сюда. У нас — елизаветинская?” И после паузы: “А скажите, что это значит — елизаветинская?”» (28 июля); «Я один. Мичка ушел с Софьей Казимировной» (2 августа); «Софья Казимировна уехала. В этом году и поговорить не успели. <...> Не выявила себя. Отдалась сухой, хлебной работе. А свои дарования заглушила. И мне было жаль ее. Сидела она как-то в Баболовским парке. В одной рубашке. Тело белое, белое — почти сахарное. Сахарность свою сохранила. И вообще внешнего комфорта не ли-

шилась. И "положение приобрела" — теперь она известная переводчица технических работ. А душу свою почти не обнаружила. И это гложет ее. Еще больше, чем чахотка» (3 августа) (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 12. Блокнот 66. Л. 3, 6—9, 11).

В архиве Островской сохранилось письмо к ней, написанное аккуратным детским почерком, с зеленым листочком, приклеенным внизу страницы: «Дорогая Софья Казимировна! Большое спасибо Вам за ботинки, щеточку и пасту. В ботинках я хожу, а щеточкой каждый день чищу зубы, а паста, к сожалению, кончилась. У нас уже началась осень по всем правилам: осыпаются листья, все желтое, холодно, идут дожди. Посылаю Вам две карточки и осенний листик. Приезжайте. Мича. 1940.X.10» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 99).

[472] пожилой господин, стареющая акула *(фр.)*.

[473] Марфа и Иоанна — святые жены-мироносицы. Вместе с Марией Магдалиной, Марией, матерью Иакова, Саломией и другими женами-мироносицами они пришли с благовониями к гробу Христа, чтобы помазать миром его тело, но увидели камень отваленным от гроба, и ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес. Жены-мироносицы символизируют жертвенную любовь и самоотверженное служение Господу.

[474] мир! *(фр.)*.

[475] С 1936 г. — ул. Маяковского.

[476] Здание Академии легкой промышленности им. С.М. Кирова (Суворовский проспект, 50—1) было построено в 1937 г. Во время блокады там располагался эвакогоспиталь. 19 сентября 1941 г. в здание попали бомбы.

[477] Эта норма была введена 1 октября 1941 г.

[478] То есть воздушной тревоги. Ср. «Гуляй по этой красоте, но помни правила В Т» (*Никольский А.* Академик архитектуры // Подвиг века. Л., 1969. С. 281).

[479] Кот получил имя по названию соляного месторождения Чапчачи в Киргизии.

[480] Ср.: «Самое страшное — я дважды переживаю многое. И голод, и разруху, и войну. <...> Невольно в таком случае как бы повторяешься. Когда это было, — теперь или 23—24 года назад? Но что-то есть в настоящем, чего никогда еще не было — грандиозность масштабов и сверхничтожность отдельных индивидуумов. Вот это ново. И страшно по-новому. Тогда была революция, теперь (покуда) одна только война, человеческая бойня...» (*Князев Г.* Дни великих испытаний. СПб., 2009. С. 530).

[481] «Былое» — журнал по истории общественного движения в России. В России издавался в 1906—1907 и 1917—1926 гг. В 1900—1904 и 1908 гг. выходил за границей. В «Былом» публиковались мемуары участников революционного движения.

[482] Во время Советско-финской войны из-за нехватки электроэнергии останавливались даже заводы, выполнявшие военные заказы. В результате войны СССР приобрел ГЭС Раухала (на реке Вуокса), что решило проблемы с обеспечением Ленинграда электроэнергией.

[483] Королевском супе *(фр.)*. Название употреблено иронически: согласно традиционному рецепту, суп изготовляется с добавлением сливок, масла и миндаля.

[484] Люди смеются! *(фр.)*.

[485] Ср.: «Дворцовая площадь в Ленинграде в этот день безмолвствовала. По решению городского комитета партии состоялся радиомитинг, на котором выступали председатель Ленгорисполкома П. Попков, командующий Ленинградским фронтом генерал-лейтенант М. Хозин, секретарь обкома ВЛКСМ В. Иванов, рабочий Кировского завода М. Филатов, поэт Н. Тихонов. <...> Выступающие выразили твердую уверенность в том, что врагу никогда не удастся войти в город Ленина» (*Комаров Н.* Феномен блокадного Ленинграда. М., 2008. С. 305).

[486] Лиговский пр., 44.

[487] Металлургический завод. Адрес: Б. Колтовская, 32, в настоящее время — Пионерская, 50.

[488] Ненасытец — порог в течении реки Дон.

[489] С 1935 г. — ул. Радищева.

[490] Ср.: «Сын писателя Лескова удивляется: как можно в дни войны печатать оборонную литературу? Когда все живут разговорами о войне, становится невозможным читать все о той же войне» (*Голлербах Э.* Из дневника 1941 года // Голоса блокады: ленинградские писатели в осажденном городе (1941—1944). СПб., 1996. С. 182).

[491] Упомянуты роман А. Серафимовича «Железный поток» (1924) о Гражданской войне и А. Лебеденко «Тяжелый дивизион» (1932—1933) о Первой мировой войне.

[492] О товарообмене и черном рынке в блокаду см.: *Пянкевич В.* Рынок в осажденном Ленинграде // Жизнь и быт блокадного Ленинграда. СПб., 2010. С. 122—163; *Hass J.* The Experience of War and the Construction of Normality. Lessons from the Blockade of Leningrad // Битва за Ленинград: дискуссионные проблемы. СПб., 2009. С. 240—277.

[493] Archives nationales — крупнейшее архивное хранилище Франции в Париже, было создано в 1790 г.

[494] Национальная библиотека Франции была основана в 1368 г.

[495] крупных начальников *(фр.)*.

[496] Л.Д. Оранжиреева после гибели брата Н.Д. Оранжиреева жила в его квартире по адресу: Загородный пр., д. 21, кв. 7.

[497] Призраки становятся для меня более реальными, чем сама действительность. А действительность, оборачиваясь призраком, превращается в нечто нереальное, оставляя меня холодной и уверенной, что она невозможна в нормальном бытии *(фр.)*.

[498] боюсь бояться *(фр.)*.

[499] чистоты и невинности *(фр.)*.

[500] «я не могу, потому что это запрещено». Но «я не могу иначе, даже если бы это было позволено» *(фр.)*.

[501] 26 ноября 1941 г. А.М. Оранжиреева была вызвана на допрос в НКВД в качестве свидетеля. В этот день было подписано постановление о возобновлении следствия по делу Д. Хармса. Протокол допроса Оранжиреевой, заявившей, что Хармс «занимается проведением антисоветской деятельности», опубликован: «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: «Чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. В.Н. Сажин. М., 2000. Т. 2. С. 601—603.

[502] «Служить Вам, моя королева! Ваш влюбленный слуга!» *(фр.).*

[503] См.: *Драйзер Т.* Гений. Роман / Пер. с англ. М. Волосова. М., 1937.

[504] См.: *Кропоткин П.* Записки революционера. М.; Л., 1933.

[505] Французская церковь Божией Матери (Нотр-Дам де Франс) — Ковенский пер., 7 (арх. Л.Н. Бенуа, М.М. Перетяткович). Освящена 22 октября 1909 г. С 1945 г. именуется церковью Лурдской Божией Матери.

[506] поступью апостолов, пешком *(лат.).*

[507] С 1923 г. — ул. Восстания.

[508] Ул. Бассейная в 1918 г. была переименована в ул. Некрасова. Маршрут Островской проходил по ул. Некрасова, от угла Знаменской (ул. Восстания) до Литейного проспекта.

[509] Подсчет покойников на улицах — общее место в записях блокадников зимы 1941—1942 гг. Ср. «— Двести первый, считая от Невского до Театральной! — весело сказал прохожий полушубок, спокойно, но с усилием перешагивая через труп...» (*Даров А.* Блокада. Нью-Йорк, 1964. С. 229).

[510] Вероятно, на Лиговский пр., 4, к бывшей женской Евангелической больнице (в 1922 г. стала специализированной больницей для больных легочным туберкулезом).

[511] «Толстовской крови» в роду Оранжиреевых не было. Но крестной матерью брата Лидии, Н. Оранжиреева, была М.Е. Покровская, по материнской линии внучка Н.С. Толстого, троюродного брата Л.Н. Толстого.

[512] Ненависть и Месть *(фр.).*

[513] С 1923 г. — ул. Чайковского.

[514] Фото- и киносъемка во время блокады находились под строжайшим контролем. Лишь профессиональные фоторепортеры сохранили облик осажденного города. Наиболее полное собрание блокадных фотографий хранится в ЦГАКФФД Санкт-Петербурга. См.: *Никитин В.* Неизвестная блокада. Ленинград 1941—1944. СПб., 2009.

[515] Церковь святого великомученика и целителя Пантелеймона находится на пересечении улицы Пестеля и Соляного переулка (ул. Пестеля, д. 2-а).

[516] Ср.: *Шкаровский М.* Религиозная жизнь блокадного Ленинграда по новым документальным источникам // Битва за Ленинград: проблемы современных исследований. СПб., 2007. С. 171—190. Спасо-Преображенский собор был построен в 1828 г. (арх. В.П. Стасов) как собор лейб-гвардии Преображенского полка.

[517] Из молитвы «Отче наш».

[518] Детская городская больница № 19 им. К.А. Раухфуса (Лиговский проспект, 8).

[519] Островская имеет в виду газету «Ленинградская правда», единственную ежедневную газету, выходившую в городе в январе 1942 г. Из-за нехватки бумаги с 10 декабря 1941 г. она выходила на двух полосах вместо четырех.

[520] Молодежная газета «Смена» издавалась и во время войны, однако с 9 января по 5 февраля 1942 г., когда городу не хватало электроэнергии, не выходила.

[521] См. интервью «Два Ленинградских радио» историка Ленинградского радиоцентра Л. Мархасева (Радио. Блокада. Ленинград / Под ред. Т.В. Васильевой, В.Г. Ковтуна, В.Г. Осинского. СПб., 2005. С. 95); об этом пишет в своем дневнике и Ольга Берггольц: «О Ленинграде все скрывалось, о нем не знали правды так же, как об ежовской тюрьме <...>. Нет, они не позволят мне ни прочесть по радио “Февральский дневник”, ни издать книжки стихов так, как я хочу. Трубя о нашем мужестве, они скрывают от народа правду о нас» (Ольга. Запретный дневник. СПб., 2010. С. 78).

[522] Капли датского короля (смесь нашатырно-анисовых капель, лакричного экстракта и укропной воды) — средство от кашля, применявшееся до начала XX века.

[523] Буддийский храм находится в Старой Деревне (современный адрес: Приморский проспект, 91). В 1935 г. был закрыт. Во время Великой Отечественной войны в храме была устроена военная радиостанция. С 1960-х гг. в храме находились лаборатории Зоологического института. В 1990 г. храм был передан буддистам.

[524] Район Симеоновской (с 1923 г.— ул. Белинского) возле Литейного проспекта упоминается в различных свидетельствах как центр уличной торговли антикварными книгами. Ср.: «Столовая моя на Симеоновской находится рядом с бойким букинистом, а через улицу, на Литейном, лавка писателей. Сцилла и Харибда, о которые разбивается мой финансовый корабль. Это совершенное безумие мне при моей нищете покупать книги. Но нахождение и покупка книг доставляют мне такое большое удовольствие, что я не удерживаюсь» (*Шапорина Л.* Дневник. М., 2011. Т. 1. С. 333); «У Дома книги, на Литейном, на Симеоновской — столики, лотки с книгами. Тут всегда густо народу. Особенно много покупают книги (беллетристику) военные. Раскупается главным образом увлекательное чтиво — авантюрные романы. И старые классики. Все то, что описывает жизнь, не похожую на современную. Коллекционеры и любители редких книг маниакально продолжают, и, конечно, весьма плодотворно, — погоню за ценным товаром, обесцененным сейчас» (*Бианки В.* Лихолетье. СПб., 2005. С. 174).

[525] Персонаж балета П.И. Чайковского «Спящая красавица» (1890; авторы либретто И. Всеволожский и М. Петипа).

[526] Имеется в виду А.С. Орленева.

[527] Б.А. Горин-Горяинов сыграл в единственном художественном фильме, снимавшемся в блокадном городе, «Варежка» (1942) режиссеров П. Арманда и Н. Любошица. Последний так описывает блокадную встречу с ним: «За столиком сидел маленький, потерявший от недоедания сигарообразную форму человек в пенсне...

— На нашей сцене теперь играет музыкальная комедия, и театр отапливается. Живу как отшельник в раковине улитки! Роль крохотная, но это не важно. Другое — где же я буду играть? — В настоящем госпитале на виду у раненых, в цехе, изготавливающем вооружение... — Я почту за честь сыграть в этом маленьком фильме!» (*Любошиц Н.* Хромой солдат // Киноведческие записки. 2005. № 72. С. 256).

[528] Имеется в виду конфетно-шоколадная фабрика «И. Крафт» (Садовая, д. 5).

[529] Шоколад принцев *(фр.)*.

[530] Кондитерская находилась в собственном доходном доме архитектора В.И. Кестнера: ул. Знаменская (ныне — Восстания), 51 — ул. Спасская (ныне — Рылеева), 20—22.

[531] К.Н. Попова в 1939 г. была прописана по адресу: Канал Грибоедова, 8, кв. 19. Этот дом (на углу Екатерининского канала и Итальянской улицы) был построен в начале XIX в. (арх. Луиджи Руска) для иезуитского коллегиума — закрытого учебного заведения, где получали образование представители многих аристократических фамилий.

[532] Провизор Б.М. Шаскольский был владельцем нескольких аптек (на Сампсоньевском пр., на Эртелевом пер., на Невском пр.). В данном случае речь идет о доме 27 по Невскому пр., где находился до революции аптечный магазин Торгового дома Шаскольского. Здание было разрушено взрывной волной.

[533] Администрация американской помощи (ARA — American Relief Administration) — организация в США, существовавшая с 1919 г. до конца 1930-х гг.; активную деятельность вела до середины 1920-х гг.

[534] легкомыслие *(фр.)*.

[535] От «pupille» — «воспитанник, питомец» *(фр.)*.

[536] *Горький М.* Жизнь Клима Самгина (40 лет). М., 1937. С. 353.

Правильно:

Ты, Христос, на нас не обижайся,
Мы тебя, Исус, не забываем,
Мы тебя и ненавидя — любим,
Мы тебе и ненавистью служим.

В романе это фрагмент стихотворного сказания Горького о неразменном рубле и разбойнике Никите.

[537] См.: Дневник Николая Романова (1916—1918 гг.) // Красный архив. 1927. Т. 1 (20). С. 123—152; Т. 2 (21). С. 79—96; Т. 3 (22). С. 71—91; 1928. Т. 27. С. 110—138.

[538] он не голоден, но боится быть голодным *(фр.)*.

[539] Анцестральный (от *лат.* an(te) — впереди и cedere — следовать, шествовать) — в естественных науках — предшествующий, предковый.

[540] Ср.: «В годы войны люди жадно читали "Войну и мир" — чтобы проверить себя (не Толстого, в чьей адекватности жизни никто не сомневался). И читающий говорил себе: так, значит, это я чувствую правильно. Значит, оно так и есть. Кто был в силах читать, жадно читал "Войну и мир"» (*Гинзбург Л.* Записки блокадного че-

ловека // Гинзбург Л. Записные книжки: новое собрание. М., 1999. С. 152); «"Войну и мир" читаешь со спокойным чувством — капитан Тушин, конечно, останется невредим, Николай Ростов, конечно, продолжит заниматься делами своего эскадрона... Иначе романа не было бы... И совсем другое положение у человека, который переживает опасность из часа в час, изо дня в день. Фабула жизни еще не закручена, герой ни в чем не уверен, роман может быть и не написан, дневник может быть прерван на полуслове...» (*Лебедев Г.* Блокадный дневник // ОР ГРМ. Ф. 100. Оп. 1. Ед. хр. 484. Л. 49).

[541] *Геридон (фр.)* — небольшой столик или подставка, выполняющие декоративную функцию. Располагаются на ножке-колонне и характеризуются наличием резьбы и украшений.

[542] «Боги жаждут» *(фр.).*

[543] Издательство Ларусс основано в 1852 г. в Париже П. Ларуссом. «Большой универсальный словарь XIX века» («Grand dictionnaire universel du XIXe siècle») был выпущен в 1865—1876 гг. в 15 томах. С 1906 г. ежегодно издается однотомный «Малый Ларусс».

[544] *Гершензон М.* Две жизни Госсека: [Роман-биография]. М., 1933.

[545] См.: *Андреев Л.* Елеазар. Рассказ. Stuttgart, 1906.

[546] «Свободная Франция» (*фр.*) — возникшее по призыву генерала Ш. де Голля движение, ставившее целью борьбу за освобождение Франции. В июле 1942 г. в связи с активизацией антигитлеровской борьбы приняло название «Сражающаяся Франция». Руководящий центр движения находился в Лондоне.

[547] Я восхищаюсь вами *(фр.).*

[548] От «admirer» — «восхищаться» *(фр.).*

[549] Барбизонская школа французских художников-пейзажистов 1830-х гг. получила название по деревне Барбизон в лесу Фонтенбло, где длительное время жили Руссо, Милле и некоторые другие представители школы.

[550] Из письма И. А. Боричевского в Государственную публичную библиотеку от 21 августа 1941 г.: «Автор дневника не принадлежит к числу "знаменитостей". Его известность не выходит за рамку небольшого круга философов, филологов и литературоведов. <...> Тем не менее, он почитает себя вправе предложить свой многолетний дневник. < ...> Ему хорошо известно: дневники "незнаменитостей" часто оказываются любопытны для потомков. Здесь иногда можно найти данные, которые трудно, даже невозможно почерпнуть из других источников» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 13. Л. 1—2).

В Отделе рукописей РНБ хранятся дневники Боричевского, которые он вел с мая 1916-го по май 1941 г. На страницах дневников отражено общение с философами, литераторами, искусствоведами, художниками, историками, психологами, биологами (В. Асмус, А. Ахматова, Е. Замятин, О. Форш, Н. Пунин, сестры Данько, К. Малевич, В. Струве, С. Лурье, В. Бехтерев, Л. Васильев и др.). Боричевский умер в декабре 1941 г.; захоронен на Серафимовском кладбище.

[551] Ж.А. Шиманская умерла в феврале 1942 г. В журнале «Столица и усадьба» нет материалов, непосредственно посвященных ей. Островская могла видеть ее на групповых фотографиях: «Традиционный балетный ужин (после бенефиса кордебалета)» (1914. № 5. С. 15) и «Сцены из балета "Эрос"» (1916. № 56. С. 22).

[552] *Седевакантизм* — движение в католической церкви (название происходит от латинских слов «sedes» («престол») и «vacans» («пустующий»); термин «Sede Vacante» («при незанятом престоле») используется для обозначения периода вакансии папского престола. Среди седевакантистов популярны различные теории заговора, термин используется в переносном смысле для обозначения склонности подозревать заговор.

[553] Ленинградская городская эвакуационная комиссия при исполкоме Ленинградского городского совета была создана 27 июня 1941 г. для организации работы по эвакуации из Ленинграда учреждений, предприятий и гражданского населения. Комиссия руководила также деятельностью эвакопунктов, занималась учетом, обеспечением жильем, питанием, устройством на работу граждан, прибывших в Ленинград до начала блокады. Была ликвидирована по решению Ленгорисполкома от 4 декабря 1943 г. в связи с прекращением эвакуации.

[554] Во время блокады в гостинице «Астория» находился стационар для деятелей культуры. Ср.: «С 16-го [марта] ложусь в стационар, надеюсь там немного откормиться... Наконец я попала в стационар. Меня напоили кофе, дали сахару 100 гр., омлет, хлеб. Я очень удовлетворена... В стационаре я вела блаженную жизнь, я ела, лежала, рисовала свои фантазии и читала. Но когда вышла 2 апреля, сразу попала в вихрь ужаса...» (*Глебова Т.* Рисовать как летописец: страницы блокадного дневника // Искусство Ленинграда. 1990. № 2. С. 27—28).

[555] до смерти, смертельно *(лат.).*

[556] дистиллированная вода *(лат.).*

[557] мой прекрасный господин *(фр.).*

[558] Имеется в виду контрреволюционная деятельность.

[559] Музыка П.И. Чайковского в блокадном радиовещании интерпретировалась как повествующая «о трудностях борьбы и радости победы» (*Крюков А.* Музыка в эфире военного Ленинграда. СПб., 2005. С. 35).

[560] Имеется в виду Иоанн Креститель в детстве.

[561] Имеется в виду картина В.И. Сурикова «Меншиков в Березове» (1883).

[562] Существует несколько книг под таким названием: Буддийский катехизис / Пер. с нем. Т. Буткевича. Харьков, 1888; Буддийский катехизис / Пер. с монгольского. СПб., 1902; *Olcott H.S.* A Buddhist catechism. Madras, 1881; *Subhadra B.* A Buddhist catechism. L., 1890. Поскольку для Островской «Буддийский катехизис» связан с доктором Рейтцем, можно предположить, что она имеет в виду труд первого президента Теософского общества американского эзотерика Генри Стила Олкотта (1832—1907).

[563] *Сансара* — круговорот рождения и смерти, одно из основных понятий индийской философии: душа, тонущая в «океане сансары», стремится к освобождению

(мокше) и избавлению от результатов своих прошлых действий (кармы), которые являются частью «сети сансары».

[564] Цитируется песня М. Кузмина «Если завтра будет солнце...» (1910).

[565] Белокурый Рыцарь *(фр.)*.

[566] Цитата из стихотворения Анны Ахматовой, впервые опубликованного как лирическое, без названия («И упало каменное слово...») в сборнике «Из шести книг» (М., 1940). Позднее под названием «Приговор» вошло в поэтический цикл «Реквием» (*Ахматова А.* Реквием. Мюнхен, 1963).

[567] Ср.: «Иногда вечерами устраивались шарады. Для нас это делалось, или взрослые сами ими увлекались — не знаю. Запомнились мне мама в шляпе с широкими полями в образе блоковской Незнакомки и папа в длинной ночной рубашке, изображавший грешника, которого чертовка-мама жарила на сковороде, не помню, как было сыграно междометие "а", но все слово в целом было представлено так: саночки с ведром воды и баночками для столовской каши, которые тащил спотыкающийся от голода дистрофик — БЛОКАДА» (*Якубович Е.* Дневник // Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. 2000. № 5. С. 238). «Уставясь обиженными глазами в пустые тарелки, наперебой читали стихи Блока: по первой строчке надо было определить: что и откуда? Это называлось Блокиадой» (*Даров А.* Блокада. Нью-Йорк, 1964. С. 137).

[568] Во время блокады на сцене Александринского театра шли спектакли Ленинградского театра оперетты. Ср.: «Мороз — 26 градусов. Слушали "Сильву" — у артистов пар валит, кордебалет в рейтузах, но стараются не халтурить. Еще один вид трудового героизма и без всяких кавычек. Сильно доходят лирические, особенно сентиментальные места спектакля; очевидно, иммунитет, который выработался у нас по отношению к драматическим ситуациям реальности, не распространяется на искусство» (*Левина Э.* Дневник // Человек в блокаде — новые свидетельства. СПб., 2008. С. 161); «Народ, посещающий театр теперь, какой-то неприятный, подозрительный. Бойкие, розовые девчонки, щелкоперы, выкормленные военные, чем-то напоминает НЭП. На фоне землистых, истощенных ленинградских лиц эта публика производит отталкивающее впечатление» (*Машкова М.* Дневник // Публичная библиотека в годы блокады. СПб., 2005. С. 31).

[569] Из романса «Спящая княжна» (слова и музыка А. Бородина, 1867).

[570] За несколько дней до этого Островская получила письмо от М.Е. Покровской (обратный адрес: ул. Петра Лаврова, 18, кв. 2): «Милая Сонечка! Не думайте, что я Вас забыла. Звоню ежедневно и подолгу. Боюсь, здоровы ли Вы. Я жила около недели у соседки. Теперь дома. Она уехала. Очень сожалею. У меня стало потеплее, т.к. временно пользуюсь буржуйкой. Я в квартире пошла за самую молодую: хожу в домоуправление, в райсовет, устраиваю приноску дров, воды и т.д. Соф[ья] Дав[ыдовна] лежит. Боюсь за нее. Поздравляю Вас с прибавкой хлеба. Это очень вовремя. Я с помощью нового управхоза (женщина) получила следующую мне кате-

горию и получаю 400 г. хлеба. В голове шумит, но бодрюсь. К сожалению, не разбираю передач по радио: плохо слышу. От Ляли [сестра А.М. Оранжиреевой] только открытка минорного содержания. Крепко целую. Надеюсь, что у Вас все благополучно. Очень хочу повидать Вас, но боюсь заморозить. Ваша *[подпись]*» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 93. Л. 1).

[571] Имеются в виду Е.А. Покровский и М.Н. Покровская (урожд. Толстая).

[572] *Баккара* — название изделий из хрусталя, производимых на фабрике в г. Баккара во Франции, основанной в 1765 г.

[573] тетради *(фр.).*

[574] совершенно один *(фр.).*

[575] В рассказе А.П. Чехова «Анюта» героиня безропотно выполняет роль «наглядного пособия» для студента-медика, готовящегося к экзамену.

[576] грядущей красоте *(фр.).*

[577] Цитата из христианского гимна Stabat Mater Dolorosa (*лат.* Стояла Мать Скорбящая), предположительно написанного францисканским священником Якопоне да Тоди.

[578] Имя этого человека Островская назвала только в рукописной дневниковой записи второй половины 1940-х гг.: «И та же тьма — не то темнее, не то светлее — с Борисом Вольтерном, вновь вступающим в круговорот моей жизни. 15 лет игры, ускользаний, недомолвок, передач в другие руки. Сказала об этом с той страшной простотой, которой раньше не было. Отстранила его руки и губы, прорекла:

— Что вы хотите?..

Почти испугался, но понял...

...Нет. И еще раз: нет. [нрзб]» (ОР РНБ. Ф.1448. Ед. хр. 14. Л. 47.) В машинописную версию своего дневника Островская эту запись не включила.

[579] Кинотеатр «Октябрь» (б. «Паризиана») на Невском пр., 80 во время блокады прерывал свою работу только в январе 1942 г.

[580] В апреле 1942 г. начало свою деятельность Общество камерных концертов под председательством профессора А.В. Оссовского. Для концертов был выделен бывший зал Шредера (Невский, 52) (см.: *Комаров И.Я., Куманев Г.А.* Блокада Ленинграда. 900 героических дней: Исторический дневник. Комментарии. М., 2004. С. 239).

[581] Лекторий горкома партии работал на пр. Володарского (Литейный пр.), 42. Объявление в газете: «Лекторий Горкома ВКПб с 19 апреля начинает проводить цикл воскресных лекций по истории международных отношений в период войны 1914—1918 годов» (Ленинградская правда. 1942. 17 апр.).

[582] в зародыше *(фр.).*

[583] Осада Мадрида войсками фашистского генерала Франко длилась с 1936 по 1939 г., в результате Мадрид был сдан.

[584] Ф.И. Иноземцев создал в 1848 г. настойку для лечения холеры, которая затем стала использоваться при желудочно-кишечных расстройствах.

[585] С 1940 г. – ул. Седова.

[586] «умрем ради мелких птичек» *(фр.)*.

[587] Машиностроительный завод был основан в 1862 г. Л. Нобелем. В 1919 г. был национализирован и получил название «Русский дизель». Специализировался на выпуске судовых дизелей. В июле 1941 г. в связи с угрожающим положением на Северо-Западном фронте были приняты меры к перебазированию заводов Ленинграда, в том числе «Русского дизеля». К сентябрю 1942 г. в Горький были отправлены 145 вагонов оборудования.

[588] В романе «Машина времени» (1895) Г. Уэллс описывает прибор, с помощью которого можно наблюдать черту, отделяющую четвертое измерение, время, от остальных трех.

[589] Не ясно, что Островская называет «никоновской акварелью».

[590] Так у Островской. Художник с такой фамилией неизвестен.

[591] В этом ливийском городе с января 1941 г. по ноябрь 1942 г. происходили ожесточенные бои между войсками стран антигитлеровской коалиции и стран Оси.

[592] Брат мужа, от beau-frère *(фр.)*.

[593] «Иметь и не иметь» *(англ.)*.

[594] То есть с топленым сливочным маслом.

[595] Возможно, Островская неверно толкует следующее место: «По поводу следующих бедствий трубят (даже) в субботу: если город осажден язычниками, или ему грозит наводнение, или если корабль тонет в море. Р. Иосе говорит: трубят, призывая на помощь, а не в качестве молитвы. Симон Теменит говорит: (трубят в субботу) и по поводу мора, но мудрецы с ним не согласились. Если город окружен язычниками или рекою, а также если корабль тонет в море, равным образом, если отдельный человек преследуем язычниками или злым духом, то им не дозволяется изнурять себя постом, дабы не надламывали сил своих» (Талмуд. 2-е изд., испр. и доп. / Пер. Н.А. Переферковича. СПб., 1903. Т. 2. С. 400).

[596] Вставляя в скобках слово «Фергана», Островская имеет в виду Ферганскую долину.

[597] Город Царицын в 1925 г. был переименован в Сталинград, а в 1961 г. – в Волгоград.

[598] Приезжает новый викарий *(фр.)*.

[599] Речь здесь идет о членах «двадцатки» (инициативной группы прихожан) при Французской церкви на Ковенском переулке. После разрыва отношений советского правительства с профашистским правительством Франции настоятеля Французской церкви на Ковенском переулке выслали из страны. Председатель «двадцатки» в определенные часы открывал церковь для петербургских католиков. Правительство де Голля оказывало «двадцатке» поддержку.

[600] С 1923 года эти улицы называются Советскими.

[601] *Литораль* – зона морского дна, затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе.

[602] Совинформбюро (Советское информационное бюро) — информационно-пропагандистское ведомство в СССР (1941—1961), подчиненное непосредственно высшим партийным органам. Во время войны в основном обеспечивало радио сводками о положении на фронтах и работе тыла. В 1961 г. Совинформбюро было преобразовано в Агентство печати «Новости» (АПН).

[603] Благословите! *(фр.).*

[604] См.: *Бенуа П.* Дорога гигантов. Роман / Пер. О.А. Овсянниковой. Пб., 1923. Книга П. Бенуа — авантюрно-приключенческий роман.

[605] Карточка категории «И» — иждивенческая, низшей категории.

[606] Островская соединяет здесь Петра Первого, основателя Петербурга, и Апостола Петра, которому принадлежит в Библии иносказательное высказывание об Утренней звезде (II Петр. I, 19), подразумевающее свет надежды, который сияет в душе каждого верующего. В Откровении сам Иисус Христос (XXII, 16) назван «светлою утреннею звездою». Островская подразумевает принесение жертв и терпение во имя «лучшего» будущего.

[607] «Заведение» от «établissement» *(фр.).*

[608] Гнедич была мобилизована, служила в 7-м отделении политуправления Ленинградского фронта переводчицей на связи с союзниками, затем — в разведуправлении Балтфлота, где переводила для союзного радио с русского на английский язык стихи ленинградских поэтов.

[609] Визит в Москву премьер-министра Великобритании У. Черчилля и У. Гарримана, американского дипломата, личного представителя президента США Ф. Рузвельта, состоялся в августе 1942 г. Во время этого визита обсуждалась возможноть открытия в Европе Второго фронта.

[610] Сентябрем 1942 г. датировано это стихотворение Т. Гнедич (записано ее рукой в альбоме Островской в феврале 1944-го):

В час, когда на небе озаренном
Догорает медленно закат
И дома, как темные драконы,
Поджимают лапы и молчат,

В час, когда перебирает город
Струны старых блоковских гитар,
Декабристски бесшабашно молод
К вам идет задумчивый гусар.

И звенят, как травы при дороге,
Странные вертинские стишки
То огнем чапаевской тревоги,
То вином корниловской тоски...

... Расскажи мне, перекати-поле,
Дней и дум болотистая гать:

От кого отраднее неволя?
За кого прекрасней умирать?

Дует ветер с невского простора —
Тушит боль и завивает грусть —
Ваш гусар идет легко и скоро —
Всех оград чугунные узоры
Он — поэт — читает наизусть...

Здравствуй — гумилевская награда —
Легкой пули бесшабашный свист —
Хорошо идет по Ленинграду
Командир и офицер «что надо»
— Красный партизан и декабрист.

(ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 84).

[611] Вдова ландшафтного архитектора Р.Ф. Катцера вместе с мужем жила в Павловске у свекра Ф.К. Катцера, который был главным садовником при дворце великого князя Константина Константиновича (К.Р.).

[612] Наркомат станкостроения.

[613] «Веселые ребята» (1934) — музыкальная комедия (реж. Г. Александров, композитор И. Дунаевский, в гл. роли Л. Утесов).

[614] См.: *Burke F.* A stone came rolling. N.Y., 1935.

[615] Неточная цитата из стихотворения А. Блока «Скифы» (1918).

[616] «Моя любовь» (1940) — кинокомедия (реж. В. Корш-Саблин, композитор И. Дунаевский).

[617] По этому адресу находилось самое дорогое в Ленинграде ателье мод, специализировавшееся на изготовлении женского трикотажа.

[618] пресыщенный *(фр.).*

[619] Речь идет о пьесе Б. Шоу «Святая Иоанна» (1923) о жизни Жанны д'Арк.

[620] Речь идет о поздравлении Сталину к 25-летию Октябрьской революции.

«Молитвенно приветствую в Вашем лице богоизбранного вождя наших воинских и культурных сил, ведущего нас к победе <...>» (патриарший местоблюститель митрополит Сергий Московский и Коломенский. — Правда. 1942. 9 нояб.); «Я прошу Вас принять от меня и от верующих Украины наши горячие молитвенные пожелания от Всевышнего здравия Вашего на долгие годы <...>» (митрополит Николай Киевский и Галицкий. — Там же); «Да поможет Вам Аллах в доведении до победоносного конца славной Вашей работы <...>» (муфтий Центрального духовного управления мусульман Абдурахим Расулаев. — Правда. 1942. 12 нояб.); «...со свитками Торы в руках возносим горячие молитвы к Всевышнему о даровании Вам, любимый вождь, избранник Бога и выразитель воли великого 200-миллионного народа, и в дальнейшем безграничной мудрости и силы для скорейшего и полного уничтожения людоеда Гитлера — подлого врага нашей дорогой родины и всего свободолюбивого человечества» (председатель Московской еврейской общины Ш. Чеб-

руцкий. — Правда. 1942. 14 нояб.); «Молю Всевышнего продлить Вашу дорогую жизнь <...>» (архиепископ Георг, заместитель Католикоса всех армян. — Правда. 1942. 15 нояб.).

[621] В 1965 г. Т.Г. Гнедич, вспоминая блокаду, написала стихи, посвященные К. Поповой:

Стояла блокада,
Стояла зима,
Морозные улицы стыли,
Стояли слепые пустые дома,
Открытые до сухожилий.
По городу смерть ходила сама,
А мы в этом городе жили!

Наш нрав непокорный был прост и упрям,
Мы даже смеяться умели,
Читали стихи, приходя к друзьям,
Любимые песни пели. <...>

(*Гнедич Т.Г.* Страницы плена и страницы славы. СПб., 2008. С. 35).

[622] В архиве Островской эти записи не обнаружены. В письме брату от 6 февраля 1943 г. Островская иронизирует: «Некий автор разразился патриотическими частушками, которыми действительно можно "убить" — вот, пожалуйста:

Ты не плачь, чужая тетка,
Не грусти, родная мать,
Разобью я белофиннов» и т.д.

Приводит и такой пример:

«Аккупировали наши земли,
Подвергая пытке население,
Но русский народ доказал
На фронте и в тылу свое спасение» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 79. Л. 24).

В архиве Островской сохранились машинописи ее статей, подготовленных зимой 1945 г. для публикации в «Ленинградской правде»: «Тема Ленинграда в творчестве начинающих поэтов» (Там же. Ед. хр. 50) и «Поэзия на фронте» (Там же. Ед. хр. 51). Опубликована была только последняя (см.: Ленинградская правда. 1945. 23 янв.). В этих статьях Островская наивные патриотические стихи оценивает комплиментарно. Например: «Взволнованно, уверенно и гордо пишет Виталий Цыбенко:

В знойный полдень и ненастье
Мы с врагом ведем войну,
Чтобы снова жизнь и счастье
Возвратить в свою страну».

Или: «Пройдя великими путями побед, стоя у ворот Берлина и на выходах к Адриатике, Красная Армия знает, чей гений и чья мысль окрылили ее.

Твои сыны отчизне показали,
На что способен каждый человек,
Которого ведет к победе Сталин,
Великий полководец и стратег» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 50. Л. 2, 6).

[623] Вероятно, так Островская называет участкового уполномоченного. Должность квартального надзирателя — должностного лица в городской полиции, обязанного следить за порядком в определенном квартале, — существовала в Российской империи с 1782 по 1917 г.

[624] С 1929 г. — ул. Рубинштейна.

[625] Михайловская ул. в 1918 г. была переименована в ул. Лассаля, в 1940 г. — в ул. И.И. Бродского (в 1991 г. возвращено название Михайловская).

[626] Музыкальные переложения евангельских текстов в исполнении Ф. Шаляпина: «Сугубая Ектиния» А. Гречанинова, «Верую» А. Архангельского.

[627] «Маркиза путешествует» *(фр.)*. Имеется в виду французская песня «Все хорошо, госпожа маркиза» (*фр.* «Tout va très bien, Madame la Marquise», 1935; текст и музыка Поля Мизраки в соавторстве с Ш. Паскье и А. Аллюмом), известная в СССР в переделке Л. Утесова — «Все хорошо, прекрасная маркиза».

[628] истовая католичка — от *польск.* «dewotka».

[629] Последние обломки святынь *(фр.)*.

[630] О камуфляже города см.: *Левина Э.* Оружием архитектуры // Строительство и архитектура Ленинграда. 1975. № 4. С. 10—12.

[631] См.: *Шульгин В.* Дни. Л., 1925. Книга воспоминаний В.В. Шульгина, правого публициста и депутата Второй, Третьей и Четвертой Государственных дум, об исторических событиях 1905—1917 гг.

[632] На острове Святой Елены в Атлантическом океане умер в ссылке Наполеон Бонапарт.

[633] На ул. Желябова, 29, жила семья С.А. Тотвена.

[634] Возможно, Татика — домашнее имя Нины Тотвен.

[635] Островская жила по адресу: ул. Радищева, д. 17/19.

[636] Мальцевский рынок на ул. Некрасова.

[637] неудачник *(фр.)*.

[638] Островская сравнивает брата с поэтом и декабристом В.К. Кюхельбекером.

[639] *Майя* — одно из центральных понятий индийской философии, обозначающее иллюзорность всего воспринимаемого мира.

[640] *Джаггернаут* — одно из имен бога Кришны. Погибший под колесницей у подножья его храма получает освобождение от плена сансары.

[641] *Линия Мажинó* — система французских укреплений на границе с Германией, построенная в 1929—1934 гг. и названная по имени военного министра Андре Мажино.

[642] *Гиньоль* — название парижского театра ужасов.

[643] Далее до июня Островская в дневнике не делала записей; в ее альбоме есть следующая запись от 27 марта 1943 г.:

Сегодня я — впервые, как ни странно,
За наше многолетнее знакомство —
Пишу стихи на Ваше «день рожденье».
И, кажется, пишу их невпопад.
Ведь нужно поздравительные вирши
Составить пышно с локонами рифмы,
С густыми завитушками барокко,
Как там... на Лизаветином дворце.

Но это «там» мешает реверансам
Блистать беспечной логикой парадов,
Оно кривит трагической улыбкой
Картинные тирады Буало,
Оно на розы пышного букета
Бросает пылью пороха и гари
Почти недопустимое сознанье,
Что нет нигде на страшной сей планете
Лирического «Царского Села»

(ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 34).

[644] захватывающий *(англ.)*.

[645] Город чудесный и люциферианский *(фр.)*.

[646] Имеется в виду роман Э.-М. Ремарка «На Западном фронте без перемен» (1929). Лидия Гинзбург писала: «Ремарк в свое время построил роман на том, что сводка гласила “На Западном фронте без перемен” в тот самый день, когда на фронте погиб его герой» (*Гинзбург Л.* Проходящие характеры. М., 2011. С. 313).

[647] Разбомбить на мелкие кусочки, к чертям *(идиом. англ.)*.

[648] Эта общественная организация была основана в 1925 г. Хотя официально была ликвидирована только в 1947 г., но фактически деятельность свою прекратила во время войны.

[649] Большой Драматический театр был эвакуирован в г. Киров. Вернулся в Ленинград в феврале 1943 г.

[650] Спектакль по пьесе К. Симонова «Парень из нашего города» Островская смотрела в клубе НКВД (он же — Гарнизонный клуб милиции), о чем сообщила в письме брату (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 79. Л. 47).

[651] Имеется в виду стихотворение Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства...» (1929; впервые было опубликовано в 1940 г. в сборнике «Из шести книг»).

[652] Неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1830).

[653] По-видимому, речь идет об американской комедии «Midnight» («Полночь») (1939; реж. М. Лейзен), действие которой происходит в Париже.

[654] Ставшая знаменитой песня «Говори со мной о любви» была написана Жаном Ленуаром в 1930 г.

[655] За эту поэму В.И. Инбер в 1946 г. получила Сталинскую премию. О деятельности Лихарева, Инбер, Вечтомовой во время блокады см.: *Гинзбург Л.* Проходящие характеры. М., 2011. С. 587, 584, 578.

[656] Что и требовалось доказать! *(лат.).*

[657] О Колпаковой во время блокады см.: *Гинзбург Л.* Проходящие характеры. М., 2011. С. 585.

[658] Производное от фамилии Минин. Кузьма Минин организовывал материальное обеспечение народного ополчения во время Русско-польской войны (1605—1618).

[659] Возможно, Островская имеет в виду следующий пассаж: «Что это за люди, все помыслы которых заняты церемониями и мысли, и поступки которых в продолжение многих лет направлены к тому, чтобы добраться до более почетного места за столом!» (*Гете И.В.* Страдания молодого Вертера / Пер. А. Эйгес. М.; Л., 1937. С. 121).

[660] Цитируется стихотворение Анны Ахматовой «Тот город, мной любимый с детства...» (1929).

[661] Сборника с таким названием у Ахматовой нет. В 1940 г. вышел ее сборник «Из шести книг». Первый раздел этого сборника назывался «Ива» (по первому стихотворению).

[662] Ср. запись в дневнике Боричевского за 23 мая 1940 г.: «Выступление Ахматовой. Она читала свои стихи в Союзе писателей. После чтения высказывались только двое — старые поэты. Молодые молчали. Стихи очень звучные, музыкальные и прочее. Но никто ничего не понял. Так и разошлись в полном недоумении. Мой сон оправдался: Ахматова не найдет своего тона в современности» (ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 12. Блокнот 69. Л. 11—12).

[663] Н. Гумилев, муж Ахматовой в 1910—1918 гг., был расстрелян в 1921 г.

[664] Сын А. Ахматовой и Н. Гумилева Лев Гумилев был арестован 10 августа 1938 г. Отбывал наказание в Норильском лагере. В 1944 г. был отправлен на поселение, откуда добровольцем ушел в действующую армию.

[665] Имеется в виду А.И. Гумилева. Л. Гумилев рос и воспитывался у нее (в Царском Селе, в ее тверском имении Слепнево, с 1917 г. — в Бежецке) до 1929 г.

[666] Островская, вероятно, имя Анна использует как нарицательное для обозначения жен Пунина (первая жена Н.Н. Пунина — Анна Евгеньевна Аренс, вторая, гражданская, — Анна Андреевна Ахматова). Женщина, с которой Н.Н. Пунин в конце 1930-х гг. соединил свою жизнь, — Марта Андреевна Голубева, искусствовед, коллега Пунина по педагогической работе.

[667] Ахматова была эвакуирована из Ленинграда 28 сентября 1941 г. Через Москву и Чистополь 9 ноября добралась до Ташкента. В Ленинград вернулась 1 июня 1944 г. Об эмоциональном состоянии Ахматовой перед эвакуацией см.: *Гинзбург Л.* Проходящие характеры. М., 2011. С. 71; *Шапорина Л.В.* Дневник. М., 2011. Т. 1. С. 368, 444.

[668] Дом искусств — учреждение, созданное в 1919 г. в бывшем доме купцов Елисеевых (Невский, 15) для материальной и социальной помощи деятелям культуры. Здесь проходили лекции и вечера, возникло творческое объединение «Серапионовы братья».

[669] Ассоциация с портретом Ахматовой работы Н. Альтмана (1914). Островская могла видеть этот портрет еще в детстве, на выставке «Мира искусства», развернутой в 1915 г. в Бюро Добычиной (Марсово поле, 7), или в начале 1920-х гг. в Отделе новейших течений Русского музея. Затем несколько десятилетий портрет находился в запасниках музея.

[670] По решению ИККИ (Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала) 3-й Интернационал (Коминтерн) был 15 мая 1943 г. распущен.

[671] *Кюхля* — лицейская кличка Вильгельма Кюхельбекера, давшая название роману Ю. Тынянова.

[672] Стихотворными дружескими посланиями Пушкин и Языков обменивались в 1824—1828 гг.

[673] *Парсифаль* — персонаж сказаний древних германцев и франков, позднее герой стихотворного рыцарского романа Вольфрама фон Эшенбаха «Парцифаль» (1210). Он исполнен рыцарской доблести и высшей христианской добродетели, открывших путь к христианской святыне — чаше Грааля. Символизирует искупительную жертву.

[674] Имеется в виду М.С. Бакшис.

[675] Цитируется стихотворение В. Зоргенфрея «Над Невой» (1920).

[676] Сохранилось письмо Л.А. Желин 1944 г., адресованное П.С. Попкову:

«Предс[едателю] Лен[инградского] Сов[ета] деп[утатов] труд[ящихся]. Тов. П.С. Попкову

Многоуважаемый Петр Сергеевич!

Позвольте мне от имени французской церкви Нотр-Дам де Франсе в Ленинграде и ее председательницы Сушаль Р.И., ныне больной и находящейся в клинике на излечении, принести лично Вам нашу сердечную и глубокую благодарность за Ваше внимание к нам и помощь во всех наших нуждах. В Вашем лице мы, гражданки сражающейся Франции, позволяем себе также поблагодарить и Советское правительство, отеческую благосклонность которого к нам мы, француженки, испытываем во все эти трудные дни. Прошу Вас, многоуважаемый Петр Сергеевич, принять от нас эту двойную благодарность и уверения в нашем совершенном к Вам почтении. Зам. председателя Французской церкви в Л[енингра]де — Лоретт Августовна Желин. Март 1944» (ЦГА СПб. Ф. 9620. Оп. 1. Ед. хр. 10).

[677] не имеет значения *(англ.)*

[678] По аналогии с дружеским общением в Тригорском А.С. Пушкина и Н.М. Языкова (Островская называет Гнедич «Гусаром», Гнедич именует Островскую «пан», или «друг Корчак», по фамилии ее матери).

[679] Т.Г. Гнедич писала о своей жизни Е.Г. Эткинду 13 июля 1943 г.: «Мало стимулов у меня для того, чтобы жить вообще. Внешне успешное “процветание” в

жизни трогает и, главное, — развлекает меня все меньше и меньше. И приступы огромного желания полного покоя — не просто сна, а сна особого типа — все чаще окутывают меня, как болотный туман: на метафоре тумана настаиваю. <...> Докладываю Вам основное о своей особе. До марта сего года была в рядах РККА и носила пилотку набекрень. В настоящее время "оштатскиваю" с каждым днем. Часто хожу в Дом писателя, где мое "положение" как будто даже хорошее. Много занимаюсь сочинительством, причем постепенно "вербую" себе, или, точнее, "моей музе", почитателей и "одобрителей". Работаю в 5-ти совершенно разнородных местах — преподаю английскую мову, пишу статейки, ведаю отделом "опусов" начинающих авторов в "Ленинградской правде"» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

[680] А.И. Дубровин был основателем в 1905 г. и председателем черносотенной организации «Союз русского народа».

[681] Похожее высказывание найти в произведениях М. Горького не удалось.

[682] По адресу Невский, 57 были переведены отделы исполкома Куйбышевского райсовета после того, как дом 68/40 по Невскому пр., где находился исполком, был в ноябре 1941 г. разрушен фугасной бомбой.

[683] «Пропаганда и агитация» (Ленинград, 1936—1952) — журнал Ленинградских обкома и горкома ВКП(б). А. Аксельрод был членом его редакционной коллегии с декабря 1944-го до ноября 1945 г.

[684] См. в стихотворении А. Блока «Скифы»:

Мы широко по дебрям и лесам
Перед Европою пригожей
Расступимся! Мы обернемся к вам
Своею азиатской рожей!

[685] «на мою радость смотрел не Бог» *(нем.)*.

[686] Ул. Кирочная в 1923 г. была переименована в ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Фурштадтская в 1929 г. — в ул. Петра Лаврова.

[687] Институт усовершенствования врачей (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 41).

[688] Мариинская больница, названная по имени ее основательницы вдовы Павла I Марии Федоровны, с 1918 г. — Больница в память жертв революции, с 1936 г. — больница им. Куйбышева. В 1992 г. больнице возвращено прежнее название.

[689] «Накипь» (*фр.*) — роман Э. Золя (1882).

[690] Переживаю это просто *(фр.)*.

[691] «Милый друг» (*фр.*) — роман Г. де Мопассана (1885).

[692] Добро пожаловать в Петергоф! *(нем.)*

[693] В ходе наступательной операции советских войск Волховского и Ленинградского фронтов, проведенной с целью прорыва блокады Ленинграда (19 августа — 10 октября 1942 г.), 8-я армия попала в окружение и была практически уничтожена.

[694] Перефразированные строки из стихотворения Н. Тихонова «Полустанок в пустыне Каракум» (из цикла «Юрга» 1928—1930 гг.).

[695] Островская называет святым чекистом св. Доминика, основателя ордена доминиканцев, которому в XIII—XIV вв. подчинялась инквизиция. Доминиканцы

считали себя «Псами Господними» (Domini canes). День св. Доминика католическая церковь отмечает 6 августа, но Островская делала это 4 августа (см. запись от 4 августа 1933 г.)

[696] В мае 1943 г. постановлением Государственного Комитета обороны была сформирована преимущественно из бывших польских граждан, находящихся на территории СССР, и советских граждан польского происхождения польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко под командованием полковника С.Х. Берлинга.

[697] В этом здании с 1817 по 1820 г. собиралась община скопцов, которые называли себя «белыми голубями». По легенде, здесь бывал император Александр I.

[698] Гнедич писала 8 сентября 1943 г. писательнице Е.В. Дружининой: «При некотором стечении народа (впрочем, значительно меньшем, чем при выдаче пива и прочих благ) <...> был вечер переводчиков, на котором выступали т. Бутова, Аренс, Войтинская и Гнедич. <...> было довольно приятно, очень сильно "камфарно-водочно", в смысле влияния на состояние духа. Жаль, что Вас не было. Кроме сей новости, других на моем горизонте как бы вроде нет. Так же проводим милые тригорские вечера с С.К. Собираемся написать Вам коллективное послание, включая в него и Валерочку. В Доме писателей особенно явственно не хватает Вашего присутствия и Вашего юмора» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

[699] «Записки» Ф.Ф. Вигеля дают широкую картину российской жизни первой половины XIX в. (см.: *Вигель Ф.* Записки: В 7 ч. М., 1892; *Он же.* Записки / Ред. и вступ. ст. С.Я. Штрайха. Т. 1—2. М., 1928.)

[700] Из дневниковых записей Гнедич за июль 1943 г.: «Вот мне 36 лет, и я накануне настоящей славы. И я пишу эти записки потому, что собираюсь лишить себя жизни и хочу из простой дружеской любезности оставить милому другу Корчаку зафиксированными на бумаге наши полуночные Тригорские беседы — бывшие и небывшие. И вот, написав эти строки, я останавливаюсь и думаю: а имею ли я право задуть эту свечку, которую с таким трудом, с такой болью веры пронесли эти два любящих меня человека [отец, которого Гнедич потеряла в детстве, и мать, умершая во время блокады]? Не их ли естество убиваю, занося на себя руку? Имею ли я право уничтожить в себе то, что даже не совсем принадлежит мне? Их волю к жизни? Их веру? Их боль?» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

[701] Железнодорожная станция Приозерского направления во Всеволожском районе Ленинградской области.

[702] Запись Гнедич от 9 сентября 1943 г.: «Костя Золотовский продолжает "рычать" на недоброжелателей — подлинных и мнимых, пребывая, как он на самом деле и есть — одним из самых порядочных людей в нашем богохранимом Парнасе» (РО ИРЛИ Ф. 810).

[703] Святой Людовик, король французский (*фр.*). День св. Людовика — 25 августа.

[704] Фильм режиссера Г. Раппапорта (1943). С участием М. Жарова, Л. Целиковской и др.

[705] девушка (в значении — исполнительница, участница зрелищного действа) *(англ.)*.

[706] *Сарты* — оседлая часть узбеков.

[707] Роман «Домби и сын» (1848).

[708] Ср.: «Борис Михайлович [Энгельгардт] был крупным историком литературы, переводчиком, очень образованным и прелестным человеком. В блокаду он принес в наше убежище "Большие надежды" Диккенса в своем переводе — только что (и очень неуместно) вышедший том. Эта книжка была надписана моим родителям, и указано, в какой день она подарена. И вы не поверите, во что она превратилась. Знаете, как иногда выглядят бульварные романы: такие пухлые — их прочли сотни людей. Книжку прочло все убежище» (Петербург Ахматовой: семейные хроники. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. СПб., 2000. С. 34—35).

[709] «По постановлению Совета Народных комиссаров Союза ССР организован Совет по делам русской православной церкви для осуществления связи между Правительством СССР и патриархом Московским и всея Руси по вопросам русской православной церкви, требующим разрешения Правительства СССР» (Ленинградская правда. 1943. 8 окт.).

[710] С ноября 1943-го до конца 1944 г. Гнедич была деканом факультета иностранных языков Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена.

[711] То есть из польского города Закопане.

[712] Сверхчеловеческая сверхсущность *(лат.)*.

[713] «Часы досуга» (*англ.*) (1807) — поэтический сборник Байрона.

[714] Надменность *(лат.)*.

[715]

Когда под свои воздушные своды
Зов моих праотцев радостно призовет меня,
А тело мое, преданное буре, все еще будет в движеньи
Или в туманном сумраке лететь в бездну с горы —
О! Пусть тень мою не заключат скульптурные урны,
Призванные обозначать то место, где прах возвращается к праху!
Ни витиеватые сожаления, ни надгробные камни с хвастливыми эпитафиями
— Пусть одно лишь мое имя будет мне эпитафией.
Если оно не сможет увенчать достойно мои останки,
О! пусть никакая иная слава не будет прибавлена к моим деяньям,
Только лишь одно мое имя пусть обозначит место моего успокоения—
Неся ему либо бессмертную память, либо забвение *(англ.)*.

[716] Пушкинское общество в Ленинграде действовало в 1931—1952 гг. Оно занималось проведением чтений и лекций о Пушкине в рабочих клубах и домах культуры, охраной пушкинских памятных мест, изучением жизни и творчества Пушкина и т.д.

[717] О святое одиночество! О одинокая святость! *(лат.)*.

[718] В январе 1945 г. начальник УНКВД ЛО П.Н. Кубаткин с грифом «совершенно секретно, лично» направил первому секретарю Ленинградского обкома и горкома партии А.А. Кузнецову составленную по агентурным данным справку на сотрудника Особого сектора Ленинградских ОК и ГК ВКП(б) М.С. Бакшис: «...Бакшис считает, что благодаря неправильному руководству "тотального властелина", "всесоюзного самодержца", который ни в ком больше не вселяет доверия, кроме скрытой ненависти и страха, страна ввергнута в непростительную войну <...>.

Бакшис обвиняет его в азиатском подходе к людям и государству, в отсутствии чувства меры и такта, в чрезмерном самолюбовании и невиданном в мире самообожествлении, в искажении темпов коллективизации и индустриализации, давших якобы плачевные результаты, и в полном нарушении программы партии, ее устава и учения Владимира Ильича...

Бакшис полагает, что если еще и сохранились какие-то возможности для спасения партии и советской системы, то они заключаются в скорейшей смене высшего руководства и всей внешней и внутренней политики страны.

Бакшис отрицательно отзывалась и о Красной Армии, заявляя: "Бойцы новых наборов сражаются плохо — воевать вообще не хотят. Они недовольны правительством, ввергшим их в такую страшную войну. Они недовольны командирами, в минуту опасности первыми удирающими с фронта. Они погибают молчаливо сотнями тысяч, а между тем погибать им в сущности не за что и защищать нечего, кроме голодного существования в колхозе, без личного будущего и без уверенности в завтрашнем дне".

Бакшис утверждает также, что ВКП(б) находится в периоде перерождения, которое, как она заявляет, началось давно... со смерти Ленина. В этой связи Бакшис говорила:

"Наша партия, как Ленинская партия, видимо перестала существовать. Название только сохранилось. А теперь надо ожидать, что и гимн наш переменят по приказу «лица»".

В одной из бесед, говоря о популярности С.М. Кирова, Бакшис сказала:

"А Вы верите, что его убили именно все эти троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы и как там еще их называли?"» (цит. по: *Ломагин Н.А.* Неизвестная блокада. СПб., 2004. С. 168—169).

[719] Ваши руки, прекрасные, такие слабые и такие жестокие *(фр.).*

[720] формы утверждения и формы отрицания *(фр.).*

[721] Цитируется «Палестинское танго» (1929) А. Вертинского.

[722] Домашнее имя С.А. Тотвена.

[723] Да возникнет из наших костей какой-нибудь мститель *(лат.).* Вергилий «Энеида» (IV, 625).

[724] «Душа моя мрачна!..» *(англ.)* — первая строка одноименного стихотворения Байрона, переведенного на русский язык под таким названием М.Ю. Лермонтовым.

[725] Цитируются письма от 15 августа 1878 г. и от 1 июля 1876 г. (*Флобер Г.* Письма / Пер. с фр. Т. Ириновой, М. Эйхенгольца // Флобер Г. Собр. соч. М., 1938. Т. 8. С. 491, 400).

[726] Речь идет о сборнике стихов «Гитанджали» («Жертвенные песнопения»; 1910), за который в 1913 г. Тагор был удостоен Нобелевской премии.

[727] не знаю *(лат.).*

[728] См.: *Диккенс Ч.* Давид Копперфильд. 2-е изд. СПб.; М.: Изд-во М. Вольфа, 1903.

[729] командный голос *(англ.).*

[730] См.: *Игнатьев А.* Пятьдесят лет в строю. Ч. 1. М., 1942.

[731] См.: *Финк В.* Двадцать лет тому назад // Знамя. 1939. № 9. Далее цитаты со с. 198, 202, 205, 212.

[732]

И страстно в безмолвье и сумраке ночи
Его целовала уста я и очи.
Как ветер над башней гудел угловой!..
Жестокая злоба мне сердце сдавила,
Но я, ненавидя, безумно любила.
Граф был красавец собой.
(*«Две сестры»; перевод О.Н. Чюминой*).

[733] См.: *Maurois A.* Histoire d'Angleterre. P., 1937.

[734] Речь идет о книге Ф. Мориака «Жизнь Иисуса»: *Mauriac F.* Vie de Jesus. P., 1936.

[735] Я пришла попрощаться... Я осталась совсем одна *(фр.).*

[736] Имеется в виду конференция министров иностранных дел СССР, США и Англии, созванная для согласования стратегии и тактики дальнейшего ведения войны, а также для выработки общей позиции по ряду международных проблем. Конференция приняла Декларацию по вопросу о всеобщей безопасности, в которой впервые безоговорочная капитуляция фашистских государств была признана непременным условием прекращения войны.

[737] «Все погибает». «Ничто не погибает» *(англ.)* — названия стихотворений А. Теннисона (1830).

[738] См.: *Hallam A.* On Some of the Characteristics of Modern Poetry, and on the Lyrical Poems of Alfred Tennyson // Englishman's Magazine. 1831. August.

[739] Паровая фабрика кондитерских товаров И.П. Яни существовала в Москве с конца 1880-х гг. (Денисовский пер., д. 30) и производила рахат-лукум, греческую пастилу, халву, шоколад и конфеты. Во французской кондитерской «Трамбле» на Петровке у Кузнецкого Моста, созданной в 1850 г., продавались фирменные пирожные.

[740] мощного мужа *(лат.).*

[741] Напоминание об обряде причащения, когда христиане вкушают Тело и Кровь Иисуса Христа Искупителя и таким образом соединяются с Богом. «Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (Иоанн. 6:53—58).

[742] Из воспоминаний Гнедич: «Март 1938 года. Удивительно белый, уже теплый снег на ветвях деревьев, на чугунных решетках над каналами — Мойка, Фонтанка... Театральная площадь. Телефон-автомат и разговор с Акселем, который “умирающим галлом” сказал мне, что он очень заболел и не сможет пойти в театр. Я сдала билеты обратно в кассу и позвонила снова. И опять он слабым голосом сказал, что чувствует себя очень плохо, но... попросил бы меня прийти. И я сказала: сейчас приду... Чувство, с каким я шла тогда к нему на квартиру, наверное зная, что он один и притом “болен”, — незабываемо! Все тут было: радость, тревога, даже почти страх, смятение, еще наивность, но уже страсть...

И город был предвесенний. Белый-белый теплый снег. Мартовские дали. Еще все-таки молодость — и страсть.

Да. Вот сейчас вспоминается очень живо именно это ощущение скромной влюбленной модисточки, которая идет впервые на холостую квартиру к красавцу-кавалергарду...

Что это? Тоже возмездие?» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

Из письма Гнедич Е.Г. Эткинду от 14 сентября 1943 г.: «Я изменилась очень категорически. Я здорова, как санитарка... Только некоторые качества остались у меня прежние: припадки тоски и непроходящая любовь к ранее упоминавшемуся в наших разговорах. О нем я ничего не знаю уже с сентября 1941 года и не имею представления о том, когда и как смогу что-нибудь узнать. В сентябре 1941 года он был на Урале. И все. Больше ни писем. Ни косвенных сообщений. Ни даже известий о его сестре, которая жила в Твери, — но после зимы 1941—1942 года тоже куда-то “потерялась”. Вот и все...» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

Г.С. Усова пишет, что фамилия Акселя — Витберг (см.: *Усова Г.С.* И Байрона в соавторы возьму. Книга о Татьяне Гнедич. СПб., 2003. С. 80). Однако документальных подтверждений тому нет, и мы полагаем, что она ошиблась: человек, о котором идет речь, — Аксель Бекман. См. о нем: *Разумов А.Я.* Дела и допросы // «Я всем прощение дарую...»: Ахматовский сборник. М.; СПб., 2006. С. 278—279.

[743] Другой вариант этого стихотворения записан Гнедич в альбоме Островской:

Настанет день — пожарище войны,
Шипя, угаснет присмиревшим зверем...
На пажитях великой целины
Статистикой затянутся потери,
И водворится щебет тишины.
И мы всему по-прежнему поверим:
Весне и солнцу и желанью жить,
И даже слову «счастье» — может быть!

Но есть на карте наших пребываний
Такие острова и островки,
Где минные поля воспоминаний
Раскинулись пространствами тоски —
Как в бабушкином ласковом романе,

За гранью сожалений и желаний
У медленно мелеющей реки
Они лежат пейзажем осиянным
Под небом голубым — но бездыханным.

Там есть подъезды, магазины, двери,
Хранящие на много-много лет
Последний луч, святую боль потери,
Неизгладимый в памяти портрет —
В которых мы почти до бреда верим,
Что узнаем знакомый силуэт —
И мы готовы целовать ступени
За то, что *эти* их касались тени.

* * *

Увы, не раз случается и мне
Пересекать жизнеопасный сектор,
Когда на Петроградской стороне
Иду я по прекрасному проспекту
Куда-то к романтической весне.
Стремительный и ровный, как прожектор,
Уходит он, как вереница дней,
К далеким зорям юности моей...

(ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 64—64 об.).

[744] Очищение Пресвятой Девы *(фр.).*

[745] Островская писала Г.В. и Н.И. Рейтцам:

«9.12.43

Как хорошо, дорогие мои, что я Вас разыскала, что я теперь конкретно знаю, где Вы и что с Вами. Вчера днем я получила Ваши письма, едва взглянув на конверт, обрадовалась так, что даже письмоносице, милой пожилой женщине, сказала сразу же о своей большой, большой радости. Вслух хотелось сказать об этом — а сказать было некому <...>. Я сразу и не открыла конверта. Я просто смотрела на милый и такой знакомый почерк Наталии Исидоровны и улыбалась — Вам улыбалась, Вашей жизни, нашему прошлому, старому дому на Фонтанке, книгам и рукописям, тихим вечерам на балконе в то совершенно фантастическое и не совсем понятное теперь время, когда никто не думал о подобстрельных сторонах улиц и не прислушивался тревожно ко всем звукам — не обстрел ли? <...>

Вот бы только выжить — именно здесь, в моем прекрасном искалеченном городе, — где смерть запросто гуляет по улицам! Думаю, выживу — надо бы: есть, что сказать. Товарищи из Дома писателя считают, например, что я прирожденная мемуаристка. Пишу теперь, правда, мало — новых стихов совершенно нет, из прозы кое-что имеется, подмалевки, начала и подтушевки. Зато большое внимание отдается дневниковым записям, довольно любопытным по материалу. Эти мои Тетради Войны я очень берегу и даже перепечатываю нынче в нескольких экземплярах:

это то, что должно быть сохранено как фон, как основание, как первичная глина для будущей работы о Ленинграде во время войны. Работу эту, может быть, и не суждено будет написать мне — да это и неважно! Жду московской оказии, чтобы переслать Вам готовые, то есть перепечатанные, листы. Вам, знаю твердо, это будет и интересно и значимо. <...>

Книгам сейчас у меня неуютно. Они чувствуют, что любовью физической, любовью страстной и нежной собственности я их любить уже перестала. Из стадии стремления к обладанию любовь моя к книге, к красивым вещам и ко всему прекрасному уже вышла: появилась любовь платонической и разумной мудрости — я счастлива, что есть хорошие книги и прекрасные вещи — и я больше не хочу их иметь. После смерти мамы проверила себя экспериментально — начала продавать книги, продала очень много, без нужды, без необходимости, за невероятно смешные в ту пору цены — и наблюдала: больно? трудно? Нет, дорогие мои, не больно и не трудно. Немножко печально. Немножко улыбчиво. Так отжившие люди, с такой же, вероятно, улыбкой и легкой сентиментально-разнеженной печалью, могут сжигать письма и фотографии дней далекой юности, до которой уже никому, кроме них, нет никакого дела... <...>

Внешне, как говорят, я выгляжу прекрасно. Я никогда не была такой толстой, как теперь, такой спокойной, такой безразлично-снисходительной. Во мне больше нет игры — никакой. Скептический же цинизм пустил разветвленные корни. Романтику продолжаю умеренно любить — так, как подагрический гусар в отставке, любующийся и оценивающий высокие стати великолепной скаковой лошади, на которой — все равно! — ему уже не суждено скакать на пышном конкур-иппик!

Народу у меня бывает очень много — и все новая публика. Есть очень любопытные персонажи. Главным же образом это совсем чужие мне и ненужные люди, которым я почему-либо нужна и которые меня-то, что называется, "любят". Все это очень славные дамы и девицы, до которых мне нет, в сущности, никакого дела!

За очень немногими исключениями (я говорю о тех немногочисленных особах, которые остались вокруг меня от того, "старого" времени до войны) мне никто не верит, что я живу одна. Это кажется невероятным и почти чудовищным — принимая во внимание особые проявления бурно стремительного и многопланового Эроса в условиях Ленинграда. Считают, что я просто "очень умная" и тонко и ловко держу "за кулисами" если и не нескольких, то уж, по крайней мере, одного аманта. Я даже прикидываю — не придумать ли мне кого-нибудь, чтобы только меня оставили в покое со всякими догадками!..

Как видите, я действительно веселая! <...>

Кстати: дайте же, наконец, указания по поводу книг, которые мне надо прочесть по Вашей специальности. Мне это совершенно необходимо — иначе я просто возьму курс из Мечниковской больницы, где у меня знакомые врачи. А это для меня будет не то. Господи, какая же громадная, необ'ятная, неизмеримая работа предстоит врачам Вашей специальности после войны — и особенно по Ленинграду!

Я заранее могла бы Вам дать список фобий, маний и неврозов, с которыми Вам придется сталкиваться на практике! Уверяю Вас, врачей количественно не хватит — придется прибегать к квалифицированному кустарному способу, называвшемуся когда-то знахарство — а иногда и иначе — и тогда мои услуги будут бесценными... Я слышала, что Л.Л. Васильев здесь работает — почему-то в библиотеке Ак[адемии] наук. Кстати, а что слышно о Мих[аиле] Мих[айловиче], есть ли у Вас хоть какие-нибудь сведения? Как всех разметали вихри войны и эвакуации... не говоря уже о других вихрях, обычно уносящих людей "на ту сторону" навсегда!

Невероятную, чисто физическую тоску я испытываю, думая о божественной прелести наших парков — Пушкина и Павловска. Видимо, мы туда будем ездить когда-нибудь на поклонение. Как люди ездят на родные и дорогие могилы... те люди, у которых такие могилы есть. У меня вот нет: мама похоронена неизвестно где, могила тети на Волковом в начале войны была уничтожена. Отец, видимо, тоже погиб — последние известия о нем я имела в декабре 1941, а в феврале 1942 он снова заболел привычной для него формой его болезни и был куда-то увезен для лечения. Ужасная судьба, не правда ли... ведь он старик! <...>

Скоро напишу еще. Люблю Вас. Почти счастлива, что Вы снова со мной. Не уходите. Не забывайте меня. Ведь я очень Ваша» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 81. Л. 1—3).

[746] Египетские ворота, сооруженные в 1827—1830 гг., находятся при въезде в Царское Село со стороны Петербурга.

[747] В конце лета 1941 г. Академический театр оперы и балета им. Кирова (б. Мариинский) был эвакуирован в Пермь. Вернулся в Ленинград в 1944 г.

[748] То есть светофоры.

[749] Имеется в виду центральный универмаг «Вертхайм» (название по названию старинного замка) на Лейпцигер-платц, построенный в начале XX в. архитектором А. Месселем.

[750] Неточная цитата из поэмы В. Маяковского «Во весь голос» (1930).

Правильно:

Но я
себя
смирял,
становясь
на горло
собственной песне.

[751] Омонимический каламбур — совпадающие англ. и нем. формы: фамилия немецкого философа Schelling и артобстрел по-английски — shelling.

[752] упрямая вещь *(фр.)*.

[753] старый красавец! *(фр.)*.

[754] Цитируется стихотворение О. Мандельштама «Дев полуночных отвага...» (1913).

[755] Цитируется стихотворение О. Мандельштама «Silentium» (1910).

[756] Цитируется стихотворение А. Ахматовой «От тебя я сердце скрыла...» (1936).

[757] *Тихонов Н.* «Перекоп» (1922).

[758] Речь идет о балладе В.А. Жуковского «Светлана» (1813).

[759] Из стихотворения Н. Тихонова «Длинный путь. Он много крови выпил» (1921).

[760] Новый гимн СССР был принят постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 14 декабря 1943 г. Он заменил «Интернационал», так как роспуск Коминтерна и характер отношений с союзниками не допускали теперь намеков на мировую революцию. В гимне (авторы слов С.В. Михалков и Г.Г. Эль-Регистан) была использована музыка А.В. Александрова к «Гимну партии большевиков», написанному в 1938 г.

[761] Есть Любовь и любови *(фр.).*

[762] Любовь — милосердие *(лат.).*

[763] Богоявление *(фр.).*

[764] шансонье, автор-исполнитель песен *(фр.).*

[765] В Версальском дворце
Он отыскал короля:
«Я родом из Корнуэлла,
Сир, снарядите меня» *(фр.).* — Цитируется песня Т. Ботреля «Малыш Грегуар» (1895).

[766] То есть потомком, продолжателем дела победоносного Наполеона Бонапарта. Генерал армии Н.Ф. Ватутин с декабря 1943 г. руководил Днепровско-Карпатской операцией, которая положила начало освобождению Украины.

[767] Черт возьми, да! *(фр.).*

[768] воображаемых разговоров *(англ.).*

[769] легкомысленных рассуждениях *(фр.).*

[770] О каком Эрошке или Ерошке идет речь — выяснить не удалось.

[771] Бытовое название эпидемического гриппа (впервые он был диагностирован в Испании), свирепствовавшего в Европе и в России в первых десятилетиях XX в.

[772] См.: *Ньюмен Б.* Английский шпион в Германии. М., 1943.

[773] Интерес Островской к английскому, возможно, связан с ее общением с Гнедич, которая во время блокады вела кружок английского языка и литературы в Доме писателя. См.: *Хмельницкая* Т.Н. Гнедич в дни блокады // Гнедич Т. Страницы плена и страницы славы. СПб., 2008. С. 321—323.

[774] В. Рождественский писал 19 января 1944 г.: «...моя мама и отчим умерли в феврале 1942 г., когда я был уже далеко. Жена и шестилетняя дочка Наташа в глухой деревушке на Урале <...>. Я не знаю Вас. Это дает мне право смело говорить с Вами просто и от сердца — так, как писали Вы сами. Я благодарю Вас за новогоднее пожелание <...>. Если приведет судьба быть в Ленинграде и если Вы захотите этого, я приду к Вам, чтобы поблагодарить Вас и в Вашем лице Вашу маму. Меня тронуло то, что Вы рассказали о ней <...>» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 95. Л. 2—3).

[775] Цитируется стихотворение Вс. Рождественского «Если не пил ты в детстве студеной воды...» (1920-е гг.).

[776] Катынский расстрел пленных офицеров польской армии был произведен весной 1940 г. сотрудниками НКВД. Всего было расстреляно более 20 тысяч пленных. О нахождении массовых захоронений в Катынском лесу заявили в 1943 г. представители Германии. Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему. После освобождения Смоленска советскими войсками была создана Специальная комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров, которая пришла к выводу, что расстрелы были осуществлены в 1941 г. немецкими оккупационными войсками. Лишь в 1990 г. руководство СССР признало ответственность НКВД СССР. Скорее всего Островская и Бакшис обсуждали незадолго до этого опубликованную в газете «Правда» (1944. 26 янв.) информацию о деятельности упомянутой комиссии.

[777] В советских социалистических республиках национальные армии созданы не были.

[778] После раздела Польши в 1939 г. между Советским Союзом и фашистской Германией польское национальное правительство находилось в изгнании (до июля 1940 г. — в Париже, потом — в Лондоне). Когда в апреле 1943 г. оно обвинило СССР в расстреле польских офицеров в Катынском лесу, Советский Союз разорвал с ним дипломатические отношения.

[779] В 1926 г. произошло групповое изнасилование в Чубаровом переулке (район Лиговского проспекта в Ленинграде). После громкого судебного процесса слово «чубаровщина» стало нарицательным.

[780] С 1933 г. в Ленинграде были введены в эксплуатацию восемь трамвайных вагонов, внешне похожих на трамвайные вагоны США, за ними закрепилось прозвище «американки».

[781] См.: *Кид Д.* Завещание Уэнтворта / Пер. с англ. В.И. Рязанова // Знамя. 1937. № 3/4. С. 157—247.

[782] Этим же числом — 16 февраля 1944 г. — датированы стихи Гнедич, обращенные к Островской:

Из поэмы
К **

Пан Корчак — музы Мадригала немы —
Я пышных слов не стану подбирать —
Давно пора бы в некую поэму
Мне это имя польское вписать.
Оно подходит под любую тему.
Причем вообще — какая благодать
Чертить и строить — не по долгу службы —
Слова и рифмы для Октавы Дружбы...

А что же дальше? Дальше — тишина,
Тригорского задумчивые чащи,
Тоска, ингерманландская весна,
Дворец Фелицы, меж дерев сквозящий,
И злая брага чистого вина,
И хмель беседы — пьяной, настоящей —
Такой беседы, чтобы вся до дна
Душа, и дурь, и молодость видна!
<...>

Что впереди — какой предскажет бес?
Какие сдвиги и какие встречи?
Про то сказал повеса из повес:
«Иных уж нет, а те — далече!»

Но солнце мира, синева небес,
Быть может, все залижет и залечит?
Быть может, даже мы — холостяки —
Избавимся от приступов тоски?

И будем, никого не укоряя
И позабыв про всякую беду,
Каких-нибудь «двенадцать фунтов рая»
Спокойно нянчить где-нибудь в саду.

Пан Корчак — друг! Того и Вам желаю —
А я — ну я, пожалуй что, уйду.
Простите, милый, пьяному гусару
И рифмы, и... и гитару.

(ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 42)

[783] Это письмо в архиве Островской не обнаружено.

[784] Ленинградский педиатрический институт был создан в 1935 г. (с 1994 г. — Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия).

[785] Из стихотворения Вс. Рождественского «Приглашение к путешествию» («Нет, не Генуя, не Флоренция, не высокий, как слава, Рим....») (1919).

[786] Островская цитирует стихотворение Вс. Рождественского «Песенка про зеленый цвет» (1921).

[787] Цитируется стихотворение Вс. Рождественского «Как свечу, зажег тебя однажды...» (1921).

[788] Из стихотворения Вс. Рождественского «О, прорезь глаз наискосок!» (1920).

[789] Из стихотворения Вс. Рождественского «Не с тобой ли думал я о чуде?» (1919).

[790] Строку этого стихотворения Островская приводит с ошибкой. Правильно: «В калитку памяти как ни стучи...» (1921).

[791] Из стихотворения Вс. Рождественского «Сон» («На палубе разбойничьего брига...») (1919).

[792] Из стихотворения Вс. Рождественского «Крысы грызут полковые приказы...» (1926).

[793] Не надо *(фр.)*.

[794] Ошибка Островской: Дмитриенко умер 27 апреля 1936 г. (см. запись в дневнике Островской за 14 мая 1936 г. и примечание к ней).

[795] Наталья Исидоровна Борейша-Рейтц — жена Рейтца.

[796] Я жива, я жива, я здесь... *(англ..)*

[797] Прислуга Тотвенов.

[798] Цвета вина кларет, ярко-красный.

[799] В письме далее: «Я так измучена, что порой я сама кажусь себе дрожащей на тоненькой ниточке, которую называют жизнью...» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 94. Л. 1).

[800] Моя королева *(фр.)*.

[801] *Таиах* — египетская царица, жена фараона Аменхотепа III (1455—1424 гг. до н.э.). М.А. Волошин увидел в парижском музее Гиме ее скульптурный портрет. Он был поражен таинственной красотой царицы и написал стихотворение «Таиах» (1905).

[802] Великое Герцогство Варшавское было создано в 1807 г. по Тильзитскому миру из польских территорий, отошедших во время второго и третьего разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрийской империи. Просуществовало до 1813 г.

[803]
И я точно знала, что он — мой парень,
И он точно знал, что я — эта женщина.
И все равно —
Мы оба молчали *(англ.)*.

[804] «Фиалка Монмартра» — оперетта на музыку И. Кальмана. Театр Музыкальной комедии работал всю блокаду, спектакли игрались на сцене Александринского театра.

[805] чужаки *(фр.)*.

[806] Английский фильм (1940; реж. Л. Бергер; в роли злого волшебника Джафара — К. Фейдт).

[807] Это трио было создано во время блокады.

[808] делать хорошую мину *(фр.)*.

[809] «Хорошо взмывать вверх, как орлы, но остается задача научиться ходить и не терпеть поражения» *(англ.)*.

[810] Мемуарная книга Вс. Рождественского «Шкатулка памяти» вышла в 1972 г.

[811] Это не его стиль. И это не стиль времени *(фр.)*.

[812] То есть цинга.

[813] Так Островская называет Л. Уинкотта.

[814] Как поживаете, Джафар *(англ.)*.

[815] Красота... это тяжелая работа *(англ.)*.

[816] И так далее *(англ.)*.

[817] В.А. Рождественский писал, в частности: «12 мая 1944 <...> получил назначение на южный участок нашего фронта, и близко к милому Ленинграду. На берега реки Оять, впадающей в Свирь, т.е. немного севернее Тихвина <...>. Буду работать спецкорреспондентом военной газеты в районном центре Ленинградской обл. — Алеховщина <...>. Наши вечерние беседы — сейчас лучшее мое воспоминание... Это письмо передаст вам мой фронтовой товарищ, майор Клименко <...>»; «31 мая 44. Милая. Милая Sophie, загадочная Тайах (позвольте хоть так называть Вас!)...» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 95. Л. 6, 7, 10, 12).

[818] Бронзовые статуэтки называли по имени художника Эмиля Гильемина (1841—1907), по чьим эскизам они отливались.

[819] Речь идет о «Поэме без героя». Об истории бытования ленинградских списков «Поэмы без героя» см.: Анна Ахматова: Поэма без Героя. Проза о Поэме. Наброски балетного либретто: Материалы к творческой истории / Изд. подгот. Н.И. Крайнева. СПб., 2009.

[820] Национальный совет *(польск.)*. Крайова Рада Народова (1944—1947) — политическая организация, созданная во время Второй мировой войны в качестве представительного органа польских национально-патриотических и антифашистских сил. Прекратила свою деятельность 4 февраля 1947 г., после избрания Законодательного сейма.

[821] Организованный в 1943 г. по инициативе Советского Союза Польский комитет национального освобождения — временный (с 21 июля по 31 декабря 1944 г.) орган исполнительной власти Польши.

[822] Цвета национального флага Польши.

[823] «Марш Домбровского» (слова Ю. Вербицкого, автор музыки неизвестен) впервые прозвучал в 1797 г. в исполнении войскового оркестра Польских легионов, сформированных Я.Г. Домбровским для борьбы за независимость Польши. Во время Польских восстаний 1830—1831 и 1863 гг. «Марш Домбровского» был национальным гимном. Передача его по московскому радио в 1944 г. — демонстрация признания польской государственности.

[824] Польское войсковое соединение под командованием генерала Андерса, из бывших польских военнопленных, депортированных польских граждан и советских военнообязанных польского происхождения, было создано в 1942 г. по согласованию с Польским правительством в изгнании. Армия Андерса в мае 1942 г. была переведена в Иран и участвовала во Второй мировой войне в составе армии Великобритании.

[825] Вооруженные силы, созданные в СССР в 1944 г.

[826] Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» был открыт в 1903 г. в Петербурге как магазин колониальных товаров в специально построенном для него здании (архитектор Г.В. Барановский) на углу Невского, 56, и Малой Садовой, 8.

[827] Взятый в январе 1943 г. в плен под Сталинградом генерал-фельдмаршал Ф.В. фон Паулюс летом 1944-го был отправлен в привилегированный генеральский

лагерь в районе Спасо-Евфимиевого монастыря под Суздалем, затем переведен в лагерь на территории бывшего санатория имени Войкова, где помимо фон Паулюса находилось еще 22 немецких, 6 румынских и 3 итальянских генерала.

[828] В советский плен 30 августа 1942 г. попал граф Хайнрих фон Айнзидель, обер-лейтенант, летчик-истребитель, по материнской линии внучатый правнук канцлера Бисмарка. В плену он отказался разглашать известные ему военные сведения, но согласился написать открытое письмо домой, в котором заявлял, что с ним обращаются хорошо, Германия проигрывает войну, а его прапрадед Отто фон Бисмарк никогда не решился бы на завоевание России.

[829] Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. только зарегистрированный брак порождал права и обязанности супругов. Мать не имела теперь возможности обращаться в суд с иском о взыскании алиментов на содержание ребенка, родившегося от лица, с которым не состояла в зарегистрированном браке.

[830] Популярная в 1910-е гг. сентиментальная трилогия Е.А. Аверьяновой: Иринкино счастье: Повесть для девочек старшего и среднего возраста. СПб., 1910; На заре жизни. Повесть для юношества. СПб., 1911; Весенняя сказка. Роман для юношества. СПб., 1911.

[831] Ахматова вернулась в Ленинград из эвакуации 1 июня 1944 г. Островская писала брату 16 июля 1944 г.: «В Ленинград вернулась Анна Ахматова. 19-го ее вечер в Доме писателя, пойду обязательно» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 79). 19 июня Ахматова принимала участие в «Устном альманахе» в Доме писателя, в конце июля здесь же состоялся ее собственный вечер.

[832] Онкологический институт в Ленинграде был создан в системе Академии медицинских наук в 1926 г. (ныне носит имя Н.Н. Петрова, основоположника отечественной онкологии).

[833] Этот очерк в архиве Островской не обнаружен и в газете не был опубликован.

[834] В фонде Островской (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 44) есть два машинописных списка «Поэмы без героя» с ахматовской правкой (текстологический анализ этих списков см. в указанном в примеч. 819 издании, подготовленном Н.И. Крайневой).

[835] Цитата из «Решки» — второй части «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

[836] Темной женщины *(фр.)*.

[837] Светлая женщина *(фр.)*.

[838] ночных разговоров *(англ.)*.

[839] На Глазовской, 37, жила М.С. Бакшис с сыном Мстиславом.

[840] Имеется в виду издательство «Всемирная литература» (Моховая ул., 36) или Дом поэтов в так называемом Доме Мурузи, недалеко от Моховой (Литейный пр., 24 / ул. Пестеля).

[841] Островская имеет в виду следующие стихотворения: «Постучи кулачком — я открою...» (1942), «Птицы смерти в зените стоят...» (1941), «Мужество» (1942), «Я не была здесь лет семьсот...» и «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни...» (1944).

[842] Имеется в виду поэма О. Берггольц «Памяти защитников» (апрель 1944 г.). Во вступлении к поэме говорилось: «Поэма написана по просьбе ленинградской девушки Нины Нониной о брате ее, двадцатилетнем гвардейце Владимире Нонине, павшем смертью храбрых в январе 1944 года под Ленинградом, в боях по ликвидации блокады».

[843] Ср. запись Л.В. Шапориной от 22 сентября 1944 г.: «Встретила на улице Анну Ахматову. Она стояла на углу Пантелеймоновской и кого-то ждала. <...> Разговорились: “Впечатление от города ужасное, чудовищное. Эти дома, эти два миллиона теней, которые над нами витают, теней, умерших с голода <...>”» *(Шапорина Л.В.* Дневник. М., 2011. Т. 1. С. 143—144).

[844] Фонтанный дом — бывший Шереметевский дворец (наб. реки Фонтанки, 34, кв. 44). Ахматова жила там в 1918—1920 и 1926—1941 гг.

[845] В конце августа 1944 г. Ахматова переехала от Рыбаковых, у которых остановилась после возвращения из Ташкента, в Фонтанный дом и поселилась в той же комнате, где жила до войны.

[846] Ирина Николаевна Пунина, дочь бывшего мужа Ахматовой Н.Н. Пунина.

[847] светская беседа *(фр.).*

[848] См.: *Ян В.* Чингиз-Хан. Повесть из жизни старой Азии (XII век). М., 1939. В 1942 г. за этот роман В.Г. Ян получил Сталинскую премию.

[849] Имеется в виду поэма В. Инбер «Пулковский меридиан» (1942).

[850] В.С. Срезневская.

[851] Островская писала Рождественскому 23 сентября 1944 г.: «Недавно на улице меня остановила Ахматова — упрекнула, что я ее забыла, что не узнаю ее, сказала, глядя в сторону, что город для нее совсем пустой — и пригласила к себе. Третьего дня я была у нее, в пустой и разгромленной комнате в Фонтанном доме. Все ее вещи — все! — и библиотеку и архив! — сжег какой-то бухгалтер, живший и умерший от дистрофии в ее комнате. К этому “происшествию” в ее жизни она относится с благожелательным равнодушием. Сидела у нее долго. Говорили о ее поэме, о ташкентских днях, о том, что ее зовут в Москву, о том, что в Ленинграде — пусто, что ей не с кем беседовать, что искусство беседы утрачено. Говорили о Татьяне и ее переводах работы Ахматовой, немножко о Союзе, немножко о поэтах. Мне было радостно, горько, взволнованно, грустно: les neiges d’Antan... [прошлогодний снег (*фр.*) — цитируется стихотворение Ф. Вийона]. В сумерках таким альтмановским был силуэт этой женщины! Потом пришла подруга ее детских лет — такая же царскоселка, как и Вы! Уверена, что Вы ее знаете, фамилию я не расслышала — такая забавная петербургская барыня, которую зовут Валерия Сергеевна [Срезневская]: racontez-moi un peu, qui est-ce [скажите мне хоть несколько слов, кто это (*фр.*)]?

И скажите, какой нужно быть, чтобы понравиться Ахматовой! Она хочет ко мне прийти — а я хочу (очень!) ей понравиться» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 82. Л. 2 об.).

[852] «Явление луны» (Из цикла «Луна в зените»). Под стихотворением дата: «25 сентября 1944».

[853] Цитируется стихотворение «Какая есть. Желаю вам другую...» (1942).

[854] Стихотворения написаны соответственно в 1910 и 1911 гг.

[855] «Покаяния отверзи ми двери».

[856] Композитор А.Ф. Козловский и его жена Г.Л. Гарус-Козловская — ближайшие друзья Ахматовой по Ташкенту.

[857] Отношения Ахматовой с Людмилой Николаевной, женой Е.И. Замятина, были особенно доверительными: еще в 1922 г. Ахматова посвятила ей стихотворение «Здравствуй, Питер!...».

[858] Вся запись об Ахматовой за 28 сентября 1944 г. взята в машинописный вариант дневника с отдельных рукописных листов (Ф. 1448. Ед. хр. 170).

[859] О буднях Публичной библиотеки во время блокады см.: Публичная библиотека во время войны 1941—1945. СПб., 2005.

[860] По-видимому, речь идет о следующем издании: Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского 1865—1878: В 4 т. СПб., 1897—1901.

[861] См.: *Чивилихин А.* Отход прикрывает четвертая рота // Великая Отечественная. Стихотворения и поэмы: В 2 т. М., 1970. Т. 2. С. 451.

[862] В письме к Е.Г. Эткинду от 11 сентября 1943 г. Гнедич писала: «*Звезда славы* взойдет надо мной, вероятно, не столько вследствие моих переводов, сколько вследствие моего английского языка. Дело в том, что я сейчас перевожу для Совинформбюро нечто вроде антологии русских поэтов — включая Тихонова, Инбер, Берггольц — на английский язык стихами» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

[863] из вежливости *(фр.).*

[864] Палеонтологический термин, обозначающий отпечаток насекомого.

[865] В картинах А. Беклина изображен вымышленный таинственный мир, населенный кентаврами, единорогами, сатирами, нимфами, фавнами, наядами.

[866] От specimen (*фр.*) — биологическая разновидность.

[867] Видимо, Ахматова познакомила Островскую со своей неопубликованной поэмой «Путем всея земли (Китежанка)», написанной в марте 1940 г.

[868] «Эта грязная собака» *(англ.).*

[869] «Она разыгрывает спектакль» *(англ.).*

[870] «...самая царственная из женщин...» *(фр.).*

[871] Внучка Н.Н. Пунина А.Г. Каминская.

[872] несмотря ни на что *(фр.).*

[873] 21 декабря было избрано новое правление Ленинградского отделения Союза писателей, в состав которого вошли А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, М.Л. Лозинский, А.А. Прокофьев, В.М. Саянов, О.Д. Форш и др.

[874] Ср.: «И вдруг прямо перед собой у входа увидел только что появившуюся маску в пышно разлетавшемся бакстовском платье <...> костюме Кьярины для "Карнавала" Шумана <...>. В дверях стоял только что вошедший директор государственных театров Экскузович и, не веря собственным глазам, не отрываясь следил за кружением бледно-голубого кринолина. Ужас был написан на его ошеломлен-

ном лице» (*Рождественский Вс.* Страницы жизни. М., 1974. С. 187). Воспоминания В.А. Рождественского о Блоке впервые были опубликованы в журнале «Звезда» (1945. № 3. С. 107—115).

[875] Речь идет о Студии художественного перевода при издательстве «Всемирная литература», которая открылась летом 1919 г. на Литейном в доме Мурузи, в квартире банкира Гандельблата (см.: *Одоевцева И.* На берегах Невы. М., 1989. С. 34).

[876] Однако в 1918 г. Н. Гумилев печатно отозвался о Вс. Рождественском весьма благосклонно: «У Всеволода Рождественского есть тот беспредметный и напряженный лиризм, который владел нашими поэтами лет десять тому назад <...>. Есть магия в этом набегании строк одна на другую, набегании, не дающем задерживаться ни на одном образе и оставляющем не память о стихотворении, а лишь вкус его. Я верю, многое переменится в поэте <...>, но мне хотелось бы, чтобы это его качество осталось. В нем залог самодовлеющего очарования, самого важного в поэзии» (*Гумилев Н.* Письма о русской поэзии. М., 1990. С. 209).

[877] Об И.Р. Малкиной и Е.Р. Малкиной см.: *Эльзон М.Д.* Ахматова и сестры Малкины // «Я всем прощение дарую...»: Ахматовский сборник. М.; СПб., 2006. С. 230—238. О Малкиных см. также: *Гинзбург Л.* Проходящие характеры. М., 2011. С. 588.

[878] Вс. Рождественский писал Островской 8 декабря 1944 г.: «Меня очень заинтересовала Ваша беседа с Ахматовой и то, что она была такая продолжительная и дружеская. Очень хорошо, что Вы мне о ней рассказали. Я очень рад, что могу, хотя бы только теперь, успокоить Ан[ну] Ан[дреевну]. В книге моих мемуаров нет ни единой пугающей ее вещи: ни “детства” А.А., ни “цветов в царскосельском саду”. Ее имя проходит мельком, только как упоминание, в двух местах повествования. При описании одного поэтического вечера в университете, еще во времена Первой германской войны, где присутствовали все представители тогдашнего поэтического Олимпа, говорится: не было только одной Ахматовой, чей портрет, выставленный недавно, и т.д. В другой раз очень силуэтно, и тоже только как беглое упоминание, проходит на похоронах А.А. Блока. И это все. Я уже давно знаю особую щепетильность А.А. в ее отношении к прошлому и потому с ней бываю особенно осторожен (так же, как и со всеми ее живущими современниками). Я назвал ее два-три раза только потому, что нельзя не назвать ее, говоря о той литературной эпохе. Само собой разумеется, нет и ни единого слова об ее отношениях с Ник. С. [Гумилевым], очень сложных, запутанных и, по правде говоря, неясных для меня самого.

А о Н.С. речь идет только как о поэте (уже упомянутый университетский вечер, несколько бесед с Блоком, которых я был свидетелем, — и все).

Мне бы очень хотелось успокоить вполне понятное волнение А.А. С моей стороны она может встретить только заочное дружество, которое очень бережет ее поэтическую и человеческую славу. Мне не хотелось бы ее даже невольно чем-нибудь обидеть. Будь я в Ленинграде, я бы сам прочел ей эти места. Кстати сказать, рукопись еще не получила окончательной редакции. Я надеюсь, что она еще будет

у меня в руках (ее собираются переслать сюда), и тогда я еще раз пересмотрю все эти неожиданно обнаружившиеся подводные камни, хотя и заранее знаю, что в них нет ничего, способного внести тревогу в память А.А. Не мне разрушать легенду о ней. Я первый озабочен тем, чтобы в истории русской литературы она навсегда осталась прекрасным альтмановским портретом...» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 95. Л. 55).

[879] О негативном отношении Ахматовой к Э.Ф. Голлербаху см. в записях П. Лукницкого от декабря 1924 г., 20 июня 1926 г., 27 ноября 1927 г.: *Лукницкий П.Н.* Acumiana Встречи с Анной Ахматовой. Paris, 1991. Т. 1. С. 8, 18, 20, 87, 138; Т. 2. С. 178, 194, 218, 227, 242.

[880] См.: *Голлербах Э.* Город муз: Детское Село, как литературный символ и памятник быта. Ленинград, 1927.

[881] Цитируется Эпилог «Поэмы без героя».

[882] Возможно *(англ.)*. Согласно архивной справке ФСБ, Гнедич была арестована 27 декабря 1944 г. Управлением НКВД по Ленинградской области и Ленинграду. Обвинялась по статьям 19—58—1а УК РСФСР (покушение на измену родине), 58—10 (антисоветская агитация и пропаганда), 58—11 (организационная деятельность, направленная к совершению контрреволюционного преступления). По приговору Военного трибунала войск НКВД от 26 февраля 1946 г. осуждена на 10 лет с последующим поражением в правах сроком на 5 лет.

Историю ареста излагает Г.С. Усова, ссылаясь на рассказ самой Т.Г. Гнедич ей и В. Ганшину: «После того как Татьяна Григорьевна начала наведываться в Большой Дом [пытаясь выяснить судьбу Акселя], для нее наступили тяжелые времена. Она чувствовала, что ею интересуются, но остановиться не могла — как человек, который бежит с крутой горы. К ней подослали провокаторшу — по ее словам, женщину, внешне очень интересную, красивую, изящную. Однажды она передала в руки Татьяны Григорьевны игрушечную резиновую лягушку, когда Татьяна Григорьевна ее взяла, она увидела в глазу у этой лягушки фашистский знак. Она вернула лягушку, не говоря ни слова. А в другой раз провокаторша вдруг встала перед ней на колени и стала просить у нее прощение» (*Усова Г.С.* И Байрона в соавторы возьму. Книга о Татьяне Гнедич. СПб., 2003. С. 83).

[883] В архиве Островской сохранились три листка беглых набросков о встречах с Ахматовой, написанных карандашом, скорописью, где некоторые слова неразборчивы и не поддаются расшифровке — краткий конспект их бесед 7 и 16 февраля 1945 г.:

«У Анны А[хматовой] — 7. II.

О Маяковском.

О С. Городецком — Нимфа Алексеевна [жена поэта С.М. Городецкого Анна Алексеевна Городецкая (1889—1945). «Нимфа» — ее прозвище в кругу близких знакомых].

Китежанка.

Воспоминания. Чтец Журавлев.

Рина Зеленая.

О биографиях — легенды. О Гумилеве (5 лет "отвергала"). (Пророк: "Вы всегда будете любить меня одного — больше мужа, больше любовников, больше детей". 18 г. — 21 год. Траур — "вдовствующая". Констатирует без возмущения: "У него же жена, дочь... при чем я?". Анна Ник[олаевна] Энгельгардт [вторая жена Н.С. Гумилева].

Ничего о сыне — фронт, Польша [Л.Н. Гумилев после лагеря был отправлен на поселение. Осенью 1944 г. он вырвался оттуда на фронт и в январе 1945 г. участвовал в Висло-Одерской операции].

"Сологуб никогда на меня не сердился — на единственную".

"Без вопросов" (мое). Готтентоты.

О Хемингуэе — минус "To Have and Have not". Рильке — греческие мифы сквозь [нрзб] к Марине Цветаевой. Герцен о Николае "Зимние глаза".

Рассказ о человеке из Харькова. Никогда ее не видел. Всю жизнь она была в нем.

Мои слова: будированно, дивиация.

О читателях: не прощают (категорич[ески]).

Полетно: [нрзб] — она Бог.

Она ушла дальше, несколько планов

(динамика) — не прощают именно этого, что не остановилась вместе с ними.

Она от 1945 чужая. Она в "Четках".

Как написано "Anno Domini"

(15 человек в палате, Царское) [некоторые стихи сборника Ахматовой «Anno Domini» написаны осенью 1921 г., когда Ахматова жила в санатории в Детском Селе (б. Царское)].

Кокетничает. Дарит фото.

И Татьяна. Арест — придумала, биографию придумала [отголосок разговора об аресте Т.Г. Гнедич].

Голованов — музыка на стихи из Блока.

(Максакова — Н. Шпиллер) [вероятно, речь идет о концертах, транслировавшихся по Ленинградскому радио. Упомянуты композитор Н.С. Голованов и певицы, солистки Большого театра СССР М.П. Максакова и Н.Д. Шпиллер].

Есенин — она.

Часто о Берггольц.

Метко: и она, видимо, не понимает...

Все сплетничают друг о друге (о времени блокады: вши, падение и проч.)...

Почему же солдаты не говорят так друг о друге — или и наш командир был весь во вшах?

Приглашена. Заболеваю намеренно.

В день именин 16-го, у нее без приглашения —

Ждет художников. [нрзб] и еще, не приходят.

Одевается при мне. Читает по-английски старую балладу — "светло, прозрачно". Баллада жуткая.

О страшном доме — рядом с Муз[ыкальной] ком[едией].

О Малкиной и ее убийстве [нрзб].

— Мне никто, никто не сказал, я зашла туда, говорят — похороны. Я всегда все узнаю случайно [литературовед Е.Р. Малкина была убита неизвестными в своей квартире в ночь с 31 декабря 1944 г. на 1 января 1945-го. Подпись А. Ахматовой под некрологом в «Ленинградской правде» (1945. 7 янв.) стоит первой].

Кстати, не любит Tennyson [английский поэт А. Теннисон].

Пьем чай. Водка» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 173. Л. 1—3).

[884] Аллюзия на поэму Анны Ахматовой «Путем всея земли (Китежанка)».

[885] Очень женщина *(фр.)*.

[886] бесчувственные *(фр.)*.

[887] поверхностная чувствительность *(фр.)*.

[888] Имеется в виду дочь Вс. Рождественского Н.В. Рождественская.

[889] См.: *Гнедич Т.* Страницы плена и страницы славы / Сост. Г.С. Усова. СПб., 2008. С. 292—296.

[890] Армия спасения — международная миссионерская и благотворительная организация, существующая с середины XIX в. и поддерживаемая протестантами-евангелистами. Организация соблюдает строгую дисциплину и имеет униформу темно-синего цвета.

[891] Певица К.И. Шульженко во время блокады руководила вместе со своим мужем В.Ф. Коралли Фронтовым джаз-ансамблем, выступавшим перед солдатами Ленинградского фронта на передовой.

[892] В альбоме Островской рукой В.В. Вольтман-Спасской в марте 1945 г. записано несколько стихотворений, в том числе следующее:

Старая книга

С. Островской

Утром напился пустого чаю,
Руки согрев о горячий никель,
Слабость и голод превозмогая,
Вышел купить старую книгу.

Редкая ценность эти гравюры.
Надо спешить. Магазин на Литейном.
Желтое солнце висит, нахмурясь,
От человека не падает тени.

Вкопаны в снег, неподвижны трамваи.
Замерли стрелки часов на Думе.
Книгу принес он, вошел, улыбаясь,
Не дочитав, у печурки умер.

(ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 74. Л. 27)

[893] Имеется в виду поэма «Хозяйка» (1944).

[894] Островская имеет в виду А.Г. Островского.

[895] Во время войны в газетах было опубликовано много публицистических статей И.Г. Эренбурга, проникнутых ненавистью к врагу и призывавших к расправе с ним.

[896] особого рода *(лат.)*.

[897] Заметка в газете под названием «В военном трибунале» (без подписи): «Военный трибунал войск НКВД Ленинградского округа на днях разобрал дело группы преступников, возглавляемой Б. Королевым. Группа, в которую входили Иванов, Дидро, Юрьев, Рядов, Цирин и др., систематически занималась грабежами и попойками. В сентябре 1944 года Королев, Иванов, Дидро, Юрьев, Цирин напали на бойца МПВО тов. З. и изнасиловали ее. При аресте Королев оказал вооруженное сопротивление. Военный трибунал приговорил главаря банды к расстрелу. Иванов, Рядов, Юрьев, Цирин и др. приговорены к 10 годам лишения свободы каждый; остальные обвиняемые — к различным срокам лишения свободы от полутора до 8 лет. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит» (Ленинградская правда. 1945. 15 апр. С. 4).

[898] Генерал-полковника авиации с такой фамилией не было, но у Б. Королева действительно были, по-видимому, высокопоставленные родители: расстрел ему заменили 10 годами лишения свободы. Подробнее см.: «Король» Невского проспекта // Уголовный розыск. Петроград — Ленинград — Петербург. М., 2008. С. 127—135.

[899] В основе этого выражения слова М. Горького «Дети — живые цветы земли» из его рассказа «Бывшие люди» (1897). Сейчас бытует как «Дети — цветы жизни».

[900] Этническая общность на юге Африки.

[901] Вероятно, Михневич Анастасия.

[902] Дискуссия «о ленинградской теме» прошла в ленинградском Доме писателя в апреле 1945 г. Критике за пессимизм, нагнетание мрачных подробностей при описании блокадного быта были подвергнуты несколько писателей, и в том числе О. Берггольц и В. Инбер. Некоторые материалы дискуссии были опубликованы в журнале «Ленинград» (1945. № 7/8. С. 26—27).

[903] Вероятно, имеется в виду четверостишие Ахматовой (1940-х гг.):

Отстояли нас наши мальчишки.
Кто в болоте лежит, кто в лесу.
А у нас есть лимитные книжки,
Черно-бурую носим лису.

Впервые опубликовано в сб. «Ленинградская панорама» (Л., 1988. С. 432).

[904] Информации о публикации этих стихов у нас нет.

[905] См.: ***Инбер В.*** Почти три года. Ленинградский дневник. М., 1946.

[906] О.А. Глебовой-Судейкиной Ахматова посвятила следующие стихотворения: «Голос памяти» («Что ты видишь, тускло на стену смотря...») (1913), «Вместо мудрости — опытность, пресное...» (1914), «Пророчишь, горькая. — И руки уронила...» (1921).

907 Ср. о салоне баронессы Е. Розен: «Среди всех этих авантюристов, полуделовых-полуполитических кружков, создававшихся в результате недостаточной в Петербурге здоровой дворцовой жизни, достойным особого внимания был салон баронессы Розен. <...> В салоне баронессы Розен никогда не называлось имя лица, имевшего связь с Царским Селом. Никто не знал, откуда баронесса получала секретные сведения, но не вызывало сомнения, что такая информация существовала и почти всегда соответствовала действительности. <...> В салоне вращалось бесчисленное количество женщин, способных удовлетворить самые утонченные запросы <...> и поэтому Григорий Ефимович охотнее всего появлялся в доме баронессы» (см.: *Фюлёп-Миллер Р.* Святой дьявол. СПб., 1994. С. 75, 101). Круг знакомых Евгении Розен был достаточно широк: от Г. Распутина и министров двора до представителей петербургской богемы.

908 Английское посольство и англиканская церковь Иисуса Христа перед революцией размещались на Английской набережной в доме постройки первой половины XVIII в., капитально перестроенном в 1814 г. Дж. Кваренги. Современный адрес: Английская наб, 56.

909 Нежность, мягкость *(итал.).*

910 Ср. с воспоминаниями об этом банкете самой Е. Серебровской: «...это было вечером в зале Дома писателя имени Маяковского, где на праздничный банкет, вырезав продуктовые талончики и внеся по нескольку рублей, собрались писатели, жившие в городе и успевшие вернуться с фронта. <...> Наступил день, которого мы все ждали. Уже с первого мая знали: не сегодня — завтра. Восьмого мая в Союзе писателей услышала о праздничном банкете. Ко дню победы я сберегла платье. Белое, шелковое, расклешенное. А на плечах был маленький белый песец, хвостик потрепан, но мех ничего, вполне приличный. <...> В зале слева, ближе к окнам стояли столики на четверых, много столиков, общая лавка. Справа у стены был наскоро сооружен какой-то очень длинный стол, а за ним длинная общая лавка. Мое место было именно там, где-то посередине длинного стола. Видеть оттуда можно было всех, весь зал. На сцене играл духовой оркестр. Говорились ли речи? Не помню. Наверное, нет. Может, только самое первое, вступительное слово? Праздник был такой единственный, такой неповторимый! <...> Мы произносили тосты, что-то ели, смотрели друг на друга счастливыми глазами. В середине зала было оставлено место для танцев. Многие танцевали. <...> шли уже ночные часы, но никто не хотел спать. Сидели за пустыми столами, болтали. Прохаживались по красивым гостиным Дома писателя. Помню картину: у камина, хотя, конечно, незажженного, сидит в кресле счастливая, довольная Анна Андреевна...» (*Серебровская Е.* Дочь своей родины // Звезда. 1988. № 1. С. 178—179).

911 Не плачьте, на вас смотрят... *(фр.).*

912 Искаженная цитата из стихотворения А. Блока «Равенна» (1909):

Все, что минутно, все, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках...

[913] выскочка во всем *(фр.).*

[914] Документальные фильмы «От Вислы до Одера» (1945) и «Знамя Победы над Берлином водружено» (1945; реж. В.Н. Беляев).

[915] В архиве Островской сохранились ее переводы на французский произведений Г. Гора и Н. Никитина: «Ботанический сад» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 55), «Письмо из Ленинграда» (Там же. Ед. хр. 60).

[916] Вероятно, Островская пишет про Гарнизонный клуб милиции, он же — клуб НКВД.

[917] Имеются в виду книга новелл «Дым опиума» (1904) и остросюжетный роман «Битва» (1905) К. Фаррера.

[918] *Аннам* — область, занимавшая центральную часть современной республики Вьетнам и находившаяся в 1874—1949 гг. под французским протекторатом.

[919] «Воображаемых портретов» и «Разговоров» *(англ.).*

[920] «Воображаемой жизни» *(англ.).*

[921] беспечное *(англ.).*

[922] Времена *(лат.).*

[923] Надо же, это вы *(фр.).*

[924] Убери свою пустую постель как смертное ложе — и спи

Сном поверженных, сном мертвых *(фр.).* Цитируется стихотворение Шарля Герена «Nuit d'ombre, nuit tragique, ô nuit désespérée!» из его сборника «Le semeur de cendres» («Сеятель праха», 1901).

[925] После разрыва с В.Г. Гаршиным в 1944 г. Ахматова сняла посвящения ему во Второй части поэмы — «Решка» (Intermezzo) и в Эпилоге и кардинально изменила смысл адресованных ему строф (см.: *Чуковская Л.К.* Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 2. С. 656—657; *Будыко Ю.И.* История одного посвящения (О «Поэме без героя» А. Ахматовой) // Рус. литература. 1994. № 1. С. 235—238; Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб., 2002. С. 164).

[926] Инбер писала: «7 июня 1942 г. Сегодня были с Гаршиным у Ильина, старого картографа. Он же нумизмат, заведующий в Эрмитаже отделом нумизматики <...>. Выйдя из Эрмитажа, мы тихо пошли по набережной, залитой солнцем. <...> Вдали, на мосту, неподвижно застыл трамвай. Набережная была пуста. Тогда мы вдруг сообразили, что идет воздушная тревога, не услышанная нами у Ильина за отсутствием там радио» (*Инбер В.* Почти три года. Ленинградский дневник // Инбер В.М. Собр. соч. М., 1965. Т. 3. С. 231—233). Дарственные надписи В.М. Инбер на книгах «Пулковский меридиан» (Л., 1942): «Владимиру Георгиевичу Гаршину, заглянувшему в самое “нутро” осажденного Ленинграда. Вера Инбер 4/II 43 г.» и «Душа Ленинграда. Стихи. Сентябрь 1941 г. — июнь 1942 г.» (Л., 1942): «Владимиру Георгиевичу Гаршину — в темноте, но со светлой надеждой на лучшее будущее — Вера Инбер 19/VIII. 42 г.» (Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. СПб., 2002. С. 42, 253).

[927] Что это? *(англ.).*

[928] Из стихотворения «Опять подошли “незабвенные даты“...», с разночтением (в опубликованном тексте: «Гудит и бесчинствует табор зеленый»). (Лето 1944—1945, 21 июля 1939). Первая публикация: Знамя. 1963. № 1. С. 143.

[929] переодетые в принца, в короля, в Бога *(фр.)*.

[930] Вс.Н. Петров в 1930-х гг. был собеседником Михаила Кузмина. Вернувшись с войны, написал повесть «Турдейская Манон Леско» (1946), посвятив памяти М. Кузмина. Опубликована шестьдесят лет спустя (Новый мир. 2006. № 11).

[931] Изысканный *(фр.)*.

[932] на дорожках утраченного времени *(фр.)*.

[933] Тени *(фр.)*.

[934] Премьера спектакля по пьесе Б. Шоу «Пигмалион» (реж. Л. Вивьен, худож. С. Юнович) прошла в Государственном Академическом театре им. А.С. Пушкина (б. Александринский) 22 июня 1945 г.

[935] В пригороде Берлина Потсдаме в это время завершилась конференция руководителей СССР, США и Великобритании — И. Сталина, Г. Трумэна и У. Черчилля, проходившая с 17 июля по 2 августа. Среди прочих вопросов рассматривался и вопрос о влиянии этих стран на положение в Греции. В Париже начинался суд над главой коллаборационистского правительства Виши А.Ф. Петэном.

[936] Осенью 1945 г. газеты ежедневно информировали читателей о положении в Греции, в которой после освобождения страны от нацистов начались вооруженные столкновения между Национально-освободительным фронтом и сторонниками находящегося в эмиграции греческого правительства короля Георга, поддерживаемого британской армией.

[937] священника *(англ.)*.

[938] Городу и миру *(лат.)*.

[939] Так тогда назывались гольфы.

[940] Нужно оставить все этому ребенку... *(фр.)*.

[941] этот ребенок (*фр.*).

[942] См.: *Вербицкая А.* Ключи счастья: Современный роман. М., 1909—1913. Кн. 1—6.

[943] Смысла больше не существует, я понял... Я возвращаюсь ночью, я вижу освещенные дома, окна которых ожидают своей очереди стать «домами». Это не «дом». Там ждут не меня *(фр.)*.

[944] Вне времени *(англ.)*.

[945] «Нива» (Петербург; 1869—1918) — популярный еженедельный иллюстрированный журнал для семейного чтения.

[946] Драма коронованных особ *(фр.)*.

[947] посмертно *(лат.)*.

[948] 8 августа 1945 г. «Правда» опубликовала «Заявление Трумэна о новой атомной бомбе» от 6 августа: «16 часов назад американский самолет сбросил на важную японскую военную базу Хиросима (остров Хонсю) бомбу, которая обладает большей разрушительной силой, чем 20 тысяч тонн взрывчатых веществ».

[949] В районе озера Хасан на юге Приморского края в августе 1938 г. советские войска отбили наступление вторгшихся на территорию СССР японских боевых частей. С весны по осень 1939 г. у реки Халхин-Гол на территории Монголии, недалеко от границы с Маньчжурией, шел вооруженный конфликт между СССР и Японией, завершившийся разгромом японской армии.

[950] ничто *(лат.)*.

[951] Достаточно! *(лат.)*

[952] «С тех пор как он страдал и умер, люди не стали менее жестокими, не стало проливаться меньше крови, но жертвы были воскрешены, хотя они об этом не знали и этого не искали» *(фр.)*.

[953] Имя Видкуна Квислинга, министра-президента оккупированной фашистами Норвегии, стало символом коллаборационизма и предательства. 9 мая 1945 г. он был арестован, обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни. Казнен 24 октября 1945 г. в Осло.

[954] Цитата из второй части «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

[955] 7 сентября католическая церковь празднует день святой Регины (Regnia, по-французски: Sainte Reine) — Святой Девственницы.

[956] Дом теней *(фр.)*.

[957] Цитату из книги Леонардо да Винчи «Суждения» приводит итальянский математик Антонио Фаваро в своей статье «Леонардо в истории опытных наук» в издании: *Леонардо да Винчи.* Цикл лекций, прочитанных весною 1906 г. в Обществе Леонардо да Винчи во Флоренции / Пер. с итал. И.А. Маевского. М., 1914. С. 165.

[958] Матф. 25: 14—30.

[959] Рукопись этого стихотворения Островской см.: ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 22. Л. 80 об.

[960] Ср. рассказ Я.Я. Семенова (сына Я.А. Семенова) в записи О. Рубинчик: «Конец войны отец провел на Северо-западном фронте и демобилизовался поздно. По-моему, это было в конце лета, я точно не помню. Он возвращался в Москву через Ленинград. Причем у него оказалась в Ленинграде свободная ночь: он приехал вечером, а поезд в Москву был утром. Отец разыскал телефон Анны Ахматовой, позвонил ей и сказал: “Анна Андреевна, я здесь проездом, и у меня, кроме вас, знакомых в Ленинграде нет”. Она говорит: “Я вас не знаю”. — “Зато я вас знаю”. — “Ну, если вы меня знаете, — сказала Анна Андреевна, — приходите”. Когда он пришел и позвонил в квартиру, то Ахматова не решилась его впустить, открыла дверь на цепочку, а он начал читать ее стихи. Причем такие стихи, которые были мало известны. И когда он закончил, то она сказала: “Теперь я вижу, что вы меня знаете”. Они прошли в квартиру. Придя к Анне Андреевне, отец тут же заварил чай (он был большой любитель чая). Всю ночь они пили чай и читали стихи. Он читал, она читала. Он читал ей свои стихи и ее стихи, Пастернака, Цветаеву. А когда отец уходил, Анна Андреевна сказала: “Ну, теперь и я вас знаю”. Так отец познакомился с Ахматовой. А потом встречался с ней несколько раз в Москве, на квартире Ардовых.

Еще раньше, в 1939 году, отец познакомился с Цветаевой: тогда Марина Ивановна вернулась из эмиграции и жила в Москве. <...> Отец не считал себя поэтом. Помню, он мне говорил: "Я не поэт, я стихотворец". Но он был знаток литературы, специалист. После войны он продолжал писать диссертацию и готовил учебник по стихосложению для вузов. Это у него не получилось только потому, что его арестовали. Потом я узнал, что "дело" на отца завели еще в 1939 году. Поначалу оно было связано с его поэмой "Уралов", на которую в "Литературной газете" была помещена разгромная статья, хотя сама поэма, кажется, не была напечатана, и с тем, что отец в компаниях читал цветаевского «Крысолова». А в 1942 году на фронте отец написал стихотворение "Слово к погибшим", которое послал Илье Эренбургу, но оно до Эренбурга не дошло, так как было задержано цензурой и попало в "дело". Часть стихотворения я помню:

...Мертвые товарищи мои,
Начинаю я — под грохот пушек —
Забывать названья деревушек,
Близ которых вас водил в бои...

<...> Отец отбывал срок в лагере на станции Яя Кемеровской области. <...> В 1957 году мы получили официальное свидетельство о смерти, где указано, что отец умер 21 февраля 1950 года от язвы двенадцатиперстной кишки. Но через много лет моя сестра Галина, знакомясь в ФСБ с "делом" отца, прочла, что он был расстрелян» (*Рубинчик О.* Надпись чернильным карандашом. Отец и сын Семеновы // http://www.akhmatova.org/experts/rub__art02.htm). О встречах Я.А. Семенова с Цветаевой см.: *Белкина М.* Скрещение судеб. М., 1988. С. 213—215.

961 Островская называет легендой стихотворение Ахматовой «Уложила сыночка кудрявого...», где явственно звучит мотив Китежа, так же как в маленькой поэме «Путем всея земли (Китежанка)». Оба текста написаны в марте 1940 г.

962 Л.Я. Гинзбург жила по адресу: Канал Грибоедова, 24, кв. 5.

963 и так далее *(англ.)*.

964 Цитата из первой редакции «Поэмы без героя» («Часть первая. Тысяча девятьсот тринадцатый год»).

965 Успокой меня звездами, а не яблоками *(англ.)*. Строка из стихотворения австралийского поэта Т.И. Мура «Звездная тревога».

966 Л.Н. Гумилев после семи лет отсутствия (тюрьма, лагерь, фронт) вернулся в Ленинград 14 ноября 1945 г.

967 Двойная египетская корона *(фр.)*. Вероятно, имеется в виду, что Л.Н. Гумилев — сын двух поэтов.

968 Света в пути *(англ.)*.

969 Цитата из стихотворения В. Маяковского «Верлен и Сезанн» (1925).

970 В начале 1946 г. Ахматова готовила к изданию сборник под названием «Нечет» (название этой книги напоминает об ахматовской книге 1914 г. «Четки») для Ленинградского отделения издательства «Советский писатель». Из-за постановле-

ния ЦК от 14 августа 1946 г. книга не была издана (подробнее см.: *Крайнева Н.* Об одном несостоявшемся цикле стихотворений Анны Ахматовой // Анна Ахматова: эпоха, судьба, творчество: Крымский Ахматовский научный сборник. Симферополь, 2005. Вып. 3. С. 22—23).

[971] Дружба Ахматовой с актрисой Ф.Г. Раневской началась в Ташкенте. Там же началось и ее общение с Р. Беньяш и Д. Слепян (см.: *Чуковская Л.К.* Ташкентский дневник // Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 1. С. 427, 430, 464 и др.). После возвращения в Ленинград Д.Ф. Слепян приняла Р.М. Беньяш жить к себе, в Толстовский дом (ул. Рубинштейна, 15/17, кв. 104). Здесь иногда бывала и Ахматова. Со временем Ахматову стала смущать репутация ее ташкентских приятельниц. Беньяш рассказала А.С. Демидовой, что как-то к ней «пришла Ахматова и сказала: “Раиса Моисеевна! До меня доходят странные слухи о наших отношениях. Считайте, что мы с этого дня не знакомы...”» (*Демидова А.* Бегущая строка памяти. М., 2000. С. 469).

[972] Слово-образ из стихотворения Ахматовой 1944 г. «Последнее возвращение»:

День шел за днем — и то и се
Как будто бы происходило
Обыкновенно — но чрез все
Уж одиночество сквозило.
Припахивало табаком,
Мышами, сундуком открытым
И обступало ядовитым
Туманцем...

[973] Ср. в воспоминаниях З.А. Никитиной: «7 августа 1946 года <...> мы отправились в БДТ, где Анну Андреевну встретили как королеву, и когда она вышла на сцену, чтобы прочесть стихи, театр встал и долго ей аплодировал» (цит. по: *Козаков М.* Актерская книга. М., 1996. С. 19) — и А.В. Любимовой: «Когда председатель сказал: “Сейчас Анна Андреевна Ахматова прочтет стихи о Блоке”, овация длилась минут 15, если не больше» (цит. по: *Черных В.* Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. М., 2008. С. 413).

[974] Имеется в виду стенограмма доклада А.А. Жданова на Ленинградском общегородском собрании писателей, работников литературы и издательств в Смольном 16 августа 1946 г.

[975] Цитируется стихотворение Ионы Дегена «Мой товарищ, в смертельной агонии...» (1944).

[976] «вдовушки» *(фр.)*.

[977] прошлого *(англ.)*.

[978] Островская называет имена английских художников второй половины XIX в., принадлежавших к группе прерафаэлитов. Слово «рескиниада» произведено от имени историка искусства Джона Рескина, апологета прерафаэлитов.

[979] Л.Д. Уинкотт был арестован 24 апреля 1945 г. 25—26 февраля 1946 г. военным трибуналом войск НКВД ЛО приговорен к лишению свободы в ИТЛ сроком на

10 лет с поражением в правах на 5 лет, с конфискацией имущества. Реабилитирован в 1956 г. В 1960-е гг. вернулся в Великобританию. (Справка Службы регистрации и архивных фондов ФСБ РФ Управления по г. СПб и Ленинградской области от 01.12.2011 № 10/24 — 3516/482.)

[980] Ю. Загарин был арестован 18 марта 1945 г. Осужден Военным трибуналом войск НКВД ЛО 18—19 мая 1945 г. на 10 лет ИТЛ, с поражением в правах на 5 лет. До конца 1951 г. отбывал наказание в Челяблаге. Затем этапирован в лагерь № 7 ст. Тайшет Восточно-Сибирской ж/д. (Архивная справка Информационного центра ГУМВД по Челябинской обл. от 19.12.2011 № 7/АЗ — 2643). Освобожден 21 октября 1954 г. по отбытии срока наказания. Убыл в УМВД Красноярского края на поселение. Реабилитирован 5 августа 1955 г. (Архивная справка Информационного центра ГУМВД по Иркутской обл. от 21.11.2011 № 619—891).

[981] Имеется в виду сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева» (1844).

[982] Строка из стихотворения Вадима Шершеневича «Содержание минус форма» (1918).

[983] забранные назад авансы *(фр.).*

[984] Ср. с агентурным сообщением, процитированным О. Калугиным: «Прибавилось только славы, заметила она. — Славы мученика. Всеобщее сочувствие. Жалость. Симпатии. Читают даже те, кто имени моего не слышал раньше. Люди отворачиваются скорее даже от благосостояния своего ближнего, чем от беды. К забвению и снижению интереса общества к человеку ведут не боль его, не унижения и не страдания, а, наоборот, его материальное процветание», — считает Ахматова. «Мне надо было подарить дачу, собственную машину, сделать паек, но тайно запретить меня печатать, и, я ручаюсь, что правительство уже через год имело бы желаемые результаты. Все бы говорили: “Вот видите: зажралась. Задрала нос. Куда ей теперь писать! Какой она поэт? Просто обласканная бабенка”. Тогда бы и стихи мои перестали читать, и окатили бы меня до смерти и после нее — презрением и забвением» (*Калугин О.* Дело КГБ на Анну Ахматову // Госбезопасность и литература на опыте Германии и России. М., 1994. С. 77).

[985] Речь идет о документальном фильме Р. Кармена «Суд народов» (1946).

[986] И.В. Шток был в Ташкенте соседом и собеседником Ахматовой. Она ценила его мнение о «Поэме без героя».

[987] Субтитр из документального фильма Р. Кармена «Суд народов» (1946) о Нюрнбергском процессе. Автор текста — Б. Горбатов.

[988] См. в поэме В. Маяковского «Во весь голос» (1930):

Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный.

[989] «Весы» (Москва, 1904—1909) — символистский журнал.

[990] См.: *Розанов В.* Опавшие листья. Короб второй и последний. СПб., 1915. С. 110, 192, 42 (в книге: «Присуще счастливым быть язычником...»), 236, 380.

[991] *Шапки* — поселок в Тосненском районе Ленинградской области.

[992] В архиве Островской не сохранился.

[993] В лагере Гнедич закончила перевод поэмы Байрона «Дон Жуан». См.: Рассказывает Татьяна Гнедич // Гнедич Т. Страницы плена и страницы славы. СПб., 2008. С. 272—276.

[994] Публикаций переводов Островской с польского обнаружить не удалось. В ее архиве сохранились следующие ее переводы (без указания дат): Ян Гуща «Песня о хлебе», Чеслав Милош «Отрывок» (1936), «Прости мой грех, сестра...», Казимир Плицунский «Она и в торжестве бетховенских видений...», Ирэна Тувим «Чужое», Юлий Словацкий «Мне грустно, Боже! Для меня к закату...», Мария Ясножевская (Павликовская) «Трава растет на скале» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 56, 61, 65, 67). В рукописной тетради между дневниковыми записями 1943—1944 гг. — перевод стихотворения Казимира Плуцинского «Тревога» (Там же. Ед. хр. 13. Л. 1—4).

[995] В.С. Басков упоминается в дневнике Боричевского. В начале 1930-х проживал в Ленинграде. на ул. Красных Зорь (с 1934 г. — Кировский пр.), 37, кв. 19. Был арестован в 1935 г., осужден Особым совещанием при НКВД СССР «за содействие контрреволюционной зиновьевской группе». Сослан в Вилюйск (Якутская АССР) сроком на 3 года. После освобождения проживал: Ленинградская область, Черновский лесопункт. Работал шофером. Вновь арестован в 1949 г. и осужден на 8 лет ИТЛ (сведения из Письма Информационного центра МВД по республике Саха (Якутия) от 08.12.2011 г. № 11 — 2472 по материалам архивного личного дела № 1—18007 на В.С. Баскова).

[996] Р.И. Сушаль умерла в ночь с 21 на 22 января 1947 г. Отпевать ее приехал из Москвы французский пастор Антоний Леберж (он служил в храме св. Людвига и в церкви при французском посольстве). Похоронена была Сушаль на Большеохтинском кладбище. Могила не сохранилась.

[997] У вас неотразимая и волнующая внешность *(фр.).*

[998] После одиночного заключения Гнедич перевели в лагерь под Бокситогорском.

[999] нерегулярно *(англ.).*

[1000] А.М. Оранжиреева умерла в 1960 г. На ее смерть Ахматова написала эпитафию «Памяти Анты»:

Пусть это даже из другого цикла...
Мне видится улыбка ясных глаз.
И «умерла» так жалостно приникло
К прозванью милому, как будто первый раз
Я слышала его.

(*Осень 1960. Красная Конница*)

Впервые эта эпитафия была опубликована в сборнике Ахматовой (в серии «Библиотека поэта») «Стихотворения и поэмы» (Л., 1976). Составитель его В.М. Жирмунский обратился с вопросом к Л.К. Чуковской: «Напишите, пожалуйста, кто та-

кая Анта?» Чуковская ответила: «Анта — это Розен. Антонина (?), близкий и давний друг А.А., когда-то баронесса. В последние годы работала библиотекарем в Колтушах; либо отец ее, либо муж, был известным востоковедом. Точно должен знать Л[ев] Н[иколаевич]; я, как видите, знаю приблизительно» (*Чуковская Л.К., Жирмунский В.М.* Из переписки (1966—1970) // «Я всем прощение дарую...» Ахматовский сборник. М.; СПб. 2006. С. 388).

В мемуарах об Ахматовой А.М. Оранжиреева не упоминается. Комментаторами настоящего издания зафиксированы короткие рассказы о ней В.Н. Рихтер («Анта была исключительно хороша собой и много мягче Софьи Казимировны и, кажется, иногда помогала Анне Андреевне отправлять посылки сыну в лагерь») и А.Г. Каминской («Ахматова называла Анту “моя Анта”. Была Анта очень худенькая, очень деликатная, очень больная. Будто все время незащищенная на ветру стояла...»). В ахматовской записной книжке остался номер телефона и адрес Анты: Большой проспект Петроградской стороны, 72 (см.: Записные книжки Анны Ахматовой. 1958—1966. М.; Торино, 1996. С. 32. Фамилия в комментариях указана неверно — Аранжереева). В фонде Ахматовой в ОР РНБ хранятся адресованные Ахматовой письма А.М. Оранжиреевой (Ф. 1073. Ед. хр. 707). Почти каждое заканчивается словами: «Всегда Ваша», «Всегда любящая», «Преданная Вам Анта».

О роли Оранжиреевой в судьбе Д. Хармса см.: «...Сборище друзей, оставленных судьбою»: «Чинари» в текстах, документах и исследованиях / Сост. Сажин В.Н. М., 2000. Т. 2. С. 601—603; о ее агентурной деятельности относительно Ахматовой см.: *Копылов Л., Позднякова Т., Попова Н.* «И это было так». Анна Ахматова и Исайя Берлин. СПб., 2009. С. 30.

[1001] *Renard J.* Histoires naturelles [Естественные истории]. Illustrations de Bonnard. P., 1904.

[1002] Т.Г. Гнедич родилась и провела раннее детство в местечке Куземен (Зеньковский уезд Полтавской губернии).

[1003] Собор XVIII в. с чудотворной иконой Божией Матери в соседнем с Куземеном городке Ахтырка, откуда были родом Н.И. Гнедич и П.П. Гнедич. Вероятно, Островской было известно и стихотворение Т.Г. Гнедич «Ахтырский собор» (не опубликовано, рукопись: РГАЛИ Ф. 1817. Оп. 2. Ед. хр. 195).

[1004] Гнедич писала в своих неопубликованных воспоминаниях: «В Севастопольском порту в январе 1920 года делалось что-то невообразимое: сотни судов стояли у пристаней, одно к другому — рядом по 4—5 штук. Для того, чтобы попасть на более далеко стоящее судно, приходилось переправляться через два-три, стоявших ближе к берегу. “Харакс” стоял не то третьим, не то четвертым. Особенно трудно было переправляться на его палубу с палубы какой-то низкой баржи. Палубы были соединены какой-то узкой доской с веревочными перилами с одной стороны. Доска гнулась и, казалось, ерзала. Под доской — между баржей и “Хараксом” — чернела мутная, сальная, белесоватая от нефти вода. И вот по этой жердочке мы переправились: носильщики с вещами, отец, мама — лицо у нее было все такое же: остановившиеся слезы и решимость...

А потом оказалось, что "Харакс" не пойдет и что надо — отгружаться обратно — на берег. И это было проделано: и эта пляшущая над мутной бездной доска запомнилась мне как символ.

В моей жизни было много "хараксов". И Крестовский — милый, чудный дом мой, где я мечтала создать уголок тихой и светлой жизни — и Крестовский оказался "Хараксом" — да еще каким — "обер-хараксом", можно сказать!..» (РО ИРЛИ. Ф. 810).

[1005] дневное время *(англ.)*

[1006] Ср.: «Когда аплодисменты стихли, женский голос крикнул: "Автора!" В другом конце зала раздался смех. Нетрудно было догадаться, почему засмеялись: шел "Дон Жуан" Байрона. Публика, однако, поняла смысл возгласа, и другие поддержали: "Автора!" Николай Павлович Акимов, вышедший на сцену со своими актерами, еще раз пожал руку Воропаеву, который играл заглавного героя, и шагнул вперед, к рампе; ему навстречу поднялась женщина в длинном черном платье, похожем на монашеское одеяние. Она сидела в первом ряду и теперь, повинуясь жесту Акимова, присоединилась к нему на подмостках. Сутулая, безнадежно усталая, она смущенно глядела куда-то в сторону» (*Эткинд Е.* Победа духа // Эткинд Е.Г. Записки незаговорщика. СПб., 2001. С. 380).

[1007] Я не боец *(англ.)*.

[1008] чтобы помолиться *(фр.)*.

[1009] имя *(фр.)*.

[1010] «Литературная газета» 29 июня 1947 г. опубликовала доклад А.А. Фадеева на XI пленуме Правления Союза советских писателей «Советская литература после Постановления ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. о журналах "Звезда" и "Ленинград"» и статью В. Сидельникова «Против извращения и низкопоклонства в советской фольклористике». Автор клеймил Ахматову, еще в 1933 г. в статье «Последняя сказка Пушкина» (Звезда. 1933. № 1) обнаружившую источник «последней сказки Пушкина» в новелле Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском звездочете».

[1011] Публикаций переводов Островской с французского обнаружить не удалось. В ее архиве есть авторизованная машинопись переводов с французского психологических этюдов Тиссерана Эрнста «Великий комик» и «Портретная галерея» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 63, 64).

[1012] Идентифицировать не удалось.

[1013] Ни публикация этого перевода, ни его рукопись в архиве Островской не обнаружены.

[1014] В январе 1948 г. по ходатайству Г.П. Макогоненко Ленинградское отделение Гослитиздата заключило с Ахматовой договор на перевод с французского писем А.Н. Радищева к А.Р. Воронцову для однотомника: *Радищев А.Н.* Избр. соч. / Под ред. Г.П. Макогоненко. Книга была подписана к печати в августе 1949 г. Из воспоминаний Г.П. Макогоненко: «Перевод был одобрен, принят к изданию; Ахматова получила гонорар. <...> Предстояло главное — опубликовать не только перевод

Ахматовой, но и фамилию переводчика. Письма в переводе были опубликованы, имя переводчика снято» (*Макогоненко Г.П.* ...Из третьей эпохи воспоминаний // Об Анне Ахматовой. Л., 1990. С. 279). Только во втором издании книги (весной 1952 г.) на обороте шмуцтитула была указана фамилия переводчика. Вероятно, Островская помогала Ахматовой работать над этим переводом. В 1960 г. в письме к Ахматовой, вспоминая те дни, она писала: «"все к лучшему в этом лучшем из миров", как цитировал Панглосса наш друг горестных дней Радищев» (цит. по: *Кралин М.* Победившее смерть слово: Статьи об Анне Ахматовой и воспоминания о ее современниках. Томск, 2000. С. 234).

[1015] В журнале «Огонек» в 1950 г. были опубликованы стихи Ахматовой из цикла «Слава мира» (№ 14, 36, 42). Э.Г. Герштейн вспоминала: «...журнал "Огонек" печатал за ее подписью стихотворный цикл "Слава миру", который всю оставшуюся жизнь жег Анну Андреевну как незаживающая рана. <...> Она отреклась от нравственной чистоты ради спасения сына <...>. Жертва Ахматовой оказалась напрасной. <...> Леву, как мы помним, не выпустили, а надломленной Ахматовой предоставили право говорить с кем попало непроницаемым тоном и переводить на русский язык стихи своих иноязычных подражательниц. Если кто-нибудь думает, что это не пытка, он ничего не знает о радостях и страданиях творческой личности» (*Герштейн Э.Г.* Мемуары. СПб., 1998. С. 323). Н.Н. Пунин писал из лагеря М.А. Голубевой 17 ноября 1950 г.: «Стихи в "Огоньке" прочитал: я ее любил и понимаю, какой должен быть ужас в ее темном сердце» (*Пунин Н.* Мир полон любовью. М., 2000. С. 426).

[1016] Л.Н. Гумилев был арестован 6 ноября 1949 г. Из «Записных книжек» Ахматовой: «6 ноября 1949. Обыск и арест моего сына Льва. Его немедленно увозят в Москву. Я езжу каждый месяц сначала на Лубянку, потом к Лефортовской тюрьме. Приговор 10 лет лагеря» (Записные книжки Анны Ахматовой. М.; Torino, 1996. С. 666).

[1017] В архиве Островской не обнаружена. «Царская милость» — пьеса болгарского драматурга Камена Зидарова (1949). Она получила в Болгарии в 1950 г. высшую литературную премию. В переводе В. Легентова в 1973 г. шла в Москве, на сцене МХАТа.

[1018] 8 апреля 1950 г. четыре советских военных самолета атаковали американский самолет-разведчик, нарушивший советское воздушное пространство в районе военно-морской базы в Либаве (Лиепае). Американский самолет был сбит, весь экипаж погиб.

[1019] Рукопись сборника Ахматовой «Избранное» была сдана в издательство «Советский писатель» в октябре 1953 г. Этот сборник не вышел.

[1020] Имеется в виду стихотворение Ахматовой «21 декабря 1949 года» (Огонек. 1950. № 14), название которого — дата рождения Сталина. Последняя строфа этого стихотворения:

И вольно думы их летят к столице славы,
К высокому Кремлю — борцу за вечный свет,
Откуда в полночь гимн несется величавый
И на весь мир звучит как помощь и привет.

[1021] Имеется в виду Н.Н. Пунин, в 1926—1938 гг. гражданский муж Ахматовой.

[1022] Ахматова была хорошо знакома с Городецким в 1910-е гг. по Цеху поэтов. С.М. Городецкий выбрал для себя путь официального советского поэта. В Ташкенте Ахматова говорила Чуковской: «Потоки клеветы, которые извергало это чудовище на обоих погибших товарищей (Гумилева и Мандельштама), не имеют себе равных <...>» (*Чуковская Л.* Из ташкентских тетрадей // Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. М., 1997. Т. 1. С. 349)

[1023] еврейка *(фр.)*.

[1024] номер *(фр.)*.

[1025] Кажется, церковь хочет ее канонизировать *(фр.)*. Излагаемые сведения о Е.Ю. Кузьминой-Караваевой содержат ряд неточностей.

Она была замужем за Д.В. Кузьминым-Караваевым, двоюродным племянником Н.С. Гумилева. Мать Елизаветы Юрьевны — Софья Борисовна, урожденная не Нарышкина, а Делоне.

Племянница Петра I Прасковья Ивановна, с его согласия, состояла в морганатическом браке с И.И. Дмитриевым-Мамоновым, а бабка Елизаветы Юрьевны по материнской линии — урожденная Дмитриева-Мамонова.

Внебрачная дочь Елизаветы Юрьевны Гаяна родилась в Анапе в 1913 г. В 1935 г. под впечатлением от рассказов А. Толстого о Советской России (он приезжал в Париж на Конгресс Международной ассоциации писателей в защиту культуры) Гаяна вернулась вместе с ним на родину. Одно время жила в семье А.Н. Толстого. Работала переводчицей у посетившего Москву А. Жида.

Елизавета Юрьевна в 1932 г. приняла монашеский постриг под именем матери Марии, но оставалась монахиней в миру. Во время войны участвовала в Сопротивлении (укрывала участников антифашистского движения, спасала евреев).

Погибла в 1943 г. в концлагере Равенсбрюк. Поменялась номерами с молодой еврейской девушкой, обреченной на смерть в Равенсбрюке, другая монахиня — Элизабет Реве (см.: *Агеева Л.* Петербург меня победил: Документальное повествование о жизни Е.Ю. Кузьминой-Караваевой. СПб., 2003).

[1026] До вступления в брак с А.Н. Толстым Н.В. Крандиевская была женой петербургского адвоката Ф.А. Волькенштейна.

[1027] Ср. у А. Толстого: «Смутил меня... И вся я другая теперь. Точно нанюхалась... Войди он сейчас ко мне в комнату, — и не пошевелюсь... делай, что хочешь» (*Толстой А.Н.* Хождение по мукам. М., 1943. С. 21).

[1028] Дальше записей в рукописи нет. Островская включает в машинописную копию дневника свои стихи: «Мы все давным-давно расстреляны...» (черновой автограф: ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 26. Л. 1), «Палач пришел...» (автограф в архиве

Островской не обнаружен), «А я уже давно не знаю...» (черновой автограф: Ф. 1448. Ед. хр. 30. Л. 1), «Когда я уйду, заприте двери...» (черновой автограф: Там же. Ф. 1448. Ед. хр. 31. Л. 1).

Приложение

[1] Запись за 1911 г. — в тонкой тетрадке (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 1. Л. 1—2).

[2] Через два месяца Соне Островской исполнится 9 лет.

[3] Следующее слово стерто.

[4] Записи с 27 августа по 30 декабря — в рукописной тетради (Ф. 1448. Ед. хр. 4. Л. 3—12).

[5] С конца 1830-х гг. в петербургском пригороде Павловск, в помещении, где пассажиры ожидали прибытия поезда, проходили музыкальные концерты. В 1878 г. при Павловском вокзале по проекту Н.Л. Бенуа было построено здание театра. Ежегодно в летние месяцы там силами артистов Императорских театров давались спектакли и концерты. В 1910—1916 гг. концертами руководил дирижер А.П. Асланов, включавший в программы сочинения С.В. Рахманинова, Н.Я. Мясковского, К. Дебюсси, Г. Малера.

[6] Имеется в виду театр С.Ф. Сабурова, располагавшийся в Пассаже (Итальянская ул., д. 19). Там ставились фарсы и легкие комедии.

[7] 30 августа 1915 г. театр Сабурова, открывая зимний сезон, давал спектакль по комической пьесе М. Гласса и Ч. Клейна «Поташ и Перламутр» из жизни американских евреев. Н.Н. Окулов, автор доброжелательной рецензии на этот спектакль, писал: «Сезон открыт пьесой, прошедшей в прошлом сезоне свыше 100 раз. Опять заслуженный успех имел г. Надеждин в роли Перламутера. Прошлогоднего хорошего Поташа г. Массина заменил хороший же актер г. Борин. Г-же Алейниковой, новой актрисе труппы, игравшей просто и умно, следовало бы более выявлять внутреннюю обаятельность. Выделился еще и новый актер труппы г. Вернер, обративший на себя внимание в Литейном театре, где он быстро занял видное место в качестве комика в жанре непосредственной буффонады. Он сыграл юркого и жуликоватого коммивояжера бойко и ярко. По-прежнему живой комизм дает г-жа Райская и мила в роли ingénue юная г-жа Оксинская» (*Тамарин Н.* [*Окулов Н.Н.*] Театр Сабурова //Театр и искусство. 1915. № 36. С. 665).

[8] Девушка *(нем.)* — обращение к учительнице.

[9] более, чем хорошая *(англ.)*.

[10] естественная история *(фр.)*.

[11] любезный *(фр.)*.

[12] «Скорее, скорее» *(фр.)*.

[13] «слишком ребенок» *(фр.)*.

[14] Что имеется в виду, установить не удалось.

[15] Это что-то другое *(польск.)*.

[16] В конце октября 1915 г. в Александринском театре состоялось пятисотое представление гоголевского «Ревизора» «в классических традициях».

[17] Главный режиссер Александринского театра Е.П. Карпов в 1915 г. вернул на сцену театра спектакль по пьесе А.Н. Островского «Лес». В журнале «Театр и искусство» был помещен отклик А.Р. Кугеля (под псевдонимом Homo novus) на этот спектакль: «В роли Аксюши, одной из очаровательнейших женских ролей Островского, выпустили дебютантку из школы, г-жу Железнову, с миленьким личиком, недурным голосом и полной анастезией темперамента» (Театр и искусство. 1915. № 42. С. 776).

[18] В 1915 г. Вс. Мейерхольд поставил в Александринском театре «Пигмалион» Б. Шоу с Е.Н. Рощиной-Инсаровой в роли Элизы.

[19] Литейный театр, открытый в 1909 г. в помещении перестроенного шереметевского манежа (Литейный, 51), в 1915 г. называли еще и по имени его антрепренера театром Мосоловой.

[20] Имеются в виду заводы Фридриха Крупа в городе Эссене, занимавшиеся производством артиллерийского оружия, судов, паровозов и тяжелого промышленного оборудования.

[21] это сводило меня с ума! Действительно, как странно, потому что было несколько фраз довольно — и даже более чем — вольных! И от кого? От уважаемой личности, почитаемой всеми, которая кажется такой святой... *(фр.)*.

[22] Ю. Юрьев играл Дон Жуана на сцене Александринского театра в спектакле, поставленном В. Мейерхольдом в 1910 г. по одноименной пьесе Мольера.

[23] Запись приводится из тетради «Extraits choisis» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 90).

[24] М. Гришан занималась у Боричевского в университетском семинаре. Одно время он был увлечен ею и в ее доме познакомился с Островской. Записи из дневника Боричевского: «Панна Марыля. Гретхен в польско-русском издании. Когда улыбается, ротик у нее кружится, как серп, и голова бесконечно клонится набок» (5 марта 1925 г.; ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 5. Блокнот 21. Л. 32, 33); «Был в гостях у Марыли. Познакомился с Сонечкой Островской. У нее четкий профиль и ум, стыдливо-добрые глаза и чувства. Уже написал в ее честь "скромный сонет". Состязались немного в остроумии. В итоге пришли к выводу, что мы еще где-нибудь встретимся "в мировой бесконечности". Обязательно встретимся...» (23 ноября 1925 г.; Там же. Блокнот 23. Л. 9); «Был у Марыли и виделся с Сонечкой. Получил печальнейшие сведения об этой милой женщине: она не только курит папиросы и танцует фокстрот — она верит в бога. Эта болезнь почти неизлечима» (11 декабря 1925 г.; Там же. Л. 12, 13); «Вчера был настоящий эпикурийский воскресник: Вася, Мефодий, Марыля, Сонечка» (18 января 1926 г.; Там же. Л. 36); «Трогательная Сонечка по-прежнему шлет мне большие нежные послания, но от прямого общения уклоняется. Она любит не меня, а собственный образ, рикошетом кое-что и мне пере-

падает. Ее милый эгоцентризм одно время больно меня задевал...» (23 февраля 1926 г.; Там же. Блокнот 24. Л. 3, 4); «Неожиданно приехала Сонечка. Похудела: много всякой халтурной работы. Но глаза прежние. И на мой мимоходный вопрос: "А меня Вы любите?" — ответила сразу: "Вас я очень люблю. Сие надлежит понимать духовно"» (21 мая 1926 г.; Там же. Л. 20, 21); «Когда Гинечка [имя, производное от "Герцогинечка"] наклоняет голову под углом 45 градусов и улыбается — она прямо очаровательна. Темные волосы, бледный лоб, детские глаза, "кроткая" улыбка. И беспомощная косточка под худым плечом. Жаль, очень жаль ее "косточку". А впрочем: сама-то она — умеет ли жалеть?... » (21 января 1927 г.; Там же. Блокнот 26. Л. 8); «У Гинечки органическое отвращение к половой проблеме. Странное вытеснение. Не отец ли тут причиной?» (24 января 1927 г.; Там же. Ед. хр. 6. Л. 23).

В архиве С.К. Островской сохранилась рукопись ее стихотворения 1922 г., обращенного к М. Гришан:

Полудева

Марыле Г.

О, какая ты ложная скромница
И как много в тебе кривизны!
Целовала до боли, мне помнится,
Не теряя своей чистоты.

Опускала глаза и лукавила,
Что довольно и больше нельзя,
На плече моем метку оставила,
Говоря, что не любишь меня.

Уходила к утру, непорочная,
Прикоснувшись к отраве греха,
И казалось, что пытка полночная
На тебе не оставит следа.
<...> (Ф. 1448. Ед. хр. 20. Л. 33).

[25] В рукописном дневнике Островской нет записей за 1929 год. Запись о событии 1929 г. — в тетради «Extraits choisis» (ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 76. Л. 89).

[26] Процитировано стихотворение Н. Гумилева «Выбор» (1908).

Боричевский писал в дневнике в 1929 г.:

«С Гинечкой несчастье. Надеемся на хороший конец» (4 февраля; ОР РНБ. Ф. 93. Ед. хр. 7. Блокнот 33. Л. 28); «С.К. все еще сидит. Не знаю: писать ли ей в ДПЗ?» (30 марта; Там же. Блокнот 34. Л. 6); «А Гинечка все еще не вернулась. Как она себя чувствует?» (14 апреля; Там же. Л. 13); «Написал Гинечке. Она, вероятно, обижена на меня за мое недостаточное внимание. А я перестал ходить к ее родным за справками только потому, что они принимали почти враждебно нарушителя семейной гармонии» (21 апреля; Там же. Л. 16—17); «От Гинечки получил письмо. Она в жутком состоянии. Зайду к ней завтра» (24 апреля. Там же. Л. 18); «Был у Герцогинечки. Узнал подробности. Не к чести этого учреждения. Изредка приходят

омрачающие мысли о жестокости человеческой. Прочел мимоходом — о пытках немецкого коммуниста. И несколько раз мерещился образ голого, избитого человека в вонючей клетке» (28 апреля; Там же. Л. 19).

29 апреля 1929 г. датированы строки Островской:

<...> Но бездны дно не стало адом
И к раю смерть не привела —
Простой и каторжной оградой
Мне жизнь недели обвела.

И были лунные решетки
И дни — упорней, чем враги,
И в обезумевшей чечетке
Соседа страшные шаги.

(ОР РНБ. Ф. 1448. Ед. хр. 20. Л. 22).

«ЧТО ПОДНИМАЮТ К ЖЕМЧУЖНОМУ НЕБУ НАШИ СКЕЛЕТЫ»: БЛОКАДНЫЕ ЗАПИСИ СОФЬИ ОСТРОВСКОЙ
Вместо послесловия

А наши бабушки и дочки
Свернулись в белые комочки.
Дмитрий Максимов, 1942 г.

Весь наш и дом погребен...
Катулл, I в. до н.э.

Так сложилось, что из дневника Софьи Казимировны Островской я в первую очередь узнала его блокадную часть, которая и стала призматическим входом-представлением к этой личности, но и сейчас такая последовательность не кажется только случайностью: хотелось бы поделиться с читателем своими соображениями об особом значении этого исторического отрезка в судьбе и в тексте Островской. В течение своей долгой жизни, полной потерь и превращений, напоминающих повесть Вирджинии Вулф «Орландо», где герою приходится менять и отбрасывать, как маски, исторические эпохи, сословную принадлежность, национальности, языки и даже сексуальные предпочтения, — всё, что для нас и составляет понятие личности, Софья Островская исписала много дневниковых тетрадок, которые потом с помощью доверенных лиц она превратила в несколько машинописных копий. Однако только одна из тетрадей отмечена красноречивой пометой-завещанием, в которой Островская обращается к читателю из будущего: «Эта тетрадь не должна погибнуть. Если со мной что-нибудь случится, тот, кто найдет ее, должен отдать ее от моего имени в Отдел рукописей Публичной библиотеки — для работ будущего исследователя нашей эпохи. Желательно было бы, чтобы Публичка переслала тетрадь в Париж, в Archive или в Bibliotheque Nationale с той же целью: помочь будущему исследователю, которого я приветствую и которому я улыбаюсь, как другу. Трудно ему будет — бумажки никогда не были нашим сильным местом! Пустыня в области частного архива! Но сделать это необходимо — таким образом, быть может, это звено встретится с недостающими».

Софье Казимировне не откажешь в проницательности: наш блокадный архив (особенно его опубликованная часть) скуден и все еще плохо прочитан, нам все еще не хватает звеньев для того, чтобы ответить на самые основные вопросы: как же они пытались выжить и как выжили — опираясь на какие принципы, навыки, уловки?

Изнутри блокадной ситуации — какими им представлялось их настоящее положение, шансы на спасение (себя и близких), отношения с городом? Как они получали информацию? В чем находили раз- и отвлечение? Как понимали свою историческую роль?

Среди прочего из блокадных записей Островской мы узнаём, что самый «неприкасаемый» по сей день вопрос — стоил ли Ленинград тризны? Стоила ли политическая символизация «несгибаемости» города жизни более миллиона его жителей? — возник непосредственно во время катастрофы. Островская формулирует этот «проклятый» вопрос так: «По улицам еще бродят дистрофики — те, что не поправились за лето, те, что не выздоровели в июле, что умрут — обязательно! — еще в этом году. Смотришь на таких людей, бывших человеков, темнолицых, обезьяноподобных, еле передвигающих ноги, опирающихся на палку, чудом выживших и, пройдя через это бесполезное чудо, все-таки идущих к смерти. Смотришь и думаешь, думаешь... Год осады Ленинграда. Очень блестяще и очень героично. А сколько смертей гражданского населения стоил этот год? Кто и кому позволил подписать приговор казни голодом миллионам запертых людей, лишенных возможности бегства и апелляции? Город стоит. Город выжил — прекрасный трагический люциферианский город, еще раз поглотивший и уничтоживший сотни и сотни тысяч жизней. Петр возводил город на костях. Теперь прибавились новые кости — и в несоизмеримо большем количестве! Но Петр город построил. Человеческие смерти были созидательными: скелеты подняли над болотами к жемчужному небу совершенство бредовой красоты и математического расчета. А что поднимают к жемчужному небу **наши** скелеты — эти вот миллионы осадных смертей?» (запись от 23 сентября 1942 г.).

Эти жестокие вопросы не находят однозначных ответов у Островской — именно упорное вопросозадавание как таковое вообще является одной из главных стратегий и ценностей этого текста: «...сколько огромных и пустых вопросов у думающего штатского человека», горько замечает она. Островская создает диагностическую хронику одного человекослучая, задачей здесь является оценить личностный смысл и последствия катастрофы для «петроленинградского»[1] интеллигента. Островская формулирует смысл блокадного опыта как радикальное проявление и укрепление индивидуальности: «За эти жесточайшие месяцы жесточайшего года моей жизни (физически жесточайшего — так как нравственно, внутренне, я очень окрепла, просветлела, выросла и успокоилась)» (запись от 23 марта 1942 г.).

Противостояние блокаде, по Островской, — чудовищный труд души, постоянно нарушаемый разочарованиями, ощущением собственного бессилия: «Сидя здесь, в безвыходном осажденном городе, в грязи, в вони, в нечистотах, в голоде и неверности завтрашних дней, думаю о многом: о дальних городах, о чужих созвездиях,

[1] Выражение Г. Князева: *Князев Г.* Дни великих испытаний: дневники 1941—1945. СПб., 2009. С. 250.

об изумрудных морях, о пустыне, о тишине просторов — о, особенно о тишине! — и о какой-то волнующей, огромной и созидательной работе. Во мне физических сил мало. Но сколько силы во мне вообще! И какой скучной, узкой и неприютной жизнью приходится жить мне, именно мне, которой дано больше, чем другим» (запись от 10 апреля 1942 г.).

Синяя птица — эмблема мечты Софьи Островской о воплощении своей личности, сформированной (отсюда и название пьесы М. Метерлинка) ещё декадентскими представлениями — о главенстве личной воли над моралью, о неуловимости очертаний человеческих отношений и роли власти в этих отношениях, о том, что человеку творческому и творящему всё позволено и всё простится — в частности, невероятно крутые переходы в отношениях с другими человеческими существами, от восхищения к пресыщению. С одной стороны, блокадные тетради явно выделяются из всего дневникового корпуса Островской — сосредоточенностью, насыщенностью, драматизмом, благодаря чему в них можно и нужно усмотреть акме той же личности, которая проявлена и придумана в дневнике в целом. Пожалуй, в этом заключается один из центральных парадоксов личности Островской — всегда разная, гибкая, меняющаяся, неуловимая, она неизменна и верна себе. Верна своей так никогда не состоявшейся мечте о власти и славе, верна мечте о Доме с его сложным прошлым и утопическим будущим, верна своему высокому мнению о себе и низкому мнению об истории, «не давшей ей развернуться», как сетовала одна героиня сказки Шварца. Нарциссистическая сосредоточенность на себе принимает в блокаду обостренный характер, при любых сложных перипетиях Островская не забывает смотреться в свой дневник — как в зеркало.

1. *Дележ с иждивенцем*

Главным сюжетом блокадной личностной реализации является борьба за выживание близких (для Островской — матери, брата, кота, агонии которого посвящены исступленно-нежные страницы) в результате столкновения с двойным кольцом внешних обстоятельств — нацистской блокады и весьма небесспорных мер, предпринятых советским государством по преодолению этой блокады. В попытке восстановления контекста, чтобы «звено встретилось с недостающими», нельзя не указать, что эта коллизия описана в большинстве блокадных текстов. Описана она и в самом авторитетном на сегодняшний день антропологическом анализе блокадной катастрофы семейных отношений — в «Рассказе о жалости и жестокости»[2]. Лидия Гинзбург со свойственным ей предпочтением социологизирующего письма пись-

[2] См.: *Гинзбург Л.* Рассказ о жалости и жестокости // Гинзбург Л. Проходящие характеры: Проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011. С. 17—60.

му сентиментализирующему (и здесь ее основное отличие от Островской) в контексте своих наблюдений о блокаде как механизме реализации метафор называет этот сюжет «дележом с иждивенцем»: «Если существовала формула — “делиться со своими ближними куском хлеба”, — то, оказалось, это означает разделить ли хлеб, полученный по рабочей и по иждивенческой карточке пополам или оставить себе на 100 или 200 грамм больше... И если существовала формула, что беспомощные старики-паразиты заедают жизнь молодого человека (получающего рабочую карточку), то эта формула приобретает новую этимологию — заедает, ест — съедает то, что тот мог бы съесть сам, — и совершенно новую буквальность».

Сам процесс борьбы за жизнь близких, для которых постоянно необходимо добывать еду и лекарства, связан с двумя важными понятиями блокадной риторики — категориями героизма и дистрофии, находящимися в сложном парадоксальном родстве —зависимости и взаимозаменяемости. И «героизм» и «дистрофия» в официальном языке блокады являются эвфемизмами: «героизмом» идеологический аппарат называет вынужденные и отчаянные усилия горожан выжить любой ценой, а «дистрофией» называется голодная болезнь, поражающая прежде, чем убить, не только тело, но и личность. Пристально приглядываясь к этим понятиям, Островская связывает их со сходным психологическим механизмом травматического онемения чувств, приводящего к исчезновению страха: «От привычки и безразличия к человеку пришло предельное бесстрашие. Может быть, это и есть храбрость героизма, того героизма, которым кичится наш город и о котором так много говорят в газетах и по радио? Если в пассивном стоицизме можно найти что-то героическое — жития некоторых святых, — то, возможно, мы и герои. Много стоит такой героизм — от усталости, от безразличия, от окаменелости времени!» (запись от 11 ноября 1942 г.).

Островская трактует пропагандистское употребление понятия «героизм» как фанерный щит, которым власть имущие пытались прикрывать себя и «свой» город, как риторическую декорацию (а город тогда стал особенно, гротескно театрален: «...в городе стоят страшные бомбовые развалины — некоторые умно замаскированы декорациями фасадов: трагический уличный театр эпохи войны!»). Причиной этой постоянной театрализации был стыд за пережитое, который трансформировался и скрывался эвфемизмами: «Видимо, требуется смеющийся героизм смерти, бала в бомбоубежище. Начали морщить нос от запаха гнили, нищеты, голодного ужаса. — Ах, сколько ужасов! Такого не бывает у порядочных людей!.. Блокада тем и велика, что во времени шла через дорогу ужасов. И героика Ленинграда именно в том, что во имя жизни пришлось идти не только на смерть, но и на унижение голодом, грязью, дистрофией, вшами, поеданием лебеды и мокрицы, пришлось выдержать не только натиск врага, но и штурмовые колонны отупения, безумия, человеконенавистничества, преступления, обнажения от маловесомых (как оказалось) покровов элементарной культуры и элементарных основ межчеловеческого общения. Выжили, кто выжил, — побороли, встали, победили. Но все это — было? Было. А чело-

век стыдится срама своего и горе в прошлом любит только красивое, достойное и его поднимающее и оправдывающее».

Островская с примечальной трезвостью констатирует, что блокадный героизм (пассивный стоицизм) неотделим от «срама» — причем ощущение это крайне сложное, состоящее из разных слоев — внутреннего и внешнего, частного и публичного. С одной стороны, стыд — это раскаяние за распад человечности, семейных связей, всё, что в блокадном городе называлось «моральной дистрофией» («...недоразумения по пустякам вспыхивают часто и ненужно. В других семьях, культурных и интеллигентных, люди ссорятся, дерутся и ненавидят друг друга до бешенства»). С другой стороны, стыд навязан государством, скрывающим ленинградский голод: «Врачиха Сегаль, выписывая направление, посоветовалась со мною — каким словом заменить “дистрофия”, “истощение”. И на мой недоуменный вопрос ответила: слова “дистрофия” и “истощение” категорически запрещены к употреблению. Оказывается, по постановлению властей в Ленинграде нет ни дистрофиков, ни истощенных». Результатом этой политики стало превращение послеблокадного сообщества в своего рода безжалостного бога времени, не желающего помнить и готового пожрать всё и всех, что ему может напомнить о пережитом: «На дистрофиков смотрят холодно, даже без любопытства, с отвращением и злобой (звери ведь не любят больных зверей!). Им не прощают: того, что вовремя не поправились, или того, что вовремя не умерли. И лица у дистрофиков поэтому — виноватые».

2. *Дом и ДОМ — это разное...*

Одним из наиболее пронзительных и последовательных мотивов дневника является скорбь об утрате Дома (именно так, с большой буквы, Островская называет то хрупкое единство, которое тем не менее представляется ей единственной настоящей, непреходящей ценностью ее жизни). Что же такое ее Дом? Это изолированный, скрытый мир семейной общности, куда нет хода чужим, где ее видят и понимают идеально воплощенной, это разделенная, общая память о прошлом этой семьи, которую до блокады, казалось, ничто не могло разрушить: «Наш **дом**, наш Остров, продолжал существовать своей тихой и неизменной жизнью единения, любви, дружбы и сохранял почти иератическую неподвижность внешних форм. Вокруг кипело море людских судеб, люди умирали, рождались, уезжали, приезжали вновь, сидели в тюрьмах, отбывали сроки высылок и возвращались в город, меняли мужей, географию, платья и службы, а у нас все шло, как всегда, размеренно и неуклонно, как ход счастливого времени на заколдованных часах».

Дом — это ощущение родства и принадлежности, мало имеющее общего для автора с собственностью и недвижимостью, — об этом различии она размышляет в момент, когда рушится под бомбежкой дом, принадлежавший им до революции. Страшнее и невероятнее для Островской то, что, когда дом на Преображенской

рушится от взрыва, Дом семейной идиллии Островских поддаётся всепроникающей блокадной коррозии: «Эдик неутешителен... Мама выглядит очень скверно, слаба, каждый день по утрам раздражается, доводит себя до истерических слез, до пароксизмов обид, причитаний, оскорбленности и т.д. Это очень тяжело и несправедливо, но я знаю: болезнь обостряет и делает особо рельефными некоторые элементы человеческой психики. В данном случае обидчивость и неумение и нежелание признать право на другую точку зрения, не на свою».

За разрушением, надрывом отношений, несмотря на все усилия изобретательной и упорной Островской, приходит гибель, ее мать погибает, как и большинство блокадных «иждивенцев»: «И в этой необыкновенности всемирного смерча разлетелся и погиб мой **дом** — храм, убежище, пристань, единственное свое... За столом пью чай и обедаю одна. Все, что осталось от **дома**, от Семьи. Умерла мама. Уехал брат. И накануне отъезда, после полуночи, умерла даже моя персидка Мустафа, с которой — все-таки — можно было поговорить вслух, позвать и быть уверенной, что в пустой квартире, кроме тебя, есть еще какое-то живое бессловесное существо с хризолитовыми глазами. Все проходит. Дом тоже прошел». Один из самых ожесточенных конфликтов блокады Островской — война миров, своего и чужого, частного и общего, мира безжалостной «большой» истории и множества микроисторий, сопротивляющихся общему знаменателю.

Этимологически очевидно, что Дом — категория ностальгическая (vόστο (nystos) — возвращение домой, *древнегреч.*), и тоска по утраченному также формирует особый мир: «Перебирая ее вещи, я все натыкаюсь на ее запах: некоторые предметы пахнут ее болезнью, другие — ее живым, таким особенным, маминым запахом. Нюхаю эти вещи, целую их, прикладываю к лицу, улыбаюсь им, никогда не плачу. Всегда говорю громко: Мама».

Акт описывания катастрофы и утраты стремится заместить утраченное, о чем в еще одном блокадном тексте пишет Ольга Фрейденберг: «И вдруг эти записки принесли мне чарующее наслажденье. Я попала в имажинарный мир, от которого пахнуло теми днями, ушедшими навсегда, похороненными. Вот я вижу их, как вместе с маминым гробом их опускают в болото Волкова. Но в них навсегда сохранена наша жизнь, как ужасна она ни была. И, возобновляя записки, я иллюзорно вижу себя за столом в блокаду, с мамой, живыми. Мне кажется, что это те дни. Что я нашла себя. Что я говорю ей и с нею об этом годе нашей страшной разлуки. Что святое пространство, к которому я обращаюсь, и эта абсолютная форма одиночества — это “мы” опять — чистейшая лирика, метафизическое общение будущего с прошедшим»[3].

В динамических отношениях с понятием «Дом» в этом дневнике также находится весь осаждённый город, очевидно составляющий одну из опор идентичности блокадницы Островской: постоянно наблюдая город, наделяя его антропоморфны-

[3] *Фрейденберг О.* Осада человека / Публ. К. Невельского [Ю.М. Каган] // Минувшее: исторический альманах. Paris, 1987. Вып. 3. С. 9—44.

ми чертами, обращаясь к нему, Островская размышляет о целесообразности эвакуации. Здесь соединяются соображения самые прагматические (страх нищеты и голода на Большой земле, страх утраты жилплощади) и символические — статус блокадницы и единство с пытающимся выжить городом становятся новым и, возможно, наиболее выраженным социальным «я» Островской: «Прекрасный город. Чудесный город. Ville miraculeuse et luciferienne. Обезображенный, раненый, избитый, кровоточащий, обнищавший — но все-таки прекрасный и все-таки — несмотря ни на что! — гордый какой-то особенной, всем далекой и от всех отчужденной гордостью большого одиночества и непревзойденного величия». Оставить Ленинград противоречило бы ее самоощущению избранности, которое она осторожно и изобретательно пронесла через всю жизнь, применяя к изменяющимся обстоятельствам исторического контекста.

В результате катастрофы дневниковое письмо Островской соединяет в одно Дом и город: обе эти категории опустошены, опубличены, символизированы и театрализованы, превращены в руины-декорации, в которых некому играть: «...грандиозная патетика немыслимой развалины. А на каком-то поднебесном этаже, на освобожденной от всех горизонталей перекрытий вертикальной плоскости стены, многоцветной от различного цвета обоев в различных бывших квартирах, по-старому виден врезанный в стену шкаф, в нем по-старому трогательно и до крика жутко висят домашние вещи: чьи-то пальто, чьи-то шляпы. А еще в каком-то доме — не помню где — уцелела висячая лампа: так и висит до сих пор над пропастью с обломками — та самая лампа, которая освещала когда-то мирный уют обеденного стола, приборы, книги, родные лица и, может быть, склоненные головки лукавых школьниц. А еще где-то, в уцелевшем углу, стоит керосинка. Стоит себе на табуретке, домовитая и спокойная, единственно уцелевшая в этом помпеянском пейзаже».

3. *Дороги спасения*

Исследователей, занимающихся стратегиями выживания в блокадном городе, очень занимает проблема блокадного знания — откуда блокадники получали информацию в ситуации жесткого информационного контроля? Что было необходимо знать, чтобы выжить, и как это можно было узнать. Осведомленность Островской о жизни города замечательна: она знает, где «дают» хлеб и где бомбят, знает, кто летит — «он» или «свой», знает, кто погиб и кто выжил, ориентируется в ценах черного рынка, хорошо осведомлена она и о происходящем на фронтах. Такая осведомлённость указывает, что «блокадные слухи» были эффективным способом получать и интерпретировать скудные сведения, просачивающиеся и циркулирующие в городе. Вчитываясь в газетные публикации, Островская остро оценивает политический язык Сталина, Черчилля и руководителей блокадного города, сопоставляет данные пропаганды с собственными домыслами (зачастую — верными) и наблюдениями.

Ее блокадное чтение разнообразно и разнонаправлено: чтение газет, а также чтение (чаще — перечитывание) любимых книг помогают блокаднику по-разному и помогают безотказно («...недавно, в убежище, одна женщина-врач, психиатр, сильно удивилась, увидев в моих руках книгу: — Вы еще можете читать? Могу. И читаю много»). Островская перечитывает Салтыкова-Щедрина и Блока, Чехова и Флобера, память ее воспроизводит стихи, необходимые ей для психологического обезболивания и регуманизации. Так, в самые больные моменты Островская твердит стихи Ахматовой. Примечательно, что при раннем чтении (еще до знакомства) «Поэмы без героя» Островская улавливает, что ее сближает с поэтом способ письма «симпатическими чернилами», при котором «главное» нельзя произносить, но следует угадывать: «Из всех углов памяти начинают зыбко проступать призраки — те, которые жили со мною всю жизнь, из-за которых жизнь ломалась и шла по кривым путям, которые я умерщвляла, прогоняла, закрывала на ключ, превращала в невинные альбомные воспоминания. Совсем как у нее. Нет — хуже.

Я сознаюсь, что применила
Симпатические чернила,
Что зеркальным письмом пишу...

Вся жизнь прошла на симпатических чернилах, оказывается. Бреды, призраки, тени». Пожалуй, блокадный фрагмент дневника Островской является исключением также в смысле идеологической прозрачности, определенности — жертвы, которые приносит осажденный город, придают ее дневниковому взгляду на режим «последнюю прямоту».

Формулируемый Островской комплекс «вторых радостей», оставшихся блокадникам после всех потерь (и, главное, зачастую после мучительной утраты, искажения собственного «я»), — замечательно любопытное явление, показывающее, какие именно формы духовной пищи культивировались ленинградцами: «Первые радости из моей жизни ушли — наверно и вероятно, навсегда: семья, дом, любовь, дружба. Остались вторые радости, которыми жить могу и буду: книги и музыка, любование природой и архитектурой города и стихотворения, наслаждение от работы, собственного интеллекта и экспериментальное поле для наблюдений над человеком и человеческим». Каждый читатель этих блокадных страниц найдет для себя какие-то *свои* вопросы, проблемы, открытия — для меня же одним из наиболее человеческих является эпизод наслаждения «запрещенной музыкой», когда блокадники, несмотря на комендантский час, угрозу бомбежки и ограбления, несмотря на постоянную голодную слабость, пробираются через снега и тьму, чтобы вместе пить спирт и слушать любимые пластинки — Вертинского, Лещенко, французское и итальянское bel canto и православную музыку в исполнении Шаляпина. В этом ночном движении через город — на человеческий звук есть особое утверждение себя, своего вкуса, своего выбора, своей личной истории. Так же как и в тот момент, когда, посланная весной на чистку города (за неявку изнуренных блокадников аре-

стовывали), Островская вспоминает прошлые снега прошлой, юденичевской, осады — и констатирует, что в ее жизни явление насильственной изоляции и отрыва от собственной несостоявшейся, нарушенной судьбы стало чем-то вроде рамки, навсегда определив и извратив развитие мощного, сложного характера.

Для изучения бытования и выживания интеллигенции в блокадном городе блокадная часть дневника Софьи Островской является источником не только богатым, но и *щедрым*: в отличие от записей до и после блокады здесь многое говорится открыто, без тайного, двойного дна. Эта прямота (например, в воспоминаниях о тюремном заключении, в описаниях чудовищного быта, в признании своего поражения в борьбе за жизнь матери и благополучие брата) ещё раз приводит нас к дискутируемому в последнее время исследователями вопросу — в самом ли деле блокада наравне с самыми тяжелыми эмоциями и впечатлениями принесла ощущение (пусть даже иллюзорное) временного освобождения, облегчения постоянного контроля государства над личностью?[4] Для Островской, всю жизнь ожидавшей возможности реализации, социальной, но также и творческой, такая возможность была предоставлена именно блокадой. В то время как ее навязчивой мечте о развитии и признании ее литературной деятельности не суждено было сбыться («Золотая книга» осталась в отрывках), блокадный дневник обладает двойной ценностью — он может считаться не только историческим документом, но и литературным достижением Софьи Островской, наиболее полным выражением ее писательских амбиций. Стиль ее здесь ярок и выразителен, описания точны и динамичны. Точно рассчитаны включения «чужого» документального материала: газетной информации, перечислений цен на черном рынке, отрывков из переписки с «Большой землей» (чего стоит включение в дневник письма из эвакуации о страшном состоянии «спасенного» брата). Да и сама автор и героиня, если пользоваться бахтинским определением, выступает здесь в особом качестве: в отличие от тяжкой скуки 30-х и желчных сожалений конца 40-х, Островская находится в постоянном действии, постоянном движении — спасает, спасается, продает и достает, горюет и утешает, прячется, находит и провожает. Блокадная часть дневника особенно сюжетна (в отличие от, например, интереснейших блокадных дневников философа Якова Друскина или художницы Татьяны Глебовой, которые построены в первую очередь на саморефлексии, наблюдении изменений внутреннего мира). Во время блокады Островская наконец-то воплощает себя как историческую личность и ощущает себя ею. Это осознание приходит в процессе и посредством дневникового письма, что и представляет для читателя его особый интерес и особую сложность.

Полина Барскова

---

[4] См.: Bonwetsch B. War as a Breathing Space: Soviet Intellectuals and the Great Patriotic War // The Peoples's War: Responses to World War II in the Soviet Union / Ed. by R.W.Thurston and B. Bonwetsch. Urbana, 2000. P. 137—154.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указатель не внесены лица, упомянутые только в тексте предисловия и комментариев, а также мифологические и литературные персонажи.

СОДЕРЖАНИЕ

Островская Софья Казимировна

ДНЕВНИК

Редактор
А.И. Рейтблат
Дизайнер
С. Тихонов
Верстка вкладки
Е. Поликашин
Корректор
Л.Н. Морозова
Компьютерная верстка
С.М. Пчелинцев

Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес издательства:
123104, Москва,
Тверской бульвар 13, стр. 1
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная № 1
Печ. л. 47,5 Тираж 1000. Заказ № 4097
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

Издательство
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Серия **«Россия в мемуарах»**

Л.В. Шапорина
Дневник
т.1-2



Любовь Васильевна Шапорина (1879—1967) — создательница первого в советской России театра марионеток, художница, переводчица. Впервые публикуемый ее дневник — явление уникальное среди отечественных дневников XX века. Он велся с 1920-х по 1960-е годы и не имеет себе равных как по продолжительности и тематическому охвату (политика, экономика, религия, быт города и деревни, блокада Ленинграда, политические репрессии, деятельность НКВД, литературная жизнь, музыка, живопись, театр и т.д.), так и по остроте критического отношения к советской власти. В книге нашло отражение близкое знакомство Шапориной с А.А. Ахматовой, А.П. Остроумовой-Лебедевой, Н.С. Тихоновым, А.Н. Толстым, Д.Д. Шостаковичем, М.В. Юдиной и многими другими известными современниками.

Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»
можно приобрести в интернет-магазине издательства
www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:

в МОСКВЕ:

- «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 1, 8 495 781-19-00
- Галерея книги «Нина» — ул. Волхонка, д. 18/2 (здание Института русского языка им. В.В. Виноградова), 8 495 201-36-45
- «Гараж» — ул. Крымский Вал, д. 9, стр. 32 (Парк Горького, слева от центральной аллеи, магазин в Музее современной культуры «Гараж»), 8 495 645-05-20
- Государственная галерея на Солянке — ул. Солянка, д. 1/2, стр. 2 (вход с ул. Забелина), 8 495 621-55-72
- Книжная лавка историка — ул. Б. Дмитровка, д. 15, 8 495 694-50-07
- Книжный киоск РОССПЭН — ул. Дмитрия Ульянова, д. 19, 8 499 126-94-18
- «Медленные книги» — http://www.berrounz.ru/, 8 499 258 45 03
- «Москва» — ул. Тверская, д. 8, стр. 1, 8 495 629-64-83, 8 495 797-87-17
- «Московский Дом книги» — ул. Новый Арбат, д. 8, 8 495 789-35-91
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — ул. Петровка, д. 25 (в здании ММСИ), 8 916 979-54-64
- «MMOMA ART BOOK SHOP» — Берсеневская наб., д. 14, стр. 5А (Институт «Стрелка»)
- «Новое Искусство» — Петровский бул., д. 23, 8 495 625-44-85
- «Порядок слов в Электротеатре» — ул. Тверская, д. 23, фойе Электротеатра «Станиславский», 8 917 508-94-76
- «У Кентавра» — ул. Чаянова, д. 15 (магазин в РГГУ), 8 495 250-65-46
- «Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., д. 12/27, 8 495 749-57-21
- «Фаланстер» (на Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., д. 1, стр. 6 (территория ЦСИ Винзавод), 8 495 926-30-42
- «Циолковский» — Пятницкий пер., д. 8, 8 495 951-19-02

в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

- На складе нашего издательства — Лиговский просп., д. 27/7, 8 812 579-50-04, 8 952 278-70-54
- «Академкнига» — Литейный просп., д. 57, 8 812 273-13-98
- «Все свободны» — наб. реки Мойки, д. 28, 8 911 977-40-47

- Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия В.О., д. 29, 8 812 323-50-90
- Киоск в Библиотеке Академии наук — В.О., Биржевая линия, д. 1, 8 950 025-64-66
- «Классное чтение» — 6-я линия В.О., д. 15, 8 812 328-62-13
- «Книжная лавка» — Университетская наб., д. 17 (в фойе Академии Художеств), 8 965 002-51-15
- «Университетский книжный салон» — Университетская наб., д. 11, 8 812 328-95-11
- Книжный магазин в Государственном Эрмитаже — Дворцовая пл., д. 2, Зимний дворец, галерея Растрелли
- Книжный магазин в Главном штабе Государственного Эрмитажа — Дворцовая пл., д. 6/8
- Книжный магазин Государственного Эрмитажа в Универмаге «Au Pont Rouge» — наб. реки Мойки, д. 28, 8 800 250-19-07
- Книжный магазин Музея «Эрарта» — 29-я линия В.О., д. 2, 8 812 324-08-09 (доб. 467)
- Магазин Музея Фаберже — наб. реки Фонтанки, д. 21, 8 812 333-26-55
- «Подписные издания» — Литейный просп., д. 57, 8 812 273-50-53
- «Порядок слов» — наб. реки Фонтанки, д. 15, 8 812 310-50-36
- «Порядок слов на Новой сцене Александринки» — наб. реки Фонтанки, д. 49А, эт. 3
- «Росфото» (книжный магазин при выставочном зале) — ул. Большая Морская, д. 35, 8 812 314-12-14
- «Санкт-Петербургский дом книги» (Дом Зингера) — Невский просп., д. 28, 8 812 448-23-57
- «Свои книги» — ул. Репина, д. 41, 8 812 966-16-91
- «Симпозиум» — ул. Достоевского, д. 19/21, лит. М (интеллектуальный кластер «Игры разума»), 8 812 670-25-00
- «Факел» — Лиговский просп., д. 74 (Контейнерная улица), 8 911 700-61-31
- «Фаренгейт 451» — ул. Маяковского, д. 25, 8 911 136-05-66
- «Фотодепартамент» — ул. Восстания, д. 24, 8 901 301-79-94
- «Хувентуд» — Ковенский пер., д. 14, 8 929 116-24-54

в ВОРОНЕЖЕ:

- «Петровский» — ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54а, ТЦ «Петровский пассаж», 8 473 233-19-28

в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

- «Дом книги» — ул. Антона Валека, д. 12, 8 343 253-50-10
- «Йозеф Кнехт» — ул. 8 Марта, д. 7, вход с набережной, 8 343 286-14-23

в ИРКУТСКЕ:

- «Лавка чудесных подарков» — ул. Свердлова, д. 36, ТЦ «Сезон», эт. 5, офис 532, 8 3952 95-44-45

в КАЗАНИ:

- Центр современной культуры «Смена» — ул. Бурхана Шахиди, д. 7, 8 843 249-50-23

в КРАСНОЯРСКЕ:

- «Дом кино» — просп. Мира, д. 88, 8 391 227-26-37
- «Фёдормихалыч и Корнейиваныч» — ул. Ленина, д. 24, 8 391 240-77-51

в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:

- «Дирижабль» — ул. Б. Покровская, д. 46, 8 831 434-03-05
- «Полка» — http://vk.com/polka.knig, 8 960 189-33-60

в НОВОСИБИРСКЕ:

- «КапиталЪ» — ул. Горького, д. 78 (вход с ул. Октябрьская магистраль) 8 383 223-69-73

в ПЕРМИ:

- «Пиотровский» — ул. Ленина, д. 54, эт. 2, 8 342 243-03-51

в РОСТОВЕ-НА-ДОНУ:

- «Деловая литература» — ул. Серафимовича, д. 53Б, 8 863 240-48-89, 282-63-63

в ТОМСКЕ:

- «Академкнига» — наб. реки Ушайки, д. 18А, 8 3822 51-60-36

в ТЮМЕНИ:

- «Перспектива» — ул. Челюскинцев, д. 36; ул. 50 лет Октября, д. 8Б, БЦ «Петр Столыпин» 8 3452 61-04-70, 8 3452 61-74-70

в ЯРОСЛАВЛЕ:

- «Книжная лавка» — ул. Свердлова, д. 9, 8 4852 72-57-96

Россия в мемуарах

С.К. Островская

ДНЕВНИК

Жизнь Софьи Казимировны Островской (1902—1983) вместила многое: детство в состоятельной семье, учебу на историческом факультете Петроградского университета, службу начальником уголовного розыска Мурманской железной дороги, арест, работу переводчиком технических текстов, амбиции непризнанного литератора, дружеские отношения с Анной Ахматовой и т.д. Все это нашло отражение на страницах ее впервые публикуемого целиком дневника, который она вела с юных лет до середины XX века. Особое место в ее записях занимает блокада Ленинграда, показанная подробно и выразительно. За рамками дневника осталась лишь деятельность Островской—агента спецслужб, в частности по наблюдению за Ахматовой.


ISBN 978-5-444-80903-7
9 785444 809037